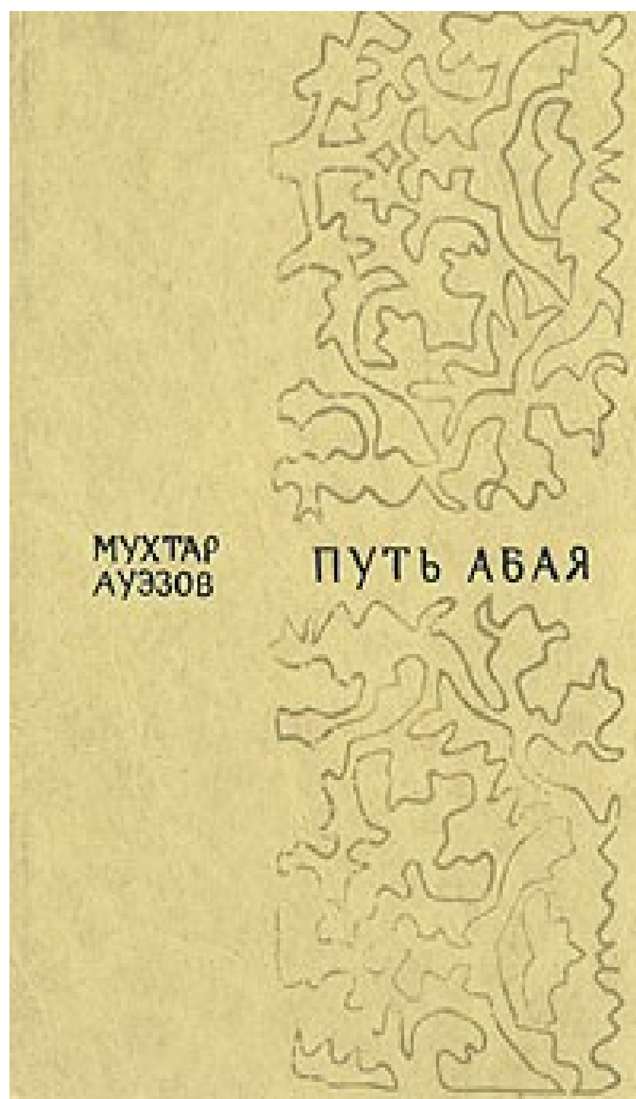
Мухтар Ауэзов



Путь Абая. В двух томах. Том 1

Главный герой романа - реальное историческое лицо, великий поэт, основоположник казахской письменной литературы, просветитель Абай Кунанбаев. В романе развернута панорама полной драматизма и противоречий народной жизни, быта и нравов кочевых и оседлых степняков конца XIX века, показана широта и красота вольнолюбивой души казахского народа, его мечты о лучшем.
В первый том вошли части I и II.

ПЕВЕЦ НАРОДА

Выдающегося казахского советского писателя, крупнейшего ученого — академика Академии наук КазССР, доктора филологических наук, профессора и видного общественного деятеля Мухтара Ауэзова знают не только в его родной советской стране, но и далеко за ее пределами. С интересом и любовью читают ныне его произведения миллионы читателей на разных языках народов мира.

В 1957 году тепло отмечался юбилей, связанный с шестидесятилетием со дня рождения и сорокалетием творческой деятельности замечательного писателя. Он был награжден высшей правительственной наградой нашей страны — орденом Ленина.

За сорок лет плодотворной творческой деятельности Мухтаром Ауэзовым созданы десятки рассказов, повестей, литературоведческих статей, учебники литературы и монографии, около тридцати пьес, либретто и- сценариев, переведены на казахский язык многие произведения русской и мировой классики. Вершиной творчества Ауэзова является многотомный исторический роман «Путь Абая», единодушно признанный первой казахской эпопеей.

Примечательно, что творческий путь Ауэзова полностью охватывает по времени тот исторический путь, который прошла казахская советская литература за славное сорокалетие, и характеризует одну из главных черт и тенденций ее развития.

Большой и своеобразный талант художника слова совершенствовался вместе с родной литературой. То, что создано Ауэзовым, обогатило родную литературу, развило и выдвинуло вперед такие жанры, как проза и драматургия, расширило их границы и возможности. Его многогранное творчество явилось ярким выражением национального характера и своеобразия казахской литературы, выражением как лучших традиций казахского национального народного искусства, так и новаторских стремлений молодой советской литературы. Первое его произведение написано в 1917 году, в год свершения Великой Октябрьской социалистической революции.

Это пьеса «Енлик — Кебек», созданная молодым писателем на основе народной легенды о жертвах жестокого феодально-патриархального произвола, о трагической любви молодых, красивых и сильных духом людей из народа.

Написанная еше в ауле, она впервые была поставлена в юрте Айгерим, вдовы Абая Куманбаева. Аул Абая, откуда, впрочем, происходит и сам Мухтар Ауэзов, стал, таким образом, родиной не только казахской письменной поэзии, но и казахской драматургии.

Он предвещал по сути дела рождение национального театра драмы, открывшегося впервые в 1926 году постановкой названной пьесы М.Ауэзова

«Енлик— Кебек». Следует отметить, что эта пьеса в обновленном виде до сих пор не сходит со сцены. Наряду с тем она прочно вошла в репертуар областных театров и кружков самодеятельности. Правда, в первоначальном варианте пьеса «Енлик — Кебек» содержала в себе не совсем правильную концепцию в показе социальных противоречий дореволюционного казахского аула. Этим отчасти страдали некоторые рассказы и повести писателя, написанные в начале двадцатых годов.

Коммунистическая партия и советская общественность помогли писателю преодолеть идейные шатания, понять существо социалистического реализма и тем самым способствовали его творческому росту и совершенствованию.

Уже в начале. 30-х годов Ауэзов подверг существенной переработке свои прежние произведения («Енлик — Кебек», «Под тенью прошлого», «Караш-Караш»). Одновременно он создал новые произведения: пьесы «Борьба», «Айман—Шолпан», «Ночные раскаты», «На границе», «В яблоневом саду», «Абай», рассказы «Крутизна», «Плечом к плечу», «Переживания Хасена» и многие другие.

Наряду с созданием оригинальных драматургических и прозаических произведений Ауэзов плодотворно работал в эти годы и в области художественного перевода классических произведений мировой и русской драматургии, В его переводе были поставлены на сцене казахского драматического театра «Отелло», «Укрощение строптивой» Шекспира и «Ревизор» Гоголя. К числу творческих удач относится и перевод «Любови Яровой» К.Тренева.

Рост и развитие таланта М.Ауэзова, основанные на овладении марксистско-ленинской идеологией, на глубоком изучении жизни, на постоянном обращении к неиссякаемым источникам казахского народного творчества и к классическим образцам русской и мировой литературы, а также литератур братских республик, укрепили писателя на позициях социалистического реализма и подготовили почву для создания новых больших произведений. К ним относятся трагедия и романы об Абае Кунанбаеве, великом казахском поэте.

Трагедия «Абай», написанная Ауэзовым в соавторстве с Леонидом Соболевым, охватывает последний период жизни Абая. Правдиво, с большой эмоциональной силой показан здесь образ поэта и мыслителя казахского народа, защитника всего нового и прогрессивного в жизни родного края.

Но делом жизни Ауэзова, бесспорно, явилось создание многотомной эпопеи о великом Абае.

В 1942 году, в самый тяжелый год военных испытаний, вышла в свет на казахском языке первая книга романа «Абай» Мухтара Ауэзова. Она раскрыла перед читателем образ Абая-юноши, процесс формирования личности любимого поэта казахского народа и яркие картины жизни казахской степи в

прошлом столетии. Не прошло после того и пяти лет, как вышла вторая книга этого романа, показывающая становление поэтической фигуры Абая и сложный процесс перехода его на сторону народных масс. Несмотря на военные лишения и трудности, рождение нового замечательного произведения было горячо встречено казахской общественностью. Переведенный вскоре на русский язык, роман «Абай» нашел путь к сердцу миллионов читателей.

Взыскательные ценители искусства высокой правды по достоинству оценили это весенней свежести произведение казахской литературы, и оно в 1948 году было удостоено Государственной премии 1-й степени.

«Роман «Абай» Мухтара Ауэзова, — писала тогда газета «Правда», — большое событие не только в казахской, но и во всей советской литературе».

С тех пор минуло десятилетие новых всемирно-исторических побед советского народа в строительстве коммунистического общества. За это время написаны еще две книги эпопеи, названные «Путь Абая». Таким образом, закончен многолетний труд выдающегося казахского писателя — четырехтомный цикл романов о великом поэте-демократе Абае Кунанбаеве («Абай» и «Путь Абая»), который в 1959 году под общим названием «Путь Абая», среди выдающихся произведений социалистического реализма, удостоен Ленинской премии.

Это поистине великий труд, явившийся плодом не только большого таланта, мужавшего от книги к книге, но и большого писательского подвига, стоившего автору мучительных поисков и дерзаний, кропотливой работы и глубоких творческих размышлений в течение пятнадцати лет.

Создание такой замечательной эпопеи в казахской литературе, которая сорок лет назад вообще не знала еще настоящего романа, — знаменательное событие, исполненное особого, неоценимо важного историко-литературного значения.

Трудно переоценить это значение. Оно состоит не только в том, что Ауэзов увековечил великого казахского поэта, создав его величавый, полный жизненной правды образ, и не только в том, что он дал энциклопедию бытия казахского народа на протяжении полувека. Значение эпопеи заключается в том, что она стала подлинно народным произведением, в котором с большим проникновением прослежены глубочайшие процессы формирования казахского национального характера и обнаружены, как золотые жилы в кряжах, те богатые духовные силы, которые всегда жили в народе и стали залогом его светлого будущего. Стоит прочесть эпилог романа, вслушаться в последнюю песню Айгерим и в прощальную клятву Дармена у могилы Абая, охватить мысленным взором собравшиеся там народные массы, вглядеться в лица учеников и поклонников великого певца, и каждый, даже неискушенный читатель, почувствует могучую силу пробуждающегося для исторических деяний народа.

Романы о жизни Абая — бессмертного народного поэта, просветителя и

композитора — это многоплановая эпопея, охватывающая огромный и важный в истории казахского народа период. В первой книге мы встречаем Абая пытливо любознательным подростком, скачущим на иноходце в родной аул, а в последней — как бы принимаем незримое участие в панихиде по скончавшемуся на шестидесятом году жизни и оплакиваемом народом прославленном поэте-борце. Большая и напряженная жизнь незаурядного человека проходит перед читателями на точно и красочно зарисованном историческом фоне.

Нарисовать живую натуру выходца из эксплуататорского класса, ставшего пламенным народным заступником, — нелегкая творческая задача. Автор показал Абая в центре сложного переплетения социальных явлений второй половины прошлого столетия, кричащих противоречий патриархально-феодального общества. Выразительно выписанный образ поэта, шедшего в «тернистых местах без проторенной тропинки», много и плодотворно размышлявшего над мрачным настоящим и грядущими судьбами родного народа, высоко поднявшего в эпоху господства варварской жестокости знамя справедливости и человечности, народности и свободолюбия, знания и труда, убеждает и покоряет читателя. Борьба Абая против феодально-байской, мусульманской реакции, против закостенелых обычаев и традиций изображена М. Ауэзовым конкретно и исторически правдиво.

Художественному воспроизведению характера Абая в эпопее М. Ауэзова не чужды элементы романтизма, которые подчеркивают одухотворенность образа центрального героя. Этот образ отнюдь не сведен к простой сумме положительных черт. В нем проникновенно средствами искусства воссозданы глубоко индивидуальные качества, присущие Абаю, делающие его исполинской фигурой в истории Казахстана. И вместе с тем эти неповторимо индивидуальные черты, обладающие исключительной силой убедительности и эмоционального воздействия, порождены не только конкретными фактами биографии данной личности, но и — можно сказать без всякого преувеличения — чаяниями народа, исторической — необходимостью, создавшей условия для появления такого деятеля, каким стал Абай Кунанбаев.

Современная Абаю эпоха гринесла много изменений в жизнь казахского народа. Добровольное присоединение Казахстана к России повлекло за собою такие прогрессивные социально-экономические последствия, как начавшееся строительство городов, железных дорог в казахской степи, открытие базаров и ярмарок, развитие торговли, расширение экономических и культурных связей казахов с соседними народами, и особенно с русскими. Все это приводило к распаду прежних патриархальных устоев кочевого аула, к усилению классового расслоения, способствовало развитию национального общественного сознания. Определенное положительное влияние оказали и революционно-демократические идеи, которые, проникнув в казахскую степь, благодаря

передовым русским людям, нашли в ней своих последователей — таких, как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев.

Абай не сразу сформировался как поэт и борец за народное счастье. Но на протяжении всего жизненного пути он не оставался одиночкой. Число его сторонников, сначала весьма незначительное, со, временем возрастает.

первой книге романа «Абай» автор вводит читателя в разгар ожесточенной межродовой борьбы. Он показывает подобных шакалам родовых верховодцев, из корыстных целей разжигающих эту борьбу в феодально-патриархальном обществе. Читатель вместе с Абаем видит неотомщенную обиду ни в чем не повинных людей, которые становятся жертвами жестоких злодеяний; видит тяжкие страдания бедняцких оседлых аулов, муки и горе бесправных батраков. Он переживает все эти печальные картины вместе с чувствительным, справедливым юным Абаем.

Но если в первой книге мы видим только всходы, молодую поросль от семян добра и справедливости, то в последующих книгах эти ростки буйно развиваются, крепнут и зреют. Абай решительно порывает с родным отцом и его жестокосердными приближенными; он клеймит отца позором и выносит ему безоговорочный обвинительный приговор.

Так Абай переходит на сторону народа, начинает бороться за его интересы.

Различные периоды жизни Абая, события, в которых он принимал деятельное участие, смена взглядов, понятий, изменчивость чувств, — все это в многогранном художественном повествовании не есть нечто, не связанное между собой, расплывчатое, распыленное; нет, все это запоминается как единое целое, внутренне связанное, отражающееся в характере Абая, в сложном процессе формирования. В этом и сказалось литературное мастерство М.Ауэзова — мастера социалистического реализма. Он и нас заставляет на все смотреть глазами Абая, чувствовать, понимать и оценивать по-абаевски. Вчитываясь и вдумываясь в эпопею, мы вместе с Абаем печалимся и восторгаемся, ненавидим и любим, впадаем в раздумья, страдаем, трепещем…

Есть еще одна важная сторона образа Абая. Это его поистине восторженное отношение к русскому народу, к России Пушкина и Белинского, Лермонтова и Чернышевского. Это отношение сложилось у Абая не сразу, не явилось к нему в готовом виде. Оно формировалось постепенно, вместе с целеустремленным становлением Абая на демократических позициях передового мыслителя-просветителя.

Россия для Абая не однолика. В романе показаны и чиновники царского правительства, назначенные для управления казахской степью, для проведения колонизаторской политики царизма, и представители передовой русской интеллигенции, сосланные в Казахстан, и русские крестьяне-переселенцы. Так узнает Абай, с одной стороны, царскую, буржуазно-помещичью Россию, которая вкупе с местной феодальной верхушкой угнетает народы, а с другой —

Россию Ломоносова и Радищева, Пушкина и Лермонтова, Чернышевского и Некрасова. Восставая против жестокой «тюрьмы народов», Абай, вместе с тем мечтает, чтобы судьба его родины была навеки связана с Россией вдохновенного революционного порыва и дерзновенной прогрессивной мысли.

Однако достоинства тетралогии не исчерпываются лишь образом Абая. Перед читателем проходит великое множество людей, хороших и плохих, поддерживающих поэта-бойца и противодействующих ему. И даже в тех случаях, когда перед нами возникает эпизодический персонаж, он почти всегда написан зримо, объемно и достоверно.

Так показаны друзья Абая — Михайлов и Долгов, угадавшие его поэтический талант и поверившие в него. Именно они внушили поэту убеждение, что поэтическое творчество правдолюбца является благородным путем служения народу и что он должен самоотверженно идти по этому пути, пробуждая в чутких душах окружающих высокое сознание своего человеческого достоинства и своей силы.

Так показаны представители той пламенной молодежи — с новыми, прогрессивными взглядами, с новыми мужественными и морально прекрасными стремлениями, — которые окружали Абая на избранном пути.

Вот сын Абая — Абиш, европейски образованный человек, помощник и советчик отца, демократ, непримиримый враг старых устоев жизни, насилия и невежества. Или Дармен — родственник мудрого старца Даркембая, ученик Абая, на которого учитель возлагает большие надежды. Это талантливый поэт, человек смелых дерзаний, нежных чувств и кристально чистой души. Дармен — это как бы завтрашний Абай, воплощение его чаяний и надежд, заботливый садовник абаевского сада разума и гуманизма.

Взволнованные слова Дармена на могиле Абая звучат клятвой:

«Родной брат мой, Абай! Семена, посеянные тобой, не увяли, не погибли. Пусть пока они еще не стали густой дубравой, раскидистым садом… Но они уже растут по всей необъятной степи, по просторам широких долин и дают много поросли. И будут расти с каждым годом… Во имя этого я клянусь; всю свою жизнь, до самой смерти, свято хранить в своем сердце твои драгоценные слова, заветы, оправдать твое отеческое воспитание, мой любимый брат!».

Это была клятва от имени грядущих поколений, от имени народа — истинного наследника поэзии Абая.

Представители народных масс, всю свою жизнь испытывающие бедность, нужду, насилие и произвол, реалистически показаны в эпопее. Характеры Даркембая и Базаралы яснее всего позволяют увидеть, как тщательно и глубоко М.Ауэзов-художник исследовал жизнь этой среды, любовно раскрыл золото души трудящегося человека.

Образ Даркембая, честного, отважного человека, бесстрашного заступника попранных прав казахской бедноты, выписан с особым проникновением,

Даркембай не испытывает страха перед свирепым одноглазым властелином Кунанбаем, чьи руки обагрены кровью; напротив, он уличает его во лжи, клеймит за совершенные злодеяния, открыто и решительно вступает в борьбу с его многочисленными сильными сторонниками. С Даркембаем поэта связывает тесная испытанная дружба. Абай не только многому учит его, но и сам учится у Даркембая.

В галерее образов, созданных М.Ауэзовым, особое место занимают удивительно обаятельные образы женщин. Если мудрая и сердобольная бабушка Зере и добрая, умная мать Улжан, олицетворяющие воплощение честности, справедливости, человечности и сострадания, способствовали, так сказать, закладке фундамента лучших душевных качеств будущего поэта-гуманиста, то прелестная девушка Тогжан, предмет первой романтической любви молодого Абая, изумительно ярко раскрывает перед нами сокровенные движения большого человеческого сердца, способного любить горячо и страстно, самозабвенно и нежно. Обаятельная Ангерим, прекрасная певица, дорога сердцу Абая тем, что многими чертами напоминала ему любимую Тогжан, способствует пробуждению в Абае увлекающего чувства любви к народной музыке. Обогащают духовную натуру поэта и умная Салтанат, и поэтесса Куандык, и одна из носительниц исконной народной мудрости старуха Ийс, забитая нуждой, унижениями и непосильным трудом. Своеобразен облик Дильды, жены Абая, на которой он женился без любви, выполняя волю своего властного отца; знакомясь с нею, мы еще полнее ощущаем обаяние самого Абая и его любимых — Тогжан и Айгерим.

Особо следует остановиться на том, как показывает М.Ауэзов в своей эпопее противников Абая — корыстолюбивых хищников, заклятых врагов справедливости и правды. Мухтар Ауэзов понимает, что победа в битве со слабым, беспомощным врагом не делает чести победителю. Если бы представители враждебного окружения, с которыми Абай вел неустанную борьбу, были изображены бессильными, оглупленными, не такими, какими они выступали в действительности, то социальные устремления, глубокий ум Абая, его духовная сила в борьбе за светлые идеалы были бы обеднены. Но М.Ауэзов сумел с художественной объективностью наделить и приверженцев старого мира очень сильными характерами.

Самый сложный образ в этой весьма обширной веренице отрицательных героев — образ Кунанбая. Его типичность, цельность, эмоциональная наполненность — вне всякого сомнения. По мощи художественного обличения образ Кунанбая не имеет себе равных среди всего, что написали писатели Казахстана о темных антинародных силах, порожденных прошлым социальным устройством нашей страны. Много в этом характере причудливых складок, извилин и тайников. Кунанбай, воплотивший в себе дух жестокости, интриг и коварства, отнюдь не односторонен, не схематизирован и не мелкотравчат. Он

по-своему могуч и монолитен в своей классовой сущности и определенности. Его ум изворотлив, его коварство безгранично, его деспотические злодеяния рождены беспредельной жестокостью в преодолении всего, что стоит на пути достижения поставленной им цели.

И вот против этого матерого хищника выступает Абай. Трудности борьбы заключаются не только в том, что Кунанбай — ага-султан, а Абай — лишь незрелый, неокрепший юнец, но и прежде всего в том, что Кунанбай — его родной отец. Поэтому в своем сопротивлении неограниченно властному султану Абай постепенно переходит от внутреннего несогласия к открытой борьбе и в этой борьбе, постепенно завоевывая симпатии и поддержку народа, в конце концов торжествует и одерживает победу. Но старый мир не признает себя побежденным и всеми возможными средствами отстаивает свое еще не поверженное господство. Место дряхлеющего Кунанбая занимают феодалы той же закваски: Уразбай, Жиренше, Такежан, Азимбай. Волчьей стаей набрасываются они на борющегося за справедливость, за народные интересы Абая.

Верные выкормыши Кунанбая словно разделили между собой черты характера своего наставника. Уразбай заимствовал у Кунанбая его тиранство, произвол самодура, Жиренше — коварство, хитрость, лукавство. Такежан унаследовал жестокосердие отца… Подобные хищники давно уже канули в вечность. Казахский народ избавлен от них всем ходом своей истории после победы социалистической революции. Но, воссозданные умным и страстным художником, они остаются в литературе живым страшным напоминанием о прошлом, помогая новым поколениям осознать, как шла ожесточенная длительная борьба между старым и новым миром. Эти запечатленные силой искусства образы помогают глубоко познать жизнь прошедших поколений и вместе с тем имеют определенное значение для нашей сегодняшней жизни. Хотя Кунанбая сейчас не встретить на просторах социалистически преобразованного Казахстана, но в сознании некоторых наших современников все еще сохранились как пережиточные явления отдельные элементы «кунанбаевщины». Разоблачать природу пережитков, распознать родимые пятна эпохи частнособственнических отношений, знать их нормы, а следовательно, и уметь с ними бороться — учит нас галерея созданных М. Ауэзовым отрицательных образов. И это качество также делает для нас его эпопею неоценимым оружием в воспитании новых людей. Созданные воображением истинного художника, образы Кунанбая и кунанбаевцев как глубоко индивидуализированные типы представляют из себя не только познавательную ценность, но и источник эстетического восприятия. Они отталкивают нас, вызывают в нас чувство презрения и ненависти к отвратительным чертам их характера и в то же время изумляют силой своей правдивости и художественной убедительности, восхищают мастерством лепки

и изображения.

Итак, вершина положительных образов — Абай, вершина отрицательных— Кунанбай. Один подобен восходящему солнцу, разгоняющему мрак, другой — вековечному мраку, тщетно старающемуся воспрепятствовать восходу солнца. Если мы говорим, что эта эпопея — панорама полувековой жизни казахской степи, то с полным основанием можем сказать, что из этих двух систем образов одна бросает лучи света на панораму, другая падает на нее тенью.

Ожесточенные схватки передовых сил казахского аула с Кунанбаем и его сторонниками, разжигающими межродовые распри, способствовали пробуждению классового самосознания трудящихся.

Бедняцкие аулы, некогда поддающиеся подстрекательствам главарей родов, начинают понимать, что межродовая рознь выгодна только родовой верхушке.

В этой книге происходит как бы скрытая подготовка будущих больших схваток между представителями двух миров.

В романе «Путь Абая» М. Ауэзов изображает новую среду, новые события: злодеяния хазретов, халфе, ишанов, мулл, безрадостное прозябание городских трудящихся и рабочих затона; эпидемию, голод и другие стихийные бедствия, обрушившиеся на народ; налоги и поборы, взимаемые с населения царским правительством, произвол чиновников; жизнь джетысуйских казахов; новые враждебные заговоры против Абая, его сближение с рабочими, стихийное выступление казахов-рабочих рука об руку с русскими крестьянами против угнетателей; новые картины, новые образы: Акишева, Сармоллы — из духовенства; Абена, Абды, Сеила, Сеита — из рабочих; Павлова и Александры Яковлевны — русских друзей поэта.

При выходе в свет первых книг романа раздавались упреки в адрес автора: он, мол, не показал нам классовую борьбу. Но ведь классовая борьба не есть нечто застывшее, она изменяется и развивается в зависимости от исторических условий. В первых книгах романа «Абай» показаны ни в чем не повинные жертвы жестокой межродовой борьбы: жатаки, постоянно терпящие нужду и лишения, батраки Кунанбая, из-за обглоданной кости мыкающие горе у его порога. Все они — порождение социального неравенства и противоречий казахского аула. Разумеется, здесь еще явно выраженной классовой борьбы и проявлений гневного протеста и возмущения нет, еще сильна над угнетенными власть патриархально-родовых пережитков. Тем не менее в первых книгах уже ясно чувствуется непреодолимо растущий протест против эксплуататоров, пробуждающееся классовое самосознание трудовых народных масс.

В романе «Путь Абая» отражена другая эпоха, когда классовая борьба носила уже иной характер, и борьбу между двумя мирами писатель стремится показать более резко, контрастно, в тех ее новых формах, которые уже появились и утверждались в общественной жизни.

Именно в том, что писатель, постигая сложную диалектику исторического

процесса, сумел отобразить действительность исторически правдиво и убедительно, освоил ее как художник, состоит одно из главных достоинств произведения. М.Ауэзову чужд схематизм в изображении прошлого, в создании системы образов и картин. Он неотступно руководствуется принципом идейно-образного обобщения жизненного материала. Отдельные факты и детали, добытые из документальных источников, из воспоминаний стариков и архивов, не заслоняют око писателя, не заставляют его эмпирически следовать им, а наоборот, всецело подчиняются властной воле художника социалистического реализма. Сам автор свидетельствует: «В моих романах, например, множество добытых мною фактов жизненной биографии Абая остается в стороне. Одни факты я развернул, другие вовсе опустил, потому что они не имеют существенного значения в том историческом здании, которое я стремился возвести в своих книгах».

Некоторые критики упрекали М. Ауэзова в том, что иные его герои в жизни были другими; что, например, Такежан таких набегов не делал, что некоторыми произвольными чертами наделен образ Абая и т. д. Но ведь суть дела не в частных вполне возможных расхождениях. Главное состоит в том, что художник оперировал фактами так, чтобы они помогали ему полнее и правдивее отобразить большую правду жизни, взятую в ее противоречивом развитии.

Были и другие произведения в казахской литературе до романов М.Ауэзова, отразившие историческую жизнь казахского народа. Но ни одно произведение еще не воссоздало живо, глубоко и всесторонне дореволюционную казахскую жизнь, как всеобъемлющая эпопея. Трудно указать на какую-либо существенную сторону или даже характерную особенность жизни казахов в быту и нравах их, в психологии людей и в окружающей природе, которые бы не нашли своего изображения на большом эпическом полотне Мухтара Ауэзова. Зоркий глаз художника не оставил вне поля своего внимания интересные с точки зрения исторической значимости явления, как процесс развития капиталистических элементов и формирование казахского рабочего класса в специфических условиях патриархально-родовых и феодальных отношений.

Замечательное словесно-изобразительное искусство Мухтара Ауэзова характеризуется тем, что он умеет органически сплетать биографическую нить повествования о главном герое с многочисленными социальными явлениями и событиями жизни. В кажущейся пестроте и разнообразии лиц и картин, которые многообразной чередой проходят перед читателями, чувствуется глубокая внутренняя связь, продуманность идейного замысла, цельность и стройность сюжета.

Говоря о большой масштабности и сюжетно-композиционном мастерстве Мухтара Ауэзова, нельзя не подчеркнуть и другие стороны его многогранного таланта: тонкий лиризм и напряженный драматизм многих изображенных

положений, коллизий. В связи с этим восхищает нас богатство интонаций и изобразительных средств в художественном арсенале автора. То спокойный, чуть взволнованный тон повествования (например, в описании многолюдного сборища в ауле Уразбая на Консенгире для переписи населения), то нежное лирическое излияние, то потрясающая драматическая напряженность речи попеременно владеют чувствами читателя. Углубленный психологизм в раскрытии характеров персонажей, строгий реализм с едким сарказмом в обрисовке отрицательных героев и эмоциональная романтическая окраска в правдивом рисунке положительных образов, особенно поэтических личностей Абая, Абиша, Шоже, Биржана и обаятельных женских образов — Зере, Улжан, Тогжан, Айгерим, Салтанат, Айши и других, — вот что составляет отличительные черты стиля романа М. Ауэзова.

Отдельные особенности художественно-повествовательной манеры Мухтара Ауэзова тесным образом связаны с устно-поэтическим творчеством народа. Прекрасный знаток казахского фольклора, он черпает из его сокровищ яркие образы, эпитеты и сравнения, афоризмы, пословицы и поговорки, которыми писатель уместно оснащает диалог своих героев. Таким образом персонажи получают меткую и выразительную характеристику.

Богат, гибок и красочен язык романа также в ремарках, в рассказе, в передаче психологии, в обрисовке портретов персонажей, в описаниях пейзажа. Знаток живой народной речи, Мухтар Ауэзов умело использовал ее колоссальные возможности в своем романе: обнаружил несчетное количество слов и выражений, ставших уже «архаизмами», и придал им новое значение. Вообще можно смело сказать, что казахский литературный язык, благодаря роману М.Ауэзова, сделал значительный шаг вперед в своем развитии как в смысле расширения словарного фонда, так и в смысле стилистики.

Упоминая о стилистике М. Ауэзова, нельзя не указать еще на такие важные и характерные стороны его художественного мастерства, как способность писателя четко и выпукло нарисовать портреты своих героев, органически включить портретную заоисовку в состав психологических характеристик этих героев.

«У отца продолговатая, словно вытянутая голова. Его череп напоминает гусиное яйцо. И без того длинное лицо его удлиняется клином бороды; оно кажется Абаю равниной с двумя холмами, поросшими лесом бровей. Единственный глаз Кунанбая зорким часовым стал у левого холма — суровый, недремлющий страж… Он не знает отдыха, от него ничего нельзя утаить… Этот единственный глаз не прячется за веком: большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко».

В этом ярком, неповторимо оригинальном художественном рисунке заключена по сути дела вся сущность кунанбаевского образа, квинтэссенция его жестокого характера.

С этакой же психологической меркой подходит художник и к изображению картин природы, которые не являются у него самоцелью, а служат необходимым фоном для событий или гармонируют с настроениями персонажей, оттеняя их психологические переживания.

«Взволнованный, он поднял лицо к звездному небу. С гор доносилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вздохнул его свежую струю.

Луна была в ущербе. Она медленно поднималась к зениту, недоступно высокая, уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью…

Лунная ночь словно купается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств, трепещет и замирает его сердце. «Что же это? Как разгадать? Что со мной?» Перед его глазами — белые руки Тогжан, ее нежная шея. Она — его утро!

Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви…

Это поет сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тогжан… Он повторяет про себя эту песню. Слова льются легко, свободно».

Здесь тончайшее переплетение эмоционально волнующей картины лунной ночи, любовного экстаза и процесса рождения песни создает прекрасную панораму, в которой получили удивительное сочетание и картинность, и поэзия сердца, и чудные звуки песни.

Не только пейзаж и портрет, но и все компоненты и художественные средства произведения подчинены единой цели: яркому изображению характера героев. Даже названия служат этой цели. Так, например, название глав первой книги «Абай» («Возвращение», «В вихре», «В пути», «В дебрях», «По предгорьям», «На подъеме», «В вышине») выражают последовательные этапы жизни и формирования личности юного Абая, а названия глав второй книги («Перед бродом», «На жайляу», «Взгорьями», «По рытвинам», «На перевале», «На распутье», «На вершине») соответственно обозначают характерные моменты жизни и становления характера Абая как поэта.

Даже присутствие в произведении элементов аллегории и символики очень удачно служит задаче более глубокого и эмоционального ракрытия образов. Таков, например, образ могучего чинара, символизирующий образ Абая. Он вырос на голой каменистой земле и в конце второй книги стоит окрепший, сильный и стройный, а в конце четвертой книги чинар этот, поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнет. Такова также развернутая аллегория с воображенным кораблем Абая, плывущим к светлому будущему народа.

Эпопея об Абае — монументальный, титанический труд. Конечно, в этом колоссальном труде есть и кое-какие шероховатости, в столь разнообразных многочисленных главах есть и бледные, вялые места, в галерее

разнохарактерных персонажей не все портреты обрисованы одинаково ярко. Вполне естественно, что эстетическое, эмоциональное впечатление от каждой из четырех книг эпопеи неравноценно. Создавая такое сложное многоплановое произведение на протяжении пятнадцати лет, писатель сам постоянно развивал свое художественное мастерство и вместе с тем должен был показать динамику характеров своих героев. К тому же задача изображения разных периодов исторической действительности (середины и конца прошлого столетия) требовала разных форм художественного освоения. Эти обстоятельства не могли не создать некоторого разноречия в стиле частей эпопеи.

Тем не менее читатель всегда с признательностью ощущает величие авторской мысли, грандиозность осуществленного замысла.

Говоря о познавательных и художественных достоинствах казахской эпопеи, нельзя не отметить ее все возрастающую славу, давно уже перешагнувшую пределы нашей родины, нельзя не подчеркнуть со всей силой то неоценимое значение, которое сыграл при этом язык великого русского народа, не только позволивший сохранить в переводе всю красоту и достоинства оригинала, но и открывший для произведения выход на мировую арену. Переведенная первоначально на русский язык, эпопея М. Ауэзова была вскоре переведена с русского текста на языки всех братских республик, а затем на многие языки мира: немецкий, английский, французский, венгерский, болгарский, польский и другие.

Ныне казахское произведение обходит весь земной шар, привлекая все новых и новых читателей. Характерно, что первыми, кто горячо откликнулся на эпопею об Абае, были Назым Хикмет, Мао Дунь, Луи Арагон, Анна Зегерс, лучшие писатели мира, выразители дум и чаяний прогрессивного человечества.

Возрастающая популярность романа «Путь Абая», который справедливо называют энциклопедией дореволюционной казахской жизни, еще больше расширяет и укрепляет славу неизвестного раньше народа. Очень показательна в этом отношении заметка, помещенная в журнале «Нозерн Нейборс» по поводу изданного в Канаде романа «Абай» Мухтара Ауэзова:

«Это наш первый автор-казах. Читатели наши, мы с гордостью предлагаем вам впервые изданную нами на английском языке первую книгу романа о великом поэте казахского народа Абае — «Абай».

Всем пресытиться может душа,

Только песня всегда хороша…

— так, оказывается, писал свои пламенные стихи поэт. И, видимо, с любовью внимал народ словам своего замечательного сына. Какой смелый, какой великодушный, какой талантливый народ эти казахи. И как жаль, что мы раньше почти ничего не слышали о них…»

Удивительно меткая и яркая характеристика поэта и его народа! Так верно и проникновенно оценить великого Абая, так живо и непосредственно представить себе жизнь казахского народа можно было только поистине народному произведению, обладающему высокими художественными достоинствами. Об этом и говорит канадский автор: «Через художественно ярко обрамленный, полно, глубоко и взволнованно повествующий о народе роман «Абай» вы познакомитесь с жизнью казахов».

Блестящие идейно-художественные качества романа, высокая правда жизни и человеческих характеров, истинная народность, партийная страстность и поэтическая взволнованность, озаренные светом современности, великим чувством дружбы народов, обеспечили роману исключительную популярность во всех концах мира.

Особенно понятен успех эпопеи среди народов Азии и Африки. Тот путь, который прошел казахский народ от феодализма и патриархальщины к социализму, от невежества и отсталости к вершинам мировой культуры, оказывается вдохновляющим примером для колониальных и полуколониальных народов Азии и Африки, которые борются ныне за свободу и национальную независимость.

В 1958 году во время Конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте в номер гостиницы, где остановился Мухтар Ауэзов, зашел с переводчиком молодой африканец. Взволнованное лицо, живые сверкающие глаза говорили о чувстве, которым был охвачен этот энергичный, темпераментный «черный» человек. Он ясно и четко произнес два слова: «Мухтар Ауэзов!» Нас было в номере несколько человек. Мы стоя встретили гостя, а Мухтар Омарханович жестом дал знать, что это он. Африканец быстро сказал еще что-то нам непонятное, кроме единственного имени Абая, потом бросился к Ауэзову и стал крепко пожимать его руки. Это был 27-летний писатель из Камеруна Бенжамен Матип, кстати сказать, покоривший многолюдную конференцию своим продуманным, страстным и поистине выстраданным выступлением. Он произнес на французском языке пламенную речь, смысл которой переводчик передал нам примерно так:

— Я никогда раньше не слышал о казахах. А теперь знаю их очень хорошо, знаю, потому что недавно читал на английском языке чудесную книгу Мухтара Ауэзова. Я познакомился с замечательным человеком и поэтом казахского народа Абаем, с его мудрой бабушкой Зере и матерью Улжан, с любимыми девушками — Тогжан и Айгерим, с друзьями Абая — добрыми и смелыми

людьми. Я полюбил этих героев, полюбил так, будто жил долгие годы, делил их горе и радости. У меня даже такое ощущение, что я сейчас среди них и дышу воздухом ваших степей. В самом деле, какой прекрасный народ — казахи! И как прекрасно написано о нем в романе «Абай!» Я от души завидую вашему счастливому народу, а вас поздравляю с бессмертным произведением.

Затем завязалась беседа, и африканский писатель рассказал об ужасах колониального рабства, о том, как его народ лишен возможности даже говорить на родном языке. В заключение Бенжамен Матип сказал, что, отправляясь на конференцию, мечтал встретиться с автором покорившей его книги и он счастлив, что мечта его сбылась.

Присуждение ныне эпопее «Путь Абая» Ленинской премии — выдающееся событие не только культурного, но и политического значения.

Оно свидетельствует о многом, но прежде всего — о величии и мудрости Коммунистической партии и ее ленинской национальной политики, освободившей и приобщившей к строительству новой жизни ранее угнетенные народы нашей страны, раскрывшей в них богатырские силы и таланты, способные создавать художественные произведения мирового значения. Будучи плодом казахской литературы, роман «Путь Абая» утверждает мировую славу советской многонациональной литературы, как самой передовой литературы мира.

Вместе с тем он утверждает одну из знаменательных побед социалистического реализма, как главного метода советской литературы, демонстрирует богатейшее разнообразие его форм, стилей и средств. Эпопея М.Ауэзова опрокидывает ложное измышление ревизионистов о том, что социалистический реализм якобы исключает, игнорирует национальное своеобразие художественного творчества наших народов. Одно из главных достоинств эпопеи в том и состоит, что в ней найдено счастливое и во многом поучительное решение проблем национальной специфики. Здесь гармонически сочетается глубокое социалистическое содержание с богатой национальной формой. Здесь национальные особенности авторского видения мира, особенности обстановки и характеров героев не противоречат коммунистической идейности, исторической достоверности и правдивости произведения, а способствуют их раскрытию.

В ярком казахском колорите, в неповторимом национальном своеобразии — одно из главных достоинств этого произведения, которое дышит ароматом казахской степи и в котором ощущаешь во всей полноте целый мир материальной и духовной жизни казахского народа; его радости и горести, его специфический быт, психологический уклад, мысли и чувствования.

Роман «Путь Абая» служит неопровержимым доказательством того, что подлинно национальное, истинно народное и партийное произведение чуждо национальной ограниченности, оно интернационально, общечеловечно по духу

своего идейного и эстетического воздействия. Возникший на национальной почве, казахский роман понятен и близок всем народам мира, потому что воплощенные в нем идеалы перекликаются с лучшими порывами и стремлениями передового человечества. Здесь мировой читатель находит мотивы и идеи, родственные тем, которые воплощены в бессмертных образах Шекспира, Гете, Бальзака, Анатоля Франса, Ромена Роллана, а также классиков русской литературы, — те идеи, которые Белинский называл «общечеловеческими».

Одним из ведущих мотивов романа является окрыляющее чувство дружбы народов. Тяга лучших сынов казахского народа в прошлом к русской культуре, братское внимание и сочувствие передовых русских людей к судьбе казахских трудящихся показаны в эпопее с мастерством и принципиальностью тончайшего художника. Правдивый и убедительный показ с высоты сегодняшней нерушимой дружбы советских социалистических наций истоков исторически сложившейся дружбы казахского народа с великим русским народом, их совместной борьбы против темноты и невежества, против насилия и угнетения, за национальное возрождение — вот что делает казахскую эпопею произведением остро современным и интернациональным. В ней бьется пульс советского писателя, освещающего историю светом коммунистического мировоззрения и решающего все проблемы с точки зрения марксизма-ленинизма. Философия марксизма-ленинизма дала возможность писателю познать и правдиво воспроизвести в образах полувековую жизнь казахского народа в перспективе ее исторического развития, показать народ, как движущую силу истории, сделать его основным героем своей художественной эпопеи.

А яркость, скульптурность образа Абая объясняется тем, что он показан в разнообразных отношениях с народом, к которому шел сложным и мучительным путем, начатым в белой юрте султана Кунанбая и продолженным среди чабанов и жатаков в гуще простого народа.

На этом пути Абай сроднился со своим желанным будущим, нашел миллионы наследников своего поэтического творчества. Очень много способствовал этому роман «Путь Абая», о чем правильно заметил недавно сам Мухтар Ауэзов в беседе с корреспондентом «Литературной газеты»:

«Часто возвращаюсь мыслью к Абаю — моему любимому герою и уважаемому наставнику. Радуюсь за него, радуюсь, что он, известный читателям собственными стихами, стал им еще ближе, понятнее, роднее благодаря моему скромному труду. Он обрел миллион друзей, и это самое главное, ибо он всегда стремился к людям, искал друзей, а был окружен врагами, люто, неистово ненавидевшими его».

Традиции Абая — это традиции служения своему народу с полной отдачей всех своих сил и способностей. Эти традиции в наше время продолжают,

развивают и обогащают советские писатели. Мухтар Ауэзов сумел показать в своем произведении эту идейную общность выразителей дум народных, созвучие поэзии Абая и его идеалов с нашей героической современностью. Вот почему роман «Путь Абая» воспринимается как актуальное, современное произведение, несмотря на то, что материал его почерпнут в историческом прошлом.

Это обстоятельство опять же свидетельствует о том, что социалистический реализм располагает такими возможностями, при которых и на основе обращения к исторической тематике можно создать вполне современное захватывающее произведение, удовлетворяющее духовные запросы строителей коммунизма.

Следует в связи с этим особо отметить, что немаловажную роль в творческом успехе М.Ауэзова сыграли традиции советского исторического романа, особенно опыт романов о творческих личностях Пушкина, Грибоедова, Навои и других. Не только удачи, но и недостатки, ошибки этих романов пришлось учесть автору романа об Абае, чтобы сделать шаг вперед на пути развития жанра советского исторического романа. «Поучительной для меня оказалась критика по адресу «Смерти Вазира-Мухтара», — пишет М. Ауэзов в своей статье «Как я работал над, романами «Абай» и «Путь Абая», — главная беда этой книги в том, что Грибоедов в ней предстает по существу оторванным от народа».

Если взять шире и всесторонне почву создания казахской эпопеи, то не трудно увидеть в ней следы благодатного влияния также и классических социально-психологических романов русской и мировой реалистической литературы, следы, обнаруживающие себя и в постановке проблем, и в обрисовке характеров, и в художественно-изобразительных средствах. Вместе с тем необходимо сказать, что роман Ауэзова является крупным плодом, выросшим на основе замечательных достижений казахской советской литературы и закономерным этапом в развитии многогранного творчества самого Ауэзова как интересного и своеобразного художника слова. Вот почему данное произведение мы должны рассматривать не как случайное и исключительное явление, а как естественный результат расцвета казахской литературы социалистического реализма.

Говоря о причинах международной популярности эпопеи об Абае, нельзя упускать из виду ее высокие художественные достоинства. Николай Тихонов в своей статье, помещенной в «Правде» по поводу произведений, удостоенных Ленинских премий, писал:

«Роман-эпопея М. Ауэзова о великом казахском поэте-демократе и просветителе Абае Кунанбаеве является выдающимся произведением не только в творчестве этого автора, крупнейшего советского писателя, но ярко выделяется своими художественными достоинствами во всей нашей

многонациональной литературе».

Хорошая тема, замечательная идея, большие проблемы произведения много теряют в силе и долговечности социального воздействия, если они не выражены художественно совершенно. Значение темы, идеи и проблемы тем важнее, чем с большей художественной впечатляемостью они раскрыты, воплощены и разрешены мастером слова. В. И. Ленин в статьях о Л.Н.Толстом, определяя мировое значение его творчества, всегда выдвигал на первый план тезис о Толстом как великом художнике, подчеркивал величайшую художественную мощь его произведений: «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе».

Нет сомнения, что в международном успехе казахской эпопеи решающее значение имеют не только постановка близких сердцу всех народов животрепещущих вопросов и идей, не только выражение родственных всем прогрессивным людям мира заветных мыслей и чувств, но и то, что все это сделано с оригинальным мастерством зрелого писателя. Недаром Михаил Шолохов на Втором Всесоюзном съезде советских писателей роман «Абай» М.Ауэзова относил к действительно талантливым произведениям советской литературы, которые «еще резче подчеркивали художественное убожество и недолговечность произведений-поденок».

Подлинно талантливое произведение искусства, одухотворенное высокой, благородной идеей, не знает ограничений ни во времени, ни в пространстве. Оно не стареет, не забывается, а, преодолевая все преграды, пробивает себе путь к миллионам читателей мира. И разве не об этом свидетельствует примечательный факт, о котором рассказала в мае 1959 года газета «Литература и жизнь» в информации «Абай» на Парижском книжном базаре».

«На стенде Л. Арагона рядом с его собственными книгами были выставлены три новые переводные книги с предисловиями Арагона, председателя Национального Комитета французских писателей. Эти книги Арагон, как и свои, надписывал покупателям. Это были книги замечательного казахского писателя Мухтара Ауэзова «Юность Абая», чехословацкого писателя Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма» и молодого киргизского писателя Чингиза Айтматова «Джамиля».

Еще в своей книге «Советские литературы» Луи Арагон дал высокую оценку творчеству Мухтара Ауэзова. А в своем обстоятельном предисловии к парижскому изданию первой книги казахской эпопеи под названием «Юность Абая», осуществленному в конце 1958 года при самом ближайшем содействии Луи Арагона, всемирно признанный писатель-коммунист утверждает:

«Я считаю большой честью для себя быть в моей стране популяризатором его (Мухтара Ауэзова. — М.К.) произведения. Эпический роман «Абай» в моем

представлении одно из наиболее высоких произведений XX века. Оно вводит в мир воображения и мыслей, порождает множество глубоких раздумий. Недостаточно сказать, что оно вписывается в первый ряд произведений советских литератур, даже в остальном мире трудно найти произведение, равное этому».

Луи Арагон сопоставляет эпопею М. Ауэзова с такими шедеврами мировой литературы, как «Дон-Кихот» или «Робинзон Крузо». А в сопоставлении с антинародными произведениями современной буржуазной романистики казахская эпопея несоизмеримо выделяется своим органическим сочетанием жизни и поэзии. Буржуазные реакционные писаки уже не в состоянии, по мнению Луи Арагона, показать такую полноту здоровых человеческих страстей, исканий, искреннего чувства любви, каким привлекают страницы книги М. Ауэзова.

Такая оценка, выражающая общее мнение прогрессивного человечества, — лучшая награда автору, прославившему не только бессмертного поэта, но и весь казахский народ, автору, который только благодаря советскому общественному строю и смог создать это чудесное художественное полотно социалистического реализма.

Представим себе образ взмывающего в небо большого орла.

Его могучие крылья распахнуты на полутораметровую ширину, и упругие перья их свистят, как туго натянутая тетива. Он разрезает воздушную толщь крепкой грудью и, стремительно делая круги, поднимается все выше и выше — и нет вокруг живого существа, которое могло бы состязаться с ним в покорении высоты, откуда открывается весь безбрежный травяной океан. Только он, житель неба, может смотреть не мигая на слепящее, достигшее зенита солнце. Его магические зоркие зрачки с невероятной выси видят не только всадника или пешехода, но и все живое в степи, вплоть до мелкой пичужки, до росяной былинки.

Взлетев выше снежных вершин, он повисает в синем пространстве и рассыпает оттуда гортанный клекот, оповещая степные пределы: все вижу, все знаю, обо всем догадываюсь… Орлиное зрение, как счастье, встречается и у редчайшего из людей, и тогда этот человек видит современников своих, молодых и старых, их прошлое, настоящее, будущее, и если, случается, берет перо в руки, то из-под пера выходят книги мудрые и прекрасные, обогащающие ум и сердце, открывающие бескрайние горизонты.

Таким по-орлиному дальнозорким был на древней земле казахов мастер человековедения, гранильщик алмазных слов, писатель Мухтар Ауэзов.

1959–1977 г.г.

МУХАМЕДЖАН КАРАТАЕВ.

Часть первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Мальчик спешил домой. Он готов был на все, чтобы третий день пути был и последним. На ночевке в Корыке[1] он затемно разбудил Байтаса — родственника, приезжавшего за ним в город, и уговорил своих спутников выехать, едва занялась заря. Весь день он подгонял коня, держась впереди провожатых на расстоянии пущенной стрелы, Байтас и старый Жумабай только восклицали:

— Ну и торопится же мальчуган в аул!

— Бедняга!.. Видно, всю зиму пропадал в медресе[2] со скуки!

И оба шевелили коней, то рысью, то вскачь догоняя его, — Жумабай— зажимая под коленом свой черный шокпар,[3] Байтас — придерживая носком сапога длинный березовый соил.[4] Возле урочища Такирбулак Байтас, умеряя пыл подростка, крикнул ему:

— Не скачи без нас! В Есембаевом овраге воровской притон!

— Разбойники, наверное, следят за тобой, — прибавил Жумабай. — Скажут: «Ишь, храбрец, скачет один!» Стукнут тебя по голове!

— А вы на что?

— Ойбой! А что мы сможем с ними сделать? Нас двое…,

— А их — целая шайка, — поддакнул Жумабай. — Хорошо, если примут нас

за сородичей, — проскочим. Нет — дело плохо! — заключил Жумабай, запугивая подростка.

Но эти слова только подзадорили мальчика.

— Ну, раз и вы ничего не сможете сделать, так не все ли равно, один я буду или с вами? Я поехал!..

Он ударил коня, поскакал вперед и до самой лощины Есембая ни разу не оглянулся назад.

Два первых дня пути старшие двигались не спеша и совсем вывели мальчика из терпения. Теперь он был рад, что хоть в последний день нашел средство заставить их торопиться: он решил до самого аула скакать впереди.

Спутники почти потеряли его из виду, но он все скакал. Путь пролегал по буграм и сопкам. Когда аулы откочевывают в горы Чингиз, здесь становится совсем безлюдно. С каждого холма можно отлично следить за проезжими, и охотникам до чужого добра нетрудно нападать на них из оврагов и лощин.

Байтас сокрушенно покачал головой:

— И как это мальчуган не боится? О господи, да есть ли у него рассудок?..

Жумабаю, который тоже не сумел справиться с мальчиком, оставалось только поддержать своего приятеля:

— Весь в отца! «Я — сын матерого волка», — вот что говорит он своими выходками… Ничего не поделаешь, Байтас, не отставать же нам!

И оба помчались, обгоняя друг друга. Под Байтасом был черногривый скакун самого Кунанбая. Жумабай тоже ехал на хозяйском коне—на рослом белоснежном скакуне по кличке Найман-хок. Один перевал мгновенно остался позади, кони помчались к другому. Всадники вылетели на гребень холма, но мальчика все еще не было видно. Они поскакали дальше, и, когда начали спускаться в лощину, Жумабай услышал слева четкий цокот копыт, как раз от перевяла Есембая. Хуже того — прямо нз Есембаева оврага…

«Ох, вылез, нечистый! С мальчиком расправился и гонится за нами! — мелькнуло в мыслях Жумабая, и, вне себя от страха, он погнал коня, даже не смея оглянуться на всадника. Но тут же он услышал грозный гнусавый оклик:

— Закрывай глаза!

Жумабай оглянулся: лицо всадника было завязано платком, — в этих местах грабители всегда поступают так при дневных налетах. Байтас молча скакал в сторону во весь опор. Значит, кому суждено страдать, так только ему, Жумабаю… «Отобьюсь во что бы то ни стало», — решил он, хватаясь за шокпар, зажатый под коленом, но тут его поразила страшная догадка, что и тот может ударить его по голове шокпаром, — и он пригнулся к гриве коня.

Незнакомец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро надвинул ему на глаза его широкополую черную шапку. Жумабай не смел поднять головы. Схватиться с противником он не решался, а выскользнуть из его рук и ускакать было уже невозможно. Грабитель

воспользовался его растерянностью и нагло выхватил у него шокпар. Найман-кок вдруг остановился на всем скаку, точно налетев на препятствие. Жумабай осторожно выпрямился и, весь дрожа, сдвинул со лба шапку.

Не мерещится ли ему? Перед ним на коне — мальчик!.. Так вот кто налетел на него, отобрал шокпар, остановил коня и теперь заливается смехом, не в силах вымолвить слова. Нет, Жумабай не ошибся: перед ним действительно был «волчонок Кунанбая»—Абай.

И стыд и злость на самого себя за безрассудный страх перед мальчишкой охватили Жумабая.

— Ой, сынок, накличешь ты беду своими шутками! Нашел место — в самом воровском логове, — сказал он с досадой.

Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха и он, опустив голову, начал вывертывать свою шапку. Как разбойник с большой дороги, Абай заранее вывернул наизнанку чапан и малахай, а лицо завязал платком и, догоняя Жумабая, кричал ему, как опытный вор, изменив голос и гнусавя, чтобы тот не узнал его.

Байтас уже возвращался к ним. Трудно было сказать, испугался ли он. Теперь, поняв проделку Абая, он подъезжал с веселым смехом:

— Посмотри-ка, он даже лысину своему буланому затер! Жумабай только сейчас увидел, что мальчик обмазал отметину на лбу коня глиной. Но Жумабай привык пользоваться всеобщим уважением и вовсе не желал стать посмешищем. Он решил сам обернуть в шутку все происшедшее, и, натянуто улыбаясь, сказал:

— Ох, и уродится же такой — весь в отца! И кереи и уаки вечно стонут: «Тобыктинцы — прожженные воры, тобыктинцы— грабители!» А как же им не стонать, когда в Тобыкты[5] даже молокососу известны все воровские повадки?

Абай уже давно замечал, что отец уважает старика. Он не знал точно, зачем Жумабай ездил в город, но из разговоров обоих спутников понял, что тот приезжал по важному делу, порученному самим Кунанбаем. Мальчик перестал смеяться и подъехал к Жумабаю.

— Нам еще долго ехать, — я пошутил, чтобы разогнать скуку. Простите меня, Жумаке!

Слова его прозвучали ласково, и Жумабай, довольный этим, только молча посмотрел на Абая. А Байтас стал шутить с подростком, как со взрослым:

— Натворил дел, а потом «простите меня!» Совсем как в моей песне:

Нагрузи верблюда в поход—

Терпеливо он все снесёт.

Но боюсь и подумать я:

Ойкала как стерпит моя?

Абай не понял.

— Как вы сказали, Байтас-ага? Кто это— Ойкала?

— А ты разве не помнишь Ойке, мою жену?

— Конечно, помню. Ну и что же?

— В прошлом голу я прогулял все лето, гостил по всем аулам, веселился с девушками и молодыми женщинами. А когда пришел конец беспечному житью, у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть в лицо жене. Ну. я и решил заранее смягчить ее сердце: сложил эту песню, чтобы жена через моих друзей-певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние…

Байтас был признанным певцом и красавцем. Абай посмотрел на него с нескрываемым восхищением. И сама Ойке и друзья Байтаса, которых Абай знал с прошлого лета, — веселые неутомимые певцы с чудесными голосами, — живо встали в его памяти. Он жадно слушал его рассказ, с нетерпением ожидая развязки. Пользуясь тем, что нынче Байтас шутил с ним, как с равным, он решился спросить:

— Ну и что же сказала Ойке. Байтас-ага? Байтас засмеялся, но тут же принял серьезный вид.

— А что тут скажешь? Разве сердце бедной женщины может выдержать, когда издалека, да еще в песне, ей посылают мольбу о прощении? Подъехал я к дому, она вышла навстречу и стала привязывать коня, а песня моя пошла гулять по свету. Вот и все, — сказал он и подмигнул Жумабаю.

Во время разговора Найман-кок перешел на ровную быструю рысь, увлекая остальных лошадей. Мальчик встрепенулся. Чувство, которое влекло его к родному аулу, вновь вспыхнуло в нем, и, ударив коня, он рванулся вперед. Спутники снова попытались его удержать:

— Перестань, говорят тебе, сынок! Загонишь коня!

— Поскачешь один — и в самом деле попадешь в руки грабителям.

Но мальчика, только что вырвавшегося из города, из снотворно скучного медресе, с такой силой тянуло к родным, к милому его сердцу аулу, что он и не слушал этих увещеваний. Да и не так уж страшны ему Есембаев овраг и воры, наводящие ужас на его спутников! Чем в конце концов отличаются они от остальных казахов? Разве только поношенным платьем и плохой сбруей да тем, что в руках у них — соилы… Абаю не раз приходилось видеть таких людей, он помнит и рассказы стариков о них, бывают минуты, когда он даже мечтает

испытать сам, что такое налет грабителей.

Караульная сопка. Тайное ущелье — все эти места знакомы Абаю не хуже, чем родной аул. Два раза в год — весной и осенью — аул Кунанбая прикочевывает сюда и надолго здесь располагается. Каждое ущелье, овраг, лощина, места, где привязывают жеребят или ставят юрты, овечьи пастбища на возвышенности, что видна с дороги, — все это знакомо и мило Абаю. В прошлом году, когда на бохрау,[6] во время стрижки овец, он отправлялся в город учиться, ему пришлось выехать как раз отсюда, из Есембая. И все кажется ему здесь родным, все дышит непередаваемой теплотой. Недавно еще он веселился здесь, бегая с мальчишками наперегонки, устраивая скячки на жеребятах-однолетках, играя в бабки. И когда там, в городе, нападала на него тоска по родному аулу, в его воспоминаниях не раз вставали незабываемые дни, проведенные именно здесь, в Есембае.

И теперь, когда говорят: «Здесь воровской притон, опасное место, здесь гнездо всяких бед», — ни одна из этих угроз не находит я нем отклика. Мирные желтые сопки, зеленые луга, необъятный простор серебристого ковыля, подернутый вдали дрожащей дымкой, стелются перед ним. С нежностью и волнением смотрит Абай на окружающий его мир — на бескрайную степь, на простор, на сопки. где он родился и где провел детство. Ему хочется обнять все это и покрыть горячими поцелуями. Какая нега в прохладном степном ветерке, не знающем ни бурных порывов, ни мертвого затишья! Сочная тучная степь вся колышется от этого ветерка, и пологими волнами переливается на ней ковыль. Да нет, не степь это, — бескрайное море, сказочное норе… Абай не может оторвать от него глаз. Он безмолвно погружается взором в вольную ширь. Она ничуть не пугает его, если бы он смог, он охватил бы ее всю, прижался бы к ней и шептал: «Я так соскучился по тебе! Может быть, другим ты кажешься страшной — только не мне! Родная моя, милая степь!..»

И мальчик скачет вперед, чуть видный среди зелено-серебряных просторов. Удержать его невозможно.

— Неужели мы так и будем плестись за ним, как подводчики за чиновником? Прибавим ходу, Жумаке, это же позор! — сказал Байтас и, ударив чалого, пустился вскачь.

Жумабай волей-неволей последовал за ним, и скоро все трое мчались наперегонки.

Мальчик добился-таки своего: от самого Корыха путники не сделали ни одного привала. Весь день они были в пути, кони их измылились, и к закату, перед самой вечерней молитвой, они подъехали наконец к аулу Кунанбая на Кольгайнаре, где жила и родная мать Абая — Улжан.

Кольгайнар славился своим прозрачным неиссякающим родником, но большим урочищем его не назовешь. Обычно здесь по пути на жайляу в горы Чингиз останавливаются три-четыре аула Кунанбая.[7]

Возле юрт самого Кунанбая теснились юрты его родных, Дыхание жизни оживляло вечернюю степь. Лай собак, окрики пастухов, блеяние овец и ягнят, топот коней, скачущих на водопой и поднимающих золотистую дымку пыли, ржанье жеребят, только что спущенных с привязи и мечущихся по степи в поисках маток… Дым, поднимающийся от костров к прозрачному вечернему небу, висит над юртами сплошной темно-серой завесой… Вот о чем тосковал в городе мальчик! Вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении, подобно играющему скакуну, вот что властно захватывает все его чувства!..

Путники подъехали к аулу, расположенному у самого родника. Пять юрт стояли впереди. Это было многолюдное жилище двух младших жен Кунанбая — Улжан и Айгыз. Старшая — Кунке — жила в другом ауле.

Всадников сразу же узнали. Пробивая себе путь сквозь стадо овец, тянувшееся на вечерний выпас, они направились прямо к большим белым юртам. Первыми заметили их женщины среди отары. С ведрами в руках, подоткнув подолы за пояс и повязав большие передники, они доили овец. Вглядываясь в приезжих, они наперебой заговорили:

— Это из города! Из города вернулись!

— А вот Абай!.. Абай, голубчик!

— Ну да, это Телькара! Боже мой, Телькара![8] Побегу скорей, порадую его мать! — и молоденькая женщина, бросив ведра, кинулась к Большой юрте.

Улжан истомилась, ожидая сына. С той самой минуты, когда Байтас выехал за ним в город, она считала дни и часы. Прикннув время на дорогу туда и обратно, она ожидала путников сегодня. Восклицания женщин мгновенно донеслись до нее.

Улыбаясь всем своим полным лицом, на светлой матовой коже которого почти не заметно было морщин (хотя Улжан перевалило за сорок), плавно неся потучневшее тело, она вышла из юрты, бережно ведя под руку свекровь. Старая Зере всю зиму ждала любимого внука, ни на миг не забывала его и поминала в молитвах.

Между Большой юртой, к которой подъехали всадники, и Гостиной юртой их уже ожидала большая толпа. Подошли многочисленные невестки и женщины соседних юрт, несколько старух и стариков, копошившихся поблизости; примчались со всех ног мальчишки. С разных концов аула приближались мужчины.

Абай жадно вглядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился, коня его кто-то увел. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Улжан остановила его:

— Э, свет мой, сыпок, посмотри — вон стоит твой отец! Сперва отдай салем[9] ему!

Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Кунанбай стоял с

несколькими стариками поодаль, позади Гостиной юрты. Смущенный своей оплошностью, мальчик пошел к отцу. Байтас и Жумабай, спешившись и ведя коней в поводу, тоже шли к Кунанбаю. Высокий, коренастый, с седеющей бородой, Кунанбай даже не удостоил их взглядом своего единственного глаза, странно сверкавшего на бледном, словно застывшем лице. С другой стороны аула к нему приближались несколько всадников, тучных, богато одетых, на хороших конях. Насколько можно было судить, все это были старейшины. Кунанбай, видимо, ожидал их — он напряженно смотрел на подъезжавших.

Байтас и Жумабай еще подходили, когда Абай был уже возле отца. Кунанбай повернул голову, принял приветствие, но не двинулся с места. Он только окинул Абая быстрым взглядом и сказал:

— Ты вырос и возмужал. Выросли ли твои знания, как ты сам? Насмешка это или сомнение? Действительно ли отец хочет знать о нем?.. С самых ранних лет мальчик привык следить за движениями бровей отца, — так опытный пастух следит за облаками в год джута,[10] — и за эту наблюдательность отец ценил его больше остальных детей. Сейчас было понятно, что Кунанбай думает совсем не о сыне, а о приближающихся всадниках. Но Абай знал и то, что отец не выносит, когда не отвечают на его вопрос, и поэтому сказал сдержанно, но с достоинством:

— Слава богу, отец, — и, помолчав, добавил: — Занятия еще не кончились, но вы прислали за мной, хазрет[11] благословил, и я вернулся домой.

Возле отца стоял со своим слугой Майбасар — младший брат Кунанбая, сын одной из четырех младших жен Кунанбаева отца. Став в этом году ага-султаном,[12] Кунанбай поставил Майбасара волостным управителем Тобыкты.

Довольный ответом Абая, Майбасар было начал:

— Он уже совсем взрослый стал…

Но Кунанбай прервал его, коротко сказав:

— Ступай, сынок, поздоровайся с матерями!

Абай только этого и ждал. И когда он повернулся к женщинам, которые, негромко переговариваясь, ревниво следили за ним, лицо его снова приняло жизнерадостное мальчишеское выражение. С детской торопливостью Абай бросился к матери, но кто-то схватил его, обнял, и тотчас на него посыпались поцелуи множества пожилых женщин и мужчин. Значит, он для них все еще ребенок?… Мальчик даже покраснел от смущения, не зная, как быть: то ли сердиться, то ли радостно отвечать на ласку? У некоторых старух на глазах были слезы.

Вырвавшись наконец из объятий. Абай направился к матери. Родная его мать, Улжан, и третья жена Кунанбая, красавица Айгыз, стояли рядом. Айгыз сказала:

— Ну вот, всякие грязнули заслюнявили все лицо нашему мальчику, и поцеловать некуда! — И она с высокомерной усмешкой поцеловала Абая в

глаза.

Когда наконец он прильнул к родной матери, та не поцеловала его: она только крепко обняла и прижала сына к груди, жадно вдыхая запах его волос. Невозмутимая сдержанность и хладнокровие отца уже давно передались матери, мальчик знал это и не ждал большего. Но в этом молчаливом объятии он почувствовал такую теплоту и любовь, что сердце сильно-сильно забилось в груди…

Улжан не стала долго задерживать его.

— Подойди к бабушке. — сказала она и повернула мальчика к двери Большой юрты.

Старая Зере, опираясь на палку, уже ворчала на Абая,

— Негодный, не прибежал ко мне сразу! К отцу пошел, негодный! — бормотала она. Но едва внук оказался в ее объятиях, упреки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами. — Светик мой, ягненочек маленький, Абай, сердечко мое! — говорила бабушка, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза.

В юрту Абай так и вошел в объятиях старушки. Он просидел здесь долго. Уже совсем стемнело. Матери потчевали его то кумысом, то холодным мясом, то чаем, но Абаю было не до еды, — он не чувствовал голода, хотя не ел с самого утра.

Обе матери и невестки неперебой засыпали мальчика вопросами:

— Окончил ученье?

— На муллу уже выучился?

— А по ком больше скучал?

Абай на все давал односложные ответы. Но последний вопрос заставил его встрепенуться.

— Где Оспан? Куда он ушел? — спросил он с такой поспешностью, которая сразу показала, что больше всего он соскучился по младшему братишке, шалуну Оспану.

— А кто его знает! Бродит где-нибудь, бездельник. Он сегодня всех нас вывел из терпения, вот мы с бабушкой и выгнали его, — и Улжан кивнула в сторону Зере.

Старушка поняла, что говорили о ней, и спросила:

— А? Что вы сказали? Не слышу, что вы говорите…

Абай громко, в самое ухо, рассказал ей, о чем шел разговор, и добавил:

— Бабушка, в прошлом году ты была совсем не такая. Что у тебя с ушами?

И он обнял Зере, прижавшись к ее коленям. Она расслышала его слова.

— Что осталось от твоей бабушки, светик мой? Одни кости! — печально ответила она.

Абаю стало жаль старушку, обреченную на тягостное одиночество среди людей.

— А можно вылечить твои уши? Если бы попробовать?

И Зере и все кругом рассмеялись, но, чтобы не огорчить мальчика, старуха ответила с улыбкой:

— Если мулла подует с молитвой, бывает, что начинают слышать. Это помогает.

— Ну, что ж, — сказала Айгыз, усмехнувшись, — внук твой уже мулла, пусть подует, раз это помогает!

Но остальные женщины повторили серьезно, будто в самом деле надеялись на знания Абая:

— Пусть подует ей в уши! Бедной старухе хоть на душе легче станет…

Абай знал, что и такой способ лечения, и обливание больного места краской, смытой со священных письмен, и чтение над ними молитв и песнопений — обычные приемы каждого муллы, ничем не отличающиеся от действий простой ворожеи. Он сидел, улыбаясь, точно подсмеиваясь над положением, в которое попал, потом вдруг обнял голову бабушки и забормотал ей в ухо то шепотом, то вполголоса:

Прелестен лик, в очах алмаз горит,

Заре подобен цвет ее ланит,

На гибкой шее белый снег лежит.

А брови тонкие начертаны творцом…

Сидевшие в юрте ничего не разобрали. Все решили, что он читает молитву. Поджав под себя ноги, мальчик с серьезным видом продолжал бормотать, как заправский мулла.

Но почему в минуты редких встреч

Тебя всего пронзает острый меч.

Твой слепнет взор, твоя немеет речь

Перед ее сияющим лицом?

Он зажмурил глаза, беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушке:

— Су-уф!

Это были его собственные стихи. Он сочинил их весной, начитавшись Навои и Физули. Но женщины все еще не понимали, в чем дело, — им казалось, что Абай читает молитву. Чтобы продлить это заблуждение, мальчик говорил полушепотом и только под конец, не скрывая больше своей проделки, повысил голос. Зажмурившись и раскачиваясь, как это делают муллы, читая коран, он закончил нараспев:

Как пташка к югу свой стремит полет,

Так ты спешишь, прекрасная, вперед…

Не слышит бабушка — пусть с верой ждет:

Я излечу ее моим стихом!

И он опять дунул:

— Су-уф!

Только теперь все поняли его шутку и рассмеялись. Поняла ее и сама бабушка. Она тихо засмеялась и, довольная, ласково похлопала внука по спине, прижавшись щекой к его лбу.

Но Абай по-прежнему оставался невозмутимо серьезным, и только в глубине его глаз притаился добродушный смешок. Обняв бабушку, он спросил:

— Ну как, лучше слышишь?

— Да, сразу стало гораздо лучше. Да будет безгранично счастье твое, — поблагодарила старушка.

Шутка мальчугана вызвала и смех и восхищение взрослых.

Его мать, Улжан, засмеялась не сразу. Она задумчиво глядела на сына. Как он вырос за этот год! Как возмужал, какая острота ума в его глазах, как не похож он на своих братьев!.. Легкая улыбка скользнула по ее губам.

— Я-то думала, сынок, что в городе тебя сделали муллой, — сказала она, — а ты, оказывается, вышел в мою родню!

Взрослые сразу поняли ее намек, и все снова рассмеялись.

— Ну, конечно, в нем течет кровь Шаншар.[13]

— Сразу видно, что он внук Тонтекена! — наперебой заговорили вокруг.

Кто-то припомнил слова Тонтекена, сказанные перед смертью: «Стыдно уже обманывать ожидания хаджи и мулл: придется умереть—пусть зарабатывают на поминках…».

— Апа,[14] — задумчиво заметил Абай, — уж лучше умереть, как Тонтекен, чем быть знахарем, и собирать подачки.

— Хорошо, если ты вправду так думаешь. Как ты вырос, мой мальчик! — промолвила мать.

В юрту вошел посыльный Майбасара, бородатый Камысбай. Едва переступив порог, он обратился к мальчику;

— Абай, голубчик, отец тебя зовет!

В юрте сразу стало тихо. Чувства, во власти которых Абай находился весь вечер, мгновенно исчезли. Он молча вышел.

В Гостиной юрте совсем не то, что в юрте матерей, даже наружный вид ее суров и холоден. Войдя, Абай отчетливо и громко отдал всем салем. Взрослые ответили ему. Народу было немного: Кунанбай, Майбасар, Жумабай и несколько старейшин племени Тобыкты — Байсал, Божей, Каратай и Суюндик. Из молодежи здесь сидел один Жиренше, двоюродный брат Байсала, всегда его сопровождавший; он дружил с Абаем, хотя и был старше его.

Абай с детства знал, что если отец совещается с такими людьми, а особенно с тремя-четырьмя наиболее влиятельными старейшинами, то это означает, что затевается какое-то из ряда вон выходящее дело. До сих пор Абай никогда не принимал участия в таких советах. Сегодня в первый раз отец позвал его и сделал это. по-видимому, с умыслом.

Как только Абай сел. старики начали расспрашивать его о жизни в городе, об ученье, о здоровье Особенно внимательным был Каратай, словоохотливый старик с хитрым лицом. Он вспомнил и других сыновей Кунанбая.

— Твой Такежан—смелый малый, — сказал он, — такой ловкий, смышленый…

— Правда, он везде поспевает! — добавил Божей.

— Верно вы сказали; мальчик с огоньком, — подтвердил и Байсал. Эти похвалы и другому его сыну были явно направлены самому Кунанбаю. Но он сидел молча, не выражая никакого удовлетворения от расточаемой лести. Вдруг, как бы наперекор всем, он проговорил, повернувшись в сторону Абая:

— Если уж чего-нибудь ждать — так ждите только от этого черномазого мальчугана!

Каратай раньше других почуял, что Кунанбай неспроста вызвал сюда мальчика и во всеуслышание похвально отозвался о нем. Повернувшись к Божею н Байсалу, он спросил с улыбкой:

— А вы слышали, что мальчик сказал во время обряда обрезания?[15]

Абаю не понравилось, что Каратай собирается рассказывать о его детских промахах. От смущения краска стала приливать к его лицу. Но старшего остановить нельзя. Абай старался сделать вид, будто все, о чем здесь говорят, не имеет к нему никакого отношения.

Каратай продолжал, посмеиваясь:

— Когда приступили к обряду и ему стало больно, он заплакал и сказал: «Боже мой! Почему я не родился девочкой?> А мать говорит ему: «Несмышленыш мой милый, тогда тебе пришлось бы рожать, а это пострашнее обрезания!» А он как закричит: «Ойбой, и у девчонок свои муки?..»— и перестал плакать.

Старики рассмеялись.

Кунанбай опять не шелохнулся, точно ничего не слышал. Сосредоточенный вид отца и Байсала ясно показывал, что подобные разговоры поддержки не найдут. Абай этому радовался: он вовсе не желал, чтобы, позвав его как взрослого, над ним смеялись, как над неразумным малышом.

В эту минуту в юрту вбежал Оспан, младший браг Абая. Сколько раз сегодня Абай спрашивал о нем! Как хотел видеть этого озорника!

Оспан не забыл отдать салем, но тут же, не обращая внимания ни на отца, ни на других, присутствовавших здесь, старших, повис на шее Абая. Он любил его больше всех своих братьев. Между ними было пять лет разницы.

Перед взрослыми Абаю надо было вести себя достойно, как подобает старшему брату. Он степенно обнял Оспана и поцеловал в обе щеки. Старики поняли, что мальчики еще не виделись, и отнеслись снисходительно к таким вольностям. Но Оспан сейчас же начал шалить, и хорошее впечатление, вызванное его приходом, мгновенно рассеялось. На вопрос Абая, где он был, шалун сел перед ним на корточки, снова обнял его за шею, притянул к себе и прошептал на ухо грязное ругательство. Мальчишка слышал его от своего старшего брата Такежана. Вот так первая встреча с братом, о котором так скучал Абай! Он с ужасом отшатнулся от Оспана.

— Ой, что ты сказал!.. — воскликнул Абай, но Оспан не дал ему договорить и снова повис у него на шее.

— Не говори, не говори отцу! Ни за что не смей говорить, — угрожающе шептал он и вдруг повалил Абая навзничь.

Абай, понимая все неприличие такой возни при старших, пытался освободиться и привести себя в порядок. И все же коренастый Оспан положил его на обе лопатки, вытащил изо рта что-то скользкое и засунул Абаю за воротник. Абай передернул плечами и попытался вырваться. Только что он с таким важным видом сидел среди взрослых, а теперь озорник братишка совсем его осрамил!.. А Оспан, забыв о присутствии отца, покатываясь со смеху, закричал:

— Лягушка! Я посадил ему за ворот лягушку!

Абай забарахтался еще больше.

Кунанбай сперва не обращал внимания на детей, возившихся у него за спиной, думая, что они и сами скоро угомонятся. Теперь он круто повернулся и увидел, что коренастый мальчишка повалил Абая и сидит у него на груди, не давая возможности подняться.

Такое озорство вывело Кунанбая из себя: одной рукой он схватил Оспана и притянул к себе, а другой дал ему несколько увесистых пощечин. Лицо мальчика запылало, но он неподвижно застыл перед отцом, сверкая большими глазами. Пощечины не испугали его, он продолжал стоять как ни в чем не бывало. Суюндик, изумленный такой выдержкой ребенка, наклонился к Байсалу:

— Волчий прав у этого малыша!

— Настоящий Куж,[16] — шепнул тот в ответ. Кунанбай строго приказал посыльному:

— Убери этого негодяя! — и толкнул Оспана к двери.

Мальчик споткнулся и чуть было не упал, посыльный успел подхватить его. В юрте несколько минут стояла полная тишина. И только когда все снова зашевелились и закашляли. Кунанбай заговорил.

2

Глиняный светильник над круглым низким столом посреди юрты разливает красноватый свет. По временам сквозь нижние щели юрты врывается ветер, и слабое пламя трепещет, то угасая, то разгораясь. Отец сидит боком к Абаю: свет падает на него с одной стороны.

От Кунанбая веет холодом. Властное лицо хмуро и жестоко. Слова его, резкие, внушительные, падают с гневной тяжестью. Речь его пересыпана пословицами и поговорками.

Мальчик еще не может понять, чего добивается отец, какую скрытую цель преследуют его слова. Ему лишь удается уловить смысл отдельных выражений. По старому обычаю аксакалов,[17] отец говорит иносказательно, намеками и кружит над целью своей речи, как ястреб. Абай не успевает связать одну фразу с другой и запутывается в обрывках мысли. Если бы он мог, то сейчас же убежал бы в юрту матери, но делать нечего: позвал отец — уйти невозможно.

И он продолжает сидеть и слушать. Отдельные слова для него совсем новы и непонятны, он старается запомнить их. Отец на кого-то нападает, кому-то грозит — и Абаю кажется: целая рать, вооруженная и грозная, стремительно летит в набег. Порою непонятная речь отца наводит на него скуку, и тогда он долго не отрывает взгляда от лица Кунанбая, думая о другом.

Абай с детства усвоил привычку пристально, не сводя глаз, смотреть на

сказителей, певцов и вообще на всех, чья речь приковала к себе его внимание. Лицо человека всегда казалось ему чудесным созданием природы. Всего привлекательней были лица стариков, испещренные морщинами. В извилистых складках, бороздящих их щеки и лбы, в выцветших глазах, в волнообразных переливах длинной бороды он часто видел целые картины. Вот лесок с реденькими, жидкими побегами… Вот трава, скрывающая темную почву под своим мягким ковром… Порой его воображение находило в человеческом лице странное сходство с хищным зверем или добродушным домашним животным. Вся вселенная оживала для него в движениях и очертаниях человеческого лица.

У отца продолговатая, словно вытянутая голова, напоминающая гусиное яйцо. И без того длинное, лицо его удлиняется клином бороды; оно кажется Абаю равниной с двумя холмами, поросшими лесом бровей. Единственный глаз Кунанбая зорким часовым стал у левого холма — суровый, недремлющий страж… Он не знает отдыха, от него ничего нельзя утаить… Этот единственный глаз не прячется за веком: большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко.

На плечи Кунанбаи накинута шуба из мягкого, пушистого меха верблюжонка. Он говорит веско, убедительно, смотрит только на Суюндика, сидящего напротив, и говорит, не сводя с него взгляда.

Борода Суюндика серебрится ровною проседью. Время от времени он точно исподтишка, вскользь, вскидывает глаза на Кунанбая, но прямо на него не смотрит. Абаю внешность Суюндика кажется обыденной и простой. За ней ничто не скрывается.

С первого взгляда и Божей тоже как будто ничем особенным не отличается. Со своим бледным смуглым лицом, темной бородой, крупным носом он, пожалуй, красивее всех остальных. И морщин на его лице еще не много. Во время длинной речи Кунанбая Божей не шелохнулся, ни разу не поднял опущенного взгляда. Трудно сказать — дремлет ли он, или о чем-то сосредоточенно думает. Мясистые, грузные веки точно плотной завесой скрывают все, что затаил он в мыслях.

Один Байсал, сидящий на переднем месте, смотрит прямо на Кунанбая. Байсал высок, у него румяное лицо, внушительная внешность. Взгляд больших синеватых глаз холоден, — в нем сдержанность, способность сохранить тайну в самой глубине души.

Остальные сидят угрюмо и молчаливо. Понимание того, что хочет Кунанбай, живой отклик на его речь видны только в глазах Каратая и Майбасара.

Круг аксакалов с одной стороны замыкает Абай, сидящий рядом с отцом, а с другой — молодой жигит Жиренше.

Жиренше — родственник Байсала из рода Котибак. Это не просто жигит, прислуживающий Байсалу, — он подает большие надежды, он тонок и наблюдателен. К тому же он хороший рассказчик и шутник: Абай до сих пор

помнит его прежние шутки. Из всех собравшихся только его Абай хотел бы видеть и только с ним побеседовать задушевно, один на один.

Но сейчас, для виду или искренне, Жнренше весь поглощен речью Кунанбая, и никого больше не видит вокруг себя. Похоже, что он даже не замечает Абая.

Вот Жиренше нахмурил брови и зашевелился… Лишь теперь Абай заметил, что отец заканчивает свою речь.

— Если гнусность негодяя Кодара заставила меня краснеть перед другими родами, то в нашем племени это позор для всех, кто собрался здесь! Позор нам всем! — сказал он и, замолчав, перевел пронизывающий взгляд своего единственного глаза с Суюндика на Байсала, а потом так же пристально уставился на Божея.

Ни Божей, ни Байсал не шелохнулись. Остальные взволнованно зашевелились. Каждому легла на плечи тяжесть слов Кунанбая.

— Честь — выше смерти. Беспримерный грех должен получить и беспримерное возмездие, — заключил Кунанбай.

В каменной твердости его голоса звучал непоколебимый приговор. Все почувствовали это. И все знали, что если Кунанбай пришел к решению, то ждать уступки бесполезно.

Итак, на выбор остаются два пути: идти на открытую ссору, на вызов — возражать, препираться, возмущаться или, как это уже часто делали Байсал и Божей, затаить свое несогласие и, предоставив действовать одному Кунанбаю, сложить всю ответственность на него, — пусть сам расхлебывает кашу!

Когда дело не затрагивало их кровных интересов, они всегда поступали именно так: скупились на слова, выражались неопределенно, одними намеками. Но сейчас, после заключения Кунанбая, молчать было невозможно, он не оставил малодушным ни лазейки. И каждый увидел себя а западне. В юрте наступила тишина. Абай не знал Кодара. При этом имени перед ним сразу же возник образ Кодара из песни «Козы-Корпеш и Бачн-Слу».[18] И то, что отец назвал его «негодяем», тоже подходило Кодару из песни, которую в прошлом году здесь, в этой самой юрте, пропел его матерям акын[19] Байкокше. Абай даже подумал, не нарочно ли прозвали Кодаром кого-нибудь похожего на героя той песни.

Каратай первый нарушил тишину обдуманной и гибкой речью:

— Поистине это чудовищно… Не дав бог, чтобы с сыновьями или дочерьми нашими случилось такое дело! Если Кодар действительно совершил это преступление, — место его среди неверных, — начал он.

И потом, обходя прямые пути, он обиняком, осторожными вопросами и намеками, высказал свое сомнение: а правда ли то, что говорят о Кодаре?

Среди присутствующих один Суюндик приходился сородичем Кодару. Вот почему Кунанбай, говоря свою речь, смотрел на него в упор, — он старался убедить Суюндика в неслыханном, чудовищном преступлении Кодара, он

добивался, чтобы Кодара осудили сами его родные. Стоит Суюнднку высказать осуждение — и вся тяжесть последствий ляжет на него и на его род.

Но Суюндик далеко не уверен, так ли виновен Кодар, как это утверждал Кунанбай. Уловка Каратая помогла ему, — он ухватился за слова «если действительно виновен» и сказал:

— Если его вина будет доказана, тогда хоть сейчас — нож ему в сердце! Но кто поручится, что все это правда?

Кунанбай, ощетинившись, подавшись вперед всем телом, перебил его.

— Э, Суюндик, — гневно отрезал он. — Албасты[20] подстерегает слабых! Безвольный, колеблющийся вожак навлекает темную силу на самого себя. Что же, давайте поклянемся душой за Кодара, присягнем в его честности и невиновности! Оправдаем его. А на том свете примем его вину на себя. Только я не обладаю двумя душами! — И внезапно он резко бросил в сторону ошеломленного Суюндика: — А ты-то сам ручаешься за Кодара? Присягнешь за него? Душой поклянешься?

Этот вызов был последним ударом, доконавшим Суюндика.

— У меня тоже нет души, которую некуда бы девать! Я сказал лишь, что надо проверить. Не для того я приехал, чтобы заложить свою душу, — проговорил он мрачно.

К этому свелось все его сопротивление. И хотя выпад Суюндика был смел, все поняли, что он начал сдаваться. Кунанбай вовремя учел это и решил сломить его.

— Если ты не веришь нам, — сказал он, — то не верь и народу, который повсюду кричит о гнусностях Кодара! Не только свои — чужие вчера на сборе бросили нам грязь в лицо! Им тоже все известно. Ступай убеди их, что это неправда! Попробуй заткнуть рот всему народу! В силах ты сделать это? Так будь решительным до конца: осмелься оправдать его. Или оправдай, или осуди! Только дорогой мой, не топчись на месте!

Суюндик не нашел что ответить. И после короткого молчания заговорил Байсал. По-прежнему сохраняя холодное спокойствие, он взглянул на Кунанбая и бесстрастно спросил:

— Если мы признаем Кодара виновным, каково будет наказание?

Кунанбай ответил:

— Такого чудовищного преступления казахи не знавали в прошлом. Не знаем мы и кары за него. Наказание — по шариату.[21] Пусть совершится то, что повелевает закон.

До этого Кунанбай говорил раздраженно, желчно, но тут он переменил тон: казалось, что он и сам тяжело переживает все происходящее.

Да, все пути отрезаны, и все остановились, словно кони, наткнувшись на глухую стеку. И снова наступило молчание.

Божей подумал про себя: «Должен же шариат разбираться! Не может быть,

чтобы ни с того ни с сего он набрасывался на человека!» Но высказать эту мысль он не посмел: Кунанбай обрушился бы на него бурным, неудержимым потоком. И Божей промолчал.

Нетерпеливый Каратай не выдержал.

— Но что же повелевает шариат? — спросил он.

Кунанбай повернулся к Жумабаю, сидевшему несколько поодаль, — будто лишь сейчас вспомнил о нем.

— Я посылал Жумабая в город, чтобы узнать приговор Ахмета-Ризы, хазрета. Кара — повешение, — сказал он.

— Повешение? — с ужасом переспросил Каратай.

Божей поднял испытующий взгляд на Кунанбая и не отрываясь смотрел на него. На лице Кунанбая застыло выражение непреклонности.

— Неужели нет другого выхода? Пусть он — взбесившийся пес, но ведь он — сородич нам! — проговорил Божей.

И опять зазвучал полный голос Кунанбая.

— Да покинут все чувства того, кто сочувствует ему! Спорить с шариатом? Даже если бы дело шло не о Кодаре, а о счастье моей жизни, я не отступлю, не поколеблюсь, — резко заключил он.

Все поняли: этого степного коня не сдержать и арканом.

— Раз ты уверен, делай как знаешь, — сказал Божей упавшим голосом.

Молчаливый Байсал не проронил ни звука. Суюндик свернул на проторенную Божеем дорожку:

— Ты управляешь всем народом, и преступник тоже в твоих руках, — заговорил он, — И обидчик и обиженный — все прибегают к твоей мудрости. Мы просим лишь одного: какой бы приговор ты ни вынес — решай, проверив. Остальное — в твоей воле.

К словам Суюндика присоединились и все старейшины: Но это была лишь видимость согласия. Весь вечер шла скрытая борьба — полунамеками, в обход, никто не рискнул на открытое столкновение с Кунанбаем.

Если чутье не обмануло Божея, дело Кодара — новый ход Кунанбая. И не простой, не обычный ход. К чему он ведет? Но как бы ни повернулось дело, за последствия ответит один Кунанбай: ведь никто к нему не присоединился, никто его не поддержал. Он, наверное, и сам понимает, что они ухитрились оставить себе возможность борьбы.

Но если старейшины втайне надеялись остаться в стороне, то и у Кунанбая осталось кое-что в запасе: замысел его был продуман заранее до конца, и он не все еще высказал вслух.

В руках шести старейшин, собравшихся здесь, — судьбы тысяч семей племени Тобыкты, вся сложная паутина родовых и племенных дел, вся бесконечная путаница отношений, все узлы, все связи, все ходы. В потайных карманах этих шести вожаков скрыты бесчисленные расчеты, невидимые

повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости.

Став ага-султаном, Кунанбай поднялся над всеми. Власть в его руках. Он связан с внешним миром, с высшими властями, они с ним считаются, ценят его. Кроме того у него длинные руки, — он богат. Он за словом в карман не лезет, умеет держать себя, внушителен, упорен, непреклонен в достижении цели. И, ловко применяясь к обстоятельствам, он подавляет всех вокруг себя.

Но если в Тобыкты — вся сила Кунанбая, то в нем же, пожалуй, и вся его слабость. Недаром говорится: «Крылья — при взлете, хвост — при спуске». Старейшины — вот эти самые Байсалы и Божей — крылья и хвост Кунанбая.

Весь последний год Кунанбай не чувствует с их стороны прежнего доверия. Между ними встала глухая настороженность. Кунанбай знает это. Но сейчас никто из них не решился на открытый разрыв, все идут на уступки. А это для него очень важно. Как бы ни был он силен и властен, есть еще судья, на которого приходится оглядываться. Этот судья — племя. В глазах племени все старейшины ответственны за жестокий приговор не меньше, чем он сам. Гореть Кунанбаю — не уцелеть и им. Они будут вынуждены доказывать, что приговор справедлив, а что у них сейчас в душе — дело десятое. И Кунанбай делает вид, что он ничего не подозревает и ничему не придает значения.

Хотя Тобыкты состоит из множества родов и колен, ключи всех дел в руках только тех пяти-шести, аксакалы которых собраны здесь. По ним равняются все, и все прислушиваются к их голосу. Они и верховодят в Тобыкты.

Вот хотя бы Божей, сидящий по правую сторону Кунанбая. Он из влиятельного рода Жигитек. Из Жигитека в свое время вышел стойкий и упрямый властитель Кенгирбай. Да и впоследствии этот род дал много удальцов, любителей набегов и барымты,[22] походов и всевозможных опасных приключений. Жигитеки — краснобаи, буйный, непокорный народ.

Байсал — старейшина крупного рода Котибак. Род этот многочислен и силен, — недаром он носит прозвище «Косяк густогривого гнедого». Котибаки занимаются скотоводством, из года в год захватывают все большие участки земель и, в полном сознании своей силы, не стесняясь, безо всякой оглядки творят жестокие и темные дела.

Суюндик — нз рода Бокенши. самого малочисленного по сравнению с другими. И хозяйство у них скудное. К Бокенши по женской линии примыкает маленький пришлый род Борсак. Кодар, о котором шла речь, — из борсаков.

Сам Кунанбай — из рода Иргизбай. По численности этот род меньше, чем Жигитек и Котибак, но зато неизмеримо богаче. Кроме того, иргизбаи из поколения в поколение удерживают свое влияние над всем Тобыкты и вершат его судьбы.

По степени родства Байсал ближе к Кунанбаю, чем Божей и Суюндик. Когда нужна поддержка и когда требуется привлечь на свою сторону большинство или собрать силы, Кунанбай всегда опирается на род Байсала — Котибак.

Поэтому он особенно оберегает свое влияние в этом многочисленном роде.

Что касается Каратая, то он стоит как бы особняком от других. Он — старейшина рода Кокше, который имеет отдаленное, но равное родство со всеми. И хотя этот род не принадлежит к числу крупных, способный и ловкий Каратай, умело используя свои родственные отношения со всеми, никогда не оказывается вне событий и принимает участие в важнейших решениях.

Все, что сделают, скажут или решат сидящие здесь старейшины, будет бесспорно и безоговорочно принято остальными — и старыми, и малыми, и умудренными опытом аксакалами, и зрелыми мужами.

Рядом с Кунанбаем сидит его брат Майбасар. Став волостным, он сразу порвал дружбу с прежними приятелями и отдалился даже от ближайших родных Кунанбая. И хотя сейчас, по укоренившейся с детства привычке, он держится перед Кунанбаем, как кроткий ягненок, на самом деле он невероятно жесток. Майбасар стоит во главе тех иргизбаев, которым особенно выгодно было возвышение Кунанбая и кому выгодна его власть.

Из-за Майбасара и произошла размолвка между Божеем и Кунанбаем. Месяца два назад Божей, по просьбе народа, выведенного из терпения самоуправством Майбасара, обратился к Кунанбаю с требованием сменить волостного управителя. Кунанбай отказал, хотя хорошо знал о жестокостях, творимых Майбасаром. Он решил, что иметь около себя человека, который является как бы отражением его собственной несокрушимой силы и суровой непреклонности, совсем не плохо. Когда удары, наносимые Майбасаром, станут не под силу, все будут вынуждены искать защиты у него, у Кунанбая. Таким образом, Майбасар будет напоминать всем, что властью Кунанбая пренебрегать не следует.

Разговор о Кодаре Кунанбай перевел на другое, — он расспрашивал старейшин, как поправляется скот, хороши ли травы, давал указания, когда и как выступить в кочевку. Все соглашались, что и в этом году надо кочевать на хребет Чингиз. Правда, пастбища по ту сторону принадлежали роду из племени Керей, но аулы можно будет ставить вплотную к ним, а потом по берегам рек постепенно перекочевать дальше. У аксакалов Тобыкты была тайная мысль: кочуя из года в год по рекам маломощного соседнего рода, со временем совсем завладеть их пастбищами.

Эта беседа рассеяла мрачную напряженность. Все заговорили свободно, охотно, открыто. Воспользовавшись этим. Жиренше подмигнул Абаю и кивнул на дверь юрты.

Абай все еще не знал, кто такой Кодар и в чем состояло его преступление. Он только ужаснулся, когда услышал дохнувшее на него холодом слово «повешение». Он посмотрел на Кунанбая со страхом, вдруг поняв, что отец способен, пожалуй, настоять на таком жестоком решении. Но тут же мальчик подумал, что повешение до сих пор не применялось в степи, — он никогда не

слышал о такой казни. Это страшное слово вызвало в его воображении далекие времена Гарун-аль-Рашида; оно было связано с чужими краями — Багдадом, Египтом, Газной. «Вероятно, о повешении сегодня говорили только так, для угрозы, — у нас этого не может быть и не будет», — заключил Абай.

Лишь сейчас он понял, зачем ездил в город Жумабай. Это тоже поразило Абая. Сколько времени они провели вместе, а Жумабай хоть бы словом обмолвился! Посланник смерти, тая в душе ужасное повеление шариата, он скакал с Абаем наперегонки, шутил, забавлялся с ним!.. И теперь сидит молча, как будто ничто его не касается… Мальчик смотрит на Жумабая, и старшие кажутся ему загадочными, непонятными. «Был бы я сам взрослым, я понимал бы их, знал бы, чего они хотят и как поступят», — думает он.

Теперь он вспоминает, что поведение Жумабая в городе вызвало в нем недоумение. Выводя со двора темно-серую жирную четырехлетку, он сказал: «Надо отвести ее хазрету, это ему подарок от твоего отца». Расспросив, где живет настоятель мечети, мулла Ахмет-Риза, наставник Абая, Жумабай приказал мальчику показать дорогу.

Войдя во двор дома муллы, они стали привязывать лошадь. Хазрет, увидев их, понял, конечно, что лошадь приведена ему в подарок, но ничего не сказал. Жумабай передал мулле привет Кунанбая и добавил:

— Он просил благословения своему сыну, вашему ученику, который стоит перед вами.

Хззрет не замедлил с ответом.

— Аллах милосердный и всемилостивый да пошлет блага свои и щедрой милостью своею да наградит его, — торжественно произнес мулла и, подняв ладони, благословил Абая.

Не подыскав приличной завязки для разговора с хазретом, расточавшим витиеватые книжные выражения, Жумабай сразу приступил к делу: Кунанбай, мол, просил узнать мнение ученого наставника по одному вопросу, но поручение это — совсем особенное. И Жумабай многозначительно посмотрел на хазрета, а потом перевел взгляд на Абая. Хазрет сказал мальчику:

— Ибрагим,[23] дитя мое, ступай в медресе, а перед отбытием в аул приди ко мне, да примешь благословение мое в путь.

И мальчик вышел.

Теперь Абаю все ясно: Жумабай подсказал хаэрету желание Кунанбая услышать жестокий приговор.

Что могло еще удерживать Абая в юрте? Ни теплого слова, ни приветливого взгляда он тут не встретит. Выждав немного, Абай выскользнул из юрты вслед за Жиренше. Тот стреноживал коня, чтобы пустить его на подножный корм. В тусклом отсвете огня, падавшем сквозь открытую дверь, он сразу узнал мальчика и тихо окликнул его:

— Абай, я здесь! Иди сюда!

Абай не успел еще дойти до друга, а торопливый вопрос уже срывался с его губ:

— Ой, Жиренше, кто этот Кодар, о котором сейчас говорили? Скажи мне, что он сделал?

— Кодар? Это бедняк, бобыль из рода Борсак.

— А где он сейчас?

— Живет на склоне Чингиза, у подножия перевала Бокенши.

— А что он такое сделал?

— Говорят, когда в этом году у него умер единственный сын, он спутался со своей снохой.

— Спутался? Как это спутался?

— Чего там — «как»? Ну, просто покрыл ее…

— Я не понимаю, что ты говоришь.

— Вот чудак! Не знаешь, что значит «покрыть»? Ну, понимаешь, как верблюды — самец с самкой… понял теперь? — и юноша пояснил свои слова непристойными жестами.

Проскучав с аксакалами, Жиренше рад был вырваться из юрты на свежий весенний воздух. Ему хотелось подурачиться, посмешить Абая. Но мальчику было не до смеха, его лицо оставалось серьезным. Он весь задрожал от слов Жиренше.

— Неужели это правда? — еще раз спросил он, напирая на слово «правда».

— В том-то и дело, что никто ничего толком не знает… А в народе ходят слухи. Суюндик поэтому и говорит, что надо проверить, так ли все это, — ответил Жиренше, снова став серьезным.

— Так это же, наверное, неправда?

— Многие так думают. А вот когда Кунекен[24] ездил на сбор племени Сыбан. там Солтабай при всем народе попрекнул его этим. Было это так: Кунекен сказал ему, что надо бросить насыбай,[25] а тот и брякнул: «Насыбай не великий грех, а вот тебе не мешало бы обуздать волосатую ведьму, что свила гнездо у тебя на Чингизе и творит там темные дела!» Кунекена всего передернуло, ты видел — он и сейчас сам не свой… Вот и ходит как туча…

Абай сразу отчетливо представил себе отца — потемневшего, страшного, такого, каким он был, когда произнес слово «повешение». Несколько минут мальчик стоял молча, нахмурив брови, потом круто повернулся и пошел, тяжело вздохнув. Казалось, это был не вздох, а стон тяжелобольного. Абай шел к юрте матери. Жиренше хотел было остановить его и сказать что-то, но мальчик не повернулся и, не ответив на его оклик, пропал в темноте.

3

Кодар медленными глотками потягивал просяной навар с разведенным куртом,[26] разогретый ему снохой.

— Камка, голубушка, у нас, кажется, пятница сегодня? — спросил он ее.

— Да, пятница. Надо пойти на могилу прочитать молитву, — ответила Камка и, горько вздохнув, добавила — Сегодня он приснился мне совсем как живой…

— О боже милостивый, боже милостивый! — тяжко вздохнул Кодар.

Казалось, горе, наполнявшее его широкую, богатырскую грудь, хлынуло из нее вместе с этим вздохом. Разве могут бесплотные видения успокаивать сердце? Кутжан, его единственный сын, тоже снился ему сегодня. Но разве это утешение? А Камку сны все же успокаивают. Что же, пусть она расскажет. Пусть хоть сном потешит молодое сердце. Он слушает ее…

— Я видела его, как наяву: будто подъехал к юрте, слез с коня, такой веселый, светлый… Входит в юрту, подошел ко мне и говорит: «Вы с отцом много плачете. Ваши стоны я часто слышу. Неужто вы думаете, что я и вправду умер? Видишь, я же вернулся… Я вовсе не умер! Полно, Камка! Перестань грустить, будь веселей!» Так он и сказал. А я-то радовалась!

Молодая женшина и старик замолкли. Слезы светлыми каплями катились по их лицам.

Вокруг — тишина. И только откуда-то до слуха Камки доносится странный воющий звук. Уже несколько дней она слышит его по утрам.

Бледная, повернув бескровное лицо к свекру, она чутко прислушивается. Покрасневшие глаза полны слез. На висках похудевшего лица чуть заметно бьются голубоватые жилки.

— Это ветер дует по склонам Чингиза, дочка!

— Почему же он так воет?

— Крыша на сарае обветшала. Из щелей торчит старый камыш. Он, проклятый, и завывает от ветра. — успокаивает ее Кодар.

Они вышли из юрты. Старая, темная, вся ободранная, она одиноко прижалась к маленькому саманному сараю. Кругом — ни души, ни зимовок, ни других юрт. Соседние аулы давно откочевали на жайляу.

Кутжан всегда, бывало, говорил: «Не оставаться же нам жатаками!» Он находил двух-трех верблюдов для кочевки и двигался с семьей за другими. Разве знали они тогда заботы о пастбище, разве думали о том, как свести концы с концами в скудном хозяйстве? Частенько и сам Кодар говаривал: «С аулом идти неплохо, без молока не будем, может, кто-нибудь и корову на лето даст», — и они отправлялись в кочевку.

Но в этом году ни у Камки, ни у старика не хватало решимости покинуть без присмотра свежую могилу Кутжана, которого они оплакивали день и ночь.

Скота у них было мало. Даже если бы их жалкое стадо паслось круглые сутки, все равно оно не вытоптало бы и сотой доли пастбищ по склонам Чингиза. Зимой, после смерти сына, Кодар принял к себе старика родственника, пришлого бедняка Жампеиса, который добывал себе на пропитание работой по найму. Жампеис, бобыль, без семьи и крова, всю жизнь еле перебивался. «Сложишь две половинки—все-таки целое получится. На кого нам надеяться? Проживем как-нибудь, подпирая друг друга». — предложил Кодар Жампеису, когда тот пришел совершать молитву по умершему. Так Жампеис и остался с ними.

Забота о маленьком стаде отпала. Дома тоже дела не много. И оба — старик, согбенный беспощадным временем и невзгодами, и молодая женщина, подавленная горькой печалью, — все дни проводили на могиле. Так и сегодня они тихо побрели туда.

Ослепительный майский день как-то особенно приветлив. Степной простор залит живым золотом лучей. Редкие белые пушистые облачка плывут по небу. Мягкие очертания холмов покрылись зеленью. Еще не высокая, но густая трава зеленым ковром одела землю. Подснежники, тюльпаны, золотые палочки желтоголова, дикие ирисы и маки пестреют на ней причудливым узором — красные, желтые, голубые, — точно чудесно благоуханный рой ярких мотыльков разлетелся по степи. Утренний ветер, пробегающий по склонам Чингиза с горного перевала, как всегда, прохладен. Он умеряет жару и веет легкой, нежной свежестью.

Но все это сверкание жизни, буйная радость пробуждающейся природы как будто не существовали для двоих обездоленных людей. Перед их глазами только одно: свежая могила с горкой камней, выросшая недавно вон на той сопке. Глаза и сердца их стремятся только туда. Молодые побеги вызывают в них воспоминания лишь о прошлой весне, когда был жив бодрый, веселый Кутжан, — и новые волны непередаваемой горечи теснятся у них в душе.

Кодару недавно перевалило за шестьдесят. Этот седеющий старик — богатырского телосложения. Если бы не горе, с которым он не в силах примириться, ничто на свете не сломило бы его, — так велика была в нем сила жизни. В молодости он был настоящим батыром. Никто не мог поспорить с ним в ловкости и отваге. И до старости сберегал он свое честное имя от всего, что могло его опорочить. Какое дело ему до тех, кто гонится за славой и властью, кто опьянен могуществом и силой? Кодар оставался самим собою и, довольный тем немногим, что имел, вел тихую, замкнутую жизнь в кругу своей семьи. Ни поездки по чужим аулам, ни праздные пересуды его не привлекали. Его мало знали даже в родном ауле, а о дальних и говорить не приходилось. Да он и сам ни с кем не водился, кроме своих немногочисленных сородичей — борсаков и бокенши.

Полгода назад на него вихрем налетело горе, которое и сейчас, словно

когтями, рвет его сердце, — смерть его единственного сына Кутжана.

На что теперь надеяться? В чем найти утешение? Ведь у судьбы не вымолишь жалости! Сколько ни думай, выхода не найдешь. Значит, надо гнать от себя черные думы.

Его сноха Камка, любимая подруга сына, чахнет на глазах, безвольная, застывшая в своем горе. Что ожидает ее? Сердцу страшно ответить на это. Когда старик думает, что и она может уйти от него, стать чужой, ему кажется, что это так же ужасно, как смерть Кутжана. Тогда он второй раз лишится сына, — ведь он был отцом им обоим!

Камка и Кутжан так любили друг друга, так хорошо жили, без ссор и раздоров. Она целиком ушла в заботы о новом доме, ставшем родным для нее. Камка была бедной сиротой из племени Сыбан, расположенного далеко отсюда. Кутжан встретил ее во время поездки к родным матери и в ту же ночь умчал ее к себе. Кодар привязался к ней не меньше, чем к сыну. Он был отцом обоим. Он простодушно надеялся, что ему суждено бережно донести до могилы эту любовь и привязанность к детям.

Несколько дней назад Жампеис принес какие-то гнусные, грязные сплетни, которые он услышал в горах от других пастухов. Кодар не совсем понял его, а то, что понял, привело его в ярость. Он и слушать не захотел дальше и приказал Жампеису замолчать. Неужели люди, живущие в довольстве и благополучии, могут так беситься от безделья и выдумывать всякие небылицы? В бреду они, что ли, задают нелепые вопросы: «Почему это Кодар забился дома, точно в нору, и никуда не показывается?» А некоторые прибавляют ехидно: «А для чего сидеть там его снохе? Она-то о чем думает?»

Эти намеки словно тяжелым камнем придавили Кодара. Он понимал эти разговоры и пересуды как желание поскорее подыскать молодой вдове жениха и женить его без калыма, — то есть попросту подсунуть наследника, который прибрал бы к рукам имущество и скот Кодара. И такие коварные замыслы усердно раздувались людьми, выдававшими себя за родных, за сочувствующих! Кодар стал чуждаться всех и не хотел даже, чтобы его навещали. «Хоть бы год оставили ее в покое, хоть бы до поминок». — беспрестанно повторял он про себя. А что будет дальше, об этом он просто старался не думать. И вот холодное дыхание злобной клеветы проникло в его уединение.

Увидев потемневшее лицо Кодара, Жампеис понял, что лучше не растравлять его раны и не рассказывать дальше. К тому же он был неразговорчив, двух слов не умел связать, и передать свою мысль другому было для него великим трудом. Он замолчал.

А дело было так. Недавно на пастбище старый чабан Айтимбет прямо спросил его:

— Говорят, что Кодар живет со своей снохой. Ты знал об этом? У Жампеиса волосы встали дыбом.

— Будь я трижды проклят, если я хоть что-нибудь слышал о таком позоре! Брось, нечестивец, и говорить такое! — весь задрожал он.

Айтимбет не понял — оправдывается он или искренне ужаснулся? Но старый чабан не был ни клеветником, ни сплетником. Он невольно подумал: «Если бы бедняге что-нибудь было известно, вряд ли бы он так возмутился. Значит, или те действительно невиновны, или этот ни о чем не подозревает…» Айтимбет жил недалеко от зимовки Кодара. Он стал расспрашивать бедняков, которые изредка посещали старика, и в конце концов решил, что тот совершенно невиновен, что его опутывает грязная клевета.

Но напрасно бедняки соседи, бывавшие у Кодара и знавшие истину, спорили со сплетниками и твердо стояли за старика, — кто-то старательно продолжал плести паутину лжи. Клевета не только не угасла — она стлалась повсюду едким дымом, обволакивала Кодара.

Видно, мало Кодару одного горя, что на плечи его свалилась эта новая беда! Дня три назад Суюндик нарочно подослал к нему болтуна Бектена. Тот вывел Кодара из юрты и долго петлял языком вокруг да около. А под конец заключил:

— Попробуйте-ка всем заткнуть рты! Добрые люди сочувствуют тебе, пытались было положить конец сплетням, да не смогли! — При этом он упомянул о Суюндике и, как бы к слову, рассыпался в похвалах ему. Затем, опять помучив полунамеками, в упор бросил — Говорят ужасное про тебя и про твою сноху!

Кодар вздрогнул.

— Эй ты. что болтаешь! — угрожающе воскликнул он, точно хотел броситься на Бектена.

— Кунанбай поверил этим сплетням и готовит тебе жестокую кару, — невозмутимо продолжал Бектен. — Но разве может Суюндик предать родственника? Он нарочно прислал меня к тебе- пусть, мол, пока вся эта буря уляжется, Кодар укроется куда-нибудь, уедет подальше!

Кодар в бешенстве вскочил с места.

— Прочь отсюда! Убирайся с глаз моих! Что мне кара Кунанбая, когда сам бог не пощадил меня? Уходи прочь, уходи! — вне себя кричал он на Бектена.

Вспоминая обиду, Кодар и сегодня чувствует, как в нем закипает злоба. Но у него и в мыслях не было поговорить об этом с Камкой. Его отцовское сердце не чувствовало укоров совести. Камка для него — родная, нежно любимая дочь. День за днем они вместе несли свое нелегкое бремя: вместе горевали, вместе тяжко вздыхали, ничего не скрывали друг от друга. Постепенно они так сроднились, что порой казались себе стариками, прожившими вместе всю жизнь, или отцом и единственной дочерью; все у них было общее — все горечи, все несчастья жизни. Они понимали друг друга так, как только доступно человеку понимать человека.

Обо всем они могли говорить искренне, свободно, без стеснения, но сказать

своей тихой, безответной, подавленной горем снохе о такой чудовищной клевете Кодар не мог, — у него не повернулся бы язык.

Медленными шагами они дошли до могилы. Кодар не знал поминального чтения. Камка тоже нигде не училась. Приходя на могилу, каждый из них всегда мысленно творил свою собственную молитву: делился своим горем с Кутжаном и тихо упрекал его, зачем он их покинул, и слезы их скатывались на могилу. По многу раз они припадали к ней лицом и, прижавшись друг к другу, молча сидели, не отрывая от нее взгляда. Они знали каждый камешек насыпи. Занесет ли ветер сухую былинку — они уберут ее; разрыхлится ли, осядет ли земля — они разровняют все и сгладят.

Сегодня они тоже долго сидели у могилы.

Вдруг позади них раздался топот: приближались верховые. Ни Кодар, ни Камка не оглянулись, даже не повернули головы. Верховые подъехали к ним вплотную.

Их было пятеро: Камысбай, посыльный Майбасара, Жетпис, дальний родственник Кодара, и трое жигитов из рода Кодара. Сходя с коня, Камысбай пробормотал:

— Ишь, что делает, лицемер!

Они не предполагали застать Кодара и Камку на могиле. Всякий бы растрогался, увидев людей, погруженных в такое глубокое горе. Провожатые Камысбая не решались сойти с коней. Но Камысбай хитер и жесток: дай ему волосы сбрить, он и голову снимет, — самому Майбасару далеко до него.

— Слезайте! — приказал он и заставил всех спешиться. Среди них нашелся один, поддержавший Камысбая.

— Ишь, и головы не повернет!.. Приросла она к могиле, что ли? — злобно сказал Жетпис.

Кодар понял, что они приехали неспроста. Он повернулся и спокойно спросил:

— Что вам нужно, добрые люди? Камысбай ответил вызывающе:

— Тебя требует управитель! В Карашокы собрались все старейшины рода, все знатные аксакалы. Ждут тебя!

— Кто эти старейшины? И кто управитель?

— Управитель — старшина Майбасар, а главный — Кунанбай. Зовут тебя со снохой к ответу. Вставайте, пойдем!

— Ты с ума сошел, что ли? Какое тебе до меня дело?

— Что ты сказал? Как это «какое дело», когда вызывает управитель?

— Будьте вы прокляты за ваши угрозы! — вскрикнула Камка, вскочив с места и вся дрожа от волнения.

— Сами будьте прокляты, пакостники! У, ведьма полосатая! Иди сейчас же! — прошипел Камысбай. угрожающе вертя плетью. И, повернувшись к жигигам, приказал — Взять их! Посадить на коней!

Те кинулись на Кодара.

— Боже немилосердный, чего еще ты хочешь от меня? — в отчаянии вскрикнул Кодар и со всего размаху ударил двоих жигитов, стоявших ближе.

Один, схватившись за лицо, повалился наземь. Но не успел старик оглянуться, как еще трое набросились на него, скрутили ему руки за спину и затянули конским поводом. Камку, как мешок, приволокли к коням и посадили перед Камысбаем.

За Кодаром сел Жетпис, силач огромного роста. Остальные быстро вскочили в седла и помчались на восток, к Карашокы. «Меч занесен, пуля пущена. Что говорить с таким зверем? Буду говорить с самим управителем…»— подумал Кодар и за всю дорогу не сказал ни слова даже Жетпису, хотя тот и приходился ему сродни.

А Жетпис и его буйный брат Жексен как раз и были причиной несчастья, которое обрушилось на Кодара и Камку.

Из сородичей Кодара они были самыми зажиточными. Этой весной, после смерти Кутжана, народ стал упрекать Жексена: Кодар был с ним в близком родстве. Кодар был беден, а теперь потерял сына, осиротел, — что стоило Жексеиу оказать ему посильную помощь? А он даже упряжки для кочевки не дал и оставил Кодара одного на зимовье. Упреки повторялись, и, чтобы избавиться от них, Жексен начал нскать оправдания своей черствости.

— Сердце у меня всегда чует зло и гнушается его. Не в том вовсе дело, что я но хочу помочь ему, — мне противны его гнусности, — сказал он на многолюдном собрании родов Бокенши и Борсак и положил начало всем толкам и сплетням.

Вскоре Суюндик спросил Жексена, что значат его намеки.

— Он, оказывается, спутался со своей снохой. Что же мне прикажешь делать? Возьму его к себе — ты же завтра плюнешь мне в лицо! — объяснил Жексен и в подтверждение привел слова, сказанные Кодаром зимою, во время поминок Кутжана, на седьмой день после смерти.

Тогда Кодар, вне себя от горя, сказал: «Никого у меня не осталось, я один. Господь захотел наказать меня. Ну что же! Лучше я умру гяуром, чем признаю его власть над собою. Раз бог избрал меня своей жертвой, я тоже постараюсь отплатить ему!»

«Что он может сделать создателю?»—будто бы подумал тогда Жексен и пустился в разные догадки. Под конец он решил, что Кодар из мести богу сошелся со своей снохой.

На самом деле Жексена занимало другое. У Кодара был небольшой участок земли, расположенный неподалеку от зимовки Жексена. «Кажется, песня Кодара спета. Если я добьюсь, чтобы род изгнал его, земля достанется мне», — думал он, предвкушая поживу.

И вот гнусная сплетня, словно гонимое ветром пламя, домчалась до

Кунанбая. Гром грянул. На многолюдном сборе племени Сыбан Солтабай несколько раз принимался позорить Тобыкты именем Кодара. Когда весть об этом дошла до Суюндика, тот понял, что дело зашло слишком далеко, и опять приехал к Жексену, требуя новых доказательств. Не ограничившись этим, он сам стал расспрашивать окрестных жителей. Простодушные, скромные, далекие от всяких тайных происков соседи и родные Кодара не сомневались в его невиновности. Они рассказали только о том, как он переживает свое тяжелое горе, как подкосила старика раздирающая его сердце печаль.

Но Жексен и Жетпис твердили другое:

— Он только прикидывается удрученным. А чуть ночь, он—за другое…

Суюндик опять не добился ничего достоверного. Но он боялся, что, если слухи подтвердятся, это послужит Кунанбаю новым поводом, чтобы обрушиться на бокенши и борсаков. В беседах со старейшинами других родов он упорно повторял: «Это клевета!» Он решил защищать Кодара и на совещании у Кунанбая. Но тот сбил его с первых же слов.

Вдобавок напортил еще и безбородый Бектен, которого Суюндик сам посылал к Кодару. На обратном пути тот ночевал у Жексена и болтал все, что в голову взбредет.

— Кодар говорит: «Я не признаю ни бога, ни Кунанбая! Как хочу, так и поступаю. Какое вам до меня дело?»— и выгнал меня из дому.

Ради красного словца Бектен сгущал краски и валил на Кодара, как на мертвого.

После совета старейшин у Кунанбая Суюндик старался успокоить свою совесть, убеждая себя, что Кодар действительно виновен. И хотя достоверно никто ничего не знал, страшная гроза разразилась над Кодаром.

4

Карашокы, одна из вершин Чингиза, находится неподалеку от зимовки Кодара. По ее лесистым склонам, покрытым богатой растительностью, протекает бурная река. Тал, осина, кривая горная береза стоят здесь в пышном наряде полного расцвета. Здесь сочные пастбища, привольные места. Издавна обосновавшиеся здесь бокенши и борсаки никому не уступали их.

У многих из рода Иргнзбай давно уже глаза разгорались на Карашокы, где находился аул Жексена.

Сбор был назначен здесь. Аул Жексена состоял из четырех юрт, поставленных под огромной скалой, нависшей над рекою. Жигиты мчали Кодара и Камку сюда.

— Везут! Уже везут! Вот Кодар! — донеслись голоса.

Все сидевшие у Жексена во главе с Кунанбаем вышли из юрты. Жигиты еше не успели отъехать, как толпа, все увеличиваясь, направилась за аул и

сгрудилась на поляне.

Здесь лежал огромный двугорбый черный верблюд, привязанный к колу. Между горбами его был набит войлок, сверху положено седло, и все это было обмотано толстой длинной веревкой.

Увидев толпу, Камка, за всю дорогу не проронившая ни звука, вздрогнула. Она повернулась к Камысбаю:

— Послушай, ты же человек. В чем наша вина? Что вы хотите сделать с нами? Убивайте, но скажите прежде…

Камысбай, который до сих пор тоже молчал, заговорил. Слова его дышали ядом.

— Блудила со свекром, с Кодаром? Вот вас сегодня и прикончат! — сказал он и взглянул на Камку.

Камка тихо застонала и начала медленно сползать с коня. Камысбай сам едва удержался в седле. Крепко обхватив Камку, он быстро подъехал к толпе.

Там уже ссаживали с коня Кодара. Поравнявшись с толпой, Камысбай, поддерживая Камку рукою, сперва соскочил сам, а потом снял с коня ее. Бесчувственное тело тяжело грохнулось на землю: Камка потеряла сознание.

Перед Кодаром стояла толпа человек в сто: Кунанбай, Божей, Каратай, Суюндик, Майбасар и другие старейшины Тобыкты, за ними аксакалы и другие знатные люди племени. Ни одного бедно или даже скромно одетого, — здесь собрались все аткаминеры[27] сильных, крупных родов.

Связанный Кодар оглядел толпу. Злоба и гнев клокотали в нем. Увидев в толпе Кунанбая, мрачно уставившегося на него своим единственным глазом, Кодар весь затрясся. Рванувшись в порыве ненависти, старик крикнул:

— Уа, Кунанбай! По твоему, мне мало обиды от бога? Какую еще гнусность ты мне готовишь?

Его прервали крики Майбасара и других старейшин:

— Довольно болтать! Довольно!

— Замолчи!

— Заткни глотку! — завыли со всех сторон. Никто из них никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь осмеливался так дерзко говорить с Кунанбаем.

Кодар пережидал. Когда шум начал стихать, он опять сказал с негодованием:

— Неужели моим позором ты думаешь отомстить судьбе за свой ослепший глаз?

Кунанбай взревел.

— Заткните ему глотку!

Майбасар, грозя плетью, подбежал к старику.

— У, проклятый седой пес! Кодар в ответ крикнул еще громче:

— Если я седой пес, так вы кровавые собаки! Набросились, воете, разорвать норовите!..

Камысбай с четырьмя жигитами кинулся на Кодара и оттащил старика в

сторону. Кодар закричал что было сил:

— Не хотите узнать толком, виноват я или нет! Кровопийцы! — Взгляд, который он бросил на Кунанбая, был страшен.

Но петля уже была накинута ему на шею. Четыре жигита быстро поволокли его к черному верблюду. На голову старика накинули мешок. Шесть человек едва сдерживали Кодара, изо всех сил прижав его к боку верблюда. Он хотел было выкрикнуть последнее проклятие, но внезапно почувствовал сильный толчок в спину: верблюд, поднимаясь, толкнул его, — и тотчас что-то твердое, как железо, впилось в горло старика, сжало его, точно обрушившаяся скала. Мир рухнул и обвалился на него… Жизнь сверкнула перед его глазами последней вспышкой пламени — и померкла…

Толпа молчала.

Когда верблюд поднялся. Камка беспомощно повисла с другой его стороны. Ее смерть была мгновенной.

Но Кодар продолжал корчиться — смерть все не могла осилить его богатырского тела. Казалось, оно стало еще крупнее: когда Кодар вытягивался, ноги его едва не касались земли. Народ окаменел в безмолвии. И верблюд, поднявший на себе две человеческие смерти, тоже не издавал ни звука.

Байсал не выдержал: он отвернулся и отошел в сторону. Те, кто пытался говорить, говорили шепотом. Каратай тихо сказал Божею:

— Несчастный, как долго мучается… Никак не умрет… Только сейчас вижу, какой это был великан!

Божей круто повернулся и взглянул на него. Его лицо было мрачно и сурово.

— Твоего великана сожрал шакал! — сказал он и тоже отвернулся от страшного зрелища.

Толпа перешептывалась:

— Жив!.. Он все еще жив!..

Кодар судорожно бился, корчась и дергаясь.

Кунанбай заметил, что негодующий шепот в толпе растет. Муки действуют на нее тяжелее, чем само убийство. Коротким жестом руки он приказал положить верблюда.

Когда животное опустилось, бездыханная Камка, вытянувшаяся во весь рост, распласталась на земле. Кодар, еще живой, свалился, мягко согнувшись. Не дав толпе опомниться, Кунанбай указал на утес и коротко сказал:

— Отнести на вершину! Сбросить оттуда проклятого! Камысбай и четверо других молча взвалили Кодара на верблюда и повезли на вершину горы, — утес с противоположной стороны имел пологий спуск. Кое-кто, не выдержав, хотел было уйти, но Кунанбай остановил всех грозным окриком:

— Не расходись! Стойте все! Толпа опять застыла.

Из лесу быстро выехали два всадника. Они остановились у аула Жексена и, привязав коней у крайней юрты, направились к толпе. Это были Жиренше и

Абай.

Тем временем на вершине показались люди, несшие Кодара. Они смотрели на стоявших внизу. Кунанбай отошел в сторону и, рывком опустив руку, дал знак стоявшим на вершине: «Бросай!» Четыре жигита, раскачав грузное тело Кодара, с силой швырнули его с крутого утеса, нависшего над логом.

Истерзанное долгими мучениями могучее тело, не зацепившись ни за один камень, понеслось вниз и тяжело ударилось оземь. Труп упал перед самой толпой. Стоявшие с края услышали, как глухо хрустнули кости…

Как раз в этот миг Жнренше и Абай подошли к толпе. Заметив, что люди напряженно смотрят на вершину утеса, они тоже взглянули туда — и вдруг увидели человека, стремглав летящего вниз будто на больших распластавшихся крыльях — так развевалась его одежда. Жиренше бросился вперед. Абай закрыл глаза руками и бессильно опустился на землю. Все кончено… Несчастный погиб…

О, если бы он поспел вовремя! Он умолил бы отца пощадить Кодара. Он опоздал. И он не в силах теперь видеть этих людей. Бежать к коню, ускакать… Но в эту минуту толпа, молчавшая до сих пор, загудела.

— Бери ты!

— А ты что же?

— Бери сам!

Крики росли, сливались, перебивая друг друга. У многих в руках появились камни. «Драка!»— мелькнуло в голове у мальчика.

Но драться никто и не думал. Едва ударилось о землю тело Кодара, Кунанбай отдал приказание:

— Душа его все еще в теле. Чтобы избавиться от проклятого, пусть сорок избранных из сорока родов Тобыкты забросают его труп камнями! Ну! По одному из каждого рода — берите камни!

И он поднял камень. Потом, повернувшись к Божею и Байсалу, повторил:

— Берите! — В голосе его звучал неумолимый приказ. Те повиновались.

— Так повелевает шариат. Кидайте! — громко произнес Кунанбай и первый бросил камень в грудь Кодару.

Вслед за Божеем и Байсалом еще кое-кто нагнулся за качнем, но остальные заспорили, убеждая друг друга начать.

Приближаясь к толпе, мальчик видел, как люди поочередно, одни за другим, бросали каменья. Жиренше, подталкивая Абая, сказал ему на ухо:

— Смотри, видишь того старика? Это сородич Кодара. Жексен, знаешь? У, пес старый!

Жексен показался Абаю настоящим убийцей. Мальчик кинулся к нему. Но тот уже размахнулся и, крикнув: «Сгинь, дух нечистый, сгинь!», с силой швырнул большой камень в Кодара.

Только теперь Абай увидел распростертое на земле тело. Череп был уже

размозжен… Сердце Абая облилось кровью, злоба вскипела в нем.

— Ой, старый шайтан! — вскрикнул он и ударил Жексена кулаком по затылку.

Жексен быстро обернулся, думая, что кто-то, размахиваясь, задел его. Перед ним стоял сын Кунанбая.

— Ой, злой старый пес! — негодующе кричал Абай. Жексен растерялся.

— Э, ну что ты, мальчуган!.. Разве это я? Уж если ты такой батыр — вон позади тебя твой отец, — пробормотал он, не зная, что сказать.

В толпе заволновались:

— Что случилось? Что там такое?

Но Абай уже подбежал к своему коню. Отвязывая повод, он услышал тихий жалобный плач, доносившийся из крайней юрты.

Это плакали женщины. Одних сотрясали беззвучные рыдания, другие тихо стонали. Ни одна не смела плакать в голос, но удержаться от слез они были не в силах. Женщин и детей перед казнью согнали в эту юрту. Им пригрозили — и оттого они плакали, чуть слышно всхлипывая.

Точно стрела ударила в грудь Абая… Он прыжком вскочил на коня и погнал его в степь.

Жексен, вероятно, уже успел пожаловаться Кунанбаю. Мальчик услышал суровый окрик отца:

— Стой, негодный! Получишь ты у меня!

Но Кунанбай только погрозился, а сказать: «Догоните и приведите его», — он не решился.

Абай мчался к себе в аул. Жиренше догонял его.

— Эй, буян! Подожди, Абай!.. Стой ты, Текебай![28] — кричал он вслед, тут же придумав новое прозвище.

Они бешено скакали и скоро исчезли в долине.

Толпа, собравшаяся для того, чтобы убить двух людей, и совершившая свое страшное дело, расходилась в разные стороны. Старейшины, сев на коней, разъезжались в полном молчании.

Только Божей, ехавший вместе с Суюндиком и Каратаем, проговорил со вздохом:

— Раньше за убийство сородича-мужчины ты мог требовать выкуп. А попробуй-ка тут не то что выкуп потребовать, а просто заикнуться об обиде! Сам убил! Сорок родов вместе с тобой забросали камнями… своими руками… Вот теперь и скажи хоть слово!

Каратай сказал:

— Самое страшное из повеления шариата Кунанбай приберег к концу… Выходит, в законе — простор для уловок и хитрости! И шариат на руку

Кунанбаю!

Суюндик был глубоко подавлен.

— Пусть забудется все, что случилось! Молю бога, чтобы дело кончилось этим! — сказал он.

Но Божей на своем веку повидал многое. Он лучше других мог разгадать Кунанбая.

— Кончилось? — горько вздохнул он и добавил — Бокенши и борсаки, помяните мое слово: не на Кодара вы накинули сегодня петлю. Несчастные, с божьей помощью вы накинули ее на свою собственную шею!..

Эта мысль взволновала всех. И они молча продолжали свой путь.

5

Абай и Жиренше не думали, что им придется сегодня быть свидетелями такого ужасного зрелища. Аксакалы и старейшины старательно держали все в тайне и ни во что не посвящали народ. Никто и не подозревал, что готовится такое дело.

Утром Жиренше привел в аул Кунанбая гончую тигровой масти. Ее появление вызвало целый переполох, все дети высыпали на улицу. Зачинщиком шума был озорник Оспан.

Жиренше с гончей подъезжал к Гостиной юрте. Едва увидев его, Оспан закричал:

— Возьми, возьми его! Куси! Жолдаяк, Борбасар![29]

Он всполошил всех желто-пегих овчарок в ауле Кунанбая, — Жиренше старался уговорить его:

— Оспан, радость моя! Ты же умник, не делай этого! Перестань! Но, как видно, лесть не действовала на Оспана.

— Борбасар, айт, айт! — кричал он с громким хохотом и вихрем летел по аулу, натравливая собак на гончую.

Жиренше уже успел подъехать к Гостиной юрте. Он спрыгнул коня и обнял гончую за шею, стараясь защитить ее. Десяток овчарок, выскочивших из тени юрт, злобно рыча, окружили его тесным кольцом. Жиренше не мог ни зайти в юрту, ни двинуться с места. И чем больше он уговаривал мальчишку, тем громче смеялся тот и тем настойчивее натравливал своих собах.

— Ар-рр! — поощрял он их, сам кидаясь вперед.

Но старым овчаркам, видимо, надоело науськиванье Оспана и лень было кидаться на беспомощную жертву — они ограничивались громким рычанием и лаем. В Большой юрте Улжан услышала поднявшийся шум и повернулась к сидевшему за завтраком Абаю.

— Пойди, Абайжан, уйми проклятых собак… Этот дуралей опять всех перемутил! — сказала она.

Абай быстро отогнал собак и повел Жиренше в Гостиную юрту. Оспан, обиженный, что его лишили забавного зрелища, тихонько подкрался сзади и ущипнул Жиренше за икру. Тот перепугался, вообразив, что его кусает собака, рванулся в юрту, со всего размаху ударился головой о косяк двери и в один прыжок оказался у переднего места. Оспан залился торжествующим смехом и стал дразнить Жиренше:

— Ой, трус, трус!

Стройная, в большом ошейнике черномордая гончая, с отливающей, как у тигра, шерстью, очень понравилась Абаю.

— Как ее зовут? — спросил он у Жиренше.

— Желкуйин.[30]

— И кличка хорошая!

— Кличка по ней: настоящий вихрь, зайца в один миг сшибает. Жиренше любил повторять эту похвалу, сказанную известным охотником, жившим с ним в одном ауле. И это окончательно покорило Абая, любовавшегося гончей.

— Поедем, поохотимся на зайцев!

— Что же, поедем… Лошадь у тебя есть? Я и сам ехал на охоту… Пока седлали буланого четырехлетка Абая, друзья успели зайти в юрту и напиться кумысу. Вскочив на коней, они направились на запад, к невысоким холмам, носившим название Кзылшокы.

Там с азартом неистовых охотников они погнались за зайцем. Тот долго спасался от них, выдерживая расстояние, и только после трех-четырех перевалов Желкуйину удалось нагнать и схватить его. Больше зайцев им не попадалось. В поисках дичи они добрались до самого крайнего выступа Кзылшокы, примыкавшего к Чингизу.

Тут им встретился верховой. Это был один из посыльных Майбасара — Жумагул. Он посоветовал Жиренше:

— Ехали бы вы лучше на Карашокы. Там сегодня судят Кодара, весь народ туда съезжается.

— А где Кодар? Где его сноха?

— За ними поехали жигиты, привезут обоих… Сбор в ауле Жексена, — и Жумагул, хлестнув коня, помчался дальше.

Жиренше предложил Абаю:

— Поедем, поглядим!.. Ну, едем, едем! — и он увлек за собой мальчика, не дав ему опомниться.

Страшная казнь совершилась у них на глазах.

Теперь они мчались обратно лесистым берегом реки. Леденящий холод

сковывал Абая. Сердце мальчика, все его чувства — все замирало в ужасе перед поступком отца, перед кровью, забрызгавшей руки Кунанбая. Его родной отец так жесток, так бессердечен!..

На оклики Жиренше Абай не отвечал. Он летел вперед то вскачь, то быстрой рысью. Гончая стлалась в беге перед его конем. Они проскакали берегом, а потом стали огибать склоны широко раскинувшегося хребта. Дорога здесь была узкая — одна тропинка, по которой вдвоем не проедешь, на такой дороге быстро ехать и разговаривать трудно. Но Жиренше, нагнав Абая и следуя за ним по пятам, не переставал болтать. В ауле Жексена он успел потолковать с жигитами, и ему хотелось сейчас же поделиться новостями с Абаем. Мальчик, подавленный виденным, дрожащий, как в лихорадке, не понимал половины его слов, но главное он уловил.

Две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста. Первая как раз и послужила поводом к обвинению Кодара и принималась как оправдание совершенной над ним чудовищной казни. Кодар говорил: «Бог покарал меня, но я тоже отплачу ему», — так повторяли сегодня убийцы. Вторую фразу Кодар бросил перед смертью: «Если я седой пес, то вы — кровавые собаки…»

Абай был потрясен. Ему вспомнился тихий, жалобный женский плач, раздававшийся в юрте. Неожиданно для самого себя Абай вдруг разразился слезами. Жиренше заметил это, хоть и ехал позади Абая.

— Ой, что ты, озорник Текебай! Что с тобой? — удивленно допытывался он и тронул коня, чтобы поравняться с Абаем.

Но тот хлестнул коня и снова ускакал вперед.

Они уже миновали горные овраги и спустились на широкую равнину. Абай повернул своего буланого к Кольгайнару и несколько раз хлестнул его нагайкой. Ему не хотелось, чтобы Жиренше видел его слезы. А тот вскачь старался нагнать мальчика. Но разве его догонишь? Он ускакал уже на расстояние пущенной стрелы и, мчась по степи один, перестал сдерживаться и залился неудержимыми слезами.

За последние годы он ни разу не плакал. А сейчас не мог успокоиться и, словно весь растаяв, плакал навзрыд. Он пустил коня во весь опор, тучная зеленая степь летела навстречу и мимо, — так во время весеннего половодья мчится широкий поток, бурный и стремительный, мощный и волнующийся. Встречный ветер бил в лицо, в глаза Абая, срывал его слезы, уносил в степь…

До сих пор Абай не переживал ничего подобного. Он был далек от мира человеческих страданий, но теперь сразу постиг всю их глубину, и его сердце всей силой чувства откликнулось на них. В нем рождалась жалость к невинно погибшим, к жестоко и бесчеловечно поруганным жертвам, закипала злоба и ненависть к убийцам.

«Отец» — какое это родное, теплое слово!.. И один голос в нем настойчиво защищал отца, отгораживал его от всего жестокого и преступного, а другой

твердил и твердил о сегодняшнем зверском убийстве… И от ужаса путались мысли, противореча друг другу.

Ему вспомнились слова, которые он слышал еще в медресе. Наставник поучал: «Плач и слезы человеческие облегчают вину грешников, искупают их преступления». Неужели его слезы — это искупление убийцам? Он тут же отбросил эту мысль: «Нет, это не так!»

Ведь убийцы говорили, что делают это во имя веры, по велению закона, подтвержденного имамом. Значит — жаловаться некому? Значит— он один в безмолвной пустыне? И внезапно он почувствовал себя беспомощным, бесприютным сиротой. Новая волна чувств, клокочущая и бурная, хлынула откуда-то из неведомой глубины и, как о берег, всею силою ударила в его хрупкую детскую душу. Абай зарыдал еще сильнее. Слезы ручьем текли по его лицу.

Он рыдал громко, в голос. Только бы не услышал Жиренше!.. И мальчик продолжал мчаться вперед.

Укачала ли его непрерывная скачка, или молодое сердце не вынесло душевного волнения, но внезапная рвота сдавила его грудь, выворачивая все внутренности. Тело и душа слились в равной и невыносимой муке.

И все-таки он не остановился. Ухватясь за гриву лошади, чтобы не упасть, он продолжал скакать.

Жиренше так и не смог догнать его. Примчавшись в Кольгайнар, Абай спрыгнул с коня и направился к юрте матери.

Улжан стояла у входа. Когда сын подошел ближе, она взглянула на него, и сердце ее болезненно сжалось. Абай был смертельно бледен, изменившееся его лицо показалось чужим. «Померещилось мне, что ли?»—подумала она и вгляделась пристальней. Да, это был Абай. Но в каком ужасном виде!.. Привязав коня, он подошел к ней, и мать увидела его покрасневшие от слез глаза.

— Абайжан, свет мой, что случилось? Кто тебя обидел? — тревожно спросила она. У нее мелькнула мысль — не побил ли его отец?

Они были одни. Абай молча обнял мать, прижал горячую голову к ее груди и застыл, неподвижный. Как мог он забыть, что он не один, не беззащитный сирота, что у него есть мать!..

Он дрожал всем телом, точно в сильных рыданиях. Но слез на его глазах уже не было.

— Расскажи, солнце мое, что случилось? Отец побил, да?

— Нет, никто меня не бил… Все потом расскажу… Апа, постели мне, спать хочу, — ответил он и, так и не выпуская мать из своих объятий, вместе с нею вошел а юрту.

Улжан терпелива: она не стала больше расспрашивать сына, не надоедала ему. Приготовив постель в правой части юрты, возле лежанки Зере, она молча

уложила сына и укрыла его своей лисьей шубой.

Но бабушка сразу заметила неладное.

— Что ты, душа моя? Заболел? — спросила она. Улжан поспешила ответить:

— Да. прихворнул. Не надо его трогать, пусть выспится. Вызвав прислужницу, она тихо приказала:

— Закрой тундук, чтобы солнце его не беспокоило, и опусти дверь.[31]

Бабушка пристально посмотрела на Абая, отвернувшегося к стене, и удивленно зачмокала. Потом она начала читать молитву, беззвучно шевеля губами.

Улжан недоумевала: куда делся Жиренше— ведь Абай с утра поехал с ним? Но вот на дворе залаяли собаки, и она вышла наружу. Жиренше стоял возле Гостиной юрты, привязывая коня. Не отходя от двери, Улжан подозвала его и стала расспрашивать.

Жиренше выложил ей все. Он рассказал и об утренней охоте на зайцев, и о том, что было в ауле Жексена, и о том, как вел себя Абай на обратном пути. Под конец он спросил:

— А где же он сам?

Улжан ответила, что Абай спит, и холодно посмотрела на юношу. В голосе ее звучала досада.

— Вот что, милый мой, ты уже не дитя и должен соображать, что делаешь. Поехать самому — еще куда ни шло. Но зачем ты потащил Абая в такое место? Ведь он еще ребенок! Хоть бы подумал, что он может испугаться и заболеть…

Жиренше не знал, что отвечать. Он растерялся и покраснел.

— Да я и сам жалел потом… Но, клянусь богом, мы и не думали, что увидим, как убивают Кодара!

— Будь добр, никогда больше не води Абая в такие места. Да и сам не ходи, ты — еще юноша…

Совсем смущенный, Жиренше молча ковырял землю рукояткой плети. Улжан ушла к себе. Жиренше, не задерживаясь дольше, сел на коня и уехал со своей гончей.

Абай проснулся только к вечеру, когда вернулись стада и аул наполнился блеянием ягнят. Овец доили поздно, было уже темно. Кругом стоял гул. Сквозь этот шум и гам страшные, но неясные, словно подернутые дымкой, видения возникали перед глазами Абая. Голова его разламывалась, тело пылало, точно в огне, во рту было сухо, губы потрескались. Он провел по ним языком, чмокнул, хотел сглотнуть слюну, — напрасные усилия: во рту все пересохло.

Возле него сидели мать и бабушка. Улжан опустила голову, приложив ладони к его лбу.

— Апа… Бабушка… Что я, заболел? Да? — спросил он.

— Да, тело у тебя горячее. Что у тебя болит? — спросила Улжан. Поворачиваясь на бок, Абай почувствовал острую боль а висках. Он сказал об этом.

Пока он спал. Улжан успела рассказать свекрови обо всем, что произошло с мальчиком. Обе решили: «Сильно испугался — вот и заболел!» Зере бранила Жиренше и всех аксакалов и сердито плевала на землю.

Абай сразу заметил, что им обеим все известно.

«Отец!.. Отец!..»— снова молнией пронеслось в его мозгу. Он тяжело вздохнул, провел рукою по груди и сказал едва слышно:

— Какой он жестокий! Какой бессердечный!..

В первый раз мальчик высказал вслух свои мысли об отце— мысли, которые до того теснились в его мозгу бессвязными, полуосознанными обрывками.

Бабушка не расслышала его. А Улжан сидела молча и ничего не ответила сыну. Тогда свекровь стала подталкивать ее коленом: скажи, мол, что говорит Абай.

— Об отце вспомнил. Говорит — жестокий, почему не сжалился, — ответила та ей на ухо.

Зере вздохнула и, не отрывая взгляда от внука, долго гладила его по голове.

— Любимый, светик мой, ягненок ты мой… Не сжалился, говоришь?.. Не знает он жалости!

Она подняла к небу лицо с полузакрытыми глазами и прошептала:

— О боже, прими мое скорбное моление! Огради радость души моей от губящей злобы отца! Отведи от дитяти жестокость и бессердечность его, создатель наш!.. — Она провела по лицу беспомощными, старчески скрюченными пальцами, благословляя внука.

Улжан прошептала:

— Аминь.

Абай тоже провел руками по лицу.

Две матери… Между ними дитя, раненное в самое сердце. И в таинственных сумерках, когда темные силы носятся по земле, выискивая свои жертвы, все трое молча молились о мире, благости и любви.

Абаю показалось, что он снова вернулся к безмятежной радости детства, к его сияющей ясности и умиротворенности. На душе стало легче, но головная боль усилилась и поднялся жар.

В юрте настало молчание. Шум, поднятый вернувшимися овцами и ягнятами, становился все глуше и глуше— и наконец смолк. В степи сегодня было необычайно тихо.

Внезапно с края аула донеслись какие-то странные, заунывные, раздирающие сердце звуки.

— Ой, родной мой!.. Ой, родной мой!.. — рыдал кто-то, мчась на коне.

По обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криком и стонами скачет

по аулам. «Ой, родной мой!»— начальные слова горькой вести. Ужасная мысль мелькнула в голове Улжан: не случилось ли несчастья с кем-нибудь из близких? Может быть, с самим Кунанбаем? Она вся задрожала и стала напряженно прислушиваться. Нет, ей просто послышалось от страха: конского топота не было. Но плач и стоны раздавались где-то совсем близко.

Абай понял все раньше других: голос был детский, но ловко передающий обрядовый плач взрослых, — это вопил Оспан…

Он возвращался с поля и поднял вой, не слушая старших, убеждавших его, что такие шутки не к добру.

— Ой, родной мой Кодар! — голосил он и, шлепая себя по бедрам, вприпрыжку мчался меж юртами.

Весть о смерти Кодара быстро разлетелась по аулам, и мальчишка подхватил ее. Сперва он выбрал открытое место у ручья, собрал целую ватагу ребятишек, и там несколько раз подряд поднимался похоронный плач. Потом они нашли сухую кость, выкопали ямку, похоронили кость, как покойника, и понеслись в разные стороны с шумом и криками.

Улжан не на шутку рассердилась на Оспана: Абай болен, а озорной мальчишка так напугал их всех своим воем.

— Поди-ка сюда, сынок! — сказала Улжан. — Поди сюда!

Она подозвала его спокойно, без малейших признаков недовольства в голосе. Если его бранить, он по обыкновению огрызнется и удерет, потом его и не поймаешь. А сейчас он без всякого страха через всю юрту бросился мимо Абая к матери и в один прыжок очутился у ее колен.

Улжан схватила его за левую руку.

— Что это ты выдумал — передразнивать похоронный плач! Было тебе сказано, что это не к добру? И ты выдумываешь такие шутки, когда болен Абай! У, пустоголовый! — сказала она сердито. Сильно дернув Оспана, она повернула его и несколько раз шлепнула по заду.

Оспан никогда не плакал, когда его бил отец: тот не обращал внимания на его слезы. Когда же его шлепала мать, он ревел во весь голос. Сейчас он тоже взвыл, стараясь поднять как можно больше шума. Вырвавшись из рук матери, он подбежал к высокой кровати, стоявшей в левой стороне юрты, лег, уткнулся лицом в подушку и продолжал реветь. Плач не помогал, — на этот раз мать и не собиралась жалеть и успокаивать его. Оспан скоро понял это. Слезы его уже высохли, но он все притворялся, что плачет, и порой испускал дикий крик. Наконец ему и самому надоело реветь, и он опять принялся за прежнее. Вполголоса он снова стал повторять.

— Ой, родной мой!

Он исподтишка посматривал в сторону матери: та не шелохнулась. Он повторил еще раз — и наконец опять разошелся:

— Ой, родной мой Абай!.. — заунывно затянул он.

Абай, несмотря на головную боль, невольно рассмеялся.

Но Оспан заметил, что грузное тело матери зашевелилось: очевидно, она собиралась встать. Предвидя недоброе, он не дал ей времени повернуться и проворно соскочил с постели.

— Ой, родной мой Абай!.. Абай!.. Абай!.. — прокричал он во весь голос и опрометью бросился к выходу. Мать успела подняться, но схватить озорника ей не удалось.

— Эй, кто там? Поймайте его! Притащите ко мне этого полоумного! — крикнула она.

Оспан торжественно прошелся несколько раз взад и вперед перед юртой, а затем помчался на самый край аула, — он вовремя заметил своего старшего брата Такежана, собиравшегося исполнить приказ матери.

6

Абай болел долго. Одни говорили, что у него «ушик», другие — «сопка»,[32] третьи — тиф; каждый гадал по-своему, и никто не мог сказать точно. А что хуже всего — никто не брался лечить.

Только один раз — на второй день болезни — по приказанию бабушки одна пожилая женщина на закате солнца вывела Абая из юрты и несколько раз похлопала его горячими легкими только что зарезанного барана.

— Сгинь, нечистая сила, сгинь! Оставь сына моего! — говорила она и, повернув Абая лицом к заходящему солнцу, продолжала свое удивительное лечение, опрыскивая мальчика водой изо рта.

Ноги не слушались Абая и дрожали, голова кружилась, он с трудом выбрался из юрты. Может быть, оттого, что у него потемнело в глазах, западный край неба, полыхающий в огне закатных лучей, казался ему совсем особенным. Сказка это или сон? В этом полубреду мир выглядел новым и странным…

Через два дня аул откочевал на Чингиз. За несколько дней перед тем распорядители кочевки расспрашивали проезжих: оттаяла ли почва на жайляу, высохла ли земля, поднялась ли зелень? Обычно подножия Чингиза оттаивали быстро и сразу покрывались пышной зеленью; склоны же прогревались медленно, и трава на них пробивалась скупо, — слишком много выпадало на них снегу, покров его был слишком толст.

Широкие, богатые водой и пастбищами жайляу всех родов Тобыкты находились по ту сторону хребта Чингиз. Едва тронулся с Кольгайнара аул Кунанбая, другие ближние аулы тоже дружно снялись со своих мест. Они шли целой лавиной, разными тропами перебираясь через горные перевалы.

Если бы Абай был здоров, то дни кочевки были бы для него днями

непрерывных удовольствий, веселья, скачек. Весенняя кочевка через трудные перевалы Чингиза тяжела для взрослых — для пастухов, табунщиков и «соседей». Для детей и подростков это сплошная цепь развлечений. В прошлые годы все десять перегонов кочевки от Кольгайнара до реки Байкошкар, протекающей по ту сторону Чингиза, Абай проводил, как веселый праздник.

В этом году аул откочевал туда же. На пути Абаю знакомы все места остановок. В некоторые урочища аулы приходили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру двигались дальше. Кочевку проводили спешно, и даже там, где приходилось оставаться два-три дня, больших юрт все же не ставили, а разбивали только легкие маленькие юрты и уютные низенькие палатки и шалаши.[33] Каждый устраивал себе жилище по своему вкусу, как кому нравилось, точно по пути на жайляу все сговорились играть в «аул-аул», «шалаш-шалаш» и «курке курке».[34]

Во время кочевки аулы, даже далеко отстоящие один от другого, съезжаются вместе. Они появляются бог знает откуда и следуют одним сплошным потоком. Сходятся люди, смешиваются стада, и в эти дни трудно отделить одни аул от другого.

Но если для кого-нибудь кочевка — удовольствие, то чабанам и табунщикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку: то расседланные кони забредут в чужой табун, то ягнята одного аула смешаются со стадом другого, то овцы перепутаются так, что не разобрать… В такой неразберихе ягнята и бараны беззащитной бедноты становятся добычей любителей чужого добра по завету: «Пальцем придержи, глазом подмигни».[35] И сколько аткаминеров, оберегая свое стадо, потрошат в ночной темноте живую «прибыль», оказавшуюся в их табуне, и торопливо — полусырую — съедают у костров!..

В этом году аулы тронулись особенно дружно, снявшись одновременно, и двигались по степи вместе. К тому же и волки не давали покоя кочующим, заставляя их держаться ближе друг к другу. Места были глухие, хищники бродили здесь целыми стаями. До прихода кочевок они рыскали по склонам гор, питаясь мышами и сурками; теперь они пользовались случаем и в ночное время нагло нападали на стада. Большинство аулов на всю ночь ставили у отар конную охрану. Вокруг стоянок жгли костры и до самой зари не переставали шуметь. Как отличаются эти дни со всеми их неожиданностями и опасностями от обыденной спокойной жизни! Днем — все на конях, в движении, у мужчин всегда наготове пики, соилы и секиры; смотришь— и кажется, будто двинулось в поход вооруженное войско!

Но нынче кочевка, проходившая так же, как и в прошлые годы, была мучительно тяжела дли Абая. Никакой особенной боли он не чувствовал, но и здоровым не был. При малейшей попытке двинуться у него темнело в глазах, кружилась голова, и он беспомощно валился с ног. Но нельзя же было из-за

болезни мальчика откладывать кочевку!

Кунанбай обычно заглядывал к Улжан раз в три-четыре дня. Большую часть времени он проводил у младшей жены — красавицы Айгыз, и нередко заезжал к старшей жене — Кунке. У Кунке был свой отдельный аул, и во время переезда на жайляу Кунанбай двигался с ее кочевкой.

В начале болезни Абая он раза два осведомлялся о его здоровье, а потом точно вовсе забыл о нем.

Ехать верхом Абай был не в состоянии. Можно было бы устроить его на верблюде, но мать не разрешила. «Того и гляди вьюк свалится, либо верблюд споткнется — мальчика задавить могут», — говорила она.

Кочевой пapод не знает тележек, и в ауле была только одна, на которой обычно ехали бабушка и Улжан. Это была голубая повозка Зере, первая и пока единственная во всем Тобыкты. Когда Кунанбая избрали ага-султаном, он купил ее в Каркаралинске, «Во время кочевки тебя будут возить в ней», — сказал он матери.

Улжан тоже становилось все труднее ездить по горам верхом, — она старела и тучнела. Но сейчас Улжан думала только об Абае. Пожертвовав собственными удобствами, она посадила сына с бабушкой в повозку, а сама села на смирную гнедую кобылу и, не отставая, ехала за ними.

Кочевка заняла около трех недель. Только к концу ее Абай стал двигаться без посторонней помощи и выходить из юрты.

Душевное его состояние тоже стало лучше. Казалось, ему пора уже было вернуться к прежней детской беззаботности, мальчишеской резвости и веселью. Но странно: в этом году, особенно за последнее время, он сильно охладел к детским забавам и шалостям. Ребяческие игры, полные раньше увлекательной прелести, больше не манили его. Он словно утратил свое детство. Может быть, это следствие тяжелой болезни? Или мучительные переживания последнего времени омрачили его душу? Неужели детство ушло безвозвратно и он стоит на пороге зрелости? Но зрелость еще не пришла — он остановился где- то на полдороге, будто наткнувшись на высокую стену, неопределившийся и растерянный.

В этом году ему исполнилось тринадцать лет, и внешне Абай тоже был где-то на полпути — ни юноша, ни мальчик. Ростом он был уже высок, руки и ноги удлинились. Раньше он казался курносым, а теперь нос его заметно выпрямился. Выражение лица стало не по-детски серьезным, но в его фигуре еще не было законченности. Он похудел и вытянулся. Он напоминал растение, выросшее без солнечных лучей: белесое, слабое, с длинным хрупким стеблем.

Раньше на его смуглых щеках всегда играл румянец. Теперь же — от долгой ли жизни в городе, или от перенесенной болезни — лицо его побледнело, черные волосы поредели и меж ними светлела кожа; было сразу видно, что он болел и долго не видел солнца.

Вместе с внешностью резко изменился и его характер. Сейчас он вполне мог бы ездить верхом, но его никуда не тянуло. Он избегал сверстников и нашел себе других друзей: лучшим его другом стала бабушка, после нее — мать.

Только в этом году Абай сумел оценить, какой чудесной рассказчицей была Зере. Она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием слушателя.

Началось это так.

Как-то во время болезни Абай не мог сомкнуть глаз от мучительной боли и попросил бабушку рассказать ему что-нибудь. Та сперва задумалась, а потом начала говорить— и казалось, не слова, а жемчужины нанизывала она на длинную нить.

Э… века скрывает туман…

Кто постиг, что таится в них?..

— начала она нараспев. Слова эти врезались в память Абая. И в следующий раз он только дотронулся рукой до ее колена и тихо напомнил:

Э… века скрывает туман…

Кто постиг, что таится в них?..

Это была просьба о новых чудесных рассказах.

Зере знала много: «Эдил-Жаик» «Жупар-Корыга». «Кула-Мерген» и другие легенды. Абай заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже в пути.

И когда он наконец выздоровел, старая Зере не прекращала своих рассказов. Она говорила и о том, свидетельницей чего была сама, и о том, что ей приходилось слышать. Ее рассказы о борьбе между родами заняли несколько дней… И мальчик узнал, как лет двадцать — тридцать назад племя Наймам устроило набег на эти места, на этот самый аул; как во время набега погиб ее приемный сын Бостанбек; как тобыктинцы взяли в плен акына племени Найман — Кожамберды и как полтора года он жил здесь в оковах. Зере помнила

наизусть его длинные песни. Она рассказывала внуку и о других походах, о Караморской битве, о многом ином. Потом она перешла к печальным историям Калмакана и Мамыр, Енлик и Кебека.

Абай не уставал слушать бабушку, весь поглощенный ее речью, сосредоточенный и внимательный. А когда она утомлялась и эамолкала, Абай шел к матери. Улжан знала тоже много рассказов, но больше всего он любил, когда мать читала ему стихи. Неграмотная, годами не повторявшая их никому, она бережно хранила стихи в памяти, и это удивляло и восхищало Абая. Она целыми днями могла передавать жыры,[36] айтысы,[37] назидания в стихах.

Чтобы подбить женщин на новые рассказы. Абай и сам иногда читал им стихи из книг, которые привез из города. Так он прочел «Жусупа и Зюлейку», тут же переводя и объясняя непонятные матерям персидские слова. Он вызывал их самих на рассказы и снова принимался слушать.

Как страшны были повествования Зере о набегах и грабежах! Вся мрачность жестоких народных бедствий и разорения, вся горечь человеческого унижения вставали перед ним в этих рассказах.

Как-то в разгар их захватывающей беседы издалека приехали два гостя: старик и юноша. Молодого Абай знал раньше и страшно обрадовался, увидев его. В прошлом году тот побывал у них на жайляу, прожил трое суток и спел им длинную песню «Козы-Корпеш и Баян-Слу». Это был акын Байкокше. Второго, старика, Абай раньше не видел, но Улжан его знала хорошо.

Когда окончились взаимные приветствия и расспросы о семьях и хозяйстве, Улжан с улыбкой обратилась к Абаю:

— Вот, сынок, ты все надоедал нам — то мне, то бабушке… А теперь перед тобою сокровищница рассказов и песен… Это — акын Барлас.

У Барласа узкая серебристая борода, почтенная внешность и звонкий голос. Он сразу понравился Абаю. Этот не такой, как другие старики, которые стараются держать про себя все, что знают!

У Барласа открытая душа: откровенный, разговорчивый, он сразу повел себя так, как будто целый век прожил в этом ауле и был здесь своим человеком.

— Э, сынок, недаром говорится:

Песня акына — потоки вод неземных.

Слушатель — мел, жадно вбирающий их!..

— сказал он, с мягкой улыбкой посмотрев на Абая. — Уважения достоин тот

народ, который умеет говорить и слушать. Коли тебе не надоест слушать, Байкокше не устанет рассказывать.

После переезда на жайляу в аул Улжан стали часто наезжать гости из отдаленных аулов. Барлас был из племени Сыбан. Кочевья Сыбана на жайляу оказались невдалеке от аулов Кунанбая, и Барлас воспользовался этим, чтобы повидаться с друзьями. По дороге к нему присоединился Байкокше из племени Мамай. Байкокше — ученик Барласа в песенном искусстве. Из года в год он сопровождает в летнее время Барласа и проводит с ним неразлучно несколько месяцев.

Радушие окружающих сразу подняло настроение акынов. Вечером, пока варилось мясо, Барлас пел песню «Кобланды-батыр». Она показалась Абаю самой красивой, самой увлекательной и сильной из всех когда-либо читанных или слышанных им. Барлас кончил петь и поднялся, чтобы вымыть руки перед едой. Абай спросил его:

— Как звали того, кто сложил эту песню?

— Говорят, она сложена в незапамятные времена, дитя мое. Но Садакен утверждал, что такою он слышал ее от акына Младшей орды— Марабая.

Садакен, которого назвал Барлас— был знаменитый акын Садах.

Особенно понравились Абаю прощание Кобланды, скачка Тайбурыла и единоборство Казана и Кобланды. От волнения он долго не мог заснуть в эту ночь.

Улжан и на следующий день не отпустила Барласа и Байкокше.

— Оставайтесь! Куда вам торопиться? Погостите у нас еще несколько дней! — уговаривала она.

Эта просьба — желание Абая. Раньше он думал, что все разумное и поучительное — только в книгах, что знание и искусство живут в медресе. Разве могло что-нибудь сравниться со сказаниями Низами, Навои и Фнзули, с тонкой лирикой Шайх-Саади, Хожи-Гафиза, с героическим эпосом Фирдоуси? Он не знал еще, что у казахов есть Асан-Кайгы, Бухар-жырау, Марабай, Садак и целая сокровищница — «Козы-Корпеш» и «Акбала-Баздык».

Оттого ли, что в услышанных им песнях был особенно понятен язык и близки события, или от волнующих напевов Барласа и Байкокше, голоса которых то взвиваются в вышину, то тихо стелются и журчат, то несутся, как вихрь, или, наконец, от звуков домбры, ласкающих слух, — кто знает? — но Абаю казалось, что никогда он не слыхал ничего лучше песен Барласа и Байкокше.

Целыми днями до позднего вечера Абай не отходил от акынов. С их приходом юрта Улжан превратилась в место постоянных сборищ.

К полудню, когда в ауле кончали привязывать жеребят, все жители собирались пить кумыс. Захмелев от крепкого напитка, они жадно слушали пение.

Днем акыны всегда пели пространные сказания, а в промежутках передавали изречения мудрецов, тяжебные состязания биев и стихотворные речи, составленные острословами минувших времен. Когда же толпа расходилась и оставались одни близкие, Барлас пел свои собственные песни или песни, сочиненные его современниками. У него был неистощимый запас песен акынов Шоше, Сыбанбая. Балта, Алпыса и других. В этом неисчерпаемом потоке сказаний он сам особенно любил те, которые говорили о думах и чаяниях народа.

И когда наступал вечер, Абай и обе матери заслушивались этими любимыми песнями Барласа. Жемчужные слова, чудесные дары внимательному слуху… В такие минуты Барлас казался Абаю совсем другим, не похожим на того Барласа, который пел днем: тот Барлас воспевал лишь забавы, веселье, в вечерами это был мудрый наставник, глубокий мыслитель.

Тайна дум моих глубока,

Как туман, что вдали встает.

Грудь мою съедает тоска…

Вкруг — простор серебряных вод…

Забурлила, плещет река,

Это песни Барлас поет,

— изливал он в песне свои думы.

— О чем его печаль? — спрашивал иногда Абай у матери.

— В нем великая сила, он никогда не унизится до восхваления того, что недостойно восхваления. Он не пойдет просить по аулам и собирать подарки. Учись у него, храни его слова в памяти, — говорила Улжан.

Абай не пропускал ни одного слова из песен акына. Он благоговейно внимал новым песням, рождавшимся тут же, под сводами юрты. Эти песни обличали и судили преступные дела и гнусные пороки правителей и владык. В одной песне Барласа были такие слова:

И владыкам алчным укор

У народа не сходит с губ —

Ты — правитель, хищник и вор,—

Словно ворон, летишь на труп.

Абай был рад, что отец в отъезде, и молил бога, чтобы тот не возвращался как можно дольше. К счастью, за все время пребывания Барласа Кунанбай ни разу не заглянул к ним, — с несколькими старейшинами он объезжал аулы рода. Поэтому Улжан спокойно задерживала у себя Барласа. Когда Кунанбай бывал дома, акынам и певцам не приходилось останавливаться надолго, а тем более выступать так свободно.

На кого намекал Барлас, говоря о правителях? Он никогда не говорил определенно, но Абай по-своему толковал его песни, — за примерами ходить было недалеко.

А получат свыше приказ,

Подымают хвосты тотчас,

Суетятся и ждут наград.

Черный страх нагнали на нас,

Сами в страхе на власть глядят.

«Это — волостной Майбасар», — решил про себя Абай.

Перед властью — спину согнет,

А за телку — десять возьмет,

Отбирают скот бедняка,

— Знать, у хитрых рука легка!

Одинаковый сбор давай.

Будь бедняк ты иль будь ты бай.—

Платит двор, собирает вор —

И плоды твоего труда

Льются, как простая вода…

— говорил Барлас под домбру и тяжело вздыхал.

Мальчик умолял акынов сам, трогательно и нежно, действовал и через мать, — и добился того, что Барлас и Байкокше прожили у них целый месяц. За это время Абай крепко сдружился с ними. Скоро он стал спать рядом с Барласом, а днем старался услужить ему, как только умел. Старик оценил восприимчивость мальчика и однажды, оставшись с ним вдвоем, сказал ему:

Ты растешь. Абай-ширагим.[38]

Кем ты будешь, ставши большим?

И отдал Абаю свою домбру.

— Вот, сынок. Это — тебе мое благословение. Говорю от всего сердца!

Абай ничего не мог сказать от смущения.

Это было накануне отъезда Барласа и Байкокше. Наутро, когда кони акынов были уже оседланы. Абай отозвал мать и попросил ее;

— Апа, подари им обоим что-нибудь хорошее.

Улжан ничего ему не ответила. Но, когда гости напились кумысу, Улжан взглянула на Барласа, как будто собиралась сказать что-то. Гости остановились в ожидании. Улжан сказала:

— Мой сын, вернувшись из учения, долго болел и никак не мог поправиться. Ваша речь, звеневшая у нас, принесла ему исцеление: Вы благородные гости.

Действительно, Абай в это время не испытывал никакого недомогания, чувствовал себя здоровым. Мать продолжала:

— Заезжайте к нам почаще. И бабушка и все мы будем рады вам. Да будет счастлив ваш путь! Примите скромный подарок в благодарность за ваш приезд… Вы найдете его на дворе… Не обижайтесь на нас, расстанемся добрыми друзьями!

Абай вышел на улицу проводить гостей. Два конюха подвели Барласу сытого буланого коня, а Байкокше — гнедую кобылу четырехлетку.

Акыны, повторяя: «Хош! Хош!»[39] и ведя подаренных коней в поводу, тронулись в путь.

Счастливое мальчишеское чувство овладело Абаем. Довольный и обрадованный, он обхватил грузное тело матери, прижался к ней и стал осыпать поцелуями ее щеки, глаза и губы.

В ВИХРЕ

1

В этом году аулы Кунанбая закончили стрижку овец раньше обычного. Никогда Кунанбай не двигался с осеннего пастбища до первого снега, а тут он вдруг начал откочевку на зимовья в начале октября. Никто из старейшин остальных родов не был извещен об этом, хотя все они были в близком родстве с аулом Кунанбая.

Суюндик недоумевал. Приехав погостить к Божею, он спросил его:

— Ну, разобрался ты в новых затеях своего сородича? Что это ему нынче не сидится на месте?

Суюндик и Божей были в юрте не одни. С ними сидел большеносый и узкобородый Тусип, первый после Божея человек в роде Жигитек. Он в раздумье сказал:

— Никогда раньше Кунанбай так не делал… Кормов ему не хватило, что ли?

Божей взглянул на него и рассмеялся. Суюндик посмотрел на него подозрительно — не скрывает ли тот чего-нибудь? — и вздохнул:

— О господи! Да разве может ему не хватить кормов? Никакому стаду не вытоптать его пастбищ!.. Тут что-то другое… Скот у него только начал поправляться, а он в такую рань снялся на зимовку. — на каких же кормах он продержит стадо до весны? Ведь и овец-то он остриг так рано только для того, чтобы сняться…

Он задумался, потом прямо обратился к Божею:

— Может быть, ты знаешь что-нибудь? Тогда поделись с нами!

— А ты думаешь. Кунанбай советовался со мной?

— Хоть бы и не советовался… Ты один умеешь проникать в его тайны. Скажи, что ты думаешь? Я ломал-ломал голову…

— Если бы Кунанбай заторопился весной. — начал Божей. — я бы понял, что он хочет захватить пастбища уаков… Если бы это было летом, — значит, у него разгорелись глаза на земли кереев… Но зимовья все кругом — тобыктинские, до чужих далеко… Как бы он на своих не набросился… Ведь кинулся же беркут Тнея на своего хозяина!..[40]

Божей, видимо, предчувствовал неладное, и слова еще больше взволновали Суюндика. Он глубоко задумался: кому теперь ждать несчастья, о котором говорит Божей? Ведь все кругом так спокойно…

— Ой, дорогой мой! — опять вздохнул он. — Кажется, Кунанбаи и без того обкорнал нас всех… Глумился, сколько хотел: род Жуантаяк выгнал; у Анет взял, что только можно было; обобрал и Кокше. Чего ему еще не хватает? Тридцать кочевок с севера на юг все принадлежат ему. Здесь — его весеннее пастбище, тут — летнее, там — осеннее… И зимовий тоже, слава богу, достаточно!

Пастбищами род Иргизбай богаче рода Жигитек. Это удручает Тусипа не меньше, чем остальные дела его рода, и, слушая Суюндика, он представил себе все эти богатые пастбища и тяжело вздохнул.

— Одно его урочище от другого не дальше ягнячьего перегона, — продолжал Суюндик.

— Чего ему надо? — заговорил Тусип. — У него и луга с богатой зеленью, и водоемы с цветущими берегами, и многоводные ручьи, и широкие озера…

— У других на жайляу возле одного ручейка по несколько родов жмутся, а у него, глядишь, для каждого аула не одна хорошая речка! — поддержал Суюндик.

— И всем этим завладел он в такое короткое время! Ну, что еще у него на

уме?

— Вот именно: что у него на уме?

Божей слушал их молча. Внезапно он повернулся к говорившим и язвительно сказал, махнув рукой:

— Э, если бы вы имели право решать вдвоем, тогда бы и говорить стоило! А что толку от ваших жалоб?

Некоторое время он сидел молча, уставившись на Тусипа.

— Беспомощных всегда угнетают думы. Но бесплодными мечтами сыт не будешь. Какая польза в разговорах, если ты бессилен? — добавил он, хмуря брови.

Тусип знал, что эти же думы давно грызут сердце самого Божея. Могила Кенгирбая, их предка, находится на урочище Ши; богатые кочевья двух колен рода Жигитек расположены совсем близко от этого урочища. Наступил день, когда Кунанбай занял и их под свое зимовье. Это было тяжелым ударом для Божея, и он решил насмерть схватиться с Кунанбаем, но Кунанбай поспешно вызвал к себе Тусипа и сумел поколебать его. Вернувшись, Тусип стал отговаривать Божея от ссоры. Самое выгодное время, самый удобный повод для выступления против Кунанбая были упущены.

Старую обиду Божею пришлось затаить глубоко в душе. Отомстить он был бессилен. Однако чуть только речь заходила о Кунанбае, он не скрывал своего возмущения и подбивал Тусипа на ссору с ним. «Говорили мы с Кунанбаем достаточно. Теперь пора действовать. Если ты храбр, вооружись мужеством. Если нет, продолжай свое — покоряйся», — повторял он. То же твердил он и Суюндику. В свои тайные замыслы он посвящал и Байдалы, которого считал надежнейшей опорой рода Жигитек.

Но с каждым из них он говорил об этом наедине, соблюдая строгую тайну.

2

Аулы Кунанбая дошли до Кольгайнара в семь перегонов. Они уже собрались разъезжаться по своим зимовьям, как внезапно повсюду было получено приказание Кунанбая: никому не двигаться с места без его приказа. Взяв с собой Майбасара, он поехал в горы Чингиз. Путь туда был недалекий, но Кунанбай целый день не сходил с коня, объезжая всю местность. Вернулся он в аул только к сумеркам и подъехал прямо к юрте своей старшей жены — Кунке.

Сегодня здесь собрались только женщины: матери Кунанбая — жены его умершего отца, жены его дядей и другая женская родня двух поколений. Их аулы — числом около двадцати — давно уже выделились из общего хозяйства и кочевали отдельно. Все они приехали в гости и привезли полагающееся по обычаю угощение.

Два раза в год женщины этих аулов приносят такое угощение в юрты

Кунанбая. Первый раз — когда его аулы прикочевывают на весеннее пастбище; после долгой разлуки женщины, соскучившись на отдаленных друг от друга зимовьях, спешат побывать везде, начиная с Большой юрты, где живет Зере; второй раз они собираются осенью, перед зимней разлукой.

Как только в двери, почтительно откинутой Майбасаром, появилась внушительная фигура Кунанбая, смех и шумная болтовня женщин мгновенно смолкли.

Мужчины сели. Обратиться к Кунанбаю осмелилась одна Таншолпан, вторая жена его отца, считавшаяся старшей после Зере:

— Сын мой дорогой, твои матери и старшие невестки принесли угощение. Теперь мы собираемся расходиться. А твоей старой матери приношение уже сделано…

В последние годы, говоря при Кунанбае о Зере, все называли ее почтительно «старая мать». Вслед за другими и Таншолпан так же называла свою прежнюю соперницу.[41] Кунанбай промолчал. Таншолпан была одною из своенравных матерей в их семье. Говорили, что в дни молодости она с пикой в руке бросилась догонять врагов, напавших на конский табун ее аула. У Таншолпан — четыре сына, а младшие жены, у которых много сыновей, обычно становятся своенравными и смелыми.

Молчание Кунанбая не понравилось ей, она снова оживленно заговорила:

— Мы угощаем не Кунке, а тебя: ты молод, но уже стал нашим главою. Завтра мы разъедемся по зимовьям, до весны нам придется просидеть, как в норах. Такова уж женская доля… Пусть мое угощение будет добрым пожеланием тебе до будущего года и молитвой с твоем счастье, сын наш!

Кунанбай взглянул на нее, кивнул головой и ответил после недолгого молчания:

— Ты сказала «разъедемся по зимовьям»? А что, если не будем разъезжаться? Как бы не пришлось вам принести угощение еще раз!

Он многозначительно усмехнулся. Женщины поспешили подхватить его смех, хотя и не поняли, в чем дело. Кунке, высокая смуглая женщина с бледным худощавым ликом, решила воспользоваться хорошим настроением Кунанбая.

— А я приказала слугам завтра развязывать тюки и ставить юрты для всех. Разве мы кочуем дальше?.. Вы смутили весь аул; никто не знает, остаемся ли мы здесь, или тронемся еще куда-нибудь, — сказала она и вопросительно посмотрела на Майбасара.

— Зато жди второй раз угощенья, — подмигнул тот.

— Не вели развязывать тюки и ставить юрты: завтра опять двинемся, — сказал Кунанбай.

— Э, дорогой мой сын, что это за новая кочевка? — с удивлением спросила Таншолпан, пристально глядя ему в лицо.

— Будем кочевать вместе. Завтра с самого утра тронемся на Чингиз. Мы осмотрели пастбища и места для аулов. Так и передайте по своим аулам: пусть готовятся в путь, — ответил Кунанбай.

На следующий день на заре все двадцать аулов рода Иргизбай снова двинулись с места и направились в самое сердце Чингиза.

Они снялись все вместе, дружно, и шли, не растягиваясь в пути. Обыкновенно аулы во время кочевки тянулись вереницей, как стая журавлей или гусей. А сейчас все они сгрудились, как стая уток, на которую напал ястреб. Эта внезапная кочевка и началась необычно. Чуть занялась заря, Кунанбай приказал строго:

— Пусть не мешкают и собираются быстрей! И чтобы не растягивались в пути! Трогаться всем одновременно и двигаться без остановок! — коротко бросал он, рассылая нарочных по аулам.

С левой стороны дороги, ведущей на Чингиз, стоит одинокая сопка. Кунанбай в сопровождении Майбасара и Кудайберды, своего старшего сына от Кунке, обогнал аулы и поднялся пи вершину холма. Его гнедой конь, подтянутый, настороженный, вырисовывался на рассветном небе и казался огромным и длинным. Вытянув прямые уши, точно метелки камыша, он чутко прислушивался и часто оглядывался, будто торопя человеческий поток, катившийся мимо него. Кунанбай стоял на холме высоко перед толпой, — казалось, он хотел что-то сказать движущемуся у его ног народу.

Солнце еще не всходило, когда двадцать аулов молча, без обычного шума и криков, начали вьючить тюки. Но теперь, тронувшись с места, все зашумели, загомонили — и волны звуков хлынули, сливаясь в один могучий многообразный хор. Там кричит верблюд, которому тяжелый груз режет спину; тут жалобно ноет верблюжонок, отставший от матери; здесь рычат друг на друга сторожевые собаки. Издалека доносятся крики верховых, — это жигиты вскачь подгоняют вьючных верблюдов. Слышен детский плач и брань матерей; со всех сторон над отарами раздаются громкие окрики погонщиков стад и конских табунов.

Когда дружные ряды аулов уже двинулись с места, Кунанбай, стоя на вершине, повернулся к Камысбаю и Кудайберды:

— Поезжайте вы двое и созовите ко мне старейшин всех аулов! И два коня мгновенно сорвались с холма. Высокий, стройный Кудайберды и широкоплечий Камысбай, обгоняя друг друга, помчались по склону наперерез человеческому потоку. Долетев до кучки мужчин, ехавших перед первым кочевьем, они чуть задержались и снова поскакали дальше. Немедленно же из этой кучки выделились двое верховых и ровной рысью направились к сопке, где стоял Кунанбай. Заметив, что правитель ждет их, они заторопили коней и прибавили ходу.

Пока Кудайберды доскакал до крайнего аула, к Кунанбаю уже подъехало

около тридцати человек. Наступил безветренный свежий осенний день. На прозрачном небе не было видно ни облачка. А когда к Кунанбаю со всех аулов вереницей потянулись верховые, огромный сияющий диск солнца, разбрасывая снопы лучей, всплыл на гребень дальнего хребта.

Вздыбившись, бугристой каменной громадой лежал Чингиз. Его высокие хребты были подернуты голубоватой дымкой. Золото лучей хлынуло на них, и горы засверкали своим многоцветным нарядом. Жаворонки тучей взвились к небу — вероятно, их спугнули тронувшиеся в путь караваны, — бескрайный небесный простор наполнился их звонкими песнями. Едва виднеясь в вышине, длинной вереницей медленно плыла стая журавлей, посылая свое однообразное прощальное «тру-тру» проходившим внизу толпам.

Кудайберды и Камысбай облетели все аулы и на взмыленных конях вернулись к Кунанбаю вместе с тремя стариками. В числе этих троих был брат Кунанбая от другой матери — Жакип. Кунанбай принял его салем и тотчас же пришпорил коня, коротко сказав: «Едем!»

Кони затопотали по сопке. Кунанбай в сопровождении старейшин направился на Чингиз. Ряды кочующих потеснились, давая им дорогу. Но всадники не торопились.

В центре их ехал сам Кунанбай. С обеих сторон его окружали дяди по отцу, братья, двоюродные братья и другие сородичи.

Кунанбаи — единственный сын своей матери Зере, старшей жены его отца. Большая юрта рода осталась за ним: он владеет огромными богатствами, пользуется неограниченной властью. Он старше своих родных и по возрасту. И потому ни один из потомков его деда Иргизбая не смеет поднять против него голос, во всех двадцати аулах никто не решается даже высказать ему свое недовольство. И если Кунанбаю нужна поддержка, никто не щадит себя; его покоряющая сила, его властный голос и неудержимая воля заставляют всех следовать за ним. Предстоял ли захват чужих земель или подавление непокорных родов — каждый из старейшин понимал Кунанбая по одному едва заметному движению его век. Даже в семейном быту, где так сложны взаимоотношения, где возникает столько поводов для ссор, — одно имя Кунанбая мгновенно пресекало все дрязги. Даже своенравные жены-соперницы, готовые каждую минуту разорвать друг друга, не решались на шумные ссоры: братья мужей или старшие родные быстро умеряли чрезмерный пыл молодых и пожилых женщин. Неугомонных они укрощали побоями.

Двадцать аулов, тесным кольцом окружавшие Кунанбая, походили на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда. Во всем огромном Тобыкты род Иргизбай действовал не стесняясь: там, где не помогали слово и власть, в ход шло открытое насилие. Небольшой круг иргизбаев был крепким и цельным, и они сумели подчинить своему влиянию всех, кто составлял племя Тобыкты. С людьми, нужными им, они роднились. По поговорке «Из длинной пряди и

аркан длиннее» они достигали своих целей обходными путями. Бывали случаи, когда они нарочно впутывали кого-нибудь в сложное темное дело, а потом являлись в роли спасителей и друзей — и тем самым расширяли круг своих сообщников и пособников.

Постепенно каждый из немногочисленного рода Иргизбай оказался в родстве или дружбе с каждым из двадцати остальных родов. Эта сложная сеть отношений и дала возможность Кунанбаю выдвинуться и достичь теперешнего его могущества. Старейшины, ехавшие сейчас за своим ага-султаном, даже не задавались вопросом — куда и зачем они кочуют? «Что бы он ни решил — нам плохо не будет. Придет время — узнаем», — думал каждый из них.

Длинный гнедой конь Кунанбая шел крупной иноходью; спутникам ага-султана приходилось следовать за ним на рысях. Кунанбай ехал на шаг впереди своей свиты: так имам во время молитвы выделяется перед толпой молящихся. Первенство и здесь, как всегда, было за ним. Если более молодые всадники выезжали вперед, старики немедленно одергивали их коротким приказом: «Осади назад!» Единственный глаз Кунанбая на лету успевал охватить все вокруг. В окружавшей его толпе были одни иргизбаи; конечно, в каждом ауле есть пришельцы из других племен — чабаны, сторожа, «соседи», но дела решаются без них.

Кунанбай со своей свитой обогнал кочевья. Он объяснил старейшинам двадцати аулов, до какого лога они должны следовать, где им остановиться и как ставить юрты. Это не было ни беседой, ни совещанием, — слова Кунанбая звучали продуманным приказом.

3

Шесть дней спустя тем же самым путем тянулся в горы другой кочевой караван. Это шли бокенши и борсаки. Они тоже миновали Кзылшокы и направились в самое сердце Чингиза.

Кочевья их двигались рассеянной, растянутой вереницей, каждый аул отдельно. Верховых было совсем мало, — на конях ехали лишь погонщики скота да несколько женщин. Все остальные—дети, старики, старухи — сидели на вьючных верблюдах. Было похоже, что эти аулы уже отослали табуны на зимнее пастбище, оставив лишь необходимых на зиму лошадей, — даже мужчины ехали на верблюдах-двухлетках или на волах. Но отсутствие коней объяснялось другим — бедностью этих двух родов. Своим достатком выделялись только три аула: Суюндика, Жексена и Сугира.

Старейшины, окруженные двумя десятками жигитов, ехали молча, без смеха и шуток. Серые люди в ветхих бараньих полушубках и чапанах как бы сливались с серым, подернутым туманом, тусклым осенним небом. Суюндик был особенно мрачен: народ ждал от него решительных действий, а он ни на

что не решался.

— Посмотрим на месте… Поговорим с ним самим… Пусть скажет, по каким обычаям, по каким законам бросил всех и ушел один, — отвечал он уклончиво.

Жексен поддерживал его, но остальные— и молодежь и старики — были возбуждены. Кунанбай необычно рано откочевал с осенних пастбищ. Почуяв неладное, другие роды тоже провели раннюю стрижку овец и последовали за ним. Все лето бокенши чувствовали на себе нахмуренный взгляд ага-султана. Не раз он находил предлог, чтобы придраться к ним. Обеспокоенный этим, Суюндик ездил посоветоваться с Божеем, но и тот не мог сказать ему ничего определенного…

Встревоженный известиями о движении аулов иргизбаев, Суюндик снял с места свои кочевья вслед за Кунанбаем. В то же время, предчувствуя неладное, к зимовьям двинулись и остальные — как сторонники иргизбаев, так и противники их, в том числе Божей и Тусип.

Зимовья рода Бокенши в Чингизе не были обширными. Центром их являлось зимовье Жексена — Карашокы, где весною был убит Кодар. Дойдя до Чингиза, кочевья разошлись знакомыми путями по пастбищам.

Аулы Суюндика и Жексена дошли до реки и направились вдоль ее лесистого берега. Миновав горные отроги, они вышли наконец на свои места. Вот поляна у подножия Карашокы, вот и утес, с которого был сброшен Кодар…

Но что такое?.. Они не верили своим глазам… Трава у подножия утеса была скошена, сено убрано и сложено в стога. На земле Жексена паслось большое стадо коров и верблюдов и белели юрты богатого аула. Вокруг лениво стлался дым костров. На полянах с задорным блеянием прыгали ягнята… Зимовье не принадлежало больше Жексену: его занял один из прибывших сюда до него аулов.

На возвышенности паслись кони. Почти все они — рыжей и буланой масти. Это табун Кунанбая!..

— Покарал нас бог! Суюндик, дорогой, что теперь делать? — воскликнул Жексен. Слезы выступили у него на глазах.

— Да… О такой беде говорится; «Жайляу твои — в руках врага, зимовья твои охватило пламя»… — мрачно ответил Суюндик. Больше он не проронил ни слова.

О каких-то новых недобрых затеях Кунанбая уже ходили слухи, но что он решится на такой шаг — этого никто не мог и предполагать.

— Уж, верно, Кунанбай захватил не только землю Жексена! — вне себя от негодования воскликнул Жетпис. — Вот увидите, он забрал все зимовья бокенши!.. Лучше смерть, чем такой позор!

Несколько молодых жигитов, хлестнув коней, стремительно вылетели вперед… В толпе поднялись крики:

— Кровная месть за землю!

— Бокенши!.. Ублюдки вы, что ли? Или чужаки?

— Вот до чего довел вечный страх!

— Держали вы нас за полы, — вот и дожили теперь до такой беды!

Крики словно плетью хлестнули Суюндика. Он задрожал. Если дать жигитам волю, они сейчас же кинутся на табуны Кунанбая… Но ведь кричат не старейшины — кричат бедняки, темные люди! Они бог знает что могут натворить в порыве возмущения, а кому отвечать за это? Завтра все свалится на голову Суюндика, — будут говорить, что это он привел, он подстрекал… Ужас охватил его при этой мысли.

Суюндик сдержал коня и резко крикнул:

— Стойте, жигиты!

Все остановились и обступили его.

— Если вы решаете вступить в драку, ступайте, куда хотите!.. И действуйте одни! Меня с вами не будет!.. Ступайте, вон дорога, ступайте! Вы думаете, Кунанбай испугается ваших двадцати соилов? Если бы он боялся, то он не делал бы того, что сделал! У вас — двадцать, у него — сто; у вас будет сто, а у него— тысячи! Глядите! — И он указал в сторону аула.

И все увидели, как из-за юрт, с утеса и из-за прибрежных сопок к ним неторопливо подъезжали верховые. В руках у них были соилы; одни уже держали их поперек седла, другие зажимали под коленом, третьи повесили петлей на руку. Всадников было не меньше сотни. Они с разных сторон вклинились в конские табуны, съехались вместе и сомкнутыми рядами двинулись к Суюндику.

Ошеломленные бокенши сразу смолкли.

Суюндика поддержал Сугир. Он был владельцем многочисленных табунов, самым крупным богачом среди бокенши.

— Мы не одни, у нас есть сородичи, есть народ, наконец, — заговорил он негромко. — Добьемся, чтобы нам вернули наше! Передадим все на суд народа!.. Но только не забывайтесь в неразумном порыве, не затевайте недоброго!

— Зачинщики ссоры головой ответят за последствия! Помните это! — резко заключил Суюндик.

В толпе всадников, надвигавшихся на жигитов от конских табунов, находился сам Кунанбай. Его длинный гнедой конь, вскидывая голову и потряхивая гривой, шел важным мерным шагом. Приблизясь, ага-султан отослал вооруженных всадников и с небольшой свитой в десять стариков подъехал к Суюндику и его жигитам.

Взгляд Кунанбая был суров и холоден. Высокомерный, самонадеянный, он всем своим видом, казалось, говорил: «Что вы можете сделать со мной?» Голова его была надменно закинута назад. Все аткаминеры-властители обычно держатся так, но Кунанбай был как-то особенно грозен. Суюндик хорошо знал,

что это внешний прием, он и сам не раз прибегал к такому способу воздействия на людей, но сейчас вместе с окружающими он невольно поддался властной молчаливой силе Кунанбая.

Бокенши первые отдали салем. Кунанбай принял приветствие, едва пошевелив губами в ответ. Некоторое время длилось напряженное молчание. Потом заговорил Суюндик.

— Мирза, что это за верховые? — спросил он (все старейшины Тобыкты называли Кунанбая мирзой[42]).

— Так… хотели клеймить коней, пора отогнать их на зимние пастбища. Вот и собрались, — ответил Кунанбай.

Разговор оборвался. Жексен обернулся назад; передний караван кочевки уже перевалил через подъем хребта и приближался к ним.

— Мирза, вот едут наши аулы. Мы пришли на свои зимовья, но их заняли другие. Как же теперь быть? — обратился Жексен к Кунанбаю.

— А кто тебя просил перекочевывать сюда? — резко сказал тот. — Зачем ты кичливо рвался вперед, почему не спросил раньше? Твои аулы вернутся обратно! — повелительно закончил он.

— Но ведь сказано: «Власть правителя — над народом, власть народа — над землей…»

— Так, по-твоему, правитель должен переселиться на небо? Где сказано, что род Иргизбай не имеет права на зимовья в Чингизе?

— Разве вам так необходим Чингиз? И без него, мирза, у вас достаточно хорошей земли для зимовки, — возразил Суюндик, пытаясь начать переговоры.

Но Кунанбай перебил его.

— Э, бокенши! — начал он, как будто был на общеродовом сборе и сообщал свое решение всему народу. — Вы — наши старшие братья. Вы возмужали раньше и завладели всем обширным подножьем Чингиза. Иргизбай были малы числом и моложе вас. Вы не дали им ни клочка земли на всем Чингизе. Ты говоришь — «другие зимовья»? Разве это зимовья по сравнению с Чингизом? Теперь я стал на ноги, — сколько же мне терпеть еще? Долго ли сидеть обойденным? Иргизбаям тоже нужны удобные зимовья… Род Иргизбай вырос и окреп. Мы не чужие, мы сородичи ваши. Разве мы какие-нибудь пришельцы, что вы не хотите отдать нам землю, на которую мы имеем такое же право, как и вы?

Слова Кунанбая были одновременно и жалобой истца и приговором судьи.

— Так сколько же зимовий, мирза, ты решил отнять у бокенши? — спросил Суюндик. Ему хотелось выведать, как велики притязания Кунанбая.

— Бокенши уступят все зимовья в этой местности.

— А куда же нам деваться? — вышел из себя Жетпис, брат Жексена.

Кругом загудели голоса:

— Неужели бокенши изгнаны совсем?

— Что же, нам откочевать отсюда?

— Некому даже вступиться за нас!

Кунанбай быстро смирил их. Его единственный глаз впился в Суюндика, и, указывая плетью на шумевших, он властно крикнул:

— Уйми их!

Суюндик, пытаясь выгородить себя перед Кунанбаем, с упреком повернулся к жигитам:

— Я говорил вам — не поднимать шуму, бестолковые крикуны! Замолчите!

Все стихли.

— Бокенши, — заговорил опять Кунанбай, — неужели вы думаете, что если у вас берут зимовья, то оставят вас без земли? Если я беру, то беру не даром: вы получите земли взамен. Я даю вам зимовья тут же, в отрогах Чингиза: в горах — Талшокы, у подошвы— Караул. Поверните ваши аулы и направляйтесь туда, — вот мое решение!

В эту минуту с двух сторон появились верховые. С запада прискакали двое. Один из них был старший сын Суюндика.

— На нашем зимовье расположились братья мирзы — Жакип и Жортар. Что нам делать? — спросил он отца.

С востока подъехал жигит Сугира.

— На наших зимовьях разместились дяди мирзы — Мирзатай и Уркер. Как нам быть с кочевьями? Мы не можем разгружаться, не знаем, что делать, — сказал он.

С разных сторон по четыре, по пять человек подъезжали старшины аулов, лишившихся зимовий. Все были мрачны и озлоблены. Казалось, они привезли с собой все проклятья, весь гнев и возмущение своих сородичей.

Толпа бокенши продолжала увеличиваться. Но Кунанбай оставался невозмутимым. Суюндик понимал безвыходное положение своего народа. Он сам был унижен, уничтожен, сам растоптан Кунанбаем.

— Что делать? Что я могу сделать? Если бы еще нас обидел кто-нибудь чужой… — начал было он.

Но Жетпис не дал ему договорить:

— Нет больше справедливости! — вскрикнул он. В толпе опять зашумели:

— Некому вступиться за нас!

— Лучше бы выгнали совсем, чем так издеваться!

Из-за бугра показались еще две кучки верховых. В первой, числом около десяти, были все знатные аткаминеры рода Котибак во главе со старейшиной его— Байсалом. Они подъехали к Кунанбаю. Отдали салем и приветствовали его с самым сердечным видом:

— С новосельем, мирза!

— Дай бог удачи на долгие годы!

— Пусть новые места принесут и новое счастье!

Вслед за ними приблизилась вторая группа под предводительством старика Кулиншака. Он — старейшина рода Торгай, с ним пятеро его сыновей, прозванных «пятью удальцами», воинственных, ловких в бою на пиках. Подъехав к Кунанбаю вплотную, Кулиншак обратился к нему:

— Здравствуй, свет мой Кунанбай! Поздравляю тебя с новосельем!

Это открыло глаза всем бокенши: не в одиночку род Иргизбай совершает насилие над ними — злое дело Кунанбая поддерживают все старейшины родов Котибак, Торгай к Топай.

А Суюндик так надеялся на котибаков! «Байсал прямодушен, тверд, он-то, наверное, не примет участия в грабеже», — думал он. Неужели они договорились тайно? Может быть, они скрывают еще что-нибудь? Кто знает! Видно, Кунанбай сумел привлечь на свою сторону старейшин крупных родов. И этот приезд Байсала и Кулин-шака, эти поздравления — не простая случайность… Нужно было показать их дружбу перед всеми бокенши — и Кунанбай сам подстроил все заранее.

Так думал не только Суюндик: Жексену тоже все стало ясно. Он гневно вскричал:

— Боже мой, ведь это зимовье предков моих! Здесь, у подножия утеса, была пролита кровь одного из сыновей бокенши! Земля моя, кровью мужчины-сородича омытая!..

Его слова поразили всех. Суюндик неодобрительно пробормотал:

— Правду говорят: от горя теряют разум… К чему вспоминать это?..

Слова Жексена озадачили и Кунанбая, — он не ожидал, что кто-нибудь вспомнит о Кодаре. Но тотчас же, решив повернуть это в оправдание захвата земель, он грозно спросил Жексена:

— Что ты сказал? Ты, верно, впал в слабоумие от старости? «Достойного мужа», говоришь ты? Если он у вас храбрец,[43] кто же такие все вы, бокенши? Кодар не муж достойный, а негодяй, от которого отступился дух предков бокенши! Он отвергнут всем Тобыкты! Для того я отдал эти зимовья другим, чтобы стереть последние следы святотатца, изгнать из памяти людей и воспоминание о нем! Не болтай вздора!

Точно пощечина, прозвучали слова Кунанбая, словно камнем бросил он во всех бокенши. В один миг им открылась истинная цель убийства Кодара: захват их зимовий.

Даже Суюндик не выдержал:

— Боже мой, что слышу? О мудрый Божей! Никогда не забыть мне твоих слов! Правду ты сказал: «Не на Кодара накинули вы петлю, с божьей помощью она накинута на вас всех!» О безвинный отважный лев мой, за что ты погиб!.. Кодар мой!..

Словно комок застрял в его горле. Он обхватил шею своего коня и безмолвно склонился.

Жексен вдруг зарыдал:

— Уа, позор на лице моем! Проклятье голове моей! Собака я несчастная! Ой, родной мой! Родной мой Кодар!.. — И, ударив коня, он поскакал к зимовке Кодара.

Слова его были искрой, упавшей на сухую траву. Вся толпа бокенши с жалобным криком: «Ой, родной мой!»— поскакала за Жексеном. Со всеми мчался а Суюндик.

Байсал и Кунанбай вместе с окружавшими их остались одни на бугре. Кунанбай пожалел про себя: «Не надо бы говорить этого!», но он и виду не подал Байсалу, что раскаивается в своих словах. Он молча смотрел вслед скакавшим, обдумывая, как бы лучше объяснить эту внезапную вспышку возмущения…

— Ты понял, кто подстрекал их? — обратился он к Байсалу. — Задели за живое — и сразу выступило все, что таилось у них на душе! Их подстрекал Божей!.. Конечно, Божей! Он хочет поставить мне кровавый капкан среди родов Тобыкты! «Единство, единство!»— твердишь ты все время. Видел теперь, что за единство? — заключил он и уставился своим мрачным глазом на Байсала.

Помолчав, он добавил:

— Но бог справедлив. Что бы ни случилось, вынесу все. — И, как бы подчеркивая особое доверие к Байсалу, закончил — Скажи Суюндику, Сугиру и Жексену — пусть не мутят народ. Пусть успокоят всех! Какие бы места я ни отвел для бокенши в Чингизе, сами они в обиде не будут… Для них троих сделаю все, пусть верят моему слову!

В стороне, среди всадников, ранее отосланных Кунанбаем к табунам, был и Майбасар. Он смотрел на бокенши, скакавших мимо с громкими рыданиями и криками.

— Эге, друзья! Говорят: «Хромая овца под вечер блеет».[44] А вот бокенши блеют еще позже! Где это видано, чтоб умерших весной хоронили осенью! — сказал он со злобным смехом.

Весной, когда все бесчестили Кодара, отрекаясь от его духа. Жексен никому не позволял подходить к его трупу, разгонял плачущих женщин и издевался над ними: «Чего вы ревете? Пусть вытекут ваши глаза!» Лишь два старика — Жампеис и чабан Айтимбет — не испугались его. С помощью таких же нищих стариков чабанов они отвезли тела Кодара и Камки к могиле Кутжана и с рыданиями похоронили их.

Теперь бокенши с криками и поминальным плачем прискакали к этим могилам. Там сидело четверо стариков — Жампеис, Айтимбет и еще два чабана: летом им не приходилось бывать здесь и, подъехав сегодня сюда с кочевьями, они остановились совершить молитвы по умершим.

При виде хлынувшей на них толпы старики растерялись. Всадники

торопливо спешиваются, всхлипывая и рыдая. Вон плачет Суюндик — это совсем странно. А еще непонятнее то, что сюда мчится и сам Жексен! С громким рыданьем люди обнимают могилы.

— Прости, опора моя! Прости, брат мой!.. — И слезы текут из их глаз…

Но эта запоздалая скорбь не растрогала старика, согнувшегося и высохшего за лето в печали по Кодару и Камке! И когда Жексен хотел было обнять могилу Камки, Жампеис оттолкнул его:

— Пусть вытекут глаза твои! Проклятые, пусть у всех вас вытекут глаза!

Толпа росла. У могил собрались не только мужчины, но и женщины, дети и старики.

Рыдал весь род Бокенши. Заунывные звуки плача стояли в воздухе.

4

Бокенши покинули Чингиз, но на зимовья, указанные им Кунанбаем, не пошли. Они поставили шалаши у Кзылшокы и никуда не двигались.

Другие роды в это время уже разошлись по своим зимовьям. Подвоз сена, сушка кизяка на топливо, чистка стойл, побелка домов и землянок, печные работы — все это было неотложным делом, занимавшим всех, кто вернулся на насиженные места.

У бокенши этих забот не было: они не знали, где будут зимовать.

Кунанбай отправил к Суюндику посыльного с распоряжением: пусть выберут себе зимовья на Карауле, а для жайляу пусть целиком возьмут себе Кольденен и Шалкар.

Суюндик и Жексен прикинули, что получается: если удастся первыми занять зимовья Караула, и особенно две реки на жайляу, горевать им будет не о чем. Поняв, что не прогадают, они решили немедленно откочевать туда. Не сказав ни слова другим сородичам, Суюндик к Жексен приказали своим аулам на заре изловить верблюдов и начали снимать и укладывать юрты. Но в то самое время, когда они, бросив своих сородичей, тронулись с места, человек двадцать — тридцать бокенши тоже сели на коней.

Это были бедняки. Их поднял Даркембай — высокий, крепкий старик, научившийся за свой долгий век разгадывать хитрые ходы старейшин. Он прискакал прямо в аул Жексена.

— Куда вы уходите одни? Народ бросаете! Отделились! — крикнул он им. — Не сметь кочевать, терпите со всем народом! Ставьте обратно юрты!

Жексен не посмел противоречить. Он лишь спросил с недоумевающим видом:

— Друзья мои, что вы затеяли?

— Садитесь лучше на коней, — отрезал Даркембай. — Едем к Суюндику! Договоримся до конца!

Жексену и Жетпису оставалось только следовать за ними. С Суюндиком разговор тоже был недолог: Даркембай и его заставил остаться на месте.

— Скажите мне по крайней мере, на что вы надеетесь? — спросил Суюндик. — Уже наступают холода, зима грозит своей саблей. Неужели мы должны морозить стариков и старух? Заставлять дрогнуть наших малышей? До каких пор нам сидеть здесь?

На Даркембай ответил, не задумываясь:

— Ведите нас вы оба: ты, Суюндик, и ты, Жексен! Едем к Божею!.. Поделимся своим горем с сородичами, скажем: «Не дождетесь и вы добра, если своих бросите!» Ну, а если и у жигитеков не найдем сочувствия, — там видно будет, что делать!

К полудню все они добрались до Божея, зимовавшего в Чингизе на прекрасных пастбищах. Эти земли он унаследовал от своего предка Кенгирбая.

Увидев старейшин бокенши, Божей тотчас же послал нарочных за Байдалы и Тусипом. Он хотел, чтобы в таком деле мнение всего рода Жигитек было единым.

Суюндик и здесь не разговорился, его слова были сдержанны и осторожны.

— Вот они пришли к тебе, — обратился он к Божею, — хотят просить твоего совета. Что посоветуешь? Какой путь укажешь им?

Божей не мог понять, что таится в глубине души Суюндика. «Трусит по обыкновению, — подумал он. — Как всегда, слаб волей и боится Кунанбая…» И он едва заметно усмехнулся.

Но если Суюндик был робок, то весь остальной народ Бокенши кипел. Даркембай горячо сказал:

— Божеке, довольно мы ползали перед Кунанбаем! Труса и собаки кусают и птицы клюют. Хоть ты-то не призывай нас к покорности! Дай нам такой совет, чтобы наш род мог наконец встать на ноги, чтобы мы могли постоять за себя!

Эти мужественные слова пришлись по душе Байдалы. Он уважал прямоту и смелость, и сам всегда стоял за решительные действия. В нем воплощалась вся сила, вся крепкая хватка рода Жигитек.

— Ой, Суюндик, — восторженно сказал он, — ты бы спросил совета у Даркембая! Этот бедняк говорит языком настоящего мужа!

Прежде чем прибегнуть к силе, Божей решил попытаться действовать именем справедливости, закона и обычая: если ему удастся, он постарается раскрыть всему народу глаза на козни Кунанбая. Но до этого нужно было предупредить бокенши, сказать, что их ждет.

— Бокенши, вы — мои сородичи, — начал он. — Кто наносит обиду вам, тот наносит ее мне. Мое счастье и благополучие не должно отделяться от вашего. Мне понятно все, что задумал Кунанбай… Я слышал, он предлагает вам Талшокы, Караул и Балпан. Понимаете вы, куда приведет все это?

Божей обвел взглядом сидящих и, помолчав, продолжал:

— Он хочет сомкнуть границы земель жигитеков и бокенши. А если два рода, даже самых дружественных, имеют общую границу, тогда конец согласию и добрососедским связям… Он надеется, что мы, живя рядом, будем ссориться из-за каждого кустика, из-за каждого глотка воды. Он хочет посеять между нами вражду, которая будет передаваться из поколения в поколение… Но не бывать этому! Мое сердце, сородичи, останется верным вам. Если вы будете вынуждены поселиться на Талшокы и Карауле, я представлю вам все, чем владею сам, поделюсь с вами без споров. Об этом и говорить не стоит… А сейчас прежде всего потягаемся с ним. Жигитеки в одинаковом родстве и с вами и с ним. Кому же и вмешаться, как не нам? — При этих словах он посмотрел на Тусипа. — Попытаемся. Скажем ему, что род Жигитек считает его поступки несправедливыми. А все остальное решим потом. Согласны? — спросил он.

Все одобрили его решение.

— В таком случае, Тусип, садись на коня. Сообщи наше мнение Кунанбаю и сегодня же вернись с ответом, — заключил Божей.

Байдалы тоже повернулся к Тусипу.

— Только выскажи ему все! Говори, что у тебя на душе, без недомолвок. Достаточно мы молчали и трусили! Иди хоть раз на разрыв, но доведи до него все, что тебе поручили! — Сам, полный гнева и решимости, Байдалы старался подбодрить и воодушевить Тусипа.

Кунанбай находился в Карашокы, в зимовье своей старшей жены Кунке. Тусип приехал туда к закату солнца. Кунанбай вышел с ним на небольшой холмик в стороне от аула. Они долго вели разговор. Тусип начал издалека, — заговорил о необходимости единства и крепкой спаянности рода, потом перешел к цели своего приезда:

— Твой поступок осуждают не только бокенши, но и весь род Жигитек… — начал было он, но Кунанбай резко повернулся к нему и прервал его гневными словами:

— Я вижу, род Жигитек хочет быть заступником за обиженных? Почему же он забывает, что соседние племена Керей и Уак — тоже обижены? А на кого они обижаются? Да на тех же жигитеков! Обижены все, кто рядом с вами! Говорят, что вы угоняете скот, не возмещаете кровного добра! Божея, Байдалы, тебя, Тусип, — всех вас осуждают, всех вас винят! Оправдайтесь раньше сами, а уж потом говорите о бокенши! Укротите сперва своих воров и насильников!

Тусип вышел из себя. Он резко возразил:

— Охотников до сплетен везде достаточно, Кунанбай! Разве Божей и Тусип были когда-нибудь ворами? Может быть, ты собираешься еще что-нибудь придумать и навлечь на нас беду? Но что ты можешь сказать, если мы чисты и ни в чем не виноваты?

— Я повторяю то, что сказал: вы запятнаны!

— Ну, если так, докажи нашу вину сейчас же, в священный час заката![45]

Тусип не мог сидеть на месте, он весь дрожал.

— Хорошо, скажу. Пусть Божей перестанет расставлять мне капканы! Пусть прекратит метать в меня стрелы из-за чужой спины! А если не собирается прекращать, так пусть не жалеет своих деревянных пуль и выпускает все заряды, но потом пеняет на себя… Отвечать за все будет он один!..

Кунанбай помолчал и сурово закончил:

— Завтра я собираю съезд у вас, в ваших аулах. Разберу жалобу Керея и Уака и заставлю вас вернуть угнанный скот — это первое. А второе — отойдите от дел бокенши. Идите своей дорогой. Не вам быть судьей в этих делах, я не избирал вас и в вашем суде не нуждаюсь. Не вмешивайтесь, если не хотите себе беды! А не послушаетесь, значит, вы нарочно впутались, чтобы идти против меня! Ступай, передай мои слова Божею и Байдалы! — властно заключил он.

5

На другой день к полудню двое посыльных Майбасара — Камысбай и Жумагул— прискакали к жигитекам и остановились в ауле Уркимбая.

Возле зимовки стояло шесть юрт. Собаки шумным лаем встретили всадников, но те с криком подняли нагайки и отогнали псов. Дети, со страхом смотревшие на сердитых гостей из-за дверных пологов, попрятались в свои юрты, как мыши в нору.

В большой серой юрте Уркимбая сидели несколько человек. Кроме хозяина здесь были Каумен и Караша, близкие родственники Божея. Маленькая растрепанная дочка Уркимбая вбежала в юрту, прижалась к отцу и зашептала:

— Посыльные, посыльные!

Даже дети знали, что посыльные приносят с собою всякие беды. Когда двое посыльных, отмеченных знаком власти — кожаной сумкой через плечо и большой медной бляхой на груди, вошли в юрту, девочка спряталась за отца.

Уркимбай встретил их неприветливо.

— Ну, с чего вы такой шум подняли? — холодно обратился он к ним.

— Срочные дела! Срочный приказ… Торопимся, — ответил Камысбай, проходя к переднему месту.

Жумагул остался у очага, присев на одно колено.

— Какой приказ? Что вы опять тревогу сеете? — хмуро спросил Караша.

Но это не смутило посыльного.

— Приказ такой: ставьте юрты. В ваших аулах состоится съезд. Соберется народ. Приедут истцы из Керея и Уака. Будут переговоры между племенами, и воров заставят возвратить скот.

— Кто это сказал? — злобно спросил Каумен.

— Кто это будет судить? — добивался Караша.

— И кто будет в ответе — воры, или опять все свалится на невинных? — с живостью обернулся Уркимбай.

Съезд требует больших расходов. На него соберутся истцы, власти и всевозможные сутяги из других племен. Это означает, что в течение целого месяца придется колоть скот и кормить прожорливых толстых биев и днем и вечером. Это знают все. И всем известно, что правитель назначает съезд в тех аулах, против которых имеет зуб.

Камысбай отлично понимал, что сидящие в юрте не легко согласятся с тем, чтобы съезд проходил у них. Конечно, ни к ага-султану, ни к старшине они не сунутся, но с посыльными еще попробуют поспорить. Но посыльные получили от Майбасара строгий наказ не принимать никаких возражений.

— Таков приказ Кунанбая и Майбасара, не моя же эта выдумка, — сказал Камысбай и бросил холодный взгляд на Карашу. — Посоветуйтесь между собой и готовьтесь! Соберите все юрты из своих аулов и ставьте их здесь… Подумайте и о том, сколько и какого скота заколоть. Приказано, чтобы для начала жигитеки выделили пятьдесят овец. С каких аулов будем собирать их? Давайте обсудим это сейчас же!

Каумен хорошо понимал, что спор с посыльным ни к чему не приведет. Он и не стал пререкаться с ним и повернулся к Уркимбаю и Караше:

— Это дело касается не нас одних: беда свалилась на всех жигитеков. С Божеем посоветоваться мы не успеем, он слишком далеко, а Байдалы живет поблизости… Караша, садись сейчас же на коня, поговори с ним и привези ответ…

— Правильно! Поезжай! — одобрил Уркимбай. Посыльные тоже не возражали.

Караша быстро поднялся и молча вышел.

Посыльные сидели за чаем. Уркимбай с ними не разговаривал. Он был обозлен приказом.

Посыльным не пришлось долго ждать: скоро к юрте подъехали верховые, спешились и привязали своих коней. Это Караша вернулся от Байдалы. С ним приехали с десяток жигитов, которых все называли отчаянными — у них частенько гостили воры.

Жумагулу, хитрому и сообразительному, их появление не понравилось.

— Эй, что это вас принесло? — начал было он, но один из жигитов перебил его:

— Недаром говорится: «Если на твоего отца напал враг, старайся поживиться и сам». Мы приехали, чтобы отобрать у жигитеков весь скот и передать вам, — вызывающе сказал он.

— Не весь скот, а всего пятьдесят баранов. А если у тебя так много скота, приведи его, когда приедут истцы. Чего торопишься? — желчно ответил Камысбай.

— Уж не к тебе ли приводить наш скот? — спросил его Караша и присел на корточки возле него.

— А хоть бы и ко мне!

— Зверь кровожадный, мало от тебя люди стонали! Когда ты перестанешь мучить народ?

— Э, не болтай лишнего, отцепись! Скажи лучше, каков ответ Байдалы?

— Каков ответ? Вот его ответ! — и Караша, вскочив с места, хлестнул Камысбая по голове толстой плетью.

Посыльный не успел подняться, как Уркимбай крикнул жигитам, сидевшим в юрте:

— Бейте собак!

Жумагул и Камысбай заметались, крича и непристойно ругаясь. Но жигиты, не дав им опомниться, накинулись на них, повалили наземь и придавили коленями.

— Вот вам ответ Байдалы! Он велел избить вас, сколько у нас силы хватит, и вернуть Майбасару полумертвыми!.. На!.. Вот тебе!.. — приговаривал Караша, сидя на Камысбае и нанося ему удар за ударом.

Уркимбай и остальные жигиты разделывались с Жумагулом.

Оба посыльных, избитые и истерзанные, едва доплелись до Карашокы и, не смывая с лиц присохшей крови, явились прямо к Кунанбаю.

В юрте у него сидели Байсал, Майбасар и двое сыновей Кулиншака, высокие и крепкие Наданбай и Манас. Тут же находились другие жигиты из рода Иргизбай. Юрта была полна.

Кунанбай, выслушав посыльных, долго молчал. Потом, мрачный, потемневший, он обратился к Байсалу, показывая на лица избитых:

— Видишь? Как мне быть добрым сородичем? Плеть Божея бьет не их, а меня!.. — Он обернулся к жигитам — Скачите! Свяжите и доставьте мне этого Уркимбая, который устроил избиение в своей юрте!

Десять жигитов вскочили на коней и помчались. В их числе были сыновья Кулиншака.

В сумерках они долетели до аула Уркимбая, избили всех мужчин и выволокли из юрты его самого. Уркимбай попытался было сопротивляться, но, поняв, что его могут изувечить, покорился. Побледнев как смерть от злобы к негодования и стиснув зубы, он решил выдержать все. Его вывели из юрты, скрутили руки за спину и посадили на коня впереди Наданбая. Вся ватага, злобная и шумная, с громким топотом поскакала в Карашокы.

Сумерки сгущались.

Жигиты скакали берегом реки. Вот они спустились с зимовий Уркимбая, расположенных в глубине Чингиза, вот поравнялись с дорогой, что тянется по хребту и пересекает реку… Здесь они повернули на запад, на Карашокы.

Впереди темнел осинник. Внезапно из него выскочили всадники.

— Налетай! Налетай!

— Снимай их с коней! С коней их!

— Бейте! Бейте собак!..

Человек сорок с бешеными криками ринулись на жигитов Кунанбая. Шокпары и соилы взметнулись в воздухе…

Напавших привел Караша. Еще днем Байдалы предупредил его: «Ты решился на смелый поступок, теперь будь на чеку! Следи за врагами!..» Караша сел на коня и до самых сумерек сторожил в горах. К вечеру он заметил верховых, направлявшихся в аул Уркимбая, и понял, что они ехали туда неспроста. Он помчался в свой аул и собрал человек пять жигитов. На обратном пути к нему присоединились жигиты Каумена. Захватить противников в самом ауле Уркимбая они уже не успели бы и поэтому устроили засаду на пути, выбрав подходящее место.

Караша сам отлично бился на соилах, да и жигиты его аула тоже никому не уступали в бою.

Во главе людей Кунанбая стоял сын Кулиншака — один из «пяти удальцов» — Манас. Нападение не застало его врасплох, и он не растерялся, когда жигитеки внезапно ринулись ему наперерез. Он быстро выхватил из-под колена черный шокпар и крикнул своим:

— Не теряйся! Не смотри, что их много! Бейся смело!

Оба отряда с бешенством ринулись друг на друга. В один миг Манас выбил из седел двух жигитеков. Но Караша накинулся на него с такой быстротой, что ему пришлось защищаться. Связанный Уркимбай заметил в толпе Карашу и крикнул:

— Я здесь!.. Караша, выручай!..

Караша бросился за конем, на котором сидели два всадника. Но это был светло-рыжий скакун кунанбаевских табунов, догнать его, казалось, было невозможно. И все-таки Караша не отставал. Отбив Наданбая с его пленником от остальных, он продолжал гнаться за ними. Наданбай то и дело оборачивался в седле, готовясь дать отпор. Уркимбай воспользовался этим и ловко соскользнул с коня. Его тотчас подняли друзья.

На призывный клич нападавших, эхом разносившийся по горам, со всех сторон с криками мчались новые всадники. Увидев, что жигитеки уже отбили пленника, Манас закричал своим:

— Спасайтесь! Отбивайтесь на ходу! Ну, вперед!..

Они быстро перелетели через перевал и скрылись из виду.

Оба эти события — и избиение посыльных Майбасара, и схватка за Уркимбая — окрылили род Жигитек, вселили в него уверенность в своей силе.

6

На другой день погода изменилась. Пронеслось первое дуновение зимних холодов.

С хребта Чингиз в долины постоянно дует ветер. Весной он благодетелен — уносит снег и очищает от него перевалы и урочища Чингиза. Зимой — он тоже добрый друг скотовода: он снимает с пастбищ снеговой покров, и так как обычно дует с юга, то не приносит особенного холода. Правда, сила его бывает необыкновенной: иногда он сбрасывает с перевалов камни, с корнем вырывает высокие травы, уцелеть может лишь низкорослая полынь да перистый ковыль — лучший зимний корм для овец.

Но осенью ветер с Чингиза превращается из друга во врага. Пронзительные порывы его невыносимы. Он несет с собой стужу, заволакивает небо тяжелыми, свинцовыми тучами…

Сегодня ветер закружил в воздухе снежные звездочки — выпал первый снег в этом году.

Аулы, расположенные на перевалах и в долинах Чингиза, уже прикочевали к зимовьям. Люди оставались еще в юртах, но зорко следили за погодой. Холодное дыхание ветра заставило сегодня всех собрать свои юрты, перенести вещи в постройки и разместиться в теплых помещениях. В ауле Кунанбая, расположенном в Карашокы, с самого утра стояла суматоха, точно люди готовились справлять поминки.

После того как жигиты МаЙбасара упустили Уркимбая, вернулись ни с чем, Кунанбай разослал во все стороны нарочных. Старейшин, прибывших сюда с Байсалом, он задержал при себе. К ним вскоре присоединились и другие мужчины из рода Иргизбай: отовсюду, куда недавно ускакали нарочные, появлялись верховые. Со всех сторон непрерывной вереницей они тянулись в аул Кунанбая.

Он выбрал из них десять жигитов и под предводительством Майбасара послал их к бокенши, которые все еще продолжали оставаться в Кзылшокы, так и не трогаясь с места.

Жигиты привезли строгий приказ и принудили аулы бокенши двинуться кочевкой на Караул. Суюндик и Сугир давно были готовы к кочевке и ждали только знака. Они первыми и тронулись, другим оставалось только следовать за ними.

Но сегодня кочевали не одни бокенши: двигались и некоторые из аулов Кунанбая. До этого дня Кунанбай не отпускал их на зимовья. Ему хотелось держать всех под рукой. Но теперь, когда наступил холод, нельзя было заставлять зябнуть старуху мать и Улжан с детьми.

— Холодно, давайте переходить на зимовье, — давно уже надоедали дети бабушке и Улжан, и старая Зере все время упрашивала Кунанбая. Наконец она вынудила его согласиться.

Отправив их аул, Кунанбай поспешил воспользоваться суматохой, царившей

в Чингизе от передвижения аулов.

Верховые, которых вызвали нарочные, начали съезжаться с самого утра. К обеду их набралось множество. Это было настоящее войско, вооруженное соилами, копьями и шокпарами, готовое к бою.

Кроме иргизбаев здесь собрались люди и из других родов, в том числе и из Котибака, старейшиной которого был Байсал. Все они зимовали в соседстве с Карашокы.

В полдень Кунанбай оделся и в сопровождении Байсала и Майбасара вышел к собравшимся.

— Ну, садитесь на коней! — раздался его громкий властный голос. Все засуетились и начали торопливо вскакивать в седла. Иргизбаи первые взяли оружие в руки.

Ветер усиливался, завывал. Начинало морозить, снежники летели в лицо и густо покрывали землю. Все кругом сливалось в серой мгле. Еле переваливаясь через хребты, ползли тучи холодного тумана и оседали инеем на земле.

Вскочив на своего длинного гнедого коня, Кунанбай окинул взглядом окрестность. Две резкие морщины перерезали у бровей лоб ага-султана. Сейчас они, казалось, еще больше углубились. Зоркий глаз налился кровью и сверкал гневом.

Он коротко приказал Байсалу н Майбасару, стоявшим подле него:

— Вперед!

Многочисленный отряд, стуча подковами по обмерзшему склону, направился к зимовью Божея на Токпамбете. Кунанбай со своей свитой ехал впереди. Всадники двигались быстро, крупной рысью.

Солнце еще было высоко, когда отряд Кунанбая то на рысях, то вскачь достиг горного выступа, откуда до зимовья Божея оставалось расстояние не больше ягнячьего перегона.

Аул уже расположился на зиму. Из труб валил желтый густой дым овечьего кизяка. Вокруг построек было полно народу. Возле самых строений стояли наготове кони, но их было немного, — Кунанбай сразу заметил это. Остальные оседланные лошади были стреножены и паслись на богатых лугах, раскинувшихся вокруг зимовья.

Увидев огромную толпу, надвигавшуюся на зимовье, аул пришел в движение. Все кинулись к лошадям. В руках появились соилы и пики. Жигитеки решились отражать любое нападение. Еще минута — и все будут из конях.

Кунанбай в одно мгновение учел и рассчитал все: спеша опередить противника, он рванул своего гнедого и несколько раз стегнул его.

— Олжай! Олжай![46] — крикнул он и поскакал вперед.

С криками: «Иргизбай! Иргизбай!», «Топай! Торгай!», «Олжай! Олжай!»— весь отряд бросился за ним, растекаясь по склону, как пожар, бегущий по

сухому ковылю. Вой, улюлюканье, топот коней — страшный, дикий, безудержный гул волнами понесся по долинам и горам.

Людей у Божея было куда меньше, чем у Кунанбая. Вдобавок жигитеки не успели собраться — их настигли врасплох. По обычаю, противник должен предупредить о нападении, указать место боя и лишь тогда высылать всадников. Кунанбаи поступил не так, он нагрянул внезапно.

Вокруг Божея собрались лишь те, что жили неподалеку. Аулы у подножия хребта и тех жигитеков, кто населял долину реки, оповестить не сумели. Да и из горных жителей многие были заняты сегодня перекочевкой.

В числе приехавших было десять человек, приведенных Даркембаем. Утром, увидев вереницы верховых с пиками и соилами в руках, скакавших в Карашокы из разных зимовий иргизбаев, он подумал: «Неспроста это… Наверное, Кунанбай собирает родичей против Божея и всех жигитеков», — и задолго до обеда успел известить Божея и других сородичей о приготовлениях Кунанбая. По пути он заехал к Байдалы, Караше, Каумену и Уркимбаю и привел их с сыновьями сюда.

Возле жилья Божея собрались человек сорок, решивших охранять своего старейшину, среди них и Даркембай с друзьями. Здесь были отважные сыновья Каумена и Караши и другие молодые жигиты, вооруженные, готовые грудью стать за свой род. Сперва они решили было поднять родовой клич: «Кенгирбай! Кенгирбай!», — и, вскочив на коней, пасшихся возле зимовья, ринуться навстречу врагам с соилами и шокпарами в руках, но Байдалы громким окриком остановил их:

— Стой!.. Хотите бросить Божея одного? Умирать — так вместе! Отряд Кунанбая был уже совсем близко. Он мчался неудержимо, беспощадный в своем стремлении.

— Горе мне, горе! Врасплох обрушились на мою голову! Опять беда настигла меня нежданно! — в отчаянии повторял Божей.

Его единственной надеждой были жигиты, успевшие сесть на коней. С соилами в руках, они маленькими кучками по пять — десять человек бросятся на Кунанбая с боков. Но ведь их так мало! Остальные все еще мечутся по лугу, ловя своих коней… Неужели враги нагрянут на них, не дав им даже вскочить в седла?!

Кунанбай скачет. Не останавливая отряда, он выделяет две сотни и посылает их в обход противника с двух сторон. Всадники с криком налетают на пасущихся коней — и те испуганно мечутся по лугу. Седла трещат под ударами соилов и разлетаются в щепки.

Редкие ряды пешнх жигитеков, кинувшихся было навстречу Кунанбаю, опрокинуты многолюдным потоком иргизбаев. У Кунанбая достаточно людей и без отделившихся двух сотен, — трудно даже определить их число. Кони жигитеков, ударивших на Кунанбая сбоку, в один миг оказываются без седоков:

врагу не стоит никакого труда сбить их, — на одного жигитека приходится сорок — пятьдесят иргизбаев.

Те, кто не успел добежать до своих коней, бьются пешие. Но что значит пеший перед конным? Расправа коротка: верховой с налету быстрым, точным ударом сбивает противника с ног. Такая участь постигает всех, кто далеко отошел от зимовья. И боевой клич нападающих, гордых своим превосходством и успехом, становится еще громче:

— Олжай! Олжай! Иргизбай! Иргизбай! Топай! Торгай! — яростно взывают они к духу Олжая и других предков, наводя страх на противника.

Все преграды сметены… Победители тесными рядами летят к постройкам. Несмолкающие крики, треск соилов, топот коней — все сливается в общий гул. Наступает страшная развязка набега.

Отряд Божея оставался перед зимовкой. Все подняли соилы и шокпары и маленькой ощетинившейся кучкой недвижимо стояли на месте. Враги обступали их со всех сторон.

— Отступайте к зимовке! Займем все двери, хоть к жилищам их не подпустим! Будем биться до конца! — закричал Байдалы и отвел свой отряд к строениям.

У дверей стали Байдалы и Божей, окруженные самыми смелыми и сильными жигитами во главе с обоими сыновьями Каумена.

Противник лавиной хлынул к постройкам. Верховые на всем скаку остановились и сгрудились перед самыми дверьми, ожидая приказа.

Кунанбай находился в центре толпы. Он еще не сошел с коня.

В эту минуту Даркембай протиснулся к дверям между Божеем и Байдалы и стал целиться из фитильного ружья на ножках, — бог весть, откуда оно у него взялось. Ружье было заряжено, — стоило только поднести огонь, и грянул бы выстрел. Даркембай, задыхаясь, окликнул Божея:

— У этого одноглазого нет сердца! Опять глумится над нами! Посторонись, я застрелю его!

И он стал поспешно высекать огонь. Но Божей дернул его за руку:

— Оставь! Не нам вершить кару над ним, — на то есть духи предков!

В этот момент раздался громкий голос Кунанбая:

— Выволакивайте их из нор! Свяжите, как рабов, и тащите оттуда!

Приказ звучал неумолимо. Толпа иргизбаев под предводительством Майбасара ринулась к дому. Перед дверьми они в нерешительности остановились. Но снова раздался окрик Кунанбая:

— Слезайте с коней! Ломайте двери! Напирайте все вместе! Даркембай и другие, окружавшие Байдалы и Божея. дрались отважно. Но прозвучал приказ Кунанбая — и огромная толпа нападавших ворвалась в строение.

Оборонявшиеся не могли даже размахнуться соилами под низким потолком постройки. За несколько минут противник сломил и обезоружил всех.

Побежденных начали выволакивать на улицу.

Едва Караша, Уркимбай и молодые жигитеки появились перед дверьми, толпа иргизбаев кинулась на них. Окровавленные, избитые, они продолжали сопротивляться, громко проклиная Кунанбая и понося его последними словами. Но Кунанбай не мог их слышать: шум и вой толпы заглушали все. Майбасар, дико сверкая глазами, исступленно кричал:

— Плетьми их! Не жалейте! С кем вздумали тягаться?

И его жигиты во главе с двумя посыльными — Камысбаем и Жумагулом — без сожаления работали плетьми, нанося удар за ударом.

Кунанбай не смотрел на это. Он продолжал пристально вглядываться в каждого, кого выволакивали из дверей. Он ждал только одного человека. Лишь на него он точил зуб. Этот человек был Божей.

Наконец показался и он. Но как он был не похож на других побежденных! Никто не осмеливался тронуть его, — Божей вышел сам, без понуждения. Малахай из лисьих лапок не был сбит с головы, и одежда не была изодрана, как у других. Иргизбаи только сопровождали его, сомкнувшись вокруг тесным кольцом.

Стегнув коня, Кунанбай вплотную подъехал к Божею. Байсал, не отстававший от Кунанбая, тоже приблизился, тронув коня. Кунанбай громко приказал Майбасару и Камысбаю:

— В плети!

Камысбай и Жумагул кинулись к Божею, сбили его с ног и повалили на землю.

— В плети его! Стаскивайте с него одежду и бейте! — ревел Кунанбай, наседая конем.

— Чтоб твой глаз вытек! Э, Кунанбай, духи предков проклянут тебя!.. — дико вскрикнул Божей.

Но его повалили, стащили шубу и чапан. Камысбай наотмашь занес плеть. Спина и поясница Божея были обнажены, белое его тело лежало перед конем Кунанбая. Толпа мгновенно смолкла. Наступила мертвая тишина.

Плеть Камысбая со всего размаху опустилась вниз. Вдруг кто-то рванулся вперед, бросился на Божея и прикрыл его своим телом.

Это был Пушарбай из племени Котибак — ровесник и друг Божея,

— Уа, довольно, довольно, Кунанбай!.. Араша!.. Араша!..[47] — кричал он.

Это привело Кунанбая в неистовство, он весь вскипел и в диком бешенстве стал крутить плеткой, крича:

— Плетьми его самого! Бейте его, собаку!

— Посмей только! — раздался сильный, властный голос рядом с ним.

Это был Байсал. Кунанбай резко обернулся и впился в него взглядом. Изменившееся лицо Байсала говорило слишком много. И все же Кунанбай не отступил.

— Бейте! Обоих бейте! — еще раз крикнул он.

Иргизбаи во главе с Майбасаром принялись за дело. Град ударов посыпался на Божея и Пушарбая.

Байсал, не слезая с коня, рванулся вперед и, нагнувшись, отшвырнул Майбасара.

— Котибак! Котибак! За мной, Котибак! — выкрикнул он родовой клич, и все котибаки дрогнули от этого призыва. Большой толпой они отделились от Кунанбая и перешли на сторону жигитеков.

Те были уже подавлены, беспомощны и не могли присоединиться к Байсалу. Бой не возобновился. Но всем стало ясно, что Байсал оскорблен за Божея, за Пушарбая, за весь род и что в злобе и возмущении он круто повернул в сторону жигитеков.

Поняв это, жигиты и посыльные Майбасара не посмели продолжить избиение. Они отошли от Божея и дали ему подняться на ноги.

Встав с земли, Божей с бешенством крикнул в спину отъезжавшему Кунанбаю:

— Эй, Кунанбай! Я от пули тебя уберег, а ты в пламя меня бросил!.. Ты еще вспомнишь об этом!

Кунанбай собрал всех своих людей, оставшихся с ним после ухода котибаков, и в окружении все еще многочисленного отряда повернул обратно в Карашокы.

В ПУТИ

1

Закатный час. Сумерки сгущаются. Кажется, что ночь рождается во всех углах дома и, выползая оттуда, поднимается к потолку, нависая темным облаком.

Дом Улжан самый большой а зимовье Жидебай. Гостеприимный, просторный, он весь украшен коврами, кошмами, алаша.[48] В нем Абай живет со своей бабушкой и матерью.

Светильник еще не зажжен. Дома почти никого нет — все хозяйничают и хлопочут на дворе. Просторная комната, необычно пустая, кажется покинутой.

Абай стоит на коленях у окна, выходящего на хребты Чингиза. Подперев подбородок руками, он облокотился на подоконник.

Направо, на постели, разостланной на полу, сидит Зере, раскачивая коленом люльку своей маленькой внучки Камшат, дочери Айгыэ. Старушка, как всегда, напевает колыбельную песенку. Песня тоже стара, старее бабушки. Кроме Зере, никто ее не поет, и звуки ее так же близки Абаю, теплы, трогательны и любимы, как сама старая бабушка: когда-то и он сам засыпал под тихие переливы этого напева. С тех пор не изменился ни один звук, ни одно слово, — песня, как верное сердце матери, не знает перемен. В песне — безмятежное дыхание тихого вечера. Кроткий голос бабушки наполняет тишину закатного часа. Абай слушает, и ему кажется, что пение старой Зере, сердечное, задушевное, проникнутое тихой грустью, укачивает и убаюкивает его самого. Ему хочется, чтобы эта песня звучала долго-долго, без конца.

С того дня. как они приехали на зимовье, Абай по вечерам остается наедине с бабушкой. Он даже себе не может объяснить, почему ему так хочется быть с нею. Чуть приблизится вечер и возвратятся с пастбищ стада, Абай идет к дому младшей матери — Айгыз, берет на руки свою маленькую сестренку Камшат, приносит к бабушке, ласкает ее и играет с нею.

Камшат долго не засыпает. Стоит тихой песне умолкнуть, как малютка тотчас же открывает черные, как смородинки, глаза, начинает моргать длинными ресницами и посапывать в полусне, точно требуя, чтобы песня не умолкала.

Закатный час Абай всегда проводит молча, в тишине. Если этот час застает его под открытым небом, он взбирается один на вершину холма. В степном вечере — таинственная покоряющая сила, и Абай не может скрыть от него своих задушевных дум.

И сейчас он внимательно вслушивается в тихую песню, а взгляд его летит к горам, обегает горбатые извилины хребта Чингиз и тонет в далекой дымке едва различимых темных вершин.

От Жидебая до Чингиза — верст двадцать. Вечером, с наступлением темноты, горы становятся синеватыми, хмурыми и словно отступают вдаль. Холодные скалы величавого хребта кажутся Абаю окаменевшими великанами. Недвижные, немые, они медленно окутываются темнотой ночи.

Что нынче происходит там, в горах? В ауле еще не знают о набеге, но уже дошли слухи, что бокенши изгнаны из Карашокы, что они со слезами и воплями покинули свои зимовья. Всем ясно, что на извилистые хребты Чингиза надвинулись страшные события. Абай тоже догадывается об этом.

Холодный ветер дует с гор — холодное дыхание бушующей там жнзни, полной жестокости. Звуки бабушкиной песни, такие теплые и трогательные, встречаются с его порывами и растворяют в себе их леденящий холод. В песне — сокровенная великая сила…

Абай вздрагивает от этой мысли и переводит взгляд на небо.

Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать забавные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях.

Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновение, снова спряталась и снова вынырнула. Она подпрыгивала, вертелась, металась — словно играла в жмурки; то спрячется совсем, то выскочит из-за черного полога, сияющая, улыбающаяся; еще мгновение — и снова ныряет вглубь. Вот она прищурилась, будто поддразнивая кого-то, плавно поплыла по небу, чуть поблескивая серебряным краем, — и внезапно кинулась в тучу… Первый раз а жизни Абай видел такую вертлявую луну. И когда она чуть заметной полоской опять сверкнула и мгновенно исчезла, он невольно усмехнулся: луна напомнила ему расшалившегося ребенка.

Абай долго не мог оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Вдруг за дверьми раздался шум и топот быстро приближающихся шагов. Это прибежал Оспан. Он дразнил кого-то и теперь с громким хохотом спасался от погони. Вслед за ним, горько плача от обиды и злости, вбежал Смагул, брат Абая по младшей матери Айгыз, ровесник Оспана.

Было ясно, что Оспан обидел Смагула. Абай вскочил с места и схватил Оспана. Тогда Смагул догнал обидчика и вцепился в него. Оспан был теперь дома, — он резко повернулся и смело приготовился к драке.

— Ну, чего тебе надо? — заорал он и схватил Смагула за ворот. Абай разнял их.

— Что он натворил? — спросил он Смагула. Тот всхлипнул и заревел еще громче.

— Биток мой украл, красную бабку!

— Когда? Ой, рева! — насмешливо протянул Оспан я принялся передразнивать Смагула. — Красную бабку! — плаксиво затянул он.

— Отдай ему биток, — строго приказал Абай.

Но Оспан решил сопротивляться всеми способами.

— Врет он, у него и бабок нет! — упорно твердил он.

Не дав ему опомниться, Абаи начал обшаривать его. Оспан, брыкаясь изо всех сил, вырвался, подбежал к печи и, закинув руки назад, с вызывающим видом прижался в угол. Там стояла бадья с кумысом, он решил воспользоваться ею, если Абай станет отнимать бабку, — в крайнем случае бадью можно опрокинуть и наделать неприятностей самому Абаю. Абай угадал хитрый замысел озорника и не стал бороться с ним.

— Покажи руки! — приказал он и, неожиданно схватив Оспа за ухо, стал безжалостно трепать его.

Тот заревел и ударил ногой бадью. Опрокинуть ее Абай помешал, но сбросить покрышку все-таки удалось, и, отчаянно извиваясь, Оспан бросил

бабку в кумыс и поднял обе руки.

— Ойбай… Смотри, ничего нет! — захныкал он.

Абай не заметил, как бабка полетела в кумыс, но Смагул, следивший за каждым движением обидчика, видел все. Он кинулся к бадье, засучил рукава и по локоть запустил грязную руку в кумыс. Рукав, спустившись, тоже погрузился в бадью, но Смагул усердно продолжал свои поиски. Теперь Абай рассердился и на него — отпустил Оспана, чтобы оттащить Смагула.

Оспан коршуном кинулся на братишку, дал ему несколько подзатыльников и с торжествующим хохотом окунул его головой в кумыс. Тот так и не успел отыскать бабку, кумыс хлынул ему в рот и нос. Захлебываясь и фыркая, Смагул вынырнул и кинулся на обидчика.

— У, бессовестный! — крикнул он и подкрепил свои слова крепкой руганью.

Абая эта брань возмутила.

— Ой, дурак! Кто тебя научил, свинья! — и Абай дал мальчугану несколько затрещин.

Оспан, как зачинщик ссоры, тоже получил от него изрядную трепку. Оба брата, ревя во весь голос, направились в разные стороны: Оспан подбежал к бабушке и привалился около нее, а Смагул помчался к своей матери.

Грязная ругань Смагула ошеломила Абая. Он долго не мог двинуться с места и так и стоял посреди комнаты. Вдруг до него снова донесся хнычущий голос Смагула. Но сейчас к нему присоединились сердитые крики Айгыз — с громкой бранью она шла вместе со Смагулом.

Дверь Большого лома с грохотом распахнулась настежь. Айгыз втолкнула в комнату сына и, едва переступив порог, закричала:

— Нате! Клюйте! Разорвите, сожрите несчастного! Все кидайтесь! — и она вплотную подошла к Абаю.

— Кши-апа[49]…— начал было Абай спокойно.

Но Айгыз прервала его. Слова непрерывным потоком слетали с ее губ:

— Пользуйся тем, что ты сильнее его! Вас много, вас четверо от одной матери!

— Кши-апа, выслушай меня… Ты бы слышала, как он выругался!

— Очень мне нужно знать! Вырос — и показываешь зубы? Кинулся на Смагула, потому что он сын соперницы твоей матери!

— Боже мой, что ты говоришь?

— Тебе нравится бить младших, да? Вот подожди, завтра приедет Халел, он тебе покажет! — продолжала она, грозя Абаю именем своего старшего сына, который учился в городе.

Казалось, два враждующих между собою аула готовились к бою.

— Неужели это все, что ты, наша мать, можешь сказать нам?

— Замолчи! Довольно! Вы — старшие, мы токал!..[50] Наша доля — терпеть унижения, сносить побои!

Такая откровенная грубость младшей матери возмутила Абая. Он побледнел, задрожал от негодования и не подумал извиняться и уступать.

— Да перестань наконец! Что ты за человек! — гневно сказал он и отвернулся к окну, не в силах больше говорить.

Зере не расслышала всей перебранки, но вызывающее поведение Айгыз ее рассердило. Заметила она и негодование Абая. Она уложила Камшат, поднялась и, подойдя к невестке, прикрикнула на нее:

— Уходи прочь, убирайся с глаз моих! Что ты тут болтаешь? Что ты сеешь раздор между детьми? Выйди, пока цела!

Айгыз отступила перед старухой, но дерзостей своих не прекратила.

— Вы хотите попрекнуть меня тем, что я токал, вы все сговорились загрызть меня… Посмотрим! Пусть только он сам приедет завтра!

Это было напоминание о Кунанбае. Муж благоволил к красавице токал, и Айгыз надеялась на него. Но она старалась говорить не очень громко, так, чтобы слышал только Абай, а не Зере.

Внезапно позади послышался спокойный, сдержанный голос. Заговорила Улжан. Она вошла уже давно и с молчаливым достоинством слушала брань Айгыз.

— Перестань ради бога. Довольно. Здесь дети… Я оберегала их от этого, а ты о них не подумала, — сказала она.

— Что же, мне все молча терпеть, по-твоему?

— Пожалуйста, перестань. Иди. Я не буду вспоминать тебе того, что ты здесь говорила. Только уйди подальше со своей злостью… — Голос Улжан был все так же спокоен.

Айгыз, кинув на нее гневный взгляд, схватила Смагула за руку и вышла. Улжан долго стояла молча, глядя ей вслед, потом тихо вздохнула и сняла верхнее платье. Достав огниво, она высекла огонь и зажгла светильник. Слабое красноватое пламя тускло осветило комнату, и она увидела взволнованное и печальное лицо Абая.

— Абайжан, что с тобой, сынок?

— Апа! Почему кши-апа так часто буянит? — спросил он, подходя к матери.

Сын спрашивал, как взрослый. От других детей Улжан скрывала все, но таить от Абая она ничего не хотела. Этому сыну она может доверить свои тайны.

— Сын мой, — сказала она, — соперницы всегда остаются соперницами. Всю жизнь мы только зализываем свои раны… Как можешь знать ты, что в моем сердце?

Душой Абай понял мать, но выразить словами он ничего не мог и молча отвернулся.

За дверью послышались смех я громкие голоса; в комнату вошли старший брат Абая — Такежан и мулла Габитхан. С их приходом в дом ворвалось

молодое веселье.

Такежану шел шестнадцатый год. Затейник на все руки, большой охотник до шуток и метких словечек, он сумел подружиться с Габитханом и держался с ним, как с равным, несмотря на разницу в годах. Идя за муллой, он со смехом передразнивал его неправильное произношение.

Габитхан был татарином. Несколько лет назад он бежал от рекрутчины к каркаралинским казахам. Попав в род Бертыс, он оказался в ауле дальнего колена рода Иргизбай. Несмотря на молодость, Габитхан считался образованным муллой, и Кунанбай, увидев его на годовых поминках своего отца, пригласил его к себе.

По-казахски Габитхан до сих пор говорил как-то забавно. Его простодушный нрав, учтивость и образованность привлекали к нему всех жителей аула. И стар и мал — все считали его своим человеком. Подшучивал над ним только Такежан.

Последнее время вечерами в доме матерей Габитхан рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи». Сегодня после вечернего чая он, по просьбе Улжан, начал одну из увлекательнейших сказок — о трех слепцах. Но кончить ему не удалось: его рассказ был прерван громким топотом верхового, пролетевшего мимо окна. Все заговорили:

— Кто это может быть?

— Кто это? Как торопится!

В комнату вошел посыльный Жумагул.

Едва успев поздороваться, он начал подробно рассказывать о вчерашней схватке в Токпамбете. На левой щеке у него краснела ссадина. Он говорил громко, чтобы слышала Зере. Рассказ о том, как пороли Божея, он особенно смаковал, не только не скрывая, но даже подчеркивая свое удовольствие.

Но Зере, услышав, что Божея били плетьми, быстро повернулась к Жумагулу, переспросила и, убедившись, что не ослышалась, сказала:

— Божей — единственный, кто остался из прежних мудрых старейшин нашего племени. Вы совсем потеряли совесть! А ты, пустобрех, зачем орешь об этом при детях?

Оттого ли, что все уважали Божея как почтенного и близкого человека, или власть старой матери оказала привычное действие, но все сразу смущенно замолкли. Один Такежан наперекор другим одобрил отца.

— Пусть знают, что нельзя нас хватать за ноги! Поделом ему! — заявил он.

Улжан холодно посмотрела на него.

— Перестань хоть ты. Довольно и того, что сделали с ним, — сказала она.

С Жумагулом приехал старый чабан Сатай. Сперва он молча слушал других, но потом и сам вмешался в разговор. Сегодня в полдень он видел на пастбище, как Божей, Байдалы и другие — всего около десяти человек — подъехали к могиле Кенгирбая, прочли молитву и долго стояли все вместе на холме. Потом

они направились на запад. Сатаю удалось поговорить с одним из жигитов. «Божей со своими едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. Они свернули с дороги к могиле предка, чтобы прочесть молитву», — объяснил тот.

Наконец Жумагул рассказал о причинах своего внезапного приезда: Кунанбай прислал его за Абаем, завтра он тоже собирается ехать в Каркараликск и хочет, чтобы сын сопровождал его.

Новость была встречена полным молчанием. Весь дом был озадачен.

На следующий день утром вся родня вышла провожать Абая в далекий путь. Жумагул уже держал в поводу буланого коня, покрытого седлом с серебряными украшениями. Абай подошел сперва к Зере.

— Прощай, бабушка, — и он обеими руками сжал ее маленькую дряхлую руку.

Зере прижалась лицом к его лбу.

— Да хранит тебя бог… Счастливого пути, Абай, сердце мое, — ответила она.

С остальными Абай попрощался издали, сказав только: «Хош, хош!»— и пошел к коню. Улжан приняла от Жумагула поводья.

— Подойди сюда, — подозвала она сына. — Письмильда,[51] — сказала она и с этим благословением сама подсадила его на коня.

Абай вскочил в седло, подобрал под себя полы и уже хотел тронуть коня, но Улжан положила свои длинные, словно точеные, пальцы на гриву буланого. Абай понял, что она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел в лицо матери и встретил ее взгляд.

— Сын мой, — сказала она, — старшие привыкли менять мир на ссору. Говорят, «у соперников даже пылинки золы — враги». Но ты будь в стороне от этого. Когда увидишь Божекена,[52] с почтением отдай ему салем. Мы всегда его уважали как сородича. Кто прав, кто виноват, — тебе в этом не разобраться… Пусть враждует отец, но ты будь справедлив.

Абай тронул коня. Несколько раз он оборачивался: родные все еще стояли и смотрели ему вслед. Последние слова матери звучали в его ушах. И Божей казался ему близким родным, за которого он должен болеть душой.

2

Абай с отцом давно уже приехали в Каркаралинск. Стояла зима, снег плотно укутал землю.

Кунанбай поселился в центре этого небольшого города, в просторном деревянном доме с зеленой железной крышей. Дом принадлежал гостеприимному татарину-торговцу, любившему общество казахов.

Ага-султан прибыл в город в сопровождении многочисленных сородичей и нокеров.[53] В домах, расположенных вокруг квартиры Кунанбая,

разместились его братья — Майбасар, Жакип и другие сородичи со своими близкими и слугами. День и ночь дома Кунанбая и Майбасара были полны переводчиков и стражников. Кроме посыльных Майбасара — Камысбая и Жумагула — здесь жили личный посыльный Кунанбая Карабас и жигиты, которых Кунанбай взял с собою на всякий случай. Тридцать человек нокеров разместились в восьми домах.

По внешнему виду свита Кунанбая резко отличалась от горожан. Он всегда был окружен разноплеменной толпой: при нем находились татарин — мулла Габитхан, киргиз — Изгутты, названый брат Кунанбая, араб — вероучитель Бердыхожа; были даже черкесы — телохранители.

Центр города стал похож на аул Тобыкты. Когда Абаю становилось скучно у отца, он начинал бродить из дома а дом, чтобы развлечься.

Так и сегодня после утреннего чая он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Окрестные холмы уже покрылись снегом и дремали под белым пушистым ковром. Стройные сосны пригорода тоже утонули в снежных сугробах. Горы, покрытые лесом, казались Абаю стариками, надвинувшими на лоб белые шапки.

Стояли ясные морозные дни. Едва заметно было дыхание тихого северного ветра. Завязывая свои лисий малахай, Абай невольно вспомнил бабушку. «Никогда не забывай завязывать малахай. Ничего нет хуже глухоты, — видишь, как я мучаюсь?»— говорила она ему перед отъездом. «Здорова ли она? Наверное, вспоминает меня при каждом буране и морозе», — подумал Абай и ясно представил себе всех, кто остался в Жидебае. — он соскучился по семье.

Твердый, плотный снег звонко скрипит под ногами. Остроносые новые сапоги скользят по натоптанной дороге. Абай не похож на подростка, он одет, как взрослый юноша. На голове лисий малахай, крытый черным бархатом, — старшие носят малахай из лисьих лапок, и, чтобы отличаться от них, тобыктинская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинны, — чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаралинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличается от тобыктинского. Да и малахаи в Тобыкты шьются не из четырех клиньев, как у каркаралинцев, а из шести. Подпоясывается тобыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани.

Дорогою Абай встречает много аульных казахов. Большинство всадников направляется к дому Кунанбая — это аткаминеры, приехавшие с тяжбами, и истцы, которые готовы топтаться у дома правителя с утра до вечера.

Абай дошел до квартиры Майбасара.

Войдя во двор, он увидел под крытым навесом целую толпу. Чужих не было ни одного, — все знакомые или близкие сородичи, почти все — пожилые люди.

Среди них стоял Майбасар — большой, цветущий, в мерлушковой белой шубе, наброшенной на плечи. Здесь собрались все тобыктинцы, поселившиеся отдельно от Кунанбая.

Четверо молодых жигитов силились повалить темно-рыжую кобылу-четырехлетку с крутым загривком. С первого же дня появления Кунанбая в Каркаралинске Майбасару со всех сторон приводили жирных овец, яловых отгульных кобыл, откормленных стригунов и другой убойный скот — подношение Кунанбаю по случаю приезда. Майбасар, видимо, собирался забить одну из таких жирных лошадей и устроить угощение друзьям.

Каждого, кто принадлежал к роду Иргизбай, по пути в Каркаралинск и в самом городе встречали и теплый прием, и почет, и обильное угощение. И каждого из них переполняла благодарность к Кунанбаю за то, что тот возвысил их род. Вид жирной темно-рыжей кобылы снова вызвал в них чувство признательности.

— Эта поездка мирзы особенно удачна, — начал Жакип, брат Кунанбая.

За последнее время, по примеру истцов и жалобщиков, приехавших в Каркаралинск, уже все тобыктинцы стали называть Кунанбая почетным именем «мирза».

— У врагов и завистников все нутро сгорит: завтра будет открытие мечети… Весь народ восхваляет нашего мирзу, — важно сказал Майбасар.

— Да и есть чем восхищаться, — мечеть великолепная!

— Такого блеска Каркаралинск никогда не видел, — восторженно присоединились остальные.

В городе Абай и от отца и от других часто слышал о мечети. Он знал, что построив ее, Кунанбай завоевал всеобщее уважение и славу. Первую и единственную мечеть в Каркаралинске и во всем округе начали строить на средства Кунанбая еще в прошлом году. Сегодня она должна быть освящена. Муллы в городе и знатные старейшины в аулах не переставали восхвалять Кунанбая за эту мечеть.

Два дня назад у Кунанбая побывал сам имам — мулла Хасен Саратау, благорасположенный к казахам. Он тоже сказал свое слово:

— Из простого народа ты вышел в ханы… В коране мечеть названа «жилищем бога». Ты воздвиг дом вседержителя среди темного, непросвещенного народа — и тебя возлюбит создатель!

И он благословил Кунанбая при всем многолюдном собрании старейшин. За такую похвалу и почет имам перед отъездом получил от ага-султана лошадь и верблюда.

Абай видел, что его отец сильнее и влиятельнее других аткаминеров. Он пытливо наблюдал за Кунанбаем, стараясь понять, как он того добился. Но с тех пор, как Абай стал жить возле отца и следить за его поступками, тот все больше казался ему неразрешимой загадкой.

Мясо забитой кобылы уже отнесли на кухню. Тобыктинцы, которые остановились в других домах, тоже пришли на обед к волостному, и толкотня во дворе усилилась. Майбасар собирался уже вести родичей в дом, — всем хотелось спокойно рассесться по местам, как вдруг калитка распахнулась и вошел Карабас, посыльный Кунанбая.

Он очень спешил. Майбасар остановился, поджидая его.

— Едет Алшекен![54] Говорят, к мирзе едет Алшекен! — сказал он Майбасару и Жакипу. — Мирза зовет вас. Идите скорее!

Майбасар надел шубу в рукава и направился к выходу. Жакип двинулся за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар обернулся к нему.

— Абай, иди и ты тоже! Он же тебе тесть, отдай тестю салем! — и он иронически усмехнулся.

Года два назад дружба Кунанбая с Алшинбаем закрепилась родством: Кунанбай засватал для Абая Дильду, внучку Алшинбая. Таким образом, Алшинбай стал внучатым тестем Абая.

Пока приезжие жили в Каркаралинске, Алшинбай уже несколько раз успел посетить Кунанбая. Все старейшины округа произносили имя Алшинбая с особенным почтением. Абай никогда не слышал, чтобы кто-нибудь назвал его просто Алшинбаем, все говорили: «Алшекен». Его род носил прозвище «Каракок».[55] Алшинбай — сын знаменитого Тленши-бия, внук Казыбек-бия. Следовательно, невеста Абая — благородного происхождения. Калым за такую невесту не мал: целые косяки лошадей и стада верблюдов направлялись из аула Кунанбая к Алшинбаю. Неизвестно, только ли сватовство соединило их, но Алшинбай и Кунанбай стали закадычными друзьями. Поэтому стоило только Майбасару или Жакипу услышать имя Алшинбая, как они готовы были бежать и угодливо выполнять малейшее его желание.

Майбасар никогда не упускал случая поддразнить племянника:

— Ну и тесть у тебя! Самый важный во всей округе! Запросто к нему не лезь — склони голову при входе.

Шутки Майбасара привели к тому, что Абай стал избегать встреч с Алшинбаем. Но позавчера Кунанбай и Алшинбай вызвали его к себе и стали упрекать в неуместной застенчивости. Однако этот тесть, из-за которого Абаю, считавшему себя уже настоящим жигитом, приходилось смущаться и прятаться, точно молоденькой невесте в ауле, не особенно нравился юноше. Больше того, поддразнивания неугомонных шутников, постоянно изводивших Абая напоминанием о тесте и теще и повторявших слова «свадьба», «невеста», «жених», отвратили его от самой Дильды. Всякая мысль о ней стала ему противна.

Однако сегодня, когда они маленькой кучкой шли по улице, Майбасар серьезно взглянул на Абая и сказал без всякой насмешки:

— Я все собираюсь поговорить с тобой кое о чем без шуток… Да не дуйся,

ты же не ребенок! Ты уже взрослый человек и должен понимать, что не зря гонят в аул Алшинбая табуны скота… Вот кончится праздник освящения мечети, будет свободнее, тогда поговорим…

Абай, как всегда, ни слова не ответил Майбасару. Вмешался Карабас:

— Думаешь, Абай сам не догадывается? Он у нас сообразительный, все понимает!

— Брось расхваливать меня, Кареке! Замолчи — конем подаришь! — ответил Абай и, обняв Карабаса, повис на его плече.

С ним он всегда разговаривал свободно, не как с Майбасаром. Карабас нравился Абаю, и он часто шутил с ним.

— Закончим дела, сдержу слово. Разговор с тобою впереди. И еще какой разговор! — повторил Майбасар, подчеркивая загадочный оттенок своих слов.

«Наверное, отец решил ускорить свадьбу… Тогда уж не до шуток…»— решил Абай. Он даже в лице изменился. Отчего? Он не понимал сам. Но едва речь заходила о свадьбе, в нем поднималось какое-то враждебное чувство. Самое имя Дильды, казалось, таило в себе неволю, насилие.

Он только нахмурился и блеснул глазами — единственный знак неодобрения, который он мог себе позволить: перечить Майбасару, своему дяде, он не решался.

Поравнявшись с домом, где жил Кунанбай, все четверо вошли в ворота. Здесь царил необычайный шум, двор был полон верховых и пеших. Во всех углах и закоулках толпились тяжебщики и, сгрудившись по пять — десять человек, вели переговоры. Одни и те же слова неслись отовсюду: «Волостные, бии… следствие, приговор… условия, взыскания… вина, мир, ссора…» Большинство приехавших принадлежало к роду Бошан. Их легко распознать по чапанам. Кое-где мелькала одежда тобыктинского покроя или же овчинная шуба и малахай с острой макушкой племени Керей.

Принадлежность к тому или иному роду определить не трудно; об этом говорит не только одежда. Вчера Карабас объяснил Абаю отличия тавра каждого рода, и сейчас, проходя по двору. Абай всматривался в коней, вокруг которых кучками толпились собеседники. Вот кони с круглым тавром, называемым «глаз», — значит, они принадлежат Аргызу и Бошану. Вот «бычье седло» — тавро Керея. «Чей же это серый конь? Э-э, да ведь он с тавром «поварешка», значит, кто-то из Наймана!»— подумал Абай. На двух конях стояло тавро, напоминающее арабскую букву «шин», — это тавро тюре, знатных лиц.

Абай был бы не прочь задержаться во дворе, но старшие, не останавливаясь, пошли прямо в дом. Жакип опередил всех и открыл дверь в комнату Кунанбая. Все четверо вошли вместе и в один голос отдали салем.

Большая светлая комната была устлана пестрыми коврами с причудливыми узорами. На стенах, как принято в городе, висели дорогие меховые шубы,

вышитые молитвенные коврики, изречения, писанные на материи арабской вязью. Вдоль стен блестели металлические кровати, высились груды пуховых подушек, шелестели шелковые занавески. На дверях и окнах висели красивые сюзане. За большим низким складным столом, облокотившись на белые пуховые подушки, сидели на груде одеял Кунанбай и Алшинбай. На почтительный громкий салем они ответили сдержанно, чуть пошевелив губами.

Вошедшие сели по обеим сторонам собеседников. Алшинбай говорил о чем-то, но при их появлении прервал свои рассказ и взглянул на Кунанбая. Тот без слов, знаком лишь дал ему понять, что разговор можно продолжать и при них.

Алшинбай — полный, осанистый, румяный, седобородый — сидел, накинув на плечи лисью шубу поверх черного бешмета. Стеганная в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой лысины. Он продолжал начатое:

— Баймурын тоже хмурится. Он недоволен и не может скрыть своей обиды.

Кунанбай, насупившись, повернулся к Алшинбаю. Тот пристально посмотрел на него и добавил:

— Он заявил: «Говорят, Кунанбай будет недоволен, если я приглашу Божея в гости. С каких пор это Тобыкты распоряжается моими котлами?»

— А с чего это Баймурыну вздумалось биться его соилами?[56] Он этого не объяснил? — резко спросил Кунанбай.

Абай знал, о чем шла речь.

Позавчера отец долго разговаривал с Алшинбаем и в заключение сказал о Божее тяжкие слова: «Пусть лучше он перестанет подавать на меня жалобы. Иначе не успокоюсь и я, пока не наденут на него серого кафтана и не сошлют подальше!» Переговоры между Кунанбаем и Божеем и передача взаимных колкостей велись через Алшинбая и Баймурына — одного из самых знатных казахов Каркаралинска. Сегодня, видимо, Алшинбай приехал, чтобы сообщить, куда гнет противная сторона.

Кунанбай и раньше знал, что Баймурын поддерживает Божея. Слова Алшинбая только подтвердили это. С Баймурыном Кунанбай и разговаривать не хотел: не он был его главным противником. Пусть себе обижается, — его обиды могут волновать только Алшинбая, а Кунанбая они не трогают. Да и сам Алшинбай не станет, пожалуй, коситься на Кунанбая из-за обид своего сородича Баймурына. Связь их прочна, она неоднократно испытана за последние годы, сватовство и дружба для них важнее, чем родственные отношения с другими.

Алшинбай помолчал, обдумывая. Потом заговорил:

— Выслушай сперва ответ Божея на твою угрозу, а об остальном посоветуемся после. Он сказал так: «Серый кафтан кроил не наш мирза: он скроен богом, и неизвестно еще, кому придется носить его…» Кто-то его подстрекает. Может быть, сам Баймурын, а может, кто-нибудь другой…

Услышав о вызывающих речах Божея, Майбасар и Жакип переглянулись и нахмурили брови, словно говоря: «На беду напрашивается…» Абая весь день волновало, что может ответить Божей, но то, что передал Алшинбай, поразило его. Он невольно подумал: «Какой ненавистью порождены такие слова!.. И какой он смелый!..»

Кунанбай поднял голову и, глядя своим единственным глазом прямо перед собой, долго сидел молча. Хмурое, бледное его лицо еще больше помрачнело. Он весь ощетинился, но больше не выдал себя ничем — ни движением, ни звуком, ни словом. Всю злобу он затаил в себе, внутри у него все клокотало, но он оставался непроницаемым.

Алшинбай отвел от него взгляд: лицо Кунанбая поразило даже его.

В комнате все молчали. Карабас, задержавшийся во дворе, тихо открыл дверь и вошел, осторожно ступая.

— Майыр[57] приехал, мирза… — доложил он.

Кунанбай не шелохнулся и при этих словах. Дверь распахнулась, и на пороге появилась огромная, пышущая здоровьем фигура майора. За ним следовал переводчик Каска, сухощавый, бледный казах с узкой, торчащей вперед бородой.

Майор пожал руку Кунанбаю и Алшинбаю. На пол он не стал садиться, а опустился против Кунанбая на единственный стул, стоявший у стола. Большие голубые глаза майора немного косили. Лицо его обрамляла курчавая светлая густая борода. Багровый затылок был в жирных складках.

Обычно между собою казахи не называли «майоров» по имени: они давали им прозвище по их внешнему виду. Прежних майоров звали по какому-нибудь отличительному признаку: «усатый майыр», «жирный майыр», а одного — рябого — «дергач-майыр».[58] Внешность нынешнего начальства давала повод для самых разнообразных прозвищ. Его звали «косоглазый майыр», «волосатый майыр», «брюхатый майыр». Кунанбай и Алшннбай, считавшие его человеком крайне недалеким, держали его под кличкой «пискенбас-майыр», что означало «вареная голова».

Казахи называют округ — «дуан», а правителей его — «главой дуана». Главой дуана Каркаралы были Кунанбай и майор: Кунанбай считался начальником округа, а «пискенбас- майыр»—его помощником. Поэтому-то к имени Кунанбая и добавляли почтительно: ага-султан. Младший султан — третье лицо в управлении — нынче был в отъезде.

Майор пришел к Кунанбаю по делу Божея. Для Кунанбая, разъяренного дерзким ответом Божея, приход его оказался кстати. Кунанбай прямо приступил к делу:

— Майыр, твои предки не из Тобыкты, но, кажется, ты обзавелся родственниками здесь, в Каркаралинске. Говорил я тебе, что Божея надо сослать и кончить все это дело? А ты тянешь, как затяжная болезнь. Что он — в

печенке у тебя засел или родичем стал?[59] Почему ты ему так сочувствуешь?

И он пристально уставился на майора своим одиноким глазом. Тот обернулся к переводчику, жестом требуя объяснения.

Каска ужасался в душе, слушая Кунанбая. Он в нерешительности посматривал то на него, то на майора. С одной стороны запас русских слов у толмача был слишком мал, чтобы передать сказанное, с другой — он просто не осмеливался переводить гневные слова одного начальства другому. Он медлил, царапая ногтем ковер на полу, растерянно улыбаясь и ерзая на месте.

Кунанбая взорвала эта медлительность.

— Эй, толмач! Передай ему в точности все, что я сказал! Что ты вертишься, как трясогузка над норкой?

Сравнение вызвало громкий смех Майбасара; но, взглянув на суровое лицо Кунанбая, он спохватился, хотя смех душил его. Абаю тоже понравилось сравнение отца: переводчик своим жалким видом действительно напоминал вертлявую птицу, подпрыгивающую на песке.

Каска медленно, но точно перевел сказанное Кунанбаем. Майор не смутился. Он начал не торопясь, спокойным громким голосом:

— Власть нам дана не для того, чтобы мстить тем, с кем мы в ссоре. От Божея Ералинова поступило много жалоб, мы обязаны проверить. Кроме того он не один, за него стоят многие. Пока от его ссылки следует воздержаться.

После этих слов оба заговорили быстро, горячо, перебивая друг друга.

— Ты хочешь держать нас в вечной тяжбе? Этого ты добиваешься?

— Я не один… Бывшие ага-султан Кусбек и Жамантай тоже такого мнения. Даже Баймурын, — вот Алшинбай знает его, — и он рассуждает так же.

— А кто они? Одиночки! Их меньшинство! В них говорит зависть. А народ за меня. Ты разве не видишь этого?

— Меньшинство? Пусть будет меньшинство. Закон дан царем, а перед ним равны все. Они свидетели: надо выслушать и их.

— Ты — судья. Как же не обнаглеть преступнику, раз ты стоишь за него?

— Кунанбай-мирза, такой упрек — палка о двух концах!..

— Знаю! Все твои шашни знаю!

— Ага-султан, не забывайтесь! Мы с вами оба поставлены корпусом![60] — сказал майор.

Он закурил трубку, встал и начал ходить взад и вперед по комнате, весь багровый от возмущения.

Алшинбай решил прекратить разговор. Если оба начальника пойдут дальше, то их перебранка перейдет в ссору. Это нежелательно. Алшинбай не может допустить такого оборота дела, который повредит Кунанбаю, да и ему самому тоже. До сих пор он сидел неподвижно, облокотившись на стол, но сейчас быстро поднял голову.

— Э, мирза! Э, майыр! Опомнитесь! — сказал он громко. Алшинбая уважал

не только Кунанбай, но и майор, которому неоднократно приходилось советоваться с ним по разным серьезным делам. До сих пор между ними не произошло ни одной размолвки. Кроме того Алшинбай всегда был решающей силой при выборах волостных и даже ага-султанов, хотя и не принадлежал к представителям официальной власти. Майор это хорошо знал, и с этим приходилось считаться. При первых же словах Алшинбая он, стоя во весь рост, искоса бросил взгляд в сторону Кунанбая. Было видно, что слова Алшинбая подействовали и на того.

Майор опять опустился на стул. Он дышал тяжело, как при сильном сердцебиении. Волнение сжимало ему горло:

— Не пререкайтесь так, правители. Это не годится, — начал Алшинбай.

Переводчик, наклонившись к майору, стал быстро переводить слова Алшинбая.

— Вы — опора друг для друга. Будете в согласии — сумеете править народом. Разве вы сможете управлять вразброд? Раздоры и дрязги вас погубят. Работайте согласно. А если сами не сможете договориться, советуйтесь с такими, как мы. Вот вам мой совет! — закончил Алшинбай и посмотрел на обоих. Он убедился, что они немного успокоились после вспышки. — А что касается дела Божея, — продолжал Алшинбай, слегка наклонясь к Кунанбаю, — то я из-за него и приехал, Кунанбай-мирза… Майор, прошу вас отложить решение до вечера. Можете ли вы оба подождать с разбором некоторое время? Ответьте на мой вопрос прямо.

При последних словах Алшинбая из передней комнаты появился Карабас с большой глубокой миской кумыса. Майбасар, Абай и другие неслышно поднялись, разостлали скатерть и расставили перед старшими деревянные, выкрашенные блестящей краской чашки. Майбасар перебалтывал кумыс черпаком из рога дикого барана. Густая влага, чуть пожелтевшая от кожаной посуды,[61] не вспениваясь, плавно колыхалась пологой, спокойной зыбью. На скатерть были поставлены чашки с баурсаками из кислого теста.[62] Карабас принес и горячее, — это было не обычное мясо или куырдак,[63] а любимое блюдо Кунанбая, называвшееся «жау-буйрек»,[64] которое он ел с кумысом.

Когда Алшинбай замолчал, Кунанбай обратился к нему и к майору, указывая на еду:

— Кушайте, поднимите чашки!

И он совершил молитву, проводя ладонями по лицу. С тех пор как Кунанбай, начав строить мечеть, сблизился с муллами и хазретами, он стал проявлять большую набожность и благочестие. Не зная по-арабски, он, однако, выполнял все обряды, совершал молитву, обводя лицо ладонями, и не упускал случая сказать «бисмидля».

Угощение прервало речь Алшинбая, но и говорнть-то дальше было не о чем. Раз Алшинбай брался уладить дело, майор тоже не счел нужным упорствовать.

Если возникнут затруднения, дальше будет видно, как поступать. А если все разрешится благополучно, нет ничего разумнее, как предоставить дело Алшинбаю.

— Ты прав, — сказал он Алшинбаю, — я согласен. Буду ждать. Разговор перешел на другое. Майор охотно принялся за кумыс и выпил одну за другой пять чашек. Потом, отведав жау-буйрека, попрощался и уехал. Переводчик вышел за ним. Скатерть убрали.

Тогда Кунанбай высказал вслух мысль, которая, видимо, не давала ему покоя:

— Похоже, у этой «вареной головы» зоб крепко набит взятками. Видели вы, как его настрочили? Божей и Байсал через Баймурына набили-таки ему брюхо!

Алшинбай сам думал то же, но смотрел глубже, и у него возникло новое подозрение. Взволнованный и сосредоточенный, он не сразу ответил на слова Кунанбая и, помедлив, сказал задумчиво:

— Боже мой, да разве есть тут начальник, который не брал бы взяток? Разве не берут они все и справа и слева, разве не глотают в два горла? Дело не только во взятке…

И Алшинбай перешел к тому, с чем, собственно, он и приехал к Кунанбаю. Собрав по привычке глубокие складки на лбу, он заговорил, щуря глаза:

— Я стою в стороне и зорко слежу за каждым шагом, за каждым отзвуком твоего дела. «В игре посторонний видит лучше, чем игрок», — говорил мой отец. И я за ним скажу: тобыктинцам пора кончать игру. Если сейчас не остановиться, дело может принять скверный оборот…

Это заключение свата было для Кунанбая полной неожиданностью.

— Алшеке! — воскликнул он. — В степи Божей и Байсал грызли мне ноги, а здесь, в дуане, они норовят вцепиться мне в горло! Как после этого мне не идти на все?..

Алшинбай чуть приподнял левую руку и заговорил снова:

— Если ты намерен бороться и дальше, ты, конечно, пойдешь на все. Но ведь они тоже ничего не пожалеют для борьбы. Не забывай про майыра! Разве мало всяких Баймурынов, которые так и цепляются за любую сплетню и клевету? Ты думаешь, они считают, что ага-султанство ушло от них навсегда? Они не перестают сторожить тебя на каждом перевале и теперь уж постараются стащить тебя с коня. Подумай. Тяжебное дело, в которое будет впутано твое имя, к хорошему не приведет…

Кунанбай понял намек. И майору и Алшинбаю ясно, что борьба между двумя крупными родами вызвана только личной враждой. Кто поручится, что при дальнейшем следствии не всплывет вопрос, как мог Кунанбай, ага-султан, устроить набег на аул Божея, связывать людей, бить плетьми? Кто поручится, что дело не примет нежелательного оборота? Пыль поднялась в разных местах: «жалоба Божея»… «надо разобраться»… «они — свидетели», — это искры

одного пламени…

Кунанбай в раздумье посмотрел на Алшинбая, но не сказал ни слова, — он хотел, чтобы тот высказался до конца. Алшинбай ответил ему таким же пристальным взглядом и заговорил значительно:

— Сегодня закончена постройка мечети. Слава вознесла тебя над всеми. Имя твое известно повсюду. Многие завидуют тебе, и в первую очередь тот же корпус и тот же майыр. Если ты сам прекратишь борьбу, это не будет для тебя унижением, — все поймут, что ты прощаешь врага и хочешь «очиститься от скверны мирской при совершении святого дела», как говорит коран. Да не будет сородич твой Божей врагом тебе. Не бросай его в объятия чужих, сроднись с ним, сблизься, помирись, — заключил он.

Кунанбай долго хранил молчание. Когда о мире просит Алшинбай, нужно подумать, прежде чем отказать. Алшинбай — самый влиятельный бий во всем Каркаралы. К нему идут целые племена за разрешением тяжеб и ссор… А кроме того ведь лишился же своего ага-султанства тюре Кусбек, не поладив с ним!..

В Каркаралинском округе племя Тобыкты не самое сильное и многочисленное. Кунанбай получил ага-султанство благодаря дружбе с Алшинбаем… Да, если продолжать преследовать Божея как врага, он и повергнутый на землю не перестанет кусать за ноги. Дело идет к этому. А потом, если уж говорить об обидах, то ведь обиду-то нанес Божею он, Кунанбай. А чем оскорбил его Божей? Ничем!.. Раз просит Алшинбай — нужно согласиться. Это решение, конечно, не означает, что надо круто повернуть и сдаться сразу…

Будь это не Алшинбай, а кто-нибудь другой, ага-султан не решал бы так быстро. Но с Алшинбаем — другое дело. Потому Кунанбай больше не колебался.

— Алшеке, — начал он, — ты говоришь, все обдумав и взвесив заранее. Говоришь, как друг. Если я не пойму этого, вина ляжет на меня самого. Я не хотел отступать. Но разве я могу не послушать тебя и упорствовать? Все вверяю богу и тебе, — доведи дело до конца сам.

Разговор был кончен. Алшинбай вернулся к себе.

Абай обрадовался за Божея. Он почувствовал даже расположение к Алшинбаю. Суровый лик вражды исчезал, вокруг тепло и радостно повеяло миром. Абай приветствовал его появление облегченным вздохом.

В тот же вечер Абай ушел один бродить по городу. Когда ему становилось грустно или, наоборот, когда его что-нибудь радовало, он всегда искал одиночества.

День уже догорал, но солнце еще не зашло. Над гребнем лесов, покрывавших холмы на западе, повисло огненно-красное полотнище. В горах, должно быть, поднялся ветер, — по голым склонам поползла поземка, снег то лениво

кружился, то взвивался облачками, красноватыми от закатных лучей.

В городе ветра нет, но мороз щиплет и подгоняет и без ветра. Такие дни бодрят душу, отгоняют уныние. Склоны холмов, обращенные к городу, медленно окутываются сумерками. Каменистые бугры перед ними тоже исчезают, точно уходя на ночлег.

Абай прошел уже три-четыре квартала, когда навстречу ему показалась целая толпа. Люди шли, громко и весело разговаривая. Абай не заметил среди них ни одного знакомого. Из того, что они шли по улице пешком, Абай заключил, что это городские жители.

Толпа, объединившая и молодежь и пожилых, говорливая, смеющаяся, дружная, невольно привлекла его. Он улыбнулся в остановился посреди улицы, весело поджидая ее приближения. Люди подошли, громко скрипя ногами по утоптанному снегу, и никто не обратил на него внимания. Теперь стало видно, что все окружали почтенного, благообразного старика. Старик смеялся сам и смешил других.

Абая поразило, что старика вели под руки. Он шел не поворачиваясь и не оглядываясь, да и разговаривая, не смотрел на собеседника. Абай внимательно посмотрел на лицо этого необыкновенного старика и понял, что тот был слеп.

Когда толпа поравнялась с Абаем, он присоединялся к ней. Да и не только он, — все, кто стоял у ворот или шел навстречу, вливались в толпу, увлеченные дружным потоком.

Один из прохожих, уже пожилой, с бородой, тронутой серебром, немного отстал. Абай спросил его;

— Кто это?

Тот даже удивился:

— Неужели ты не знаешь Шожекена? Вот удивительно! Это же Шоже. Шоже-акын!

Имя Шоже Абаю было известно давно, но видел он его впервые. Узнав, что это знаменитый акын, Абай тотчас пробрался в передние ряды, силясь рассмотреть Шоже поближе, и стал прислушиваться к его словам.

— Шожеке, зайдите к нам! Ведь уже подошли к нашему дому! Это я, Бекберген! — обратился к акыну один из сопровождавших.

— Ну нет, он к нам пойдет!

— Эй, полно вам, я его издалека привел…

— Брось ты говорить! Шожекен у нас ночует! И конь его у нас стоит! — вмешался еще кто-то.

Услышав пререкания, Шоже остановился. Он громко рассмеялся. — голос у него был звучный, ясный.

— Уа, друзья, сказать вам мое желание? — спросил он. Толпа ловила каждое слово почтенного старика.

— Говорите, говорите. Шожеке! Решайте сами, говорите! Выбирайте сами,

где вы хотите переночевать!

— Итак, родные, вы хотите угостить меня и приготовить мне мягкую постель… Вы обрадовали мою душу, родные. И я докажу это, я зайду ко всем, кто сейчас кричал: «Ко мне, ко мне!» Погощу у всех… Надеюсь, что за какие-нибудь пять — десять дней горло Шоже не завалится камнем. Если брюхо мое выдержит, я обойду всех, кто здесь кричал, и буду угощаться у них по очереди. А сейчас начало морозить. Наверное, уже вечер? Дети мои, хватит вам тянуть мои старые жилы в сорок сторон, — не завернем ли мы просто в ближайшие ворота?

Все с улыбкой слушали старика. Пришлось согласиться с ним. Ближайшие ворота были туг же: толпа стояла перед ними.

Хозяин опрометью побежал к себе. Но толпа не хотела расходиться, — жаль было оставлять Шоже. Все знали, что гость сегодня к ним уже не попадет, и никто не мог уйти, не послушав хоть немного его песен.

Старик, стоявший возле акына, решил, видимо, подзадорить его.

— Шожеке, — сказал он, — ты ведь только что приехал в город. Слышал ты о здешних делах?

— Нет. Расскажи-ка, о чем толкуют?

Новостей оказалось много. Мечеть, построенная Кунанбаем, закончена: Алшинбай и Кунанбай хотят устроить по этому случаю пир; кроме того ходят слухи, что Кунанбай решил помириться со своим сородичем Божеем.

Абай был поражен: он никак не ожидал, что услышит Здесь имя своего отца. «Мечеть мечетью, — подумал он, — но, оказывается, народу известен каждый шаг отца, каждая его ссора!»

— Алшинбай сведет и помирит кого угодно!

— Э-э, он просто боится, что, перессорившись со всеми, Кунанбай может слететь!

— А кто же и выдвинул Тобыкты, как не он? И честь, и власть, и возвышение — все получено через него!

— Алшинбай горой стоит за них!

— А тобыктинцы поедают все, что пожирнее в табунах, загребают все, что есть лучшего в лавках!

— Как видно, они не уедут, пока не слопают всех жирных лошадей вокруг Каркаралы!..

Шоже с полуулыбкой слушал новости и вдруг неожиданно запел своим звонким голосом:

Лысый кот и ворон кривой дружбу свели.

Взяли хромого пса: «Бога о нас моли!»

Лысый отдал кривому все, чем живет народ,

И все, чем живет народ, ворон кривой склюет…

Все расхохотались, а некоторые даже защелкали языком, пораженные меткостью и быстротой старого акына.

— Лысый кот — это же Алшинбай!

— А ворон — Кунанбай!

— И хромой имам тут же!..

— Неукротимый старик одним стихом всех их уничтожил! — наперебой заговорили кругом.

Абай невольно смутился и отошел в сторону. В эту минуту вышел хозяин дома и повел Шоже к себе. Абай повернулся и быстро пошел домой.

Песня Шоже все еще звучала в его ушах. Казалось, она проникала в самое сердце. Абай запомнил каждое ее слово и невольно повторял про себя.

Эти строки одним ударом сровняли с землей две вершины.

Тот, кого никто не смел назвать иначе, как почтительным именем «Алшекен», превратился в «лысого кота», — лысину Алшиибая все хорошо знали. А собственный отец Абая — «ага-султан», «мирза» — стал вороном. Да еще каким! Он, избранник, купающийся в несметном богатстве, властитель необъятного Тобыкты, — хищный ворон, безнаказанно клюющий все, что есть лучшего, ценного у народа!

Что в мире сильнее слова?.. Абай вспомнил хитроумного Каратая: «Слово все внутренности пронзает», — говорил тот.

Абай целиком ушел в свои мысли. Ему казалось, что сейчас он познал ту великую силу, которой дано потрясти мир. Не замечая ни улиц, ни прохожих, он шел, поглощенный своими думами.

Повернув за угол, он столкнулся с тремя всадниками. Абай поднял глаза. Посредине на гнедом коне ехал Божей. Бледное лицо его под лисьим малахаем было угрюмо, вечерний иней покрывал усы белым налетом. Рядом с ним ехали Байсал и Байдалы.

Абай на миг оцепенел, ему еще не приходилось встречать Божея в городе. Но, быстро овладев собою, он стал посреди дороги, точно хотел что-то сказать всадникам. Верховые придержали коней — то ли от неожиданности, то ли узнав его.

Абай с особенной почтительностью, приложив правую руку к груди, отчетливо отдал салем:

— Ассалаумаалейкум!

Наставник в медресе учил их, что такой салем они должны отдавать при встрече с хазретом. Может быть, Абаю вспомнилось напутствие матери при отъезде в Каркаралинск? Нет, это почтительное приветствие вырвалось у Абая почти помимо его воли.

Необычное поведение встречного мальчика удивило Божея. Он остановил коня.

— Уагалайкумассалем,[65] сын мой, — сказал он.

Байсал, вглядевшись, узнал Абая. Он недовольно поморщился.

— Э, вот это кто!.. Ну, хорошо, едем! — сказал он и хотел было тронуться.

Но Божей коротко остановил его:

— Постой.

— Зачем? Неужели ты думаешь, что мне приятно слушать салем сына этого проклятого? — возразил Байсал и угрюмо посмотрел на Абая.

Щеки Абая вспыхнули. Пламя, казалось, обожгло не только лицо, но и всю душу. Незаслуженно обиженный, ни в чем не виновный мальчик сверкнул на Байсала полными огня глазами.

Божей сразу понял, что происходило в душе Абая.

— Скажи мне правду, сын мой: это отец приказал тебе отдать салем при встрече с нами или ты поступил так по своему желанию?

— Отец ни при чем, Божеке. Это — мое желание.

То прекрасное ощущение согласия, мира и тишины, с которым он вышел из дома отца, все еще жило в Абае.

О решении Кунанбая прекратить тяжбу ни Божей, ни Байсал еще ничего не знали. Они ехали сейчас к Алшинбаю, который послал к ним человека с просьбой прибыть для переговоров, но о цели их не догадывались.

— Если ты сделал это сам, без наказа отца, — тихо сказал Божей, — подойди, я хочу дать тебе благословение. В твоих глазах я вижу благородный огонь, дорогой мой!

Байсал опять недовольно поморщился и хотел отвернуться. Но Божей заметил его движение.

— Эй, Байсал, этот юноша обещает многое. — И он снова обратился к Абаю — Будущее ляжет на твои плечи, сын мой. Дай бог тебе счастливого пути. Да наградит тебя бог всем, кроме жестокости твоего отца! — и он провел ладонями по своему лицу.

Абай, не сводя с него глаз, принял благословение, раскрыв ладони и проведя ими по лицу в свою очередь.

Всадники отъехали. Байдалы сказал Божею:

— Его глаза сияют, как горящий уголь саксаула.

Абай долго стоял в задумчивости.

Правда ли это? Искренне ли говорил Божей? Может быть, он просто пожалел мальчика, оскорбленного суровыми словами Байсала? Что заставило Божея так тепло благословить его? Как сумел Божей в одно мгновение проникнуть в душу Абая и понять ее? Ведь он так мало знал его! Но старики опытны, проницательны, мудры, — думал Абай, продолжая свой путь. И если Божей увидел в нем что-то хорошее, значит, Абай не так уж плох, как ему самому кажется.

Чем больше Абай раздумывал, тем больше торжествовало в нем юное самолюбие. Ему казалось, что сердце его поднимается куда-то ввысь на больших, сильных крыльях.

Абай ускорил шаг. Он только сейчас заметил, что стало совсем темно. И только сейчас сообразил, что прошел два лишних перекрестка. Ему пришлось повернуть обратно.

Сумерки, которые в ауле Абай любил встречать в одиночестве на холме, здесь, в городе, вызвали в нем особенно сильное чувство. Минувшим летом Абай не раз видел ястребиную охоту. Когда наступают сумерки и тьма борется со светом, ястреб, взлетевший в небо и освещенный закатившимся уже солнцем, горит таинственным пламенем, и крылья его сверкают, как огненные языки. В этот вечер таким огненосным ястребом казалось Абаю его собственное сердце. Он весь был восторженно, чутко напряжен.

Нынешний день так отличался от всех предыдущих! Днем — отец и Алшинбай, вечером — Шоже и его спутники, сейчас— Божей и Байсал, только что скрывшиеся в темноте… Какие различные миры столкнулись в тесном Каркаралинске! И какие неизмеримые расстояния между ними! Они далеки друг от друга, как четыре стороны света. В одном — власть, в другом — искусство, в третьем — сердце. Почему эти потоки не сольются в один? Что было бы, если бы эти люди сошлись и действовали вместе?

Эта мысль озарила Абая внезапно. Ему казалось, что до него никто не думал так. «Разум, воля…» «Власть, слава, достоинство…» О постоянной борьбе между ними он много читал в книгах…

И вот он столкнулся с их борьбою в жизни. И сделал новое заключение: они должны совместиться в одном человеке.

Сколько разных людей он встретил в городе, сколько новых мыслей зародилось у него в голове! Он собственными глазами видел знаменитого Шоже и слышал его своими ушами…

Оживленный и бодрый вошел Абай к Майбасару. Было уже совсем темно. В прихожей он сбил с подошв примерзший снег, топая крепче и смелее, чем обычно, обтер ноги о половик и, не останавливаясь, прошел в гостиную комнату. Щеки его зарумянились от мороза, быстрый взгляд блестящих черных глаз горел совсем по-новому.

Комната была полна сородичей. Не одолев днем и десятой части жирной конины, они теперь накинулись на нее со свежими силами. Только что появился большой медный самовар, и все принялись за крепкий душистый чай. Майбасар с довольным видом взглянул на Абая.

— Абайжан, — сказал он, — где ты пропадал? Иди раздевайся, выпей чаю! Погрейся!

Подвинувшись, он освободил Абаю место возле себя. Мальчик не торопясь разделся и сел. Жакип со смаком прихлебывал чай.

— Пейте скорей, — торопил он сидящих, — пора идти в дом мирзы!

— Да, да, — подтвердил Майбасар. — Угощение готово, комнаты тоже… Говорили, что гости придут после вечернего намаза.

— Куда торопиться? В новой мечети намаз затянется.

— Еще бы! Ведь мулла Хасен только что возведен в имамы. Должен же он показать себя!

— Конечно! Читать будет не торопясь, нараспев, по уставу, — рассуждала молодежь, назначенная разносить блюда на пиру у Кунанбая.

— Да что вы болтаете, — нетерпеливо сказал Жакип, — ведь и вам сперва надо пойти на намаз в новую мечеть! Майбасар, разве ты не пойдешь?

Но Майбасар, как видно, не так уж беспокоился о намазе. Он с улыбкой повернулся к Абаю:

— Ну, разве в такой толпе нам останется место? Пройдешь вперед, а потом и не выберешься вовремя, до прихода гостей.

— Неудобно же не идти! Мирза узнает, будет бранить, — возразил Жакип неуверенно. — Сядем у дверей, тогда выйдем первыми.

— Мирзе мы что-нибудь соврем, — усмехнулся Майбасар, — а сидеть у дверей как-то не хочется. Конечно, любое место в святой мечети равно почитаемо. Но не стеречь же мне во имя намаза сапоги всяких бошанов и карашоров и не бить же лбом в то место, которое они топтали своими неуклюжими ногами!

Майбасар говорил о намазе с насмешкой. Смелые шутки дяди понравились Абаю. Он рассмеялся.

Но Жакип не одобрял Майбасара: в час, когда открывалась долгожданная мечеть и вся знать Каркаралинска собралась туда для совершения первого намаза и когда все благословляли Кунанбая, шутки были неуместны. «Невоздержан, как всегда, болтает все, что придет на язык», — подумал он о Майбасаре.

— Если вы что-нибудь понимаете, эта мечеть должна прославить нашего мирзу, а с ним — и нас всех! — сказал Жакип многозначительно.

Майбасар сразу же принял серьезный и важный вид.

— Да, да, — присоединился он, — эта мечеть сразу засыплет песком глотки всем нашим врагам! Божей уже, наверное, почувствовал это. Недаром он

добивается мира!

Кто добивается мира — было еще неизвестно. Но разве окружающие Кунанбая могут не хвастаться: «Божей струсил! Божей понял свое бессилие и ищет мира!» Тот же самый Майбасар первый распространяет эти слухи.

Жакип подхватил:

— Почтенный Алшекен — настоящий друг, он всей душой за нашего мирзу — и что он нынче сказал? «Слава мирзы растет, и ей завидуют все — и народы и властители». Он совершенно прав. Майыр сейчас бесится оттого, что мирза построил мечеть, заслужил всеобщее уважение и славу и затмил его…

— «Вареная голова» злится не только потому, — поправил его Майбасар, — он, наверное, получил немалые взятки от Божея и Байсала, вот и упорствовал… Теперь ему и тут убыток, разве ты не понимаешь? — Майбасар рассмеялся. — Больше ему не с кого брать: мир с Божеем будет заключен сегодня вечером. Ты слышал, что он приедет и в мечеть и на праздник к мирзе?

Об этом не знали ни Жакип, ни другие присутствующие. Абай тоже услышал об этом впервые. Все замолчали, изумленные новостью. Каждому хотелось посмотреть на Божея, когда он прибудет для примирения с Кунанбаем.

Майбасар был очень доволен произведенным впечатлением.

— Алшекен сопутствует каждому доброму начинанию, — заметил он. — Не зря погнали стада в его аул!

Он слегка наклонился в сторону Абая и пристально посмотрел на него.

— Понял? Попробуй-ка, сынок, не поехать теперь к невесте! — сказал он, снова принимаясь за свои шутки.

Но смутить Абая сейчас оказалось не так легко, как прежде. На этот раз в нем не было и тени робости.

— Майеке, опять вы начинаете! Вот возьму и вовсе не поеду, — ответил он и с усмешкой повернулся к другим.

— Ой, беда! Мальчуган совсем струсил! Пословица говорит: «Жених и в гробу не улежит, если калым отдавать начал…» Что с тобой? Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола. Она думает: «Попробуй не приехать и на этот раз!»— И Майбасар снова принялся вышучивать подростка.

Но Абай и туг не смутился. Он ответил Майбасару насмешливой улыбкой, взял домбру, стоявшую за его спиной, и начал молча наигрывать. Майбасар тоже молчал, ожидая ответа. Не добившись его, он заговорил снова:

— Отвечай же! Всех этих жигитов дам в провожатые, только согласись съездить!

— А я говорю — перестаньте, Майеке!

— И не подумаю!

— Боже мой, какая зам от этого выгода? Было бы еще понятно, если бы вы были женге.[66]

— Хоть я и не женге, но и мне будет неплохо!

Абай рассмеялся и спросил с необычным для него озорством:

— Вы и вправду не перестанете?

Он бросил играть, положил перед собою домбру и пристально посмотрел на Майбасара. В его живых глазах светились лукавые искорки.

— Не перестану! Ну? Поедешь? — И Майбасар вызывающе уставился на него.

Абай прищурил смеющиеся глаза, совсем как Шоже, которого он только что видел, поднял голову и запел:

Уа, просил я вас перестать.—

Вы же стали шутить опять!

Или ваш карман, Майеке.

Стало нечем теперь набивать?

Вы обшарили все углы.

Обобрали Каркаралы,

Все вам мало — и вот вдали

Вы еще кого-то нашли!

Хороша Алшинбая дочь,—

Вы и там поискать не прочь!

Иль зарок дан вами вперед

Все отведать, что жизнь дает?

О невесте оставьте речь.

Что вас может туда привлечь?

Не шутите больше со мной!

Что я, право: бык племенной

Алшинбаю в его стада?

Кайнага,[67] не стоит труда

Выбиваться дальше из сил:

Я и так уж вас наградил!

— и Абай со смехом прижался к плечу Майбасара.

Жигиты расхохотались, пораженные неожиданной выходкой, песня понравилась всем. Майбасар, растерявшись, не нашелся, что ответить. При последних словах песни он только покачал головой и крепко выругался.

— Ну и ну! Вы смотрите, что выделывает этот озорник! — усмехаясь, сказал он, — Как же мне теперь быть?

Абай насмешливо подзадорил его:

— Отвечайте, Майеке, если хотите! Но только в стихах, иначе и слушать не стану. — И он замотал головой.

— Так тебе и надо, — заливался Жакип, весь красный от хохота. — Будешь еще приставать к нему? Получил по заслугам? Поделом, поделом тебе!

— Так ведь он— потомок Шаншара! Это он в родню Улжан пошел!.. Вот погоди, вернемся в аул, я тебе отплачу: все расскажу твоей матери! — пригрозил Абаю Майбасар.

Остальные сразу поняли его намек.

— Ясно, он же Тонтай!

— Прямой потомок!

— Острая шутка! Прямо Шаншаровы колкости! — наперебой заговорили все.

— Ну, нет, я думаю, что он эту песню откуда-то принес! Разве этот бездельник умеет сам сочинять? — Майбасар все еще не мог прийти в себя от изумления.

Действительно, никто никогда не замечал, чтобы Абай сочинял песни. Мальчик сам не ожидал, что его шутка произведет такое сильное впечатление. Он даже смутился.

— Это не я сочинил, — сказал он и добавил, лукаво улыбаясь: — Я только что видел Шоже, это его песня.

Жигиты не знали, верить или не верить его словам. Посыпались расспросы.

Абай не растерялся. Улыбаясь, он спокойно продолжал:

— Я рассказал ему, что есть у меня такой дядя Майбасар, — дразнит, не дает покоя. Научите, говорю, что отвечать? Он и пропел мне эту песню!

И в самом деле: веселое остроумие, меткие, словно колющие слова и тонкая, умная насмешливость Шоже все еще жили в душе Абая. Он и сам был очень доволен тем, как ему удалось сразить Майбасара. «У меня и вправду получилось, как у Шоже. Вот если бы мне на самом деле стать таким, как он!»— даже с завистью подумал Абай.

Жигиты, пораженные его выходкой, недоверчиво слушали рассказ о Шоже. Внезапно дверь распахнулась и вошел Карабас. Все стихли. Не успев переступить порог, Карабас громко оповестил сидящих:

— Скорее! Намаз окончен! Гости собираются к мирзе! Вас зовут! Поторапливайтесь все!

Все вскочили и начали торопливо одеваться. Абай не знал, как ему быть. Жакип сказал ему:

— Прислуживать гостям и разносить блюда тебе не дадут, а сидеть вместе с отцом среди старших — тоже неудобно. Там и так будет много народу. Оставайся лучше здесь.

Абай и сам не возражал бы против этого. Но Майбасар и Карабас посоветовали другое:

— Посмотрел бы по крайней мере на гостей и отдал бы им салем!

— Погляди хоть, как в этом городе гостей принимают! Пригодится,

поучишься!

Последние слова убедили Абая, и он не спеша один пошел к отцу. Все остальные далеко опередили его.

Когда он подошел к дому, гости, проголодавшиеся за время продолжительного намаза, уже сидели за угощением.

Во дворе, полном оседланными лошадьми, не было никого, кроме слуг и людей, занятых стряпней. Серебристая пыль ночного инея покрывала коней в богато украшенных сбруях; тихо поскрипывали полозья легких нарядных санок. Кое-где на облучках клевали носом конюхи, укутанные в овчинные тулупы.

Прямо против крыльца большого деревянного дома помещалась отдельная кухня. Дверь ее то и дело хлопала. Жигиты, только что сидевшие у Майбасара, один за другим выносили блюда с горячим, дымящимся мясом. Майбасар и Жакип вертелись между парадными комнатами и кухней, — в доме, полном гостей, им тоже не досталось места.

Угощением распоряжался Изгутты.

— Сюда! Да ну, быстрее! Давай сюда! Живей, живей, — коротко командовал он.

В легком бешмете, подбитом мехом, с засученными рукавами, быстрый, расторопный Изгутты напоминал охотника. Видно было, что он не щадил сил, только бы угодить гостям и хозяину.

Абай подошел к дверям большого дома. Прямо на него вылетел Карабас и бросился к кухне. Абай посторонился. Пропустив его, мальчик снова попытался войти, но за его спиной раздался повелительный окрик Изгутты:

— Посторонись! Посторонись!

Из кухни мчались четыре жигита с глубокими блюдами, наполненными мясом. Абай опять остановился, уступая им дорогу. Жигиты гуськом пронеслись мимо. Толстое казы,[68] слоящиеся курдюки, желтое сало загривка и вымени, напоминающее расплавленное золото, дымились на морозе. Голова барана увенчивала каждое второе блюдо. Пропустив и их, Абай на этот раз сделал решительное движение, чтобы войти. Но навстречу ему стремглав вылетел Каратай и чуть не сбил его с ног.

— Эй, где туздык?[69] Вы же говорили, что подадите его отдельно?

— Сейчас! Туздык готов! Вот он! Несут! — закричал Изгутты Каратаю.

Раздосадованный тем, что ему пришлось так долго стоять у дверей, Абаи наконец вошел в прихожую. При входе он нечаянно толкнул под локоть Изгутты, когда тот, стоя к нему спиной, разливал туздык по блюдам. Струйки навара полились на пол.

— Ах ты, негодный! Кто это там! — сердито повернулся Изгутты. Увидев Абая, он снизил тон и сказал недовольно: — А, это ты, Абай! Сидел бы лучше, дорогой, где-нибудь в уголке. Что тебе надо в этой сутолоке?

Абай прижался к стене, осматриваясь. В прихожей на полу рядами стояли калоши и сапоги с войлочными чулками. Направо была большая комната, где сидел Кунанбай. Оттуда доносился громкий, оживленный разговор Алшинбая и майора, прерываемый взрывами общего хохота. Алшинбай в ударе — он так и сыплет крылатыми словами, вызывая смех всех присутствующих.

Комната напротив входа тоже битком набита гостями, сидящими тесным кругом. Это преимущественно городские купцы — татары, казахские баи. В самом центре сидит имам новой мечети — мулла Хасен. В этой комнате не так шумно, как в первой — гости смеются редко и сдержанно, стараясь соблюсти достоинство и благопристойность в поведении. В третьей комнате, налево от входа, сидят старейшины и главари родов Бошан и Карашор. Здесь тоже шумно и весело, все оживленно разговаривают, перебрасываются шутками, громко и охотно смеются.

Абай, не заходя в комнаты, только заглядывал в них; из прихожей было хорошо слышно и видно все, что в них происходит. Только бы опять не помешал сердитый Изгутты!..

Абай сел на стул, оставленный здесь в суете, и стал наблюдать за хлопотливой беготней жигитов, разносящих угощение.

Человек восемь были заняты только тем, что подавали все новые и новые блюда. Гости оказались удивительно прожорливыми: они ели, подзадоривая друг друга, — совсем как на поминках на жайляу. Пока Абай сидел в прихожей, они, наверное, успели уничтожить несколько отгульных кобыл, двухлеток и однолеток, и несчетное число баранов.

Беготня жигитов, разносивших угощение, снова усилилась. Порожняя посуда возвращалась из комнат в кухню. И не успело последнее пустое блюдо исчезнуть из комнаты Кунанбая, как от кухни к дому снова поплыла вереница блюд, наполненных горячим пловом. Румяный и соблазнительный плов словно шептал: «Ну, как тебе не съесть меня? Неужели откажешься?» В прихожей никто не разговаривал громко: Кунанбай приучил своих жигитов к порядку. У дверей во внутренние покои стояли Жакип, Майбасар и Изгутты. Когда жигиты с блюдами подходили ко входу, они осматривали каждое блюдо и молчаливым движением руки поочередно пропускали их в комнаты.

Плов… после него чай… Давно прошел час, когда принято ложиться, — пора бы уже крепко спать, а во всех четырех комнатах по-прежнему царило оживление, еще никто не отказывался от еды, и угощение продолжалось.

Абай поднялся зевая. Он решил возвратиться на квартиру Майбасара. За все это время ни один из сородичей не подарил его теплым словом. Жигиты продолжали по-прежнему суетиться.

Застегнув свою шубку на беличьем меху, он направился к выходу. Внезапно из комнаты Кунанбая донеслось громкое пение. Жигиты, разносившие блюда, тоже стали прислушиваться. Абай подошел, приоткрыл дверь и заглянул в

комнату. Пел смуглый человек с длинной, остроконечной седеющей бородой.

Словно охваченный какой-то необыкновенной силой, он начинал на домбре запев, потом клал домбру на колени — и тогда мчались слова, легкие и стремительные, как степной ветер.

— Кто это?

— Кто это поет?

— Какой это акын? — послышались вопросы гостей, сидевших в других комнатах, и жигитов, разносивших угощение.

Каратай, высунувшись из комнаты Кунанбая, сообщил всем:

— Это Балта! Балта-акын!

Балта-акын, неотлучно сопровождавший Алшинбая, импровизировал с воодушевлением:

Говоришь, что жена плоха,

А сумей-ка невест найти!

Говоришь — одежда плоха,

А сумей-ка сукно найти!

Коль сказал, что выше всех,—

В ком ты друга сможешь найти?

Если в ссоре с тобою род,—

Кто прославит твои дела?

О тебе молва будет зла!

Если ж, родичи, весь народ

В крепкой дружбе сердца сольет,—

Знайте, всюду о вас молва

Светлой вести домчит слова!

Балта-акын замолк.

— Хорошо!.. Вот это слова!

— Жемчужины!

— Святые слова! — наперебой расхваливали песню Алшинбай, Каратай и переводчик. Песня, так быстро и метко сложенная, слова, призывающие к миру, к сближению враждующих, увлекли Абая. Ему захотелось слушать дальше. Он взял стул, стоявший а углу, и сел поближе, но пение не возобновлялось. Сидевшие в комнате перешли к деловой беседе.

Теперь Абаю удалось хорошо вглядеться в Божея. На его лице не было и тени гнева. Но ни благодушие, ни умиротворенность не озаряли его, — на нем отражалось одно лишь холодное, спокойное, сдержанное выжидание.

Абай посмотрел на Кунанбая, — тот был насторожен и зорко следил за всем происходящим. У него тоже не было охоты веселиться.

Алшинбай и Баймурын перевели разговор на дело. Большеносый Баймурын, светловолосый, огромного роста, привел Божея для примирения с Кунанбаем. Сейчас разговаривали только двое: он и Алшинбай. Для себя им ничего не нужно, они говорили ради Кунанбая и Божея, ради их общего дела.

Абай отвернулся, — песен больше ожидать не приходилось, а разговор его не интересовал. В эту минуту Каратай вышел в прихожую и подозвал Изгутты и Майбасара.

— Примирение состоялось, — сообщил он. — Помирились! Алшекен и Баймурын вели переговоры по доверию сторон. Они договорились за обоих — за мирзу и Божея.

— На чем же кончили? Что решили? — спросил Майбасар, придвигаясь ближе.

— Решение необыкновенное, — ответил Каратай. — Они говорят: «Если бы вы были из разных племен, мы посоветовали бы вам породниться. Но вы — сородичи, близкие по крови. Укрепите же вашу близость, — передайте один другому своего ребенка. Пусть Божей возьмет у Кунанбая дитя и воспитает его у себя. Пусть через этого ребенка примирятся ваши души».

— Так и решили?

— Какой же это ребенок? Родное дитя Кунанбая? — забросали Каратая вопросами Майбасар и Жакип.

— Ну да, я же говорил: Божей должен усыновить родное дитя Кунанбая, — сказал Каратай и торопливо вернулся к гостям.

Абай был поражен таким решением. Он и удивился и ужаснулся.

«Который? Кто будет отдан? Оспан? Смагул?»—задавал он себе вопрос: ему казалось, что речь шла о мальчике. Неужели один из них должен лишиться материнской ласки и уйти к чужим? Самая мысль об этом казалась ему

невыносимой: как будто смерть отнимала у него одного из братьев, ни в чем не повинного, беззаботного ребенка, взлелеянного родной матерью.

3

Через три недели Кунанбай собрался в обратный путь.

— Если бог благословит, завтра отправляемся. Приготовьте все, что нужно в дорогу, чтобы никаких задержек не было. Выезжаем на рассвете, — предупредил он Карабаса и Жумагула.

Как только весть об отъезде облетела всех тобыктинцев, в доме Кунанбая и у Жакипа и Майбасара началась суета сборов.

Возвращению в родные места радовались и старики и молодые жигиты, но Абай, казалось, больше всех соскучился по родному аулу. За последнее время он не раз видел во сне своих матерей и аул Жидебай. Сборы в путь повсюду проходили со смехом и шутками.

— Едем домой!.. Возвращаемся!.. — уже дней пять ходили повсюду слухи. Поэтому кони и седла у всех были приготовлены.

Но от долгой стоянки на откорме кони слишком разжирели. Таких лошадей нужно с недельку погонять, подержать на выстойке и подготовить к зимнему пути. Абаю под верх предназначался Аймандай — буланый конь с черными, блестящими гривой и хвостом, отличавшийся ровным, плавным ходом. Быстрый, легкий, этот красавец конь был мечтой любого жигита.

Буланый стоял на конюшне вместе с лошадьми старших. Как только Абай услышал о возвращении, он тотчас же пришел на конюшню, чтобы осмотреть Аймандая. Тот стоял на привязи, нетерпеливо поматывая головой. Лысина на его лбу блестела, как полная луна. Абай давно уже не ездил на нем, последнее время ему не приходилось даже заглядывать на конюшню, и он соскучился по Акмандаю. Он вытер пучком сена спину и гриву коня, покрытые утренним инеем. Затем, совсем как взрослый, пощупал его загривок. Длинные худые пальцы Абая с трудом обхватили его, — буланый тоже разжирел. Абай отошел в сторону и посмотрел на него сбоку: спина у коня стала круглой.

Абай опять подошел к лошади и обнял ее за шею. «Почему завтра? — подумал он. — Поехали бы сегодня, сейчас же…»

Аймандая оседлали, сверху поудобнее разостлали бархатный наседельник, и Абай, крепко стянув завязки своего малахая, вскочил в седло и выехал из конюшни.

Аймандай, легкий как ветер, всегда брал с места иноходью, закусив удила. Сегодня он несся, как парусный челн, гонимый вихрем. Почти до самого вечера Абай не сходил с коня. Он разъезжал без всякого дела — побывал и за городом,

и на базаре, и в домах, где жили его сородичи.

Обедал и пил чай он вместе с отцом, а потом опять сел на Аймандая и отправился на базар. На этот раз его сопровождал Изгутты, распоряжавшийся хозяйством Кунанбая. За обедом Абай попросил у отца денег, и тот приказал Изгутты: «Съезди с ним на базар — пусть он сам выберет гостинцы для матери и братьев. Купи все. что он захочет!»

Они проездили по базару до самого заката и накупили уйму гостинцев. Абай знал, что его старая бабушка большая любительница крепкого чая, и начал с него; потом накупил сахару, конфет, бархату и цветного шелка для женских нарядов.

Скоро седельная сумка Абая наполнилась до отказа. Тогда он начал совать покупки за пазуху, за пояс, за голенища, отдавать Изгутты. Только к вечеру они вернулись к Кунанбаю.

Перед отъездом у Кунанбая опять собрались старшины и бии, майор и переводчик, Абай не пошел к отцу, он остался в другой комнате и при помощи Карабаса и Изгутты зашил свои переметные сумы и приготовился в дорогу.

Уже время было ложиться, когда майор вышел от Кунанбая. Изгутты провожал его.

— Кто только не зарится на богатство мирзы! — вздохнул он, вернувшись. — «Вареная голова» сейчас тоже унес изрядный кусок!

— Что он получил: деньгами или скотом? — спросил Карабас.

— Мирза сказал: «Ты — правитель, пусть все любуются на твой выезд», — и дал ему трех вороных, которых сам получил в дар. Да еще пятьсот рублей ему в глотку сунул.

Кунанбай перед отъездом одарил не только майора, — переводчику тоже досталось немало, а в аул Алшинбая Каратай и Майбасар от имени Кунанбая отогнали голов пятьдесят скота. Они вернулись оттуда поздно ночью.

Дня три назад, перед поездкой в аул Алшинбая, Майбасар еще раз попробовал подшутить над Абаем. Прошлый раз он крепко поплатился за такую попытку и сам попал в глупое положение, поэтому теперь побоялся налететь прямо и начал осторожно, обиняками.

— Придется мне там краснеть перед келин,[70] — заметил он вскользь, обращаясь к старшим, как бы ожидая их поддержки.

— Не поеду! — отрезал Абай и на этот раз.

С назойливыми приставаниями о поездке к невесте было покончено. Да Кунанбай и не собирался посылать Абая к тестю, — он уже решил возвращаться домой.

Когда Майбасар, отведя скот, вернулся, Абай задумался: ведь Майбасар ездил в аул, где живет Дильда. И впервые в жизни юношей овладело необъяснимое для него самого тайное чувство, влекущее его к невесте…

Не поехал… Но ведь ему же хотелось. Какая она?.. «Шейка нежная, как пух

сокола», — сказал о ней Майбасар. И Абай мысленно старался представить себе нежную, пышную шею сокола, ястреба или балабана…

«А может быть, все-таки надо было поехать?»— мелькнула у него мысль, неотчетливая и мгновенная. Но тут же он вспомнил, как грубые люди, вроде Майбасара, высмеивают самые сокровенные его чувства. Его сердце ищет Дильды, по только не так, не через все эти стеснительные обычаи, эти обрядовые поездки к родне невесты, от которых стыд заливает душу…

Абай долго ворочался в постели. Сон пришел поздно…

На другой день с рассветом, как приказал Кунанбай, они отправились в обратный путь. Из домов, где квартировали, все выезжали за город отдельными группами и съехались уже на дороге.

Кунанбай со своей свитой в тридцать человек тронулся в путь прямо из дома. Провожать его собралось больше ста человек: старшины, бии, чиновники. Они толпились вокруг него с пожеланиями: «Хош!.. Хош, мирза!.. Счастливого пути!.. Дай бог благополучно доехать!»

Путь от Каркаралинска до Чингиза и так не близок, а в этом году глубокий снег совсем испортил дорогу. И склоны гор и долины покрылись толстым снежным саваном, уже успевшим затвердеть. Порывистый ветер дул в этом голу не стихая. Буран бушевал по неделе, по десять дней, вздымая целые тучи колючей снежной пыли. Сугробы были испещрены волнистыми узорами, причудливо вычерченными ветром. Наезженной дороги не было.

Путники, вытянувшись длинной цепью, движутся вереницей, как перелетные журавли или кочующий аул.

Кунанбай едет впереди всех. Он на жирном золотистом иноходце с белой гривой и круглым, как опрокинутый котел, крупом. Стройный, сильный, с крутыми боками конь не сутулится, как другие иноходцы. Кунанбай всегда выбирает его для дальней зимней дороги.

Сам ага-султан кажется огромным и внушительным; на нем черная доха, пояс с серебряными украшениями, на голове — лисья шапка с черным бархатным верхом. Стремительно-плавный бег иноходца вынуждает всех остальных ехать на полных рысях. Когда Кунанбай умеряет его бег, Аймандай начинает раскачиваться под Абаем иноходью, а чуть только Кунанбай отпустит поводья — буланый рвется рысью и подбрасывает: ехать на нем очень неудобно.

— Ой, я совсем замучился!.. Куда отец торопится!.. Меня будто посадили на бревно и изо всей силы колотят по нему, — пожаловался Абай Карабасу.

В первый же день пути Айыандай растряс все внутренности своему седоку. Абай потерял ловкость наездника и даже не мог подобрать распустившиеся полы.

— Ничего! Скоро привыкнешь! Подбери-ка полы! — утешал его Карабас.

Если бы его воля, Абай ехал бы тихой иноходью. Но Кунанбай заранее

рассчитал по дням весь путь и не думал делать поблажки кому бы то ни было. По наезженной дороге или по бездорожью, в мороз или ветер — он одинаково рвался вперед, увлекая за собою спутников.

Днем Кунанбай старался делать большие перегоны. Но когда он останавливался для отдыха в аулах, выбраться ему оттуда было не так легко. Где бы ни появлялся Кунанбай, его встречали с необычайным почетом, будто какого-нибудь хаджи, вернувшегося из Мекки.

Во всех аулах у аксакалов, старейшин и ревнителей веры на языке было одно и то же слово: «Мечеть! Мечеть!» Некоторые старики угодливо твердили: «Ты вознесся ханом нз простого рода!», «Из кровопролитной битвы ты вышел невредимым!», «Ты могучий нар,[71] звенящий колокольчиком!»— и всячески льнули к Кунанбаю. Весь аул во время остановки ага-султана из кожи лез вон. чтобы угодить ему.

Зимой аткаминеры многих из этих аулов побывали в Каркаралинске у Кунанбая для разрешения спорных вопросов. Были среди них и такие, которые благодаря ему выгодно свели счеты со своими противниками и получили от них возмещение убытков. В таких аулах Кунанбая отводили в сторону, задерживали и что-то обсуждали с ним. И отсюда за Кунанбаем обычно следовали отборные кони и отгульные кобылы.

Два вороных иноходца, один серый конь и еще три-четыре коня, поднесенные таким же образом, шли в поводу у Карабаса и других конюхов. Вначале эти подарки удивляли Абая, но особенного значения он им не придавал. Однако чем ближе к Тобыкты, тем число подношений все увеличивалось. Теперь уже мало кто из свиты не вел за собой коня. Когда достигли стоянки Тобыкты, число их дошло до пятнадцати, их уже не вели в поводу, а гнали косяком.

Это свидетельствовало о том, каким почетом сопровождалось путешествие ага-султана. И если кто-нибудь в ауле Кунанбая гадает на овечьем помете, он, наверное, видит, что у путников «бока сытые, — едут с двойными дарами», как будто дело шло о возвращении не из города, а из грабительского набега.

На седьмые сутки после выезда из Каркаралинска Кунанбай со свитой достиг западных склонов Чингиза. В пути он не задерживался нигде, кроме ночевок, не останавливался даже на обед.

В этот день путники нагнали трех жигитов, высланных ранее вперед. Зачем эти жигиты опередили остальных, Абай не знал.

Когда на желтоватом склоне возвышенности показались верховые, гнавшие конские табуны, Майбасар воскликнул:

— Вот они!

Действительно, трое всадников оказались жигитами Кунанбая. Они гнали табун — около ста голов. Кони были отборные, сытые, с крутыми загривками.

Кунанбай въехал в середину табуна и остановился, осматривая его.

У Абая мелькнула догадка. Он подъехал к Карабасу и начал расспрашивать его:

— Что это за кони? Чьи они?

— Так это же подношение. Это — подарки твоему отцу.

— Что за подарки? От кого?

— Маленький ты, что ли? Разве у твоего отца мало подчиненных? Как ты думаешь, куда девались люди, которые в городе толпой ходили за твоим отцом? Что же, отец не должен получать платы за свои труды? Даром, что ли, ему работать? — удивился Карабас.

Абай прекратил расспросы, — теперь он узнал все. Оказывается, проведя долгое время с отцом, он и не подозревал об источниках его богатства…

Ему вспомнился Шоже. «И все, чем живет народ, ворон кривой склюет…» Значит, Шоже знал о Кунанбае больше, чем родной сын, хотя и был в стороне? Видно, он хорошо понимал Кунанбая, если заклеймил его такими словами… «Какой позор!»— подумал Абай. Ему стало так стыдно, как будто сам Шоже стоял сейчас возле него.

Путники опять рысью тронулись вперед. Сегодня они предполагали доехать до аула Кунке, находящегося в Карашокы. Сегодня же вечером они увидят своих родных и близких. Но даже мысль об этой встрече не смогла снять с души Абая тяжести.

Чем больше он думал, тем больше темных, постыдных дел открывалось перед ним. Из таких табунов были, наверное, и те пятьдесят голов, которых отогнали в аул Алшинбая. Калым… Значит, и калым за его невесту был собран таким же нечистым путем?..

«Шейка нежная, как пух сокола», — так старались соблазнить его и растревожить его мысль о невесте, Дильда… его невеста… Что происходит?! И чистый, безоблачный мир его юных грез тускнеет… «Невеста!» Это прекрасное, святое слово тоже теряет свой прежний смысл. В нем поднималась обида и за себя и за Дильду. Не только обида — гнев…

Лихоимство — самый тяжелый грех. Он не раз читал об этом в книгах. Лихоимство навеки заклеймило прах знаменитого бия минувших времен — Кенгирбая, несмываемым позором легло на его имя. Позорна добыча, вырванная у безответных людей, сжатых тисками жизни. Если послушать народ или Барласа и Шоже, — это ничем не искупаемый грех… «Дом вседержителя» — мечеть, увенчавшая Кунанбая славой и почетом, — может быть, и она построена на такие же средства? И такая мечеть, возведенная на взятки, продолжает стоять! Не рухнет под тяжестью позора! Больше того, — в ней именем бога, именем пророка возвещают священные слова наставлений и проповеди, мулла с набожным видом читает громким голосом коран на протяжный бухарский лад!..

До аула Кунке путники доехали только к вечеру. Несмотря на темноту, Абай

не остался там с отцом: он отправился в Жидебай в сопровождении Жумагула и всю дорогу нетерпеливо гнал коня. Они ехали то вскачь, то крупной рысью.

Было поздно, но матери Абая еще не ложились спать и даже не принимались за ужин, когда мимо их окон пролетели верховые, встреченные лаем собак.

Высокий, возмужавший юноша с салемом переступил порог. У него обветренное лицо, как у настоящего бывалого путешественника, солидная походка, сдержанные движения.

При его появлении весь Большой дом в Жидебае встрепенулся от радости.

— Абай!

— Абайжан!

— Родной мой!

— Ягненок мои черненький! Абайжан! — раздались отовсюду возгласы. Его встречали с шумной радостью.

Все были здоровы, в доме было все благополучно. Бабушка и мать чувствовали себя отлично. Они наперебой принимались целовать его. Оспан тоже еще не спал. Взвизгнув от радости, он вскочил с места, шлепая себя по бедрам.

— Давай гостинцы! Ну-ка, где сладкое? Давай скорее! — приставал он к Абаю, мешая ему поздороваться с матерями, с Габитханом и Такежаном. Он шарил у Абая за пазухой, залезал в карманы.

После возвращения из города Абай около недели безвыездно прожил дома и даже не ходил гулять. Особенно он избегал встречи с отцом. До Жидебая доходили слухи, что в Карашокы происходит большой сбор, что аул Кунке переполнен гостями, что прибыло множество людей, приехавших узнать о здоровье мирзы. Но из Жидебая поехал к Кунанбаю один Такежан, едва услышал о подаренных отцу конях.

— Говорят, кони отборные! Конечно, Кудайберды заберет себе самых хороших, — говорил он, завидуя своему старшему брату от другой матери, Кунке. — Я тоже отберу себе и приведу! Посмотрим чьи будут лучше!

Он уехал в Карашокы и задержался там.

Абай целыми днями рассказывал матерям и Габитхану обо всем, что видел и слышал в Каркаралинске. Послушать его заходила и младшая мать, Айгыз.

Абай сообщил о примирении с Божеем, но о передаче ему ребенка не обмолвился ни словом. Страшное решение тяжелым камнем лежало у него на сердце. Пусть об этом говорит отец, а он, Абай, не в силах омрачить радость, с которою встретили его матери. Что будет с ними, когда они узнают об этом от отца, — покажет время. Но, если горькая весть дойдет до них сейчас, из уст Абая, они могут поднять плач, впасть в отчаяние, наговорить лишнего. Лучше пока молчать и не мучить их.

Абай решил это еще по дороге в Жидебай. Он просил и Жумагула, сопровождавшего его, никому ничего об этом не говорить.

Дней через пять стало известно, что приехал Божей.

Кунанбай немедленно отправил в Жидебай Карабаса. Тот явился к Зере и Улжан.

— Мирза передает вам привет, — сказал он им. — Завтра приедет сюда с гостями. Сбор и окончательное примирение с Божеем будут у вас, в Большом доме. Сюда приедут Божей и Байсал. Мирза велел приготовиться и встретить гостей с должным почетом.

Это известие не смутило Улжан, — с помошью Айгыз она приготовилась за день. Они приказали развязать тюки, вынули большие ковры, кошмы с богатыми узорами, одеяла и украсили все три дома: Большой, где жила Зере, Гостиный и дом Айгыз. Пекли горы баурсаков, палили целых овец, разводили курт, готовили угощение. Сливочное масло выбирали малого засола, приятное на вкус.

На следующий день прибыли Кунанбай и Божей. За ними приехала их свита.

Когда Божей переступил порог Большого дома, Зере поднялась с места, подошла к нему и со слезами поцеловала его.

— Свет мой, не ожесточилось ли твое сердце? Ведь ты же всегда был мне сыном, а я матерью тебе! — проговорила она.

— О жарыктык![72]

— О незлобивая мать наша! — воскликнули Байдалы, Суюндик и другие спутники Божея, растроганные словами старой матери.

Божей сам был искренне тронут. Он с тяжелым вздохом крепко обнял Зере. Без слов, одним движением руки он попросил ее сесть — и сам опустился рядом с нею.

Несколько минут он молчал и наконец повернулся к детям. Абай сидел недалеко от бабушки, ближе к дверям. Потом поцеловал Оспана и Смагула — он хотел отблагодарить Зере за радушную встречу.

Божей почитал Большой дом. Для него этот дом был не только домом самого Кунанбая, — это был дом всего племени — уютный и гостеприимный.

Когда спутники Божея разместились, Кунанбай тоже пришел сюда. Его сопровождали Каратай, Майбасар и свита.

Абаю тяжело было видеть своего отца сидящим рядом с Божеем. Надо было освободить место старшим, и под этим предлогом он вышел из комнаты.

Ни в этот вечер, ни на следующее утро он не заходил сюда. Мать на его расспросы отвечала, что Кунанбай и Божей разговаривали односложно, внешне учтиво, но теплоты в них не чувствовалось.

Наутро Божей собрался в путь. Наступил час, когда должно было осуществиться ужасное решение.

Айгыз, рыдая, ничком упала на пол, — Карабас взял из ее рук Камшат, одел и увел в Большой дом. Беленькая, со жгучими черными глазами девочка с любопытством смотрела на всех.

— Ага, ата! Ата, ата! — нежно лепетала она, растягивая слова.

Улжан была не в силах смотреть на ребенка; вне себя от жалости, она вышла из комнаты. Зере упала, скорчившись, и замерла в рыданиях, не проронив ни слова. Страшным, обжигающим холодом пахнуло на Абая от всех старших, и он тоже вышел из дома.

Кунанбай смотрел на эту печаль, на эти полные жалости лица сверлящим взглядом своего единственного глаза. Он исполнял решение, вынесенное в Каркаралинске, — отнял ребенка у матери и отдал Божею.

Камшат сидела спокойно, не зная об ожидающей ее участи. Когда незнакомый человек взял ее на руки и понес из комнаты, она испуганно вздрогнула.

— Апа, апа!.. Аже! Аже!..[73] — в слезах закричала она. Маленькое сердце девочки сжалось от страха, она закричала так, как будто ее крошечные ножки наступили на пылающие угли.

Ее жалобный плач слышался до тех пор, пока Божей со свитой не скрылся из виду. И чем дальше уносили их кони, тем крик ее становился жалобней и отчаянней, как вопль тонущего или горящего на костре.

В ДЕБРЯХ

1

По возвращении из Каркаралинска Абай остался на зимовье в Жидебае с матерью и бабушкой, никуда не выезжая.

До самой весны его единственным занятием было чтение книг. Впервые после медресе он принялся за них серьезно и читал целыми днями. Кое-что из арабского и персидского языков он за это время успел уже забыть. Ему помогали словари, взятые у Габитхана.

Мулла Габитхан был большим любителем книг. В его собрании Абай нашел произведения Фирдоуси и Низами, Физули и Навои, «Жамшид» и «Тысяча и одна ночь», «История» — Табари, «Жусуп и Зюлейка», «Лейли и Меджнун», «Кер-Оглы». Абай читал их не отрываясь. По вечерам, между чаем и ужином, он пересказывал матерям понравившиеся ему места из прочитанных книг.

Зере, видя, что Абай увлекается книгами, как-то сказала ему:

— Это хорошее дело, сын мой. Мало ли на свете людей, у которых в голове нет ничего, кроме еды и сна. Всю жизнь они суетятся без толку — и так и остаются пустоголовыми бездельниками! Не будь похож на них, не расставайся с этими мудрыми листами.

Такое уважение бабушки к его книгам обрадовало Абая: он еще больше углубился в чтение. Его занимательными рассказами, которые повторялись теперь ежедневно, заслушивались все: и матери, и слуги, и дети. Айгыз тоже стала заглядывать к ним и слушала Абая часами. После того как у нее отняли Камшат, она стала задумчивой, побледнела, поблекла; на прекрасное лицо ее легла тень глубокой печали. Как Абай понимал ее! Когда она приходила послушать, он рассказывал с особенным старанием и охотой.

Абай становился превосходным рассказчиком. Даже Габитхан с интересом слушал его.

Одно плохо: к весне все книги были прочитаны.

Абай кончил свои пересказы, и теперь весь аул осаждал чабанов и «соседей», в свою очередь пересказывавших то, что они запомнили из историй Абая, но они не умели говорить так, как Абай.

Улжан шуткой прерывала их:

— Скоро лето, скот уже ягнится, время рассказов прошло. Если мы будем продолжать, зима затянется, не надо!

Но самого Абая Улжан нередко просила повторить наиболее понравившиеся ей истории.

Габитхан и Абай раздобыли кое-какие книги у мулл и набожных книголюбов. Раз Габитхан даже съездил в Карашокы в аул Кунанбая и привез оттуда полный мешок книг.

Кунанбай получил их еще в Каркаралинске через муллу Хасена. Но, когда однажды Абай попросил их у отца, тот ответил: «Оставайся у меня и читай вслух. А если хочешь получать удовольствие один, не дам». Абай не захотел жить у отца и лишился новых книг. Теперь Габитхан сумел уговорить Кунанбая и выпросил их. Эта добыча была драгоценной и для Абая и для всего дома. Но, к несчастью, отец вызвал Абая в Карашокы, и ему пришлось уехать.

Едва Абай появился о ауле Кунке, отец послал его с поручением к Кулиншаку, одному из старейшин рода Торгай. Абай постарался в точности запомнить поручение отца и а тот же день выехал в сопровождении посыльного Карабаса.

Аул Кулиншака находился неподалеку. После захвата земель бокенши осенью к роду Торгай перешли западные склоны Карашокы, где раньше находилось зимовье Кодара. Доехав до него, Абай остановился на могиле Кодара и Камки и совершил молитву.

Страшная картина встала перед его глазами так отчетливо, как будто он видел ее только сегодня. Весь ужас, боль, горькие слезы, пролитые им в тот

день, — все снова поднялось в его душе. И когда они подъехали к аулу Кулиншака и спешились, юноша был холодно-сдержан и молчалив, как взрослый.

Здесь жили еще в зимних помещениях. Обычно, чуть станет теплее, юрты ставят подле построек и переселяются туда, но Кулиншак оставался в доме.

Абай приехал с поручением Кунанбая, и Кулиншак встретил его, как взрослого, несмотря на его юный возраст. Когда гости сели и взаимные расспросы о здоровье и благополучии закончились, Кулиншак повернулся к своей жене.

— Эй, хатын,[74] ставь котел гостям! — приказал он.

Из пяти богатырски сложенных сыновей Кулиншака, прозванных «пятью удальцами», дома находился только Манас. Это был действительно настоящий богатырь: огромный ростом, с открытым красивым лицом, молодой, крепкий. Манас сидел молча, тихо перебирая струны домбры, и время от времени бросал на гостей недружелюбный взгляд.

Чай был готов. Молодая жена Манаса разостлала скатерть и приготовила посуду. У нее было продолговатое лицо, прямой тонкий нос и иссиня-черные волосы, чуть выбившиеся на висках из-под головного убора. Абай невольно залюбовался ею. Она подкупала своим врожденным благородством, удивительной опрятностью, сдержанной заботой о гостях. Каждое ее движение было полно скромного изящества. Когда она разлила чай. Абай наконец приступил к делу:

— Кулиншак-ага!..

Кулиншак повернулся к нему, вынул рожок, постучал по нему ногтем, взял щепотку табаку и с наслаждением затянулся.

— Отец посылает вам салем…

— Да будет здоров и он…

— Он передаст вам через меня об урочище Беткудык. Раньше оно принадлежало роду Борсак, теперь перешло к Акберды вместе с зимовьем. В прошлом году вы пользовались им по соглашению с Сорсаками. Теперь Акберды обратился к моему отцу: «Как бы опять Кулиншак не поставил там весной юрты. Я хотел бы, чтобы эта земля отдохнула, а осенью возьму ее под покос. Пусть Кулиншак не ставит там аула». Он просил об этом через моего отца.

— Акберды для меня мало значит. Что думает твой отец?

— Отец поддерживает Акберды. Он прислал меня просить, чтобы вы туда не кочевали.

Абай говорил уверенно, спокойно, деловито, с достоинством взрослого человека. Кулиншак молча кивнул головой и невесело усмехнулся.

— Выпей чаю!.. — И он подсел к пиалам.

В ожидании его ответа Абай тоже принялся за чай.

Уже две пиалы были выпиты, а Кулиншак все еще молчал. Внезапно он резко повернулся к Абаю.

— Вот что, сын мой… Хорошо ли твоему отцу известно, как обстоит дело с Беткудыком? Когда им владели борсаки, я пользовался этой землей по очереди с ними. Сено мы делили пополам. Знает ли он об этом?

— Знает. Он говорит так: «Одно дело собственность, а другое — уговор. Хозяевами этой земли были борсаки. Кулиншак пользовался ею не как хозяин, а по договоренности с владельцами. Если он сумеет договориться с Акберды, может пользоваться по-прежнему. Пусть только помнит, что земля теперь принадлежит Акберды», — закончил Абай.

— Одним словом, хозяином коня будет Акберды! Захочет — посадит нас сзади, не захочет — иди пешком. Скажи лучше прямо: «Распрощайся с Беткудыком, хоть он и рядом с тобою!»— недовольно отрезал Кулиншак.

Абаю была понятна его обида. Сам он не стал бы притеснять его. До этого юноша не сознавал всей тяжести порученного ему отцом дела. Только теперь, увидев расстроенное лицо и возмущенный вид своего почтенного собеседника, он понял, что возложил на него отец.

— Я только передаю вам поручение отца. Остальное в вашей воле, решайте сами, — сказал он.

— Что ж делать, — вздохнул Кулиншак и горько усмехнулся. — Не знал бы я беды, если б не было Акберды.

Острое словцо Кулиншака понравилось Абаю. Он тотчас подхватил:

Не сберечь от Акберды

Ни земли и ни воды.

Ни луны и ни звезды:

Богом дан нам Акберды!..[75]

Шутка Абая рассмешила всех. Жена Манаса, разливавшая чай, даже причмокнула языком от удовольствия и засмеялась, бросив восхищенный взгляд на Абая. Кулиншак с довольным видом откинулся назад.

— Э, сын мой, ты ловко сказал! Дай бог, чтобы слова твои дошли до Акберды!

Он перевел разговор на другое и начал расспрашивать Абая о его семье, о

старой Зере, об Улжан и под конец задал вопрос:

— Скажи мне, свет мой, как поживает малютка, которую недавно отдали Божею? Говорили, бедная Айгыз совсем убита горем.

Вопрос был неприятен Абаю — он растравлял его душевную рану. Абай промолчал, но Кулиншак продолжал:

— Род Божея, кажется, недоволен тем, что не получил настоящего выкупа за обиду. Я слышал, твою маленькую сестру держат в черном теле… Бедная Айгыз, наверное, догадывается об этом. Как она себя чувствует?

Но юноше не хотелось отвечать.

— Аксакал, скажите, почему ваших сыновей называют «бескаска»?[76] — в свою очередь спросил он. — Мы вчера спорили об этом с Айгыз…

Кулиншак понял, что Абай избегает ответа на его вопрос, и невольно подумал: «Э, да он сообразительный! Какова выдержка! Уже приучили все скрывать…» Он усмехнулся.

— Сами-то они думают, что они — пять батыров, — кивнул он в сторону Манаса. — Не знаю только, кого покорили эти батыры? Так, пустые слова!.. Когда бокенши не хотели уступать зимовья и заявили: «Умрем, но Карашокы отстоим», — я по первому слову твоего отца прилетел туда со своими пятью!.. Надеялся, что получим хоть клочок земли, которая осталась без хозяина… Вот и получили! Камнем в лоб получили эти пять батыров, вот что! — закончил Кулиншак, снова возвращаясь к неприятному для Абая разговору.

— Пословица говорит: «У разоренного народа не бери и бульдерги».[77] Кому пойдет впрок добыча, взятая у ограбленных бокенши? — убежденно сказал Абай. — Да они и не чужие вам, а сородичи…

Но Кулиншак был другого мнения, хотя Манас и его жена вполне соглашались с Абаем. До самого конца беседы он неизменно сводил разговор на свои обиды и ворчал на Кунанбая. Абай понял, что Кулиншак возмущен главным образом тем, что при разделе награбленных земель его обошли. Юношу поразила эта беззастенчивая алчность.

Вернувшись домой. Абай передал отцу согласие Кулиншака, но о его недовольстве умолчал. О своей поездке рассказал сжато, в нескольких словах.

Кунанбай вызвал Карабаса и наедине расспросил его о подробностях. Тот принялся расхваливать Абая.

— Сын ваш знает цену словам, — доложил он. — Его речь обдуманна. Говорит с достоинством, как взрослый человек… Он не стеснялся Кулиншака, вел беседу, как равный с равным…

Карабас не скупился на похвалы. Но Кунанбай движением руки остановил его.

Поведением сына он остался доволен и на следующий день дал Абаю новое поручение. Карабас опять поехал с ним. На этот раз они отправились к Суюндику.

Они приехали с наступлением темноты. Изгнанный из своих мест аул проводил зиму в верховьях Караула, в ущелье, носившем название Верблюжьи горбы. Люди жили в юртах: многолюдный аул не успел отстроиться на новом месте.

В белой Большой юрте Суюндика было тепло: ее покрывали два ряда войлока снаружи и шерстяные вышитые ковры или узорчатая кошма — внутри. Абай, одетый еще по-зимнему — в бешмете, подбитом белкой, и в сапогах с войлочными чулками, — не чувствовал холода. Впервые ему нынче пришлось быть в юрте. Необъяснимое чувство легкости и свежести охватило его, — ранней весной он особенно любил жизнь в юрте, куда свободно проникает чистый воздух степи.

Посередине юрты тускло мерцал светильник. Кроме Суюндика с женой и двух его сыновей — Адильбека и Асылбека, здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Суюндика — Тогжан.

Она то к дело входила, сюда из Малой юрты, где жила ее мать, младшая жена Суюндика. Шолпы[78] своим звоном предупреждало о ее приходе. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие ее пальцы, — все казалось Абаю изящным и прекрасным. У нее нежное личико, прямой правильный нос, черные глаза. Тонкие брови, острые и длинные, как крылья ласточки, разлетаются к вискам. Когда Тогжан слушает, смеется или смущается, чудесные брови то поднимаются дугой, то успокаиваются в плавном изгибе. Может быть, это — крылья невиданной птицы? Вот они раскрылись для полета, а потом снова сомкнулись… Нет, не птицы, — какого-то легкого духа, парящего в воздухе… Они рвутся ввысь, вдаль, — манят за собой… Абай не в силах был оторвать глаз. Он смотрел на девушку восторженно — и молчал, сам не замечая, что думает о ней сравнениями, вычитанными у поэтов.

Тогжан заботилась о приеме гостей и часто заходила в юрту. Она приказала служанке разостлать скатерть, подать чай и села рядом с отцом, угощая собравшихся.

Абай обратился к хозяину с вопросом:

— Суюндик-ага, почему та одинокая сопка, которая стоит здесь неподалеку от ваших земель, называется «Караул»?[79]

— Кто ее знает, дорогой мой! — отвечал Суюндик и, помолчав, добавил — Разве бывало когда, чтобы Тобыкты и Мамай не вели междоусобных войн? Наверное, осталось с тех времен.

— Так вы полагаете, что это название дано ей нашим Тобыкты?

— А кем же? Все названия здесь даны тобыктинцами.

— А откуда же название Чингиз? Разве был какой-нибудь Чингиз в Тобыкты?

— Э, нет!.. Ты прав… Почему же тогда этот хребет назван Чингизом? — задумался Суюндик.

Адильбеку было неприятно, что отец его попал впросак, и он поспешил вмешаться в разговор:

— Говорят, это название происходит от слова «Шынкыс»,[80] — здешние зимы всегда суровы…

— Вряд ли это так, — возразил Абай, — Ведь Чингиз — имя знаменитого хана.

— Да, верно, я тоже что-то слышал об этом. Только вот в памяти ничего не сохранилось. Если ты знаешь, расскажи нам, сын мой, — сказал Суюндик.

Молодой гость рассказал все, что знал о Чингиз-хане и его походах. Под конец он высказал несколько своих догадок.

— Вероятно, поэтому хребет и назван «Чингиз», а его вершина — «Хан». Вот та гора, которая стоит в стороне от других, могла быть его ставкой. Поэтому она называется «Орда». Не с того ли времени сохранилось и название «Караул»?

Суюндик выслушал Абая с большим вниманием. Тогжан заметила, что отец ее заслушался гостя: его пиала так и осталась полной, и чай в ней совсем остыл. Но девушка и сама не сводила с Абая любопытного взгляда. Старшие чувствовали себя неловко: они были смущены своим незнанием.

— Да, это, наверное, так, — повторяли Асылбек и Карабас. Суюндик, покоренный рассказами Абая, сам подал ему чашку.

— Выпей, закуси, Абай! — сказал он, придвигая к гостю жент,[81] масло и баурсаки.

Тогжан была удивлена почетом, который оказывал ее отец молодому гостю. Абай не раз встречался взглядом с ее черными, обращенными на него глазами. В них светилось не равнодушное любопытство, а пристальное, глубокое внимание.

Первый раз в жизни Абай так внимательно смотрел на девушку. Тогжан долго не сводила с него глаз. Потом, слегка покраснев, отвела взгляд в сторону.

Суюндик в раздумье заметил:

— Видно, знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг…

Абай подхватил его слова:

— Все это я узнал от таких почтенных людей, как вы, Суюндик-ага… — Помолчав, он продолжал — И если позволите, я хотел бы от вас самого услышать объяснение сказанного вами однажды…

— Спрашивай, свет мой! — ответил Суюндик.

— Я слышал, что когда-то вынося решение по спорному делу о земле возле Орды, вы сказали: «Меня не твои овцы ведут, а божья правда». Что это значит?

Вопрос Абая вызвал смех у Карабаса и у обоих сыновей Суюндика: видимо, всем, кроме Абая, было хорошо известно, о чем идет речь. Суюндик замялся.

— Лучше бы ты спросил об этом своего отца, — сказал он.

— Вы знаете, ага, мой отец не станет много разговаривать с юношей…

— А ты знаешь, что слова эти связаны с ним?

Карабас и другие продолжали смеяться. Их забавляло, что Суюндик, соблюдая приличия, избегал прямого ответа.

— Я знаю только то, что отец был связан с этим делом, — сказал Абай.

— Ну, так о деле, с которым он связан, лучше услышать от него самого…

— Благодарю вас, Суюндик-зга, за добрый совет. Но говорят, что эти слова были сказаны вами, когда вы были в размолвке с моим отцом?

— Правда.

— Так что же получится, если о причине вашей ссоры я слышу только от своего отца, а ваши сыновья — только от вас? Тогда мы никогда не доберемся до истины — каждый будет знать лишь одну ее сторону. Во-первых, мы запутаемся, а во-вторых, и мы, дети, станем коситься друг на друга… А вот если вы расскажете мне, а мой отец — им, тогда весы уравняются.

Доводы Абая всем показались убедительными. Карабас торжествовал.

— Мальчик прав! — воскликнул он, вызывая Суюндика на ответ.

— Э, да ты обошел меня со всех сторон, сынок! — усмехнулся Суюндик и, все еще уклоняясь от ответа, обратился к сыновьям: — Заметьте, как пытлив ум нашего молодого гостя.

Чай уже был выпит, но Тогжан не велела убирать посуду и продолжала с улыбкой слушать беседу. Она часто взглядывала на Абая, и, когда глаза их встречались, он читал в ее взгляде доверчивость и внимание, с какими смотрят на давно знакомого, близкого человека.

Абаю все же удалось уговорить Суюндика, и тот начал:

— Ну что ж, расскажу, если ты хочешь… Твой отец еще в молодости дружил с отцом Кожекпая из племени Мамай. Года два назад Кожекпай поспорил из-за земли со своим бедным сородичем и обратился к твоему отцу с просьбой помочь, — ну и пригнал ему в подарок сотни три овец. Мирза поручил мне разрешить спор. Я выслушал обе стороны, разобрался по совести и поехал на место провести межу. Твой отец был при разделе и ехал позади меня с Кожекпаем. Однако вижу, моя межа Кожекпаю не по нутру, — он так и кипит, лопнуть готов. Потом, слышу, начинает жаловаться мирзе. Твой отец и крикнул мне: «Эй пегий,[82] куда ты заехал?» Меня это взорвало, ну я и ответил: «Меня не твои овцы ведут, а божья правда…»

— Ну и что ж было дальше? — спросил Абай.

— Зачем тебе знать, что было дальше, сын мой? Дальше все пошло вкривь и вкось… Узел за узлом…

Суюндик махнул рукой и помрачнел.

Абаи вспыхнул. Младший сын Суюндика — Алильбек, резкий, угловатый, совсем не похожий на своего приветливого брата, был очень доволен, что Абай

осекся. «Добивался — вот и получил свое», — подумал он. Но Абай сумел взять себя в руки и снова стал расспрашивать Суюндика. Теперь его занимали стихи, сказанные стариком на годовых поминках деда Абая, когда там поссорились Майбасар и Божей. Он привел эти стихи на память:

Никакого зла не прощает аллах

Тем, кто сеет вражду и раздор в сердцах:

Дед поссорил Лоскутный род, а теперь

Его внуки его ж оскверняют прах…

— Что это за Лоскутный род, и с кем его поссорил мой дед? — спросил Абай.

— Ой, Абайжан, зачем заставляешь меня вспоминать старое? — недовольно сказал Суюндик. — Наслушаешься моих рассказов и завтра поссоришь меня со своим отцом…

— Да нет же, Суюндик-ага! Я же спрашиваю, чтобы самому знать, а не для того, чтобы жаловаться на вас!

— Хорошие слова, дорогой мой… Ну что ж, могу рассказать. «Лоскутным родом» называли уаков, живших тут неподалеку. Дед твой перетянул часть из них на свою сторону, перессорил их между собою и послал твоего отца помогать батыру Конаю. Вражда разгоралась. Конай устроил набег, и народ укрылся от него а камышах соседнего озера… Кунанбай дал Конаю совет — поджечь камыш. Народ в ужасе выскочил оттуда, и началось избиение беззащитных людей… Ну, да что рассказывать о старом… Давайте-ка есть мясо, раз его несут. — прервал себя Суюндик.

Абай задумался. В глубине его глаз, обращенных к красноватому пламени светильника, вспыхивал яркий далекий огонек. Тогжан смотрела на гостя с нескрываемой теплотой.

Принесли ужин. Гостей принимали, как родных, поэтому вокруг скатерти разместилась вся семья Суюндика. Тогжан села между родителями, совсем близко от Абая. Теперь он мог видеть ее сбоку.

Тонкая линия правильного небольшого носа казалась Абаю еще обворожительнее. Легкое и нежное, как пух, выступало бело-розовое яблочко подбородка. Чудесная шейка белела между длинными черными косами.

Маленькие серьги сверкающими капельками дрожали в ушах и невольно приковывали взгляд. Тогжан то заливается румянцем, то неожиданно бледнеет. Она во власти какого-то нового чувства, наполняющего непонятным трепетом все ее существо. Абай снова залюбовался ею.

Дом Суюндика всегда славился радушием и гостеприимством. Сегодня угощение тоже было обильное. Карабас острым ножом с желтым роговым черенком нарезал казы и сало.

Все принялись есть с нескрываемым удовольствием, но Абай не замечал еды, хотя все было приготовлено очень вкусно. Тогжан тоже редко протягивала к миске свою белую ручку, унизанную браслетами и перстнями. Суюндик и Асылбек не переставали угощать Абая.

— Что ты не кушаешь, дорогой? Бери, кушай! — не давали они ему покоя.

После горячих блюд был подан кумыс, за которым гости сидели долго, — в оживленной беседе время шло незаметно.

Но Абай не принимал участия в беседе. Хозяева решили, что молодого гостя клонит ко сну. Мужчины вышли из юрты, где женщины стали приготовлять гостям постели.

Абай с облегчением почувствовал, что предоставлен самому себе, и отошел в сторону. Рассказы Суюндика огорчили Абая, — точно тяжелая муть поднялась тогда в его душе. Сейчас она осела куда-то глубоко на дно. Сердце Абая было полно теперь другого, необычайного ощущения.

Любимая… Это волнующее слово Абай не раз встречал в книгах и слышал от других. Но сегодня оно покинуло песни, сошло со страниц книг и предстало перед ним во всем обаянии своего значения — в живом воплощении, в смехе, в движении, в улыбке, в дыхании юного существа с нежным лицом, стройным станом, с взглядом, томившим сердце.

Любимая…

Взволнованный, он поднял лицо к звездному небу. С гор доносилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вдохнул его свежую струю.

Луна была на ущербе. Она медленно подымалась к зениту, недоступно высокая, уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью.

С Верблюжьих горбов виднелись отроги Чингиза. Лохматые горы, посеребренные лунным светом, замерли в неподвижной дремоте.

Огромные стада овец вокруг аула лежали спокойно. Они дремали, беззвучные, утихшие. Асылбек и Адильбек ушли спать. Тундуки юрт были плотно закрыты. Белые юрты дремали в лунном сиянии.

Суюндик с Карабасом хлопотали где-то около лошадей. В свежем дуновении весенней ночи Абай почувствовал приближение утра, необычайного, прекрасного, которое должно наступить только для него одного…

«Любовь ли это? Она ли?.. Если, это — любовь, то вот колыбель ее: мир,

объятый спокойствием ночи…» Так говорит взволнованное сердце.

Лунная ночь словно купается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств. Трепещет и замирает сердце. «Что ж это? Как разгадать? Что со мной?»

Перед его глазами — белые руки Тогжан, ее нежная шея. Она — его утро!

Ты истаешь в моем сердце, рассвет любви…

Это поет сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тогжан… Она повторяет про себя эту песнь. Слова льются легко, свободно.

Голос Карабаса обрывает чудесную нить его грез; он зовет Абая в юрту. Кроме них двоих, все уже легли.

По дороге Абай силится вспомнить слова своей песни, но они не возвращаются к нему… В памяти живет только одна строка:

Ты встаешь а моем сердце, рассвет любви…

Когда Карабас и Абай вошли в юрту, Суюндик с женой уже спали на высокой кровати, за золотистой занавеской из толстого шелка. Тогжан, вероятно, уже ушла к себе. Постель гостям расстилала молодая румяная женщина, которая вечером помогала разливать чай…

Абай направился к постели. Вдруг шелковая занавеска заколыхалась, у самого входа зазвенело шолпы — и стройная фигура Тогжан появилась перед ним. Она шла с шелковым одеялом в руках. Ее движения были неторопливы, даже, пожалуй, медлительны. Казалось, что каждый шаг ее звенит серебряными переливами дорогого украшения.

Молодая женщина уже успела разостлать Абаю мягкую удобную постель. Тогжан, все еще стоя с шелковым одеялом в руках, негромко сказала женщине:

— Взбей, пожалуйста, постель повыше в ногах!

В этих немногих словах Абай почувствовал ее заботу о нем, — о нем одном. Сказать что-нибудь? Он и хотел бы сказать, но сердце опять сжалось. Он не находил слов.

Тогжан положила шелковое одеяло на постель и плавной походкой

направилась к двери.

Это, конечно, большое внимание, — может быть, безмолвный знак уважения. Но и только, и все? Неужели все? Тогжан, не оборачиваясь, уходила. Только у самого выхода она с удивительной гибкостью обернулась и, улыбаясь, скрылась за дверью.

«Что это было? Насмешка?.. Разве я позволил себе что-нибудь недостойное?» — подумал Абай в смутился. Он быстро разделся и закутался.

Серебряный звон шолпы, удаляясь, переливался за дверью юрты. Сердце Абая громко стучало. Казалось, стремительный топот коня отдавался в его ушах, заглушая звон шолпы. Но вот ночная тишина поглотила этот звон, словно чья то невидимая рука сжала поющие серебряные звенья…

Карабас задул светильник.

Не все ли равно, горит огонь или погашен? Перед глазами Абая весь мир сиял яркими лучами. Юноша даже не заметил, что стало темно. Глаза его были закрыты, но мысль металась и рвалась, словно подхваченная могучим вихрем…

Абай не сомкнул глаз до рассвета. Он задремал перед самым восходом солнца, но чуть только в юрте началось движение, проснулся. Встал бледный, осунувшийся.

Выйдя подышать свежим утренним воздухом, он старался угадать, в которой из юрт спит Тогжан. Возле самой юрты Суюндика стояла вторая — вероятно, Асылбека. За ней была еще одна шестистворчатая юрта, по-видимому, младшей жены Суюндика. Тундук на этой юрте бил закрыт. Тогжан и ее мать, наверное, еще спали.

Суюндик уже встал и вышел из юрты. Абай передал ему салем своего отца и тут же изложил дело, по которому приехал. Разговор занял не много времени, и вскоре Суюндик повел Абая пить чай. Тогжан к чаю не вышла. Асылбек и Адильбек тоже не показывались. Карабас, рассчитывая вернуться домой еще по утреннему холодку, сразу после чая пошел седлать коней.

Но Абаю не хотелось покидать этот аул. Гостеприимные, приветливые хозяева сумели сделать свой дом похожим на теплое, уютное гнездышко. «Вот было бы хорошо, если бы я приходился им близким родичем!.. Приезжал бы сюда часто-часто, когда вздумается, гостил бы, ночевал бы здесь…»— мелькнуло у него в голове. Но уезжать надо было.

Когда хозяева остались в юрте наедине с Абаем, Суюндик стал расспрашивать, как живет Зере и Улжан.

— Передай привет матерям, сын мой, — сказал он,

Байбише[83] со вчерашнего вечера не проронила ни слова, но теперь она тоже передала привет Улжан; потом она вспомнила Айгыз и маленькую Камшат.

— Скажи, свет мой, как живет малютка, которую отдали Божею? Как бедная Айгыз перенесла разлуку с нею? И как это у вас хватило сил взять плачущего

ребенка и отдать чужому?

В ее словах звучали и удивление и осуждение. На ее расспросы Абай ответил односложно, но байбише не унимались.

— Жена у Божея черствая… У нее и своих дочерей много, вряд ли она будет заботиться о бедняжке, — грустно сказала она.

— Ну, ну, а Божей на что? Не позаботится она, так позаботится сам Божей, — попытался смягчить смысл ее слов Суюндик.

— Ой, не знаю я… Только я слышала, что у них в ауле все говорят: «Скота пожалели, девочкой за оскорбление заплатили», — и обращаются с ней грубо. Напрасно ребенка разлучили с матерью!.. Бедняжка Айгыз, наверное, едва ноги волочит!.. — И байбише сама заплакала от жалости.

Байбише тронула Абая своим сочувствием и искренностью. Но слухи о грубом обращении с Камшат его встревожили. Дома, в Жидебае, эта весть о Камшат доставит новые огорчения. Он вспомнил, как грустили о несчастном ребенке Айгыз и бабушка, как они проливали горькие слезы. А ведь то была лишь печаль от разлуки с Камшат. Что же будет, когда страшный холод новых известий дойдет до их сердец? Вчера — Кулиншак, сегодня — весь этот аул… Все говорят, что Камшат брошена, отдана в рабство, унижена, беспомощна… Не зря же говорят! Вернувшись в Жидебай, он расскажет, как поступают с их маленькой Камшат. Что бы ни говорил отец, Абай должен это сделать. Он решил это твердо.

Перед самым отъездом опять подали кумыс. Гостей не отпускали в обратный путь, пока не угостили основательно.

Они простились со старшими у Большой юрты. Кони тронулись, но Абай не сводил глаз с Малой юрты. Ее тундук оставался по-прежнему закрытым.

«Тогжан и не подумала повидаться со мной еще раз! Не захотела даже встать и проститься…» И он невольно гневно хлестнул коня, чтобы скорей уехать, но не выдержал и еще раз оглянулся на заветную юрту. Возле нее показалась женская фигура. Черный чапан был накинут на ее голову, белое длинное платье спускалось до земли. Не Тогжан ли это? Наверное, она только что встала… Абаю казалось, что он ясно слышал переливчатый звон серебряного шолпы. А может, это напев его собственного сердца? Но останавливаться было неудобно… Верблюжьи горбы — даже самое название этого аула стало теперь для Абая близким и дорогим — остались далеко позади. Всадники, миновав горные отроги, ехали берегом реки Караул. Абай перевел коня на шаг.

Вдруг до его слуха донесся приближавшийся конский топот. Встревоженное сердце опять заметалось, как ночью, вспыхнуло внезапной надеждой. Абай порывисто обернулся. Но верховой — какой-то смуглый коренастый жигит — ехал не от аула Суюндика.

Всадник приблизился. Он оказался совсем юным, — над верхней губой у него только начинал пробиваться пушок. Юноша сидел на бурой кобыле,

подстриженной так, как подстригают трехлеток. Поравнявшись с путниками, он отдал салем. Лицо его расплылось в улыбке, белые зубы блеснули, как жемчуг.

Ему скучно ехать одному, и вот он догнал путников, чтобы поболтать с ними. Грудь бурой кобылы была в поту, губы в пене, она тяжело раздувала ноздри.

Оба путешественника радушно встретили нового спутника. Начались взаимные расспросы. Юный попутчик оказался сыном Коменбая из аула Суюндика, по имени Ербол.

Карабас скоро запросто разговорился с Ерболом. Слушая их, Абай почувствовал к молодому жигиту дружеское влечение и ласково смотрел на него. Ербол оказался близкой родней Суюндика, его мать приходилась двоюродной сестрой матери Тогжан!.. Он, как свой человек, постоянно бывает в доме Суюндика. Веселый, словоохотливый юноша сразу завоевал сердце Абая.

Абая поразило огромное количество птиц в Карауле. Он высказал желание поохотиться в этих краях. Ербол тотчас же спросил:

— А сокол у тебя есть? Если есть, приезжай к нам. Я покажу тебе места, где водятся утки и гуси.

Дома у Абая был сокол Такежана. Предложение Ербола показалось ему заманчивым. Едва отъехав от Верблюжьих горбов, он уже мучился, обдумывая, когда и год каким предлогом еще раз и скорее побывать здесь. Приглашение Ербола открывало ему этот путь.

Разговор об охоте быстро сблизил их. Они болтали, как давнишние друзья. Казалось, что разговорам не будет конца.

Но вот они выехали в долину, где их дороги расходились. Ерболу нужно было свернуть направо, а дорога Абая и Карабаса лежала влево, в аул Кунке, у подножия хребта Чингиз.

Но Абаю не хотелось расставаться с Ерболом, и он начал упрашивать его:

— Может быть, ты уж не так спешишь в Кольгайнар? Поедем к нам!

— Ну вот! Что я отвечу, если спросят, по какому делу я приехал? — рассмеялся тот.

— Никто и не спросит. Погуляешь у нас, погостишь… Поохотимся с соколом…

Просьба Абая звучала заманчиво.

— Мне и самому это по душе. — И жигит на минуту задумался. — Нет, — внезапно решил он, — не могу! — И пояснил: — Дела!

Вскоре он простился со спутниками и поскакал к Кольгайнару, сияя веселостью, как и в первые минуты встречи. Его жизнерадостность понравилась Абаю. Он завидовал Ерболу: ведь Ербол каждый день может видеться с Тогжан. Какое это было бы счастье для Абая. А тот, небось, беспечно, со спокойным сердцем встречается с ней!.. Ербол — последняя надежда Абая. И он удаляется… Только что был таким задушевно близким — и

вот исчез…

2

Они приехали в Карашокы после обеда. У просторной белой юрты Кунке и возле кухонной юрты стояло на привязи много лошадей под седлами, украшенными серебром. Очевидно, Кунанбай устроил какой-то сбор. По таврам коней Карабас тут же установил, что приехали люди только из ближайших окрестностей.

— Это все — Иргизбай, Жуантаяк, Топай, сбор обычный, — и он прибавил огорченно: — Э, всех коней заседлали, видно, уже собираются уезжать, прозевали мы с тобой обед!

Абай вошел и отдал салем. В юрте было полно народу. Кунанбай сидел подле высокой кровати. Плечи его возвышались над всеми остальными, ворот белой рубахи был распахнут и открывал волосатую грудь. Гости, уже одетые в дорогу, допивали кумыс и слушали напутственные слова Кунанбая. Некоторые приподнялись — и так и замерли на одном колене с малахаем на голове. За кроватью, ближе к двери, сидела Кунке. Рядом с нею старый Жумабай перебалтывал и переливал кумыс. Абай подсел к ним и услышал слова отца:

— Меня уверяют, что я ошибаюсь, что они не затевают новой вражды… Хорошо, поверю. Может быть, себе во вред, но поверю, — как-то мрачно подчеркнул он эти слова. — Буду терпеть, пока не удостоверюсь своими глазами. Кто мне истинный друг, — с этими словами Кунанбай окинул быстрым взглядом своего пронизывающего глаза всех, от переднего места до дверей, и впился им в старейшин родов Жуантаяк и Топай, — кто мне истинный друг, пусть терпит вместе со мной! Терпите, но будьте готовы ко всему… И когда я сяду на коня, будьте со мной. Сделайте так — будете правы перед богом и передо мной! Больше пока у меня нет ни желаний, ни просьб, — закончил он, как будто сказал этими словами: — «Кто собрался, может ехать».

Все в один голос поддержали его:

— Да будет по-твоему!

— Да будет так, как ты сказал!

Абай подумал про себя: «Точно клятву дают! Наверное, отец вызвал их, чтобы прощупать и стянуть потуже обручем…»

Кунанбай только что произнес слово «друг». Абай окинул всех взглядом и невольно задумался: люди, которых отец назвал друзьями, были совсем незнакомы юноше или знакомы очень мало. Раньше отец называл друзьями Байсала, Каратая, Божея, Суюндика, Тусипа. Сейчас здесь не было ни одного из них. Не было даже Кулиншака, к которому он недавно сам посылал его. Тут что-то другое. Что это за новые друзья? А где же прежние? Или здесь кроется какой-то новый тайный замысел?

По возвращении из Каркаралинска Абай был убежден, что распри и раздоры окончились примирением, совершившимся в городе и закрепленным отдачей несчастного ребенка Божею. Разговоры и слухи как будто тоже прекратились. А о чем шептались в народе, он не расспрашивал.

Большинство гостей разъехалось. Кунанбай задержал у себя двух-трех старейшин, но и в этом тесном кругу он был каким-то сдержанным и напряженным. Абай так и не мог рассказать ему о своей поездке к Суюндику.

Улучив удобную минуту, он отчитался перед отцом. Оставаться здесь Абаю не хотелось, его тянуло сегодня же уехать в Жидебай к матери. Но, когда он сообщил о своем желании отцу, Кунанбай резко оборвал его:

— Что ты — девчонка, чтобы в куклы играть? Не можешь отстать от матери? Тебе лучше с бабами, чем со мною? Здесь ты видишь людей, слышишь умные речи, учишься жить. А чему научишься там?

Внутренне Абай не мог согласиться с этим. «Если ты — отец, то она — мать. Сына растят и воспитывают оба…»— подумал он про себя, но прямо перечить отцу не решился.

— У меня дома сокол, — неуверенно сказал он. — Нынче много дичи, яхотел поехать в Жидебай поохотиться…

Такое желание Кунанбаю было понятно. Он не возражал.

— Побудь здесь еще дня два. Я хочу завтра послать тебя к Байдалы. А потом поедешь к себе.

Это вполне устраивало Абая. У него сразу стало легко на душе. Но, выйдя из юрты, он задумался.

Сначала Кунанбаи отправил его к Кулиншаку, с которым был не в ладах, потом — к Суюндику, давняя размолвка которого с Кунанбаем тоже всем известна. От этих стариков Абай услышал нелестные отзывы о своем отце. А теперь отец посылает его к Байдалы, сообщнику Божея…

В чем же тут дело? Почему отец дает ему поручения именно к ним? Кунанбай, вероятно, нарочно посылает его к тем, с кем враждует. «Пусть увидит, что это враги, пусть узнает их ближе, — наверное, думает он, — тогда поймет и оценит меня…»

Или это не так? Абай снова глубоко задумался. Дебри! Ему кажется, что он бредет в темных, запутанных дебрях, безоружный, беспомощный, втянутый сюда чьей-то суровой волей…

Через два дня Абай снова вместе с Карабасом выехал к Байдалы. Здесь было не то, что у Кулиншака или у Суюндика, — ни приветливой встречи, ни гостеприимства. Едва они переступили порог огромной юрты, как услышали раздраженный крик Байдалы — он на кого-то сердился.

В юрте, жаркой и душной, царил беспорядок. У самой двери скотница готовилась варить овечий сыр. Посредине кипел большой котел. Байдалы осыпал шлепками какую-то маленькую смуглолицую девочку.

— Убирайся прочь! Покоя не даешь, будь ты проклята! — крикнул он и толкнул ребенка. Перепуганная девочка чуть не свалилась в огонь и залилась плачем. Сперва она плакала громко, навзрыд, взвизгивая, а потом вся посинела, захлебываясь в плаче.

— Убери эту дрянь! Чтоб духу ее здесь не было! — приказал Байдалы жене и выгнал девочку за порог.

Абай и Карабас вошли в юрту, отдали салем и сели. Байдалы холодно принял салем и холодно поздоровался.

Когда в доме варят сыр, котел занят. Это— удобное оправдание для тех, кто не любит угощать гостей мясом. Задерживаться в юрте, где царили шум и беспорядок, Абаю не хотелось. «Пусть не угощают, тем лучше!»— подумал он, потешаясь в душе над Карабасом, который больше всего в жизни интересовался едой. Мясной обед и ужин занимали все его внимание; иногда Абай торопился с отъездом, но Карабас задерживал его на ночлег только потому, что в этом доме на ужин подавали копченое мясо.

Чернобородый суровый хозяин ни разу не обернулся к гостям и упорно смотрел на дверь, потом неопределенно кивнул жене, как бы говоря: «Принеси им кумыса, что ли…»

Карабас снял пояс и хотел было усесться поудобнее, но Абай, поняв настроение хозяев, не собирался надолго располагаться. Когда принесли кумыс, Байдалы сам переболтал и перелил его и подал гостям по чашке.

— Куда едете? — спросил он наконец. — По какому делу? Абай тотчас же изложил ему поручение отца.

Дело опять шло о земле. Перед откочевкой на жайляу Кунанбай предоставил роду Бокенши взамен отнятого в прошлом году Карашокы земли, граничащие с пастбищами Байдалы. Теперь он просил Байдалы разрешить аулам Сугира и Суюндика пользоваться пастбищами.

Выслушав Абая, Байдалы нахмурился и долго молчал, пристально смотря на юношу и не отвечая ему ни слова. Но Абай не смутился под этим немигающим взглядом, — на его лице отражалось только искреннее удивление, точно он спрашивал: что это ты на меня так уставился?

После продолжительного молчания Байдалы заявил:

— Пусть будет так! Суюндик и Сугир могут становиться там своими аулами. Что я еще могу сказать?

Это было решение мужественного, твердого человека. Он не стал тянуть, спорить, просить, хотя в душе негодовал и бесился. Абай напился кумысу, поблагодарил хозяина и хотел уже уходить, но Байдалы заговорил снова:

— Я согласен на его предложение. Но я еще имею слово к твоему отцу — сумеешь ли ты точно передать ему?

— Говорите, аксакал. Я даю вам слово передать все, что вы скажете, — ответил юноша.

Его слова понравились Байдалы.

— Если бы я передал через чужих, начались бы сплетни и пересуды. А тебе говорю так, как говорил бы самому твоему отцу, — продолжал Байдалы и опять сосредоточенно помолчал.

— Не вчера ли в Каркаралинске при многолюдном сборище мы сказали: «Да будет между нами мир и дружба»? — начал он. — А на что похож сегодня наш мир? Если и после примирения Кунанбай притесняет меня, чем отличается такой мир от прежней вражды? Чем я виноват? Чем перед твоим отцом провинились мы, жигитеки? Наш прадед Кенгирбай благословил вашего прадеда Иргизбая и поставил его бием после себя. Разве у него не было своих родных сыновей? Но он сказал: «Власть примет Иргизбай». И вот Кунанбай стоит выше всех нас. у него и власть и слава. Зачем же он не перестает топтать наш род? Он не дает нам покоя, он все толкает нас: «Скорей!.. Кидайтесь в костер!.. Не успокоюсь, пока не добьюсь своего!..» Он требует ответа? Передай ему мои слова: «Если он не прекратит своих преследований, дождется беды». Передай это не только от меня, я так и скажи: «Это салем всего рода Жигитек…» А землю пусть берет! Да не одно это пастбище, пусть забирает все!..

И Байдалы махнул рукой.

В юрте было тихо. Костер ярко пылал, длинные языки пламени лизали дно большого котла, в котором варился сыр. Кислое молоко, сгустившись, тяжело булькало, вздымаясь медленными большими пузырьками. Байдалы говорил, а Абай не сводил глаз с клокочущей в котле массы… Не так ли клокочет возмущение, доведенное до крайних пределов? Как этот кипящий котел, оно бурлит не в одном месте, — негодование прорывается то тут, то там. Вот она, обида Кулиншака, горькие слова Суюндика, ненависть Божея… А теперь — Байдалы…

Речь Байдалы была сдержанна и скупа, но сколько глубоких ран он затронул, сколько горьких дум оживил, сколько запутанных узлов задел! В короткой его речи — долгие годы раздоров, упреки и обвинения, собранные по каплям, неоспоримые, доказанные…

Внешне Абай держался спокойно. Он даже виду не подал, согласен он с Байдалы или нет, — его дело выслушать и запомнить. Он поднял свою плеть, надел малахай и хотел уже попрощаться с хозяином, но Байдалы снова зашевелился, как бы желая говорить еще. Абай опять снял малахай.

Старики умеют хранить невозмутимость и таить на дне души заповедные клады глубоких дум, но такую мгновенную смену бури и спокойствия, такую силу воли и умение владеть собою Абай встретил впервые. Байдалы, только что кипевший от возмущения, неожиданно заговорил совершенно мирно:

— Ты, наверное, часто видишь Каратая? Что и говорить — золото, а не человек! Жаль, что он из маломощного Кокше, — родился бы он в Иргизбае,

далеко бы пошел!

Помолчав, он продолжал:

— Как-то раз мы — Каратай, Божей, Байсал и я — говорили о разных делах, а потом кто-то задал вопрос: «Кто из тех, кого мы знаем, самый щедрый?» Все задумались. Байсал, как лесной зверь, лежал и жмурился на солнцепеке. На вопрос ответил Каратай. «Самый щедрый — Кунанбай», — сказал он. Немного погодя был задан другой вопрос: «Кто самый красноречивый?» Ответил опять Каратай: «Самый красноречивый — Кунанбай». Вот мы миновали два перевала и спросили в третий раз: «Кто лучше всех?» И в третий раз ответ был дан Каратаем: «Лучше всех — Кунанбай», — заявил он. Тогда Байсал поднял голову с подушки и крикнул ему: «Эй, лиса, что ты плетешь? Кунанбай — щедрый, Кунанбай — красноречивый, Кунанбай — лучший… Чего же тогда мы задираем нос и боремся с ним?» Каратай ответил тут же: «Ой, боже мой, разве пороки Кунанбая нас мучают? У него все добродетели, не хватает только милосердия, — потому мы и в раздоре…» — и Байдалы пристально посмотрел на Абая. — Ты, как я вижу, разбираешься в словах. Вероятно, твой отец не слыхал об этом разговоре. Расскажи ему. Каратай не раз был свидетелем его безжалостной жестокости — разве все перечтешь? — и жигитеки тоже изо дня в день видят и знают, каков он… Слова «прощаю» нам, видно, не услышать от него до самой смерти! Байдалы замолчал.

На обратном пути Абай нигде не хотел останавливаться. То, что он услыхал сегодня, было и тяжело и поучительно. Отъехав от аула, он повернулся к Карабасу.

— Давай поскачем наперегонки! — предложил он.

Карабас не был любителем скачек, но, чтобы добраться до Карашокы засветло, следовало поторопиться, да и вороная кобыла его была не хуже абаевского Аймандая.

— Ну что ж, давай! — согласился он и помчался вперед.

Они долго скакали. Соперники опережали друг друга, но ни один не сдавался. Когда Карабасу удавалось вырваться вперед, он предлагал остановиться, но Абай стегал своего Аймандая и кричал, догоняя: «Гони, гони!»— и скачка продолжалась. Карабас подумал: «Здорово задел его Байдалы!.. Ишь как загорелся!»

Перед самым закатом, взмылив коней, они доскакали до Карашокы.

За аулом возвышался каменистый холм, и на нем Абай увидел отца, сидящего с Майбасаром. Абай спрыгнул с коня, бросил поводья Карабасу и поспешил к холму.

Кунанбай понял, что сын летел вскачь всю дорогу. Буланый иноходец дышал тяжело, бока его раздувались, он не мог успокоиться, рвал и тянул коновязь. Для опытного глаза Кунанбая этого было достаточно, чтобы понять, как Абай мчался.

Но не это остановило внимание Кунанбая. Он не был мелочен я не надоедал детям упреками — заездил, мол, коня. Он не бранил их и в том случае, если конь под ними начинал хромать или даже падал: что ж, быстрая езда — обычное увлечение в молодые годы!

Кунанбая занимало другое: Абай даже не зашел домой и сразу поспешил к отцу. Кунанбай внимательно посмотрел на сына. Глаза юноши блестели, щеки пылали, ноздри раздувались. Что за перемена произошла в нем? Слишком он был не похож на обычного спокойного Абая…

Сын подошел, и Кунанбай спросил его!

— Что с тобою? Чем ты взволнован? Расскажи, что случилось. Абая удивило, что отец сразу понял его состояние. Он присел около Кунанбая и слово в слово передал весь разговор с Байдалы.

Рассказывая, он пристально следил за отцом. Сначала Кунанбай слушал терпеливо. Но при словах: «Чем провинились мы, жигитеки?» — он нахмурился и уставился на сына пронизывающим взглядом, словно стараясь ответить себе самому на вопрос; «А сам-то Абай как смотрит на это?»

Взгляд отца не смутил юношу: он не только сумел передать всю тяжесть обиды рода Жигитек, но как будто присоединил к словам Байдалы и свои собственные доводы. Наступил час, когда отцу довелось стать лицом к лицу с сыном и объясниться до конца.

Абай закончил салемом рода Жигитек, полным угрозы. Кунанбай молчал попрежнему. Тогда, выждав, юноша передал и последний рассказ Байдалы о словах Каратая: «Теперь-то уж он должен заговорить! — решил Абай. — Но как и что он скажет?..» И Абай с нетерпением ждал ответа.

Кунанбай угадал его мысли. Ответить нужно. Не Каратаю и Байдалы, а своему сыну, ожидающему ответа. Ответить нужно хотя бы для того, чтобы сын знал цену противникам отца.

— Каратай — опытный скакун. Он знает, где мчаться, где идти шагом.[84] Может быть, он и прав, — начал Кунанбай, — но мне кажется, — из любого достоинства человека могут вырасти и его пороки. Настойчивость и упорство я считаю самыми лучшими качествами человека. И если я за что взялся, я держусь крепко. Возможно, из этого порой рождаются и мои ошибки… — И он замолчал, сильно побледнев. — Человек — раб божий. А мало ли недостатков бывает у раба? — продолжал Кунанбай спокойнее, чем вначале.

И Абай вдруг почувствовал, что отец — большой человек. Пусть косвенно, но он признал себя неправым. Он не похож на Байдалы, который легко обвиняет других, но с трудом признается в своей ошибке. Слова отца — не пустое красноречие: в них таятся глубокие мысли. Душу Кунанбая не просто познать, — так в извилистых складках горы трудно найти дорогу…

У отца — свои цели, свой путь. У сына — свои. И, подавленный, Абай уходит, унося неразвязанные узлы своих дум.

3

Перед возвращением в Жидебай Абай спросил у отца, когда и куда вести в этом году летнюю кочевку. Кунанбай велел Большому аулу кочевать первым. Но путь кочевий в этом году был новый: жайляу нынче намечалось за перевалом, в долине Баканаса.

Баканас и Байкошкар — самые большие реки на летних пастбищах Тобыкты. Раньше аулы Кунанбая летом располагались по Байкошкару, Баканас же принадлежал роду Кокше. А теперь Кунанбай, находясь а раздоре с Каратаем, как видно, решил захватить его жайляу.

Тут, несомненно, крылись и другие расчеты. Три рода — Бокенши, Жигитек и Кокше — собираются на лето объединиться и кочевать в одно место. Угроза Байдалы, переданная через Абая, была не пустой, — так может говорить тот, кто собирает вокруг себя единомышленников. Кунанбаю нужно было включить часть своих аулов в земли жигитеков: тогда все, происходящее у них, каждое их слово, каждая их уловка, каждый тайный шаг будут ему известны.

Выгоднее всего было отправить туда Большую юрту Зере: этот дом почитают все тобыктинцы. Кроме того Улжан гостеприимна, проста и щедра — не то что Кунке. Ее приветливость привлекает к ней всех. Улжан своим обращением сумеет смягчить и очистить сердца.

Взвесив все это, Кунанбай отдал Большому аулу приказание кочевать по Баканасу через перевал и расположиться на одном жайляу с бокенши.

Абай не подозревал о тайных замыслах отца. Хотя отдельная от других кочевка их аула показалась ему затруднительной, но яркая искра радости вспыхнула в нем. Кочевать по берегу Караула, идти до Баканаса — это означало оказаться вблизи аула Суюндика. Когда он до этого задумывался о Тогжан, ему казалось, что их тропинкам не суждено уже больше ни встретиться, ни даже близко подойти друг к другу. И вот сегодня извилистый путь жизни снова повел его к аулу Тогжан!..

Все последнее время при мысли о Тогжан им овладевало тяжелое чувство, а теперь Абай не мог скрыть своей радости. При словах отца он весь покраснел. Кунанбай заметил это, но расспрашивать не стал. Конечно, Абай не возражал против такой кочевки, но раз им приходилось кочевать отдельно, он не был уверен, хорошо ли их аулу отправляться совсем одному. Он высказал отцу только это сомнение. Кунанбай, однако, заранее обдумал все.

— Одни вы не будете. За вами пойдет не меньше десяти других наших аулов, я приказал им кочевать за вами, — ответил он сыну.

Договорившись обо всем. Абай вернулся в Жидебай.

Встретить Тогжан еще раз, видеть ее — и, может быть, неоднократно, — какой неожиданной, неоценимой находкой наградила его судьба! Дорогой он

позабыл обо всем в мире, — его мысли были полны Тогжан, и только ее образ возникал перед взором Абая.

«Моя единственная! Моя надежда!»— повторял он. Слова вырывались сами, непроизвольно и вторили топоту Аймандая, который мчал ого вперед. Неповторимые минуты. Крылатая молодость, пламя, бушующее в груди…

От самого Карашокы до Жидебая Абай ехал быстрой рысью. Никогда еще этот путь не был так короток — Абай и сам не заметил, как доехал.

В Жидебае все уже перебрались в юрты. В этом году река Караул разлилась очень широко, и поемные луга уже покрылись зеленым ковром. Аул, приветливо белея многочисленными юртами, как будто зазывал к себе гостей. Вокруг него сгрудились отары овец, ягнята с громким блеянием бегали за матками, лаяли собаки, люди весело суетились и шумели. Абай остановил коня у Большой юрты, поздоровался с матерями и передал распоряжение отца о кочевке. Жайляу в этом году зазеленели рано, аулы, расположенные в Чингизе, не стали откочевывать к подножию, а сразу пошли на летние пастбища, — значит, не следует отставать и Большому аулу.

Улжан соглашалась с этим, но ответила сыну, что не может двинуться так быстро: сборы, увязка тюков, устройство остающихся при зимовке — все это потребует по меньшей мере пяти-шести дней.

Абай заволновался. «А вдруг аул Суюндика успеет перевалить горы и удалится так, что потом его и не догонишь?»— подумал он. А ведь какое это удовольствие — кочевать вместе с аулами, где есть друзья! Вместе двигаться, вместе останавливаться и на дневной и на ночной отдых! Кроме того в пути к жайляу на привалах ставят обычно маленькие легкие юрты, шалаши, шатры. Если с кем сошелся душой — как хорошо тихой лунной ночью встретиться в одиноком шатре!.. От старших жигитов Абай не раз слышал о радости этих мгновений, пока еще неведомых ему.

Однако решение матери было непреклонно. В делах, связанных с хозяйством аула, Улжан всегда поступала по-своему и не считалась даже с Кунанбаем. Как бы ни рвалось сердце, Абаю пришлось подчиниться.

За ужином Абай передал Зере и Улжан, как живет маленькая Камшат. Он рассказал все, что слышал, со всеми подробностями, ничего не скрывая. Пусть плачут, горюют, но о тяжкой судьбе Камшат дальше молчать нельзя.

Зере тяжело вздохнула и начала осыпать Кунанбая горькими упреками. Улжан несколько минут сидела молча, потом обратилась к Абаю:

— Не говори пока об этом Айгыз. Ее сердце и без того разрывается от печали… Утром она сказала, что видела во сне, будто Камшат упала в самое пламя очага… — Она прибавила: — Жена Суюндика — настоящая мать, чуткая и любящая. Она не станет зря говорить. Доберемся до Чингиза, возьми с собою кого-нибудь из взрослых и поезжай к Камшат, посмотри своими глазами. Будем все знать, поговорим и с отцом. Тогда и Айгыз можно будет рассказать.

Все одобрили ее предложение…

Десять дней спустя Большой аул Кунанбая, перевалив через хребет, остановился на отдых в соседстве с землями жигитеков ибокенши.

Всего прикочевало сюда около десяти аулов, как и говорил Кунанбай. До самого последнего дня они не могли догнать кочевий бокенши и жигитеков, которые тронулись с подножий Чингиза раньше. Как видно, Большой аул шел медленнее других.

В первый же день им со всех сторон стали приносить мясо и кумыс — полагающееся по обычаю приношение Зере и приветствие Большому аулу. Женщины приходили непрерывно, по нескольку человек. Старую Зере не обошел никто. Несмотря на размолвку с Кунанбаем, родичи, жившие в этих местах, все побывали у нее, кроме Божея, Байдалы, Сугира и Суюндика. В доме Зере всех встречали радушно, а о тех, кто не пришел, не вспоминали, будто и не замечали их отсутствия.

На другой же день после приезда на жайляу Абай отправился с Габитханом в аул Божея. Он находился неподалеку, по ту сторону холма, зеленевшего на западе, на берегу пресного озера. Они приехали туда в обеленное время. Сразу бросалось в глаза, что аул Божея был небогат — новых нарядных юрт белело не много, большинство же давно потемнело от ветхости.

Абай и Габитхан подъехали к юрте Божея и сошли с коней. Хозяина дома не оказалось, он находился на обеденном угощении по ту сторону озера, у одного из сородичей.

Когда, привязав коней, они направились к юрте, до слуха Абая донесся слабый, жалобный плач маленького ребенка: так умоляюще могло плакать только больное дитя.

Абай узнал голосок Камшат. Сердце его сжалось от тяжелого предчувствия. Обойдя юрту, они подошли к двери. Грубый голос осыпал дитя попреками и бранью. Это говорила байбише Божея. Она резко отчеканивала слова, и каждое тяжким ударом отзывалось в сердце Абая:

— Не вой! Нечего выть, подкидыш проклятый!

Абай распахнул войлок двери и вошел в юрту вместе с Габитханом. Просторная юрта внутри оказалась богаче, чем снаружи — она была полна дорогого имущества, ковров, занавесей. Однако все было в беспорядке — пол не подметен, постель не прибрана, веши раскиданы. У кровати сидела за прялкой крупная смуглая женщина. Подвижные ноздри и непрерывно шевелившиеся губы выдавали ее сварливый нрав. За кроватью на полу сидели обе дочери Божея, занятые вышиванием. Перезревшие девицы, некрасивые и неуклюжие, казались такими же озлобленными, как и их мать.

Плач ребенка продолжался.

Да, это плакала Камшат. Она лежала на рваной, грязной подстилке, свернувшись комочком. Под голову ей вместо подушки подложили рукав

старого чапана. Она плакала слабым, дрожащим голосом, как будто жаловалась на черствость и жестокость окружающих.

Румяная, полненькая Камшат теперь высохла и побледнела, как после тяжелой болезни. Ее ручки и ножки стали невероятно тонкими. Личико выражало беспомощное страдание. Ресницы точно удлинились, щеки ввалились и покрылись морщинами, как у взрослого человека, перенесшего большое горе или сильный голод. Измученный, заброшенный ребенок был жалок и беспомощен.

Абай и Габитхан сразу бросились к малютке, но она не узнала их и пугливо отвернулась.

Габитхан, пораженный, не удержался.

— Ой, бедняжка беззащитная! Сколько мук ты терпишь безвинно! — воскликнул он и заплакал.

Абай весь побелел. Все в нем задрожало от ярости.

Женщины, чтобы оправдаться, стали болтать невпопад всякие небылицы.

— Другие дети все здоровы, одна она, бедняжка, болеет поносом! Никак не может поправиться! — начала байбише.

— Сказано: «Заболел живот — держи пустым рот». А разве ребенок понимает это? Чуть ему лучше — сразу же начинает все хватать!.. Разве может она так поправиться? Сама себе портит, — присоединились девицы, пытаясь выказать свою заботу.

Абай не разговаривал с ними. Самый вид этих безжалостных людей точно ножом полоснул его сердце, едва он успел перешагнуть через порог.

Жена Божея приказала поставить самовар, но Абай отказался от угощения.

— Мы не будем пить, мы сейчас уезжаем, — сказал он.

Разве можно было думать о еде, когда рядом томилась маленькая Камшат, измученная в неволе!.. «Ой, родной, родной мой!»— так плачут, когда умирает родич. А что толку вспоминать о родстве после смерти! Нет, надо уходить, иначе Абай не выдержит, бросится к малютке и не выпустит ее из своих объятий. «Несчастная, родная моя, беззащитная!»— хотелось крикнуть ему.

Но перед этими очерствелыми людьми лучше молчать. Возмущенный лживыми словами девиц, он готов был накричать на них, излить все свое негодование, весь свой яростный гнев, душивший его. Но ведь это погубит Камшат — не облегчит, а только ухудшит ее участь. Он был бессилен…

Байбише подала ему чашку кумыса, — но разве он мог пить в такую минуту? Он поставил чашку на пол, даже не прикоснувшись к ней губами. На кого он негодует? Кого обвиняет и упрекает? Разве вина только на семье Божея? Нет, конечно!.. И с этой мыслью Абай вышел из юрты.

Такой ярости, как сейчас, он раньше никогда не испытывал. Он вернулся в свой аул только к вечеру, но злоба и возмущение не стихли в нем ни на миг.

На привязи между Большой и Гостиной юртами стоял длинный гнедой конь

под седлом Кунанбая. Рядом с ним — еще чья-то лошадь. Как видно, отец только что приехал, Что ж, это хорошо: Абай твердо решил донести до отца жалобные, печальные стоны маленькой Камшат. Решил — и сразу вошел в юрту, где сидел Кунанбай, приехавший сюда в сопровождении одного только старого Жумабая.

Почти одновременно с Абаем пришла Айгыз. Ее материнское сердце как бы предчувствовало новое горе, неудержимая сила привлекла ее сюда, она знала, что Абай днем ездил к Божею. Едва переступив порог, она обратилась к юноше.

— Что нового, Абайжан? Узнал ли ты, как живет твоя бедная сестренка? — спросила она с тоской.

Зере и Улжан тоже повернулись к нему, ожидая ответа.

Абай взглянул на отца. Кунанбай молчал, не сводя с Айгыз холодного взгляда.

— Своими глазами видел, — ответил юноша. — Камшат больна, на волоске от смерти. Нас она не узнала. Все для нее чужие, все враги… Что мне говорить?

Кунанбай резко повернулся и уничтожающе посмотрел на него, но не сказал ни слова.

Женщины охали, плакали и причитали.

Лицо Айгыз побледнело, глаза наполнились слезами.

— Светик мой! Птенчик мой, сиротка моя несчастная! — вскрикнула она. — Кем проклят день, когда ты родилась на свет?

Кунанбай вскинул левую руку, как бы приказывая ей замолчать. Или, может быть, он защищался от материнских проклятий?

Айгыз продолжала лишь шептать, задыхаясь. Кунанбай закричал на нее:

— Прекрати! На свою голову накликаешь! Пропади все твое зло вместе с тобой!

Айгыз не посмела отвечать. Но тогда заговорила Улжан. Сидя возле Абая, она вытирала слезы.

— Что же это такое? Хоть сгори, но не крикни? — сказала она в отчаянии. — Разве только сегодня началось наше горе? Мы давно плачем о Камшат! А кому скажешь? Кто поймет?

Кунанбай прервал и ее, но Зере возмутилась.

— Не запугивай моих невесток! Что это? — сказала она властно. Приподнявшись на ковре, упираясь руками в пол, она гневно посмотрела в лицо своего сына. Никогда раньше Абай не видел бабушку такой грозной.

Зере продолжала пристально глядеть на Кунанбая. Под этим решительным взглядом он сразу сдал и отвел глаз в сторону.

— Кому же они могут принести свое горе и надежды кроме тебя? — негодующе начала Зере. — Если ты хочешь быть жестоким, будь жесток с врагами! К чему приведет твоя жестокость среди друзей, в собственной семье? Считай себя хоть земным богом, но ты не с небес спустился. Ты дитя простого

смертного человека и рожден матерью: я родила тебя!.. Они — тоже матери и делятся с тобой своим материнским горем. Вы отдали Камшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них — найди утешение, исцели! Освободи от мук сироту-дитя!

Голос Зере звучал повелительно.

В юрте все молчали. Кунанбай не мог найти слов для ответа, все внутри у него клокотало. Так с ним давно никто не смел говорить. Но голос матери был голосом совести и справедливости — и разил его своим острием.

— Что же я могу сделать? Ведь так присудили все старейшины рода! — попытался он оправдаться перед матерью.

Абай, давно с отвращением думавший об этом решении, внезапно заговорил:

— Что это за приговор, безжалостный, жестокий, бесчеловечный? Не так примиряют людей!.. Разве может такое решение принести мир? Горькую муть поднимает оно в сердце. Что будут эти матери чувствовать к жигитекам, когда те силой вырвали у них родное дитя? О каком мире говорить, когда жигитеки хотели скота, а получили ребенка, за которым нужен уход? Пусть они так бесчеловечны и тупы, что им пять кобыл дороже жизни Камшат, пусть!.. Но мы-то — мы сами отдали беспомощное дитя, как жалкого щенка!..

Отец внимательно прислушивался к словам Абая. Это было что-то новое. Ни у кого никогда еще не было таких мыслей… Но так рассуждать нельзя: Абай идет не по проторенному в веках пути, а по какой-то своей, неведомой тропинке.

— Э, сынок, недоросток мой! Сердцем ты прав, но ты не считаешься с обычаем народа! — сказал Кунанбай.

Сейчас он говорил уже иначе: он не приказывал, а будто обсуждал вопрос, который мучил всех окружающих. И хоть он и назвал Абая «недоростком», было видно, что в своем ответе он считается с сыном. Ответ его Абаю показывал также, что он делает уступку и Айгыз и Улжан.

Кунанбай немного помолчал. Потом начал снова.

— Тому ли учил обычай предков? При примирении спорящих принято заключать браки между враждующими родами. Девушку отдают, как рабыню, как наложницу. А мы отдали Камшат с тем, чтобы Божей сделал ее своей дочерью. Разве мы бросили ее на мучение? Все дело в самом Божее. Если он способен понимать что-нибудь, почему он не принял мое дитя, как свое собственное? Ведь если он обращается с ней, как с чужой, значит, он и нарушает условие, остается в долгу перед нами. Пусть он ненавидит меня. Но разве дитя мое, вынутое мною из пеленок и отданное ему, в чем-нибудь виновато перед ним? Если он не сумел внушить своей семье даже этой простой вещи, значит, он в чашке воды утонул![85]

Слова Кунанбая уничтожали Божея.

Абай и сам вернулся от Божея, впервые за все это время неся в сердце

глубокую обиду на него, не веря ему больше. «Если жена у него потеряла человеческий облик, почему же сам он не может внушить ей должного?..»— думал юноша. Еще на обратном пути он говорил об этом Габитхану.

Кунанбай тут же принял решение. На следующий день старый Жумабай повез салем Кунанбая в аул Божея. Айгыз тоже отправила к байбише Божея одну из пожилых соседок и поручила сказать: «Передай ей: она губит мое дитя. Разве стал бы поступать так человек с умом и совестью!»

Жумабай вернулся от Божея мрачным и рассказал о встрече.

У Божея сидели Байдалы и Тусип. Когда жена сообщила ему и об упреках Айгыз, Божей, посоветовавшись со своими друзьями и семьей, послал Кунанбаю суровый ответ: «Кунанбай жег мою честь на костре. Он думает, что рана зажила? Что перелом сросся? А подумал ли он о том, что терплю я? Или он считает, что может сгореть все дотла, лишь бы не пострадала ни одна его ветка? Что потерял Кунанбай? Высыпалось всего одно его зернышко! Пусть не спрашивает с меня, не докучает мне, пусть не выводит меня из терпения!»

Это было все, что он передал через Жумабая. В его словах звучала прежняя глубокая обида. Казалось, ненависть и месть снова вздыбили свой грозный хребет, снова кричали: мы еще пылаем!..

Ответ Божея убил последнюю надежду Абая. Все возмутилось в душе юноши.

Где же у них жалость — не у байбише и дочерей, глупых, невежественных, — а у самого Божея? Как мог он приговорить невинную малютку к медленной смерти? Какая жестокость — и никакого раскаяния!.. Значит, только с виду Божей был человеколюбивым, мягким, милосердным? Ведь таким он казался, когда терпел удары сам, а не обрушивал их на другого… Так чем же лучше он Кунанбая, которого сам обвиняет в жестокости?..

Кунанбай слушал ответ Божея, опустив глаза. Лицо его страшно побледнело, он часто дышал. Но и тут привычная замкнутость не изменила ему. Он только с горечью сказал Абаю:

— Моя дочь — для него не человек, а волчонок. Ненависть в нем утихнет только в могиле. Если б ему попался в руки любой из моих сыновей, он ослепил бы его, просто разорвал бы в клочья! Это по всему видно… Хорошо. Принимаю все. Подожду, прежде чем ударить.

Через несколько дней громом грянула страшная весть: Камшат умерла.

Она умерла утром, а после полудня ее уже похоронили. Мало того — о ее смерти не известили ни аул Кунанбая, ни даже родную ее мать Айгыз. В ауле Улжан узнали о смерти ребенка от приезжего чабана.

Все были возмущены, и больше всех Зере и Абай. Он не находил оправданий этой дикой, бессмысленной жестокости. Камшат — малютка. Раздоры и вражда должны были отступить там, где дело шло о самом основном в жизни — о человечности.

Божей и сам, видимо, понимал это: в день смерти ребенка он поручил жене известить Айгыз. Но Байдалы убедил его не делать этого, и Камшат похоронили, не позвав ее родных.

С тех пор как Кунанбай отнял у жигитеков летние постбища и отдал их бокенши, оба рода, жившие всегда в дружбе, вступили на путь постоянных взаимных подозрений и обид. Кочевья, выпасы, реки — все стало теперь служить поводом для раздора.

Байдалы и Тусип видели это. Их не покидала тревожная мысль, что посеянная Кунанбаем вражда приведет к полному разрыву с бокенши, и тогда Жигитек лишится последнего союзника в борьбе против иргизбаев. Ненависть к Кунанбаю и подсказала Байдалы совет — похоронить Камшат, не позвав ее родных.

Божей отлично понимал, какое оскорбление наносится этим Кунанбаю, но согласился, даже предвидя все грозные последствия этого. Он слишком ненавидел Кунанбая, чтобы упустить такой удобный случай для мести.

Кунанбай пришел в ярость, узнав, что Камшат похоронили, даже не известив никого из ее близких. Он без огласки вызвал к себе в Большой аул старейшин родов Иргизбай, Топай и Жуантаяк и, рассказав им о поступке Божея, предоставил дело на их усмотрение. К Божею был отправлен посыльный.

На этот раз к жигитекам поехал не Жумабай: Кунанбай послал туда Изгутты и Жакипа — своих братьев, названого и родного, деливших его удачи и горе.

Они заговорили с Божеем прямо без обиняков.

— Что ты сделал? — сказал Изгутты. — Что она тебе: раба, которую ты добыл в походе? Разве она не родное дитя Кунанбая? Хоть бы родную мать известил, дал бы ей своею рукой бросить горсть земли на могилу! Что за нелепая месть!

Божей ответил в присутствии Байдалы и Тусипа.

— Конечно, кому же раздувать пламя, как не Кунанбаю! Неужели мне оповещать народ и устраивать поминки по ребенку с ноготок? — грубо отрезал он. — Да если бы я даже сделал это, разве отвел бы он удар от моей головы? Если я виноват, пусть взыскивает с меня за кровь. Пусть попробует, если в силе!

Очевидно, споры о земле дошли до крайних пределов. — в словах Божея звучали и вызов и готовность идти на все.

Байдалы и Тусип решительно поддержали его и, едва Изгутты уехал, собрали родичей. Раздоры с бокенши были забыты, опасность объединила всех вокруг Жигитека.

И в тот самый вечер, когда Кунанбай благословил своих союзников на начало новой вражды, в ауле Божея Байсал, Каратай, Суюндик и другие тоже приняли твердое решение бороться и скрепили его клятвой перед Божеем.

Было начало лета. Многие аулы совсем недавно перевалили за Чингиз и

только начинали ставить юрты. Теперь обе стороны заторопились с кочевкой, чтобы скорее добраться до летних пастбищ на реках Баканас и Байкошкар. Лето грозило быть бурным, люди готовились и к прямым столкновениям и к скрытой борьбе.

Многолюдные кочевья Тобыкты двигались быстро. Жигиты держали наготове свои соилы и шокпары, а коней, предназначенных для летней езды, ставили на ночную выстойку, сгоняя с них жир.

Пламя разгоралось все шире и шире. Томительная тревога перекинулись и на соседние аулы. Глухие слухи о захватах и грабежах носились в воздухе и заставляли спать чутко, настороженно ожидая появления врага.

В это беспокойное, напряженное время аул Зере после безостановочной кочевки дошел наконец до реки Баканас. Только вчера поставили юрты. Вокруг Зере собралось уже не десять, а около сорока аулов. С утра и до поздней ночи целые толпы вооруженных людей наполняли юрты Улжан и Айгыз.

Во время перекочевки Кунанбай не покидал Большого аула. По пути он устраивал сборы, рассылал приказы и распоряжения. По прибытии на Баканас он собрал вокруг себя всех посыльных, старшин, биев. Три-четыре десятка аулов, расположенных поблизости, стали средоточием необычных сборов. Это не был ни съезд, ни выборы, ни поминки, ни конские скачки, ни свадебное торжество. Собирались как будто безо всякого повода, но сборы не прекращались и стали под конец ежедневными.

Абай не знал тайных замыслов своего отца. Старики окружали Кунанбая, и сын почти его не видел. Абай проводил дни с матерями, тяжело переживавшими горе.

Жигитеки, бокенши и котибаки должны были перекочевать на свои жайляу, расположенные неподалеку от Баканаса. Но почему-то они не появлялись. Кунанбай послал разузнать. Оказалось, они задержались позади, у перевала. Обычно враждующие стороны стараются кочевать либо опережая, либо тесня одна другую. В начале кочевки к Баканасу было похоже, что жигитеки повторяли этот прием. Что же с ними случилось? Какие расчеты задержали их? В чем тут дело? Всех волновали эти вопросы, и никто не мог ответить ничего достоверного.

И вдруг неожиданно до Баканаса дошла весть, поразившая всех.

Трое приезжих из рода Бокенши рассказывали, что вот уже дней пять, как Божей заболел. Говорили, что за последние дни болезнь приняла тяжелый оборот. Почувствовал ли он приближение конца, или по другим причинам, но вчера вечером он собрал всех своих родичей и прощался с ними. Приезжие сами слышали об этом.

Аулы иргизбаев и их союзников, расположившиеся по Баканасу, долгое время жили в тревожном ожидании бурных событий и внезапных набегов. Теперь разговоры велись только о болезни Божея.

А на другой день дохнула холодом новая весть: Божей скончался. Он испустил последнее дыхание прошлой ночью.

Жумабай узнал об этом в пути. Когда он с этой новостью приехал к Улжан, в ауле все пили утренний чай. В юрте сидели Кунанбай, Зере и Улжан. Из детей здесь находились Абай, Оспан и Такежан. При вести о смерти Божея все точно онемели.

Кунанбай сидел бледный и сосредоточенно смотрел сквозь открытую дверь на холм, зеленевший вдали. Потом, беззвучно пошевелил губами, медленно совершил молитву.

Зере была подавлена. Тяжелый вздох вырвался из ее груди, и крупные слезы покатились по лицу.

Абай был взволнован. Сердце его сжалось.

Аулы рода Иргизбай, находившиеся в Баканасе, ждали нарочного с сообщением о смерти. Все полагали, что, по неизменному старому обычаю, примчится верховой и пригласит на похороны.

Как бы ни ссорились люди в обыденной жизни, но по старой поговорке: «Перед пышным пиром и перед свежей могилой все должно отступать», — что бы ни было при жизни Божея, не могло оставаться ни одного сородича, который не принял бы участия в похоронах и не оплакивал бы его вместе со всеми.

Для похорон приготовили кумыс, отобрали коней на убой, сложили юрты и стали толковать о том, не поехать ли, не дожидаясь приглашения. Нарочного ждали до самого вечера, но никто не приезжал.

Это было невероятно, но возражать против очевидности не приходилось: на похороны Божея Кунанбая не приглашали. Его самого и его аул намеренно обошли.

Завещал ли это Божей перед смертью, или так решили его преемники Байдалы, Байсал и Тусип, — кто знает? Но это было для Кунанбая больше чем оскорбление. Кровная ненависть родичей, притаившаяся, но не угасающая, снова подняла голову и пыталась разить его даже через мертвеца. Не только из близких родичей, но и из самых отдаленных аулов всего многолюдного Тобыкты никто, кроме него, обойден не был.

Кунанбай был угнетен. Но вскоре он снова налился злобой, неукротимой и жгучей: мертвецу не отомстишь, но Байдалы и Байсалу придется поплатиться за этот поступок — небывалый, неслыханный в Тобыкты.

Однако сейчас открытую борьбу и набеги придется отложить. Кунанбай решил это твердо. Всем своим аулам в Баканасе и аулу Улжан он дал новое распоряжение: «Смотрите за хозяйством и живите спокойно!» И он уехал с Жумабаем в аул Кунке, который уже прибыл на Байкошкар.

Аулы, жившие в ожидании вооруженных схваток, теперь успокоились, и мирная жизнь пошла своим чередом. В дни, овеянные дыханием смерти, никто

не может сесть на коня, чтобы лететь в набег.

Не получив приглашении на похороны Божея, Зере и Улжан глубоко опечалились. Но приходилось терпеть. Подавленные стыдом и горем, они не сдерживали слез. В течение целой недели они пекли поминальные лепешки и, разостлав скатерти, сидели в юрте, слушали молитвы, которые хотели бы совершить на могиле Божея и которые им читали Абай и Габитхан.

Жигитеки, бокенши и котибаки готовились к торжественным похоронам. Все их многочисленные аулы в эти дни привлекали к себе толпы людей. Мужчины и женщины, старики и молодежь съезжались, чтобы оплакать Божея. Повсюду раздавались громкие причитания, чуть слышные всхлипывания и тяжкие стоны. Родичи, друзья в сверстники Божея приезжали со своими слугами, юртами и убойным скотом. Давно уже не было таких похорон.

Смерть Божея прервала перекочевку этих аулов на отдаленные жайляу, где они должны были провести лето. Теперь они решили держаться здесь до сорокового дня после смерти, принять всех, кто пожелает почтить память умершего, и совершить поминальные обряды седьмого и сорокового дней.

Божей болел недолго. Он свалился сразу и уже не мог подняться. С первых же дней стало ясно, что он неотвратимо приближается к могиле. Уже на третий день смерть наложила отпечаток на его лицо. Он метался в постели, не находя покоя.

Байсалу не раз приходилось видеть умирающих. Он прикладывал руку к груди Божея, слыша биение его сердца, и предчувствовал тяжелый конец. Байдалы, Тусип и Суюндик сидели тут же, — может быть, Божею захочется сказать им последнее слово. Однажды под вечер Байсал начал негромко говорить о больном:

— Болезнь его — простуда… А простуда валит человека с ног крепким ударом. Вот если бы он вспотел хоть раз, все бы прошло…

Божей вдруг нахмурил брови, стиснул зубы и собрал последние силы. Его бескровное, пожелтевшее лицо покрылось свинцовой тенью гнева. Он заговорил, отрывисто бросая слова, то громкие, то еле слышные, перемежающиеся тяжким дыханием:

— Внезапный удар… Откуда удар? Снаружи… или изнутри, где сердце мое точил червь? Теперь — все равно… Просторнее будет Кунанбаю… Видно, я откочую из этого мира… Перестану стоять на его пути… Уйду… Но вы?.. Какие дни ждут вас?..

Из всех четырех друзей, сидевших вокруг него, только старый Суюндик не выдержал и заплакал. Остальные не проронили ни звука. Потемневшие, сгорбившиеся, они хранили глухое молчание.

Это было последнее прощание Божея. Больше он не сказал ни одного слова. Через несколько часов он умер.

Дыхание Божея прервалось вечером, а до поздней ночи все четверо стариков

вместе с женщинами и детьми заливались слезами и не могли прийти в себя. Байсал с рыданиями встречал валивших в юрту людей. Внезапно он зашатался и упал, потеряв сознание. Байдалы вместе с Тулипом и Суюндиком вывели его из толпы, наполнившей юрту. Сев с ним в сторону, Байдалы заговорил:

— Если бы слезы могли воскресить его, — разве мало мы их пролили?.. Посмотрите. — И он указал на аул, где девушки, женщины и мужчины громко причитали и стонали. У него вырвался вздох, похожий на тяжелый стон, но он продолжал властно и твердо — Опомнись, Байсал! Будьте крепки духом и вы! Обсудим, как готовить похороны…

Они созвали на совет еще несколько стариков. И прежде всего Байдалы исключил из числа приглашенных аулы Кунанбая.

В полночь около сорока верховых были уже наготове. Вестники печали на лучших, выхоленных конях понеслись во все стороны по аулам обширного Тобыкты, на соседние земли Керей, Мамай и даже в отдаленные племена, расположенные близ Каркаралинска.

Байдалы с остальными стариками всю ночь не смыкал глаз. К восходу солнца возле юрты Божея была поставлена самая боль-

шая юрта в округе — восьмистворчатая юрта Суюндика. Вещей в нее не вносили, только весь пол застлали коврами. С правой стороны установили большую кровать с костяными украшениями, покрытую черным ковром. На этой постели тело Божея должно было оставаться до окончания прощального торжества.

Когда умершего вынесли из его юрты, дочери и остальные женщины зарыдали еще громче. Божея уложили на кровать, и тогда Байдалы принес и своей рукой укрепил с правой стороны юрты траурное полотнище. Это было самым большим знаком почитания покойного, знаком печали: траурный стяг, укрепленный на острие пики. Если бы Божей происходил из ханского рода, то вывешено было бы знамя тюре — белое, голубое или полосатое. Если же умерший простого происхождения, то цвет знамени зависит от его возраста. Байдалы советовался об этом с Суюндиком, который славился как знаток старых обычаев. Суюндик ответил, что у тела молодого умершего вывешивается красное знамя, у старика — белое, а у человека среднего возраста, каким был Божей, знамя должно состоять из двух полос — черной и белой.

Этот стяг, водруженный Байдалы с правой стороны траурной юрты на другой же день после смерти Божея, свидетельствовал о том, что память покойного будет почтена особо торжественно. Это означало прежде всего, что почитание его памяти не прекратится в течение целого года, после чего будет устроен ас — поминальный пир.

По другому старому обычаю была свершена общая молитва, и к двери траурной юрты с противоположных сторон подвели двух коней и привязали к косяку. Один был огромный, жирный, темно серой масти. На рыжем коне Божей ездил зимой, темно-серого холил с начала этого лета.

Увидев коней, напоминавших о живом, чтимом всеми Божее, толпа не выдержала: поднялся новый горький плач. Некоторые рыдали, опираясь на свои посохи, другие падали на колени и склонялись к земле.

— О несравненный мой! Лев мой! Родной мой! — гудела толпа. Байдалы пришел в себя раньше других. Он приблизился к темно-рыжему коню, привязанному у правого косяка.

— О бесценный жануар![86] — обратился он к коню. — Умер твой хозяин, осиротел ты, несчастный!

И, подойдя к нему, он срезал его челку, потом захватил хвост и, хрустя ножом по конскому волосу, отрезал его вровень с коленами. Так же он подстриг и темно-серого коня. Потом оба меченых коня были отпущены в табуны на отгул. За год отдыха они разжиреют, и тогда их забьют на поминках хозяина.

Байдалы посмотрел вслед коням.

— У темно-серого — грива и хвост черные. Пусть он и будет траурным конем. Во время кочевок он будет ходить под седлом хозяина, покрытым черным, — решил он.

Здесь же, у траурного стяга, старейшины решили, какое количество скота и имущества следует выделить на похороны.

У богатых смерть расточает клад, а у бедных — оголяет зад. Божей не богач, но и не беден. Как он может быть бедным, когда за ним стоят такие родичи, такие друзья? Тот, кто делил с ним все при жизни, разве покинет его теперь? Как они могут забыть его, когда его могила еще не успела зарасти травой?

Никто не сказал этого вслух, но все подумали так.

И родичи приняли на себя все хлопоты о похоронах. Мало того — било решено, что семья Божея сама не израсходует ни одного козленка. В течение целого года всякий усталый, бесприютный путник, проголодавшийся в дороге, близкий и дальний, даже совсем чужой, будет находить приют и покой в доме Божея. Их благодарность и молитвы дадут Божею полное блаженство на том свете.

В то же утро на совете было решено убрать траурную юрту самыми ценными вещами и украшениями. От Суюндика, Байсала и Байдалы были принесены богатые ковры и шубы, узорчатые кошмы, драгоценное убранство.

В траурной юрте сидела убитая горем байбише Божея. Вокруг ее бледного смуглого лица был повязан белый платок. Распущенные черные волосы падали на плечи. На ее бескровном, усталом лице ясно выступали голубоватые жилки. Кровь на расцарапанных в порыве горя щеках еще не подсохла.

Обе дочери Божея сняли девичьи шапочки и накинули на головы черные шали. Сразу же после смерти отца они сложили тоскливый плач и с самого утра встречали этим скорбным напевом всех, приходящих почтить умершего.

Отовсюду съезжались все новые к новые люди. Они толпами двигались с обширных равнин, далеких жайляу, из горных ущелий, змеящихся по ту сторону Чингиза. Земля содрогалась от конского топота. Несколько дней над аулом стоял заунывный плач по умершему.

Тело Божея решено было не оставлять на жайляу, его отвезли на зимовье через перевалы Чингиза и похоронили в Токпамбете около его зимовья.

В похоронах Божея, чтимого всем народом, не участвовал один лишь Кунанбай.

ПО ПРЕДГОРЬЯМ

1

До полудня еще далеко, а душная, тяжелая жара уже невыносима. На небе не сыщешь тучки хотя бы величиной с монетку. Давно не было дождя, все лето жгучий томительный зной сушит землю. Но река Баканас многоводна, берега ее богаты травами, кустарниками, дикой акацией, ковыльными и полынными кормами, и потому аулы стремятся сюда на жайляу. Не будь такой жары — лучшего пастбища не найти.

Абай, обливаясь потом, вышел из юрты.

Люди, изнемогая от зноя, едва волочили ноги по солнцепеку. Огромный желто-пегий пес лежал у Большой юрты. Он широко разинул пасть, высунул язык и быстро, часто дышал.

Табуны оставили пастбища, забрались на голую вершину отдаленного холма и сбились в кучу, спасаясь от назойливых, свирепых оводов. Овцы, вернувшиеся с выгона, повалились в мокрую грязь берега. Коровы влезли в самую воду и дремали там, высунув только головы. Несколько бычков и телок, оставшихся на берегу, метались во все стороны, спасаясь от оводов. Задрав хвосты, раздув ноздри и выпучив глаза, они, точно перед убоем, носились как

очумелые.

Тундуки юрт закрыты, весь нижний войлок поднят.

Абай не знал, куда деваться от зноя. Он долго стоял возле юрты, как в полусне, потом лениво зевнул и побрел к реке. Капли пота текли с его носа, голова трещала от духоты, он готов был проклинать Баканас с его жарой.

В реке купались мальчишки. Оспан и Смагул больше всех брызгались и орали. Абай отошел в сторонку от них и бросился в воду. Два раза подряд он переплыл широкий, полноводный Баканас туда и обратно и, сразу повеселев, принялся нырять. Оспан по берегу подбежал ближе, следя за Абаем с завистливым восхищением.

— Нырни еще раз! Еще! Вот так! — кричал мальчик, шлепая себя по бедрам. Вдруг он с разбегу вскочил на спину Смагула. Тот начал метаться, стараясь сбросить братишку.

— Меня стригун[87] не смог сбросить, — вертись, сколько хочешь, не скинешь! — торжествовал Оспан. Он обхватил Смагула за шею и пришпоривал его ногами, как коня.

Смагулу пришлось смириться. Покорно таща Оспана, он подбежал к Абаю к шлепнулся в воду вместе с седоком.

Озорство Оспана уже давно надоело Абаю. Года два назад он сам любил повозиться с братом, но теперь неугомонный мальчишка докучал ему, и Абай всячески его избегал. А если шалун не отставал, Абай строго прикрикивал и отгонял его. И сейчас он вышел из воды, неторопливо оделся и собрался идти домой.

На берегу у самой реки он заметил Такежана. Верхом на коне, нарядно одетый, тот выглядел настоящим жигитом. На руке у него сидел сокол. Его черногривый буланый конь-четырехлетка весь взмылился, грыз удила, рвался и не мог успокоиться.

В тороках у Такежана висели пестрая варнавка и две утки. Увидев уток, дети бросились к Такежану, крича наперебой:

— Э, агатай,[88] мне!

— Мне… Отдай мне!

Обычно после охоты Такежан дарил свою добычу детям, но он любил, чтобы ребятишки упрашивали, умоляли, всячески унижались перед ним. Зная это, дети не отставали от его коня.

Такежан взглянул на Абая и самодовольно улыбнулся. Он всегда старался подчеркнуть свое превосходство над братом. Он, Такежан, — уже взрослый жигит, может охотиться с соколом… Что перед ним Абай? Недоросток, мальчишка! А Такежан этим летом уже ездил к невесте. У него друзья среди настоящих жигитов. Он подкарауливает в кустах девушек, чтобы поднять переполох. Нет, Абаю до него далеко!..

Оспан и Смагул продолжали приставать к нему. Он ответил им грубой

насмешливой бранью. Такежан вообще любил сквернословить. В присутствии отца он молчал, как нашкодивший кот, но едва скрывался с его глаз, как начинал ругать детей, пастухов, батраков, — это уже твердо вошло у него в привычку. После долгих упрашиваний Такежан наконец отвязал уток и отдал их ребятам со словами:

— Чем с утра воду мутить, собирали бы лучше ягоды, чумазые! — и снова отвратительно выругался.

— Ягоды? А где ягоды? — пристал к нему Смагул.

Летом все дети бредят ягодами, но по берегам Баканаса их нет. Абай тоже оживился и начал расспрашивать. Оказалось, Такежан нынче на охоте слышал, что на соседней речке, за холмом, полным-полно ягод.

Дети зашумели и заторопились.

— Так поедем сейчас же!

— Ловите скорей коней!

Такежан и сам был не прочь полакомиться. Через час оба брата, собрав детей, поскакали за ягодами. Дети, вскарабкавшись на лошадей по одному и по двое, целой стаей помчались за ними.

Оспан отстал от них. Не слушая табунщиков, советовавших ему сесть на смирную лошадь, он выбрал серого стригуна, которого только сегодня начали выезжать.

Конь этот давно занимал мальчика. Высокий и стройный, серый стригун не знал узды. Он был выкормлен дикой кобылой, которая весь прошлый год не давала доиться, и стригун сосал ее второй год. Он унаследовал всю дикость своей матери. Заметив недавно а табуне этого серого красавца, Оспан не давал покоя жигиту Масакбаю, который умел отлично выезжать самых неукротимых лошадей. Нынче утром Масакбай согласился и поймал арканом бешено отбивавшегося коня.

Стригун оказался диким и злым. Он начал проделывать невероятные прыжки, чтобы освободиться: бил задом, взвивался свечкой и два раза скинул самого Масакбая. Тот, впервые в жизни потерпев такую обиду, разозлился и решил во что бы то ни стало переупрямить стригуна. Он хватал его за уши, душил арканом, рвал губы удилами, а под конец накинул вместо седла кошму, прикрутив ее веревкой, и опять вскочил на него. Под ударами плети, сыпавшимися куда попало, стригун начал бешеную скачку. Измучив и смирив коня, Масакбай вернулся, и Оспан с восторгом любовавшийся ловкостью жигита, сам вскочил на стригуна. Тот, хоть утомленный, все еще не сдавался и, не желая подчиниться такому легкому и маленькому седоку, снова взвился и начал метаться, стараясь сбросить мальчика. Но Оспан был неумолим и, как похвалялся он потом перед Смагулом, все-таки подчинил себе коня.

Сейчас, когда все отъехали, Оспан задержался именно из-за этого стригуна: тот опять начал свои выходки — бился, извивался, кидался из стороны в

сторону. Оспан держался крепко, осыпал стригуна ударами и сиял довольной улыбкой. Не сумев сбросить седока, конь неудержимо понесся вперед. Этого и ждал Оспан. Он начал изо всех сил хлестать скачущую лошадь.

— Аруах! Аруах! — кричал он во все горло, догоняя детей, уже успевших отъехать далеко вперед. Но стригун и тут не смирился. Продолжая бешеную скачку, он не слушался узды, несся боком и наконец со всего размаху налетел на Такежана.

Дети всполошились и разлетелись в разные стороны. Оспан повернул стригуна и хотел было мчаться дальше, но конь, вобрав шею, завизжал, отпрыгнул и снова начал биться, то взвиваясь, то припадая к земле, как кошка.

Абай испугался за Оспана, но, взглянув на него, был поражен его бесстрашным видом. Большие глаза мальчика сверкали. Он наслаждался борьбой со стригуном и, видимо, не испытывал ни малейшей боязни. Казалось, ему хотелось, чтобы конь подольше не сдавался. Перед Абаем был не озорной мальчишка, а опытный борец, который выдерживал тяжелую схватку. И когда конь, пытаясь освободиться, начинал беситься, метаться, взвиваться свечкой, мальчик мгновенно сковывал неожиданный прыжок животного.

Все невольно залюбовались необыкновенным единоборством. Такежан только прищелкивал языком от удивления и, поражаясь неустрашимости младшего брата, посылал вего сторону восхищенные ругательства.

— Камень, — сказал он, — этого, видно, ничем не проймешь. — И, стегнув своего буланого, он поехал дальше.

Дети тронулись за Такежаном. Стригун вылетел вперед. Оспан продолжал осыпать его ударами и кричал в самозабвенном восторге:

— Аруах! Аруах! Масакбай! Масакбай! — Он точно заклинал животное именем духа укротителя Масакбая.

Дети долго собирали ягоды на склоне горы, покрытом густою сочною зеленью, источавшей сладкий аромат земляники. День уже клонился к вечеру, тени, отбрасываемые холмами и пригорками, становились длиннее, в низинах, оврагах и ущельях повеяло прохладным ветерком. Ягод, казалось, ничуть не становилось меньше. Дети и сами наелись до отвала и набили все свои тюбетейки, шапки, торбочки и карманы.

Вдруг до их слуха донесся какой-то странный гул. как будто за холмом шумел и трещал степной пожар или двигалось большое войско. Мальчики насторожились, поглядывая на старших — Такежана и Абая.

На вершине холма появился огромный конский табун и начал спускаться по склону к широкому оврагу. Белые и серые кони, фыркая, безостановочно двигались вперед; слышалось ржание жеребят и стригунов; молодые кони, вырвавшиеся из табуна, носились кругами по траве. Лошади, на которых приехали дети, услышав приближающийся топот, тоже забеспокоились. Подняв уши и заржав, они, неловко подпрыгивая в своих путах, направились к табуну.

Дети бросились к ним.

В безлюдном месте табун мог появиться только с кочующим аулом. И когда ребятишки вскочили на своих стригунов, на возвышенности, откуда только что спустился табун, в самом деле показалась кочевка.

Впереди шел караван из пятнадцати верблюдов. За ним длинной растянутой вереницей двигались остальные — из десяти, пятнадцати и восьми верблюдов. За табунами ехали всадники, вооруженные соилами и шокпарами. Изредка попадались жигиты, державшие на руке беркутов в колпачках.

Караван, который двигался за верховыми, поразил и мальчиков и самого Абая.

Он был окружен множеством женщин на конях. И юные девушки и женщины всех возрастов — все они были богато одеты и сидели на отборных кобылах и бегунах, седла, уздечки и нагрудники сверкали на солнце серебряными украшениями. Впереди стройным рядом ехало несколько девушек, ведущих в поводу оседланного темно-серого коня с подстриженными челкой и хвостом. За ними следовала исхудалая, бледная пожилая женщина в черном платке. Вьюки на всех пятнадцати верблюдах были покрыты черными коврами, темными вышитыми покрывалами и пестрыми кошмами с черным узором. От всего шествия веяло глубокой скорбью и мрачной торжественностью.

Мальчики невольно остановились, не смея пересечь путь необыкновенной кочевке. Они с удивлением и любопытством смотрели на странное торжественное шествие, пропуская его мимо себя.

Когда девушки, открывшие шествие, подъехали ближе, они о чем-то перемолвились между собою и тотчас изменили строй своего ряда — две из них выехали вперед, ведя в поводу оседланного темно-серого коня.

Оспан долго смотрел на них с удивленным любопытством и наконец подъехал к Абаю.

— Как это? Что это за кочевка? — спрашивал он, беспокойно ерзая в седле, тыча Абая плетью в бок. Вдруг он расхохотался — Ой-бай, Абай, посмотри-ка на них! Взгляни, какие шапки!

Абай сердито повернулся к нему.

— Тише, не бесись! — строго сказал он.

То, что так рассмешило Оспана, было совершенной новостью и для Абая.

И он сам и Такежан давно поняли, что это шла траурная кочевка Божея. Остриженный траурный конь шел под седлом умершего. Красная шуба хозяина покрывала коня. К передней луке седла была прикреплена плеть Божея, на которую был надет его малахай. Но внешний вид двух девушек, выехавших вперед, действительно был совсем необычным: на головах их был мужской головной убор— черные тонкие шапки из мерлушки, крытые черным же бархатом. Но мало того, что, обе надели головные уборы, не принятые у девушек, — они надели их задом наперед, прикрыв назатыльниками лица.

Заметив, что встречные остановились, пропуская кочевку, эти две девушки затянули поминальный плач. Остальные пять, следовавшие за ними, выровняли ряд и присоединились к их пению. По старому обычаю, девушки траурной кочевки, проезжая мимо аулов и незнакомых путников, должны заводить плач.

Но какое было дело Оспану до каких-то старых обычаев? На его памяти дома никто не умирал, и было бы бесполезно объяснять ему все значение такого шествия — он все равно ничего не понял бы. Все, что он сейчас увидал, ему казалось просто нелепым, и он невольно расхохотался. Но теперь, боясь Абая, он не смел поднять головы. Плечи его тряслись от беззвучного смеха.

Абай взглянул на девушек — и, сам того не замечая, поднял левую руку, продетую в петлю плети, и так и замер на месте, точно готовый крикнуть: «Остановись хоть на миг!» Но ни один звук не сорвался с его губ. Задыхающийся, бледный, он бессильно уронил руку на гриву коня.

Средняя из пяти девушек, проезжавших мимо него, была Тогжан. Она сидела на белом иноходце с шелковистой гривой. Абай видел ее впервые после встречи весной.

Легкий чапан из черного атласа мягко колыхался при каждом ее движении. Голову покрывала новая камчатная шапка, вокруг шеи причудливыми складками переливалась тонкая шаль. В ушах лениво покачивались большие золотые серьги. На коне среди этих девушек — она казалась утренней звездой, сверкающей на тусклом небосклоне. Окруженная сверстницами, она ехала медленно. Сияющий открытый лоб, мягкая линия белоснежной шеи, волосы, черными волнами падающие на спину, — все сливалось в один чудесный облик. Руки ее лежали на желтом шелковом поясе, повязанном поверх черного чапана. Глядя прямо перед собой, она громко пела скробную песню смерти, и лицо ее было полно такой чистой, такой трогательной красоты.

Абай смотрел на нее немигающим взглядом. Казалось, само дыхание остановилось в его груди. Печальная песня проникала в его сердце. Он слышал только высокий, где-то в небе звенящий голос. Она ли это пела, или другая девушка?.. Но разве такой голос мог принадлежать кому-нибудь, кроме нее?..

Все на миг исчезло перед его глазами. Казалось, сумрачное небо, висевшее над ним все это время, вдруг разорвав тучи, открыло за ними сверкающую луну, поражающую спокойной красотой. И этот миг чуть не свел с ума Абая. Он склонил голову перед этим сиянием, невиданным никогда и познанным впервые.

Но это был только миг. Тотчас же новое, острое до боли чувство, рожденное представшим перед ним зрелищем, вихрем закружило его напряженную мысль.

Плач Тогжан, плач дочерей Божея, траурное шествие, темные одежды, осиротевший подстриженный конь — ведь это печаль всего рода… И эти люди не позвали Кунанбая на похороны, не простили его, не позволили ему принять участие в их горе, разделить общую скорбь. Шествие, в котором сверкала

бесценная жемчужина — его Тогжан, холодно прошло мимо него, Абая, точно говоря: «Отойди и ты вместе с твоим жестоким отцом… Тебе не дозволено нас видеть!..»

Ему казалось, что в скорбной песне его любимой, в плаче народа о близком по крови Божее, унесенном смертью, — во всем звучал укор и ему, Абаю. «Разве я виноват?»— пытался он оправдаться, но новая волна печали сдавила его грудь. И он молчал под тяжестью этой мысли и ничего не видел и не слышал вокруг, кроме заунывного напева смерти.

Кто-то неожиданно толкнул его сзади. Чей-то голос сказал: «Едем!» Абай быстро обернулся. Его точно разбудили. Это был Такежан. Заметив волнение Абая, он поморщился и зло усмехнулся.

— Что это ты раскис? — насмешливо спросил он.

Абай вздрогнул, нахмурился и провел рукою по лицу. Он вовсе не собирался плакать и сам не подозревал, что крупные слезы давно катились по его щекам.

Траурный караван уже успел пройти. Между ним и остальной кочевкой, следовавшей несколько позади, образовался широкий промежуток. Дети тронули коней вслед за Такежаном. Оспан сорвал с одного из мальчиков малахай, надел его задом наперед и с хохотом ударил своего коня.

Но, увлеченный своею шалостью, он совсем забыл, что под ним упрямый стригун, и ударил его, даже не прижав ног к его бокам. Дикий конь опять начал кидаться. Не успел Оспан подобрать поводья, как тот неожиданным прыжком сбросил его. Однако мальчик не растерялся, — отлетев в сторону, он не выпустил поводьев и, быстро поднявшись, резко дернул их. Раскрасневшийся и хохочущий, он, как ни в чем не бывало, снова вскочил на стригуна и, не давая ему опомниться, стал осыпать его ударами плети. Стригун помчался вперед, сопровождаемый детьми.

Такежан и Абай ехали не торопясь и отстали. Такежан не переставал разыгрывать взрослого.

— Ты что — мальчик или баба? С чего это ты разревелся? Абай рассердился:

— А вот ты вырос, а ума, видно, не нажил! Разве он нам чужой? Ты сам должен бы оплакивать его!

— Нам плакать?.. Они даже не позвали нас на похороны!

— Тебя не пригласили живые, при чем тут мертвый?

— При всем! Он сам был в ссоре с нашим отцом.

— А кто виноват в этой ссоре? Ты, видно, во всем разобрался, все понял — скажи: кто прав, кто виноват?

— Понял или не понял, я на стороне своего отца! Кто друг отцу — друг и мне. Кто ему враг — тот враг и мне.

— Неужели ты думаешь, что волчонок от великого ума бежит да волком?

— Не болтай вздора! Для тебя, понятно, нет никого умней бабушки, хоть она и выжила из ума от старости!

— А ты стоишь за отца. Много ты от него ума набрался?

— Что? Так, по-твоему, я дурак? — Такежан выругался.

— Вот-вот! Ты, видно, только для того и вырос, чтобы сквернословить! Хорош взрослый — только и слышно, как ругаешь пастухов, доярок, батраков!

— Ишь какой храбрый!.. Вот подожди, я все расскажу отцу.

— Говори сколько хочешь! Я тоже расскажу бабушке, как ты назвал ее выжившей из ума.

Такежан замолчал. Серьезных схваток он не выдерживал — недоставало решительности. Отец был далеко — ему не пожалуешься. И кто знает, чью сторону он примет. Бабушка сердится редко, но уж когда рассердится, то бывает очень крута. Как-то весной Такежан обругал женщину из своего аула — и нажил себе большую неприятность. Когда та, получив незаслуженное оскорбление, со слезами пришла к Зере и Улжан, бабушка вскипела от негодования, — она вызвала Такежана к себе и крепко отколотила его. Это произошло, когда Такежан, как настоящий взрослый жигит, собирался ехать к своей невесте.

Сейчас, споря с Абаем, он вспомнил это и постарался прекратить ссору.

— Да брось ты, право! — сказал он и, снова выругавшись, хлестнул коня и поскакал вперед.

Абай был рад, что избавился от него, и, продолжая ехать шагом, снова задумался.

«Не от великого ума волчонок бежит за волком». Слова вырвались у него в споре, и лишь теперь он сам понял их смысл, всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, проложенной отцами! Если ты в силах, ищи своих путей…

Погруженный в размышления, Абай не заметил, как доехал до Баканаса.

Как только Зере и Улжан узнали от Абая, что аул Божея прибыл на свое жайляу, они спешно отправили нарочного к Кунанбаю. «Траурный аул совсем рядом с нами. Если мы сейчас не съездим туда, — как будем потом смотреть в глаза людям? Пусть быстрее решает, что нам делать». — передавали они.

Кунанбай решился. В ту же ночь он с Кунке, десятью старейшинами и жигитами приехал в Баканас. Все двадцать аулов, расположившиеся там, запасали кумыс, отбирали и кололи скот, предназначенный для поминок.

К полудню двинулась в путь толпа верховых — около пятидесяти мужчин, до сорока женщин и небольшая кучка подростков — Абай, Такежан, Оспан и другие. Только Зере и Улжан сели в повозку. С ними ехала еще одна пожилая женщина, которую все называли Сары-апа. По распоряжению Кунанбая, повозка эта отправилась в путь раньше верховых.

Кунанбая сопровождали братья — Майбасар и Жакип, ближайшие родные, а также старейшины других родов, державших его сторону, — Жуантаяка, Карабатыра, Топая и Торгая. Кунке, Айгыз, младшая мать Таншолпан и другие

ехали немного отстав. Свита Кунанбая двигалась отдельными отрядами позади ага-султана.

Приблизившись к траурному аулу, вся толпа с криком и воем, далеко разносившимися но равнине, понеслась по склону вперед.

Старый обычай требовал, чтобы приезжающие для поминок летели к аулу умершего вскачь с печальным кличем «Ой, родной мой!». Начинать должны были старшие. Задние ряды ждали знака от передового отряда. И когда Кунанбай со своей свитой поскакал вперед с криком и плачем, все ехавшие позади уже ринулись за ними, присоединив свой плач.

Абай был в среднем отряде. Рядом с ним скакали его старший брат от Кунке — Кудайберды, посыльный Жумагул, старый Жумабай, за ними — Такежан, Оспан и другие.

— Ойбай, родной мой!.. Брат мой!.. Утес мой недосягаемый!.. Опора моя! — кричали люди, мчавшиеся рядом с Абаем.

Жумагул и Такежан раскачивались в седлах — вот-вот упадут! Посмотреть на них, — они совсем изнемогали от горя, но их показная печаль не обманывала Абая.

Сам он скакал тоже с горестным кличем, но не старался преувеличенно выказать свое горе. Крик его искренне вырывался из его груди. Рядом с ним мчался Кудайберды, тоже не лицемеривший в поминальном кличе. Абаю всегда был по душе этот брат, хотя им и не приходилось часто встречаться. Абай решил все время поминок держаться вместе с ним.

Повозка Зере уже доехала до Большой юрты Божея, купол которой возвышался в самом центре аулов, окруживших его кольцом. Белая траурная юрта стояла отдельно; около нее развевалось бело-черное полотнище, прикрепленное к шесту.

Поднявшись на бугор перед аулом, скачущие сразу заметили траурный стяг и понеслись к нему стремительно и бурно, точно весенняя река. Люди мчались с криком и громким плачем. Абай, скакавший в средних рядах, различил около тридцати мужчин, стоявших за белой юртой; они согнулись и плакали, опираясь обеими руками на белые посохи. Это были родичи Божея, приготовившиеся к встрече гостей.

Всадники доскакали и спешились. Во главе ожидающих стояли Байдалы, Байсал, Тусип и Караша, за ними — остальные родственники; они тоже опирались на белые посохи и плакали навзрыд.

Целая толпа ловких, быстрых жигитов выбежала навстречу приехавшим; они помогали верховым спешиться, привязывали коней и под руки отводили гостей к старшинам аула. Вместо приветствий приехавшие обнимали хозяев и плакали с ними. Увидев, как рыдают Байдалы, Байсал и другие старейшины. Абай не выдержал. Сходя с коня, он разразился искренними слезамн.

Приезжих, рыдавших и причитавших, так под руки и уводили в Большую

юрту. Там раздавались неумолкаемые вопли.

Большая юрта была полна женщин. Они сидели рядами от двери до переднего места и вели похоронный плач, раскачиваясь и упираясь руками в бедра. В самом центре причитала в голос байбише Божея. На ее голову была наброшена черная шаль. Из глаз градом катились слезы неподдельного безутешного горя. Несколько дальше сидели пять девушек и тоже громко причитали. Купол Большой юрты, казалось, не мог вместить стонов и заунывного воя.

Мужчины, входя в юрту, становились на колени перед сидящими женщинами, обнимали их и плакали вместе с ними.

Абай шел за Кудайберды и поочередно обнимал всех, к кому подходил тот. Обойти с плачем и печальными приветствиями всех женщин, наполнявших юрту, было просто невозможно. И Кудайберды со слезами направился прямо к байбише Божея и с громкими рыданиями обнял ее.

— Ага-экем, родной мой! — причитал он.

Абай тоже начал с нее, потом он направился к девушкам, сидевшим несколько дальше.

Наконец долгий общий плач закончился. Только байбише Божея продолжала причитать и пять девушек сопровождали ее слова громкими рыданиями. Байбише оплакивала невыносимую утрату и жаловалась на судьбу, которая так жестоко наказала ее. Все сидевшие в юрте были глубоко растроганы. Постепенно стихла и она.

Но обе дочери Божея не кончали своего причитания. Теперь их плач звучал, как скорбная песня, и голоса их сливались, как будто пел один человек. Они произносили отчетливо каждое слово, временами прерывая свою песню тяжелым вздохом, или стоном, — и снова продолжали причитать.

— О отец!.. Дорасти нам не дал — покинул нас… Не достигнув цели, ушел от нас… Сиротами несчастными покинул нас… На кого ты бросил нас? Зачем на горький плач осудил нас? — говорили они, и присутствующие начинали тихо всхлипывать за ними.

Эти минуты показались Абаю самыми тяжелыми из всего обряда.

Плач девушек постепенно превращался в песню о жизни отца, о его храбрости, благородстве, о прекрасных делах рук его. Голоса их становились все трогательнее и жалобнее.

Они пели не об одном Божее, они упоминали и всех окружавших его, перечисляли имена всех живших с ним в одно время. И вдруг они назвали имя Кунанбая.

В юрте все затихли.

Кунанбай сидел молча, нахлобучив шапку на брови. Услышав свое имя, он угрюмо опустил голову. Песня девушек ударила его, как пощечина.

Но это был обычай. Это был плач, которого никто не имел права прерывать,

ибо он священен, как намаз. Остановить его невозможно, запретов на него нет. Он всесилен. А слова песни становились все резче:

Кунанбай, ты врагом нам стал,

За обиду — дитя нам дал…

Кунанбаем зовется враг,

Как кулана,[89] дик его шаг,

Как змея, он пестр и лукав…

Этот звенящий плач жестоко карал Кунанбая, — казалось, он разил его прямо в единственный глаз.

Старики, сопровождавшие Кунанбая, заерзали на месте, испугавшись возможной вспышки. Они закашляли, засморкались к беспокойно зашевелились. Кунанбай только стиснул зубы и продолжал сидеть молча.

Абай опустил голову, еле живой от стыда. Еще раньше, в самом начале плача байбише Божея, он заметил, что среди девушек находилась и Тогжан. Но лицо ее было прикрыто шалью, и она сидела боком к нему. «Если бы земля разверзлась и поглотила нас, и то было бы легче, чем терпеть такой позор!» — подумал Абай.

Кто-то из сидевших рядом с ним вдруг громко чмокнул языком от удивления. Абай поднял голову: это была Сары-апа. Она с недовольным видом вышла на середину юрты, села на корточки, накрыла голову черным чапаном и затянула громкую песню.

Она начала с восхваления Божея и долго оплакивала его смерть. А в конце добавила:

Эй вы, девушки, где ваш стыд?

Мир не добрых, а злых плодит!

Иль Божей не был чтим кругом,

Чтоб его хоронить тайком?

Пропев эти слова громко, на всю юрту, она сразу смолкла.

Все, что накопилось в сердце обеих враждовавших сторон, было высказано устами этих женщин в двух сменивших друг друга плачах. Никто не прибавил ни слова. Габитхан, сидевший возле Зере, начал чтение корана нараспев, по-бухарски. Сидящие замерли в молчании.

Так совершил Кунанбай поминки Божея.

После чтения женщин оставили одних, а мужчин повели в другую юрту для угощения. За гостями ухаживали все, начиная со знатных старейшин аула — Байдалы и Тусипа. Но ни чай, ни кумыс, ни мясное угощение не содействовали простоте и искренности разговоров между близкими Божея и гостями. Когда Байдалы и Кунанбай перекидывались редкими замечаниями, их речь звучала слишком учтиво и холодно. Байдалы сам подавал Кунанбаю чай и вообще оказывал ему особый почет. Но едва они пытались завязать разговор — получалось опять то же: холодность, прикрытая учтивостью. Говорить было не о чем.

Они лишь обменялись несколькими словами о том, как поправляется скот и хороши ли в этом году корма. Потом заговорили о набегах соседних племен Керей и Найман, предпринятых ими летом друг против друга, и взаимных грабежах. Это был их единственный разговор до самого отъезда Кунанбая. Все прибывшие разъехались в тот же вечер по своим жайляу — молчаливые, тихие, угрюмые.

С плеч Кунанбая свалилось бремя.

Возвращаясь в аул Кунке, он долго молчал и наконец обратился к своей байбише.

— Сары-апа надо уважать и почитать! — внушительно сказал он.

2

Наступила осень. Уже третий день не переставая моросил дождь. Аулы вернулись с жайляу, перевалив через Чингиз, закончили сенокос и, не задерживаясь на зимовьях, быстро переправлялись на осенние пастбища.

На лугах Жидебая и соседних урочищах собралось сейчас много аулов. Они наводнили и бесконечные долины Чингиза, и склоны, и горные отроги, и ущелья.

Большие летние юрты были уже сложены и убраны. Аулы ютились в небольших, но более теплых юртах. Каждый старался утеплить свой кров. В

юртах разводили костры, а стены завешивали большими кошмами. В осеннее время удобнее всего маленькие, не боящиеся копоти юрты из одного цельного войлока. Каждый, как мог, старался устроить свое жилище уютнее.

Овец уже не доили — верный признак того, что жайляу покинуты и аулы перекочевали на осенние пастбища. Ягнята выросли и паслись с овцами.

Мужчины, большую часть времени разъезжавшие по аулам ради всевозможных пересудов и препирательств, теперь выглядели иначе, холодные ночи и слякоть заставили их обуться в сапоги с войлочными чулками, надеть толстые зипуны или шубы из мерлушки. Они переменили и коней, — лошади, на которых ездили летом, к осени уже отощали, и их пустили в табуны, под верх пошли отгульные кони. Ездили на них шагом, не торопясь, стараясь не загонять разжиревших скакунов, и часто оставляли их на выстойку, иногда на всю ночь.

В эту пору начинается общая горячка: коней покупают, обменивают, берут во временное пользование. Если предполагают, что осень будет неспокойной и полной хлопот или же предвидятся большие передвижения и частая езда, то спрос на крепких, надежных коней еще увеличивается: лошадей выпрашивают, выклянчивают, вымогают, всячески надоедая владельцам.

Вот и сейчас, к вечеру, Майбасар и Кудайберды, съежившись под дождем, ехали в аул Кулиншака, старейшины рода Торгай, именно по такому делу. Их сопровождали Жумабай и Жумагул. Они ехали быстро, чтобы пораньше добраться до места.

В ауле Кулиншака, казалось, ждали кого-нибудь от Кунанбая. Как только четверо верховых показались на поляне возле аула, Кулиншак, сидевший на холмике со своими «бес-каска», тотчас встал.

— Вон, едут! — сказал он.

— Быстро скачут! — присоединился Турсынбай, старший его сын, приглядываясь к приближающимся всадникам.

— Ну, началось! Манас, скачи к Пушарбаю! Надо его известить. До всех сами добраться не успеем — пусть Пушарбай передаст дальше остальным котибакам! — распорядился Кулиншак.

— А те пусть передадут и жигитекам и бокенши, — добавил Турсынбай.

— И скажи: если они вправду хотят помочь мне в откочевке, пусть сразу же съезжаются сюда!

— Пусть приезжают сегодня же ночью, если их обещание не пустые слова! — напутствовали брата сыновья Кулиншака.

Манас только выслушивал распоряжения старших, а сам не проронил ни слова, — его отправляли с поручением. Он должен был мчаться тотчас же, но приостановился в ожидании всадников.

Когда Майбасар со своими спутниками подъехал к юрте Кулиншака, тот уже спустился с холма. Они сухо поздоровались и сразу же зашли в Большую юрту.

Манас вскочил на коня и поскакал на Караул. Увидев самого Майбасара, он сразу понял, что медлить нельзя.

Майбасар вошел в юрту со злым лицом. Он не снял пояса и малахая, подбоченился и, не выпуская из рук сложенной плети, нахмуренный, бледный, с раздувающимися ноздрями, скосил глаза на Кулиншака и его сыновей. В мрачном его взгляде горели ненависть и презрение.

— Что же это, родичи мои? За что вы избили моего посыльного? Если он был не прав, разве не могли вы пожаловаться мирзе! Или вам захотелось показать свою силу? Не вы ли вчера стояли с нами в одном ряду?.. Говорите, чего вам не хватает! Прямо говорите! Мирза нарочно прислал меня, чтобы вы сами изложили мне свои жалобы! Он и сына своего, Кудайберды, послал со мною!

Майбасар сплюнул в лениво дымившийся очаг и повернулся к Кулиншаку.

Сыновья Кулиншака угрюмо молчали, опустив головы, как будто не слыхали ни единого слова.

Сам Кулиншак сидел на своей постели, разостланной на полу. Один только Кадырбай, примостившийся возле отца, смело, не сводя глаз, смотрел на Майбасара.

Кулиншак несколько минут просидел с закрытыми глазами.

— Ты говоришь, избили твоего посыльного, — начал он. — Почему же ты, почтенный Майбасар, молчишь о своем поступке? Если мирза так внимателен, почему он не обращает своего взора на того, кто хотел грабить? Почему он не взыскивает с тебя?

— Не тяни вкось, аксакал! Я приехал разобраться, кто тут виноват, и положить конец подобным выходкам.

— Значит, ты предлагаешь мне не перебегать тебе дорогу? Ну, а если я решил порвать с тобой и откочевать к тем, кому я нужен?

— На это не будет ни согласия, ни разрешения. Мирза просил тебя не откочевывать, — он обещал сам разобраться во всем.

— Да пошлет ему бог здоровья! Но пусть не обижается и не пеняет на меня: я все-таки откочую.

— Почему? Что случилось, аксакал? — вмешался в разговор Кудайберды. — Отец говорил вот что: «Если он откочует, то восстановит против меня весь род Торгай. Разберемся вместе, кто в чем виноват. Пусть он сам укажет место, где вести переговоры, пусть скажет, что ему нужно, и возьмет возмещение. Но пусть отменит откочевку и не уходит к моим врагам!» Отец просит об этом.

Майбасар не дал Кулиншаку ответить.

— Скажи, в чем ты обвиняешь меня? Ведь ты же сам избил моего посыльного! — наседал он на него.

— У моих сыновей— вот они сидят перед твоими глазани! — единственный хороший скакун. Ты попросил его — я объяснил, что отдать его не могу. Неужели это так трудно было понять? А ты прислал своего посыльного, эту

собаку, которая злей волка, чтобы ом увел коня… Ты просто устроил набег. Разве это справедливо, Майбасар?

— Коня просил не я. Просил мирза. Конь понравился Кудайберды. Я и подумал: «Кудайберды первый раз протягивает руку к гриве лошади, надо ему помочь. Кулиншак не обидится на маленькое озорство», — и послал посыльного.

— Озорство! Хорошо озорство! — вскрикнул старший из «бес-каска», Турсынбай.

— Кого ты обманываешь? Это — не озорство, а насилие! Так поступают только с чужаками, с рабами, с беззащитными! — подхватил Кадырбай, третий сын Кулиншака.

Договориться оказалось невозможным. Спор оборвался и некоторое время все хмуро молчали. Потом Майбасар снова начал упрекать Кулиншака за задуманную тем откочевку к жигитекам.

Салем Кунанбая, посланный с Майбасаром и Кудайберды, в основном касался откочевки. Разговор о скакуне и о связанном с ним избиении посыльного Майбасар затеял уже сам. Он думал этим поприжать Кулиншака, но тот и не собирался признавать себя виновным.

Несколько дней назад, обозленный приказом Майбасара взять коня, Кулиншак избил его посыльного и твердо решил порвать с Кунанбаем. Он послал к жигитекам верхового с просьбой принять его к себе в род и помочь откочевать к ним. Сегодня утром слух об этом дошел до Кунанбая. Отпустить из-под своей руки такой близкий род, как Торгай, казалось ему и большим позором и убытком.

После смерти Божея а течение целого лета противники ни разу не сталкивались открыто, но всеми силами вербовали себе сообщников. Вражда нарастала глухо, скрыто, но неудержимо. Ненависть и озлобление, овладевшие обеими сторонами, достигли предела и в любую минуту могли разразиться нежданной грозой.

Схватка в Токпамбете, окончившаяся неслыханным избиением Божея, была последним крупным столкновением. Но с тех пор жигитеки, котибаки и бокенши не переставали лихорадочно готовиться к борьбе и намеревались крепко отплатить Кунанбаю. Со смертью Божея борьба внешне как будто прекратилась, но это спокойствие было только видимым; кровоточащая рана по существу углубилась. Божей своей смертью сплотил ряды противников Кунанбая, укрепил их решимость. Самыми непримиримыми были ближайшие друзья Божея — Байдалы, Байсал, Каратай, Тусип и Суюндик.

Кунанбай нацелился на скакуна в самую напряженную минуту.

Будь другое время, Кулиншак легко уступил бы Кунанбаю, он просто не осмелился бы не отдать коня. Но теперь он располагал союзниками, — Байсал и Пушарбай уже неоднократно предлагали роду Торгай покровительство

котибаков. И Кулнншак, решившись на все, скакуна не отдал.

Майбасар не понял всей сложности положения: «Не дает? Что за вздор! На что мы годны, если даже у торгаев не сумеем взять того, что нам нужно? Ну что он может сделать?»

Отказ Кулиншака его взбесил, и он пошел на насилие. Этим Майбасар сам дал толчок, род Торгай решил отложиться от Иргизбаев и откочевать к жигитекам и котибакам.

Теперь Майбасар всеми силами старался отговорить Кулиншака, но тот на доводы его просто не отвечал. Не добившись ничего, Майбасар разозлился и по привычке решил действовать угрозами и принуждением.

— Уа, Кулиншак-аксакал, я передал тебе просьбу мирзы, чтобы ты не откочевывал. И сам прошу тоже: не уходи. Я все сказал и больше разговаривать не намерен. Дай мне слово, что откочевывать не будешь, — или ты пожалеешь об этом дне!

Кулиншак возмущенно посмотрел на Майбасара.

— Ах так!.. Что ж, и я не намерен больше разговаривать с тобой. Насмотрелся и натерпелся довольно! Вот мой ответ: кочую! — отрезал он решительно.

Приехавшие с волостным насторожились и озадаченно переглянулись.

Разъяренный Майбасар хлестнул плетью по разостланной постели и заговорил, задыхаясь от злобы:

— Знаю я, к кому ты уходишь! Это они зовут тебя! Наверное, наобещали: «Мы сумеем защитить тебя, не бойся!..» Но пусть они только попробуют взять тебя из-под моей руки! Видно, у Байдалы и Байсала пазухи широки и силы много! Ну, хорошо же! Я этим мирзам всажу стальную пику в самый зад! — Майбасар весь дрожал от ярости, глаза его злобно сверкали. — Они добьются, что я отплачу им на голой спине! Еще раз вспомнят Токпамбет!

Кадырбай, самый горячий и смелый из «пяти удальцов», заерзал на месте и заговорил, тяжело дыша:

— Довольно, почтенный, довольно, волостной! Тот позорный случай не принес тебе славы! Лучше не упоминай о нем!

В юрту быстро вошел Пушарбай с двумя жигитами, тот самый Пушарбай, который в прошлом году в Токпамбете, пытаясь защитить Божея, сам пострадал от плетей Кунанбая. Пушарбай — густобородый, огромный, смелый — не забывал нанесенной ему обиды и не сидел сложа руки: благодаря ему и Байсал с родом Котибак окончательно перешел на сторону жигитеков.

При его появлении сыновья Кулиншака зашевелились и насторожились, точно приготовляясь к чему-то. За дверью опять послышались шаги. Жумабай подумал: «Кто это ходит? Что они затеяли?»— и вопросительно взглянул на Майбасара.

Из-за дверей раздался голос:

— Эй, есть кто-нибудь дома?

Пушарбай прислушался и громко откликнулся:

— Я тут!

В ту же минуту в юрту ворвались десять жигитов во главе с Манасом. Они бросились прямо к переднему месту. Остальные «бес-каска», с нетерпением ожидавшие их появления, вместе с ними кинулись на Майбасара и его спутников.

— Прочь! — крикнул тот и, не успев подняться, хотел размахнуться плетью.

Но Кадырбай обхватил его, повалил навзничь и насел сверху. Троих его спутников смяли другие жигиты.

Дело с посыльным теперь казалось пустяковым, — самое страшное наступило сейчас.

Пушарбай, Кадырбай и Манас били Майбасара до изнеможения. Та же участь постигла его спутников, кроме Кудайберды, бить которого Кулиншак не дал; он оттащил юношу в сторону и прикрыл его голову полами своей одежды. Внезапно жигиты, молча избивавшие Майбасара, закричали:

— Вытащить его из юрты! Давайте вытащим! Его потащили. Кадырбай злорадствовал:

— Он только что угрожал нам: «Я потешусь—всех вас догола раздену!» Он только грозить умеет, а мы на деле покажем! Снимай, сдирай с него чапан, сапоги, штаны. Потом со всего размаху ударил его по голой спине, повалил наземь и начал пинать ногами. — Что ты только с нами не делал! И с чего так обнаглел? — приговаривал он с каждым ударом. — Я еще не так опозорю тебя!

И он перевернул Майбасара ничком.

— Стальную пику в зад — да? Ты так угрожал? Вот тебе «стальная пика»! — заорал он и втиснул сапогом в голый зад Майбасара несколько шариков верблюжьего помета, лежавшего у юрты. — Если есть в тебе хоть капля чести, сдохни от этого позора! — пнул он его ногой.

В ту же ночь аул Кулиншака, опозорив брата и сына Кунанбая, сложил юрты и тронулся кочевкой. Как только он сдвинулся с места, жигитеки и котибаки, извещенные Манасом, окружили откочевавший аул и с почетом проводили его. В ту же ночь они успели присоединить к себе большое количество аулов рода Торгай.

Майбасара и его спутников освободили лишь тогда, когда торгаи были уже далеко. Коней своих они смогли разыскать только с восходом солнца, а до Кунанбая добрались к обеду. Все сторонники Кунанбая находились в это время в Жидебае. Тесные ряды аулов иргизбаев, топаев, жуантаяков и карабатыров заполняли пастбища верст в десять окружностью.

«Жигитеки избили и опозорили Майбасара и Кудайберды и силой увели к себе аул Кулиншака», — эта весть мгновенно облетела все аулы.

Кунанбай отдал срочный приказ. Не успел бы вскипеть чай. как сто

пятьдесят жигитов уже сидели на конях. Во главе их были сам Кунанбай, его названый брат Изгутты и племянник Акберды.

В полдень Кунанбай, который ни на одни день не упускал из виду передвижения аулов жигитеков, отдал новый приказ собравшемуся ополчению:

— Им нужны набеги и насилие— пусть испытают их на себе! Нападите и силою верните вон ту кочевку жигитеков!

И он двинул свой многочисленный отряд на большую кочевку, проходившую по долине Мусакул. Отряд налетел дико, внезапно, не разбираясь, на кого он нападает. Разъяренный Кунанбай тоже долго не раздумывал. «Достаточно того, что это кочевка жигитеков!»— решил он.

Действительно, это была кочевка жигитеков, но та, в которой перевозили траурную юрту Божея.

Вооруженный отряд обрушился на табуны и стада, шедшие впереди, быстро разбил и рассеял всех мужчин кочевавшего аула и угнал лошадей и коров. Иргизбаи хотели увести с собой и караван, но Жакип и Изгутты, скакавшие впереди, поняв, что это кочевка Божея, не посмели напасть и отвели от нее свои отряды. Обе дочери Божея с остриженным конем в поводу продолжали путь со своим заунывным плачем, как будто ничего не замечая вокруг. Только байбише Божея, приостановив коня и задержав верблюдов, обратилась к нападавшим:

— Уа, бессовестные! Напали на траурную кочевку! Чтоб вам выть в ваших могилах, богоотступники!..

Как только Кунанбай узнал, что это кочевка Божея, он сразу же отдал приказ:

— На эту кочевку не нападать! Но пусть она не двигается дальше и ставит юрты там, где находится сейчас!

Кочевка Божея сбилась в кучу, задержалась и начала ставить юрты в долине. Отряд Кунанбая отхлынул обратно.

Новая весть разлетелась по аулам жигитеков: «Кунанбай напал на траурную кочевку Божея!.. Оскорбил память умершего!»

Всю ночь напролет жигитеки готовили оружие и снаряжение, мужчины все до единого сели на коней. Местом сбора был назначен аул Божея. Байсал решился выступить против Кунанбая и собирал отряды котибаков. Суюндик поднял на ноги всех бокенши.

В ту же ночь в Жидебай непрерывным потоком стекалось ополчение Кунанбая. Мусакул находится от Жидебая всего в трех верстах. Долина готовилась стать полем кровопролитной битвы. Кунанбай собрал не только роды, находившиеся поблизости, он разослал нарочных с заводными конями и к самым дальним родам.

То же самое делали Байдалы и Байсал. Они разослали нарочных по аулам Каратая в род Кокше и в многочисленные племена Мирза и Мамай.

Предвидя надвигающиеся события, Байдалы сделал еще один ход: на Кунанбая были составлены приговоры и жалобы, заверенные печатями разных

родов. В них говорилось: «Ага-султан правитель Кунанбай громит аулы, напал на траурную кочевку. Он вовлекает роды Тобыкты в кровопролитные схватки и взаимные убийства». Все это было сделано необычайно быстро. Байдалы вручил приговоры Тусипу, дал ему в сопровождение пятерых жигитов и набил его карманы деньгами. Нарочные взяли с собой несколько заводных лошадей — и Тусип тотчас же тронулся в Каркаралинск.

Теперь Байдалы ничего больше не оставалось, как без колебания идти на открытое столкновение.

Чуть забрезжил рассвет, дружины Кунанбая с криком и барабанным боем стремглав понеслись вперед…

Байдалы, Байсал и Суюндик вскочили на коней и подняли тревогу. Оседланные кони жигитеков уже стояли на привязи, соилы и шокпары были наготове — и отряды бесстрашно ринулись на ряды Кунанбая. Оба войска с поднятыми соплами и пиками наперевес ожесточенно схватились друг с другом и смешались в одну сплошную кучу. В облаках пыли жигиты беспощадно избивали друг друга.

Этот бой. получивший впоследствии название «Мусакульской битвы», долго жил в памяти Тобыкты. Каждая из сторон насчитывала тысячное войско. Кунанбай не имел численного перевеса: его отряды несколько раз бросались на противника и всякий раз были вынуждены откатываться назад. В каждой схватке падало человек десять-пятнадцать раненых. Их убирали с поля тут же.

Первый день жаркого боя прошел с переменным успехом. К вечеру обе стороны отступили.

На следующий день ожесточенная борьба возобновилась, но ни та, ни другая сторона по-прежнему перевеса не имела.

Небывалый бой продолжался уже третьи сутки. В этот день по приказанию Кунанбая сто пятьдесят лучших жигитов пересели на отборных бегунов и, оставив соилы, вооружились только секирами и острыми пиками. Ожесточенное сопротивление жигитеков и их бесстрашие взбесило Кунанбая. В порыве мести Кунанбай неумолимо и твердо решил любым путем добиться победы.

Он начал заманивать врага. Двинув сперва вперед отряды, вооруженные только соилами, он в середине боя стал отводить их назад, изображая отступление, — ему хотелось завлечь лучших жигитов противника.

Его замысел удался. Из войска жигитеков л котибаков скоро выделились кучки, которые наступали с остервенением и упорно преследовали отходившего неприятеля. Среди них мчались все «пять удальцов» Кулиншака, Пушарбай, Кареке. Преследуя иргизбаев, они приблизились к возвышенности, на которой стоял сам Кунанбай. Тот только и ждал этой минуты; он внезапно двинул из засады своих лучших жигитов, вооруженных секирами и пиками, исам помчался вперед вместе с ними.

Под предводительством Изгутты они врезались в ряды противника, обратили его в бегство и понеслись преследовать. Десять отбивавшихся жигитов были заколоты на месте. Сам Изгутты налетел с секирой на Пушарбая. Кареке, пытаясь защитить старика, кинул ся к ним. Изгутты размахнулся и изо всех сил опустил секиру на его голову. Тот увернулся в сторону, и топор, не размозжив ему головы, только отрубил нос. Кровь мгновенно залила все лицо и одежду Кареке, и он на полном скаку полетел с коня на глазах у Пушарбая. Друзья не смогли даже вынести его: им пришлось спасаться самим.

Наступил тот момент боя, который выражался двумя словами: «Враг бежал». Кунанбай рвался вперед, яростно преследуя противника.

Но тут позади жигитеков поднялись тучи пыли. Казалось, что по широкому склону холма хлынуло многочисленное войско.

Лазутчики еще раньше сообщили Кунанбаю: «Жигитеки послали нарочного в род Коныр, ждут войско и из Мамая». Кунанбаю было ясно, что если прибудет Мамай, то жигитеки возьмут верх. В этом была самая большая опасность. И вот, едва он успел отбросить врага, как на холме показалось войско Мамая, смутившее его жигитов. Изгутты и его отряд невольно сдержали своих коней, — судя по облакам пыли, через горы перевалило по меньшей мере человек пятьсот.

Дружины Кунанбая тут же повернули обратно, но отряды жигитеков не проявили особого желания преследовать их. Обе стороны разъехались как раз в то время, когда должен был разгореться самый жаркий бой.

Кунанбай так и не догадался, что был жестоко обманут. Байдалы тоже решил пойти на хитрость: пустив слух о том, что приближаются войска из Коныра и Мамая, он приказал собрать из ближайших аулов всех верблюдов и гнать их по склону, поднимая как можно больше пыли. Грозная толпа, остановившая дружины Кунанбая, была табуном верблюдов.

Кунанбай не подозревал этого и отступил. Байдалы в свою очередь не рискнул преследовать уходящего противника.

Так закончилась трехдневная Мусакульская битва. Кунанбай не сумел сломить противника, а жигитеки доказали свою способность отражать любое нападение Кунанбая и с оружием о руках отстаивать свои права.

Битва кончилась, но слухи, толки, неугомонная молва, горячие споры и бесконечные рассказы носились в воздухе и как пожар охватывали весь край со всех сторон.

Что касается самих главарей, то Байдалы и его друзья стали говорить более уверенным голосом и точно выросли на голову. Приближенные Кунанбая, наоборот, были сдержанны и молчаливы. Они, казалось, застыли в яростном безмолвии. Уже одно это говорило об их неудаче.

Что делать дальше? Как заставить повиноваться тех, кто и впредь осмелится выступить открыто и пожелает помериться силами в схватке?.. Кунанбай

волновался от одной этой мысли.

Прошло десять дней полного затишья, молчания и покоя. Противники Кунанбая торжествовали. «Рухнул утес Кунанбая, дрогнула его сила», — повторяли они. У них шли непрерывные взаимные угощения, для которых не жалели ни коней, ни баранов. Они совершали благодарственные молитвы, завязывали дружбу и в порыве общей радости роднились, сватались и праздновали сговоры.

Род Жигитек торжествовал недаром: на десятый день после отъезда Тусипа прибыло из Каркаралинска пятнадцать вооруженных казаков. Тусип к этому времени тоже успел вернуться к своим. Все решили, что по заявлению рода Жигитек приехал «чиноулык» с вооруженной охраной для допроса Кунанбая.

С отрядом действительно приехал чиновник Чернов, командированный корпусом. Для прибывших, поставили десять юрт между Жидебаем и Мусакулом. В течение трех дней Чернов вел следствие. С самого приезда он стал держать себя с Кунанбаем строго. Вопрос о снятии его с ага-султанства он, видимо, считал уже решенным и хотя открыто этого не говорил, но обращался с ним, как с обыкновенным подследственным. Жигитеки, бокенши, борсаки и котибаки учли это и засыпали чиновника жалобами.

Но сообщники Кунанбая тоже не дремали и платили противнику той же монетой. «Убивали людей! Грабили аулы! Палили пастбища! Доводили беременных до выкидыша!»- самые невероятные жалобы на видных старейшин Жигитека и других родов, действовавших с ним заодно, поступали к Чернову. В этих заявлениях доказывалось, что Кунанбай вел справедливую борьбу с такими преступлениями и что виновные в них мстили ему теперь клеветою. Друзья Кунанбая защищали его всеми правдами и неправдами.

Чиновник не стал выносить заключение на месте. Он только выслушал жалобы обеих сторон и на третий день вечером объявил Кунанбаю:

— Вы поедете с нами в Каркаралинск. Выезжаем рано утром. Собирайтесь.

Это уж действительно пахло бедой.

Выйдя от чиновника, Кунанбай собрал на совет десять самых близких своих друзей и родичей. Среди пожилых были Изгутты, Жакип и Майбасар, из молодых — Кудайберды и Абай.

Совет вел сам Кунанбай. Он сообщил собравшимся о грозящей опасности. Кое-кто из стариков размяк и хотел было прослезиться, но Кунанбай сурово отрезал:

— Нечего реветь! Если ты в силах, дай совет. Помоги!

В такие минуты красноречием и многословием не поможешь. Надо было найти путь для решительных действий. Но никто не указал его. Кунанбай, поняв беспомощность своих друзей, начал сам:

— Дело передается на рассмотрение властей. Теперь все зло — в бумагах, а разве бумага считается с честью, именем, званием? Если сумеете, остановите

дальнейшие жалобы, чтобы они не преследовали меня по пятам. Ничего не жалейте, но остановите! — твердо сказал он.

Что для этого нужно предпринять — ни один из ограниченных и нерешительных родичей сообразить был не в состоянии. Не нашлось ни одного человека, который смог бы нащупать выход. Абай был поражен растерянностью и безволием людей, окружавших его отца. Раньше он избегал говорить и давать советы, но сейчас решился.

— Чтобы остановить жалобы, нужно расположить к себе тех, с кем мы в ссоре, — оказал он.

Кунанбай бросил из него суровый взгляд:

— Уж не предложишь ли ты челом бить?

— Нет, зачем? Но надо вернуть им отнятое и возместить убытки. Иначе они никогда не замолчат.

Кунанбай понял, но он хотел услышать мнение других, а потому выжидательно промолчал.

К совету Абая присоединились все. Но высказывались робко, неопределенно, хотя в конце концов приходили к тому же выводу. Один Изгутты отрезал напрямик:

— Все они — и жигитеки, и бокенши, и котибаки — думают только о пастбищах и зимовьях. Попробуем поделиться землею, больше делать нечего!

По существу такое решение было равносильно тому, чтобы принести повинную роду Жигитек. Гордость Кунанбая жестоко страдала. Он горел в бессильной ярости, но ни звуком себя не выдал: приходилось идти на уступки. «Если их удовлетворит земля и скот, пусть жрут и успокоятся! Ничего не поделаешь, жизнь безжалостна и требует жестокого унижения». — решил он.

Он отпустил собравшихся и оставил у себя только Жакипа, Майбасара и Изгутты, чтобы растолковать им, через кого следует начать переговоры с жигитеками.

Умилостивить врага — нелегкое дело. Идти к самому Байдалы— даже не унижение, а несмываемый позор. А эти недогадливые родичи способны на все. Кунанбай предвидел их беспомощность и сам назвал людей, которые могли бы стать посредниками в переговорах.

Одним из первых он упомянул Байгулака, самого уважаемого человека из молодого поколения. Вторым может быть Каратай из рода Кокше. Он, правда, в ссоре с Кунанбаем, но вступить в ряды вооруженных жигитеков все же отказался. Кунанбай приказал передать Каратаю свой салем: «Если будем живы, встретимся еще не раз. В жизни всякое бывает: и спиной повернешься и дружбы ищешь. Но да будет светлым день нашей встречи! Вот все, чего я желаю!..»

На следующий день Кунанбай без огласки простился со своими друзьями, детьми и женами и отправился в путь. Его сопровождали только пять жигитов.

Самым надежным из них был Мирзахан. Он с малых лет служил жигитом у Кунанбая и до такой степени сроднился с ним, что готов был жизнь за него отдать. В решительную минуту Кунанбай мог положиться только на него.

Какая участь ожидает гордого Кунанбая, никто не знал. Сменят его или оставят на месте — никому не было известно. Одно оставалось бесспорным: самовластный Кунанбай, еще так недавно громивший аулы набегами, был вынужден ехать в округ против своей воли.

Все это было большой радостью для жигитеков, бокенши и котибаков. Они шумно, как долгожданный праздник, проводили эти дни. В общем веселье и скачках принимала участие не только молодежь, но и пожилые люди. Все три рода, давшие общий отпор Кунанбаю, точно срослись за это время, сроднились и жили теперь одним дыханием.

— Больше ему назад не вернуться! — говорили они, упоенные успехом. — Мы его в ссылку загоним, жалобами доконаем, в пропасть свалим! Отомстим за Божея!

Они готовили новые жалобы и приговоры и собирались снова отправлять Тусипа в округ.

В разгар этих приготовлений подоспели Байгулак и Каратай. После долгих переговоров и обсуждений им удалось приостановить поток жалоб. От жигитеков вел переговоры сам Байдалы, и Каратай больше всего напирал на него.

— Если ты решил не останавливаться ни перед чем, мы не можем одобрить тебя. Мы смотрим со стороны. Кунанбаю приходится каяться в своей непримиримости — сейчас для тебя самое удобное время вернуть все. Прими от него землю за убытки своего рода!

Переговоры длились дня три. Все горячо обсуждали предложение Каратая, и наконец оно было принято.

Байдалы поставил свои условия. Он потребовал возвращения пятнадцати зимовий, которые в течение десяти лет Кунанбай одно за другим отобрал у своих соседей хитростью или принуждением. Каждый из четырех родов — Жигитек, Бокенши, Котибак и Торгай — получил по нескольку пастбищ и зимовий.

Но земли достались только знатным старейшинам родов и богатым аулам. Говорили о «возмещении за урон, понесенный всем народом», требовали земли «для блага народа», — а окончился этот шум тем, что пастбища и зимовья достались Байдалы, Байтасу и Суюндику с их друзьями. Остальным аулам заткнули рот небольшим количеством убойного скота, предоставлением во временное пользование лошадей, уступкой бычков и телок. А тяжесть расплаты легла не только на Кунанбая и его богатых старейшин, — ее делил весь род Иргизбай.

Враждующие примирились через десять дней после отъезда Кунанбая.

Отправка жалоб в округ прекратилась. Главари родов, получившие землю и табуны, торжествовали и, празднуя победу, щедро раздавали скот ближайшим родичам. Днем и ночью в жертву создателю и духам предков, оказавшим помощь в трудном деле, кололи несчетное количество баранов. Многолюдные торжественные сборы, праздники с их играми, скачками, песнями не прекращались долгое время. В этом ликовании была уверенность в прочности наступившего благоденствия.

3

С того дня, как вражда прекратилась и жизнь вошла в обычное русло, аулы покинули Жидебай и Мусакул и тронулись кочевкой вниз по склонам Чингиза по своим осенним пастбищам.

Осень стояла на редкость холодная. Пронзительный леденящий ветер, мелкий дождь, тяжело нависшее свинцовое небо — все дышало гнетущим холодом. А когда зимнее дыхание повеет так рано, благоразумнее держаться поближе к зимовью. Заботясь о своей старой свекрови и о детях, Улжан решила дойти в три перегона до Осембая, провести там осеннюю стрижку овец, а потом сразу перебираться на зимовье.

После отъезда отца Абай никуда не выезжал, но до него доходили слухи о торжествах и неудержимом веселье в роде Жигитек. Он знал и о том, что пятнадцать зимовий, уступленных его родом, перешли во владение лишь нескольких старейшин. Немного погодя пришли новые вести: эти самые старейшины не сумели поделить между собою полученных земель, стали тягаться и наконец рассорились. Абая это уже не поражало: он много повидал за этот год.

«Народ стонет… Народ изнемогает от непосильного бремени… Народу тесно!»— говорили старейшины. Почему же они не поделились с народом?.. Эти главари родов будто бы боролись за честь Божея, но чего же стоила эта честь, если ее оказалось возможным променять на землю и зимовки?.. Абай много думал, и мысли терзали его: ему было стыдно за этих людей. Он убедился, что все раздоры и ссоры продолжались до тех пор, пока главари родов не набили себе брюха. А как только их алчность была удовлетворена, все было забыто.

Эта осень открыла перед Абаем истинное лицо биев и аксакалов, которое они так старательно скрывали. Когда раньше эти люди называли его отца насильником, казалось, что они действительно думают о народе. «Кунанбай обирает бедноту, отнимает земли народа, ввергает в слезы неимущих», — твердили они. Но почему же теперь, когда сила оказалась — в их руках, они сами так же обманывают и грабят народ? Почему вместо того, чтобы вернуть народу отнятое у него Кунанбаем, они сами норовят обобрать его еще больше?

Получалось так, что добычу одного Кунанбая поделили между собой пять кунанбайчиков… Шли против него за память Божея, а сломив его, продали ее за полученные зимовья…

Думая над этим, Абай понял, как обманут народ и как вместе с ним обманут и он сам. «Ворон ворону глаз не выклюет, — видно, о таких своих попечителях и говорит народ», — размышлял Абай. Нет, не из среды старейшин, которые сегодня против Кунанбая, а завтра вместе с ним выйдет настоящий заступник народа… Народ должен выдвинуть его из людей совсем другого склада…

Однажды вечером после верховой прогулки он, по обыкновению, зашел к матерям и в присутствии Габитхана, Такежана, Оспана и нескольких чабанов взялся за домбру. Он играл с особенным воодушевлением, а под конец спел едкую, полную колких словечек песню. Эта песня высмеивала Байдалы и Байсала, получивших наконец свои земли обратно и тут же перессорившихся из-за них. Она была сложена хлестко и проникнута язвительной, уничтожающей насмешкой.

Песня понравилась всем, ее прослушали с веселым смехом.

— Чья это песня? — спросила Улжан. Абай ответил невозмутимым тоном.

— Байкокше. Это он сложил, — назвал он акына, приезжавшего когда-то к ним вместе с Барласом.

Всю осень, особенно после переезда на зимовку, Абай все чаще поверял домбре свои чувства и мысли и играл мелодичные кюи[90] и трогательные песни. Он встретил старых домбраши, побывавших на испытании у знаменитых Биткенбая и Таттимбета. Учась играть на домбре. Абай порой пел шутливые, язвительные песни, которые неизменно приписывал Байкокше.

Когда аул прикочевал на зимовье. Абай снова часами стал просиживать над книгами. Начитавшись стихов Бабура, Навои и Аллаяра, он брался за бумагу и карандаш и начинал писать, подражая им.

Любовь, возлюбленная — вот что привлекало теперь Абая больше всего. Жизнь еще не познакомила его с чувством, о котором он так много знал из книг, любовь не сказала ему ни одной из своих сладких тайн, но сердцем и мыслью он рвался к ней и знал, что она зовет его. И его память обжигало теплое дыхание прекрасного, единственного существа, навеки овладевшего его душою… Тогжан… Тогжан, далекая, оторванная от него кровавыми боями и схватками!.. Точно горы и пропасти легли между ними… Как часто Абай думал о ней! Робкие, нежные песни сердца, сложенные им этой зимой, все были посвящены ей. В течение зимы он написал небольшой сборник песен под названием «Первые звуки — твоему лучезарному лику» и закончил давно начатые стихи: «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви». Иногда под тихий аккомпанемент домбры он пел их Такежану и Габитхану.

Изредка он ездил охотиться на зайцев с рыжей черномордой гончей. Раз или два он ездил в Карашокы, в аул Кунке, погостил у своего брата Кудайберды.

Кудайберды женился рано, этой зимой у него родился уже четвертый сын.

Аул Кунке раньше других получал вести о Кунанбае. Совет ага-султана находился прежде здесь, в ауле байбише. На склонах Чингиза расположено много аулов рода Иргизбай и других, поэтому всякая новость прежде всего попадает именно сюда. И когда дома начинали особенно волноваться об отце, Абай приезжал в Карашокы, чтобы узнать новости.

В эти приезды ему не раз приходилось выслушивать несправедливые попреки Кунке. С тех пор как Кунанбай уехал, она не переставала обвинять Улжан, не стесняясь даже Абая:

— Улжан, наверное, и думать забыла о мирзе!.. Если бы она болела за него душой, она собирала бы родичей и близких, не давала бы опустеть Большой юрте! А то — кочует отдельно, сидит со своим аулом в Жидебае одна… Что ей дела мужа? Она заботится только о себе. И хлопоты и расходы ложатся на нас одних! Все бремя на нас взвалила!

Действительно, Улжан редко собирала аткаминеров в свой аул. А в Карашокы, в окружении многочисленных аулов, у Кунке, естественно, постоянно бывали гости. Волей-неволей приходилось резать скот для гостей. Расходы росли. И чем больше Кунке терпела убытков, тем больше злилась на Улжан и тем чаще поносила ее перед родичами, соседками, стариками и даже перед детьми.

В пререкания с нею Абай не вступал. Все, что она говорила, он выслушивал равнодушно и безучастно и старался как можно скорее забыть. Кудайберды никак ее не поддерживал, не повторял злых сплетен матери и радушно встречал Абая, как самый близкий, родной человек.

Ни разу Абай не передал Улжан обидных слов Кунке, но после каждой поездки в Карашокы он старался выбрать минуту, когда никого не было дома, и долго советовался с бабушкой. Выслушав обвинения Кунке, старушка говорила:

— Не обращай внимания на ее слова. И без нее каждый сам знает, как ему жить и вести себя. В ней говорит чувство соперницы. Разве такие, как Кунке и Айгыз, когда-нибудь уймутся? Не передавай этого матери, а их я проучу сама!

Действительно, Зере вызвала к себе Изгутты и отправила его к Кунке со строгим приказанием: пусть она прекратит распускать сплетни, пусть лучше займется заботой о близких и родичах своего мужа, а пустые пересуды бросит.

Возвращения Кунанбая пришлось ожидать долго. Байдалы, Байсал и их друзья давно уже успели обосноваться на пятнадцати зимовках, полученных ими от Кунанбая и служивших когда-то предметом жарких споров. Осень прошла незаметно. Зима тоже перевалила за половину, а Кунанбай все еще не возвращался. Каждый месяц он присылал очередного жигита за убойным скотом и через посланного передавал различные хозяйственные распоряжения и сообщал о своем здоровье и делах.

Из всех его сообщений о себе только одно было определенным и ясным: как только он прибыл в Каркаралинск, он сразу же лишился своего ага-султанства. Скоро ли удастся уладить дело? Кто знает!.. Ведут следствие и не разрешают ему возвращаться домой. Это было все, что он кратко сообщил о себе.

Действительно, в Каркаралинске был избран новый ага-султан — Кусбек, потомок тюре Бокея. Кусбек и раньше занимал эту должность, но был вынужден уступить ее. С первого же дня возвращения к власти он повел себя по отношению к Кунанбаю недоброжелательно, мстя ему за свое поражение на прошлых выборах. Через Баймурына он усиленно поддерживал сторонников Божея.

Ага-султаны сменились, но майор оставался тот же. Теперь и он косо поглядывал на Кунанбая. Сообща с Кусбеком они с самой осени затягивали дело и скрытно от Кунанбая переписывались с корпусом, стараясь добиться того, чтобы суд происходил в Омске. Если только удастся передать дело туда, можно почти ручаться, что Кунанбай будет сослан.

Но эта тайная стряпня не укрылась от Кунанбая, и он сразу же привлек к делу наиболее влиятельных и сочувствующих ему людей, в первую очередь Алшинбая.

Стоило только вмешаться Алшинбаю, как Кусбек начал постепенно отходить в сторону и облегчать ход следствия. Но некоторые жалобы уже успели попасть в Омск. Прибывший оттуда чиновник оказался достаточно прожорливым, и теперь приходилось считаться не только с майором. Расположить их к себе и добиться прекращения дела было поручено Алшинбаю. Для этого требовались бешеные взятки и богатые подарки, а Кунанбай и Алшинбай уже нуждались в деньгах.

В половине зимы в Каркаралинск приехал крупный семипалатинский купец Тинибай. Целая вереница ямщиков везла за ним тюки мануфактуры и других ценных товаров. Он приехал для скупки шкур.

В его торговле Кунанбаи и Алшинбай были всегда большой опорой. Для выгодного размещения мануфактуры в долг, под залог скота, купец всегда должен пользоваться поддержкой главарей племен и местных правителей. Тогда впоследствии за овцу он может получить бычка, за бычка — вола, а за ягненка — овцу: старейшины и правители сумеют взыскать недоимки. Еще в прошлом году Тинибай настоятельно просил Кунанбая породниться с ним. Кунанбай счел для себя унизительным отдать свою дочь за городского купца. Он боялся сплетен и пересудов, — выдал, мол, дочку за незнатного, продал за деньги, за богатство. Но определенного ответа он Тинибаю не дал и надежды у него не отнял.

Теперь Тинибай возобновил свое сватовство как раз тогда, когда Кунанбай испытывал острую нужду в деньгах. В переговорах участвовал Алшинбай, и дело кончилось сговором: свою младшую дочь от Улжан — Макиш,

воспитывавшуюся в ауле Кунке, — Кунанбай именем божьим обещал в жены сыну Тинибая. Купец открыл свату кошелек, и майор быстро пошел на уступки. Но Кунанбая беспокоило, пойдет ли на подкуп прибывший из Омска чиновник Чернов. Два вечера подряд Алшинбай и переводчик Каска угощали и обхаживали Чернова и наконец принесли радостную весть. Алшинбай вошел к Кунанбаю с сияющим лицом:

— Я тоже боялся, что в этом чиновнике — смертельный капкан для тебя… Дай ему бог здоровья: он оказался человеком прожорливым — только успевай подносить! Зажмурит глаза — и знай себе гложет и гложет без остановки… Что ни дай — ничем не брезгает. Ему даже свежего мяса не нужно: можно подсовывать и шерсть, и волосы, и всякий хлам — только облизывается!

Дела Кунанбая начали поправляться, оставалось лишь задержать переписку и уничтожить бумаги, но из Омска вдруг грянуло распоряжение: на основании ранее полученных материалов корпус предлагал майору отправить Кунанбая со всем делом в Омск. Каркаралинские чиновники, уже порядком наглотавшиеся взяток, растерялись. О невыполнении приказа корпуса не могло быть и речи…

Кунанбай спешно отправил нарочного в свой аул. Когда там услышали об отправке в Омск, все в один голос решили, что Кунанбай будет осужден и сослан. А жигитеки и бокенши говорили, что Кунанбай уже приговорен и что его ссылают не то на дальний север, где ездят на собаках, не то на гору Каф.[91]

В своем салеме родным Кунанбай просил за него не тревожиться и особенно успокоить его старую мать. «В Омск съездить придется, но все должно кончиться благополучно», — сообщал он. Но, несмотря на это, Зере овладела немая печаль. Она стала чаще вздыхать и молиться. Временами, сама того не замечая, она среди молитвы громко говорила вслух: «Один он у меня был… один… единственный, несчастный…»— и этими немногими словами выдавала все, что непосильной тяжестью давило ее душу.

Обсудив распоряжение корпуса, Алшинбай, майор, Чернов и Тинибай решили, что уклоняться от поездки в Омск Кунанбаю не следует. Майор тотчас выслал вперед «почту с пером»,[92] кратко сообщая в корпус: «Выезжаем». Следом за ней должны были двинуться Кунанбай и майор со всеми материалами: он решил ехать сам и добиваться прекращения дела.

Вскоре Кунанбай тронулся в путь. В поездку были взяты и лучшие кони, и теплые уютные сани, и провиант на дорогу, и запасная упряжка. Набив деньгами карманы и голенища, Кунанбай выехал в сопровождении двух жигитов и верного Мирзахана.

С самого отъезда из Каркаралинска Кунанбая никак не переставало мучить сомнение. Он не доверял «вареной голове», несмотря на принятые тем богатые взятки и данные в ответ добрые обещания, и перед отъездом настойчиво просил Алшинбая и Тинибая: «Следите за майыром. Разрешите все вопросы до конца и пришлите мне вдогонку человека с сообщением…»

Через три дни после отъезда Кунанбая догнал в пути жигит Алшинбая. День был морозный, но солнечный. Жигит прискакал с заводным конем в поводу. Пышные гривы обоих буланых жеребцов, волнами струящиеся вниз, длинные челки и блестящие хвосты были покрыты серебром инея. От взмыленных коней валил пар — нарочный летел, не жалея их.

Жигит помог Кунанбаю сойти с саней, отвел его в сторону, вполголоса передал ему поручение Алшинбая, потом пожелал счастливого пути, распрощался с путешественниками, и тройка Кунанбая помчалась дальше.

Кунанбай поделился новостями с одним Мирзаханом:

— Алшинбай передал: ждите майыра в Павлодаре, задержитесь там и дальше поедете вместе.

— Выходит, он не собирается менять своего слова? — спросил Мирэахан.

— Не должен… Зачем ему идти на измену? — ответил Кунанбай и замолчал. Потом он добавил — Мы ведь и сами можем прижать его. Скажу в свое время…

Мирзахан не переставал недоумевать: если «вареная голова» верен своему слову, — зачем же он все-таки отправил Кунанбая в Омск?

Но Кунанбай объяснил спокойно:

— Так нужно! Он должен показать перед всеми, что по первому же распоряжению корпуса он и меня отправил в Омск и сам выехал туда. Важно оправдаться, а что значит поездка? Омск недалеко, рукой подать.

В Павлодаре, где Кунанбай прождал четверо суток, «вареная голова» действительно нагнал их. В первый же вечер он пригласил Кунанбая к себе. Кунанбай явился с одним только Мирзаханом.

Майор остановился у своего приятеля — русского купца Сергея, гостеприимного, дружившего с казахами. Он принял Кунанбая и Мирзахана без хозяина, в отдельной, богато обставленной комнате. Он уже свободно говорил по-казахски, хотя в Каркаралинске все еще держал переводчика.

— Ну, Кунанбай Оскенбаевич, тебе, наверное, не терпится посмотреть бумаги с обвинениями против тебя? Так, что ли? — обратился он к Кунанбаю.

— Покажи! Все до единой покажи!

— Что ж, покажу, обманывать не буду! Дал слово Алшинбаю, значит, покажу! — сказал майор.

Он запер дверь на крючок и вытащил из дорожной сумки целую кипу бумаг, сшитых в толстые книги. Кунанбай, следя за ним, зябко потер ладони и спросил:

— Что у тебя так холодно, майыр? Я совсем озяб, вели-ка затопить!..

Майор внимательно посмотрел на него, позвал слугу и приказал затопить печь. Слуга быстро притащил охапку дров, заложил в печь и затопил. Майор достал две бутылки коньяку, расставил закуски, предложил выпить Кунанбаю и сам поднял рюмку.

Кунанбай угостил и Мирзахана. Он не переставал уговаривать майора выпить еще и продолжал беседу. Огонь в печке разгорался все сильнее, — уже жарко пылали ярко-алые угли. Майор основательно выпил и охмелел.

Кунанбай, ткнув пальцем в кипу бумаг, лежащих на столе, обратился к нему:

— Майыр, мы достаточно долго работали вместе. И гостили друг у друга и делились всем между собой. Открой мне их все! Пусть это будет знаком нашей крепкой, нерушимой дружбы!

— Больше ничего нет, Оскенбаевич, — ответил майор. — видит бог, нет! Вот — все, что есть! Больше ни клочка!

Кунанбай поднялся с места, зашел за кресло майора, наклонился над бумагами — и вдруг охватил майора сзади, скрутил ему руки назад и крикнул Мирзахану:

— Живо, Мирзахан! Кидай все бумаги в печку!

Майор начал рваться и всеми силами пытался освободиться, но Кунанбай еще с молодых лет славился ловкостью и до сих пор отличался большой силой. Он не давал майору двинуться с места.

Мирзахан уже успел швырнуть кипу бумаг в пылающую пасть печи. Майор, поняв свое бессилие, принялся умолять Кунанбая:

— Довольно, Оскенбаевич, перестань! Ведь это же казенные дела! Что ты делаешь?.. Как же мне теперь быть?

Через несколько минут от бумаг осталась только куча пепла. Мирзахан и Кунанбай закрыли печь и переглянулись молчаливой улыбкой. Майора окончательно развезло: он сидел в кресле, закрыв глаза и развалившись; казалось, он крепко уснул…

В ту же ночь Кунанбай выехал из Павлодара и двинулся дальше.

Как только гости вышли из комнаты, майор вскочил с места, — он был совершенно трезв. Покачав головой, он выпил еще несхолько рюмок коньяку и позвал хозяина дома.

Сергей — надежный друг. Они обо всем договорились. Выйдя неслышно во двор, они подожгли один из небольших сарайчиков. В этом сарае стояли сани, на которых приехал майор, а в санях заранее были свалены старые кошмы и ворох бумаг. В одну минуту все было охвачено пламенем…

Слабый дымок маленького пожара не впервые окутывал полным мраком ловкие проделки майора. Со стороны Сергея это была услуга за услугу: в прошлом году Сергей присвоил казенные товары и обанкротился, майор точно таким образом устроил ему «пожар», а затем составил акт, заверил печатью и спас Сергея от беды. Сегодняшний «пожар» был просто отплатой за прошлогоднюю услугу.

Утром Сергей без труда спелся с прожорливым городским начальством, — вызвали положенных свидетелей и составили акт, в котором было указано, что все дела сгорели во время пожара в доме Сергея.

На шестой день пути Кунанбай и майор с актом в кармане, порознь друг от друга, прибыли в Омск.

В течение двух недель канцелярия корпуса вела следствие над Кунанбаем. После нескольких коротких допросов Кунанбая признали невиновным, он был полностью оправдан. Майор, спокойно закончив свои дела, поехал к себе в округ.

Едва Кунанбай, оправданный таким своеобразным способом, вернулся в Каркаралинск, в Тобыкты один за другим понеслись верховые — каждому хотелось доставить радостную весть и получить суюнши.[93] Кунанбай не торопился в аул. Он надолго задержался в Каркаралинске.

Описывая подробности поездки в Омск людям Алшинбая и другим надежным друзьям, Мирзахан не щадил красок. По его рассказам выходило, что майор был настроен очень враждебно; он будто бы угрожал Кунанбаю собранными материалами, ссылался на закон. «Вот чем уничтожу!.. Вот чем с липа земли сотру!.. Как ты из этого выпутаешься?»— высокомерно говорил он и со злорадством развертывал перед Кунанбаем одну бумагу за другою. Изображая майора злым и властным, Мирзахан одновременно делал его каким-то ротозеем, простофилей. Но не было ни одного слушателя, который усомнился бы в правдивости его рассказов, — все принимали их за чистую монету. Мирзахан всячески подчеркивал «непоколебимую храбрость», «ловкость и находчивость» Кунанбая. С посланными верховыми сказки Мирзахана доходили и до аулов Кунанбая, раздутые и приукрашенные.

Кунанбай, снова примирившись с майором и всеми каркаралинскими чиновниками, пробыл в городе до самой весны. Он хлопотал о предоставлении ему должности, но теперь уже не мог и мечтать об ага-султанстве.

Когда растаял снег и первая зелень покрыла обсыхающую землю, Кунанбай покинул Каркаралинск и поехал в аул в должности волостного Тобыкты, сместив Майбасара и получив назначение на его место.

Не успел он еще выехать из Каркаралинска, как эта весть долетела до его аулов.

4

Странное чувство владело Абаем этой весной. Оно делало его равнодушным к окружающей суете и шуму, к радостям и печалям близких людей. Он весь — и мыслью и чувством — погрузился а новый, одному ему доступный мир. И домбра и бумага послушно повторяли горячие, прочувствованные слова его песен и стихов — откровенные признания молодого взволнованного сердца. Но как много еще осталось невысказанным, как много песен было еще не спето! Тайны сердца рассказаны не все. А сказанное — так бедно и скудно… О, если бы нашелся друг, который захотел бы заглянуть в его смятенное сердце и

прислушаться к его голосу, — он излил бы ему в напевах не передаваемую словами тоску, наполняющую его душу!..

— Боже мой, что же мне делать? Слова бедны, язык бессилен… — грустно говорил он. Невозможность передать словами все, что теснилось в его сердце, угнетала его.

Все стихи, сочиненные, записанные им, до сих пор жили только в нем самом. Ни одна песня не дошла до той, для кого он слагал их. Надежда? Надежды тоже не было. Ему оставалась лишь одинокая, грустная мечта.

По временам где-то далеко-далеко ему слышался серебряный звон шолпы… Звон то приближался, то отдалялся. Слабый отзвук надежды трепетал в этом звоне и томил душу… Мечта? Нежные золотистые лучи ее горели там, далеко, куда не достигал его взгляд… Там был рассвет, утро, яркое утро… Незабываемый образ не покидал его ни на мгновение.

Чуть только дохнуло теплом и яркие лучи солнца с материнской нежностью начали обогревать землю. Абай не мог усидеть дома: он седлал коня и уезжал куда придется. Нашелся и предлог для этих бесцельных поездок — рыжая черномордая гончая.

Отъехав от аула. Абай пускал коня вскачь: пусть пес сам разыскивает зайца… Вскоре Абай и вовсе забывал про собаку. Иногда он надолго терял ее. Вспомнит внезапно — начнет громко звать. Порой гончая вспугнет зайца в зарослях, летит за ним стрелой по равнине, а Абай безучастно смотрит на них пустым взглядом, отсутствующий и равнодушный.

Случалось даже, что он проезжал мимо гончей, когда она, поймав зайца, придавит его и с гордым видом ждет хозяина. Гончая знала, что в таких случаях хозяин спрыгивает с седла и отнимает у нее добычу, но Абай проезжал мимо. Собака смотрела вслед в полном недоумении, потом начинала метаться и лаять. Хозяина не останавливало и это, — совершенно непонятная вещь!.. Гончая суетилась, кидалась то к хозяину, то к зайцу, в обиде на то, что труд ее пропал даром, но и тогда Абай не замечал. И гончая, потеряв терпение, расправлялась по-своему: она отставала от хозяина, терзала зайца, наедалась до отвала и с окровавленной мордой догоняла Абая. Только тогда странный охотник замечал свою оплошность.

Но нить мыслей а нем не прерывалась. Он начинал петь длинную трогательную песню — дар сердца ей, Тогжан.

Когда прохладный ветер, колебля высохшие травинки, дул ему навстречу, Абай снимал свой малахай и, стоя на месте, с наслаждением вдыхал свежий аромат. Быть может, ему казалось, что ветер, летящий с Чингиза, Верблюжьих горбов и Караула, доносит до него дорогое теплое дыхание? Не этот ли ветер облагораживал его душу своим дуновением? Да, Абай был уверен, что это так! Действительность и грезы, жизнь и мечты, ломая все извечные грани, сливались в нем в одно неразделимое прекрасное целое, наполняя сердце

несказанным волнением.

Но однажды одиночество его было внезапно нарушено: к нему подъехал всадник. Он точно вырос из-под земли в безлюдной степи. Абай вздрогнул — чудесный сон был прерван.

Они стояли на открытом месте, впереди расстилалась голая равнина. Абай мельком взглянул на всадника и недружелюбно отвернулся. Но тот весело улыбнулся ему и приблизился просто и уверенно, как хороший знакомый. Он окликнул Абая по имени и поздоровался. Теперь Абай узнал его, обрадовался и весь вспыхнул.

Перед ним был Ербол, жигит, с которым он познакомился в прошлом году, возвращаясь от Суюндика. Абай испугался, что выдал себя.

Но Ербол, видимо, ничего не заметил.

— Охотишься? — спросил он. — А где же твоя собака?

— Где-то здесь, в кустах, — ответил Абай, оглядываясь кругом. Рыжая гончая выбежала из кустов. Ербол взглянул на нее и расхохотался.

— Хорош охотник! Ведь она только что наелась! Ой, боже мой. что она такое сожрала? — И Ербол осмотрел собаку со всех сторон. — Ты даже не знаешь, что она поймала дичь! Она же сожрала свою добычу!

Абай постарался перевести разговор на другое. Ему не хотелось отпускать приятеля; они поехали вместе, и Абай пригласил его к себе в аул. Ербол был свободен и согласился охотно.

Абай не отпускал его от себя целых пять суток. Они рассказывали друг другу занятные истории, по вечерам пели и веселились. Абай пел ему и свои собственные песни. За эти несколько дней Ербол стал самым близким его другом. Абай раскрыл ему тайну своего сердца.

— Передай эти песни Тогжан, — просил он.

Ербол выучил наизусть все песни Абая и, дав своему другу слово, что передаст их Тогжан, уехал к себе.

Абай мечтал только об одном — как бы увидеться с Тогжан наедине и хоть несколькими словами перекинуться с нею. Его поручение было выполнено: через трое суток, показавшихся Абаю бесконечными, Ербол вернулся в Жидебай и увел своего друга в Чингиз, прямо в Верблюжьи горбы.

Оказалось, Ербол начал с того, что посвятил во все Карашаш — невестку Тогжан, жену Асылбека. Он пересказал ей все песни, которые Абай посылал своей любимой как салем. Невестка была очень дружна с Тогжан. Сперва она наотрез отказалась быть посредницей в свидании, но песни Абая подействовали и на нее, да и Ербол был необычно красноречив, настойчив и умел добиться своего. Вдвоем они пересказали Тогжан все песни Абая, и она согласилась встретиться с ним.

Взволнованный и нетерпеливый, Абай даже не заметил, как они доехали до Верблюжьих горбов. Когда начало смеркаться, оба жигита добрались до аула

Ербола, расположенного в кольце гор.

Маленькое зимовье состояло из одного жилья Ербола. Оно находилось по эту сторону реки Караул. Зимовье Суюндика было расположено по другую сторону реки, в версте от берега, и было отсюда хорошо видно. Там во всем чувствовался достаток. Из труб зимних построек Суюндика валил густой черный дым; сытые псы лаяли с каким-то спокойным достоинством. Аул был богат.

Но вход туда был недоступен для Абая. Он — сын Кунанбая, с которым аул враждовал. Если там узнают о цели его приезда. Абаю не поздоровится. Адильбек и Асылбек — гордые и мстительные жигиты. Узнай они о его намерениях — они пришли бы в ярость. Поэтому оба друга до самого наступления ночи не переходили на тот берег.

В условленное время, когда стало совсем темно. Абай и Ербол, оставив своих коней, пешком перешли по льду на ту сторону. Аул Суюндика был погружен в сон. Собаки мирно спали.

Ербол тихонько открыл ворота скотного двора, ввел Абая в верблюжий сарай, а сам вышел. Абай остался в темноте один. Он боялся дохнуть и ясно слышал стук собственного сердца.

Ербол вернулся скоро. Он схватил друга за руку и прошептал ему:

— Сам бог помог… Асылбека нет сегодня дома! Идем!

Когда Абай с учтивым салемом переступил порог богато обставленной комнаты, Карашаш стояла возле кровати, а Тогжан сидела на полу на разостланном одеяле. Пол от самого порога до переднего места был устлан ковром, а стены завешаны пестрыми кошмами и шелковыми покрывалами. Белая шелковая занавеска наполовину отгораживала высокую кровать с костяными украшениями.

Абай поздоровался. Карашаш учтиво подошла к нему, сняла с него малахай и развязала пояс.

Тогжан была сильно смущена. Она еле слышно ответила на приветствие Абая и вся залилась румянцем, но румянец поминутно сменялся бледностью. Горячая кровь, не умеющая хранить тайны, выдает все, что скрывает душа, — волнение сердца, стыд, боязнь и надежду.

Ерболу не хотелось стеснять друзей.

— Ну, я пойду на тот берег и буду возле коней, — сказал он. Абай в знак согласия только молча кивнул головой. Карашаш вышла приготовить чай. Больше она не возвращалась. Оставшись наедине с любимой. Абай в первую минуту совсем растерялся. Он видел, что и Тогжан застенчива и стыдлива, как дитя. Абай молчал, не зная что сказать. Он наклонился к Тогжан и долго смотрел на нее, не сводя глаз.

— Тогжан… Ты слышала мой салем? — спросил он наконец. — Его слова рождены тоской по тебе, думами о тебе… Ты выслушала их?

Тогжан всем своим видом, казалось, говорила: «Зачем же тогда я здесь? Не твой ли голос привел меня к тебе?» Она скромно улыбнулась и ответила:

— Слышала, Абай! Ваши песни очень хороши!

— Я не акын… Но с первой же встречи с тобою я не могу прийти в себя. С тех пор я ни на миг не мог забыть тебя.

— Почему же вы ни разу не приезжали с тех пор?

— Как я мог приехать? Разве ты не знаешь, что происходит вокруг? Мы могли видеться только в мечтах!

— Правда, — сказала Тогжан, вспыхнула и потупилась. — А я вас раз видела… Видела во время кочевки… Заметили вы меня или нет — не знаю.

Абая взволновали и обрадовали эти слова.

— Боже мой, Тогжан, как прекрасно то, что ты сказала!.. Я тогда хотел крикнуть: «Постой, остановись хоть на миг!»— и еле удержался. Я решил, что ты меня не заметила… А если заметила — значит, я оказался достойным твоего внимания… Да разве можно забыть тебя, Тогжан? — И Абай, подойдя к ней, взял ее нежную белую руку.

Тогжан вздрогнула и застенчиво убрала руку.

Долгий вечер связал два молодых сердца крепкими узами. Они ничего не требовали друг от друга: только видеться, только говорить… Это было их первое свидание. Разговор не прерывался, — казалось, словами они утоляли давнюю жажду и не могли напиться.

Карашаш вернулась лишь под утро. Когда она, приготовив чай, опять вышла, Абай подошел к Тогжан и поцеловал ее. Тогжан вся вспыхнула и, робко прижав свои нежные ладони к его лицу, осторожно отстранила его. Но разве это было сопротивление, а не обаятельная стыдливость? Абай порывисто притянул ее к себе, крепко обнял и поцеловал в глаза. Тогжан, затрепетав, на мгновение прижала свое пылающее лицо к лицу Абая — и опять отстранилась от него.

— Лучезарный свет мой! — воскликнул Абай, снова раскрывая объятия.

В комнату вошла Карашаш.

— О боже, Абай, дорогой мой! Река тронулась! На Карауле — ледоход!.. Где твой конь? — тревожно спросила она.

Ее взволнованные слова не доходили до сознания Абая — слишком сильно было его волнение; но Тогжан растерялась и испугалась.

— Что ты говоришь? Как же вы теперь переберетесь через реку? Вам нельзя оставаться на этой стороне! — заговорила она, дрожа за любимого.

Абай наконец понял. Конь на той стороне — значит, выхода нет. Остаться в ауле невозможно. Еще немного — и он будет обнаружен. А если даже его не схватят сейчас, то утром все равно заметят его на реке, а на этом берегу вряд ли найдется человек, который благожелательно отнесся бы к нему… Но прежде всего надо уйти отсюда, чтобы не вмешивать в события Тогжан и ее женге, которая так приветливо встретила его…

Он быстро оделся и, прощаясь, крепко сжал ручку Тогжан, ободряя ее:

— Не бойся, Тогжан, переправлюсь как-нибудь! Жди обо мне вестей от Ербола!

Тогжан прикоснулась своими белыми пальцами к груди Абая прижалась к нему и прошептала:

— До свиданья! Не забывай!

Обходительная, милая Карашаш проводила Абая через темные сени до выхода.

— Ну, дорогой мой, — сказала она ему, — недолго нам удалось побыть вместе. Но ты мог убедиться, что здесь у тебя друзья, которые дышат одним дыханием с тобою… Не забывай нас!.. Только осторожней переправляйся через реку! Хош!

Абай взял ее за обе руки:

— Женешетай,[94] никогда не забуду! Умру — не забуду всего, что вы сделали для меня, — ответил он и не спеша вышел.

Дикий рев ледохода донесся до его слуха, но Абай, казалось, не слышал его. Мысли его были все еще там, с этими удивительными людьми, с которыми он только что простился. Он жил неизъяснимой радостью и задыхался, переполненный их красотой и светом, вспоминая трогательную чуткость Карашаш и нежную обаятельную Тогжан.

Он подошел к самой воде. Бурлящие потоки горной реки, разлившись, хлынули из берегов. Грохотали камни, трещали льдины — и все уносилось стремительным течением.

Абай долго стоял, не зная, как быть дальше. О переходе вброд нечего было и думать. Уже занималось утро. Он направился вдоль по берегу и дошел до небольшой рощи. Метнулся вперед, вернулся назад — выхода не было. Он терял время, а утро приближалось, — все кругом уже можно было различить отчетливо. Как только в ауле проснутся, все сразу повалят на берег любоваться ледоходом. Первыми выйдут заботливые, хозяйственные старики. И возле аула Суюндика они обнаружат сына Кунанбая, да еще пешего. Их подозрения могут оказаться гибельными для Абая.

И все-таки Абай не испугался. Радость, наполнявшая сердце, ни на минуту не покидала его, и страха он не испытывал. Перед лицом опасности он не растерялся, не стал суетиться: спокойствие и самообладание ни на минуту не оставляло его, как будто он был не юношей, а зрелым, уверенным в себе человеком.

Ему удалось кое-как спрятаться в реденьком лозняке. Оттуда он стал наблюдать за зимовьем Ербола. Вскоре он заметил человека, торопливо шагавшего к реке несколько выше лозняка.

— Ербол! Эй, Ербол! — крикнул Абай.

Да, это был Ербол. Он круто повернулся на голос Абая и сделал резкий знак

рукой вниз: «Присядь!» Но Абай не сел, он оставался в ожидании.

Хоть Караул и узок, но течение его быстро. Ербол подбежал к противоположному берегу бледный как полотно. Он был так растерян, будто несчастье случилось с ним самим. Он дрожал за Абая и думал, что тот остановился неподвижно тоже от растерянности и ужаса.

Но Абай прошел по берегу и, став прямо против товарища, рассмеялся, показывая свои белые зубы.

— Ну, выручай! Караул решил предать меня! — крикнул он. Ербол в один прыжок соскочил с крутого берега и, подойдя к самой воде, крикнул Абаю:

— Стой в кустах, никуда не уходи! Я сейчас вернусь, не бойся! Он убежал и через несколько минут вернулся на огромном красном воле. Абай был поражен: почему его товарищ не оседлал коня? Ербол подъехал к самой реке и, понукая вола, спустился в воду. Но вол не желал идти в ледяной поток и упрямо крутился на месте.

Ербол осилил. Попав в воду, вол уже не стал пятиться и двинулся вперед. Место было неглубокое, но река текла со стремительной быстротой, и лед шел сплошной массой. Вол пробирался я ледяном водовороте медленно, но прямо. Ербол выбросил на берег конец длинного повода. Абай на лету схватил его и начал тянуть к себе. Под ударами плети вол выбрался на берег.

Ербол показал себя настоящим другом, — он шел на помощь, подвергая опасности собственную жизнь. Абай кинулся обнимать его.

— А где же мой конь? Что это за вол у тебя? Почему ты сам не на коне? — засыпал он друга вопросами.

— Если б я бегал за конем в аул, тебя давно словили бы, — рассмеялся Ербол. — Обойдемся и без него!..

Оба друга сели на вола и повернули обратно. Но теперь вол никак не хотел лезть в воду. Промучившись с ним и перебрав его предков до семьдесят седьмого колена, Ербол бросил вола и огляделся вокруг сквозь жидкие кусты лозняка. Небо на востоке стало уже багрово-алым, все было видно ясно, как днем. На счастье, аул еще не просыпался.

Внезапно Ербол бросился бежать.

Абаю не пришлось ожидать его долго — Ербол примчался на крепкой темно-серой кобыле.

— Ого! Откуда ты ее взял? — спросил Абай.

Паслась рядом… Это кобыла чабана из аула Суюндика.

— А как же чабан?

— Какое тебе до него дело?

— Ну как теперь ему быть с овцами? Пешему-то!

— Ай, боже мой, ну и пусть остается пешим, да не только он, а сам дух-покровитель его стад! Разве я могу оставить тебя здесь? Садись живей!

Быстрым движением он посадил друга на неоседланную кобылу. Его слова

тронули Абая.

— Ербол, дорогой! Какой ты хороший! Ты — лучший из друзей! Никогда я этого не забуду! — воскликнул он.

Ербол тем временем взобрался на вола, подал Абаю повод и крикнул:

— Брось болтать. Абай! Трогайся!

Фыркая и скользя, кобыла спотыкалась в ледяном потоке, но упорно удерживалась на ногах. Вол побрел за нею, и оба друга благополучно переправились через реку.

Выбравшись на другую сторону, жигиты, бросив кобылу и вола, побежали по берегу, согнувшись и прячась, и, только отойдя далеко вниз по течению, спокойно вышли на возвышенность.

Абай, не заходя в зимовку, попросил поскорей оседлать своего коня. Растроганный преданностью Ербола, он попрощался с ним, как с лучшим другом, и берегом реки направился домой…

5

К возвращению Кунанбая из Каркаралинска некоторые аулы уже успели перейти из зимних помещений в юрты, белоснежные и сероватые купола которых усеяли зеленеющие поляны возле зимовья. Семьи, где были старики и старухи, еще оставались в домах, но вся молодежь переселилась в просторные юрты, полные весенней свежести. Аулы стояли, как в ярком весеннем оперении, были полны молодой бодрости, кипели полнокровной жизнью. Пестрые ягнята и козлята и прыгали и резвились на солнцепеке, оглашая воздух непрерывным блеянием; важно выступали пушистые верблюжата, поводя большими карими глазами; конские табуны кишели курчавыми длинноухими жеребятами; телята, подросшие и проворные, задрав хвосты, смешно подпрыгивали и носились по траве. Вся природа, расцветавшая пышно и неудержимо, пела согласный гимн торжествующей жизни. Все живое, казалось, утверждало: «Мы — радость земли, украшающая и благотворящая мир, мы посланы из небытия в бытие», — все сияло, ликовало и кипело в неудержимом цветении весны.

Оба аула Кунанбая уже находились в Жидебае. Всюду доили кобыл, пасшихся год со стригунами, и каждое утро и вечер звонко перебалтывали терпкий кумыс в черных лоснящихся кожаных мешках.

Кунанбая встретили с необыкновенным почетом не только свои, но и все другие аулы родов Иргизбай, Топай и Жуантаяк. Родичи и друзья, в течение последних дней скакавшие из аула в аул с радостными вестями, многолюдной толпой валили теперь в Жидебай, — они являлись к Кунанбаю с салемом, гостили у него, шумной толпой сопровождали его в свои аулы, и с утра до вечера угощали и пировали сами.

Зажиточные родичи приглашали к себе не только самого Кунанбая, но и всю его семью: жен, детей, мать и ближайших родных.

Зере зарезала лучшего барана, которого она уже давно обещала в жертву за благополучное возвращение сына. Кунанбай тоже заколол в ауле Кунке жертвенного коня, обещанного им самим за счастливый исход поездки. Эти праздники и угощения были необходимы Кунанбаю, чтобы собрать родичей и сделать в уме отбор их: кто из них сочувствует ему, а кто нет, кто как встретит его после тяжелых испытаний.

В многолюдных сборах принимали участие все аксакалы и карасакалы.[95]

Каратай, старейшина рода Кокше, всю осень державшийся осторожно и двойственно, сейчас выехал навстречу Кунанбаю, с шумной радостью приветствовал его и, присоединившись к нему, неразлучно сопровождал его днем и ночью.

Еще недавно аулы были полны слухов о том, что Кунанбай сломлен, сослан, лишен власти и чина, — теперь он вернулся не только оправданный, но и в звании волостного. Сплетни мгновенно смолкли.

Кроме того рассказы Мирзахана о мужестве и смелости Кунанбая проникли всюду и повторялись даже маленькими детьми. А ежедневные щедрые угощения и приемы гостей имели для Кунанбая большее значение, чем простое торжество в честь радостного события: он собирал людей, объединял родичей, успевших разбрестись, вновь крепко стягивал сдерживающий их обруч и поднимался в их глазах на прежнюю высоту.

За это время все аулы уже успели покинуть зимовья, сплошным потоком двинулись с гор в долины к весенним пастбищам и начали расходиться в разные стороны. Гостей, которые ежедневно валили к Кунанбаю целыми толпами, тоже стало меньше. Теперь он мог все свое свободное время проводить с женами и детьми. Три дня он пробыл в долине, где расположился аул Улжан. Абай заметил, как сильно поседел отец и как много морщин прибавилось на его лице.

Однажды на обед у Улжан собрались Кунке, Кудайберды и Айгыз. Обратившись к Зере, Кунанбай сказал несколько слов, предназначенных для всей его семьи. Горечь, рожденная тяжестью минувшего испытания, дышала в его словах. Теперь он особенно остро чувствовал свое одиночество — ни среди старших, ни среди младших сородичей он не видел ни одного, на которого мог бы опереться. Он жалел, что, имея нескольких взрослых сыновей, до сих пор откладывал их женитьбу и лишал себя радости иметь внуков, лелеять их и любоваться их забавами.

Все матери вместе с Зере могли только приветствовать его слова. Это значило — женитьба взрослых сыновей, внуки… Все это радовало женщин, как долгожданное счастье…

Кунанбай сказал между прочим, что в последних испытаниях его высшей

опорой был создатель, а человеческой поддержкой — два свата. У них, по его словам, он нашел настоящую дружбу и участие. Это были Алшинбай и Тинибай. Кроме того по пути в Омск он встретил исключительное сочувствие и радушие у Байтаса, старейшины рода Тасболат.

Тут же Кунанбай рассказал о решении, принятом им еще в пути. У Байтаса есть маленькая дочка Еркежан. Кунанбай решил засватать ее для Оспана, и она уже наречена невестой его озорника-сына. Все, особенно матери, встретили это решение Кунанбая с неподдельной радостью. Они со смехом обсуждали, как сообщить шалуну, что на его ноги уже надеты путы.

Кунанбай заговорил и об остальных двух сыновьях Улжан. Такежан в прошлом году ездил к невесте, его тесть получил уже весь калым. Зачем же оттягивать дальше — пусть утвердится Молодая юрта Такежана. Второе решение — самое важное, требующее участия и заботы всех присутствующих: нужно снарядить Абая в поездку к невесте. С Алшинбаем Кунанбай уже сговорился об этом, они решили устроить свадьбу теперь же, весною.

Среди других сватов Кунанбая Алшинбай занимает особое место. Помимо того, что их обоих связывает крепкая дружба. Алшинбай — сын и потомок Казыбека и Тленши, известных всему Аргыну. Он самый влиятельный человек этого края, никто не может сравняться с ним. Послать к нему жениха, да еще в первую поездку, — дело нелегкое и требующее большой подготовки. Нужно потратить немало средств, скота и ценностей.

Матери одобрили и это намерение. Только Зере призадумалась.

— Не лучше ли послать его после переезда на жайляу, когда кончатся все хлопоты с кочевками и жизнь опять наладится?

Но Кунанбай объяснил ей:

— Жайляу Алшинбая слишком далеко от нас, и добраться до него будет очень трудно. Скот, который мы погоним, дорогой заморится. Абая должны сопровождать пожилые люди — им будет тяжело. Надо собраться в путь в ближайшие пять-шесть дней. — И Кунанбай обратился к Улжан — Ты поедешь тоже. Вези сына к новой родне сама!

Кунанбай не любил затягивать начатое дело. Не раздумывая долго, он тут же назвал людей, которые должны сопровождать Абая, определил количество скота, тканей, денег, драгоценностей, серебряных слитков, ценной утвари и других подарков.

Поездка вызвала бесконечные толки. Подарки Алшинбаю состояли из двух косяков отборных буланых и рыжих коней, слитков серебра и дорогих тканей.

В тут же ночь в Семипалатинск были отправлены за покупками Изгутты и Кудайберды. Они получили наказ — по приезде в город посоветоваться с Тинибаем, закупить все, что найдут, и спешно вернуться домой не позже чем через четыре дня.

Решение своей судьбы каждый из сыновей Кунанбая принял по-своему.

Айгыз и Изгутты с усмешкой обратились к Оспану.

— Тебе засватали невесту! — сказали они. Оспан не сразу понял. Он удивленно переспросил:

— Что это такое «невеста»? Баба, что ли?

Изгутты объяснил ему, а потом спросил, как он относится к этому делу. Оспан ответил без запинки под общий смех:

— Что ж, возьму… Ладно! Баба пригодится!

Абаю решение отца передала Улжан. Ее смутил взгляд Абая, но она мысленно успокоила себя: «Стыдится, наверное».

Абай принял новость молча, с холодной сдержанностью. Внутренне он вздрогнул и насторожился: точно что-то холодное коснулось его души. Мысль о Тогжан молнией прорезала его мозг, — он почувствовал, что совершает преступление перед нею.

Несколько дней подряд Абай оставался задумчивым и замкнутым. Тяжелые мысли овладевали им все сильнее. У него есть невеста. У Тогжан тоже есть жених, сговоренный уже давно. Не поехать, не жениться — нельзя: все в воле родителей. И не найдешь причин отказаться от поездки. Все стремления его сердца принадлежат Тогжан, но вырваться из опутавшей его паутины невозможно.

Он поехал к невесте молчаливый и угрюмый.

НА ПОДЪЕМЕ

1

Свадебный поезд жениха приехал в аул будущего тестя. Алшинбай только что успел перекочевать на широкую равнину, богатую кормами и обильную водопоями. Здесь расположилось около сорока аулов рода Бошан, связанных между собою их общим предком — Казыбеком. Все ожидали гостей, юрты для них были уже поставлены, угощение готово, и в день приезда привязали кобыл для дойки ранее обычного.

По старому обычаю, пожилые сваты вместе с Улжан, сопровождаемой тридцатью жигитами и свитой из женщин, прибыли на полдня раньше жениха. Главным сватом был названый брат Кунанбая— Изгутты. С ним ехали

аксакалы, певцы, жигиты и табунщики для ухода за лошадьми. Самого Абая сопровождали двенадцать жигитов молодого поколения иргизбаев, шутник Мирзахан, посыльный Жумагул, из ближайших родных — Такежан. Абай пригласил с собой и Ербола и весь долгий путь — больше недели — был с ним неразлучен.

Улжан доставила в аул свата ценные дары: табуны лошадей и верблюдов, ткани для подарков женщинам, драгоценности. Два верблюда были навьючены тюками с приданым невесты, здесь были пестрые шелка, бархат, сукно, шали. Другие два несли на себе в тюках чапаны, рубашки, платки, кафтаны, материю и обувь для подарков новым родичам, по обычаю старины.

Главной ценностью были слитки серебра, предназначенные в дар самому Алшинбаю.

Десять лет назад, когда Кунанбай приезжал сватать Дильду для Абая, он получил в подарок от родных невесты тяжелый «там-туяк».[96] Привезенный Улжан бесик-жамба[97] превосходил его величиной— Кунанбай одаривал свата более ценным подарком. И не успел жених приехать, как все аулы Алшинбая заговорили о щедрости и богатых дарах его свата. Но тут же стало известным и то, что Алшннбай не останется в долгу.

Для жениха и его родни были поставлены три огромные белоснежные юрты с великолепным убранством. Для угощения были отобраны отгульные годовалые жеребята, выкормленные молоком маток, трехлетние бараны, крупные ягнята. К юрте, где помещалась Улжан, особо подвели отгульного стригуна.

Подъехав к аулу, Абай со своей свитой остановился около него. Часть жигитов — Такежан, Мирзахан и другие поехали в самый аул известить о прибытии жениха. Абай и Ербол спешились, ожидая девушек и молодых женщин, которые должны были выехать навстречу. Зная, что теперь начнутся бесконечные и сложные обряды, Абай оставил при себе и Жумагула, — тот в свое время испытал все виды мучений, связанных со свадьбой, и Абай решил, что он будет ему полезен. В ожидании Абай пожаловался Erболу:

— Ведь женитьба — большая радость и для родителей и для жениха, зачем же мучить людей всеми этими обрядами?

Жумагул взглянул на него и рассмеялся.

— Вот тебя и начнут сейчас терзать! Прежде всего тебе попадает за то, что на шапке нет перьев! И надевай скорей красный чапан, а то и по щекам получишь!

Согласно обычаю, жених должен нахлобучить на голову малахаи с высоким верхом, увенчанный пучком перьев филина, надеть чапан красного сукна и сапоги на высоких каблуках, чтобы отличаться от всех остальных. По распоряжению Зере, Абаю перед отъездом и была сшита такая одежда. Старая бабушка, обычно во всем потакавшая внуку, на этот раз не слушала его возражений.

— Это обычай твоих предков! — повторяла она. — Не тебя будут укорять

там, а нас: всякий скажет — разве у них отцы не были женихами, а матери — невестами?.. Надевай! — приказала она и сама обрядила внука.

В этом необыкновенном платье Абай самому себе казался не то знахарем, не то бродячим фокусником. Как только они выехали из аула, он подскакал к Улжан и взмолился:

— Боже мой, для чего мне по всему пути кричать, что я жених? Разреши мне пока надеть мое обычное платье, а в наряд жениха я переоденусь, когда мы приедем!

Улжан скрепя сердце согласилась. И Абай до сих пор еще не надевал «знахарской» одежды. Малахай с пришитыми перьями и красный чапан — все было спрятано в переметную суму. Теперь Жумагул напомнил об этом, но, поняв, что Абай и в самом деле начинает побаиваться, добавил:

— Когда-то Барак-батыр сказал: «Мое сердце ни разу не дрогнуло, когда я ездил к родителям моей невесты…» Да, тебе предстоят ужасы! Но будь тверд душой — все кончится благополучно, это уж я по себе знаю!

Оба друга рассмеялись, и Ербол повторил Жумагулу свою неоднократную просьбу:

— Пожалуйста, предупреждай его обо всем: когда и как кланяться, когда садиться, когда подниматься и когда можно будет наконец поднять малахай с глаз и сидеть спокойно…

Абай, увидев, как заботливо готовится Ербол к предстоящему им трудному делу, невольно задумался: Ербол беспокоится о таких вещах, которые и в голову не приходят ему самому. Это настоящий, преданный друг.

Абай считал, что в дружбе их не было минуты лучше и выше, чем та, когда Ербол вброд на воле пересек бурные потоки разлива. Но сейчас он казался Абаю каким-то новым; где же тот, который был с ним раньше? Прежний и теперешний — точно два разных человека. Который же из них ближе? Который дороже?..

В самый день отъезда друг доставил Абаю взволновавшую его весть. Тогжан, узнав, что Ербол отправляется с Абаем к невесте, передала через него: «Лунным лучом блеснул он — и пропал. Я осталась во мраке. Но да будет счастлив его путь, да будет сам он весел и счастлив — вот мой салем ему!»— сказала она и, когда Ербол тронулся в путь, закрыла глаза платком и заплакала.

Узнав об этом, Абай всю дорогу не мог прийти в себя. Он чувствовал всю тяжесть принуждения, весь гнет чужой воли, заставлявшей его ехать. И теперь он угрюмо ожидал встречи с Дильдой.

Внезапно до его слуха донесся громкий женский смех. Потом послышался звон шолпы. Это шли молодые женщины и девушки встречать жениха. Приближалась большая толпа: женщины — в белоснежных головных повязках, девушки — в камчатных шапках. Кругом весело сновали ребятишки.

Подходя к плотной кучке жигитов, окружавших Абая, некоторые из женщин

начали громко переговариваться:

— Который тут Абай?

— Кто из них жених?

— Почему все одеты одинаково? Почему Абай не оделся, как полагается жениху?

Абай смутился. Он сделал над собой усилие и улыбнулся.

— Кто из нас вам больше понравится, тот пусть и будет Абай! — сказал он.

Женщины рассмеялись и сразу узнали жениха. Но одна из них тут же упрекнула его:

— Нет, дорогой мой! Тобыктинский малахай ты будешь носить у себя в ауле. А в наш аул попадешь только в свадебном наряде!

И она тут же начала расспрашивать всех и разыскивать свадебную одежду. Жумагул не вытерпел. Он снял с коня свою переметную суму.

— Сколько я ни говорил — надень, он все не слушался… Проучите его теперь. Весь его наряд у меня в тороках! — сказал он, передавая суму девушкам.

Пока Абай переодевался, дети, прибежавшие с женщинами, успели по двое, по трое вскарабкаться на коней свиты жениха и поскакали в аул. Абай приехал на белогривом золотистом иноходце. Словно оправдывая пословицу; «На жениховом коне золу возят» — ребятишки обступили коня.

— Это же иноходец!

— Ойбай, вот хорошо-то!

Они втроем забрались на коня и помчались вперед. Женщины, девушки и жених со свитой пошли в аул пешком.

Юрта, предназначенная жениху, выделялась своей ослепительной белизной. Внутри убранства было не очень много — помещение решили не загромождать, чтобы было просторней. Но остова юрты видно не было: он был завешан богатыми шелковыми занавесями, коврами с пестрыми узорами. Яркие краски тканей делали юрту необыкновенно нарядной. От самой двери до переднего места настланы шерстяные ковры и кошмы с пестрыми вышивками и узорчатыми украшениями. На них в несколько рядов лежали шелковые одеяла и подушки. Направо стояла кровать с костяной резьбой, застланная пятнадцатью шелковыми одеялами. Подушки сверкали белоснежными наволочками. Атласная занавеска с голубыми и алыми узорами закрывала изголовье.

Абая усадили перед кроватью, и с обеих сторон его окружили девушки, будущие свояченицы. Ербол, Жумагул и жигиты сели дальше, вперемежку с другими девушками.

Едва все успели разместиться, как в юрту быстро вбежали три молодые женщины и заторопили сидевших:

— Занавеску!.. Опустите занавеску!

Девушка, сидевшая рядом с Абаем, вскочила с места и опустила перед женихом атласный полог. Тогда женщины распахнули двери.

— Входите, входите! — приглашали они кого-то, стоявшего за дверью, и оглядывались в сторону жениха: — Встречайте, идут эне![98]

Абай, Ербол, Жумагул и девушки, сидевшие в юрте, вскочили со своих мест.

Занавес оставался опущенным. В юрту вошли три пожилые женщины. Посредине шла старшая эне Абая — первая жена Алшинбая, полная смуглая байбише. Рядом с нею — настоящая эне, мать невесты.

— Ну, матушки, выкуп! Где выкуп! Иначе не покажем вашего сына, — подшучивали молоденькие женщины, удерживай край полога.

— Поднимите занавес! Вот вам выкуп! — ответила байбише, показывая шашу.[99]

Атласный занавес широко распахнулся. Жених стоял, скромно потупив голову, в немой покорности.

— Да будет жизнь твоя долголетней! Да пошлет тебе бог счастливое будущее, свет мой! — сказала старшая байбише и начала бросать девушкам шашу.

Посыпался урюк, изюм, конфеты. Девушки, весело смеясь, принялись подбирать сласти.

— Да пошлет бог счастливое начало! Да будет долговечным твое счастье и радость, свет мой Абай! — присоединила свое пожелание и родная мать невесты.

Жених не может отвечать, он должен стоять, покорно храня молчание. Жены Алшинбая по очереди подошли к Абаю, поцеловали его в щеку и, не задерживаясь, ушли из юрты.

Целый вечер Абаю было не по себе, он никак не мог свыкнуться со своим новым положением. Огромный малахай спускался ему на глаза, вгонял в пот и раздражал. Но самым тяжелым испытанием были устремленные отовсюду взгляды: люди разглядывали его без всякого стеснения. «Красив ли жених? Пара ли он нашей дочери? Как он держится?»— говорил каждый любопытный взгляд. Нарядив юношу в одежду, которая превратила его в неподвижную статую, они теперь как будто потешались над ним: посмотрите, мол, каков он!

Вскоре в юрте жениха появился чай. Но общий разговор никак не мог наладиться. Жумагул и Ербол, обычно вызывающие дружный хохот своими шутками, здесь тоже чувствовали себя стесненными, держались натянуто и со скромной учтивостью переговаривались с девушками, сидевшими возле них. Среди этих девушек внимание Абая остановили на себе три, сидевшие поодаль и одетые очень нарядно. Он был поражен их видом: лица девушек были неестественно белы, а щеки горели багровыми маками. Абай не знал обычая этой местности: совершеннолетние девушки рода Бошан густо белили лицо и румянили щеки.

После чая в юрту собрались старшие жигиты — Мирзахан, Такежан и их товарищи. С ними пришли певцы, шутники и балагуры из рода Бошан. Все оживились, повеселели, поднялся шум и говор, шутки и смех. Жениха окружили множество женщин и девушек. Но в этом многолюдном хоре не было только невесты: Дильда все еще не появлялась.

Первый приезд жениха называется «торжественным»; иногда его еще называют «приездом с подарками» или «переходом через порог», а то — «поездкой для рукопожатия». И в первый приезд ему не так-то легко увидеть свою невесту.

Родители должны прежде всего справить той[100] в честь первой поездки и окончания сговора. А той — дело нелегкое. С ним не торопятся и справляют его после основательной подготовки. Потом совершается «рукопожатие» жениха и невесты. Значит, Абай не только в первый день, но и во второй не мог видеть невесты и оставался жить в ауле, не имея о ней ни малейшего представления. Лишь Ербол на следующий день после приезда прошел к Дильде, чтобы приветствовать ее. Внешность Дильды ему понравилась, он вернулся от нее обрадованным за Абая и хотел было поделиться с ним своим впечатлением, но тот прервал его и перевел разговор на другое.

Той, которого молодежь ожидала с таким нетерпением, состоялся на третий день по приезде жениха. Юрту, где помещался Абай, в тот день посетило бесчисленное количество женщин: с утра до позднего вечера здесь толпились байбише, девушки, молодые женщины и требовательные, шумные свояченицы. Жумагул и Ербол не успевали почтительно приветствовать их, принимая самый учтивый вид. Оба они то и дело надоедали Абаю:

— Ну, вставай! А теперь садись! Вот еще пришли!.. Ойбай, взгляни-ка, еще люди! — тормошили они его и заставляли кланяться.

В юрте жениха не смолкали песни, не стихало веселье и непрерывно уничтожали сласти. Слуги без устали вносили кумыс и чай — скатерти не убирались.

После обеда за дверьми послышались голоса.

— Той!.. Начался той!

— На коней! Садитесь на коней! — раздавались крики.

Абай и все остальные мужчины, находившиеся с ним вместе, вышли из юрты. Кони свиты жениха, оседланные, стояли на привязи, жених, как и все другие, может, сидя верхом на коне, смотреть на общее веселье и пиршество. Девушки и молодые женщины остались а ауле, а Абай со своей свитой, человек в пятнадцать, выехал и стал в стороне от других.

Многочисленные аулы, расположенные на цветущей равнине, справляли той с необыкновенной щедростью, угощая всех собравшихся. Алшинбай хотел, чтобы этот той поразил всех своим блеском и пышностью. Народу на пир собралось так много, что из верховых лошадей приезжих образовались целые

табуны.

О размахе тоя можно было судить и по количеству юрт, поставленных для гостей, — их было не менее пяти-шести десятков. Они тянулись двумя рядами по крайней мере на целую версту. Кухонные юрты были поставлены отдельно, на другом краю аула.

Как раз в то время, когда Абай выехал со своей свитой, из кухонных юрт к гостиным помчалась длинная вереница слуг. Все они были на конях. Распорядители, отмеченные белыми платками, повязанными на головах, стояли в ожидании. Их было около двадцати.

Все жигиты, обслуживающие гостей, были на иноходцах, — этим подчеркивалась пышность тоя. Выезженные, подтянутые кони, все в мыле, носились, как бешеные. Двадцать жигитов, взяв поводья в зубы, во весь опор мчались к гостиным юртам, держа в руках по два глубоких блюда. По пятам за ними летели вскачь другие, подстегивая их коней. Ловкие, гибкие жигиты-подавальщики на всем скаку подлетали к юртам и, не расплескав ни капли подливки, останавливались как вкопанные, чтобы передать блюда. Аксакалы и карасакалы, сами ухаживавшие за гостями, быстро брали у них горячие блюда и передавали угощение в юрты.

Как обычно, гости ели очень много. Не раз и не два пришлось подавальщикам проделать свой путь между гостиными и кухонными юртами. Угощение началось, когда Абай сидел еще в юрте; сейчас он со своими жигитами выехал далеко в поле, а пир все еще продолжался. Гости сели на коней только после того, как опустошили огромное количество кожаных мешков с кумысом и съели несчетное число мясных блюд.

Игры и состязания — скачки, борьба, козлодранье,[101] верховая борьба, жигитовка — следовали друг за другом. Старики, вышедшие из юрт, не переставали восхищаться торжеством:

— Вот это — той!

— Калым был хорош, но и Алшинбай не поскупился! В этот вечер Абай впервые увидел свою невесту.

Юрта жениха чуть не трещала от набившейся в нее толпы. Здесь собралась вся родня жениха и невесты во главе с самим Алшинбаем, Улжан и Изгутты. Абай и его свита были отгорожены занавесом. Смеялись, разговаривали и держали себя попросту только старшие. Те, кто сидел за занавеской, разговаривали шепотом и смеялись тихо, да и на это решались только девушки, не стеснявшиеся в своем ауле. Наконец у входа началось оживление. Молоденькие женщины, сидевшие у дверей, подтянули край входной занавески, и в юрту вошли несколько девушек.

Среди них была и Дильда. Накинутый на голову красный чапан скрывал ее лицо. Абай и его товарищи смогли увидеть только ее фигуру, когда она снимала верхнюю обувь. Невеста казалась худенькой, но довольно высокой и

стройной. Ей предназначалось место подле Абая. Не снимая с головы чапана, она села на указанное ей место боком к жениху. Абай хотел поздороваться с нею, но Дильда не повернулась к нему, и он воздержался.

Как только невеста вошла в юрту, сразу подали блюда с мясом. И почетные гости и молодежь, отгороженная занавесом, принялись за еду. Но ни жених, ни невеста почти не притрагивались к пище. После угощения мулла, которого Абай из-за своего занавеса не мог видеть, прочел брачную молитву. Потом была принесена пиала с холодной водой. Она обошла всех сидящих на переднем месте и наконец была передана Абаю. Жених сделал глоток и передал пиалу Дильде.

Тогда две женге с улыбкой подошли к ним, сели перед женихом и невестой и, окутав правую руку Дильды легкой шелковой тканью, положили на нее правую руку Абая. Он задержал в своей руке тонкие пальцы Дильды. Невестка, сидевшая напротив, насмешливо заметила:

— Ишь какой! Твоя рука, наверное, прилипла? Давай ее сюда, погладь теперь волосы! — приказала она.

Девушки, сидевшие рядом, рассмеялись. Женге сама схватила руку Абая и заставила его провести ладонью по косе невесты. Шелковая ткань, принесенная для рукопожатия, понадобилась и здесь, — Абай раза два погладил ладонью по этому шелку.

Свадьба закончилась этими обрядами, издавна известными под названием «рукопожатие» и «поглаживание волос». При последнем обряде жених одаривает свояченец. Шустрая женге успела получить свою долю и от Дильды.

Старшие раскрыли ладони и совершили молитву.

— Да сопутствует им счастье!.. Да будут они долговечны!.. Да пошлет им бог изобилие! — хором заговорили они.

Пожелания родичей Абай и Дильда выслушали из-за опущенного занавеса. После этого все старшие сразу поднялись и покинули юрту. Молодежь тоже не стала долго задерживаться. Все разошлись, чтобы оставить жениха наедине с невестой.

До сих пор Абай не сказал Дильде ни слова. Они даже не видели друг друга. Только невеста успела при входе в юрту краем глаза взглянуть в лицо Абая, когда, скрытая сама занавесом и чапаном, присаживалась возле него. Но это был лишь один миг.

В юрте стало несколько свободнее; женге, получившая подарки за «поглаживание волос», обратилась к Абаю:

— Ну, теперь мы приготовим постель! А ты ненадолго выйди на улицу, освежись немного!

Эти слова полоснули Абая по сердцу своей грубой откровенностью. Он не стал задерживаться, быстро поднялся с места и вышел. Вокруг не было ни души. Даже Ербол уже ушел. Абай остался один. Ночь была темная — с вечера

нависли тучи. Кругом был полный мрак. Абай отошел далеко в сторону.

Девушки тоже покинули Дильду. Она осталась с двумя женге, сопровождавшими ее весь вечер. Одна из них вывела ее на улицу, а другая, опустив занавес, разобрала нарядно убранную постель и стала стелить на ночь.

Женге, которая вышла с Дильдой, обняла ее.

— Ну как, понравился он тебе? — спросила она, смеясь. Дильда не смутилась.

— Кто его знает! Какой-то чернявый толстяк… В ее словах звучало явное разочарование.

— Ну, полно! Ты не разглядела! Он красивый, смуглый, — утешала ее женге.

Невеселые чувства наполняли сердце жениха.

Обилие, богатство, блеск, свита друзей и родичей, — все как будто соответствовало радостному торжеству. Радушие, угощение, той, толпы гостей, блеск и пышность сопровождали каждый его шаг. Общая молитва, щедрые пожелания должны были подчеркнуть счастье, ожидающее двух молодых людей. Но, если вглядеться пристальнее— так ли это? Не совершали ли старшие все это только для соблюдения учтивости и взаимного почитания, ради выполнения веками установленных обрядов?..

Абай и Дильда даже разглядеть друг друга не успели, но старшим до этого нет дела. Первое знакомство жениха и невесты должно произойти в постели, которую сейчас приготовляют.

Абай читал много книг. Любимый друг, избранница — как обоготворял он эти слова! Они цвели в его душе чистыми, неомраченными… Тогжан, покорившая его своей сияющей красотой, терзавшая его душу, ни на миг не исчезая из его мыслей, — Тогжан была далеко. Почему она не явится перед ним сейчас крылатым видением?

Вдруг раздался серебряный звон. Абай оглянулся, — это разыскивала его одна из женге.

Она шутливо сказала ему:

— Ты думаешь — тебе и цены нет? Зачем заставляешь ее так долго ждать? — И она повела Абая в юрту.

Занавес был спущен, постель стояла готовой. Дильды и второй женге еще не было. Абай снял верхнюю одежду, женге повесила ее. Потом она сама сняла с него сапоги и напомнила, что он должен одарить ее за последний обряд — разувание. При этом обряде делается большой подарок. В кармане Абая было достаточно денег, которыми наделила его предусмотрительная мать. Абай кинул деньги женге почти с отвращением.

Едва успев раздеться, Абай бросился на кровать и лег, укутавшись в шелковое одеяло. Дильда все еще не входила в юрту, время от времени из-за двери доносился лишь звон ее шолпы. Наверное, так полагается по обычаю? Хоть бы она вошла, пока горит светильник!.. Но уложив Абая, женге со

светильником вышла на улицу и, открыв двери, пропустила Дильду.

Невеста в темноте приближалась к нему. Абай, возмущенный всем, что происходило, вдруг впал в тупое равнодушие и, не двигаясь, продолжал лежать. Но он ясно слышал каждое движение Дильды, каждый шорох, вызываемый ее приближением. Она сняла свой бешмет, потом скинула сапожки и в одно мгновение оказалась у постели. Без всякой робости она стала перед кроватью и ощупью нашла свое место, Абай и не заметил, что лег у самого края. Внезапно раздался голос невесты — немного грубоватый:

— Подвинься!

Так произошла встреча молодой пары, в честь которой в течение нескольких дней справляли той, устраивалось угощение, тратились средства… Так равнодушно, обыденно, просто… Абай откинулся к стене.

Он не мог побороть внутреннего холода и сдержанности. Дильда тоже не пылала… Ее привели к жениху на поводу, она повиновалась обычаям — сердцу ее Абай был чужд. Гордость надменно твердила ей, что если ее жених — сын Кунанбая, то сама она — внучка всеми чтимого Алшинбая. Стесняться и робеть — удел простых людей. И она спокойно выполняла все, что ей советовала женге…

Абай после этой ночи пробыл в ауле Алшинбая еще две недели. Улжан уехала дней на пять раньше сына, а жигиты задержались с женихом.

Ко времени отъезда Абай и Дильда успели привыкнуть друг к другу. Временами они даже шутили и смеялись. Дильда казалась Абаю привлекательной и, пожалуй, красивой. Сама она тоже приценилась к его нраву. Но их не влекло друг к другу, и сердцем оба они оставались холодны.

Старшие считают первый приезд жениха перевалом в молодой жизни. Абай уже прошел его. Но в его юном сердце не вспыхнуло ни одной искры пламени. Напротив, он вернулся к себе разбитый, внутренне надломленный, точно мгновенно возмужав на несколько лет.

2

К тому времени, когда Абай возвратился от невесты, все аулы уже перекочевали на жайляу за Чингиз. Аул Кунке, где находился и Кунанбай, был переполнен гостями. Абай со своими жигитами подъехал к Кунанбаю, стоявшему в толпе, и отдал ему салем.

Еще до его возвращения Кунанбай обо всем подробно расспросил Улжан. Теперь он приветливо встретил сына и радушно угостил его товарищей. Но только со стороны Кудайберды Абай почувствовал искреннюю радость по поводу его приезда.

Кудайберды долго расспрашивал Абая и Ербола об обычаях и обрядах рода Бошан. Потом стал просить их спеть новые песни, — это будет их подарком.

— Оказалось, что в роде Бошан поют лучше нас, — сказал Абай, взяв в руки домбру.

Кудайберды возразил с усмешкой:

— Неизвестно, кто там пел — бошаны или молодое сердце жениха, приехавшего к невесте? Может быть, для тебя и песни-то звучали по-особенному!

Это вызвало смех окружающих. Абай не сдавался.

— Я говорю правду, Баке! — Он называл Кудайберды «Баке».

— Чем хвалить бошанов на словах, лучше сам спой!

— Вот это правильно! Песня сама за себя скажет. Начнем, Ербол!

С этими словами Абай начал запев, Ербол подхватил, и их голоса слились. Они спели песню «Статный конь». В Тобыкты она была неизвестна. От Абая не ускользало, что песня произвела на сидящих большое впечатление.

— Ну, что вы скажете? — спросил он.

Послышалось общее одобрение. Кудайберды не отставал от других.

— Хорошая песня! — повторял он.

— Тогда слушайте еще! — И Абай вдвоем с Ерболом спел другую песню — «Красотка».

Кудайберды принялся расхваливать и ее. Абай и Ербол о чем-то шептались.

— Теперь мы вам споем ту, что берегли напоследок, — объявили они.

Полилась трогательная, взволновавшая всех третья песня — «Белая березка».

Уже три ее четверостишия были закончены. Никто не шелохнулся. Все напряженно слушали, затаив дыхание, Абай несколько раз быстро перебрал струны и смолк на мягкой низкой ноте.

— Ну, Баке, что ты теперь скажешь? — спросил он. Кудайберды сознался откровенно:

— Думаю, что ты совершенно прав… Вы привезли замечательные песни!

Абай рассказал, что песни «Зеленая долина» и «Смуглянка», с которыми они сами приехали в аул Алшинбая, не имели никакого успеха. Во-первых, там каждый ребенок знал их, они устарели; а во-вторых, бошаны пели их совсем на иной напев, чем в Тобыкты. Вообще, по мнению Абая, тобыктинцы не слишком большие мастера на сочинение песен, большей частью они заимствуют напевы у других родов и порой неумело исполняют и портят их. Первое шутливое возражение Кудайберды было окончательно разбито. Старший брат смотрел на Абая с нескрываемым восхищением и гордостью, — он заметил, что за время поездки Абай начал вникать в глубину окружающих его явлений, выносить свою собственную оценку всему.

На другой день Абай вернулся к матери. Весь аул встречал его с сердечной радостью: старая бабушка не уставала любоваться им, а младшие братья висли на его шее, просовывали головы под руки и всячески выражали удовольствие по поводу его возвращения.

Аул Улжан расположился на просторном урочище, обильном прекрасными лугами, пастбищами и удобными водопоями. Все аулы Тобыкты, расположенные в этих местах, жили в ожидании большого торжества. Слухи о нем дошли до Абая еще в пути, а дома ему сообщили обо всем подробно. И детей, и молодежь, и пожилых людей, и старых аксакалов занимало только одно событие, ожидавшееся в ближайшие дни: все говорили о предстоящем асе в память Божея.

Родичи Божея с самой зимы начали готовиться к асу. Весной они оповестили всех. Был уже назначен день и место совершения аса. Роды Жигитек, Котибак, Бокенши и Торгай, объединившиеся с прошлого года, прикочевали для этого на обширные, богатые кормами жайляу Казбала. На поминках будет устроена большая байга,[102] а возле самого Казбала как раз раскинулись бесконечные просторы, удобные для скачек!

Абай и Ербол были рады, что вернулись домой: оба они соскучились по родным аулам. Ербол торопился к себе, — он узнал, что его аул тоже готовится к поминкам.

На другой день но приезде от тестя Абай долго беседовал с матерью и расспрашивал обо всех новостях и событиях, происшедших за время его отсутствия.

По словам матери, Кунанбай с самого начала весны созывал большие сборы и, видимо, к чему-то напряженно готовился. В результате непрерывных тоев и угощений он успел перетянуть на свою сторону еще несколько родов. Одних он задаривал, другим обещал, на третьих воздействовал полным угрожающего холода салемом — и в течение какого-нибудь месяца привлек к себе много новых сторонников. Среди них были и крупные, влиятельные лица — вроде Каратая. Кунанбай сумел расположить к себе и тех, кто, пользуясь своим одинаковым родством с ним и с его противниками, до сих пор всячески старался держаться в стороне. Против Кунанбая теперь были лишь три-четыре рода — котибаки, жигитеки и другие.

Но и эти противники, с самой зимы готовясь к асу, все свои средства тратили исключительно на приготовления к торжеству. Учтя это, Кунанбай перед самой откочевкой потребовал, чтобы они вернули ему пятнадцать зимовий, которые им были недавно переданы, чтобы будущею осенью никто не оставлял там своего имущества и жатаков, потому что зимовья опять переходят в его собственность.

Такое извещение получил каждый аул в отдельности. Кунанбай ничего не объяснял, не доказывал — он просто передавал приказ. Таким путем он вернул себе четырнадцать зимовий и только на пятнадцатом потерпел неудачу.

Это было зимовье Байсала.

Распоряжение Кунанбая было доставлено Байсалу через Каратая и Жумабая. Байсал начал со спокойных объяснений.

— Передай волостному салем, — ответил он. — Мы знаем друг друга с детства, никому лучше его не известно, что у меня нет земли. Кунекен не испытывает недостатка в земле, он уже вернул себе четырнадцать зимовий из пятнадцати. Пусть оставит мне мою долю. Я потратил средства, устроился там по-своему.

Узнав об ответе Байсала, Кунанбай пришел в ярость. В ту же ночь он опять отправил к нему Каратая и Жумабая с приказанием прекратить всякие рассуждения и покинуть зимовье.

Неумолимое своевластие Кунанбая вывело Байсала из себя. Он ответил, что готов на любое столкновение.

— Я объяснял ему, но он не хочет понимать, — начал он. — Самая горькая обида не в том, что он отнимает землю, а в том, что я для него — ничто. Я сидел спокойно, но он не перестает понукать и сам поднял меня на ноги. Из-за земли он, как червь, точил Божея, пока наконец не загнал его в могилу. Чем я лучше Божея? Мне терять нечего… От своего я не отступлюсь! Ни на шаг не отойду от зимовья!

Боясь нового междоусобного пожара, Каратай решил в разговоре с Кунанбаем смягчить ответ Байсала, но Кунанбая провести было трудно. «Байсал так не разговаривает», — решительно сказал он и потребовал точного ответа. Тогда Каратай выложил все.

С этого дня Кунанбай налился новой яростью против Байсала и Байдалы. От решительного шага его удерживали только поминки Божея. Но Улжан знала, что, как только кочевья двинулись на жайляу, между аулами Кунанбая и Байсала начались постоянные стычки и недоразумения. Кунанбай размещал свои аулы в ближайшем соседстве с аулом рода Котибак и по всякому поводу притеснял противника, отгоняя с пастбищ его скот. Байсал отвечал тем же. Жигиты рода Котибак ни днем, ни ночью не отходили от аула Байсала, охраняя его.

Сейчас котибаки стояли совсем рядом с аулом Кунке. Достаточно самого незначительного повода — и крошечная искра может разгореться пожаром. Кунанбай непрерывно прибегал к насилиям и намеренно вызывал соседей на столкновение. Зере, поняв его цель, снялась с места раньше других и стала аулом тоже вблизи стоянки Байсала: она решила сдерживать табунщиков к озорных жигитов и не допускать несправедливостей, какие проделывал аул Кунке.

Улжан тяжело переживала и эти стычки и враждебное отношение Кунанбая к памяти Божея. Он даже ни разу не был на могиле покойного. Неужели он будет упорствовать, через год после его смерти? Улжан говорила об этом вздыхая.

Абай мрачно насупил брови и глубоко задумался. Весь этот день он был молчалив, а ночью ворочался в постели, не в силах сомкнуть глаз. Первый раз в жизни мать посвящала его в дела аула, во все подробности тяжбы отца и

делилась с сыном горечью, накипевшей в ее сердце. Может быть, она считала, что Абаю пора принимать участие в делах старших? Она говорила горячо, откровенно, ничего не скрывая от сына.

На следующий день к обеду вернулся Ербол, и оба друга ушли пить кумыс в Большую юрту. Внезапно за дверьми раздался громкий голос Кунанбая. Он приехал один и раздраженно говорил что-то, слезая с коня. На минуту он задержался у входа в юрту.

— Эй, Жумагул, Мирзахан! Идите сюда! — крикнул он, переступая порог.

Оба жигита вошли тотчас же. Кунанбай прямо прошел к переднему месту и заговорил, не успев еще усесться:

— Байсал неспроста стал возле моего аула. Он нарочно гонит свои табуны в нашу сторону. Что ж, посмотрим, кто кого! Берите шокпары и соилы, отправляйтесь туда и отгоните его табуны за аул, на самое далекое пастбище!

Жигиты вышли. Через минуту на улице застучали их соилы, послышался топот выводимых коней. Абай вышел из юрты.

— Эй, постойте!

Он подошел ближе. Жигиты уже были на конях и завязывали свои малахаи.

— Что вы собираетесь делать? — спросил их Абай.

— То, что полагается во время набега. Что туг особенного? — ответил Жумагул. В голосе его звучало раздражение.

— Нет, ты не сделаешь этого! Послушай меня! — начал было Абай.

— Э-э, не предлагаешь ли ты мне ослушаться мирзы? — резко перебил Жумагул.

Абай вспыхнул и вплотную подошел к нему.

— Не бесись! Постой! — крикнул он. Глаза его налились кровью. Бледное лицо потемнело. Пальцы сжались в кулак. Жигиты невольно остановились.

— Гнать и бить лошадей не смейте! Просто скажите табунщикам, чтобы уходили отсюда, и вернитесь!

— А как же приказание?

— Вот это и есть приказание! Я сказал! Попробуй только поступить иначе, жестоко поплатишься! — пригрозил Абай.

И голос и вид его были настолько необычны, что Мирзахан и Жумагул невольно призадумались отъезжая. Абай с тем же решительным видом вошел о юрту и твердо обратился к Кунанбаю.

— Отец, на наших широких жайляу корму летом более чем достаточно. Зачем же так скупиться и озлоблять родичей? — спросил он.

Кунанбай холодно повернулся к нему.

— Ты, наверное, думаешь, что за Байсала некому заступиться? — едко спросил он. — По-твоему, может быть, он не должен возвращать мне мое зимовье?

Абай не сдавался. Он продолжал так же твердо:

— Так ведь то — зимовье, здесь — жайляу!

— А разве счеты за зимовье не сводят на жайляу? Разве справедливо было, по-твоему, воспользоваться моим несчастьем и захватить мою землю?

Абай, помолчав, сказал возможно спокойнее:

— Говоря правду, начал насилие не Байсал, а мы сами… Не он ли все эти годы просил вас только об одном зимовье? Не из-за этого ли зимовья он когда-то последовал за вами и участвовал в избиении Божея?.. Отбирать единственный полученный им клок земли — несправедливо. Вот из таких дел и разгорается…

Отец резко оборвал его, стараясь все же сдержать свой гнев:

— Довольно, не болтай! Не тебе со мной спорить! Абай переждал с минуту, но затем заговорил снова:

— Пойти на ссору из-за выгона на таком огромном жайляу — недостойное дело…

Раньше, когда разговор шел о делах рода, Абай боялся высказываться открыто, он говорил осторожно, робко и путался, словно язык отказывался повиноваться ему. Но сейчас Кунанбай почувствовал в голосе сына что-то новое.

Он оглянулся.

Зере и Улжан молча внимательно прислушивались к их разговору. Может быть, и они думают так же, но не осмеливаются говорить открыто, в глаза? Кунанбай невольно остановился. Несколько минут он сидел неподвижно, потом прилег на бок, подперев голову рукой; Абай тотчас подал ему подушку, Кунанбай подложил ее под руку, повернулся к сыну спиной и глубоко задумался.

Не встретив резкого отпора, Абай решил перейти к другому делу.

— В семье и дети и все близкие должны делиться с вами тем, что их тревожит. Разве хорошо, если они не смеют сказать и принуждены все скрывать от вас? Вы тоже должны выслушивать их и знать их мнение! — начал он.

С религиозным отцом лучше было, пожалуй, разговаривать книжным языком, упомянуть о первой и второй заповедях. Расчет Абая оказался верным, Кунанбай искоса посмотрел на него и явно приготовился слушать. Абай заговорил свободнее:

— Разрешите мне сказать еще об одном деле: об асе Божея. На нас, его сородичах, лежит много обязанностей, а мы их до сих пор не выполнили. О прошлом теперь говорить поздно. Но нынче все готовятся к асу. Он будет испытанием не одних жигитеков: этот ас — проверка человечности, кровного родства, совести… Когда Божей умер, мы остались в стороне. Теперь мы обязаны участвовать в асе!

Все горькие обиды истекшего года встали в памяти Кунанбая.

— Что же я должен делать? Навязываться, когда не приглашают? Идти

самому и получить пинок в грудь, как в прошлом году? — сразу ощетинился он.

— Вам и не надо ездить самому, пошлите нас. Мы поедем и примем участие, этого будет достаточно… Если вы позволите, я занялся бы этим делом сам. Дайте мне в помощь только Изгутты и позвольте мне и моим матерям израсходовать нужное количество скота и средств, — предложил Абай.

Кунанбай поднял голову, надел шапку и встал. Все внимательно смотрели на него, и в их безмолвном ожидании звучали и просьба инадежда. Кунанбай внутренне не одобрял их замыслов и процедил сквозь зубы:

— Как хотите! Хоть лбом бейте перед Байдалы и Байсалом!.. — и вышел из юрты.

И все-таки это было согласие. Вынужденное ли, или данное в порыве злости — Абай не стал задумываться. Достаточно и того, что отец не будет возражать в дальнейшем!.. Он начал совещаться с матерями и поделился с ними своими планами относительно аса. Он все обдумал по-деловому.

Зере и Улжан решили, что самым лучшим помощником Абая будет Изгутты. Они в тот же день вызвали его и поручили ему помогать юноше подготовиться к поминкам. Из братьев Абай привлек одного Кудайберды. Он долго беседовал с ним, рассказал ему все, что собирался сделать, и обо всем договорился; Кудайберды обещал свою помощь везде, где она понадобится.

Ербол, собираясь уезжать к себе, отвел Абая в сторону.

— Я тебя отозвал не по делу. Абай. Я просто хотел сказать тебе, что, когда ты днем разговаривал с отцом, я радовался за тебя и гордился моей дружбой с тобою. Я съезжу домой, вернусь и, в чем смогу, буду помогать тебе.

На другой же день Абай был на коне. В сопровождении Жумабая и Мирзахана он направился по гребню Казбала и, миновав многочисленные аулы жигитеков и котибаков, подъехал к аулу Божея, расположенному в кольце других стоянок.

Все аулы готовились к асу. На холме, поднимавшемся возле аула Божея, было расставлено огромное количество юрт. До аса оставались считанные дни. Все торопились. Мужчины поголовно были на конях. Верблюды, нагруженные юртами, предназначавшимися для аса, шли вереницами со всех сторон и целым потоком стекались к возвышенности.

Прежде всего Абай зашел со своими товарищами в траурную юрту и совершил поминальное чтение. Большая юрта оставалась неизменной: тот же бело-черный стяг с правой стороны, то же богатое убранство внутри, те же украшения… Так юрта ждет годовщины и остается торжественно-печальной. Осиротевшая одежда хозяина висит в ней с правой стороны на богатой узорчатой кошме.

Устроители аса собрались подле аула. Абай с товарищами выпили кумысу в юрте Божея и, выйдя из нее, направились к небольшому холмику, на котором

происходил сбор. Отсюда то и дело мчались верховые со всевозможными поручениями. Посреди собравшихся сидели старейшины — Байдалы, Байсал и Суюндик.

Байдалы заметно постарел за этот год. Прибавилась седина в волосах и в бороде — они стали совсем серебряными. Когда Абай подошел и отдал салем, аксакалы встретили его приветливо, без тени прежней суровости. Байдалы и Суюндик спросили о здоровье Зере и Улжан и усадили его возле себя. В толпе жигитов, внимательно следивших за малейшим движением старейшин в ожидании приказаний, находился и Жиренше, которого Абай хорошо знал с давних пор. Но со времени размолвки Байсала с Кунанбаем Абай встретился с Жиренше в первый раз. Тот тоже приветливо поздоровался с Абаем.

С появлением Абая старейшины прервали начатый разговор. Некоторое время все сидели молча. Абай обратился к Байдалы.

— Байдаш-ага, — начал он.

Он был немногословен, но излагал дело с достоинством, умело, не торопясь.

Его матери во главе с Зере передают салем всем собравшимся здесь. Абай приехал от них. Они намерены принять посильное участие в асе Божея. Прошлый раз опоздали, но теперь решили не отставать и прислали его от искреннего сердца.

Байдалы внимательно выслушал юношу.

— Родичи довольны тобой, дорогой мой! Дай бог тебе успеха! Скажи нам, с чего думаешь начать? — спросил он.

Абай повторил все, о чем еще вчера говорил матерям, Изгутты и Кудайберды.

Он хочет получить место на равнине, отведенной под юрты для приезжающих. Он обещает не позже сегодняшнего вечера поставить десять больших юрт. В них можно будет разместить триста человек. Заботу об их угощении он берет на себя. Посуда и вся необходимая утварь тоже будет от него. Пусть аксакалы окажут доверие и решат, как ему поступать дальше. Насколько он понял, каждый из окрестных аулов берет на себя заботу о гостях из какого-нибудь определенного рода, он тоже просит старейшин указать, кого он должен принять. Мало того, он просит, чтобы ему был предоставлен уход за кем-нибудь из именитых гостей.

Все дальнейшее Байдалы, Байсал и Суюндик обсуждали совместно с Абаем.

На ас ожидают прибытия крупных родов из самых отдаленных мест — из Каркаралы, из Семиречья, с низовий Иртыша, с берегов озера Балхаш. — Но среди них есть гости совсем особые — это родичи со стороны матери Божея, из племени Найман. В давние времена в их роде был знаменитый муж, носивший имя Божея; Кенгирбай подружился с ним и сосватал его дочь своему сыну Ералы. У них родился покойный Божей, которого назвали так в память его знаменитого деда. Байдалы еще зимой известил племя Найман о предстоящем

асе. Недавно оттуда получено известие: родичи Божея готовятся приехать на ас.

— Раз он просит выделить ему гостей, не поручить ли ему заботу об этих родичах Божея? — послышались голоса.

Абай подхватил эти слова.

Очевидно, Абай сумел заслужить полное доверие сбора, — забота о таких гостях требует особого внимании и обходительности.

— Отлично, Байдаш-ага, остановимся на этом, — сказал он. — Мы берем на себя прием сородичей Божекена из Иаймана. Поручите их нам.

Сбор не стал возражать. До сих пор в племени Найман слышали только о ссорах и междоусобиях между Кунанбаем и Божеем, — пусть увидят теперь, как почитается память умершего! Правда, никто не сказал этого вслух, но каждый понимал все так же ясно, как понимал это сам Абай.

Юноша попросил дать в его распоряжение двух жигитов, которые хорошо осведомлены обо всех приготовлениях к асу, начатых другими аулами. Байдалы назвал Ербола и Жиренше.

Теперь нельзя было терять ни одной минуты. Абай поднялся. Суюндик окинул его довольным взглядом.

— Есть ли на свете что-нибудь заразительнее дурного примера? — сказал он. — Тот, кто ищет зла, ищет его не от избытка ума, но зло не приносит ни пользы, ни обилия. Тем более надо ценить тех, кто ищет добра. Я вижу, сын мой, что намерения твои искренни и путь твой верен. Дай бог тебе успеха! — закончил он.

Абая радовала эта встреча, — его приняли, как своего, и не оттолкнули. Повеселевший и довольный, он сел на коня и вместе с Жиренше и Ерболом объехал долину, где ставились юрты. Посоветовавшись с жигитами, он наметил место для своих юрт и для установки котлов. По поручению Абая, Ербол и Мирзахан поставили метки и сами остались на выбранных местах для встречи людей, которых Абай сегодня же пришлет со скотом, юртами и утварью.

Абай решал быстро, распоряжался спокойно и уверенно. И когда он отъехал от оставшихся, Жиренше сказал довольным тоном:

— Смотрите, Абай стал совсем взрослым! Дай бог, чтобы он сдержал свои обещания…

— Сдержит. Он все сделает, вот увидишь! — ответил Ербол убежденно.

Уезжая из дому, Абай просил, чтобы подготовку начинали без него. В ауле Улжан уже кипела работа. Все указания давали сама Улжан, Изгутты и Кудайберды. Еще до отъезда Абай объехал на своем золотистом иноходце все аулы Иргизбая, осматривая юрты, отобранные для приема гостей. Две из них, поношенный войлок которых не понравился ему, он приказал заменить лучшими.

Как только он вернулся домой, все десять юрт были сложены и приготовлены к отправке. Вечером целый караван длинной вереницей потянулся в Казбала.

Здесь были юрты, тюки с коврами, узорчатыми кошмами, занавесями, одеялами, подушками. Полотенца и скатерти, белоснежные, нарядно расшитые, были отобраны самой Улжан. Посуду и котлы выслали отдельно. С караваном уехали и жигиты, которым было поручено поставить юрты, украсить их и остаться для обслуживания гостей.

Первый шаг был сделан. Проводив караван, все собрались возле Большой юрты, чтобы обсудить, как лучше устроить все остальное, сколько послать скота на убой, как доставлять кумыс. Улжан заботилась об устройстве кухни и приготовлении угощения; она предупреждала, что тут потребуется большое уменье, и наконец объявила, что поедет завтра сама вместе с Айгыз и Сары-апа.

Зере обратилась к собравшимся родичам:

— Решить вы решили. Теперь нужно делать. И делать так, чтобы мои дети не ударили лицом в грязь перед гостями, которые приедут издалека. Если каждый из вас хочет быть настоящим человеком, забудьте о прежних ссорах! Раз мы не сумели сохранить дружбу Божея при его жизни — не наживите теперь проклятия от его праха!.. Сыновья мои, невестки мои, будьте предупредительны и внимательны к гостям! Истинный муж проявляет свое достоинство не только в походе и набеге, но и в обращении с людьми. Умирайте от усталости, по не хмурьтесь! Ухаживайте за гостями бодро, радостно, по не шумите и не теряйте меры! Будьте спокойны, немногословны и скромны! Если вы этого не сумеете — говорю перед всем родом нашим, — лучше мне живой лечь в могилу!

Большой аул всю ночь продолжал деятельно готовиться и к утру отправил к месту аса еще один караван — с кухонными юртами. С восходом солнца тронулась в путь и Улжан в сопровождении Айгыз и Сары-апа. Последними выехали Абай и Изгутты.

Юрты, присланные накануне, уже были установлены на равнине Казбала. Их внутреннее убранство тоже было закончено. Жигиты стояли на своих местах около дверей. В каждой юрте у входа возвышались объемистые саба с кумысом.

Улжан самозабвенно взялась за работу. Ей хотелось, чтобы юрты, поставленные Абаем, превзошли все остальные, и она заботилась, чтобы угощение, особенно для почетных гостей, было обильным и изысканным. У реки, где поставили кухонные юрты, начали бить скот, палить его и закладывать котлы.

Юрты Абая уже и сейчас отличались от всех остальных, стоящих вокруг. Торжественно-нарядные и снаружи и внутри, они были достойны самых именитых гостей. Суюндик и Байдалы осмотрели их и, сойдя с коней около кухонь, поздоровались с Улжан. Увидев заботливые приготовления, они остались очень довольны.

Перед их отъездом Улжан отвела Байдалы в сторону.

— Угощение и заботы о гостях — само собою, — сказала она. — Но завтра состоятся скачки и борьба. Будут присуждаться ценные призы. Вы уже выделили для байги девятку[103] во главе с верблюдом. Сын мой хочет внести и свою долю. По его желанию я привезла вот это. — И Улжан подала ему сверток, перевязанный шелковым шнурком. — Пусть это возглавляет одну из девяток!

Это был большой слиток серебра — тай-туяк.

Приближался вечер. Угощение было готово. Первые гости хлынули в Казбала.

Байдалы, Суюндик и Изгутты, стоя на возвышенности, уже давно встречали прибывающих. Гости приближались со всех сторон по сорок-пятьдесят человек. Навстречу каждой группе летел верховой жигит, расспрашивал, откуда приехали гости, и провожал их к старейшинам, стоявшим на холме. По обычаю, прибывшие должны сначала поздороваться с устроителями аса, выразить свои добрые пожелания торжеству — и только тогда направиться в отведенные им юрты.

Сам Абай со своими сорока жигитами находился около гостиных юрт и ожидал прибытия самых почетных гостей из Семиречья.

К закату гостей прибыло несколько тысяч. Большинство юрт, выставленных жигитеками, котибаками и бокенши, было уже полно.

Гости Абая приехали только в сумерки.

Брат матери Божея был представительный аксакал. Он прибыл в сопровождении многочисленной толпы родичей. Подъехав к возвышенности, он сошел с коня и поздоровался с устроителями аса, обняв каждого из них. Старика окружили ближайшие родственники Божея по материнской ветви — их было около шестидесяти человек. За ними следовала огромная толпа в шапках и малахаях племени Найман.

Изгутты и Суюндик пошли впереди, указывая почетным гостям и их спутникам отведенные им юрты.

Абай со своими жигитами радушно встретил приехавших и помог им сойти с коней. Суюндик представил Абая аксакалу и объяснил, что это сын Кунанбая.

— Добро пожаловать, — низко поклонился Абай, встречая гостей.

Еще не сходя с коней, родные Божея заметили особое убранство отведенных им десяти юрт. А те из гостей, кто остановился в другом месте, спрашивали с восхищением: «Кому отведены эти юрты? Кого там разместят?» И тут же узнавали, что юрты поставлены сыном Кунанбая и что они предназначены для родни Божея.

Старого дядю Божея с несколькими аксакалами Абай сам провел в среднюю юрту, убранную богаче всех остальных. Других гостей встречали заботливые жигиты и с радушием отводили в приготовленные для них юрты. Родные Божея из Наймана привели для скачек одного вороного и двух серых скакунов. Гривы

и хвосты коней были тщательно заплетены, на челках красовались пучки перьев. На конях сидели ловкие мальчики. Абай поручил своим жигитам заботу и о конях и о наездниках.

Остальных гостей не пришлось ждать долго, — они подъезжали одни за другими. В сумерках стало трудно распознавать одежду и снаряжение прибывших, не было видно, к какому роду они принадлежат. Одни ехали на вороных конях, другие на серых. Только когда на них падал свет, поблескивало серебро их седел. К темноте шесть юрт из десяти были заняты.

Волнение немного улеглось, и Абай решил, что все остальные приедут завтра. Он приказал разносить угощение. Но в эту минуту Ербол тихо сообщил:

— Прибыло еще много гостей!

Абаи с жигитами быстро вышел к гостям и почтительно встретил их. Пользуясь близостью расстояния, приехали целой толпой гости из Сыбана. Теперь прибыли все, кого ожидал Абай. Он разместил их в свободных юртах и сразу же со всеми жигитами приступил к угощению. Начали с кумыса, потом подали чай, а после него — горячие мясные блюда, доставляемые на конях.

Родичи Божея, утомленные дальней дорогой, уже легли спать. Абай, весь вечер занятый ими, теперь перешел к гостям из Сыбана. Самым старшим из них был акын Кадырбай, сын знаменитого своим красноречием Айтайлака. В молодости Кадырбай состязался с известным акыном Садаком и был прозван «мальчиком-акыном». Он победил Садака. Многие из его песен были хорошо известны Абаю, большинство из них он знал наизусть. Юноша очень обрадовался, что Кадырбай оказался в числе его гостей.

Старику сразу же сообщили, что ему и его спутникам отведены юрты Кунанбая, да и он сам по изысканности блюд, богатству посулы и обилию сластей догадывался, кто хозяин этих юрт. Ему сообщили также, что весь прием гостей устроил юноша— сын Кунанбая. Теперь, когда Абай пришел сам, Кадырбай принял его с искренней теплотой.

— Подойди сюда! — подозвал он Абая и сам подал ему кумыс.

Белобородый, величественный Кадырбай с его светлым, приветливым лицом произвел на Абая сильное впечатление. Старик расспросил юношу о здоровье его родителей и поблагодарил за оказанное внимание и угощение.

Абай, не задавая вопросов сам, только отвечал Кадырбаю. Ответы его были немногословны, но толковы. Юноша, видимо, понравился гостю, и тот захотел вызвать его на разговор.

— Барлас-акын рассказал мне как-то. — начал он, — что у Кунекена есть сын, недавно вернувшийся с ученья. Если я не ошибаюсь, он сказал мне, что этот юноша — сын Улжан, воспитывается у Зере и большой любитель песен. Не ты ли это?..

Абай застенчиво улыбнулся.

— Барлас-акын одно время гостил у нас, — ответил он и прямо взглянул в

лицо Кадырбая.

Тот продолжал:

— Твой отец не отличается любовью к песням, — не обижайся на меня: я ведь ровесник твоего отца, а потому могу говорить о нем не стесняясь… Скажи мне: как же ты-то пристрастился к ним?

Абаю хотелось ответить, и слова для ответа вертелись у него на языке, но хозяину не полагается самому долго говорить, да и не покажется ли гостям неприличной вольностью многословный разговор со стариком?.. Он в нерешительности задумался и покачал головой.

Кадырбай уловил его жест.

— Ну вот! Ведь хочешь сказать что-то! Говори, не стесняйся, — подбодрил он.

— Будь по-вашему, Кадеке! — начал Абай. — Простите, если слова мои будут невпопад. Разве есть на свете человек, если только он не глух мыслью, который не любил бы песен? Я уверен, что есть песни, которые нравятся и моему отцу. Может быть, вам известно только его мнение об этой вашей песне:

Ты — аргамак, каких свет не знал,

И честь и славу себе стяжал…—

громко прочел Абай и улыбнулся.

Сидящие переглянулись. Кадырбай рассмеялся,

— Ой, боже мой, значит, ты знаешь об этом случае? — И Кадырбай обвел взглядом всех присутствующих. — Я действительно перехвалил как-то Солтабая, и Кунекен, услышав эту песню, упрекнул меня: «Конечно, Солтабай и богат и властен, но зачем ты так унижаешься перед ним?» Смотрите, как этот юноша поддел меня! — И Кадырбай рассмеялся.

В этой юрте гости засиделись долго и легли поздно. Когда Абай со своими жигитами разостлали поудобнее постели, уложили гостей, закрыли тундук и отошли от гостевых юрт, на востоке показался первый знак приближающегося утра. Возвышенности, в дремоте застывшие южнее Казбала, постепенно светлели. Звезды на небе бледнели и гасли, и в слабом свете утра все ясней выступала вершина, словно недремлющий сторож бугристых отрогов и погруженных в глубокий сон ущелий и оврагов.

Идя к кухонным юртам, Абай, Ербол и Изгутты негромко перекидывались замечаниями:

— Уже утро! Сегодня, как видно, спать не придется…

— Да, теперь не до сна!

И они решили сразу готовиться к наступающему дню, наиболее трудному.

Гости Абая до самого обеда не выходили из юрт. В обед Абай придумал новый порядок угощения, который понравился и самим гостям, и посторонним, и работавшим в кухонных юртах. Для жигитов-подавальщиков подобрали иноходцев с посеребренными седлами, головы жигитов обвязали белыми шелковыми платками. Когда они брали из кухонь блюда с дымящимся мясом и неслись на иноходцах к гостиным юртам, сверкая серебряными украшениями, казалось — вся равнина кругом начинала снять. Приезжие родичи Божея ни в чем не могли упрекнуть хозяев юрт: уход за ними и угощение далеко превзошли все ожидания.

К концу обеда Байсал в сопровождении пятнадцати жигитов выехал на возвышенность с поднятым стягом. Это был знак, чтобы все седлали коней и выезжали за ним: начиналась байга, борьба и состязание на конях — главнейшая часть поминального пира. Бегуны с переплетенными гривами мерно и плавно понеслись к месту сбора. В одну минуту все были на конях. Громкий говор, толки, шум поднялись в оживленной толпе.

Абай не видел, много ли собралось народу. Он и не предполагал ехать со всеми, — его гости, собравшиеся из дальних мест, сегодня в обратный путь не двинутся, значит, нужно позаботиться о вечернем угощении. Поэтому и сам он и Изгутты были заняты. Их жигиты тоже ни на шаг не отлучались от них — Абай не отпустил ни одного. Только Ербол не устоял перед соблазном.

— Я хоть новости вам сообщу — расскажу, что там делается! — И он стремглав ускакал на место сбора.

Он часто возвращался с новостями. Еще никто не знал, сколько человек собралось со вчерашнего дня. Он уверял, что съехалось несколько тысяч.

Гости Абая в ожидании знака тоже сели на коней. Байсал с призывным кличем поднял стяг и помчался в сторону Карашокы. Там простиралась широкая равнина, скачки должны были происходить на ней. Как только стяг полетел вперед, верховые, ждавшие знака, сплошным потоком хлынули за ним. Абай, глядя со стороны, убедился, что гостей собралось огромное количество. Улжан, Айгыз и слуги, выйдя из юрт, с удивлением смотрели на непрерывный людской поток.

Огромная толпа всадников двигалась мимо них одним только своим краем, другого не было видно. Она текла непрерывными волнами. Она неслась, как гонимая ветром туча. Здесь собрались все, кто только мог сидеть на коне.

Ербол сообщил число коней; участвующих в состязаниях: оказалось, сто пятьдесят скакунов. Байга предназначалась десяти победителям. Каждая байга состояла из девятки: первая возглавлялась верблюдом, вторая — слитком серебра, вчерашним приношением Улжан. Байга борцам тоже состояла из

девяток.

Еще в полдень Улжан вызвала Абая и сказала ему, что если гости останутся и завтра, то угощения не хватит. Вот почему Абай не мог присутствовать на торжестве: он спешно послал Мирзахана и Изгутты домой — просить Кудайберды немедленно пригнать пять отгульных стригунов и напомнить, чтобы завтра не оставили гостей без кумыса. Большинство разъедется сегодня вечером, но гости Абая задержатся еще на сутки. Для него этот ас — тяжелые хлопоты, не прекращающиеся ни днем, ни ночью, сутолока непрерывного ухода за приезжими.

Вечером гости вернулись усталые, изнемогающие от жажды. Их встретили такие же приветливые, как вчера, ловкие жигиты. Сначала они утолили жажду гостей прохладным кумысом, а затем подали чай. Жигиты по двое вносили огромные самовары, пыхтевшие клубами пара. В юртах сразу же становилось весело и уютно. Сегодня и гостеприимство и обилие угощения у Абая превзошли вчерашнее. К вечеру Байдалы, Байсал и Суюндик тоже пришли сюда. Улжан и Абай нарочно пригласили их в юрты приезжих родичей Божея, — им хотелось, чтобы старейшины-устроители своими глазами убедились в обилии и изысканности угощения и в радушном гостеприимстве иргизбаев.

Абай и в эту ночь не сомкнул глаз, третья ночь была также полна забот и волнений.

На следующий день, по распоряжению Абая, обед был приготовлен и подан раньше обычного. После угощения аксакал — дядя Божея, приехавший из Наймана, вызвал Абая, горячо поблагодарил и от всего сердца благословил его.

Улжан, Изгутты и Ербол с беспокойством заметили, как изменился Абай за эти дни. Его лицо осунулось, он был смертельно бледен, точно после тяжелой болезни: глаза покраснели, щеки ввалились.

Но Изгутты и Ербол сами были переутомлены донельзя. Все трое стали подсмеиваться над собственным видом и шутливо переговаривались:

— Мы похожи сейчас на ту серую клячу Караши, которую вчера в самый зной послали на байгу! — посмеивался Ербол.

— Я мечтаю только о сне, готов свалиться тут же на месте! — признался Абай.

Но в эту минуту к ним подошел Байдалы и позвал их в юрту Божея. Ас еще не кончился, предстояло его завершение: следовало заколоть траурных коней Божея, разобрать и раздать траурное убранство юрты.

Близкие родичи не могут отказываться от этого. Все тобыктинцы во главе с дядей Божея приступили к завершению поминок. Когда Байдалы в сопровождении толпы родичей подошел к юрте, женщины, целый год соблюдавшие траур, вышли им навстречу. Байдалы снял с юрты бело-черный стяг и передал Байсалу. Тот, как требовал обычай, бросил стяг на землю и

переломил его древко. Ас кончился. Трауру исполнился год.

По приглашению Байдалы Суюндик с толпою родичей вошел в юрту и начал снимать траурное убранство. Это был второй знак. В ту же минуту байбише и две дочери Божея, повернувшись спиною к собравшимся, начали поминальный плач. Сидевшие в юрте молча плакали. Это был последний плач, последние слезы, посвященные памяти Божея. Последний раз был прочитан коран, совершено последнее моленье. Все вышли из юрты.

К ней подвели двух траурных коней Божея. Они разжирели и успели одичать. Со слезами на глазах родичи свалили коней, и Байдалы собственноручно зарезал их.

Все трое — и Байсал, повергший на землю траурный стяг, и Суюндик, разобравший траурную юрту, и Байдалы, зарезавший коней, — были самыми старшими и близкими друзьями Божея, поэтому право на совершение последних обрядов аса, по обычаю, принадлежало им.

Уехать, не прикоснувшись к поминальному угощению — мясу зарезанных коней, было нельзя. Абай с трудом дождался этой минуты.

Вечером после угощения в траурной юрте Абай простился со старшими и собрался в обратный путь. Байсал подозвал его, на мгновение приник лицом к его лбу и сказал:

— Сын мой, до сих пор мне приходилось разговаривать с тобою и высказывать тебе мои чувства. Но я храню в памяти все, что видел и пережил. Когда-то в Каркаралы Божекен был тронут твоим поступком и дал тебе благословение, — ты помнишь его слова? Он ожидал от тебя многого и потому благословил тебя. Тогда я отнесся к тебе холодно. Но с тех пор я не раз слышал, как ты говорил о справедливости. А в эти дни ты показал себя истинным братом Божекена. Старайся оправдать лучшие надежды твоих старших родичей! Я уверен, что ты сумеешь оправдать их, свет мой! Только бы проклятая жизнь не заставила тебя оступиться… Твое будущее перед тобою. Ты держишься правильного пути. Дай бог тебе на нем успеха! — И Байсал благословил Абая.

Байдалы, Суюндик и Кулиншак сердечно поддержали Байсала и присоединились к его благословению. Абай благодарил аксакалов за добрые пожелания.

Он простился со всеми и тронулся в путь вместе с Ерболом. Улжан уже успела уехать на своей повозке. Едва держась на конях от усталости, Абай и Ербол то шагом, то рысью добрались до Ботакана. Улжан приехала раньше их, велела прибрать Гостиную юрту и приготовить им постель.

Вернувшись в аул, Абай вошел в Большую юрту, поздоровался с бабушкой и тут же повернулся к Улжан. — Спать, спать!.. Апа, мне только спать! — воскликнул он.

Улжан подала обоим друзьям по чашке кумысу, отвела их в Гостиную юрту,

уложила и заботливо укрыла.

Они захрапели, едва коснувшись головой подушки, и проснулись только к обеду следующего дня. Попив кумысу, они опять легли и проспали до самого вечера. В сумерках друзья проснулась, немного посидели полусонные и свалились опять. Они встряхнулась к пришли в себя только ив третий день к обеду.

Абой не подозревал, что за это время многоустая молва принесла ему славу известного, уважаемого всеми жигита.

3

Все жайляу жило впечатлениями от аса Божея. Его устроители, участники и даже те, кто просидел дома и знал все лишь с чужих слов, — все только о нем и говорили. Молва обежала не одни аулы Тобыкты, но и аулы дальних родичей и чужие отдаленные племена. Абай, без сна и отдыха самоотверженно хлопотавший вокруг гостей, и представить себе не мог всей грандиозности и пышности минувшего торжества.

Действительно, поминки Божея получили заслуженную славу небывалого аса не только в Тобыкты, но и во всем крае. Щедрость, радушие — все могло служить примером для многих поколений.

Словоохотливые старики, общительная молодежь, женщины и дети не переставали обсуждать событие. О нем будут рассказывать были и небылицы не только все лето, но и осень и зиму. И как всегда, в памяти у всех останутся и имена борцов-победителей, и клички коней, выигравших байгу, и меткие шутки, и люди, отличившиеся красноречием и находчивостью во время торжества.

Имя Божея станет излюбленным в Тобыкты при наречении новорожденных. Ас приобретает такую славу, что по нему будут определять возраст детей — и притом не только тех, которые родились в год поминок, — будут говорить: «Он родился за пять лет до аса Божея» или «через два года после аса». Помолвки, торжественные поездки женихов, свадьбы, совершенные в это время, обрезании, смерти — все станут исчислять от аса. Даже о выдающихся скакунах, выигравших впоследствии байгу, скажут, что в год аса он был стригуном, или родился в том же году, или был тогда четырехлеткой. Знаменитые асы всегда становились памятной датой и даже вехой счета лет: они жили в воспоминаниях многих поколений. Асы Аблая и Бопы, состоявшиеся бог весть когда, не забыты до сих пор.

Общая молва и восторженные рассказы эхом пронеслись по всему Чингизу, по просторным жайляу, по ущельям, оврагам и долинам. Имена людей, отличившихся на асе своей щедростью, гостеприимством, богатством угощений и заботливостью о гостях, попали в общий поток восхищения и

приобрели громкую славу.

Имена устроителей аса — Байдалы, Байсала и Суюндика — стояли особо, но имя юного Абая своей славой превзошло даже их. Рассказы о нем передавались повсюду.

Рассказчики начинали со спора Абая с Кунанбаем. Они с восхищением говорили о смелом упреке, брошенном юношей суровому отцу, у которого, казалось, никогда не оттаивало заледеневшее сердце. Радушная, гостеприимная встреча, предупредительное обращение с гостями и уход за ними в юртах Абая выделялись на всем многотысячном сборище и смело могли служить примером для всех остальных. Абай сумел угодить всем своим гостям, расположил их к себе и получил их благословение. Это прекрасный юноша, он желает блага народу и болеет за него душой.

Многие старики толковали о заслугах Зере и Улжан: «Старая Зере — мудрая мать. Она отдает народу свои последние годы: всем желает добра, мира, спокойствия. Она сама воспитала своего внука, с надеждой взлелеяла его на груди — и ее ожидания оправдались!..»— с гордостью говорили о ней. Не скупились и на похвалу Улжан, которая сама поехала на ас, чтобы помогать сыну.

Пока Абай отсыпался, эта волна восхищения и благодарности уже успела проникнуть в Большой аул. Даже люди из чужих племен, побывавших в аулах жигитеков, котибаков и бокенши, приносили с собой эти вести. Каратай вернулся, объездив род Кокше вдоль течения Баканаса; молва дошла и туда, говорил, он. То же твердили и в племени Керей, кочевавшем по низовьям Баканаса и Байкошкара в пределах совсем другого округа.

На третий день после возвращения Абай и Ербол наконец, поднялись с постели, пошли на реку, выкупались и, освеженные, вернулись к чаю.

Зере подозвала внука, усадила возле себя и сама подала ему чай.

— Дорогой ты мой, ягненочек мой черный! — сказала она и погладила внука по спине.

Улжан поднесла Абаю на большом блюде баранью голову и бок.[104]

— Твои матери закололи барана в честь того, что ты вырос и возмужал, — сказала она.

Абай удивился.

— Апа, за что это?

— Вы оба проспали и ничего не знаете! Люди хвалят, говорят, что ты стал человеком, — вот за что! Все родичи довольны твоими трудами! — объяснила Улжан.

— Боже мой, вот так труд! Подумаешь— гору своротили!.. Скажите лучше, что просто нужен был повод, чтобы заколоть бедного ягненка!.. Ну что же, поедим, Ербол! — И Абай, смеясь, принялся делить голову.

Прошло дней пять. Ербол уехал к себе, но неожиданно вернулся обратно на

взмыленном коне и на всем скаку подлетел к Абаю, бродившему возле аула. Сердце Абая забилось надеждой. Ерболу уже давно не удавалось ничего сообщить ему о Тогжан. Теперь он быстро сорвал шапку с головы Абая.

— Суюнши! — закричал он.

Они без слов поняли друг друга и рассмеялись.

— Все удалось как нельзя лучше! — сказал Ербол, улыбаясь. — Младший сын Суюндика, Адильбек, только что отправился в поездку к невесте. С ним уехали все мужчины. Я все не мог повидать не только Тогжан, но и Карашаш: Адильбек начал что-то на меня коситься. А сегодня я обо всем переговорил с женге. Тогжан скучает по тебе, Карашаш говорит, что она часто тебя вспоминает. После аса люди хвалят тебя, разговоры о тебе идут повсюду. И женге и Тогжан так и говорят, что во всем крае нет жигита, который мог бы сравниться с Абаем… Теперь решайся: хоть раз покажись им! Я с этим и приехал. Подробно обо всем поговорим дорогой, вели скорей седлать коня, поедем вместе!

Абай побледнел от неожиданной радости. Начинало смеркаться, когда они отправились на жайляу бокенши,

Абай ехал на золотистом белогривом иноходце, Ербол на светло-сером коне. На обоих были серые чапаны и шапки; кони, одежда — все сливалось с вечерней мглой, все рассчитано на то, чтобы как можно меньше привлекать внимания. Поэтому же они предпочли и более длинный путь, в объезд аулов, где ночная поездка двух жигитов могла вызвать подозрения.

Взошла луна. Наступила тихая, спокойная ночь. Ширь степи, холмы и предгорья дремали в голубоватом тумане, точно укутанные шелковою пеленою ночи. Мир был овеян тихой, безмолвной грустью. Когда Абай взглядывал на луну, одинокую, тоскливо плывущую по небу, еле слышный вздох вырывался из его груди.

При одном воспоминании о Тогжан сердце его мгновенно наполнялось тоской.

Он уже взрослый, самостоятельный жигит. Жизнь, которая озарила утро его молодости красотой и трогательной нежностью лучезарной Тогжан, тут же воздвигла между ними горы, непреодолимые препятствия. Их души отдались друг другу без колебаний, без размышлений, они доверчиво и преданно протянули друг другу руки, но их мечты несбыточны: у него опутаны ноги, на нее накинута узда. И все-таки через все преграды они неудержимо стремятся друг к другу. Но забыть о путах, стянувших им руки и ноги, они тоже не могут. И вот — каждый порыв вызывает у них тоскливую боль сожалений и грусти.

По возвращении от невесты Абаю один раз удалось передать привет любимой. Он просил разрешения повидаться с нею. Услышав это, Тогжан вздрогнула.

— Зачем? — сказала она. — Для чего нам искать встречи? Неужели он сам не

понимает этого?.. — Горечь обиды звучала в ее словах.

Оправданий Абаю она не находила. Правда, он не любил Дильду, но вернулся от нее примирившийся с будущим, покорный велению судьбы. У Тогжан тоже был жених, и она тоже не питала к нему никакого чувства, но она отгоняла от себя всякую мысль об этом женихе с тех пор, как полюбила Абая. Ее сердце страшилось и чуждалось его. А Абай поехал к невесте!.. Он прошел через перевал, разъединивший их, казалось, навеки. Сколько слез пролила тогда Тогжан, как исхудала в те дни!..

Подгоняя коней, Абай и Ербол подъехали к жайляу Бокенши в час, когда люди ложатся на покой. Явиться открыто, как гости, было уже поздно.

Широкие луга здесь с двух сторон окаймлялись возвышенностями. Въехав на западный склон, Абай услышал отдаленное пение. Ербол тоже прислушался. Жигиты остановились, напрягая слух. Пение донеслось отчетливо: это пел целый хор, дружный, многоголосый. Так поют женщины, стерегущие стада. Не задерживаясь дольше, жигиты спустились вниз. На зеленом ковре широкой равнины теснились аулы и лежали стада овец. Огни уже были погашены. В безмолвии ночи кругами возвышались белоснежные купола юрт, словно гусиные или утиные яйца в огромных гнездах на каком-то безлюдном острове, — там пять-шесть, здесь — десяток.

Пение разливалось в ночной дымке над сонными аулами и замирало где-то в вышине. Чем ближе подъезжали жигиты, тем слышнее звучали голоса. Широкая равнина пересекалась небольшой речкой, берега которой были покрыты низкорослым кустарником. Абай и Ербол двинулись зарослями вниз по течению реки.

Теперь Ербол мог уже определить, что пение доносилось из аула Суюндика, за которым находился аул самого Ербола. Значит, им придется проезжать мимо места, откуда слышались голоса. Тропинка вывела их к броду. Они переехали на другой берег и пересекли заросли.

Перед ними раскинулась широкая поляна. Аул Суюндика виднелся вдали. Голоса раздавались теперь совсем близко. Знакомый напев «Статный конь» разливался в воздухе: песня, привезенная Абаем и Ерболом из аула Дильды, уже успела облететь эти края, но нежные голоса искажали ее.

Ербол сразу сообразил, в чем дело.

— Э, посмотри-ка, что там делается! У них бастанги![105] Вон на качелях качаются! — сказал он, остановившись. — Давай поедем прямо к ним!

Но Абай сдержал коня.

— Удобно ли? — сказал он. Ербол возразил:

— Никто и не подумает, что мы приехали нарочно. Я сумею вывернуться. Поедем! — И он направил коня вперед.

Абай продолжал колебаться, но все же последовал за другом, положившись на его находчивость.

Качели стояли в стороне от аула на широкой поляне. Кругом собралось много молодежи — жигитов и девушек в камчатных шапках, в бархатных и шелковых чепанах. У некоторых на плечи были наброшены бешметы. Непрерывно звучал многоголосый серебристый звон шолпы. Веселые и нарядные молоденькие женщины в затейливо расшитых головных повязках заразительно смеялись. Жигитов было не много. Тут же сновали целые стаи ребятишек. Две девушки раскачивались на качелях и распевали «Статный конь». Абай и Ербол выехали из лесу и быстро приблизились к качелям, но девушки не заметили их. пока те не подъехали вплотную.

— Да будет веселье! Да умножится радость! — приветствовали всех всадники.

Девушки тотчас же обернулись к жигитам. Среди них находилась жена Асылбека — Карашаш. Ербола все узнали сразу.

— Ербол! Это же Ербол!

— Откуда едете? — обратились к нему женщины. Карашаш узнала Абая.

— Абай! — воскликнула она и приветливо поздоровалась с ним. Услышав имя Абая, молодежь оставила качели. Пение прекратилось.

Тогжан и качавшаяся вместе с ней подруга подошли тоже. Абай давно увидел Тогжан. Встретившись на людях, они оба смутились и едва смогли поздороваться. Подруга ее — Коримбала — не чувствовала никакого стеснения. Поблескивая серьгами, веселая, звонкоголосая девушка поздоровалась с Абаем и сразу затараторила:

— Ну, раз вы приехали в разгар веселья, не чуждайтесь нас! Сходите с коней, покачайтесь с нами!

Карашаш живо поддержала приглашение девушки.

— Ну, слезайте! — И она ободряюще улыбнулась.

Абай и Ербол все еще медлили. Чтобы сразу оградить себя от всяких подозрений, Ербол нарочно громко заговорил:

— Мы ехали в аулы Кокше, что кочуют по Баканасу, но сейчас поздно, и мы решили остановиться в нашем ауле.

— Сходите с коней! — наперебой стали приглашать их женщины и девушки.

— Ну, вот и повеселимся! Оставайтесь ночевать у нас!

— Отведите коней и быстрее возвращайтесь! — заключила Карашаш.

— Да уж не знаю… — начал было Ербол, но Коримбала прервала его:

— Ведь вы недавно вернулись от невесты! Научите-ка вас новым песням!

Все поддержали ее шутку веселым смехом.

Тогжан не могла смеяться. Она стояла молча, не сводя с Абая сияющих глаз. На нем был накинут тонкий чапан, под которым виднелся черный жилет, надетый поверх белой рубашки. На голове — шапка из мерлушки с серебристым шелком. В свете яркой луны было заметно, что лицо его похудело. Внезапно появившийся здесь Абай — привлекательный и нарядный, на коне с

посеребренным седлом — был ей по-прежнему близок и дорог.

Друзья тронули коней, дав обещание сейчас же вернуться. Белогривый конь Абая, который нетерпеливо крутился под ним и рыл землю копытом, плавно понесся вперед. Серебро седла и уздечки, блеснув в лунном свете, тускло замерцало, угасая вдали. И, переливаясь в голубоватых лучах, серебряной струей сверкнул пышный, волнистый хвост белогривого коня. Ночной мрак поглотил всадника, Тогжан продолжала стоять молча, прислонясь к качелям.

Карашаш сразу же заметила, как резко изменилась в лице девушка. Чтобы не привлекать внимания других, она обняла Тогжан. Подошли другие женщины. Она сказала, что совещается с Тогжан об угощении, а сама продолжала шептать ей на ухо:

— Начни петь, иначе все заметят… Будь осторожней. Коримбала, подбежав к Тогжан, схватила ее за руку и потащила к качелям.

— Это и есть Абай? Я его в первый раз вижу! Хорошо, что он приехал! Мы заставим его спеть нам песни его новых родичей и разучим их. Ладно? — сказала она.

Тогжан не отвечала. Коримбала быстро оглянулась и спросила насмешливо:

— Что он — аксакал? Есть кого смущаться! Пословица говорит: «Кто не постесняется, тот везде лишку урвет». Где же Абай? Сейчас заставлю его спеть!

Скоро подошли Абай и Ербол.

Ербол сразу сумел завладеть играми и все переделал по-своему. Карашаш и он сам усадили Абая на качели против Коримбалы.

Если на качелях сидят девушка и жигит, последний должен спеть что-нибудь. Коримбала попросила Абая вместе с нею пропеть «Статный конь». Но, подпевая ему, она путалась и искажала не только припев, но и самые строфы песни. Девушки и молодые женщины сразу заметили это:

— Абай поет совсем иначе!

— Коримбала, ты путаешь!

— Сперва выучи, а потом пой вместе! Но Коримбала не смутилась.

— Тогда пусть споет Тогжан! — засмеялась она и, не дав девушке опомниться, усадила ее на свое место.

Она начала изо всех сил раскачивать Абая и Тогжан. Остальные присоединились к ней.

Качели в полный размах взлетали вверх и стремительно опускались. Абай запел. Две первые строфы Тогжан внимательно слушала и запоминала и лишь на третьей стала уверенно к громко подпевать ему. Она сразу исправила те места, которые были искажены в ее ауле.

— Вот теперь правильно!

— Тогжан быстро научилась!

— Пойте! Пойте еще! — закричали со всех сторон.

В те мгновения, когда лунный свет падал на лицо Тогжан, Абай впивался в

него взглядом. Нежный румянец, заливавший щеки, без слов выдавал глубокую тайну ее сердца. Казалось, что вместе с Тогжан ее окрыленная душа летит навстречу любимому, с каждым новым взлетом качелей повторяя; «Я с тобою навеки! Что может разлучить нас?» Песня соединяла их сильней и ближе самого крепкого объятия. Это была певучая радость — радость двух сердец, рвущихся друг к другу и торжествующих в своем победном слиянии. «Смотрите на нас! Посмейте осудить нас!»— говорила их песня. Это был вызов окружающим их людям, звездному небосклону с его сияющей луной, всей вселенной.

Песня Тогжан лилась уверенным, неудержимым потоком. На лице девушки светилось безмятежное счастье. Она неотрывно глядела на Абая и улыбалась, сияя всей нежностью, всей чистотой своего чувства, благодарная любимому за то, что он приехал, что разыскал ее в окутавшей ее серой мгле. Черные брови, тонкие, словно крылья ласточки, то разлетались мягко и приветливо, то мгновенно сдвигались над глазами.

Абай сперва говорил о своем чувстве лишь звуками волнующего душу напева, потом слова — живые, открытые, смелые — победной волной влились в звонкую струю песни: «В родниках души своей долго таила любимая сокровенные мысли, скучая о друге, — перестанет ли она теперь упрекать его? Вот он пришел, твердый, решительный, всю сияющую вселенную принес ей — все свои мысли, счастье и мольбу, — что скажет она ему? Если и теперь бессердечная, она отвергнет его порыв, — где же в мире жалость, где справедливость? Беспощадная, не порвет ли она нежнейшую нить его надежды? Так ли виновен ее любимый, чтобы жестоко карать его?»

Песня несла па своих крыльях затаенные мысли Абая. Тогжан подпевала ему, с трепетом слушая тут же рожденные слова. Ей они были понятны. Она склонила голову, опустила вниз свои чудесные черные глаза и вдруг умолкла.

Абай продолжал один. Он спел четыре строфы своей песни на полный трепетного волнения напев «Белая березка» и замолчал на тихой, низкой ноте. В эти строфы он вложил все — все тайные думы, скрытые им в глубине сердца, все неугасимое пламя души поэта и влюбленного, объятого печалью. Ербол не узнавал своего друга: Абай преобразился — казалось, что он, огромный и сильный, парит, распластав в небе могучие крылья.

Пение смолкло. Абай, сойдя с качелей, отошел в сторону. Карашаш говорила что-то, восхищаясь его пением, — Абай только улыбался в ответ… Его мысли были так далеко! Он не понимал ее слов.

Молодежь продолжала веселиться у качелей. Теперь Ербол затеял новые игры: ак-суек — бросание кости, а потом серек-кулак — волк и ягнята. Волком, который должен ловить ягненка и мчаться с ним в сторону, взялся быть сам Ербол. Абай, шутливо болтавший с двумя девушками, согласился быть одним из ягнят.

Ербол оказался очень неглупым волком. Сперва он утащил двух или трех девушек, отвел их в сторону, а потом схватил Абая. Таща свою добычу, он на бегу шепнул ему:

— Спрячься в лозняке и жди меня. Сейчас утащу Тогжан… — И он понесся обратно.

Абай остался в кустарнике, ожидая похищения Тогжан. Ему не пришлось ждать долго, — Ербол тотчас же схватил ее, но на этот раз утащить добычу оказалось не так-то легко, — за ним бросилась целая толпа преследователей во главе с Коримбалой, кричавшей что было сил. Ербол отвел Тогжан в сторону, поставил ее поодаль от того места, где стоял Абай, к шепнув ей что-то на ухо, помчался обратно.

Сквозь темную листву зарослей свет луны проникал бесчисленными серебряными лучиками. Абай сам не заметил, как очутился возле Тогжан.

Они бросились друг к другу, и девушка со слезами упала в его объятия. Плечи ее дрожали, точно в порыве неизъяснимого страха.

— Не плачь, Тогжан, — умолял Абай. Он поцеловал ее и на мгновение прижал к себе.

Она подняла на него взгляд.

— Обними меня… Я так соскучилась…

— Тогжан) Где ты? Не уступлю тебя волку! Иди сюда! — донесся до них звонкий голос Коримбалы.

Абай быстро привлек к себе Тогжан и поцеловал, прикоснувшись губами к ее горящему лицу. Смех Коримбалы приближался, Абай поправил шапку Тогжан и шепнул ей:

— Жди меня завтра…

Луна, пробравшись сквозь густую листву, сверкающими кружочками отразилась в глазах Тогжан и заблестела в крупных слезах, дрожащих на длинных ресницах девушки. Но, когда Коримбала подбежала к ним, они оба стояли рядом, спокойные, ничем не выдавая обуревавшего их волнения. Коримбала, гибкая, веселая, быстро приблизилась к ним. Шапка у нее съехала набекрень, живая улыбка обнажала сверкающий жемчуг зубов. Э-э, вот вы где!.. Я-то боялась, что волк разорвет моего ягненка! А выходит, что надо бояться, как бы его не съел другой ягненок! — расхохоталась она и склонила свою голову на плечо Тогжан.

Шутка шаловливой девушки была безобидной. Но Коримбала не умеет молчать — начнет болтать и там, в толпе… Абай вздрогнул от этой мысли.

— Вини не нас, а волка, Коримбала, — попробовал он отшутиться. — Нас постигла злая судьба, мы попали в зубы волку — вот ждем тут, когда он нас съест!..

Но Коримбала не унималась.

— Рассказывай, рассказывай!.. Что-то тут дело не чисто, признавайся!

Эти слова были еще опаснее. Тогжан вмешалась.

— Перестань, Коримбала! Надо знать меру, — что ты болтаешь? — с досадой сказала она.

Коримбала быстро обернулась и бросила на Тогжан недовольный взгляд. Абай, заметив это, решил действовать спокойным убеждением.

— Люди любят посплетничать, милая Коримбала! Необдуманное слово может повредить твоей подруге. Не лучше ли избегать таких шуток?

Коримбала поняла Абая и снова рассмеялась, но теперь в ее смехе слышалось смущение. Это был смех простодушного, чистого сердцем ребенка, нашалившего и испуганного. Неужели она обидела Тогжан!.. Она бросилась обнимать ее и, идя рядом, повторяла:

— Ну, полно сердиться! Я больше не буду!

Все трое пошли вместе и присоединились к остальным. Игры еще продолжались, но Абай и Ербол не стали задерживаться. Они сказали, что должны уехать ранним утром, поблагодарили за радушный прием и ушли, не дождавшись угощения.

На следующий день, подтверждая свои слова, оба направились на Баканас. Юноши остановились в ауле Каратая и пробыли там до вечера. Только в сумерки, когда жизнь аулов затихает и люди собираются по юртам, они вернулись обратно.

Они приехали тихо, без шума. Даже собаки не заметили двух промелькнувших всадников. Так же тихо, беззвучно проскользнули они в юрту Ербола, стоявшую на краю аула.

Ночью, когда все погрузилось в крепкий сон, Абай и Ербол, точно воры, где — нагнувшись, где — ползком, добрались до юрты Асылбека. Запахнув за собой наружный войлок, они стали осторожно открывать внутреннюю дверь. В юрте кто-то еще не спал — там звенело шолпы. Кроме Тогжан и Карашаш носить шолпы в семье было некому.

Жигиты не ошиблись. Знакомый голос шепнул им:

— Тише! — и женщина сама открыла дверь.

В юрте было темно. Тот же едва слышный голос сказал:

— Абай?

Абай протянул руку. Это была Карашаш. Она поймала руку Абая и, ведя его к переднему месту, шепнула Ерболу:

— Уходи теперь… Он вернется один… Ербол тихо вышел из юрты.

Протянутая вперед рука Абая коснулась шелкового эанавеса. Горячие пальцы Тогжан дотронулись до его щеки… Они бросились друг к другу в объятия и замерли в безмолвном поцелуе. Трепещущее дыхание их слилось в одно, губы сомкнулись, чтобы, казалось, никогда не разъединяться…

Тихая летняя ночь пролетела быстро. Восток окрасился первым лучом новой зари, когда Абай и Ербол выехали из Жанибека.

Аул остался далеко позади. Луна уже зашла, редкие звезды бледнели и гасли. Жаворонки, взвившись над землею, ныряя и кувыркаясь, заливались звонкими трелями.

Сердце Абая трепетало обновленным чувством. Он запел полной грудью.

В песнях его, нежных и волнующих душу, была и радость, наполнявшая его грудь, и тихая грусть. Он пел, пел без конца, легко, свободно — и слова, неведомые ему до той минуты, лились, как родник, неповторимый в своем течении…

Какой дорогой он ехал? Как прошел его путь? Разве он знал это? Перед ним показались купола белых юрт… Он замолчал и повернулся к Ерболу.

Тот смотрел на него с улыбкой: разве для него было тайной то, что звенело в каждом звуке этих напевов? Абай придержал коня и обнял его.

— Не осуждай меня, Ербол… Давно я слышал о счастье, о радости, но до этой ночи я не знал, что значат эти слова. Я не изведал их, не пережил… Да что говорить тебе? Ты сам все видишь и понимаешь! Разве в этих песнях я не открыл всех тайников моего сердца?

Увидеть Тогжан ему больше не удалось. Дошли ли до Адильбека какие-нибудь слухи, или сам он стал что-то подозревать, но, вернувшись в аул и узнав о появлении Абая на вечерних играх, он разбушевался:

— Чего он к нам приезжал? Что ему надо? Был бы я здесь, он бы живым не ушел!

Абай помрачнел. На луну набежали тучи. Раздражать людей, и без того враждовавших с отцом, было опасно. Тем временем аулы откочевали с этого жайляу и расположились далеко друг от друга.

Подавленный тяжелыми мыслями, Абай чувствовал себя одиноким и несчастным; кругом стало так темно, точно кто-то задул светильник в его руках. Абай заметно похудел, как будто его мучил непонятный недуг.

Родные забеспокоились. Чтобы развлечь Абая, они решили опять послать его к невесте. Абай повиновался молча, душа его оставалась холодной и поникшей. Он поехал в Бошан в покорном отчаянии — так изгнанник едет в далекую ссылку.

Он провел там полтора месяца и вернулся с Дильдой.

Приближалось время возвращения на зимовья. Абай был слишком погружен в свои мысли и слишком долго отсутствовал, уезжая за невестой. Он совсем не знал, что происходило кругом, в его родных аулах.

Осенью Кунанбай возобновил нападения на соседей. Первой жертвой оказался Кулиншак, — Кунанбай не мог простить ему избиения своего брага Майбасара, а также и того, что в решительный час Кулиншак перешел на сторону врагов и откочевал к котибакам.

Выждав удобный момент, когда аул Кулиншака, двигаясь на свое зимовье, оказался вдали от жигитеков и котибаков, Кунанбай внезапно нагрянул на него

и не постеснялся забрать у врага весь скот и ценное имущество.

Но и этого Кунанбаю показалось мало: он сумел добиться ссылки в Семиречье двоих из «пяти удальцов»— Кадырбая и Наданбая, а третьего сына Кулиншака поселил на окраине аула Жакипа как заложника. «Кулиншак избил моего сына, опозорил брата!»—говорил Кунанбай в свое оправдание. Проделав все это, Кунанбай, как всегда, собрал старейшин родов, устраивал бесконечные пиры, не щадя отборных отгульных баранов.

Когда Абай вернулся, все как будто уже успокоилось, но аулы родичей были угрюмы и молчаливы: они таили непримиримую злобу. Назревала буря.

В ВЫШИНЕ

1

Прошло несколько лет. Через год после свадьбы у Абая и Дильды родился первый сын — Акылбай, потом дочь — Гульбадан. Теперь ей было около года, и Дильда снова недомогала, ожидая третьего ребенка.

Абай все еще не мог привыкнуль к мысли, что он теперь — глава семьи. Это послужило причиной того, что Улжан взяла Акылбая к себе и растила его как сына. Мальчик уже говорил, но никак не хотел признавать Абая отцом, — Абай оставался для него «чужим», кто приходит в Большой дом только пообедать и потом исчезает. Абай и сам не чувствовал к сыну ни любви, ни привязанности: он родился слишком рано, и с его появлением на свет, казалось, ушла юность Абая.

Абаю было всего семнадцать лет, когда появился первый ребенок. Женитьбу свою он принял как неотвратимое испытание, ниспосланное богом. Отцовство, последовавшее за нею, показалось ему не то злой шуткой судьбы, не то чьим-то грубым насилием над ним самим. Для него были мукой восклицания, сыпавшиеся со всех сторон в день, когда родился Акылбай.

— У тебя ребенок!.. Вот ты и отцом стал!.. Благослови бог!.. — приставали родные, окружив Абая.

Он не знал, что делать, — краснел, смущался и наконец вскочил на коня и исчез из аула, вернувшись дней через пять, когда первые восторги родных утихли.

Абая не трогала и маленькая Гульбадан. Она тоже целые дни проводила в Большом доме у матерей, которые ласкали и лелеяли ее. Похожая на Дильду лицом и плаксивая не в Абая, эта беспокойная крошка попадала в Молодой дом только к вечеру к потом всю ночь напролет кричала, как бы стремясь хоть этим добиться внимания отца. Но тот только вздыхал.

— Ой, боже мой, ее крик заставляет вскакивать по ночам, будто жало скорпиона, вонзившееся в тело! — сетовал он. Он так и прозвал девочку: «Желтый скорпион».

В тот вечер «Желтый скорпион» опять кричал. Солнце зашло, в доме было темно, но Дильда не зажигала света; не разбирая постели, она прилегла у кровати на одеяле. Гульбадан, только что принесенная от матерей, не желала спать и снова подняла шум и надоедливый рев.

Абай вошел в комнату с несколькими друзьями. Завывал буран. Снег густым слоем покрывал одежду жигитов. Они вошли в дом один за другим и сразу наполнили комнату холодом. Услышав шаги и почувствовав струю морозного воздуха, Дильда подняла голову. Абай, сбивая в дверях снег с шубы, сказал ей:

— Дильда, зажги-ка огонь… Да успокой эту неугомонную или отнеси ее в Большой дом…

Дильда зажгла светильник, разостлала гостям одеяло и взяла на руки Гульбадан. В комнату вошла служанка, пошепталась с Дильдой и занялась приготовлением угощения.

С Абаем приехали его друзья — Ербол, Жиренше и брат Тогжан — Асылбек, с которым Абай за эти годы очень сблизился. С ними вошел и Базаралы — сын Каумена. Хотя он и был из враждебного Кунанбаю рода жигитеков и в памятный день избиения Божея защищал того с оружием в руках против иргизбаев, Абай сейчас дружил с ним, привлеченный его смелостью, умом и тем, что Базаралы всегда высказывал свое собственное мнение. Среди друзей Абая он был самым старшим — ему было около тридцати лет.

Базаралы прошел вперед, снял верхнюю одежду и грустно сказал, опускаясь на одеяло, разостланное на полу:

— Боже мой, что делают эти морозы! Опять буран!.. Все время буран! Джута никому не миновать. Вконец разорит нищие аулы!..

Он охватил ладонью длинную черную бороду и так и остался сидеть молча.

Дильда поставила низкий круглый стол, и жигиты расселись за ним.

За эти годы Абай сильно изменился. Он стал широкоплечим, мускулистым. Его статной крупной фигуре (он был выше среднего роста) соответствовали и резко определившиеся черты лица. Прямой тонкий нос казался большим. Высокий открытый лоб расширялся у висков. Глаза, продолговатые и немного выпуклые, были по-прежнему чистыми. Их неугасимое пламя, горевшее под тонкими длинными бровями, придавало всему лицу Абая запоминающееся выражение, отличавшее его от других. Темные усы только начали пробиваться

на его смуглом лице, раскрасневшемся сейчас от мороза.

Абая нельзя было назвать красивым, но весь облик его сразу располагал к себе собеседника.

Собравшись в Молодом доме, жигиты могли бы весело провести вечер, но полные тревоги слова Базаралы заставили всех задуматься.

Молодежь уже третий день проводила вместе. Только Базаралы присоединился к ним сегодня, приехав из горных аулов, где было много зимовок. Абай стал расспрашивать о них:

— Ну как, очень там силен джут? Везде он или только в отдельных местах? Народ сильно бедствует?

Асылбек, Жиренше и Ербол так и впились взглядом в Базаралы, ожидая ответа. Слова его прозвучали безнадежно.

— Разве джут выбирает, кого ударить? Везде беда, джут ужасный, скот так и мрет… Когда мы говорим «народ», это означает большинство, и бедствует сейчас большинство. Буран свирепствует уже третий день. Люди надеялись, что скоро наступит весна, станет теплее, но буран и мороз разыгрались, как лютой зимой. Вряд ли кто уцелеет…

— Но ведь падают только овцы, а как крупный скот? — спросил Жиренше. Он все еще надеялся, что хоть часть скота перенесет бедствие.

Базаралы пожал плечами.

— В стадах Тобыкты его мало, — все больше овцы и лошади. А коровы оказались даже слабее овец, верблюдов джут тоже легко валит. Нет, где уж тут чему-нибудь уцелеть…

Весь вечер жигиты говорили лишь о надвинувшемся бедствии. Дело не только в том, что мрет скот, — начинают голодать сами люди. В Чингизе Базаралы видел, как в поисках пропитания беднота бродила по зимовьям. И сюда, в Жидебай, уже начали заходить бедняки. Старики и старухи не раз побывали в доме матерей Абая. Им давали мяса — на одну-две варки, пшеницы, проса.

— Неужели джут разорит всех и никто не уцелеет? — со вздохом сказал Жиренше.

Базаралы посмотрел на него.

— Найдется горсточка. Бывает же у вороного кони белая отметина на лбу… И у иргизбаев, и у котибаков, и у жигитеков есть аулы, имеющие хорошие пастбища, обильные земли… Эти и сейчас горя не знают.

Ербол присоединился к нему: меньше всего почувствуют джут иргизбаи — у них и зимовья прекрасные и сено запасено с осени, он сам видел…

Абай сидел молча. Теперь он тоже вмешался в разговор.

— Кого спасет благополучие одних иргизбаев? Кого это утешит? — сказал он.

— Оказалось, кто силен, тот и в теле, — усмехнулся Базаралы. — Земли,

добитые Кунекеном, выручают иргизбаев.

Абай нахмурился и быстро повернулся к нему.

— Боже мой, что же говорить о землях, нажитых насилием? Разве это земли? Это — слезы ограбленных!

Сдержанное негодование звучало в его словах. Асылбек и Жиренше одобрительно улыбнулись.

— Так, Абайжан! Ты сказал то, что в душе у каждого, но чего не осмеливался сказать ничей язык…

Базаралы, угрюмый, удрученный тяжелыми мыслями, тоже посветлел.

Абай говорил откровенно. Этих жигитов он считал друзьями и делился с ними самыми сокровенными своими мыслями, особенно с Ерболом, с которым за последние годы он стал неразлучен. Жиренше и Асылбек тоже подружились с Абаем и часто проводили с ним время. Кунанбаю эта дружба не нравилась, он не раз резко высказывался о сыне: «Он, как нарочно, выбирает волчат из аулов, которые недавно враждовали с нами… Хороши друзья!» И он морщился, недовольный Абаем.

С тех пор как Абай начал задумываться над поступками отца, его потянуло к дружбе с лучшими людьми из аулов, обиженных Кунанбаем. Благодари им он все яснее стал разбираться в жизни народа, в его ожиданиях и стремлениях. Жиренше и Асылбек были старше Абая лет на пять, но это не мешало их дружбе с ним и полной откровенности, — они передавали ему все, что слышали от стариков, и все, что волновало и тревожило их самих.

Один Базаралы до этого вечера не принимал участия в их дружеских разговорах. Он был убежден, что в бедствиях народа был больше всего виновен сам Кунанбай. Те аулы, которые он поддерживал, перегнали свои стада на урочища рода Иргизбай и, разумеется, уберегут их от падежа. А роды малочисленные, безыменные, слабые мечутся без выхода, стада их блуждают по мертвой степи, гонимые голодом… Но до сих пор он никому не высказывал своих гневных мыслей.

Теперь, услышав слова Абая, Базаралы не стал больше сдерживаться. Перебирая причины всех этих бедствий, он сказал:

— Что такое народ? Сила — при раздорах с соперниками, прах — когда сам в нужде. В битвах победа куется его руками, а при дележе в эти руки попадает лишь пыль от прогоняемых мимо награбленных стад… Так и гибнут люди, безвестные, безыменные. Вот и теперь они усеют белеющими костями всю степь. Дрогнет ли сердце хоть у одного из тех, кого вчера еще величали «лучшими», «оплотом»? Кто из них опечалится, кто заступится?

Абай был поражен искренним сочувствием народу, прозвучавшим в словах Базаралы. Думы его изумили Абая глубиной и силой своей правды, прорвавшейся сейчас так горячо и красноречиво. Богатырски сложенный, красивый Базаралы, смелый и острый на язык, превосходный певец, считался у

старейшин «неугомонным забиякой»… «Конь, отбившийся от табуна, — говорили о нем старики. — Слова его пусты, хотя едки и язвительны…» Сейчас Абай убедился, что Базаралы вовсе не таков.

Жигиты сидели угрюмо. Но тот же Базаралы, который заставил их задуматься, упрекнул их.

— Настоящий человек, в ком есть честь и воля, заслоняет собой тех, кого гонит буран, — сказал он, — Кунекен ничем не хотел жертвовать для народа в дни благополучия. В час общего бедствия он должен поделиться хотя бы излишками… Пусть даст стадам пастбища, пусть приютит несчастный народ в своих зимовьях! Пусть поделится своими запасами. Если уцелеют только одни иргизбаи да Кунекен и Байсал, Байдалы и Суюндик — им и самим не будет раздолья. Если народ останется лишь с уздечками в руках, он не сможет покинуть родные земли, не рассчитавшись с ними. Он уйдет, — но уйдет, как смерч: разметав все юрты… Он был бы не народом, а зайцем, если бы не сделал так!..

Жигиты снова задумались. Но Асылбеку показалось, что Базаралы не совсем прав.

— Джут бывал во все времена, — начал он, — это обычное, неотвратимое бедствие. Разве в джутах виновны люди, да еще те, кто живет теперь? Ты всю вину валишь на одного, это несправедливо.

Слова Асылбека вызвали в Базаралы отвращение. «Скользкий, как его отец Суюндик», — подумал он про него, но спорить не стал; он только поднял брови, взглянул на Асылбека и пренебрежительно качнул головой.

В комнату вошли три человека. Они едва держались на ногах, одежда их была засыпана снегом, с усов и бороды свисали ледяные сосульки: у первого из вошедших — высокого пожилого человека в овчинном тулупе — даже ресницы были запушены инеем.

Это был Даркембай с двумя своими соседями — бокенши, тот самый Даркембай, который хотел застрелить Кунанбая в Токпамбете, когда избили Божея. Впоследствии об этом узнало все Тобыкты, и с того дня Иргизбаи не переставали всячески притеснять его, стараясь, как только могли, вредить и досаждать ему.

Даркембай не стал раздеваться. Он пришел по спешному делу.

— Свет мой, Абай. — начал он, — я услышал, что ты добр к сородичам, потому я и пришел. Будь ты Такежаном, я бы не появился. Беда пригнала меня… Овец у меня и вот у них — по двадцать, много по тридцать голов, и с этой горсточкой мы не можем найти себе пристанища… Так и плетемся, шатаясь. На наших выгонах — ни травинки. Овцы мрут с голоду. Сейчас по дороге пало пять овец.

— Почему же ты не двинулся на Чингиз? На худой конец там хоть горы защитят от бурана, — вмешался Асылбек.

— Ойбай, буран как раз идет с Чингиза! Разве заморенный скот гонят против ветра? Да Чингиз и далеко! А вот Мусакул и Жидебай близко, в путь к ним по ветру. Если бы владельцы разрешили, так на выгонах Мусакула и Жидебая корму хватило бы на несколько отар! Я бы разгребал снег и пас овец… Там скот не может погибнуть — место тихое, для овец спасенье… Последняя надежда — может быть, разрешат мне пригнать туда скот? Абай понял всю безвыходность его положения.

— Правильно! Ну и пасите там! — сразу решил он.

— Так-то так, свет мой, — вздохнул Даркембай, — но как же быть: едва добрались до Мусакула, навстречу выехал Такежан, погнал нас обратно. С ним и кровопийца Жумагул. Грозили плетьми, велели убираться… Вот я и пришел к тебе. Уж если суждено мне потерять последнее — пусть, думаю, хоть он узнает, что его беспомощные родичи обречены на гибель!

Абай, даже не дослушав Даркембая, коротко сказал Ерболу.

— Одевайся потеплее, Ербол, и садись на коня! А вы возвращайтесь к стаду! Дильда, вели дать им с собой еды!

Дильда тотчас же вышла из комнаты.

Абай передал через Ербола салем Такежану: пусть не трогает их, пусть предоставит выгон их маленькому стаду и укротит Жумагула. Ербол быстро оделся и отправился вместе с Даркембаем.

Такежан зимовал в Мусакуле. Он женился раньше Абая и в том же году отделился. Он оказался ретивым хозяином и ревниво оберегал землю. Чабаны рассказывали, что, когда никто не видел, он отгонял с пастбищ даже скот своих матерей. В этом году Абай все чаще слышал о недостойных поступках своего старшего брата и возмущался ими.

Ербол вернулся глухой ночью в самую стужу и буран. Он вошел злой, весь в снегу; его короткая густая борода заиндевела, широкий нос покраснел от мороза. Острый взгляд темных глаз не скрывал обиды и негодования. Не снимая малахая, он опустился на колено и начал стряхивать снег с бороды.

— Скорей сам черт поможет кому-нибудь, чем Такежан! — начал он. — Он кричит, что ногой ступить не даст чужому стаду ни в Мусакул, ни в Жидебай… И послал Жумагула: бей, мол, Даркембая и гони прочь! Тот, конечно, и рад: прискакал, проклятый, и отгоняет овец…

— Как же Даркембай? Что он будет делать?

— А куда ему деваться в такую ночь, да еще в буран?

— Чем умирать бродягой, лучше уж умереть под плетью Жумагула! — заговорили Жиренше и Базаралы, не сдерживая возмущения.

— Второй такой собаки, как Жумагул, пожалуй, больше нигде не найдешь! — продолжал Ербол. — Бог так и создал его посыльным волостного, чтобы он мучил народ. «Пойми, подожди хоть до утра», — сказал я, а он в ответ только обругал меня…

Ербол не стал рассказывать всего, что произошло. На самом деле Такежан резко обругал и Абая, а Жумагул даже кинулся на самого Ербола, собираясь бить его. Но Даркембай вскипел тоже: он загородил Жумагулу путь и закричал: «Руки прочь, ты! Или один из нас кровью поплатится!»— и посыльный отъехал в сторону.

Рассказать об этом Абаю — значило поссорить братьев. Ербол не выносил вражды между родными и предпочитал в таких случаях терпеть. Он твердо решил, что никогда не допустит Абая до крайности. Случалось, что Абай узнавал о чем-нибудь много спустя и принимался упрекать Ербола, почему тот не сказал ему раньше, но и после этого Ербол по-прежнему обо всем молчал, оберегая друга от неприятных переживаний.

Но на этот раз чувства, переполнявшие Ербола, не могли укрыться от Абая. Зная нрав своего друга, он не стал допытываться, ему и так было ясно, что за этим скупым рассказом скрывается еще много гнусностей Такежана и Жумагула. Он вскипел. Его бледное лицо угрожающе потемнело. Несколько секунд он, не мигая, пристально смотрел на Ербола, что-то сосредоточенно обдумывая, потом внезапно вскочил с места.

Остальные жигиты продолжали сидеть, несколько растерявшись, — они не могли понять, что он собирается делать.

Абай, задыхаясь, заговорил сквозь зубы:

— Вставай, Ербол! Поедем со мной! — и начал торопливо одеваться. Он набросил на себя легкую шубу, крепко подтянул пояс, взял плеть и, резким движением распахнув дверь, быстро вышел из комнаты.

Ербол последовал за ним.

Два серых коня, прижавшись к стене и отворачиваясь от порывов ветра, стояли около дома наготове, под седлами. Абай отвязал первого, легко вскочил на него и, с места взяв вскачь, утонул в воющем, взметавшем сизые волны буране. Ербол поскакал за ним.

Жумагул успел собрать всех овец Даркембая к его спутников и, хлеща их плетью, гнал с пастбища. Но промерзшие, голодные овцы только сбивались в кучу. Жумагул, обозленный, последними словами ругал и овец и самого хозяина стада, Даркембая; его друзей, которые плелись в сугробах, он как будто вовсе не замечал.

Несколько овец-одногодок, выбившись из сил от голода и свирепого бурана, упали, уткнувшись мордами в снег, и больше уже не могли подняться. Даркембай хотел было броситься на Жумагула, но тот, ловкий и изворотливый, носился как ветер на своем сытом коне, то с той, то с другой стороны наскакивав на овец и сбивая их с ног. Если бы эти кроткие животные умели молить бога, в этот ледяной буран под беспощадными ударами врага они молили бы только о смерти.

Когда Майбасар перестал быть волостным, Жумагул тоже лишился

должности посыльного. Он вдруг потерял свою силу, как выхолощенный жеребец. «Жумагул с ума сходит. Он даже барана богу пообещал, только бы с кем подраться, а все не получается». — подсмеивался над ним старый Жумабай. Но за последние два года Жумагул нашел-таки место по душе: Такежан взял его себе в нокеры. Правда, у Такежана не было прежней власти и силы, но зато в осеннее и зимнее время он, как цепной пес, сторожил землю. И тогда жестокость, проявляемая ими обоими по отношению к беззащитным мирным аулам, не уступала зверствам любого волостного и посыльного. Они избивали чабанов, угоняли стада, ловили коней из чужих табунов. Родичи трепетали перед ними и часто принуждены были умолять о пощаде.

Для Жумагула и Такежана, искавших стычек, случаи с Даркембаем бил просто находкой. И кто же им попался? Тот самый Даркембай, на которого они давно точили зубы! Посылая Жумагула, Такежан весь кипел злобой: «Сам бог отдал Даркембая в мои руки— Даркембая, моего давнего врага!..»

Помня эти слова, Жумагул с яростью наскакивал на овец, проклиная и ругая всех предков Даркембая. Но в тот самый миг, когда он сшиб с ног еще одного барана, из сизого снежного тумана вылетели двое верховых. Они точно ждали в засаде, скрытые бураном.

Всадники подскакали к нему вплотную в полном молчании. Они ни о чем не спрашивали, не возмущались, не спорили с Жумагулом. Первый из них на всем скаку ухватился за его повод. Жумагул злобно закричал и хотел было пустить в ход плеть.

— Очнись, злодей! — в бешенстве крикнул ему Абай. Жумагул узнал Абая, но свой оказался для него хуже врага: Абай со всего размаху хлестнул его плетью по голове. Жумагул рванул коня и хотел ускользнуть, но Абай, намотав повод на левую руку и не давая тронуться с места, молча продолжал беспощадно хлестать его; рука у Абая была тяжелая, плеть работала не хуже дубины. Жумагул не вытерпел этого позора и, предпочитая смерть, хотел наброситься на Абая. Но Ербол точно ждал этого момента. — он вылетел вперед и удержал Жумагула.

— Да пошлет вам бог счастья! — закричал сзади Даркембай. — Не все еще люди на свете стали волками!.. О боже, дай его в мои руки! — И Даркембай, подбежав, так дернул Жумагула за полу, что тот, словно гнилой пень, свалился с коня в снег.

Абай приказал повернуть стадо и гнать его снова на Мусакул. Овцы, подгоняемые хозяевами, добрались до защищенного от ветра пастбища, где сугробы даже не заваливали травы.

Поблизости стоял стог сена. Абай велел подвести стадо туда. Завидя сено, овцы сами побежали к нему. Даркембай испугался: выходило, что он не только самовольно загнал стадо в урочище, но и поставил скот к стогу Кунанбая.

— Назад, назад! Не пускайте к сену! — закричал он на своих погонщиков.

Абай сурово окрикнул его:

— Не мешай! Пусть едят! Гоните к стогу! Чего боитесь?

Овцы подбежали к стогу и уткнулись мордами в сено. Они жадно припали к нему и замерли на месте.

— До утра никуда их не гони! Не трогай, пока не пройдет буран. Я такой же хозяин этого сена, как и Такежан! — распорядился Абай. — Пусть оба твоих товарища остаются с овцами, стадо от них не уйдет. А ты садись на коня — вот на этого, на такежановского, на коня скряги и насильника! — и скачи что есть сил! Извести окрестные аулы. Скажи всем, что я прислал тебя. Пусть аулы, где овцы отощали так, что не могут добраться до Чингиза, гонят стада сюда, в урочища моего отца. Пусть захватят с собой лопаты и кетмени! Скот спасают в тихих местах — пусть разгребают снег и пасут его здесь. Всем родам передай: торгаям, жигитекам, карабатырам, бокенши, — всем, кто поблизости. Если придется бедствовать — будем делить горе вместе! Отправляйся! Скачи! Всех собирай!

Даркембай вскочил на коня. Абай угрожающе крикнул Жу-магулу:

— Чтоб ты у меня в последний раз кидался на людей, как цепной пес, негодяй! Понял?.. А Такежану передай: пусть не глумится над голодными! Если он не знает, куда девать силу, пусть попробует ее на мне!.. Так и передай хотя бы он лопнул от злости! Ступай! Пешком ступай! — приказал он.

Жумагул поплелся пешком к Такежану.

Абай и Ербол поскакали в Жидебай навстречу ветру. Буран не ослабевал, ветер продолжал остервенело метаться и со страшной силой бил им в лицо, снег слепил глаза.

К утру ветер стих, буря и снег улеглись. Багровое солнце выглянуло из-за перевала. Казалось, оно поднялось после тяжких мучений: огненные полосы, точно струи крови, протянулись в морозной мгле с обеих его сторон. В воздухе висела снежная пыль. Неугомонный ветер, бешено носившийся по степи несколько суток, все еще не мог смириться до конца и нет-нет вздымал упрямую поземку. Наконец и он затих, но в этой тишине мороз был только страшнее; казалось, сам воздух трещал от стужи.

Даркембай понимал цену поручения Абая. Ночь напролет он не сходил с коня. «Передай таким же, как ты». — эти слова Абая запали ему в сердце. Он мчался с поручением Абая ко всей безземельной бедноте родов Карабатыр, Торгай, Борсак и Жуантаяк. Он объезжал тех, кто имел скудное хозяйство, не больше тридцати — сорока голов овец, и не пропустил ни одного бедняка вблизи богатых урочищ Мусакул и Жидебай.

Когда в холодную буранную ночь стучит в окно путник, весть, которую он несет с собою, обычно бывает холодна, но весть, принесенная Даркембаем, окрыляла надеждой.

Буран кружил уже третьи сутки, заметая пастбища, и народ был уверен, что

он унесет с собою последнее достояние. Буря неистовствовала, с ревом и свистом билась в окна и отгоняла сон. Беднота изнемогала. Старики молили создателя о пощаде. Ни мужчины, ни женщины, ни дети — никто не раздевался и не знал покоя ни днем, ни ночью; то и дело они обходили и осматривали загоны, где стоял их жалкий скот.

Стоило где-нибудь выглянуть из-под снега веткам дикой акации, они срубали их и приносили домой; они срезали верхушки тростинка и притаскивали его. А если не находили вокруг ничего, срывали камыш с крыш ветхих сараев и тоже отдавали скоту. Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная на крыле ласточки. Кому дать — овцам ли, ягнившимся до общего окота? дойным коровам? или, наконец, единственному верблюду?.. Кому ни дай — все равно мало. Спасти скот, от которого зависела вся их жизнь, это не могло.

Ждать же помощи от тех, кто владел обширными землями и запасся сеном и кормами, им и в голову не могло прийти.

И вот в такую ночь, полную отчаянья, по аулам вихрем пронесся Даркембай, воскрешая а людях похороненную надежду.

К восходу солнца к урочищам Кунанбая со всех сторон потянулись стада. Абай и Ербол были уже на конях. Они скакали навстречу людям, пригнавшим стада — горсточки овец, по три-четыре коровы, за которыми плелись женщины, старики и мужчины…

На овец, высохших от голода, было страшно смотреть. Шерсть их свалялась, к бокам желтыми комками примерз помет. Козы, истощенные, шатающиеся, падали с жалким блеянием и дохли на месте. По дороге от зимовий до урочищ иргизбаев большинство аулов оставило печальные вехи, — сверкающий снег был усеян темными пятнами — трупами павших животных.

Говорят, что овцы выдерживают голод в течение шести суток. Судя по огромному падежу, эти стада голодали давно и окончательно истощали. Еще два-три дня, и овцы полегли бы все до единой.

Они с трудом передвигали ноги в глубоком снегу, поэтому погонщики пускали вперед какую-нибудь лошаденку, верблюда или корову, а овец гнали позади. С голоду овцы жевали хвосты коров и лошадей.

Люди, сопровождавшие эти заморенные стада, тоже были бледны, угрюмы и обессилены. Они брели как тени, с бескровными лицами. Лица пожилых покрылись сетью глубоких морщин. Их нищенская одежда была вся в лохмотьях. Не только женщины, но и бородатые мужчины закутали головы в старое дырявое тряпье. Большинство из пришельцев было обуто в старые войлочные чулки без сапог. Но, едва дойдя до урочища, все они сразу кидались расчищать снег.

Все три урочища Кунанбая славились густыми зарослями тростника, шенгеля, чия и шиповника. Буран намел сугробы только по краям пастбища, а в середине их снег не был глубоким и рассыпался под ногами, как песок. Где бы

ни принимались разрывать его, везде находили пышную, густую траву.

Дорвавшись до корма, скот начал жадно восстанавливать свои силы. К полудню Абай и Ербол распределили большинство стад. Прибыло более пятидесяти аулов. На тех пастбищах, которые Такежан ревниво оберегал от какой-нибудь жалкой коровенки, сегодня разместилось свыше тысячи голов овец. Крупного скота было не много.

Тяжелые думы одолевали Абая при виде дрожащего от холода скота и исхудалых, угрюмых людей. Летом из просторных жайляу, в самое обильное время года, казалось, что народ обеспечен и достаточно жизнеспособен, но джут раскрыл всю его бедность к беспомощность.

Ведь большинство хозяйств владеет лишь двумя-тремя десятками овец и тремя — много четырьмя — головами крупного скота. И этот скот должен пропитать своих владельцев в течение круглого года: он служит тягловой силой, его бьют на котел, продают на нужды хозяйства, он дает одежду и покрывает все расходы домашнего очага. Даже когда этот скот и не терпит урона — какое убожество и скудость!.. И такую жизнь называли — благополучием народа»?.. Как же назвать ее теперь? Вот нагрянула нужда, бедствие, джут — и Абай своими глазами убедился, какое жалкое существование влачит родной народ.

Сердце его обливалось кровью при виде изможденных людей, пригнавших стада и забившихся в кусты, как зайцы.

Он еще раз объехал стариков, пришедших из окрестных зимовий.

— Кто из вас озяб, пусть пойдет в ближайшие аулы, согреется там и поест горячего. Ведь здесь кругом родичи! Они не прогонят, не бойтесь! — говорил он им.

Старики и без того не знали, как благодарить Абая, а при этих словах им показалось, что все беды кончились.

Не возвращаясь домой. Абай объехал все аулы иргизбаев, расположенные в урочищах. Он вызывал к себе старшин аула или пожилых женщин, распоряжавшихся котлами.

— Окажите помощь родичам, пострадавшим от бедствия, — говорил он. — Готовьте горячую пищу ежедневно во всех котлах и раз в день кормите их!

Голодающие были распределены между всеми. Каждый аул принял на себя заботы о тех, кто находился поблизости.

Наконец Абай и Ербол приехали и в аул Такежана, зимовавший в Мусакуле. Такежана не было дома, — той же ночью, узнав обо всем от Жумагула, он, не объясняясь с Абаем, прямо помчался к Карашокы с жалобой отцу на самоуправство Абая.

Абай подъехал к дому Такежана и, не сходя с коня, послал туда Ербола. Жена Такежана вышла к ним, злая, бледная, стиснув зубы. Это была высокая женщина с огромным носом, сварливая и язвительная. Она допекала даже

своего мужа и держала его в руках. Черствая и бессердечная, несмотря на молодость, Каражан и в хозяйстве была скупа. Лучшей пары Такежану нельзя было и подобрать, и они быстро богатели. Это она, не одобряя щедрости Улжан, настояла на том, чтобы Такежан отделился от Большого дома. Известность и слава, которую приобрел Абай среди населения, совершенно заслонив старшего возрастом Такежана, тоже выводила ее из себя: она болезненно завидовала младшему деверю.

Абай прекрасно понимал свою невестку. Он даже не поздоровался с нею, хотя Каражан вышла ему навстречу. Он угрожающе наехал на нее конем вплотную, как ночью на Жумагула, и сразу приступил к делу:

— Я слышал, что твой муж повез на меня жалобу. За свою вину я сам и отвечу. А сейчас я приехал, чтобы поручить тебе важное дело. Ты сделаешь в точности, как я скажу.

— Какое дело?

— Аулы, расположенные поблизости от вас, погибают от джута. Эти родичи всегда косили вам сено, копали колодцы, пасли скот, работали для вас. Сейчас они бедствуют, и вы должны помочь им. Мы предоставили их стадам выгон. Свои зимовки у них далеко, да и мороз крепкий, — мы взяли людей на кормежку. На вашу долю приходится двадцать человек из четырех аулов. Корми их раз в день горячим!

— Он, что ты, милый мой! Нам самим есть нечего!

— Не лги! Еще недавно тебе привезли с караваном три мешка муки, да у тебя еще пять полных мешков пшеницы! Мясо у вас даже не тронуто… Говорю тебе — я не шучу! Поделись хоть немного с голодающими! Будешь упрямиться — хорошего не жди!

— Э, так, по-твоему, мы сами должны голодать? Абай вспылил:

— Хоть сквозь землю провалитесь!.. Только посмей не дать! Я каждый вечер сам проверять буду! Не послушаешь — пеняй на себя! Пока я здесь, у меня достаточно силы, чтобы укротить тебя! Я заставлю тебя, с позором заставлю. Поняла?

Абай замолчал и в упор посмотрел на нее. Его рука схватилась за плеть. Каражан заметила это и прекратила спор.

Еще ночью Абай послал Даркембая и его друзей ночевать в аул Такежана. Он подозвал их и опять гневно взглянул на Каражан.

— Вот Даркембай! Он будет приводить тех, кого я назначил кормиться в твоем ауле. Готовь им не только сама, а заставь всех, пусть весь аул окажет гостеприимство!

Абай повернулся к Даркембаю:

— А ты что стоишь женихом? Не мямли, слышишь? Когда будете приходить с работы — требуй пищи! Не дадут или задержат — сейчас же иди ко мне! А станешь покрывать их — так ты не Даркембай, а баба! Понял?

И с этими словами Абай поднял коня вскачь. Абай и Ербол целый день не переставали хлопотать. В Жидебай они вернулись только к вечеру. У матерей их ждали Такежан и старый Жумабай. Такежан еще ночью полетел к Кунанбаю и теперь привез его распоряжение.

Улжан вызвала Абая в большой дом. Идя туда, он заметил необычайные приготовления повсюду — вокруг домов, в кладовых, в кухнях. Везде кипели котлы и готовилась горячая пища. В трех местах были установлены деревянные ступки, и женщины толкли в них пшеницу. Как видно, Улжан взялась сама за помощь голодающим.

Первая очередь — человек двадцать — уже ела горячее. Абай не хотел стеснять их и направился прямо в Большой дом.

Он отдал салем старому Жумабаю и поздоровался с ним, на Такежана даже не взглянул. Кровные братья встретились более чем холодно. Жумабай передал Абаю салем отца.

Как видно, ночью Такежан не все разобрал от злости: он донес отцу только о случае с Даркембаем и Жумагулом. О том же, что сегодня с самого утра беднота всех окрестных аулов непрерывной вереницей стекалась на его урочище, Кунанбай еще ничего не знал: Такежан, для которого появление на его земле одного Даркембая казалось невероятным событием, не мог допустить и мысли о такой неслыханной наглости. Узнав о случившемся, он пришел в бешенство.

Жумабай сообщил: Кунанбай считает неправильным, что Даркембаю предоставлен приют на его земле. «От благодеяния, оказанного недостойному, добра не будет. В свое время Даркембай готовил пулю в мою голову. Пусть довольствуется и тем, что я оставил его в покое. Если Абай хочет благодетельствовать, пусть оказывает помощь друзьям, а не таким негодяям. Пускай отправит его обратно». Таков был приказ отца.

Абай не подчинился ему и даже не стал оправдываться.

— Отец мой говорит, что он правоверный мусульманин и всем желает добра. Первая добродетель верующего — помощь бедствующему. Я уже дал слово народу. Я кормлю их. Пусть отец не примет за своеволие и благословит меня на это! — ответил он решительно. Такежан и так едва сдерживал кипевшую в кем злость. Здесь его взорвало, и он обрушился на Абая.

— Раз ты такой праведник, надень на голову чалму и собирай кушир[106] на Даркембая!

— Если понадобится, буду и кушир собирать. Народ в беде — я готов жертвовать собой.

— Так ступай с сумой, попрошайничай!

— Прежде чем идти с сумой, я отдам народу все, что есть и у меня и у тебя!

— Ты и так уже все отдал! Ты пустил на пастбища не одного Даркембая, а всех!.. Тебе мало того, что ты сам окажешься ни с чем, — ты и нас обрекаешь

на нужду! Ну что ж, разоряй нас, умори с голоду своих матерей!

Абай сверкнул глазами на брата.

— Не беспокойся о моих матерях, слышишь? Мои матери не сурки а норах, как твоя скупая баба! Они умеют делиться последним и не пожалеют, если придется терпеть нужду вместе со всем народом! Я сделал все по их поручению. Не заботься о матерях!

Казалось, точно отец отчитывал сына: слова Абая звучали приказом. Такежан хотел спорить, но вмешалась Улжан.

— Перестань! Довольно с меня перебранок! — резко оборвала она и повернулась к Жумабаю:

— Поезжайте обратно. Абай до вашего приезда уже успел созвать голодающих. Мы поделимся с ними всем, что есть у нас самих. Пока что мы не нуждаемся. Пусть Кунекен за нас не беспокоится: мы уступаем людям свою долю. Пускай он не позорит сына и не заставляет его изменять своему слову!

Такежан прекратил спор, но внутренне не отступил от своего. Он отвернулся, надел шапку и собрался уходить. Заметив его ярость, Улжан сказала громко:

— Э, послушай, передай Каражан: пусть не бесится и как следует кормит голодных родичей! Не свое приданое она раздает! Пусть опомнится и оглянется вокруг.

Такежан и старый Жумабай уехали.

Они осмотрели все урочища, пересчитали количество аулов и скота, размещенного там Абаем, и снова отправились в Карашокы.

Кунанбай внимательно выслушал их и был возмущен и Абаем и его матерями, допустившими такое самоволие. Действительно, этот поступок доказывал, что Абай забыл меру, переступил все границы и не считается ни с кем.

На другой же день в Жидебай явился Жакип и передал Абаю новый салем Кунанбая.

То, что вторичное распоряжение отец передавал через своего брата Жакипа, которого он посылал только с важнейшими поручениями, было знаменательным. Родичи Кунанбая расценивали важность его салемов по тому, с кем они бывали посланы: если нужно сломить и взять, он отправлял посыльных Карабаса и Камысбая; с поручением «Скажи ему, дай ему знать»— ездили такие люди, как Жумабай; иногда с таким салемом посылались Абай или Кудайберды; «Припугни, устраши, отчитай как следует»— с этим обязательно поедет Майбасар; «Объясни и уговори!»— такое поручение возлагается на Жакипа, и то только по крупным делам, касающимся целых родов. А если дело было чрезвычайное и охватывало спорные вопросы нескольких родов, появлялся Каратай.

Увидев Жакипа, Абай понял, что приказания, исходящие из Карашокы, поднимаются по ступеням и становятся значительнее. Внутренне он

приготовился. Холодный, угрюмый, сдержанный, он даже не смотрел на Жакипа, а только молча слушал его, сидя к нему боком.

Прежде чем передать распоряжение Кунанбая, Жакип привел несколько доводов. Он говорил от своего имени, но Абай знал, куда уходят корнями эти слова, — он научился понимать скрытый смысл салемов своего отца.

Жакип сказал, что бывают дела, почин которых должен принадлежать только отцу, а сыновья могут лишь поддерживать его. Надо разбираться в этом. Добрые поступки отца делают честь сыну, но самовольничание, невнимание к воле отца, упрямое стремление к самостоятельности не создадут сыну доброй славы.

Абая это не тронуло. Есть же отцы, которые поддерживают сыновей и делают все, чтобы завоевать им и почет и уважение? Он высказал свою мысль вслух:

— Бывают отцы, которые не давят на сыновей бременем своих желаний, замыслов и воли…

Жакип продолжал: если уж пускать на свою землю и оказывать помощь, то надо делать это для зажиточных аулов, имеющих значительные стада и попавших во временное затруднение. Настанет время, и они окажут помощь. А что представляют собой люди, с которыми возится Абай? Если их всех собрать вместе, то они даже на время не смогут дать ни одного коня или верблюда. Таково мнение отца. Жумабай тоже упоминал об этом в первом салеме.

Но подобные доводы не убеждали Абая. То, о чем говорил Жакип, не помощь, а взаимные одолжения друзей или сватов. Абай доказывал и возражал — и не шел ни на какие уступки.

— Разве хозяин земли и скота — ты? — спросил Жакип, — Разве твоим трудом нажито это все? Неужели ты собираешься своевольно промотать все, что накоплено твоим отцом? Завтра и у вас и у Такежана весь скот подвергнется беспощадному джуту. Вот перед тобою твои матери, — подумал ли ты по крайней мере об их пропитании?

Это тоже не ново. Но то, что можно было ответить Такежану, Жакипу сказать неудобно.

— Вы правы. Я, вероятно, проматываю хлеб своих матерей! — насмешливо ответил Абай и взглянул на Зере. Но вот сидит мать — она мать не только мне, но и вам и моему отцу. Вот кто настоящий хозяин всего нашего добра. Значит, мы все должны повиноваться ей. Что скажет она? Выслушайте сами из ее собственных уст!

И Абай подвинулся совсем близко к бабушке.

Старая Зере за эти годы вся высохла. Глубокие морщины избороздили ее лицо. Видя, что Абай наклоняется к ней, она подставила ухо. Внук громко рассказал ей обо всем. Он говорил коротко, но внятно и закончил тем, что приказаний ждут только от нее самой.

Зере нахмурилась и обратилась к Жакипу:

Передай салем моему сыну. Мне не так много осталось жить. Неужели же мне еще суждено быть свидетельницей гибели родичей, бесприютных и голодных? Неужели я еще должна видеть море слез беспомощных сирот и вдов?.. Когда я умру — придется же моему сыну кормить тех, кто соберется на поминки его матери? Так вот — пусть не гонит беззащитных бедняков: пусть считает, что сейчас он тратится на мои поминки…

После слов Зере Жакип точно в засаду попал. Он не знал, что отвечать. Видя, что все это навело бабушку на тяжелые мысли, Абай вышел из себя.

— Если вы действительно болеете душой за нашу мать, не заставляйте ее говорить о смерти! Я не позволю гнать тех, кого мы уже приютили! — твердо заявил он.

Жакип не посмел перечить Зере, но племянника решил напоследок сурово пристыдить.

— Что ты говоришь? Неужели ты пойдешь на такую дерзость? Не нравится мне, куда ведут твои слова!

Абай все еще не мог успокоиться.

— Вам объяснять не нужно. Вы и так меня поняли. Здесь не грудные дети! Раз там наслаждаются своим новым счастьем, пусть и нам дадут жить спокойно, по-своему!

За всю жизнь Жакип не встречал в Иргизбае человека, который осмелился бы так резко осудить Кунанбая.

— Довольно, мой милый! Не говори больше! Как я передам это отцу? Никогда не забуду, что самые ужасные слова, от которых всякий вздрогнет, я услышал от тебя! — И Жакип вскочил с места.

Слова Абая имели особый смысл. Он снова напомнил о безрассудном поступке Кунанбая, совершенном им этой зимой.

Жакип оказался последним послом: больше из Карашокы не приезжал никто. При иных обстоятельствах переговоры могли бы иметь другой исход, но причиной такого благополучного конца был именно неожиданный поступок Кунанбая.

Уже месяца два Улжан и все окружавшие ее были в обиде на Кунанбая и в размолвке с ним. Несмотря на свой почтенный возраст — больше шестидесяти лет, — этой зимой Кунанбай женился на молоденькой токал. В Жидебае жили Улжан и Айгыз, в Карашокы — байбише Кунке, а он взял еще одну жену — семнадцатилетнюю Нурганым. О своем намерении жениться на такой молоденькой девушке он не сказал никому из своих, в переговоры был посвящен один Каратай.

Прошлым летом у Каратая умерла жена. Однажды при встрече с ним Кунанбай спросил его:

— Ты не думаешь жениться? Почему бы тебе не взять жену? Оказалось, что

Каратай уже думал об этом.

— Э, Кунанжан, к чему мне баба, когда я сам уже бабой стал? Кунанбай не соглашался.

— Совсем не так, Каратай, — возразил он. — Когда ты молод, каждая красавица, хоть и чужая, твоя. А в старости лучше иметь ее при себе.

И он женил-таки Каратая, Но в день своей свадьбы Каратай пристал к самому Кунанбаю:

— Если ты говорил искренне, женись и сам. Ты говорил о моем уюте — он нужен и тебе. Все твои жены заняты детьми и самими собой. Тебе нужно молодое существо, которое заботилось бы только о тебе! — говорил он.

После долгих совещаний они выбрали невесту. Это и была Нурганым.

Нурганым — дочь ходжи Бердыхожи. Родом они не из Тобыкты. Он живет в племени Сыбан. Туда Бердыхожа приехал не так давно из Туркестана. С Кунанбаем и Каратаем он был в хороших отношениях. Своим знанием священных книг, поучениями, толкованиями корана он нравился Кунанбаю, который в беседах с ним часто проводил целые вечера.

Нурганым еще не была просватана. Несмотря на свою юность, это была рослая девушка, красивая и привлекательная, с правильными чертами нежного и миловидного лица и волнистыми иссиня-черными волосами. Черные слегка навыкате глаза блестели умом и избытком жизни.

По совету Каратая, Кунанбай решил засватать Нурганым и послал человека к Бердыхоже. В роду ходжи не было многоженства, и поэтому вначале он пришел в ужас. Нурганым была его последней дочерью, он прощал ей все шалости и очень любил ее. Услышав салем Кунанбая, старик буркнул сгоряча:

— Разве я отдам мое дитя старому Кунанбаю?

Но сыновья, желая породниться с Кунанбаем, не соглашались с ним — они насели на старика и в три дня добились своего. Как только Кунанбай узнал о согласии Бердыхожи, он сразу же отправил к нему калым и успел таким образом жениться на Нурганым той же зимою.

Улжан к Айгыз узнали о новой токал от человека, которого Кунке нарочно послала к ним. Улжан была уже далека от ревности, — у нее было четверо взрослых сыновей, она имела внуков, привыкла владеть собою. Она как будто уже не считала Кунанбая мужем — он был лишь отцом ее сыновей, родным человеком, связанным с нею долгой жизнью, многими годами общих переживаний. Все другие чувства к нему в ней умерли.

И, несмотря на это, она была против его новой женитьбы. Она вызвала к себе Жумабая и сказала ему:

— Если он хоть раз в жизни хочет послушать нашего совета, пусть не женится: пойдут дрязги. Пусть постыдится детей.

Улжан рассказала новость Абаю. Юноша вздрогнул от нахлынувшего отвращения и негодующе подумал: «Он хочет, чтобы его перестали уважать как

отца, хочет сам сделать нас чужими… Почему он не считается со всеми близкими — с бабушкой, с верной спутницей жизни — матерью?.. Неужели он не понимает, как стыдно нам, детям, получить новую мать моложе всех нас?» Не высказывая всего этого Улжан, он заявил лишь, что не может одобрить отца, и посоветовал ей послать с Жумабаем такой ответ: «Раз он не считает нас за людей, пусть горит один в костре, куда бросится сам, но пусть знает, что покинул нас в обиде».

Услышав ответ Улжан, Кунанбай отправился к Кунке. Он умело подошел к ней:

— Пусть безумствуют они, а ты не подхватывай… Рассуди сама и будь со мной!

Мелкие корыстные расчеты были свойственны Кунке. У Улжан много детей, у нее есть защита в лице Зере. Поэтому Кунке бывало выгодно, когда между Кунанбаем и Улжан случались нелады. Ее особенно бесило, что вокруг Улжан всегда теснилось много родичей, что дом ее был полон добра. «В конце концов они возьмут верх своим числом, и наследство достанется им», — думала она и вечно завидовала Улжан. Намерение Кунанбая было огромным событием в жизни всей семьи, и им следовало воспользоваться. И хотя первой ее мыслью было не соглашаться, тем не менее она решила выждать и узнать мнение Улжан. Если та даст согласие, а Кунке будет упрямиться, — положение ее окажется невыгодным, она может даже лишиться поддержки мужа… Поэтому Кунке схитрила и дала знать обо всем Улжан. Оттуда пришел желанный ответ: Большой аул не только не соглашался, — он резко осуждал Кунанбая. Тогда Кунке стала чернить Улжан в глазах мужа, а сама приняла его сторону. Она сделала вид, что, как самая разумная жена, понимает Кунанбая и одобряет его.

— Привози Нурганым прямо ко мне, — заботливо говорила она, — пусть остается у меня. Улжан ей житья не даст!..

Все обернулось по ее желанию: Кунанбай привез Нурганым в Карашокы. Зато в течение двух месяцев он ни разу не был в Жидебае, и в те дни, когда Жакип и Жумабай ездили в Жидебай для переговоров с Абаем, Кунанбай все еще был в размолвке со своим Большим аулом.

Разговор с Жакнпом растравил в Абае и без того наболевшую рану. Юноша не мог говорить спокойно, и его удар оказался неожиданно метким. Дело обострялось бедственным положением народа. Два тяжелых переживания слились в одно и привели его к этому столкновению с отцом.

Прошло всего пятнадцать дней, но они стоили многих месяцев. Этот короткий конец зимы заставил людей съежиться от жестокого джута. Особенно тяжело прошло начало апреля. Апрель считается месяцем первых зеленых побегов. Небывалой стужей и буранами он застал народ врасплох и причинил непоправимые бедствия. Они запечатлелись в памяти народа под именем «апрельского джута» или «джута последнего снега»— таким необычным был

глубокий снег, выпавший в это время.

Пятнадцать дней стада потерпевших провели на пастбищах Кунанбая. Погода начала меняться, подул теплый южный ветер. Появись он месяцам раньше, народ радостно встретил бы его как доброго вестника весны. На этот раз он только избавлял людей от последних зимних невзгод.

Отклонив настойчивые приказания Кунанбая, Абая и Улжан всей душой отдались заботам о голодающих, об их существовании и сохранности стад. Абай целыми днями не сходил с коня и сильно похудел. Лицо его обветрилось и потемнело.

Но его труды и заботы не пропали даром: скот пятидесяти аулов был спасен от джута.

2

От первых же порывов весеннего ветра снег начал быстро таять. Не только холмы, но и долины сбросили его покров; поля почернели. Точно стыдясь, что залежался так долго, — снег торопился уйти. Наступили дни, о которых говорят: «Распахнулись объятия земли». Солнце принялось за свою работу. По небу поплыли белоснежные, пушистые весенние облака.

Аулы, нашедшие приют в Жидебае, стали расходиться по своим зимовьям. Люди не находили слов, чтобы отблагодарить Зере и Улжан за свое спасение.

После их ухода Улжан сообщила, что ее зимние мясные запасы кончились. В тот же день старик чабан Сатай пересчитал потери, понесенные за это время по стадам овец: за эти пятнадцать дней их погибло двести голов.

Из трех аулов владельцев Жидебая и Мусакула такой урон потерпел только Большой аул Зере. Такежан не потерял ни одного барана и к лету вывел в сохранности все свое стадо.

О силе джута судят не только по тому скоту, который пасется близ аула, но и по конским табунам, возвращающимся с зимних выпасов с первым теплом. Все невзгоды сурового зимнего времени отражаются и на них.

Отощавшие табуны Кунанбая едва добрались до Жидебая. Лошади имели ужасный вид. Самые крепкие жеребцы и кобылы бродили как тени. Шерсть у них отросла, взъерошилась и спуталась; ноги раздулись, суставы опухли и выпирали огромными узлами. В косяках не было ни одного жеребца, выжили только сильные кони.

Из многочисленных табунов Тобыкты уцелели лишь табуны Кунанбая и вообще иргизбаев, а кроме них — табуны Байдалы, Суюндика и Байсала. Но и они подходили к зимовьям, едва волоча ноги. Вереницы этих живых скелетов были, казалось, видением кончины мира: тогда (как учили Абая в медресе) мертвецы после долгих загробных мук поднимутся и, прикрываясь своими саванами, еле держась на слабых ногах, побредут в вечную жизнь. Так брели и

эти возвращающиеся табуны.

Кунанбай, Байсал и их близкие сделали все, чтобы спасти свой скот: они пользовались землями мелких родов, угоняли табуны из занесенных мест и перегоняли их из урочища в урочище. По сравнению с другими, они легко отделались от беды. Правда, лошади их были худы, но все же уцелели. Зима прошла… Тощие кони стали понемногу поправляться.

Если бы другие роды смогли вывести свой скот из бедствия в таком виде, они, вероятно, считали бы, что вовсе не испытали джута. Но у многих табуны были скошены начисто. В родах Торгай, Жуантаяк, Топай, Жигитек и Бокенши из каждой тысячи лошадей, угнанных осенью на зимний выпас, вернулось по семьдесят—восемьдесят голов. Конские табуны пострадали от джута сильнее другого скота.

Аулы были подавлены. Люди перестали ездить друг к другу в гости, встречаться, жили так, как будто прошел ураган. Всех поглощала только одна забота — спасти остатки тощих табунов от губительного холода весенних ветров.

Только одному аулу не приходилось заботиться о лошадях: это был аул Зере в Жидебае. Кунанбай приказал всех вернувшихся с зимнего выпаса коней пригнать в Чингиз и дальнейшую заботу о них взял на себя.

Стало тепло, пышно поднимались весенние травы. Падаль, окружавшая Жидебай, начала разлагаться и отравлять воздух, угрожая заразой и болезнями. Поэтому Улжан решила покинуть зимовье и перекочевать в юрты.

Наутро предполагали собираться, но вечером накануне внезапно занемогла Зере.

С первого же часа болезнь старой матери приняла дурной оборот. Вначале Зере глухо стонала и с трудом переводила дыхание, а на следующий день так обессилела, что не могла повернуться в постели. Испуганные Абай и Улжан ни на шаг не отходили от нее. Они сами ухаживали за нею, подавали пить, поправляли постель и неохотно пускали к ней посторонних, боясь утомлять ее лишними посещениями. На следующую ночь Улжан начала терять надежду на выздоровление свекрови. Ничего не говоря Абаю, она послала нарочного в Карашокы. Всю ночь напролет ни невестка, ни внук не смыкали глаз возле старой матери. К утру Зере последний раз бросила на них потухающий взгляд. Когда она открыла глаза, в душе Абая затеплилась надежда. Он пристально смотрел на бабушку. Больная силилась сказать что-то. Абай не понял ее, но от Улжан не ускользнуло ни одно ее движение. Оба наклонились к умирающей и Зере что-то невнятно зашептала.

Силы ее иссякли, но рассудок был ясен. Только голос стал совсем беззвучным.

— Сумела ли я… в жизни… быть добрым примером для вас?.. Сумела ли… наставлять вас… пока слух мой не изменил мне?.. Что я могу?.. Что я теперь

могу?.. Чего ждете… вы от меня… сейчас…когда уходят остатки сил моих?.. Наклонились ко мне… чего ждете от меня?..

Она говорила с трудом. Каждое слово стоило ей мучительных усилий.

Нельзя было утомлять ее. Ответы были неуместны. Абай приложил обе руки к груди и склонился перед нею: «Все лучшее, все чистейшее в сердце моем — тебе, святая мать», — говорило это безмолвное движение. Он сжал руки старушки и приложил к своим щекам ее маленькие сморщенные пальцы, покрывая их поцелуями. Несколько горячих капель упало на них.

Бабушка снова прошептала:

— Свет мой… зеница очей моих…

Она взглянула в сторону Улжан и добавила:

— Береги свою мать… слушайся ее…

Жизнь покидала старушку. Помолчав, Зере опять заговорила:

— Все-таки… ведь он — единственный сын мой… Пусть же он… своей рукой… бросит горсть земли… на мою могилу.

Эти слова прозвучали ясно, отчетливо. Зере смолкла. Абай понял: то была ее последняя воля о Кунанбае. Улжан только молча кивнула головой: «Не тревожьтесь, сделаем все…»

Драгоценная жизнь кончилась еще до первых проблесков зари.

До самого утра Улжан и Абай не проронили ни слова. Они не сводили глаз с мудрого лица Зере. Оба были полны дум о покинувшей их матери, на обоих тяжким гнетом легла глубокая печаль.

С той поры как Абай начал помнить себя, это была первая смерть близкого ему человека. Лицо старой бабушки покрылось едва заметной смертной синевою, но все же казалось просветленным и невыразимо спокойным, как будто бы смерть и не наложила на него своей мучительной руки. Зере словно достигла свершения своей величайшей мечты — и затихла в благородном покое.

К восходу солнца собрались все, от стариков до малых ребятишек. Внуки и невестки беззвучно плакали. Все домочадцы и соседи тяжело вздыхали. В то же утро приехали все родичи из Карашокы и с Чингиза. Первыми прибыли Кунанбай и Кунке. К обеду собрался весь род Иргизбай.

Смерть Зере была утратой для всех, но никто не рыдал. В молчании обрядили покойницу. На похороны, совершенные на следующий день, приехали бедняки всех пятидесяти аулов, которые получали приют и пищу у Зере и Улжан во время джута. Старую мать рода похоронили с почетом.

До поминального седьмого дня Кунанбай и Кунке остались в Жидебае.

Абай решил не поручать поминального чтения муллам и принялся читать коран сам. Он читал в течение целой недели и перечел его два раза. Как-то во время обеда Кунанбай повернулся к сыну.

— Как ты медленно читаешь! — упрекнул он.

Абай не ответил. Очевидно, Кунанбаю приходилось слышать чтение мулл, — за такой срок они успевали прочесть коран три-четыре раза. Абай ничего не стал объяснять отцу. Он ведь тоже умел читать быстро, но, думая о бабушке, он старался читать благоговейно, медленно, с расстановками.

Однажды на той же неделе, оставшись наедине с сыном, Улжан заговорила о Зере. Абай слушал ее с жадным вниманием.

Слезы набежали на ее глаза.

— Наша мать была примером истинного благородства, — сказала она. — Не будь ее, я тоже осталась бы черствой и бесчувственной к нуждам народа. Мы всем обязаны ей, мы должны усердно чтить ее память.

Абай только сейчас, как-то сразу, заметил, как постарела Улжан. Казалось, жизнь запечатлела в благородных чертах ее лица всю тяжесть затаенных дум и горькой печали. Он молча склонил голову в знак согласия с нею.

Через неделю, дождавшись окончания поминального чтения, Кунанбай со своими уехал в Корашокы.

Вскоре, как обычно, все аулы тронулись на жайляу. Но Абай не оставлял корана до сорокового дня. Отдаляясь от кочевого каравана, он пел песни— трогательные и полные тоски, печальные гимны покинувшей их прекрасной душе. В горах он поднимался на вершины, окидывал взором степной простор и пел.

Скорбь этих песен окутывала его, как осенние тучи.

Когда аулы перевалили за хребет, народ предстал перед Абаем во всей своей жалкой нищете. Новый прилив горя охватил его. Он увидел, как свернулись и сжались большие зажиточные аулы, — там, где раньше стада не умещались на выгонах, остались редкие кучки скота, терявшиеся в обширных полях. Стада стали слишком малы, и аулы по нескольку слились в один. Множество обширных урочищ, пастбищ, тучных склонов и широких жайляу за Чингизом оставались безлюдными. Появилось много нищих, безнадежно затянутых трясиною нужды. Абаю казалось, что вслед за его старой матерью Зере тяжко занемогла другая великая мать — народ.

Наступил сороковой день кончины Зере. На обширном жайляу со всех аулов собрались толпы родичей, чтобы отдать последнюю почесть любимой всеми старой матери.

Задумчивость и изнуренный вид Абая давно беспокоили Улжан. После поминок, когда все разошлись они остались наедине, она обратилась к нему:

— Тебя совсем поглотили тяжелые думы, сын мой… Разве ты не замечаешь, как исхудал? В молодости не следует так отдаваться печали. Оставь свои мысли! Возьми себя в руки. Вызови Ербола, садись на коня, поезди по аулам. Надо отвлечься…

Приехал Ербол. Он привез Абаю салем Асылбека, сына Суюндика: Асылбек с подчеркнутым уважением приглашал его к себе в гости. «Он нигде не бывал с

самой смерти старой матери, пусть приезжает погостить к нам», — просил он.

Аул, как и раньше, находился в Жанибеке. Когда Абая со своим другом подъехал туда, Асылбек и Адильбек вышли встречать их. Гости сначала зашли а Большую юрту и отдали салем старшим.

Суюндик отнесся к нему весьма приветливо. Дней десять назад он со своей байбише совершил молитву в память Зере. Расспросив о здоровье Улжан и семьи, он приказал приготовить для приема гостей юрту Асылбека, чтобы молодежь могла провести время свободнее и веселее, не стесняясь старших.

Молодая юрта и без того была готова. Абай направился туда. И по пути и в самой юрте все радушно встречали его, — во всех чувствовалось желание отметить вниманием его приезд. Особенно старалась жена Асылбека — Карашаш. Даркембай, который тоже оказался здесь, встречал Абая вместе с сыновьями Суюндика. Он свято чтил память Зере, с глубочайшим уважением отзывался о ней. Он помнил по именам детей Абая, расспрашивал об их здоровье и не отходил от дорогого гостя. После бедствий «джута последнего снега» Абая знали очень многие бокенши и борсаки, нашедшие себе приют в Жидебае и Мусакуле. Теперь при встрече с Абаем их лица расцветали благодарным приветом.

— Свет мой, — сказал ему один из стариков рода Борсак, — нынешний джут миновал меня. Этим я обязан аллаху, а после него — одному тебе!

— Слава богу, — подхватил Даркембай с сияющим видом, — молока у нас не меньше, чем у других! Недавно я побывал в тринадцати аулах из тех, которые ты приютил тогда на урочищах. Они лучше всех сохранили свой скот!

Карашаш встретила Абая у себя в юрте с искренней теплотой и сердечностью, как близкого, дорогого человека. Даже Адильбек, который когда-то злился на Абая и за глаза всячески угрожал ему, тоже, как видно, забыл о старом. Он старался ухаживать за гостем, открыл ему двери, помог раздеться и собственноручно принял от него и повесил его плеть и шапку. Что же касается Асылбека, то Абай давно уже считал его настоящим братом.

Все встречали Абая, как самого близкого, родного, как самого дорогого друга. Из двух ближайших к Иргизбаю родов — Жигитек и Бокенши — Абай всегда предпочитал Бокенши: люди здесь отличались необыкновенным радушием и для тех, кого они уважали, готовы были пожертвовать всем.

Гостеприимные молодые хозяева старались разнообразить трехдневное пребывание Абая всевозможными развлечениями.

Абай пел песни, смеялся, шутил, но в душе его все время жила смутная грусть. Он только ревниво скрывал ее от окружающих.

Аул Суюндика был близок и дорог ему. Целая буря мыслей и ощущений овладела им, едва он подъехал к Жанибеку. Мечта… надежда… — эти слова вызвали в его душе давнюю боль. Не было конца этой грусти, как нет излечения от раны, нанесенной в самое сердце. И рана эта связана с дорогим

именем Тогжан, с ее чистой любовью.

С той минуты, как он вошел в дом Суюндика, душа его не переставала метаться в поисках любимой. Все было на месте. Люди остались те же, что и раньше. Не было только одной Тогжан. Мгновениями в Абае вспыхивала безумная надежда. При каждом шорохе у дверей он вздрагивал — не она ли? Когда кругом было тихо, ему казалось, что до него доносится мерный звон шолпы.

Входя в юрту Асылбека, он почти грезил.

Вот он переступил через порог… Вот правая сторона юрты… Сейчас снова перед ним поднимется завеса счастья…

Тот же белый шелковый занавес, та же высокая кровать с костяными украшениями, то же убранство — все на месте. Те же друзья — Карашаш и Ербол — так же тихо, без скрипа открыли приветливую дверь счастья… Но теперь их дружба ничему не сможет помочь.

Тогжан нет.

Абай старался быть веселым, пел, играл, но глубокая грусть смотрела из его глаз. Случалось, что он внезапно замолкал, и тогда тяжелый вздох вырывался из его груди.

Одна Карашаш понимала его. Она угадывала, какая невыносимая печаль таится в его груди. Он не стонал, но его дыхание прерывалось, выдавая судорожный трепет сердца. Иногда он вздыхал так беспомощно, как будто пересиливал рыдания. И Карашаш глубоко жалела его.

На третий день, когда в юрте никого не было, она обратилась к Абаю:

— Абай, милый! Ты, я вижу, не забыл мою Тогжан. Мне кажется, что ты у нас — как на покинутом жайляу: аулы давно откочевали, остались одни истоптанные следы стоянок. — Карашаш чуть заметно покраснела и улыбнулась.

— Ты права, женеше! — сказал Абай. — Ты угадала, от тебя не скроешь… И тогда ты все понимала, и теперь твое сердце осталось верным дружбе! Да, я не могу забыть, ничего не могу забыть! Все живет перед моими глазами! Ни на один миг не покидает меня мысль о ней! Мне все кажется, что вот-вот войдет Тогжан и начнет упрекать меня…

— Вас связала необыкновенная любовь. Мне так жаль вас обоих… — тихо сказала Карашаш. — Вся ее душа была твоею… Когда она уезжала с женихом, она молила судьбу не о счастье, а о смерти, — она ведь ничего не скрывала от меня.

Оба печально задумались.

Последняя встреча и прощание с Тогжан так живо встали в памяти Абая, как будто все это произошло вчера.

Как тих, как умиротворенно-прозрачен был тот вечер! В сумерках Тогжан пришла к нему в овраг. Она сама вызвала его в аул: «Пусть приедет!»—

просила она. Это было перед последним приездом ее жениха, перед ее отъездом из родного аула. Жениха ожидали со дня на день.

Тогжан — робкая, застенчивая Тогжан — пришла в тот вечер смелая, решительная, готовая на все. Дрожа, со слезами на глазах, она говорила горячо, быстро, как всегда по-детски доверчиво склонив голову на его грудь. Он держал любимую в своих объятиях, прижимал к себе и слушал, слушал…

Они так давно любят друг друга… Но как мало было у них радостей, как редко удавалось встречаться… Тогжан горюет об этом. Она упрекает жизнь, самого создателя, она проклинает все — и прежде всего свою судьбу…

Абай не смог утешить ее и вернулся подавленный. И сейчас перед его глазами предстал образ Тогжан — печальной, уходящей от него в слезах… Казалось, он видел черные складки шелкового чапана, накинутого на ее голову, белый подол ее длинного платья… Он слышал звенящую песню шолпы, заглушённую чапаном… Все живет в нем, он ничего не забыл.

Абай снова вздохнул.

— Тогжан, бесценная, не забыть мне тебя… не забыть! — прошептал он.

Для Карашаш Абай был больше чем друг их семьи, — она относилась к нему как к самому близкому родичу, а потому обратилась к Асылбеку с просьбой.

Она собиралась съездить к своим родителям. Убедившись, что ее муж дружески расположен к Абаю, она предложила Асыдбеку пригласить с собой Абая. Асылбек согласился Он понимал, что такая поездка поможет его гостю рассеять печаль о Зере.

— Погуляем, повеселимся, погостим там подольше… Ты сам знаешь, что за человек Кадырбай. Это будет замечательная поездка! Поедем вместе! — приглашал он Абая.

Абай привязался к семье Суюндика, и ему не хотелось расставаться с Асылбеком и Карашаш. Он согласился без колебаний.

Через четыре дня самые уважаемые в Тобыкты жигиты вместе с Карашаш приехали в аул Кадырбая.

Молодых гостей встретили радушно. Вслед за ними в юрту Кадырбая хлынул народ — и взрослые и дети. Каждому хотелось послушать новости и расспросить о здоровье родичей и благополучии аулов, откуда прибыли гости; некоторые, наконец, шли из простого любопытства. Целая толпа женге и девушек окружила Карашаш.

Кадырбай был дома. После поминок Божея Абай встретился с ним первый раз. Акын заметно постарел за эти годы и утратил свою прежнюю дородность. Волосы его еще больше поседели, морщины на лице стали глубже, он побледнел и исхудал. Только высокий открытый лоб и прямой тонкий нос напоминали прежнего Кадырбая. Акын поздоровался сперва с Асылбеком и Карашаш, а потом с Абаем и Ерболом.

Он не узнал Абая, и вспомнил о прошлой встрече только после того, как ему

сказали, что это сын Кунанбая. Тогда он стал рассказывать об асе так подробно, словно торжество произошло только вчера. В заключение он сказал:

— Да, ас Божея — один из самых знаменитых асов наших дней! Все гости были довольны и благодарили распорядителей!..

Кадырбай почти все время говорил один. Он расспрашивал гостей о благополучии их аулов и о здоровье старших. Абай кратко, но обстоятельно отвечал на вопросы Кадырбая и вел себя сдержанно-учтиво. Но беседовать с хозяевами и поддерживать занимательный разговор приходилось как раз ему одному: Асылбек — зять в этом доме, и ему разговаривать было неудобно, да и сам Кадырбай с вопросами обращался преимущественно к Абаю.

В эти дни при каждой встрече людей из соседних родов разговор неизбежно переходил на джут.

Кадырбай весь вечер расспрашивал Абая, как прошел «джут последнего снега» в Тобыкты, какой аул пострадал больше всех, кому удалось отделаться легче, голодает ли народ, как с белым…[107] Он расспрашивал обо всем. Он отлично знал Тобыкты и так легко представлял себе его аулы, как будто сам был родом оттуда и только на время покинул его для далекого путешествия. Минутами он напоминал врача, который прислушивается к биению сердца тяжелобольного и тут же спрашивает, как началась болезнь, хорошо ли больной спит и охотно ли принимает пищу.

Точность ответов Абая невольно поражала Асылбека и Ербола, — он знал, у кого сколько осталось голов скота, какой род в чем понес урон и на что может надеяться сейчас. Он помнил все так, как будто вел подробную запись. Его сведения и описание аулов дали Кадырбаю полную картину жизни Тобыкты.

Старик слушал, не скрывая глубокой печали: горе соседнего племени удручало его. Изредка он покачивал головою и причмокивал языком.

В его аулах положение было не лучше. Лютый буран не пощадил и Сыбана. Родичи Кадырбая сами были почти разорены. Кадырбай никогда не был богатым, но в прежние годы ему хватало и кумыса и убойного скота, а сейчас ему пришлось попросить несколько дойных кобыл в аулах, избежавших джута. Он рассказал о бедствиях племени, не скрывая и своего собственного положения.

Не уцелел ни один из окрестных аулов. Народ сам напоминал теперь тощее стадо, которое не в силах подняться на ноги. Описав печальное состояние сородичей, Кадырбай добавил:

— Мы резвились, как куланы на воле, но буран всех нас сжал в комок. И вот мы согнулись, как лозняк от урагана, бессильные и жалкие…

Чаепитие кончилось. Около юрты кололи барана. Соседи, пришедшие вместе с гостями, разошлись. Девушки, окружавшие Карашаш, после чая тоже ушли. Осталась только одна — высокая, стройная и статная, с привлекательными чертами лика. Своими тонко очерченными черными бровями она напоминала

Абаю Тогжан. Чуть удлиненные темные глаза девушки светились умом. Когда она смеялась, вся юрта наполнялась лучами ее сияющего взгляда. Благородный овал ее лица алел нежным румянцем. Прямой нос и открытый лоб сразу выдавали и ней дочь Кадырбая.

— Это была Куандык, которую называли «акык-кыз[108] Кадырбая».

Пока не разошлись соседи и домашние, Куандык занималась хозяйством. Она приготовила чай, сама угощала приехавших и помогала матери. Когда беседа отца с гостями затихала, она старалась занимать Карашаш. Она не стеснялась отца, не бормотала себе под нос — ее звонкий голос то и дело раздавался во время чая:

— Пейте! Кушайте! Вы мало пили!.. Пейте и закусывайте! Куандык говорила и угощала, как настоящая хозяйка.

Чай убрали, суета в доме кончилась. Вся семья собралась возле гостей. Куандык подсела к Карашаш, расспрашивая ее об Абае, которого она давно знала по рассказам.

Когда беседа пошла о джуте, Абай разговорился. Он говорил с достоинством, метко и образно. Он сравнивал нынешнее бедствие народа с его прежней жизнью. Каждый знает, говорит он, что джут — неизбежное несчастье кочевых казахов. Но хоть кто-нибудь извлек урок из горьких испытаний, преследующих народ из поколения в поколение? Найден ли путь, чтобы избавиться от этого бедствия? Кто из тех, на кого народ надеялся и кого он превозносил, указал ему тропу к спасению? Знает ли Кадырбай таких людей?

Его вопросы были полной неожиданностью для старого акына. Кадырбай задумался и потом ответил гостю стихами:

Счастья изменчив круг,

Жизнь — что в бурю тростник,

Смертен подлунный мир.

Сад, что расцвел вокруг,

Осенью свил, поник…

Так же бессилен ты —

Блекнет твой лик, как цветы…

Он говорил о вечном круговороте жизни.

Абай оценил красноречие ответа, но с мыслью его не мог согласиться. Недолговечные цветы не пример для людей. Казахи — народ многочисленный и крепкий, и у них должно быть крепкое будущее. По дальнейшим словам Кадырбая выходило, что если путь всякого народа в руках непостоянной, изменчивой судьбы, то к казахам она относилась милостиво. Абаю и это не казалось убедительным. Он возразил, что у других народов широко развито просвещение, а знание — это неиссякаемый источник благополучия, сила, при которой не страшен никакой джут.

— Подумайте, — сказал он, — ведь казахи очень плохо знают жизнь других народов. А когда один народ хорошо знает жизнь другого, он может заимствовать лучшее. Со времен Адама все лучшее, что было создано каким-либо народом, становилось общим достоянием. А мы пребывали в стороне и вдалеке от общего потока…

Кадырбай и Куандык переглянулись — они без слов поняли друг друга. Кадырбай не был похож на других отцов, он часто беседовал со своей дочерью, всегда считался с ее мнением, а случалось, и советовался с нею.

Беседы и споры продолжались почти весь вечер. Молодой жигит высказывал совсем новые мысли, которые поражали своей глубиной и заставляли старого акына задуматься.

Кадырбаю не раз приходилось вести разговоры со стариками — никогда и никто не мог поставить его в тупик. Но этот юноша совсем по-новому смотрел на то, что, казалось, давным-давно было решено и всем было ясно, «как луна». Он спорил. И спорил умело, убедительно. К голосу его приходилось прислушиваться.

На следующий день за утренним кумысом разговор возобновился. Куандык не вступала в спор, но явно сочувствовала Абаю; изредка она с улыбкой останавливала отца, присоединяясь к мнению Абая.

Кадырбай наконец спросил его:

— Что ж, по-твоему, нужно? Какой путь предлагаешь народу ты? Ты осуждал, говорил о недостатках… Ну, а сам-то нашел выход из этого тупика? Скажи, я готов слушать!

Абай попробовал подвести итог.

— Народу нужно просвещение, знания. Ему нужно учиться и воспитываться… Настало время, когда спокойно дремать, надеясь на бескрайние кочевья, на широкие выпасы, не приходится. Уже пора учиться у народов, которые опередили нас! Вот что нужно!

Не сейчас, не в этом споре Абай пришел к такому заключению, оно — итог его долгих наблюдений. «Это единственный надежный путь не только для

моего народа, но и для меня самого», — не раз думал он.

Кадырбай говорил другое: по его словам, учиться и воспитываться — значило идти по дороге, проторенной предками. Знать этот путь и не сбиваться с него — дороже всего.

Он хотел было опять возражать Абаю, но тут снова вмешалась Куандык.

— Спорить больше не о чем! — решительно сказала она. Кадырбай замолчал и задумался. После долгого размышления он обратился к Абаю:

— Ты высоко поднялся, сын мой! Истина говорит твоими устами. Твои стремления и цели всколыхнули и мою душу. Да, ты прав: у каждого века свои требования! И ты говоришь языком своего века к мыслишь за будущие поколения… Но вот вопрос: к кому идти? С кого брать пример? Не направила бы жизнь на ложный путь.

И Кадырбай замолчал. Опытный, видевший жизнь старик сопротивлялся долго. Он взвесил в продумал все — и только тогда согласился.

Следующие два дня прошли без споров. Абай превратился в любознательного слушателя и расспрашивал Кадырбая об акынах, с которыми тому приходилось встречаться в жизни.

Старик сразу почувствовал себя легко и уверенно, точно твердо ступил на знакомую дорогу. Он воодушевился и время от времени исполнял различные песни. Если какое-нибудь место выпадало у него из памяти, он поворачивался к дочери. Куандык тут же быстро подсказывала отцу забытые им строки. Она помнила наизусть и айтысы, и состязания в красноречии, и «песни печали».

Кадырбай часто вспоминал Садака; в юности Садак был его любимым акыном.

— Его знания не имели границ. Он видел все, испытал все. Нам не познать и не запомнить тысячной доли того, что сказано им. Великий светлый дух почил на нем, — говорил старик.

Абай стал расспрашивать Кадырбая о его состязании с Садаком, известным всем под именем «айтыса Садака с мальчиком»; Абай хорошо знал, что этим «мальчиком» как раз и был Кадырбай. Но старый акын не захотел рассказывать подробно.

В Кадырбае чувствовался настоящий человек: честолюбие ему чуждо, хвастовство не свойственно его душе. Такими же были и акыны Садак, Барлас, Шумек, о которых он вспоминал с глубоким волнением. Он заговорил о поэзии, о великом божественном даре, и об акынах, носителях этого дара, в благородных песнях которых — нетленный знак веков, вся печаль, все надежды, вся жизнь народа.

— Когда я прислушиваюсь к голосу кюев, я чувствую, как одно горе переливается в другое. Послушай, как изливается в звуках омраченная душа. Вчера, сын мой, ты сказал великую истину: ни один человек, покидая этот мир, не был доволен своей жизнью, все унесли с собою несбывшиеся надежды…

Века донесли до нас множество песен — и в каждой из них звучит один и тот же голос. Это не голос беспечного веселья и бездумной радости. Это — печаль. Это — тоска, навеянная жизнью… Вспомни древнего Асана-кайгы, подумай и о недавнем джуте последнего снега… И в наши дни акыны тоже проливают слезы в своих песнях… Слишком мало лиц, озаренных улыбкой счастья, встречается им в пути. Все поют об урагане жизни, сметающем юрты. И это недаром. Сам же ты говорил о беспомощности народа! Не радость и счастье, которых мало в его жизни, а печаль и горе, сопутствующие ему, — вот что рождает песни наших акынов…

Так Кадырбай коснулся узла, которого не развязать. И в дальнейшей беседе их уже не чувствовалось разницы лет: они говорили и думали об одном. Только теперь вполне раскрылась перед Абаем душа старого акына.

В ранней юности одним из любимых акынов Абая был Барлас потом он узнал Шоже, вндел и слышал Балта-акына. Сейчас, после долгой беседы, он сравнивал с ними Кадырбая. Седой акын, проницательный, чуткий, полный глубоких мыслей, широко смотревший на жизнь, походил на них, хотя и отличался чем-то своим. Но в самом главном, в самом сокровенном — они сходились, и все они казались ему вершинами в цепи гор, тянущейся из смутной дали веков.

Душевная красота старика покорила Абая. Он полюбил его, как родного отца. Но это был отец, не похожий на других. Он не станет учить: «Паси скот, сберегай его! Наживайся! Расти мое потомство, будь чужим для других!»— Он — отец всего разумного. Свет и благо — вот его путь и завет.

День за днем проходил в сердечной беседе. Абай ни на минуту не расставался со старым акыном. Но все остальные — Асылбек, Ербол, Куандык и Карашаш — думали о другом. «Пойдем в Молодую юрту, повеселимся!»- звали они Абая. Кадырбай и сам решил отпустить молодежь.

На четвертый день вечером он взял в руки домбру, и обратился к ним:

— Любимые мои, вот я поговорил с вами — и душе моей стало легче. Но мы, старики, подобны верблюду, залегшему на потухшем пепелище, или старой бабушке, что твердит одни и те же песни старческой грусти. Долго ли вам слушать ее бесконечный напев? Ваши стремления, ваше будущее перед вами. А наш стяг свернулся и поник. Ему уже не венчать вершину, и он вам не пример!.. Предгорья и подъемы, ведущие в вышину, — у вас впереди. Идите к ним не отступая! Гоните уныние! Веселитесь, резвитесь, ищите неизведанного, не отвращайте лица от ожидающих вас вершин!

Старик несколько мгновений сидел молча.

— Ну, идите, веселитесь!.. Я провожу вас моей хилой песней… — И Кадырбай заиграл на своей домбре.

Молодежь замерла: мастерская игра покорила всех. Потом Кадырбай запел. Его голос, уже слабый, но сохранивший природные краски, проникал в

душу, — в молодости седой акын, несомненно, был непревзойденным певцом. И в этом напеве тоже жила древняя печаль.

Слова песни были заветом отца: «Дочь родная моя, драгоценный брат мой, будьте достойными… Оставьте память по себе… Пусть поверженный жизнью народ, теснящиеся вокруг тебя братья, малые дети — пусть все видят в тебе защиту от непогоды… Будьте для них могучим тенистым деревом…»

В дымке сумерек голос его звучал проникновенно. Особенно поразил Абая припев, сочиненный Кадырбаем много лет назад. В нем одном раскрылись все сокровища сердца акына. Припев этот прокатывался по песне, как вновь набегающая волна: «Народ мой!.. О народ мой!» Один он все сказал о Кадырбае. Старик замолчал.

Абай сидел бледный от волнения. Он замер на месте. Судорога сжимала его горло. Взгляд его застыл на Кадырбае. Ему казалось, что старик пел как бы с высокой и далекой вершины — будто праотец народа обращался к ним из глубины веков.

Куандык заметила перемену в лице гостя. Она осторожно взяла из рук отца домбру.

— Отец, вы же обещали нам песню «радуйся!», а получилось снова — «рыдай!» Но на этот раз мы не хотим плакать! Игры ждут нас, мы уходим на веселье, вот как!

Ее слона вызвали общий смех. Абай удивлялся неисчерпаемой жизнерадостности Куандык. Рядом с Кадырбаем, который был весь как печальные сумерки, она была ясным, сверкающим полуднем.

По дороге к Молодой юрте к ним примкнуло много девушек и жигитов. Затеялись игры, шумные развлечения, не стихавшие до зари. Играли и в «платок», и в «хорош ли хан», и в поиски колечка, когда спрятавший его во рту должен суметь отчетливо сказать слово «мыршым», и в «скрученный кушак», где жигит должен угадать, которая из девушек хлестнула его по спине, и в скороговорки. Каждый проигравший нес наказание — он должен был спеть песню, тут же сложить стихи, выдумать острую шутку.

Игры сменялись айтысами, состязаниями в пении и складывании стихов. Племя Сыбан вообше отличалось большой любовью к развлечениям и играм, а аул Кадырбая со времени отца акына Актайлака стал подлинной колыбелью айтысов и новых напевов. В этой колыбели и выросла Куандык, душа веселья к песен. И девушки, окружавшие ее, тоже умели петь не хуже своей подруги.

В аулах Сыбана и Наймана с давних пор установился обычай не выдавать замуж девушек молодыми. В соседних родах даже существовала поговорка: «Постарела дома, как невеста из Сыбана». Все эти девушки — большие любительницы шуток, разговорчивые, веселые, отличные певуньи.

Вечером Куандык взялась сама вести игры. Ее смех, невольно заражавший всех, был необыкновенно мелодичен — он сам звучал как веселая песня. Она не

давала пощады ни одному жигиту и с видимым удовольствием строго наказывала проигравших. Но когда она попадалась сама, то, ничуть не смущаясь, не переставая смеяться, без малейшей досады несла наказание.

Весь вечер Абай и Куандык провели вместе. Они долго состязались в пении и стихах. Первый айтыс затеяла сама Куандык, вызвав своей песней Абая. Тот не привык к состязаниям, и так как импровизировал он медленно, подбирая каждое слово, то сначала старался взять самим напевом. Многие сложные напевы здесь были еще неизвестны. — Абай выбирал их и пел с большим подъемом. Этим ему удавалось брать верх над Куандык.

Так прошло их первое состязание. В следующий раз Куандык перешла с песни на терме.[109] Абай знал только один терме — стремительный, как рысистый бег. Он перешел на него и начал импровизировать быстро, как Куандык. Теперь он чувствовал себя уверенней, слова рождались сами. Айгыс увлек его: он почувствовал необычайный прилив сил, почти вдохновение. Девушка и жигит точно подзадоривали друг друга и попеременно брали верх один над другим.

Глаза Куандык смеялись, щеки горели, она наслаждалась этой борьбой с жигитом. В своем айтысе они расточали шуточные похвалы, обращаясь друг к другу, как к избраннику сердца. Абай иногда даже вставлял слова: «любовь», «возлюбленная». Куандык отвечала сдержаннее: «Почтенный гость, достойный уважения жигит, приветствую твое посещение. Прекрасен род твой, прекрасен ты сам. избранный, одаренный, но взаимное уважение — вот чувство, достойное нас обоих».

Если, состязаясь в стихотворстве и остроумии перед внимательной толпой, они только шутили, то в беседе один на один они сказали друг другу больше.

Разговор завела сама Куандык. В самый разгар веселья, когда все увлеклись играми и одни пели задорную песню, а другие громко смеялись, она обратилась к Абаю:

— Песня не всегда поворотлива, и что можно сказать на людях, Абай? Песня заслонила слова… А у меня их еще много для тебя…

Она старалась говорить это смеясь, чтобы не привлекать внимания окружающих. В словах ее ясно чувствовалось искреннее расположение к Абаю. Их влечение друг к другу началось не сейчас, — оно родилось еще во время бесед с Кадырбаем. Взяв белые пальцы Куандык. Абай по биению крови угадал сердечный трепет. Его рука тоже вздрагивала.

— Наши сердца бьются одинаково, видишь? — сказал он. — Твои слова — радость для меня…

Теперь каждая улыбка, шутка, движение, взгляд — все выражало их восхищение друг другом, все озарено было внутренним ликованием. По ходу игры они должны были поцеловаться — и то, что томило их сердца, вспыхнуло пламенем, загоревшимся на их щеках.

Молодежь стала расходиться, лишь когда небо посветлело в утренней заре. Куандык направила Абая в крайнюю юрту аула. Когда все разошлись, Куандык пришла в юрту. Хозяйка ее, старая женщина, уже ушла к стаду. Они были вдвоем. Два молодых существа, сжигаемые одним пламенем, встретились. Сейчас они молчали. И молча они кинулись в волну, певучую и немую, поглотившую их обоих.

Веселье и игры в ауле продолжались еще несколько дней, но связь Абая и Куандык больше походила на дружбу, чем на любовь. Пламя вспыхнуло, но почему-то не разгоралось. Куандык на людях нравилась Абаю больше, чем наедине: правдивая, откровенная смелость ее чувства несколько коробила Абая.

В эти дни Абай многое узнал о жизни Куандык. У нее есть жених — из племени Керей. Он женат, Куандык будет его младшей женой. Жених уже несколько раз бывал у нее, но она не находила в себе любви к нему, сердце ее всегда оставалось холодным. Она печально признавалась в этом Абаю и раскрыла перед ним мечты юного сердца.

Он задумался и промолчал. Дома у него — Дильда, мать нескольких его детей… Правда, Куандык как будто создана для него: она отличается и воспитанием, и умой, и обаятельной внешностью. В первый раз в жизни Абай видел в девушке такое сочетание красоты, ума, внутренней силы и дарования. Но поступить вопреки воле Кадырбая и забыть Дильду и детей — слишком трудно…

Он ценил Куандык рассудком, а сердце его оставалось спокойным. Тогжан опять ни на минуту не покидала его мыслей. Она стояла перед его глазами неотступным видением, точно ревниво отстаивая свои права перед красавицей Куандык. И Абаю казалось, что любовь, которую пробудила в нем Тогжан, сердце, которое она принесла ему, радость и счастье, которыми она одарила его, — в этом мире неповторимы: равной ей не было и не могло быть. Когда это видение появлялось перед ним, Абай весь внутренне сжимался, и руки его, простертые для объятья, вдруг опускались.

И Куандык как будто чувствовала это. Горячее пламя вдруг вспыхнувшей любви тоже утихало в ней, заслоняясь дружеской привязанностью, но мечта о жизни с Абаем продолжала манить ее.

Не в силах решить, Абай посоветовался с ней самой: если она разрешит, он расскажет обо всем Асылбеку и Карашаш и поступит так, как они посоветуют. Куандык не возражала.

Абай переговорил с Асылбеком и Карашаш порознь. Карашаш одобрила сразу, — она так давно желала счастья Абаю. Но Асылбек возразил с тою же убежденностью, с какой Карашаш одобрила.

— Это невозможно, — решительно сказал он. — Дильда ничем не виновата, и Кунекен обижать ее не станет, — он просто не разрешит тебе этого, если не захочет разрыва с Алшинбаем. А бедную Куандык твоя родня будет презирать.

Подумай, какой это будет удар для Кадырбая!.. Не дай бог, чтобы кто-нибудь узнал об этом, кроме меня… Пусть все это умрет здесь же!

То же Асылбек сказал Куандык. Ее мечте не было суждено осуществиться. Но в день отъезда Абая они дали друг другу слово искать возможного пути, не оставляя надежды. Они расстались искренними друзьями.

От аула Кадырбая до зимовья Тобыкты — два дня пути.

Абаю было нелегко покидать гостеприимный, радушный аул. И чем дальше он отъезжал от него, тем дороже казался ему благородный облик Куандык — преданной, любимой супруги.

3

В этом году на всех жайляу было не так, как все прошлые годы. Невеселое лето, полное уныния, скорей напоминало осень. Старейшины, даже Кунанбай, перестали делать обычные сборы родичей. Слухи, сплетни и толки, роем кружившиеся над Тобыкты, заметно стихли. Спорить о стоянках и о выгонах было нечего: кроме рода Иргизбай и аулов Байдалы, Байсала, Суюндика и Каратая, везде было мало скота, и не для чего было оберегать пышную зелень предгорий — давнюю и постоянную причину ссор и раздоров. Тем, кто ворочал делами племени, не приходилось проявлять свою силу и власть. Почти весь народ страшно обеднел после джута, и подстрекатели предпочитали сидеть смирно.

«Прикидывайся печальником о народе. Вздыхай на сборах, тоскуй о благополучных днях. Притворяйся, что делишься последним, и, раздавая людям прокисшее молоко, приговаривай: «Кормлю голодающих…» В год, когда нужда делает народ хмурым, лучше быть скользким, изворотливым, а когда народ окрепнет и повеселеет, — грабь его по-прежнему…»

Такова мудрость грабителей, живущих за счет народа. Таков закон, записанный в войлочных книгах.[110]

В этом году народ действительно вел себя необычно: все были угрюмыми и неразговорчивыми, — не скоро еще суждено разойтись их насупленным бровям. За все лето на жайляу Тобыкты не состоялось ни одного тоя. Обычно в это время одна байга следовала за другой, а нынче не было скачек даже молодых коней трехлеток. Привозили или отправляли невесту, совершали ли обрезание — все ограничивалось скромным угощением и проходило без обычной пышности.

И вдруг среди всеобщего затишья распространился необыкновенный слух: заговорили о ворах, о налетах конокрадов.

Аулы двинулись на осенние стоянки, уже было пройдено несколько перегонов, когда внезапно начались кражи. За каких-нибудь пять дней из табунов Майбасара, Жакипа и даже самого Кунанбая пропало двадцать

отборных коней. Весть об этом мгновенно облетела все аулы. Те, кто был побогаче, усилили охрану табунов.

Но поймать конокрадов никак не удавалось. Обычно такую кражу не скроешь: там увидят свежесодранную шкуру, здесь — кровь и отбросы, тут — даже и мясо. Слухи и разговоры распространяются очень быстро. Но на этот раз не слышно было ни звука — кони словно канули в воду.

Сначала Кунанбай и Жакип, обсуждая случившееся, решили: воры налетели из соседних племен — Керея, Наймана или Сыбана. Это казалось тем вероятней, что все аулы расходились по осенним пастбищам, и потому ворам из уходящих племен было удобнее угнать с собой чужих коней.

Кунанбай задержал кочевку и разослал разведчиков по всем ближайшим родам. Маленькие конные группы во главе с Майбасаром и Изгутты, не щадя коней, объездили все ближние и дальние роды, но и там не удалось ничего нащупать. Самые ловкие, сообразительные жигиты обшарили все пустынные места, утесы, ущелья, овраги, даже складки безлюдных гор и холмов, но на след не напали.

Во время самых усиленных поисков пропало еще пять лошадей из аула Кунанбая. Пострадал не только род Иргизбай: у Байсала и Суюндика тоже увели несколько кобыл.

Только проходила ночь, как снова летели страшные слухи: «Увели!», «Опять увели!..»

Кунанбай вышел из себя. Он сам сел на коня, но и ему не удалось ничего обнаружить. Разведчики вернулись ни с чем. Дозорные, проводившие бессонные ночи на всех возвышенностях, тоже явились с пустыми руками. Оставалось только одно: усиливать ночную охрану. По приказанию Кунанбая все аулы двигались вместе, останавливались одновременно и сбивались в одну кучу.

Кочевка проходила быстро. Аулы спешили, точно спасаясь от пожара. Все надеялись, что воры отстанут, накинутся на других.

Действительно, спешное передвижение помогло аулам Иргизбаев, зато участились пропажи у жигитеков и котибаков. Но и у Иргизбаев кражи не прекратились: в одну из ночей пропали два стригуна и одна отгульная кобыла.

— Теперь я знаю, — сказал Кунанбай.

Он сказал «знаю», но по имени вора не назвал. Байсал и Суюндик терялись в догадках. Они тщетно ломали головы и кипели бесплодной злобой. «Ищите, не прекращайте поисков», — передавал им Кунанбай, но своими предположениями ни с кем не поделился. В то же время он отправил несколько человек соглядатаев по соседним родам.

Отправляя их, он сам и давал им указания, никого не посвящая в свои намерения. С его поручением шли люди самые незаметные: в аул Караши родя Жигитек, например, Кунанбай послал дряхлую старуху, в Котибак — старика,

на которого никто не обращал внимания, в Торгай поехал старый погонщик верблюдов.

Все эти старики не подавали и виду, что разыскивают пропажу: они прикидывались, будто и не слышали о ней ничего. Что могут знать безобидные люди, которые ждут милости только от одного создателя?.. Но каждый вечер и каждое утро обходили все дома и интересовались приготовляемой в них пищей. Им было поручено только это.

Ловкий прием оправдал себя: Кунанбай скоро нащупал врага. Он напал на след воров, уводящих десятками его лошадей. Итак, его злоба снова изольется на жигитеков. Теперь с ним будут иметь дело Караша, Каумен и их семьи…

Его подозрения были справедливы: грабители были из рода Жигитек. Кражи были делом рук двоих людей: Балагаза и Абылгазы.

Балагаз — сын Каумена, старший брат Базаралы — был одним из самых отчаянных и решительных жигитеков. Абылгазы — сын Караши, дети которого все в отца: большие любители ссор и шума, готовые в любую минуту досадить кому угодно. В свое время сам Караша вместе с Кауменом были причиной ссоры между Кунанбаем и Божеем: как известно, бой в Токпамбете начался с того, что Караша и Каумен избили посыльных. С тех пор на всех больших сборищах — во время Мусакульской битвы, на асе Божея — сыновья Каумена и Караши привлекали общее внимание и всегда вызывали всевозможные пересуды. Все они были крайне придирчивы в вопросах чести, самолюбивы, сильны и смелы. Базаралы тоже вышел из этого гнезда. Он и остер на язык, и красив — высокий, статный. Жигитеки вправе гордиться им. В их роду отвага и сила всегда сочетались друг с другом.

Джут, как и везде, разорил большую часть рода Жигитек, у которого было мало пастбищ. Аулы Каумена и Караши оказались разоренными дотла. У таких жигитов, как Базаралы, Балагаз, Абылгазы и Адильхан, осталось по одному коню.

Целое лето они никуда не выезжали, терпели голод и недостатки. Просить удоя они считали для себя унижением, — самолюбие не позволяло им попрошайничать. Они не пошли даже к такому близкому родичу, как Байдалы. Жигиты решили было наняться работать, но народ после разорительного джута не нуждался в работниках. А работа по найму была бы единственным спасением, да и то они могли бы прокормить только себя, а не семью.

Целое лето Балагаз и Абылгазы видели высохших от нужды матерей, невесток, жен, голодных детей, слышали стоны и тяжкие вздохи. Они проклинали жизнь, но выхода не находили. В них поднималась злоба, накапливалась ненависть.

Базаралы правильно понял и метко выразил то, что волновало всех. Как-то раз, сидя на холме среди жигитов, он заговорил с желчной усмешкой:

— Если не прекратятся распри, нужда никогда не покинет народ. Вот

попробуй сейчас кочевать! Старики родители, жены, лети — все поплетутся пешком. Последнее дело — кочевать с одной коровой, но для нас и это недостижимо. Чем еще может покарать нас создатель?

Этим летом Базаралы часто говорил с жигитеками об обидах, накопившихся в сердце народа. Беседы эти волновали Балагаза и Абылгазы и приводили их в отчаяние. Они осаждали Базаралы: «Дай нам совет! Укажи выход! Что нам делать? Говори!» Ответа на такие вопросы Базаралы не находил. Тогда они решили искать выхода сами.

Балагаз и Абылгазы стали уезжать по ночам. Базаралы долгое время не знал ничего. Сперва пропали лошади у Майбасара, потом — у Жакипа. Базаралы слышал о кражах, но не придавал им значения. Третьим пострадал Кунанбай.

Однажды Базаралы, проведя бессонную ночь, вышел из юрты на рассвете. Он сидел в глубоком раздумье на поляне позади юрты. Невдалеке расположился стоянкой аул Караши — пять-шесть юрт, охраняемых сторожевым псом по кличке Актос. С первыми лучами утра раздумье Базаралы было прервано лаем Актоса. Собака злобно заливалась, накидываясь на кого-то. Так лаяла она только на людей.

«Кто там бродит чужой? Надо узнать!»— подумал Базаралы и стал выжидать.

Немного погодя к аулу Караши подъехали двое всадников. Оба остановились возле Молодой юрты Абылгазы. Один остался там, другой направился в сторону Базаралы.

Под всадником Базаралы узнал единственного коня Балагаза. Благородный скакун, как видно, покрыл сегодня большой путь, — он весь был в мыле и беспокойно рвался вперед. «Не иначе, как жигиты охотились за девушками», — подумал Базаралы.

Он неподвижно сидел на месте, чтобы не привлекать внимания Балагаза и, продолжал молча наблюдать. Нет. девушки ни при чем: Балагаз ездил с соилом. Сердце Базаралы дрогнуло. Побледнев, он припал к земле и продолжал наблюдать лежа. Близ аула Балагаз придержал коня и, спешившись, повел его к каменистым холмам недалеко от аула: это было прекрасное природное укрытие.

Базаралы продолжал наблюдать. Как видно, Балагаз хотел скрыть от аула свою странную поездку. Спрятав коня среди камней, Балагаз вернулся и вошел в юрту. Аул проснулся. Люди поднялись, а Базаралы так и не ложился.

Камни и скалы, удобные для укрытия, громоздились и за аулом Караши. Базаралы направился туда. Он нашел там другого привязанного коня — коня Абылгазы. В сердце Базаралы закипело возмущение. Дома он мрачно молчал и время от времени вздрагивал, как в лихорадке.

До самого обеда он волновался, точно ожидая чего-то. Его предчувствие оправдалось, — Каумен, вернувшись из соседнего аула, привез новость: ночью

у Иргизбаев снова пропали лошади.

К тому времени, когда Базаралы узнал об этом. Балагаз успел проснуться и тоже вышел из юрты. Базаралы крепко подпоясался, как перед дальней поездкой, и явился к отцу.

— Нужно поговорить. Выйдем, — сказал он и повел Каумена на холм.

По пути он позвал Балагаза. Тот вышел на оклик. Высокий, крепкий, смуглолицый, он был совершенно спокоен. Базаралы гневно на него посмотрел; всегдашний румянец на его лице сменился суровой бледностью, он неровно дышал, слова его звучали неестественно громко.

— Отец, ты учил нас, что жить честно можно и в дырявой лачуге. Я клялся не быть негодяем, какая бы нужда меня ни постигла. Ты тоже чуждался зла. в этом твоя высокая заслуга. Неужели же теперь, когда старость приблизилась к тебе, нам суждены черные дни позора?

Голос Базаралы задрожал и оборвался.

— Что он сказал? Что говорит этот негодный? — Каумен, не понимая, взглянул на Балагаза.

Тот молчал.

Базаралы быстро заговорил:

— Отыскался вор, который украл лошадей Майбасара, а сегодня ночью — Ирсая! Вот он, вор: твой сын Балагаз! — крикнул он.

— Что он сказал? Что ты? — в ужасе переспросил Каумен.

— Да, да!.. Я знаю, что говорю! Попробуй отопрись! — крикнул Базаралы брату.

Балагаз тоже весь вспыхнул.

— Что ты видел? Что ты знаешь? Чего ты накинулся? Скажи, что случилось? — спросил он.

— Я видел, как утром ты тайком вернулся с Абылгазы!.. Ваши кони до сих пор спрятаны возле холмов… Ты — вор! Не отпирайся! Если есть в тебе мужество, — говори правду!

Балагаз не стал увиливать.

— Да! Ты прав!

Базаралы, вздрогнув от негодования, сверкнул глазами и молча набросился на брата.

Оба были богатырского роста и обладали львиной силой. Их руки и ноги работали, как шокпары. Под внезапным натиском Балагаз не успел встать, но сумел перехитрить брата: он изо всей силы ударил его по ногам. Тот споткнулся. Балагаз насел на него и стал валить с ног. Но Базаралы был изворотлив, он весь изогнулся, вывернулся— и встал на ноги. Быстрый, как огонь, он снова схватил Балагаза и повалил его навзничь. Левой рукой он сжал его горло, а правой нащупал на поясе ножны и вытащил нож. Став коленями на грудь брата, он прохрипел:

— За такое дело — не брата, отца можно убить… Зарежу!.. — И он занес нож над горлом Балагаза.

Тот, сопротивляясь, бил руками и ногами.

Базаралы был сильней его. Минута — и он полоснул бы его ножом, но отец схватил его за руку.

— Стой! Собаки! Что вы делаете? Вставайте! — крикнул он, оттаскивая Базаралы.

Балагаз быстро вскочил на ноги. Он опомнился и кинул на Базаралы возмущенный взгляд.

— Ну, негодный… Хоть ты и собака, а все же брат мне! Ты, младший, топтал меня ногами — нет имени такому оскорблению!.. Умник!.. Это все, что ты придумал? — крикнул он со злобным упреком.

Базаралы угрюмо молчал. Балагаз ободрился и заговорил торопливо и возмущенно:

— Ты спросил — я не стал отпираться. Я сознался. А если бы я стал отказываться, — чем бы ты доказал? А если б я сказал, что ездил к кереям?.. Не только Кунанбай, пусть сам бог попробует напасть на мой след! Я делал так, что и следа никто не найдет! А для себя я это делал, что ли? Я помогал другим!.. Я крал не потому, что мне нравилось, — я крал с отвращением. Но от сделанного не отказываюсь. У меня ничего нет, а он богат. И разбогател он на моей бедности. Где моя земля? Где мое имущество? Что для него эти потери?.. Брызги его богатства! А мои близкие сохнут от голода — для них это спасение от голодной смерти! Я не наживаюсь: я спасаю людей от гибели!.. Пусть пропадает моя голова, но меня не удержишь! Я отнимаю у богача и отдаю неимущему. Кого ты поймал? Мелкого воришку? Я не вор — я мститель! Суди меня, если я украду у беззащитных бедняков!

Каумен не мог ни возражать, ни соглашаться. Он просто ужасался. Как бы ни были убедительны доводы Балагаза, он, Каумен, такую добычу в свой котел не положит. И он решил выгнать сына из своего аула.

— Уходи! Уходи! Откочевывай от меня! Видеть тебя больше не хочу! Откочевывай сейчас же! — решительно приказал он.

Все трое разошлись, но каждый внутренне остался при своем. Балагаз выполнил приказание отца и в тот же день перекочевал в аул Караши.

Дней через пять после его переезда у Кунанбая опять пропало несколько лошадей.

Сообщников у Балагаза было мало — сперва лишь Абылгазы и Адильхан. Потом они привлекли четырех жигитов из отдаленных аулов Наймана. Все четверо были храбрыми, сильными и находчивыми; на этот путь их привели тоже джут и нужда. Они решили отнимать коней у самых сильных, богатых аулов. Бедных договорились не трогать. Они никогда не ездили вместе: их всегда видели поодиночке как самых обыкновенных путников. Другая их

уловка заключалась в том, что из Наймана коней уводили тамошние их сообщники и передавали им, а из Тобыкты, наоборот, угонял коней Балагаз и сдавал найманским друзьям.

И те и другие знали вокруг каждую тропинку; им были отлично известны все водоемы, все дороги, на которых в пути не встретишь ни души. Они наперечет помнили каждый бугорок, каждый холм, овраг или ущелье, на которое обычный путник не обращает никакого внимания, и пользовались ими для того, чтобы запутать преследователей и натолкнуть их на ложный путь. И в этом Балагаз был особенно ловок. Он постоянно придумывал новые уловки.

Маленькая шайка в шесть-семь человек вихрем носилась по двум округам. Смелые жигиты нападали, как стая волков.

По утрам, как только обнаруживалась пропажа, потерпевший аул поголовно садился на коней. Верховые делились на маленькие отряды в два-три человека, мчались и обшаривали все кругом, занимали все пути, все вышки, удобные для наблюдения, думая перехватить воров по пути в Керей, Найман и Каракесек. Целыми днями на возвышенностях стояли дозорные, но каждый раз они возвращались в отчаянии.

— Хоть бы муха пролетела, хоть бы жук прополз! — говорили они.

— Воры прячутся где-нибудь в самом Чингизе! — предполагали другие и обшаривали каждый кустик. И опять ничего не находили.

Балагаз шел на рискованные проделки с большим хладнокровием в мужеством. Он заранее намечал аул и лошадей, затем ночью уводил их, но не бросался с ними в немедленное бегство и не переправлял их в Найман. Наоборот, в течение тех трех-четырех дней, пока все не успокаивалось, он оставался вблизи того аула, откуда увел лошадей, — не дальше овечьего перегона. Он никогда не приближался ни к возвышенностям, ни к лесам, которые привлекают внимание дозора, — он шел в те места, где бывал только сенокос. За один раз Балагаз брал не больше пяти-шести коней и выводил их из табуна к своим жигитам, ожидавшим вблизи с уздечками.

Жигиты садились на уведенных коней и спускались в ложбину. Балагаз стоял настороже. Когда со стороны аула показывалась погоня, он спокойно продолжал наблюдать, в каком направлении они поедут. Одно движение его руки — и жигиты направлялись в сторону от преследователей. Они никогда не кидались вскачь, а просто переезжали из одной ложбины в другую, от одного прикрытия к другому. Бывало даже, что воров отделял от преследователей всего какой-нибудь бугорок. Они оставались поблизости от того аула, который пострадал от их же руки. Порой они занимали те места, которые только что были обысканы.

Так проходило несколько суток. После этого Балагаз ночью отправлял коней с товарищами в Найман.

Старуха, посланная Кунанбаем в аул Караши, понятия не имела об этих

уловках. Ей долго не удавалось ничего обнаружить; Балагаз и его товарищи никогда не забивали добычу у себя дома, они даже близко к своему аулу не подводили этих лошадей. Только один раз Абылгазы не устоял перед соблазном. Жигиты, приезжавшие в погоню из Наймана, были уже далеко, опасность, казалось, миновала. Стригуна зарезали на берегу реки, и Абылгазы привез домой только один тельшик.[111]

Мясо положили в котел в то время, когда все ложились спать. Но старуха все-таки учуяла запах конины. Пока мясо варилось, она подкарауливала издалека, а когда его вынули и подали Абылгазы на блюде, она внезапно вошла в юрту, увидела тельшик и сразу убедилась, что это был тельшик стригуна.

Едва Кунанбай узнал об этом, он немедленно же направил нарочного к Байдалы: Караша — его родич. Пусть Байдалы сам и судит его. Все установлено точно, есть свидетель. Пусть Байдалы сообщит, что он намерен предпринять. Если Караша станет отрицать, надо заставить поручиться за него Каумена. Таков был салем, посланный Байдалы.

Байдалы не стал и расспрашивать Карашу: он сразу ухватился за Каумена. Тот стал отнекиваться и отмахиваться и заявил, что он не имеет ничего обшего ни с Карашой, ни с Балагазом и давно уже отказался от них.

Но Байдалы не отставал:

— Или обвини — или оправдай! Кунанбай поверит только твоему слову. Если ты наверное знаешь, что они ни при чем, — чего же бояться клятвы? Наоборот, своих же родичей защитишь от несправедливого обвинения!

И Каумен внезапно выдал себя:

— У меня нет души, которую некуда было бы девать. — ответил он. — Заступаться, как за невиновных, не стану…

«Каумен отказался!.. Говорят, он сказал — не ручаюсь! Воры — из аула Караши!..»—загудели Иргизбаи.

«Называются родичами, а поступают хуже врага! Теперь мы не простим, пусть не ждут пощады! Все отнимем, сожжем их аулы вместе с добром!»—грозились Майбасар и Жакип.

Они и Кунанбая натравливали:

— Не щади их, прижми посильней!

Но у Кунанбая были другие мысли. Этот год проходил для всех особенно тяжело и следовало серьезно подумать. Кроме того, за последнее время у него наладились отношения с Байдалы. А в довершение всего воры нападали не на одних Иргизбаев, но и на котибаков и бокенши. Они не пощадили даже самого Байдалы. Значит, нужно действовать совместно с ним и, если удастся, удар нанести через него же. Но во всяком случае вся вина за кражи должна лечь на жигитеков.

Придя к такому решению, Кунанбай умерил пыл Майбасара.

— Подожди, не рвись зря, наберись терпения! Караша от нас не уйдет! —

сказал он и снова послал человека в род Жигитек.

На этот раз поехал Жумабай. Прежде всего он явился к Байдалы. Кунанбай передавал ему салем и благодарил за выполнение его первой просьбы: через Каумена выяснилось все. Передав это поручение, Жумабай сообщил, что Кунанбай вызывает к себе Карашу и Абылгазы.

Байдалы не возражал.

— Пускай сам повидается с ними и договорится, как родич с родичами! Он прав. Я передам Караше его салем, — ответил он.

Вызов Кунанбая был передан, но Караша и Абылгазы не поехали. Байдалы попробовал угрожать, ко ничего не сумел добиться. Караша и его сообщники оказывались виновными вдвойне: крадут скот и не хотят отвечать за это.

Положение Кунанбая укреплялось.

Иргизбаи днем и ночью следили за аулом Караши. Абылгазы, Адильхан и Балагаз куда-то исчезли.

— Скрываются, — настойчиво повторяли кругом.

Подозрения и толки все росли. К ворам причисляли всех жигитов аула Караши и Каумена, которых не было дома.

«Абылгазы, конечно, не мог действовать один, у него, наверное, большая шайка. Весь народ будет преследовать их», — так думали и повторяли все.

Слухи шли из Иргизбая и быстро облетели все аулы. Балагаза и Адильхана давно считали сообщниками Абылгазы. Когда тот не явился на вызов, Кунанбай послал за Балагазом и Адильханом. Караша и Каумен через людей тоже советовали Балагазу съездить к Кунанбаю.

Балагаз ответил решительно, что не поедет. Друзьям он объяснил причины своего отказа.

— От Кунанбая мне пощады не будет. Он уже давно ищет предлога, чтобы столкнуть меня в яму. Так зачем же мне изображать кроткого ягненка и самому лезть к нему? Мне жалеть теперь нечего. Пусть попробует поймать меня. Пусть сперва схватит и укротит меня, а уже потом надевает недоуздок. Все равно теперь на мне клеймо негодяя. Коли на то пошло, я не хочу, чтобы меня называли «покорный негодяй», «расчетливый негодяй» или «сговорчивый негодяй». Умру, но не потерплю такого унижения!

Упорство Балагаза и Абылгазы заставило Кунанбая призадуматься. По старой привычке ему надо было бы устроить набег и отнять все имущество у обидчиков, но сейчас, когда большинство бедствовало и голодало, делать этого было нельзя, — мог разгореться нешуточный пожар.

Есть другой путь: жалоба по начальству. Самое лучшее — вызвать отряд, изловить преступников при помощи урядников, заковать в цепи и положить всему конец.

Но законы тоже изменились: ага-султанство отменено, появились другие новинки, — у племени Тобыкты даже дуан переменился, с лета они перешли

под управление Семипалатинска. Раньше все Тобыкты было подчинено одному волостному, теперь оно будет разбито на три волости. В новом дуане — новое начальство. Кунанбай еще не встречался с ним, а тем более не имел там никаких знакомств. Вот-вот начнутся выборы, и в ожидании таких событий идти с жалобой на свои аулы — не расчет. Нужно выждать по крайней мере до конца выборов.

Переждать необходимо, но шайка Балагаза ведет себя вызывающе. Он два раза посылал за ними, а они и слушать не желают. «Так они и зазнаются, решат, что с ними ничего не сделаешь», — думал Кунанбай. После долгих сомнений он отправил отряд надежных жигитов, приказав наброситься врасплох, схватить и привести к нему непокорных.

Но Балагаз не собирался легко даваться в руки, — все его жигиты ускакали а разных направлениях. А когда усталые преследователи, заморив коней, возвратились ни с чем, Балагаз с товарищами вернулся за ними следом. На этот раз опять был ограблен табун Кунанбая, но воры взяли несколько стригунов.

Кража совпала с днями, когда аулы въезжали в свои зимовья; дни стояли холодные, коровы и кобылы перестали доиться, и народ особенно бедствовал. Мелкий скот, бродивший в одиночку, легко мог попасть в руки голодающих.

Кунанбай со дня на день ожидал выборов волостного управителя. Он вызвал к себе Базаралы. Тот повел себя не так, как другие жигитеки: он явился сразу.

Кунанбай сидел у своей новой токал — Нурганым. Они совсем недавно перебрались в зимнее помещение. В доме было тепло, комната была убрана нарядно, как Молодая юрта. Статная Нурганым поражала своей красотой; особенно хороши были ее большие, полные огня, темные глаза. В ее обаятельной внешности сочетались молодость, здоровье, беспечность. Легкий румянец покрывал безупречно чистое лицо. С правой стороны довольно крупного, почти мужского, носа темнела маленькая родинка. Черная родинка на румяной щечке — редкое украшение. А стан Нурганым так строен и гибок, что ей может позавидовать любая красавица.

Ожидая, что скажет Кунанбай, Базаралы внимательно вглядывался в Нурганым. «Удивительно, где он выискал такую токал?»— любовался он про себя.

Нурганым держалась скромно, но уверенно и непринужденно. По ее приказанию внесли самовар, разостлали скатерть. За чаем она без всякого стеснения смотрела то на мужа, то на Базаралы и спокойно рассказывала о хозяйственных делах. Муж называл ее «Калмак».[112] После чая он обратился к ней:

— Калмак, вели убрать чай! Я хочу поговорить с Базаралы.

Нурганым не торопясь выполнила приказание мужа и отослала прислужницу, а сама осталась сидеть поодаль от Кунанбая, по-мужски поджав ноги.

Кунанбай заговорил спокойно, не повышая голоса. Он взывал к самолюбию

самого Базаралы.

— Они позорят и тебя. Ты — настоящий человек и дорожишь честью. А их поступки — пятно на твоем честном имени. Ты не станешь их защищать; я надеюсь, что у тебя нет для них оправдания. Что ты скажешь?

Базаралы не задержался с ответом. Он ответил коротко, пристально глядя в лицо Кунанбая. Его слова были спокойны, сдержанны и убедительно красноречивы. Он приехал не для того, чтобы оправдывать грабителей. Он осуждает их, а потому порвал с ними. Правда, он кровный брат Балагаза, но жизнь у них разная. Уже давно они решили не встречаться друг с другом.

Чай разгорячил кровь. Лицо Базаралы раскраснелось и стало необыкновенно красивым. И глаза, умные и проницательные, и яркие краски лица, и богатырский стан, и длинные белые пальцы — все невольно привлекало к себе внимание Нурганым. Ей казалось, что эти широкие плечи, могучая грудь, сильные руки не потерпят насилия.

Среди молодого поколении Тобыкты Кунанбай впервые встречал человека, который разговаривал с ним так свободно. И ответ Базаралы и его независимость поразили его. Он тут же вспылил:

— Раз ты осуждаешь их, помоги покончить с разбоем! Но Базаралы возразил ему:

— Да, я осуждаю, конечно. Я уже говорил. Но что толкнуло их на этот путь? Недавний джут и нужда. А вторая причина — несправедливость, которая известна всем родичам. Кто стоял но главе, тот прибрал все к своим рукам. Другие опоздали, и их доля прошла мимо. А безответный народ остался и вовсе ни с чем. К чему же это привело? Те, кто и раньше стоял в первых рядах, те не пострадали. А те, кто был обижен и прежде, остались и теперь беспомощными слепцами. Подумал ли об этом хоть кто-нибудь? Есть ли у народа старейшины, которые посочувствовали бы ему в бедствиях? Я приехал спросить об этом, — сказал он.

Базаралы не ответил на вопрос, а пошел встречным течением. Это не понравилось Кунанбаю. Он бросил на гостя уничтожающий взгляд. Главным доводом Кунанбая было то, что бедствие это ниспослано богом, начертано превратною судьбой.

— Джут не подчиняется людям. Кого за него винить? Разве не делятся те, кто имеет чем делиться? Но ведь всем не поможешь! Достойный удовольствуется малым. Нужно смиряться перед волей создателя!

Но Базаралы не убеждала и эта «воля создателя». Пусть народ стонет и бедствует по его воле, — ну, а если бы люди, называющие себя заступниками народа, оказали бы помощь? А они говорят только о покорности. Может, так покорно и лечь в могилу? Базаралы не мог сделать других выводов из наставления Кунанбая и прямо высказал это.

Кунанбай считал для себя унизительным спорить и пререкаться с Базаралы.

Он только мрачно насупил брови и решительно закончил:

— Теперь моя совесть чиста и перед тобою. Я вижу, что щадить нечего. Одно скажу: Балагаз и Абылгазы сами напрашиваются на беду. Им плохо придется. Я предупредил — теперь не обижайтесь!

Базаралы понял, что разговор кончен. Он собрался уезжать. Перед самым уходом он снова обратился к Кунанбаю.

— У меня нет ничего общего с Балагазом. Что будет то будет. Но дело не в том. Вы всю жизнь тратите свои силы, чтобы словом и делом держать народ в страхе, а народ растрачивает свои силы, чтобы разубедить и смягчить вас. И все тщетно. Видно, нам не сойтись. Судьба судила лам вечные раздоры, — сказал он, надевая малахай.

Его слова остались без ответа. Он неторопливо встал, простился и направился к выходу. Нурганым и Кунанбай не сводили с него глаз. Сдержанный, сосредоточенный, несгибаемый, он ушел, и не было в нем ни тени беспокойства, стеснения или робости.

Кунанбай продолжал задумчиво смотреть на закрывшуюся, дверь, потом обратился к Нурганым:

— Удивительный он, этот Базаралы! Красив и умен, как ни один жигит в нашем крае! Только думы его — недруг его… Угораздило же тебя, несуразного, родиться от Каумена — короткорукого!.. Родись ты от сильного, ты был бы гордостью рода!

В словах Кунанбая звучали и восхищение и зависть.

Нурганым и так слушала Базаралы с напряженным вниманием. А слова мужа только подогрели в ней интерес к красивому и умному жигиту. Из зависти и восхищения Кунанбая она выбрала для себя второе. И, еще не понимая себя вполне, она почувствовала, что сердце в ней вскинулось, как молодой упрямый конь, рвущийся на волю.

4

Прошел слух о приезде начальства для проведения выборов. Кунанбай вызвал к себе Абая.

Всю осень Абай провел в одиночестве, увлекаясь домброй и музыкой. Играл ли он кюи «Желтая река Саймака», или «Плач двух девушек», или же «Песню жаворонка»— каждый звук их напева был полон глубокой мысли. О чем говорила домбра? Она возрождала и стремительный бег быстроногого верблюда Асана-Кайгы и медленную печаль Алшагыра. Но примирившиеся с тем, что они видели, не достигшие желанного, эти страдальцы минувших дней плакали в звуках его домбры.

Мысли Абая неотвязно возвращались к Кадырбаю. Он вспоминал каждое его слово и каждый свой ответ седому акыну. «Сколько горечи оставило нам

прошлое!»— говорил тогда Абай. Он хотел сказать этим: «Великая горечь звучит в несбыточных мечтах акынов, в их песнях, в их музыке». Абай поверял все думы домбре, седой рассказчице преданий далекой старины.

Он забросил развлечения, перестал встречаться с молодежью. Недавно приезжал Ербол, звал его с собой и старался соблазнить друга играми и весельем, перечислял по именам новых красавиц девушек… Но Абай оставался равнодушным. Пока Ербол гостил у него, он сочинил новую песню: «Уймись, мое сердце, уймись!» Чуждая веселью, к которому звал друг, она была ответом на его призывы. И когда Абай спел свою песню, Ербол сразу же вступил в спор с ним.

— Неужели ты навсегда прощаешься с молодостью? Ведь тебе еще двадцати пяти лет нет! Что ты выдумываешь, я никак не пойму, — говорил он.

Абай только тихо рассмеялся. Как и раньше, он наедине с другом играл на домбре и пел одну песню за другой, изливая в них свои думы. Несколько дней подряд он повторял свое: «Уймись, мое сердце, уймись!»

С мыслью песни Ербол не соглашался, но слова ее находил красивыми, поэтому иногда и сам начинал подпевать Абаю. Целых десять дней оба жигита точно говорили юности, уходящей от них: «Прощай!»

Ерболу нужно было возвращаться. Расставаясь, Абай откровенно признался другу:

— Я старость и не зову, Ербол. Разве я не дорожу молодостью? Что в мире прекрасней юности? Ты и сам это знаешь. Но вместо ушедшего детства и юности я хочу найти молодость — разумную и плодотворную. И на этом пути меня ждут новые возлюбленные… Начни я рассказывать тебе о них — ты увидел бы, что грудь моя не вмещает мечтаний… Узнаешь потом!

Это звучало как исповедь.

Кунанбай вызвал к себе сына как раз в этот день. Ербол тотчас же уехал домой, а Абай отправился в Карашокы.

Приближались сумерки, когда он подъезжал к аулу отца. В логу, поросшем лозняком, он увидел встречного всадника — высокого, широкоплечего. Это был его младший браг Оспан; в сумерках Абай узнал его только тогда, когда они поравнялись. Абай удивился: видя Оспана изо дня в день, он просто не замечал, как тот вырос. Хотя ему недавно исполнилось восемнадцать лет, он уже стал выше и крупнее Абая.

Оспан подлетел на полном скаку, узнал брата, остановился и сразу же принялся рассказывать:

— Сегодня я случайно пошел к отцу. Он и спрашивает: «Ну-ка, отвечай: постишься ли ты, совершаешь ли пять дневных молений, соблюдаешь ли свой долг мусульманина?» Совсем как Мункир и Нанкир![113] Я хотел было честно признаться: я, мол, чист и от грехов и от постов, как дикий кулан в степи, — да не посмел, побоялся, что будет буря… «Да, говорю, все соблюдаю…» Отец был

очень доволен, усадил меня рядом с собою и целый день продержал голодным. Ну и скука была! Делать нечего — и молился пять раз, хотя и без омовения, [114] и сказал, что тоже пощусь. А вечером сел с ним за трапезу воздержания и, чтобы утешить себя, съел все самое вкусное, что приготовили. Вот и скачу домой! Полюбуйтесь, ага, — вот тот самый Оспан, который сумел обмануть даже вашего отца! — И юноша громко расхохотался.

Смех его был так заразительно весел, что Абай тоже рассмеялся, но в его смехе сквозила и легкая издевка.

— Скажи ты отцу правду, вряд ли бы ты так радовался. Как хорошо, оказывается, лгать!

И, продолжая смеяться, он хлестнул коня. Оспан не нашелся что ответить, тоже стегнул коня и отправился дальше.

Приехав в Карашокы, Абай не сразу пошел к отцу. Сперва он направился в дом Кунке. Кудайберды, любимый его брат, давно болел. Абай решил прежде всего навестить его и узнать о его здоровье.

Кудайберды лежал на высокой постели, мучаясь кашлем. Приход Абая обрадовал его. Бескровное лицо больного покрылось румянцем. Он оброс длинной черной бородой, тело исхудало, кости резко выступали, жилы надулись темными узлами.

Изнуренный вид брата огорчил Абая. Он снял верхнее платье, подошел к Кудайберды и сел подле него.

Болезнь, подточившая силы брата, теперь овладела им окончательно. Абай видел его дней пятнадцать назад. За это время больной заметно сдал. Он взял руку Абая, сжал ее своими слабыми пальцами и погладил.

— Хорошо, что ты приехал, — сказал он.

Абай обеими руками пожал бессильную руку брата, притянул ее к себе и прижал к своей груди. Оба молчали, но они понимали друг друга без слов, сердцем. Немного погодя Кудайберды спросил тихо:

— Был у отца?

— Нет еще. Сперва зашел к тебе, — ответил Абай.

Из соседней комнаты прибежали трое мальчиков и отдали Абаю салем. Это были сыновья Кудайберды — Шаке, Шубар и Амир.

Абай подозвал мальчиков и нежно поцеловал их. Шаке и Шубар уже учились. Каждый раз, приезжая сюда, Абай расспрашивал их об ученье. Дети любили его. Сейчас они смело подошли к нему.

Глаза Кудайберды остановились на детях, окруживших Абая. Он не выдержал — и в волнении отвернулся к стене. От Абая не ускользнуло это движение. Он поговорил с мальчиками и немного погодя отослал их играть, а сам снова подсел к больному.

Кудайберды взглядом указал в их сторону.

— Что из них выйдет? Что будет? Они — братья тебе.[115] Кому из них

какая судьба?.. Я остаюсь должником перед ними… — проговорил он. Казалось, он прощался с детьми.

Горячие слезы покатились из глаз Абая. Голос дрогнул.

— Этот долг я принимаю на себя. Баке! Пронесу их по жизни на своих плечах, как сумею!

Кудайберды сам же начал уговаривать его.

— Не плачь… Не надо плакать, — повторял он.

Несколько минут оба молчали. Кудайберды успокоился и повернулся лицом к Абаю, но при первом же движении его снова стал душить кашель. Абай поправил одеяло, накрыл плечи больного и заботливо укутал его.

Кудайберды перевел разговор на другое.

— Тебе известно, зачем отец вызвал тебя?

— Нет, Баке, пока ничего не знаю.

— Ну так я скажу тебе. Сегодня приехали чиновники, будут проводить выборы. Отец разместил их в ауле Жакипа. Говорят, в новых волостях будут новые власти — «управители». Отец хочет назвать им тебя. Понял? Что ты на это скажешь?

— А ты что скажешь? Что мне посоветуешь?

— Если хочешь знать мой совет, — сказал Кудайберды подумав, — откажись. Достоинство человека вовсе не в том, чтобы быть начальником. Мы уже убедились в этом. Власть портит человека и приносит ему не добро, а одни проклятья. Не губи зря свою молодость!

— Да, Баке, все, что ты сказал, верно, — ответил Абай не задумываясь.

— Такежан, кажется, добивается избрания. Вот пусть он и принимает волость, к своему удовольствию! — заключил Кудайберды.

До самой ночи Абай не уходил от брата. По просьбе больного принесли домбру, и Абай играл ему один кюй за другим. Мальчики пришли опять. Абай хотел, чтобы больной заснул, и начал рассказывать детям из «Тысячи и одной ночи». Мальчики ни на шаг не отходили от него и слушали его сказки затаив дыхание. Они были в восторге от своего дяди, который так хорошо играл на домбре и так замечательно пел. На ночь они улеглись в одну постель с ним. Между Амиром и Шубаром начались споры.

— Я лягу с дядей Абаем!

— Нет, я сам лягу! — И они с двух сторон залезли под одеяло к Абаю.

Пока оба не заснули, каждый старался обнять его и перетянуть в свою сторону.

Чиновник, приехавший на выборы, вчера посетил Кунанбая и долго беседовал с ним. Было ясно, что при выборах волостного управителя он будет прислушиваться к мнению Кунанбая.

С того дня, как вышел новый закон о волостных правлениях, Кунанбай твердо решил отказаться от должности. Когда существовало ага-султанство,

управлявшее целым округом, Кунанбай прельщался властью. Потом последовало понижение — он стал старшиною Тобыкты, но даже и тогда все племя было под его рукой: «Разожмешь пальцы — на ладони, сожмешь — в кулаке».

Но теперь руки начальства протягиваются все дальше и глубже. Единого Тобыкты не существует — он разбит на три волости. Быть правителем одной трети — не велика честь! А отказавшись от должности и стоя в стороне, можно сохранить больше влияния на все племя. Это первое.

Во-вторых, управлять народом становится все трудней и сложней. Появляются непокорные вроде Балагаза. Нужно бороться с ними. Если преследовать станет он сам, возобновятся прежние распри. Тягаться с равными вроде Божея, — еще куда ни шло, но стать волостным управителем и бороться с зеленой молодежью ему не к лицу.

Им нужен правитель молодой, с крепкой хваткой.

Пусть борются между собой сверстники. Молодое поколение уже возмужало, власть надо передать ему, а свою волю проводить через других.

В-третьих. Кунанбаю уже седьмой десяток — и тот на исходе. Ему пора подобрать себе смену из своих же сыновей.

Он продумал все и остановил свой выбор на Абае. Здесь тоже был прямой расчет.

Абай вырос вне его влияния. Его поведение и речи доказывают, что в лице сына за плечами Кунанбая встал строгий судья. За последние годы это особенно бросается в глаза, а с тех пор, как отец женился на Нурганым, Абай совсем отдалился от него. В этом Кунанбай больше всего винил Улжан: «Таким холодным воспитала ты сына», — упрекнул он ее прошлым летом.

Но как бы сын ни чуждался его, отец знал, что Абай умен, деятелен и проницателен. Значит, нужно постараться привлечь к себе сына, который отдаляется все больше. Приняв на себя тяжелое бремя правления, Абай волей-неволей окажется в руках отца. Если намерения Кунанбая сбудутся и сын согласится, многие дела, которые не под силу большинству молодежи, будут вполне по плечу Абаю. Отец верил в него. Все эти обстоятельства и привели Кунанбая к такому решению.

Абай пришел, когда отец встал и напился чаю. Скатерть была убрана, покрытый коврами пол только что чисто подметен. Такежан опередил Абая, — он сидел тут же, в стороне, на одном колене, как набожный воспитанник медресе; Кунанбай приказал всем выйти, оставив только их двоих.

Он говорил с обоими, но чувствовалось, что все его слова были обращены к Абаю. Он говорил о наступившей старости; напомнил, что вся его жизнь — и в скромные дни и в годы блеска — была полна тревог, постоянной борьбы. А за что он боролся? — За будущее своих сыновей, своих детей. Теперь они возмужали. Пришел их черед самим распоряжаться своей судьбой. Кого они ни

приобретут — друга ли, врага ли — приобретут его среди своих сверстников. Тайны настоящего дня им доступнее, чем старикам. Они быстрее найдут надежные пути борьбы. И стоять на страже всех этих дел могут по очереди оба его сына, которые сидят перед ним. Но сегодня должен стать один, а завтра — другой. Пусть не завидуют они друг другу, не оспаривают добычу. Нынче отец намечает Абая. Он считает правильным, чтобы Абай принял волость.

Уже давно Кунанбай не обращался к Абаю с такой длинной речью.

Сын немного помолчал, как бы в раздумье, потом откашлялся и ответил:

— Благодарю, отец, за ваше доверие. Вы правы, слагая на нас бремя жизни. Вы должны быть свободны от ее тягостей, — наступило время, когда вы вправе требовать покоя. Но если вы имеете в виду меня, то я сам не хочу быть волостным. Не по душе мне это. Такежан и старше меня и изворотливее, он больше подходит к этой должности. Пусть он и принимает волость.

С последними словами Абай повернулся к Такежану. Тот вспыхнул от удовольствия, но продолжал хранить вид покорного ученика. Он напоминал лицемерно набожного муллу на похоронах в ожидании богатых даров.

Кунанбай несколько раз устремлял на Абая пристальный взгляд и дважды переспросил его о причине отказа.

Первый раз Абай коротко ответил: «Не могу». Когда отец опять настойчиво переспросил его, он ответил подробнее.

Правитель народа должен быть зрелым человеком. А он, Абай, не чувствует себя подготовленным к этой должности. Власть в неопытных руках — что бритва в руках ребенка: или порежется сам, или изувечит других. Себя Абаю не жаль, но не жалеть народ, попадающий в зависимость от него, он не может. Вот почему он отказывается. Когда его знания будут достаточны, чтобы принести пользу народу, когда он почувствует, что он годен, он и сам, без просьбы отца, скажет об этом, — он дает слово. А пока пусть отец не настаивает…

Кунанбай сразу круто повернул в другую сторону и предложил должность Такежану. Того не пришлось долго упрашивать — он тут же дал согласие.

Через пятнадцать дней Такежан был утвержден в должности волостного — исразу же показал себя.

Советников у него оказалось много: с одной стороны Кунанбай, с другой — Майбасар и Жакип старались внушить ему свои наставления.

Новый волостной уже побывал в городе. Кунанбай послал с ним салем Тинибаю, прося, чтобы тот руководил сыном в городских делах. Семипалатинский уездный начальник был с Тинибаем в приятельских отношениях. При помощи этих связей Такежан в первую же поездку устроил множество дел. Кунанбай заранее во все посвятил чиновника, приезжавшего на выборы. Основным было дело о Балагазе и Абылгазы.

Такежан, став управителем, так и горел от нетерпения показать всем свою власть и все свои силы вложил в борьбу с Балагазом и Абылгазы. По

возвращении его из города новый семипалатинский уездный начальник отрядил следом за ним в Чингиз пять вооруженных стражников.

Жумагул, которого Такежан сразу после своего утверждения назначил посыльным, вместе с молодым жигитом Карпыком сопровождал стражников в качестве проводника. Он привел их в волостную канцелярию глухой ночью, чтобы их приезд остался в тайне. Такежан и Майбасар дали им в помощь еще десять жигитов и в ту же ночь направили в Жигитек.

Раньше Тобыкты имели дело с военными отрядами только в совершенно исключительных случаях. Поэтому, когда вооруженные стражники проезжали мимо аулов, страх нападал на всех, от стариков до малых детей.

В горах Чингиза отряд легко обнаружил Балагаза и Абылгазы. Но стражники, редко выезжавшие за город да еще незнакомые с местностью, сразу же проявили свою беспомощность. Они не могли скакать в гористой местности, хватались за седла и болтались, как мешки, далеко отстав от преследуемых. Каждая куча камней на вершине гор казалась им засадой. Они вытаскивали длинные трубы и подолгу смотрели в них. Жумагул, издали узнавший беглецов, выходил из себя от нерешительности стражников. «Разбить бы эту длинную кишку, так бы и дал по ней соилом!»— скрежетал он зубами. Но он ничего не мог сделать, а отряд все медлил.

Сообразив это, Балагаз остановил коня и, обернувшись, стал наблюдать за погоней. Впереди мчались иргизбаи: сразу можно было различить Жумагула, Карпыка и других жигитов. Беглецы решили не сдаваться.

Абылгазы и Балагаз направили своих товарищей по одному из узких ущелий Чингиза, а сами вместе с Адильханом остановились за утесом, поджидая преследователей.

Отряд Жумагула, уверенный, что противник далеко, скакал врассыпную, Балагаз пропустил Жумагула и Карпыка, а потом внезапно ринулся на них сзади. Нападающих оказалось трое против двоих. Березовые соилы и черные шокпары сделали всего два-три круга в воздухе. Сильные и ловкие, Балагаз и его товарищи в одну минуту сбили наземь обоих противников и ускакали, уводя с собой их коней.

Стражники не осмеливались больше преследовать врага, который сумел расправиться с их товарищами. Погоня сбилась в кучу, остановилась и повернула обратно. |

Потерпев неудачу, Такежан выместил злобу на мирных жителях, разграбив их имущество. Жумагул и Карпык с десятком жигитов налетели на аулы Караши и Каумена и угнали весь крупный скот. Той же участи подвергся и Уркимбай. У бедняков отняли последнюю дойную корову. До сих пор никогда ничего подобного не бывало. Как бы ни карали, карали только самого виновника, по пословице: «Чья рука содеяла, того и шея в ответе». Такежан совершил неслыханное дело: он посягнул на последнее пропитание стариков,

старух и детей.

Весь Жигитек загудел, услыхав эту весть.

— Что творится на свете? Вон куда ветер подул! Видно, и правда, вину собаки на журавле вымещают! — негодующе твердили все.

Котибаки и бокенши, тесно связанные с жигитеками, тоже с возмущением встретили это известие. Всего несправедливее было то, что пострадал ни в чем не повинный Каумен: о его разрыве с Балагазом знали все. И Уркимбай тоже не имел никакого отношения к ворам.

Народ не знал достоверно, кто виновник допущенной несправедливости, но все были раздражены и озлоблены.

— Опять беда нагрянула, — толковали люди.

Волостную канцелярию Такежан перевел в свой аул в Мусакуле. Он окружил себя не только переводчиками и посыльными, но и советчиками вроде Майбасара и Жакипа — целой многочисленной свитой. Все они в свое время пострадали от Балагаза, а потому воспользовались случаем отомстить всему роду Жигитек.

Отряд в сущности и выслан был для того, чтобы припугнуть народ и пригрозить ворам.

Через три дня стражники уехали в Семипалатинск. Накануне они еще раз выезжали в горы, пытаясь напасть на след беглецов, но разыскать людей Балагаза им так и не удалось.

Такежан, проводив стражников, начал собирать приговоры, тщательно готовить бумаги и жалобы в Семипалатинск.

Абая возмущало уже и то, что Такежан затребовал отряд, а услышав о его дальнейших безобразных поступках, он не вытерпел и сел на коня.

В Мусакуле он застал и Базаралы. Тот в присутствии Абая напал на Такежана:

— Коли бороться, так борись с преступниками. Но зачем же обижать мирных людей, которые и без того еле перебивались? Верни скот, если не собираешься морить с голоду женщин и детей! Вся их жизнь — в дойном скоте, который ты угнал. Пойми ты это…

Но Такежан и разговаривать не стал.

— Это еще только начало! Я не остановлюсь, пока не поймаю Балагаза и Абылгазы! Горе сею не я, а они, — бушевал он.

Базаралы вскипел.

— Говори прямо: пока не поймаешь Балагаза, весь народ закуешь в цепи! — крикнул он.

— С каких пор ты стал третейским судьей? — злобно огрызнулся Такежан. — Кто тебя назначил? Ты бы радовался, что я не беру тебя заложником за Балагаза, — мало тебе этого? Коли так, то предупреждаю тебя: будет Балагаз и дальше бесчинствовать— ответишь ты! Не отвертишься!

Но угрозы не испугали Базаралы.

— Я-то думал, что разговариваю с разумным человеком, а оказывается, предо мной слепая секира… Напрасно и ходил к тебе! Достаточно было бы поговорить с твоим посыльным и вернуться домой! — резко бросил он и поднялся с места.

Абай хотел было вмешаться и сказать брату, что он не прав, но Такежан оборвал его коротким:

— Не лезь, не суйся!

В канцелярии Абай увидел заготовленные бумаги. На беду жигитеков, все было тщательно подготовлено: и печать, и приговор, и подписи. Сегодня же вечером «почта с пером» отправится в город. Абай узнал и об этом и поделился новостью с Базаралы.

— Эти тупицы затевают страшное дело… Они опять готовят Токпамбет и Мусакул. Но пусть народ не тревожится и не пугается: ветер еще не буря, Базеке! — сказал он.

Базаралы собирался уехать, так и не сумев помочь людям, лишенным последней скотины. Абай попросил его обождать, отвел Майбасара, Жакипа и Такежана в сторону и с гневом обрушился на волостного.

— Схватиться с равными ты трусишь, а с женщинами и детьми— ты герой! Ты отобрал последний глоток молока у тех, кто ограблен джутом. Как тебе не стыдно! Ты думаешь — начальство простит тебе, что ты весь народ на дыбы поднял? Попробуй теперь усидеть на месте! — припугнул он Такежана. Потом решительно обратился к Майбасару — Это все ваши советы? Хоть вы-то постыдились бы! Немедленно верните скот народу!

Такежана озлобило требование Абая, но спорить с ним он не решился. Он не забыл, как долго отец уговаривал именно Абая принять волость. Если на этот раз Такежан промахнется, а Абай окажется правым, — грозит большая опасность. Кто знает, как поступит тогда Кунанбай, — не передаст ли должность Абаю? Если бы знать мнение отца… Но от него пока нет никаких вестей, и неизвестно, одобрит ли он меры, принятые против жигитеков. Такежан воздержался от ответа брату и сделал вид, что обдумывает его слова.

Во всяком случае, угрозы Абая были серьезны. Такежан и Майбасар были еще склонны упорствовать, но Жакип задумался. Оставшись с ними наедине, он начал убеждать их:

— Дело Абылгазы и Балагаза мы передадим уездному начальнику. Скорей выправляйте бумаги и посылайте в Семипалатинск.

Лучше преследовать только самих буянов, а скот придется возвратить, — посоветовал он.

Вскоре стада были возвращены, — Базаралы добился своего. Но он рассказал жигитекам об угрозах Такежана и прибавил, что на Балагаза в город направляется большое дело. Несмотря на разрыв с братом, все это время он

ежедневно посылал человека в аул Караши, осведомляя обо всем происходящем.

Прошло три дня, и весь Чингиз облетела потрясающая весть: «Ограблена срочная почта, отправленная Такежаном в Семипалатинск. Произошло это в границах Тобыкты, в овраге Мукыр. Теперь несчастьям конца не будет!»

Дела, которые Такежан смастерил на Балагаза и его товарищей, действительно были отправлены срочной почтой. Трое верховых везли бумаги, ими были набиты две переметные сумы. Жумагул, Карпык и еще один из жигитов, укрепив перья на шапках, вскачь понеслись из Мусакула. Дорогой, меняя коней, они устраивали суматоху и непрерывно твердили: «Срочная почта!.. Почта с пером!»

Нарочные ехали уже целые сутки. В следующую ночь они предполагали быть в Семипалатинске и уже подъехали к тесному оврагу Мукыр.

Внезапно они увидели перед собой встречных всадников. Те, поравнявшись, неожиданно схватили их за шиворот и сбросили с коней.

Трое осилили троих. Нападающие действовали молча; их лица были обмотаны черной тканью. Они отобрали у посыльных все сумки и ускакали прочь.

О жалобе Такежана и об отправке в город «почты с пером» Адильхан узнал в своем ауле. Даже не посоветовавшись с Балагазом и Абылгазы, он пустился вслед за посыльными. Сильный и ловкий, он из засады следил за посыльными и по пятам следовал за ними, а когда те остановились в пути, чтобы напиться чаю, он проехал вперед. Аднльхана сопровождали два смелых жигита из племени Найман. Втроем они легко выполнили свой план и вернулись в Чингиз.

В гневе Адильхан и не подумал о том, что ограбление казенной почты тяжко каралось законом. Но как бы то ни было — дело было сделано.

Ограбив почту, Адильхан скрылся в одном из аулов, на границе между кочевьями Сыбана и Тобыкты. Эти аулы давно служили Балагазу и его друзьям одним из убежищ. Балагаз впервые появился здесь в то время, когда люди, истощенные страшным джутом, дошли до того, что ловили капканами полевых зверьков. Балагаз роздал голодающим дойных коров и верховых лошадей.

Адильхан застал тут Абылгазы и Балагаза. Те, восхищенные его смелостью, решили, что раскаиваться в сделанном не стоит.

— Теперь волостной снова поскачет в город, начнется волокита, опять вышлют стражников. Дурак будет сидеть и дожидаться их! Дадим отдохнуть коням дня три-четыре, припасем на дорогу съестного и уйдем в Найман. Скоро наступят морозы. До лета пробудем там, а потом все успокоится, — решили они.

Но Кунанбай оказался хитрее, чем они предполагали. Он вызвал к себе Такежана и всех стариков рода Иргизбай, а также Байсала, Суюндика и других

родовых старейшин.

— Теперь я не остановлюсь до тех пор, пока не загоню их в землю! Кто посмеет заступиться за них после такой дерзости? Пусть кто-нибудь попробует вырвать воров из моих рук! Сгною в ссылке — или я не Кунанбай! — сказал он, весь дрожа от гнева.

Он не советовался с собравшимися, он созвал их для того, чтобы сообщить им свое решение и получить их поддержку. Для большего впечатления он тут же приказал Такежану:

— Вызови стражников, — пусть покончат с бунтовщиками!

Старейшины разошлись. Все ждали прибытия вооруженного отряда. Однако Кунанбай говорил о нем лишь для отвода глаз: в ту же ночь, сохраняя строжайшую тайну, он снарядил отряд в тридцать жигитов. Это было как раз в ту ночь, когда Адильхан приехал к Балагазу и его товарищам.

Кунанбай отправил жигитов с шестью гончими собаками. Шокпары, кистени, сабли он велел спрятать под верхней одеждой. Сборы заняли не более часа — и жигиты отправились за Чингиз. Такежан и понятия не имел о местонахождении Балагаза. Кунанбай, хоть и не занимался розысками, точно указал его.

К утру его жигиты доскакали до аула, где скрывались Адильхан и его друзья. Дозорный Балагаза видел, что из-за хребта показались верховые с собаками, но принял их за охотников: пока не уляжется прочный снежный покров, за Чингизом всегда идет охота. Изгутты, возглавлявший отряд, спокойно довел его до самого аула.

Там он обнажил длинную саблю и со всем отрядом бросился в дом, где спали беглецы, не подозревая об опасности. Их было десять человек.

Изгутты плашмя ударил саблей Балагаза. Тот проснулся и в ужасе вскочил.

— Все пропало! Проклятие надо мной! — воскликнул он. Это был конец — все были схвачены.

Их вывели из дома и попарно усадили на коней. Каждого коня окружили пять-шесть человек. Изгутты с саблей не отходил от Балагаза.

Из десяти пойманных к вечеру бежать удалось одному Абылгазы. Он пошептался со своим товарищем, сидевшим на коне вместе с ним, и немного отстал от остальных. Жигит Кунанбая, ехавший рядом, после бессонных, полных тревог суток дремал на ходу. Свой шокпар он засунул под колено, не придерживая его рукой.

Когда всадники въехали в извилистое ущелье, загроможденное целой стеной утесов, Абылгазы выдернул шокпар из-под колена дремавшего жигита, скинул его самого с седла и одним прыжком перескочил на его коня. Упав на землю, жигит долго не мог прийти в себя. Очнувшись, он схватил за повод заморенного коня, на котором остался второй пленный, и закричал. Но Абылгазы уже успел умчаться.

Пока передние поняли, в чем дело, пошумели и сговорились, как поступить

дальше, Абылгазы был уже далеко. Сумерки сгущались. Изгутты, боясь, что в погоне за одним упустит и остальных, приказал двигаться дальше и не останавливаться. Но теперь он сам ехал позади отряда.

Подъезжая к Карашокы, он послал к Кунанбаю сообщение о поимке воров и велел спросить, не желает ли Кунанбай видеть пойманных и допросить их.

Кунанбай дал короткое распоряжение:

— Отведите их в Мусакул. Скажите Такежану и писарю, чтобы сегодня же ночью направили их в Семипалатинск. Пусть рассадят их по телегам, дадут усиленную охрану, отвезут в город и сдадут в тюрьму. Пусть делают все без колебаний и оглядок!

Такежан немедленно и в точности выполнил приказание Кунанбая и глухой ночью отправил всех жигитов в семипалатинскую тюрьму.

Таким образом, народ узнал о поимке Балагаза и его жигитов уже тогда, когда те были далеко.

И Кунанбай и новый волостной напоминали кота, держащего в когтях мышь, который свирепо урчит, ощетинивается и сверкает глазами. О событии они говорили с негодованием, прикидываясь безвинно обиженными. Уже на третий день оба твердили не переставая:

— Так поступают только злейшие враги! Они уничтожили казенные бумаги, чтобы подвести под суд Такежана!

— Они хотят погубить Такежана! Это же чудовищное дело!

Но весь шум и гром этой бури поддерживался ими искусственно. Они собирали тучи и грохотали совсем с другой целью.

И раньше бывало много распрей и споров, но никогда еще дело не доходило до отправки противника в тюрьму, до высылки на каторгу в неведомые края. Все окружавшие Кунанбая понимали, что, когда народ опомнится и обсудит все случившееся, тяжелей всего будет принята весть об отсылке жигитов в тюрьму. Этим шумом волостное правление оправдывало неслыханное в степи наказание.

Когда Кунанбай сам стоял у власти, он никогда не прибегал к подобной мере, но в отношении Балагаза и его друзей он пошел на риск: их поведение было слишком вызывающим и ставило под угрозу общую веру в безграничность его собственной силы и власти. Он понял это и решился на крайнюю меру.

В деле Балагаза Кунанбай видел не простое конокрадство, — недавние слова Базаралы и действия Балагаза имели одни корни. И это подтверждалось тем, что Балагаз свои набеги устраивал не на кого придется, а по выбору — и преимущественно на род Иргизбай. И раз его люди не трогали бедняков — сочувствие к ним народа возрастало с каждым днем.

Что же получится, если весь народ, голодный и бедствующий, пойдет за ними? Кунанбая охватывала дрожь при одной мысли об этом. Эта опасность сама вела к необходимости беспощадных, быстрых и решительных действий.

Кунанбай рассчитывал запугать народ, жестоко наказав бунтарей в назидание другим.

Но как он ни прятал свои замыслы, кое-кто уже начал догадываться о них.

Суровости Кунанбая народ не оправдывал и считал тюрьму и ссылку неслыханной жестокостью. Даже Байсал и Суюндик колебались: как пострадавшие от грабителей, они внутренне соглашались с такой крутой мерой, но оправдывать действия волостного у них тоже не хватало духу. Они затаились в своих аулах.

Кунанбай чутко прислушивался к тому, что происходило в Жигитеке, а особенно в ауле Байдалы.

Жигитеки негодовали. Услышав об отправке пойманных в тюрьму, Байдалы тоже возмутился. Он жалел их, осуждал принятые волостью меры и открыто заявил:

— Никогда не будет того, чтобы Кунанбай постыдился или посчитался с народом! Накажи он их своею рукою пли с помощью родичей — кто посмел бы заступиться за них? А как теперь он ответит народу? Он, точно волк, сам растерзал своего детеныша! Вся молодежь Жигитека будет видеть в нем палача!

Он ничего не боялся: пусть Кунанбай слышит его слова. Он повторял их многократно.

И Кунанбай услышал. Эту глотку следовало заткнуть. Приходилось думать о мерах, еще более беспощадных, чем прежде.

— Жигитеки сочувствуют воровству и покровительствуют ворам! Значит, должны быть в ответе и они! — передал он Такежану.

Такежан и Майбасар тотчас увеличили список виновных с девяти до тридцати человек. В число обвиняемых попали Караша, Каумен, Уркимбай, а также все те, кому прошлый раз был возвращен скот.

Но этого мало: туда же вписали и Базаралы. Составляя список, Майбасар обратился к Такежану:

— А тебе понятно, как была ограблена почта? Вспомни-ка!.. Когда готовил бумаги, Базаралы был здесь и все разузнал. Он тогда же полетел в свой аул и подговорил Адильхана. Я как сейчас слышу его слова, которые он бросил нам тогда при всех… Он — зачинщик всего! Прикидывается безобидным, а в душе коварнее всех!

Такежан тоже припомнил прежние обиды. Базаралы вечно перечит, клевещет, поносит. Он надменен и самонадеян. Если Балагаза вышлют, Базаралы завтра же станет его защитником и начнет мутить народ. И Такежан охотно поддержал Майбасара.

— Я согласен с вами, — сказал он. — Надо нажимать именно на него.

И Базаралы был включен в список.

До Байдалы дошли слухи о том, что Такежан собирается обвинить и

жигитеков. Он тотчас вызвал к себе Базаралы. Они долго говорили с глазу на глаз, и Байдалы высказал мысль, которая уже давно мучила его:

— Вечно мне приходится каяться в своей беспечности. Сколько раз мне приходилось гореть в пламени, раздутом Кунанбаем, — и каждый раз он снова застигал меня врасплох… Сейчас повторяется то же несчастье. Разве не мы подпевали ему все лето, называя жигитов Балагаза ворами и преследуя их вместе с ним? Но сейчас я все обдумал, все взвесил: они не воровали, а совершали смелый подвиг… Они мстили за унижения… Встретил ли ты хоть одного голодающего, который проклинал бы их? Я не могу называть ворами близких мне мужественных людей. Поступок Кунанбая раскрыл мне глаза… Он замахнулся и на Каумена и даже на Уркимбая! Кто же останется? Думаешь, он пощадит кого-нибудь?.. Опять нам выходить на путь вражды? Он повторит зверства Такежана и Майбасара. Что он скажет?.. Это — салем рода Жигитек! Садись на коня и сейчас же съезди к нему. Говорить ты умеешь. И огня в тебе достаточно. Если он скажет, что от своего не отступит, — не щади его, выскажи все!

Базаралы и сам разделял мнение Байдалы и поехал, чтобы передать его Кунанбаю. Но сперва он направился не в Карашокы, а в Мусакул, так как ни ему, ни Байдалы имена, внесенные в список, достоверно известны не были: о Каумене и Уркимбае они знали только по слухам.

Дорогой Базаралы, подумав, решил заехать сперва в Жидебай.

Абай был дома. Он только недавно узнал о неистовствах Такежана и Майбасара и был возмущен.

— Они, точно одержимые, беса вызывают! Весь народ всполошили! — говорил он.

Абай только что послал в Мусакул Ербола, чтобы узнать, кто числится в списке.

Базаралы разговаривал с Абаем, когда Ербол вернулся мрачный а расстроенный. Абаи спросил о списке. Ербол замялся и замолчал, — его, видимо, стеснял Базаралы. Но Абай настаивал:

— Рассказывай все, что знаешь. Скрывать нечего… Тогда Ербол заговорил откровенно.

— Ох, уж эти Такежан и Майбасар. Они весь народ погубят! И не успокоятся, пока всех не сожрут! — возмущался он.

Он перечислил тех, кто был в списке: там оказались старики и жигиты, не имевшие никакого отношения к воровству. Больше всего поразило Абая то, что среди обвиняемых — Базаралы.

Абай весь побелел от волнения.

— Как?.. Что за вздор несут эти безумные слепцы!

О себе Базаралы услышал впервые. Он не выказал ни растерянности, ни страха. Он оставался спокойным, даже рассмеялся. Только бледное лицо его

потемнело от гнева. Абай и Ербол с удивлением смотрели на него.

— Сегодня я слышал, как каялся Байдалы, — начал он, — а сейчас пришел мой черед. Выходит, и вправду я конь, отбившийся от табуна: я даже от брата отрекся, чтобы не посчитали и меня вором! Да и они не воры, не злодеи, Абай! Вы слышали обо всех их делах, — разве те, кого называют ворами, поступают так, скажите? — И он вопросительно посмотрел на Абая и Ербола.

— Они не воры! Ты прав!.. Они не грабители! — в один голос ответили оба.

— А если так, то о чем же я-то думал? Почему я не был с ними, не делил их горькую участь?

И Базаралы замолчал.

У Ербола тоже нашлось о чем пожалеть. После сегодняшней встречи с Такежаном он всю обратную дорогу думал об этом.

— Эх, Абай, ну почему ты не согласился быть волостным, когда отец тебя так уговаривал? Ты бы заступился за народ, не допустил бы такого ужаса… Что мы теперь переживаем, что с нами стало, а ты сидишь дома и от стыда глаз поднять не смеешь! Это — все, что ты делаешь для народа! Не могу я молчать, не могу терпеть! — вырвалось у него.

— Он прав, — поддержал Базаралы одобрительно, — хоть бы ты вступился за нашу правду!

Абай молчал. Он раскаивался не в том, что отказался принять волость, а в том, что в своем стремлении отделаться от настойчивых уговоров отца не возражал против избрания Такежана.

Такежан — родной его брат, ближайший родич, но для Абая он как чужой. Братья не раз сталкивались и раньше. Пропасть между ними становилась все шире, и теперь было уже ясно, что им предстоит вступить в открытый бой. Может быть, он уже начался. Если Абай искренне жалеет и сочувствует Базаралы и другим, он должен немедленно вмешаться в дело.

Обдумывая это, Абай некоторое время молчал.

— Базеке, — сказал он наконец, — посмею ли я называться человеком, если не заступлюсь за вас? Сила Такежана не в степи, а в городе. Тогда пусть город и решает наше будущее! Завтра я еду в Семипалатинск. И пока дело не кончится, буду вашим ходатаем.

Базаралы с искренней признательностью взглянул на Абая и поднялся обрадованный, точно получил все, о чем мог мечтать. Он заторопился ехать, отказался даже от предложенного угощения, сел на коня и направился в Карашокы.

В аул Кунанбая он приехал поздно вечером. В доме Нурганым посторонних не было, но Кунанбай, узнав, что приехал Базаралы, не разрешил жигиту заходить к нему.

— Проводите его в комнату для гостей и подайте туда угощение, — распорядился он.

Базаралы долго сидел один. Прислужница подала ему чай. Выпив его, он вошел к Кунанбаю, не спрашиваясь.

Кунанбай полулежал, облокотившись на груду подушек. Нурганым рассказывала сказку, растирая ему ноги.

Он холодно принял салем Базаралы, но тому было не до настроений Кунанбая, — он сел и сразу приступил к делу. Жигит начал твердо и уверенно. С открытым лицом, с открытой мыслью он заговорил резко, и каждое его слово будто оттачивалось с двух сторон, как обоюдоострый меч, негодованием и сознанием своей правоты. Нурганым, не сводя с него глаз, то бледнела, то вспыхивала.

Базаралы начал с поступка Такежана.

— Он готовит гибель и старикам и детям… Уж не считает ли он, что Кунанбай одряхлел и оглох ко всему? Что он, как старый орел, не может больше взлететь? Как Такежан и Майбасар осмелились при жизни такого отца на решение, какого не знавала степь?..

Кунанбай был немногословен.

— Ты был у Такежана, говорил с ним? — спросил он. Базаралы ответил, что у Такежана он не был, но узнал обо всем достоверно и сразу приехал сюда. Он перечислил людей, включенных Такежаном в список. Потом передал поручение Байдалы: «Такежан, точно волк, хочет растерзать своего же детеныша», — и пояснил от себя:

— Тот, кто пойдет в ссылку, в тюрьму, идет на верную гибель. Такежан может быть вполне уверен, что избавится от этих родичей. Так пускай он даст им на дорогу и саван, а здесь пусть выкопает могилу голодным детям, оставшимся на произвол судьбы! Неужели он не понимает, что такое зверство не пройдет ему даром?

Кунанбай почувствовал, куда метит собеседник. Эти слова ему не понравились.

— Если ты пришел, чтобы показать свою силу, то ее показывают не на словах. Ты возмущен Такежаном, — ступай к нему и меряйся силой с ним, — ответил он.

Говорить больше было не о чем, и Базаралы закончил прямым вызовом:

— Что же, пусть Такежан никого не щадит. Решиться на зло или сделать его — одно и то же. Но беспощадная ненависть и беспощадная месть — и это одно и то же. Отсюда и начнется вражда, которая пойдет из поколения в поколение, но виновны в ней будут не жигитеки. Тот, на кого падет проклятье, уже виден всем… — вот о чем ему оставалось досказать, и не только от своего имени, но и от всех жигитеков.

Кунанбай выслушал его.

— Хорошо! Это ты и сделал! Но — довольно. Пора остановиться.

Базаралы вышел. Кунанбай не стал дослушивать сказку Нурганым и

подобрал ноги, которые она гладила. Он закрыл свой единственный глаз и нахмурил брови. Молодой жене весь вид его напоминал суровую, ледяную зиму. Печать старости отчетливо проступила на неподвижном его лице. Чужой и далекий, он сидел задумавшись.

Итак, он позволил Базаралы такую независимость, которой не стерпел бы ни в ком… Базаралы только что нанес ему настоящий удар — и сам вышел невредимым. Отвечать было нечего… Если подумать, Такежан и впрямь переходит всякие границы… Одно дело — прижимать кого-либо из жигитеков, другое — замахиваться на Базаралы… Неужели он не мог этого сообразить? Правда, и сам Кунанбай разделял ненависть Такежана к жигитекам, но на таких людей, как Базаралы, он не указывал. Сейчас ему даже хотелось пощадить Базаралы, но он быстро спохватился и отбросил минутное колебание. Базаралы пришел от рода Жигитек, принес злобу и месть всего рода — этого достаточно…

Поужинав в одиночестве в комнате для гостей, Базаралы лег спать. Гнев, накопившийся в нем в течение последних двух-трёх дней, как будто весь вылился в последних его словах, сказанных Кунанбаю. И если недавно его мучила бессонница, то сегодня он заснул, едва успел положить голову на подушку.

Ночью он внезапно проснулся в полной темноте, с тревогой почуяв чье-то прикосновение.

— Кто это? — спросил он.

— Не бойся, это я! — ответил тихий голос. Он узнал Нурганым.

— Что тебе здесь надо, сумасшедшая? — шепнул Базаралы, подняв голову.

Нурганым не смутилась. Она ответила спокойно и твердо:

— Молчи. Мое сердце давно с тобой… Сам мирза отдал его тебе…

И с крепким поцелуем она приникла к Базаралы. Жигит не проронил больше ни звука. Жаркие объятия слили их… Нурганым хотела встать и уйти, но Базаралы не в силах был расстаться с нею.

— Душа моя, ты внесла бурю в мое сердце. Зачем же ты уходишь? — и он снова обнял ее.

Но Нурганым тихо отстранилась.

— Где бы ты ни был, да хранит тебя судьба! Я — твоя и душой и желаньем, Базеке.

Она еще раз припала к нему горячим поцелуем и быстро вышла.

Казалось, она была здесь один миг, но для Базаралы за этот миг перевернулся весь мир. И Нурганым тоже унесла с собой радость, которая не вмещалась в ее груди, — радость первой молодой любви.

Если бы Кунанбай, восхищавшийся при Нурганым внешностью и умом Базаралы и только сегодня сказавший, что такого жигита надо щадить, даже если он и враг, — если бы многоопытный, расчетливый и осторожный

Кунанбаи мог знать, каково будет действие его слов!..

5

Абаай и Ербол уже давно были в городе.

Обычно сыновья Кунанбая жили у Тинибая. Но Такежан приехал в Семипалатинск раньше Абая и, как всегда, остановился у свата. Узнав об этом, Абай и Ербол сняли квартиру у знакомого бездетного купца.

В городе не принято ездить верхом. Абай с детства привык к городской жизни и быстро применился к ее условиям: сытый серый конь, на котором Ербол приехал из аула, вихрем мчал двух друзей в легких санках. День был ясный, но мороз пощипывал сердито. Снег на улицах был плотно наезжен и поскрипывал под полозьями. Они ехали к известному в Семипалатинске русскому адвокату Андрееву, которого казахи называли «Акбас Андреевич». [116]

Абай сразу же горячо принялся за дело Балагаза. В городе было полно приезжих тобыктинцев, особенно жигитеков и иргизбаев. Такежан тоже прибыл со всей своей свитой, упоенный властью и правом преследовать виновных. Он засыпал судей, уездного начальника и генерал-губернатора бумагами, — надо было доказать вину тридцати жигитеков, внесенных в список.

До сих пор от жигитеков хлопотал по делу сын Божея, но ни сам он, ни его советчики не знали канцелярских порядков и тонкостей бумажной борьбы. Они жили в городе уже давно и ничего не могли добиться. Абай повернул все дело на правильный путь.

Он подал жалобы от семей Балагаза, Адильхана и других, сидевших в тюрьме. Во все места, куда шли бумаги волостного, стали поступать и жалобы жигитеков.

Сам Такежан плохо разбирался во всех ходах — Абай знал это, — но у Такежана был Тинибай, через которого открывались все двери. Тогда Абай послал человека с салемом к самому Тинибаю.

— Пусть Такежан — сын Кунанбая, но ведь к я из того же гнезда, — передавал он. — На этот раз наш управитель впутался в дела, которые позорят и его самого и его отца. Тинибай всегда был добрым другом. Пусть он не поддерживает на этот раз Такежана, который отстаивает сейчас ложную честь. Если Тинибай действительно желает Такежану добра, пусть лучше отговорит его от неблаговидных поступков.

Абаю удалось ослабить противную сторону: Тинибай сам пришел к нему и после долгой беседы с ним заметно охладел к Такежану.

Теперь Абай делал другой крупный шаг: он ехал просить известнейшего адвоката области принять на себя защиту Балагаза и его жигитов, собирать

жалобы, поправлять их и пересылать по назначению.

Сани остановились у одноэтажного дома на самом берегу Иртыша, и Абай с Ерболом вошли во двор.

С седоголовым адвокатом они встречались сегодня первый раз. Лицо «Акбаса Андреевича» было не старое, но голова вся побелела и в бороде тоже пробивалась седина. Он был высокого роста, плотный, представительный, с крупным красивым лицом. Зоркие серые глаза смотрели сквозь стекла очков серьезно и проницательно и придавали всему лицу вдумчивое, сосредоточенное выражение.

В комнате адвоката Абая поджидал черноусый курносый переводчик. Единственным качеством этого легкомысленного невежды было уменье болтать по-русски, почему он и состоял переводчиком при областном суде.

Первое, что бросилось в глаза Абаю, когда он поздоровался с адвокатом, были полки с книгами. Строгие ряды переплетов закрывали все четыре стены большой комнаты. В продолжение долгого разговора Абай не мог оторвать от них взгляда. Первый раз в жизни он видел, чтобы в одном доме, у одного человека могло быть столько книг.

Абай положил на стол свою жалобу. В ней оба они — и Абай и Ербол — оправдывали жигитеков, в особенности Базаралы, Каумена, Уркимбая и их близких.

Переводчик передал седому адвокату содержание жалобы. Тот спросил, от кого она. Услышав фамилию — Кунанбаев, Андреев быстро вскинул удивленный взгляд и стал перебирать бумаги, ворохом лежавшие перед ним на столе. Убедившись, что приехавший к нему жигит был однофамильцем с волостным управителем, он спросил об этом переводчика и поразился, узнав, что Абай и управитель — родные братья.

— Твой брат представляет на них обвинительные материалы и требует кары, а ты приходишь за оправданием? В чем тут дело? — спросил он.

Переводчик передал Абаю слова адвоката.

— Да, мы с волостным родные братья. И именно поэтому я, как близкий родственник, лучше других вижу и знаю темную сторону всего дела. Я не могу молчать, видя несправедливость и насилие. Я не управитель и не ходатай за вознаграждение. С ответчиком Кауменом в родстве не состою, и мой товарищ, Ербол, тоже. Мы приехали как посторонние, беспристрастные свидетели. Так и жалобу нашу подаем. Если начальство и суд хотят узнать правду, пусть расспросят таких, как мы. Мы просим, чтобы вы изложили все это в нашей бумаге, — ответил Абай.

Адвокат с интересом посмотрел на Абая: молодой выходец из дикого племени, кочевник, говорил о долге, о человечности — и говорил так веско, убедительно.

Андреев был человеком широкообразованным и имел огромный опыт, но к

казахам он приехал недавно и народа не знал. В молодости он жил в Петербурге и был связан с людьми, боровшимися против насилий царской власти, вследствие этого ему пришлось покинуть Петербург и скрываться от слежки. В провинции он смог вернуться к адвокатской деятельности и зажил спокойно. Долгое время Андреев провел на Волге и на Урале, а в последние годы переселился в Сибирь. Высокообразованный, горячий сторонник просвещения, он начал теперь собирать материал о жизни и обычаях киргизов.[117] Его влияние в городе было очень велико, с ним считались, хоть он и не был значительным официальным лицом.

Отвечая на вопросы Андреева, Абай то и дело бросал взгляд на полки с книгами. Он не мог удержаться от восхищенного замечания:

— Да, вот оно, самое большое сокровище в мире. И в каком храсивом наряде здесь эти богатые мысли!

Переводчик передал его слова адвокату.

Абай заметил на ближайшей полке несколько любовно переплетенных книг.

— Это книги законов? Что в них написано? — с любопытством спросил он.

Это были сочинения Пушкина. Седоголовый хозяин начал объяснять:

— Нет, не законы. Эти книги написаны поэтом… — И вдруг безнадежно махнул рукой: — Ты не поймешь! Это трудно объяснить!

Ему казалось, что у киргизов нет поэтов, а потому не может быть и слов для такого понятия.

Но Абай продолжал допытываться через переводчика. Тот начал переводить фразу, но, дойдя до слова «поэт», не стал утруждать свою голову, подыскивая подходящее казахское слово, и сказал:

— Акын… Книги акына…

Абая такой ответ удовлетворить не мог:

— Как вы сказали? Какого акына? — переспросил он, не поняв объяснения.

Переводчик пытался остановить его праздные расспросы.

— Ты не знаешь и не поймешь, — сказал он. Абая это задело, и он иронически заметил:

— Странно… Он — человек, и он думает. Я тоже человек, и тоже думаю. А понять друг друга никак не можем. Мысли наши путаются в наших же словах, как заблудившийся в дебрях, И выходит, что мы стоим друг против друга не как два человека, а как два животных. И он пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда…

Ербол расхохотался. Андреев спросил переводчика, чем вызван этот смех. Абай посмотрел на переводчика с угрозой.

— Передай ему слово в слово, — сказал он.

Адвокат выслушал и рассмеялся.

— Верно! Он прав! Лошадь шарахается от верблюда, блюд сторонится лошади… Мы и в самом деле похожи на них! — И он опять

рассмеялся. — Однако не только мы с тобой такие. Вот стоит свод законов, а там, — он махнул рукой к окну, — киргизская степь с ее обычным правом. И они так же смотрят друг на друга, ничего не понимая… Ты хорошо сказал!

С этого начались их частые зстречи.

Между тем тревога в аулах снова усилилась. Несколько человек, включенных Такежаном в список, были уже арестованы и посажены в тюрьму. Ходили слухи, что Базаралы и Караша скрываются.

События зашли так далеко, что Байдалы тоже счел нужным приехать в город. Он обошел все канцелярии и наконец пришел к Абаю.

— Абай, свет мой, — признался он, — на улицах города даже наши кони пугаются. Тесно нам здесь. В дом зайдешь— ноги скользят. С начальством заговоришь — мычишь, как глухонемой, только руками машешь… Ничего не получается! Видно, для степняков город — как бездорожье. Вот мы и дрожим, точно старый верблюд на гладком льду!

Все невольно рассмеялись. Байдалы выражался забавно, но глубокая горечь звучала в его словах. С этого дня Абай сам всюду сопровождал ходатаев.

Он сблизился с «Акбасом Андреевичем» и вместе с ним обдумывал дальнейшие действия.

Правда, Такежан продолжал хватать людей, но с того дня, как вмешался Андреев, дело явно повернулось в пользу жигитеков. Абай дал в руки защитника новый материал, который круто повернул весь ход дела.

Беседуя с адвокатом, Абай доказывал ему, что нападения жигитов Балагаза нельзя назвать ни воровством, ни грабежом. Он привел множество примеров безвыходного положения голодающих. Народ остался без земли, перенес джут и, наконец, лишился скота… Абай объяснил своему собеседнику, почему джут всей тяжестью лег на плечинарода и миновал небольшую кучку счастливцев. Он рассказал и о том, что эти жигиты брали скот только у богачей и делились добычей с голодающим народом. Узнав все эти подробности, Андреев задумался. Ему вспомнились имена Робин-Гуда, Карла Моора, Дубровского. До поздней ночи он не отпускал Абая, продолжая расспрашивать его.

После этого судьба Абылгазы и его товарищей, сидевших в тюрьме, резко изменилась. Адвокат умело поддержал просьбы жен и детей, хлопотавших за своих мужей и отцов, и через несколько дней Каумен, Уркимбай, Базаралы и другие были освобождены. В Жигитек полетели! нарочные с радостными вестями.

Такежан немедленно послал Абаю гневный салеми «Пусть уймется, почему он мне вредит?»

— Мы можем считаться братьями перед отцом и матерью, — ответил Абай. — Но перед лицом смерти, перед бедствием, которое терпит по его милости народ, — мы чужие… Пусть не требует от меня объяснений…

Такежан срочно отправил нарочного к Кунанбаю, передал ему слова Абая и

сообщил о его действиях. Отец послал Абаю салем: «Пусть немедленно возвращается! Не сам ли он отказался быть управителем? Так пусть же теперь не мешает Такежану и не подставляет ему ногу!»

Но его салем пришел тогда, когда Абай уже все закончил. Остановить дело было невозможно.

Однако областное начальство поддавалось не всем доводам адвоката. Оно освободило только тех, кто ни в чем не был замешан, а судьба Балагаза и Адильхана оставалась по-прежнему в цепких руках. Чем чаще власти слышали, что причиной преступлений были голод и нужда тем они становились строже. Крестьянские восстания, происходившие в России, грозным примером стояли перед губернатором, и он был готов принять самые строгие меры против зачинщиков «бунта».

Но на решительный шаг власти не пошли, потому что события происходили в отдаленных степях, которые им были незнакомы. Кроме того их останавливало огромное количество ходатаев. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не вызвать новых волнений в степи. Все же десять человек из тридцати попали под суд.

Сначала прошел слух о страшном наказании: Балагаз, Адильхан и их жигиты будут отправлены на пожизненную каторгу. Адвокат и Абай, использовав все средства, сумели облегчить дело: жигиты были приговорены не к каторге, а к высылке под Иркутск.

Родичи, жившие в городе, со слезами прощались с осужденными, но надежды на их возвращение не теряли.

— Подождите, еще вернетесь на родину, в свои аулы! — утешали они ссылаемых, стараясь поддержать в них веру в будущее.

Абаю пора было возвращаться домой. Он пришел проститься с Андреевым.

— Вы болеете душой за свой народ, хоть и молоды годами, — сказал ему адвокат. — Это — великое достоинство. Но если по-настоящему думаете о судьбе народа и о себе, вы должны стремиться к свету. Учитесь.

Он словно угадал самые затаенные мечты Абая.

— Я мечтаю об учении. Но только — где? В школу не поступишь — я уже перерос… Скажите мне, можно ли учиться иначе, без школы?

Адвокат успокоил Абая, сказав, что возраст не помеха ученью: есть люди, которые принялись за свое образование к сорокам годам, начали с самоучек — и стали крупными учеными; он называл их имена и объяснял, как можно учиться, не поступая в школу. Андреев дал ему слово, что найдет для него учителя. Абай должен твердо решиться засесть за книги и работать: если он готов на это, двери науки распахнуты перед ним.

Радость Абая не имела границ. Ему казалось, что узел, крепко стягивающий его жизнь, начал распутываться. Он поехал в аул, чтобы получить благословение семьи, собрать средства и как можно скорее уехать. Молодой

задор охватил его.

В Жидебае он задержался ненадолго. Дильда и мать согласились легко, а других он не стал спрашивать. В Семипалатинск он отправил Мирзахана с лошадью, которую должны были там заколоть. Теперь вставал вопрос о деньгах. Для этого он выслал в город шкуры и несколько голов крупного скота, после чего собрался и сам.

Минувшим летом Дильда родила третьего ребенка. Крошечный Абдрахман уже умел смеяться. Это был первый ребенок, который пробудил в Абае отцовское чувство. Все дети Дильды были похожи не на Абая, а на мать: у них у всех были не смуглые, а светлые личики. Этот тоже был беленький, но тонкие черты продолговатого личика, чудесные большие глаза и ясно очерченные бровки все это было какое-то иное, свое, дорогое Абаю.

Абай простился с Дильдой наедине. Он не стал много говорить. В обоих жило искреннее чувство друг к другу. Дильда, сдержанная, скупая на слова, пожелала мужу только одного:

— Дома у тебя остается старая мать и маленькие дети. Не забывай о них, а для себя я ничего не требую. Незаставляй долго ждать, приезжай, когда будет можно! — И она улыбнулась.

Ни вздохами, ни слезами Дильда не выразила своего волнения. Она всегда была сдержанной, но, если у нее было что-нибудь на душе, она сразу высказывала это откровенно, без уловок и прикрас. Абай с участием взглянул на жену и погладил ее по плечу.

— Я еду не веселиться, а добывать человеческое достоинство, запомни это…

Он одел маленького Абдрахмана, взял его на руки и пошел к матери.

Улжан заметно постарела за эти годы. Она не сводя глаз смотрела на сына. Взяв из его рук ребенка, старая мать на минуту прижалась лицом к его головке и передала его Дильде. С легким вздохом она притянула к себе Абая и поцеловала его. На ее побледневшем лице отражалось все волнение материнского сердца.

— Свет мой, покойная бабушка называла тебя «мой единственный»… Для нее все остальные были одно, а ты — другое. Помнишь, как во время твоей болезни она молила о тебе бога: «Огради, боже, душу света моего от жестокости и беспощадности…» Она и ушла от нас с этими словами…

Улжан замолчала.

Абай помнил слова Зере: мать немного изменила их.

— Пришло твое время, — снова заговорила Улжан задумчиво, — легло перед тобой поле твоей битвы. Будь на нем батыром. Каким путем добьешься победы — теперь ты сам видишь лучше нас. Нам ли быть путами на твоих ногах? Дай бог тебе счастья!..

Абай, как и в детстве, обнял мать и без слов простился с нею. Весь аул высыпал на проводы. Абай уже сидел на коне, мать снова окликнула его.

— Абайжан, ты бы заехал по пути в аул Тойгулы! Отец со своими отправился туда на сватовство. Он просил, чтобы мы тоже всем аулом поехали за ним. Мне это трудно. Но если и тебя не будет, отец обидится. Погости там немного и поедешь дальше! — попросила она.

Абай обещал заехать, простился и тронулся в путь.

Аул Тойгулы, о котором говорила Улжан, был не по пути Абаю; он стоял в стороне, на склоне горы Орда, немного ближе к Семипалатинску, чем Жидебай.

Тойгулы — крупный бай племени Мамай. Этой зимой Кунанбай решил с ним породниться. Зима стояла хорошая, скот был упитан, поэтому Тойгулы заранее условился со сватами о времени их приезда. Теперь Кунанбай с целой толпой сородичей поехал справить сговор и погостить у свата.

Абай и Ербол приехали туда же. Кунанбая сопровождали Каратай, Жумабай, Жакип и другие старики. Все тридома Тойгулы были полны гостей, повсюду царило веселье, шум и смех. Абай с Ерболом вошли в дом и стали молча прислушиваться к общей беседе. Каратай, как всегда, говорил больше всех.

Потолковав о разных вещах, старшие начали сравнивать прежнее время с теперешним. Каратай рассказал о своей молодости, вспомнил, как жили отцы и деды, и заговорил о настоящем: люди мельчают и, как скот во время джута, стали тощими в достоинствах…

Абай усмехнулся и начал возражать:

— Прежнее время, вероятно, хорошо тем, что соседние роды непрерывно устраивали набеги и грабили друг друга? Старики, дети, женщины не могли ни спать, ни есть спокойно. Между Сыбаном и Тобыкты, между Тобыкты и Семипалатинском одинокому путнику опасно было ездить. Только и знай, что оглядывайся: как бы не ограбили, не отняли имущества, не убили!.. Хорошие времена, что и говорить!..

Но старики и слушать не хотели. Прошлое казалось им прекрасным: они восхваляли прежнюю широкую жизнь и богатство.

— И народ тогда был крупный и видный, — говорили они.

Кунанбай поддержал их и наконец привел убедительное объяснение:

— Каждое новое поколение все ближе подходит к концу мира. И человечество выдыхается, чахнет. Наше время было ближе к дням пророка, чем теперешнее. А ближе к пророку — и люди были лучше!

Абай сейчас же отозвался. Он почувствовал необыкновенный подъем, как акын перед состязанием. Все силы, накопленные им, жаждали открытой борьбы.

— Добро и благо не измеряются временем и пространством, — возразил он. — Вершина Алатау близка к солнцу, но на ней лежит вечный лед, а подножия ее пестреют цветами, покрыты зеленью, изобилуют плодами. Все живое благословляет их… Абуталиб, отец пророка, был еще ближе к нему, чем вы, — а ведь он так и умер гяуром.[118]

Гости, сидевшие кругом, рассмеялись, а старики, почувствовав всю меткость удара, молча взглянули на Кунанбая. Тот гневно крикнул Абаю:

— Довольно!

Абай с удивлением развел руками и замолчал. Смех мгновенно оборвался, в комнате воцарилось молчание.

Каратай в душе любовался Абаем. Он подтолкнул Жакипа, сидевшего рядом, и тихо шепнул ему:

— Гляди-ка, он шагу ступить не дает… Берет мертвой хваткой!

Вскоре подали угощение. Абай и Ербол стали одеваться в дорогу. Кунанбай вышел за ними.

Он окликнул Абая, отошел с ним в сторону на каменистый холмик. Отец с сыном остались одни впервые после долгого перерыва.

Отец холодно посмотрел на сына.

— Ты учился, приобрел знания, тебя воспитывал наставник. Мы росли невеждами. Но почему же знания не внушают тебе уважения к отцу при посторонних? Какие достоинства ты выказываешь, заставляя отца спотыкаться при людях, даже сбивая его с ног? — с упреком спросил он.

Значит, отец признавал себя побежденным…

Абай посмотрел на него: властное, окаменелое, его лицо теперь словно сморщилось и уменьшилось. Кунанбай весь сгорбился и высох, да и в упреках его звучало что-то детское, почти беспомощное. Но почтение к старшим — долг молодых; почтение к отцу — долг сына.

— Вы говорите справедливо, — ответил он. — Я виноват, простите меня!

Он думал, что разговор на этом и кончится. Но отец хотел сказать еще что-то. Немного помолчав, он заговорил снова:

— Я давно собирался поговорить с тобою при случае. Я замечаю в тебе три недостатка. Выслушай меня.

— Говорите, отец, — ответил Абай и внимательно посмотрел в лицо Кунанбаю.

— Первое — ты не умеешь различать, что дорого, а что настоящая мелочь. Не ценишь того, что имеешь. Расточаешь свои сокровища безрассудно. Ты слишком доступен и прост, как озеро с пологими берегами. А такую воду и собаки лакают и скот ногами мутит… Второе — тыне умеешь разбираться в друзьях и врагах и относиться к врагам как враг, а к друзьям как друг. Ты ничего не таишь в себе. Человек, ведущий засобою народ, не может быть таким. Он не сумеет держать народ в руках. Третье — ты начинаешь льнуть к русским. Твоя душа уходит к ним, и ты не считаешься с тем, что каждый мусульманин станет чуждаться тебя, — сказал Кунанбай.

Абай сразу понял, куда отец направлял удар, — этими словами он разил самую заветную мечту сына. Избрав свой собственный путь, Абай видел свою опору как раз в том, что сейчас осуждал отец.

Кунанбай правильно определил качества своего сына. Абай никому не хотел подчинять своей воли — никому и ничему в мире. Им овладело волнение, как давеча в доме. Он не мог молчать — даже из жалости к отцу — и заговорил:

— Я не могу принять ни одного из ваших упреков, отец. Я убежден в своей правоте. Вы говорите, я — озеро с пологими берегами. Разве лучше быть водой на дне глубокого колодца, которую достанет лишь тот, у кого есть веревка, ведро и сильные руки? Я предпочитаю быть доступным и старикам и детям, всем, у кого слабые руки. Во-вторых, вы указали, чем можно держать народ и каким должен быть человек, который его ведет. По-моему, народ некогда был стадом овец: крикнет чабан «айт!»—все вскочат, крикнет — «шайт!»—все лягут. Потом народ стал походить на табун верблюдов: кинут перед ним камень, крикнут «шок!» — ион оглянется, подумает и только тогда повернет. А теперь у народа нет его прежнего смирения, он смело открывает глаза. И сейчас он подобен косяку коней: он послушает того, кто разделит с ним все невзгоды — и мороз и буран, кто для него забудет дом, кто согласится иметь подушкой лед, постелью — снег… В-третьих, вы сказали о русских. Самое дорогое и для народа и для меня — знание и свет… А они — у русских. И если русские дадут мне то сокровище, которое я тщетно искал всю жизнь, разве могут они быть для меня далекими, чужими? Откажись я от этого— я остался бы невеждой. — чести в этом для себя не вижу…

Кунанбай внимательно выслушал сына и вздохнул. Не свойственная ему подавленность тенью легла на его лицо, но он не проронил ни звука.

Абай простился и тронулся в путь.

Кунанбай остался на холме один, задумчивый, удрученный. Он опять был побежден — и побежден не только сыном: побеждала жизнь, стремительная, сокрушающая. «Твоя сила иссякла, время твое прошло, пора уходить», — холодно и беспощадно говорила она ему голосом родного сына и оттесняла своим бурным течением.

Абай ехал той же равниной, которой он возвращался когда-то из медресе, истосковавшийся в городе по своему аулу и родным. Тогда степь зеленела, а теперь холодная снежная пелена покрывала ее просторы. Голые сопки и холмы однообразно белели кругом, все казалось полным безучастной тоски, тусклыми призраками минувшего… Когда-то при виде этой степи беспечное детское сердце наполнялось блаженной радостью и искало счастья здесь, в ее просторах, в родном ауле. Теперь он покидает их и возвращается в город. Он едет в надежде найти там все то, о чем мечтал и к чему стремился еще тогда…

Сейчас ему двадцать пятый год. Длинная вереница дней проходит перед его внутренним взором. Вот она, жизненная тропа, то уводящая в дебри, то увлекающая на перевал… Вот она взметнулась на подъем и вьется в вышине — извилистая тропа его жизни.

Да, он в вышине.

Слабый росток некогда пробивался в каменистой почве, потом вытянулся тонким стебельком — и одинокая жизнь зацвела на голом утесе. Теперь этот слабенький росток впитал в себя все соки жизни, окреп и стал стройным, сильным чинаром. Ни зима, ни морозы, ни дикие горные ураганы ему уже не страшны.

Часть вторая

ПЕРЕД БРОДОМ

1

Ночь прошла без сна. Лишь на рассвете Абай ненадолго прилег, но, не чувствуя усталости, вскоре вернулся к столу, заваленному раскрытыми книгами. Рядом со старо-узбекскими, которые Абай читал свободно, тут лежали арабские и персидские книги, более трудные для него, и русские, понимать которые ему было еще труднее.

Эти разноязычные друзья собрались нынче к нему по особому случаю. Сама жизнь потребовала от него знаний, таившихся в этих книгах. Последние дни Абай читал и днем и ночью, словно исследователь или отшельник. Порой, оторвавшись от страницы, он удивленно оглядывался вокруг, возвращаясь к действительности.

Узбекские книги уводили Абая в цветущие сады Шираза; он видел древние мавзолеи Самарканда, отдыхал в плодоносных садах у прозрачных бассейнов Мерва и Мешхеда, бродил по сказочным дворцам, медресе и библиотекам Герата, Газны и Багдада, родины величайших поэтов. Со страниц арабских и персидских книг сверкали перед ним кривые исфаганские сабли, которыми

арабы, персы, турки и монголы в жестоких схватках решали свои столетние споры. Русские книги раскрывали перед ним тайны вод, песков и пустынь Средней Азии, Ирана, Аравии и жизнь их больших торговых городов.

Сегодняшний день этих стран интересовал Абая больше всего. Читая, он делал подробные выписки о караванных дорогах и водных путях, о крупных городах и больших базарах.

Все эти сведения были необходимы для путника, отправлявшегося сегодня в далекие края. И Абай, живо воображая эти страны, о которых столько слышал с самого детства, не раз восклицал про себя: «Жаль, что не сам я еду!»

В открытое окно ворвался прохладный ветерок. Он всколыхнул легкую белую занавеску, и та, словно озорной ребенок, принялась играть с книгами — высокий стол стоял у самого окна. Она то прикрывала страницу, мешая Абаю читать, то сползала с нее, как бы стараясь стереть письмена. Абай взглянул на дверь — в это утро она открылась в первый раз.

Тяжело передвигая ноги, в комнату вошла его мать Улжан, грузная, располневшая за последние годы. Сильная одышка стесняла ей грудь. Две женщины вели ее под руки. Абай вскочил со стула и быстро разостлал на полу мягкое корпе.[119] Щеголевато одетая молодая светлолицая женщина, вошедшая с Улжан, положила подушки. Сходство ее с Абаем сразу бросалось в глаза. Это и была его сестра Макиш, жившая здесь, в Семипалатинске, замужем за сыном Тинибая, хозяина богатого городского дома, где остановился Абай. Вторая женщина, Калиха, многолетняя спутница Улжан, приехавшая вместе с ней из аула, поставила перед старухой блестящий медный таз и стала поливать ей на руки из длинногорлого кашгарского кувшина, покрытого тонкими чеканными узорами.

Раздвинув посреди просторной комнаты низенький складной стол, Макиш сказала в открытую дверь:

— Можно накрывать, несите!

Вошла другая невестка, ровесница Макиш, высокая цветущая женщина с гладко зачесанными на висках блестящими волосами, одетая в черный бархатный камзол, обшитый позументом. Разостлав скатерть, она стала приготовлять стол для утреннего чая.

Абай снял бешмет и начал умываться. Только сейчас он почувствовал в голове тяжесть после бессонной ночи. Макиш поливала ему, ухаживала за ним, как за гостем.

— Приятная нынче вода, полей-ка мне на голову, Макиш, надо освежиться, — попросил он сестру, подставляя затылок.

Отерев лицо и руки, Улжан бросила взгляд на высокий стол и потом перевела его на сына. Лицо его было бледно, глаза покраснели.

— Так всю ночь и не спал, Абайжан? — спросила она.

— Да нет, вздремнул среди ночи.

— А разве не путаются мысли, если сидеть без отдыха? Я раз спросила Кодыгу: «Какой же ты ночной сторож, если у тебя волк ворвался в отару? Ты, верно, спал?» А он и отвечает: «Как можно, я не спал! Правда, под утро мне показалось, что у верблюдов горбов стало вдвое больше, а волк возьми да и пройди мимо меня, поджав хвост. Я думал — собака, и пропустил его». Будет ли польза от такого чтения, сынок, если под утро даже верблюжьи головы в глазах двоятся?

Шутка матери рассмешила и брата и сестру.

— Ты права, апа, но время не ждет — отец уезжает сегодня…

Улжан стала расспрашивать, можно ли по книгам узнать подробно, каким путем надо ехать.

— Хоть и не широкую проезжую дорогу, но какие-то тропинки я уже вижу, — ответил Абай и тут же поделился с матерью тем новым, что приобрел он за последние дни. — Как будто сам я побывал там, — книги мне все рассказали об этих странах!

Он говорил так, словно нашел клад.

Улжан знала, что путь предстоит дальний. За чаем она продолжала расспрашивать сына о трудностях дороги. Таить от матери правду, которая была известна ему самому, Абай никогда не мог и не считал нужным. Но тут была еще и Макиш…

— Да, да, расскажи нам все, Абай, милый! — присоединилась она к матери. Нахмуренные брови и чуть побледневшее лицо выдавали ее душевную тревогу, и Абай, заметив это, помедлил с ответом.

Макиш была любимой, балованной невесткой богатого городского дома, но к своей семье и к родному аулу она продолжала хранить самую горячую любовь и всегда тревожилась об их благополучии. Надо родиться девушкой, которую смолоду отдают замуж на чужбину, надо видеть жизнь ее глазами, чтобы понять, в каких глубоких тайниках души скрывается эта тоска по родным, которая излечивается лишь временем, живет долго и проходит нелегко.

Поняв волнение сестры, Абай не захотел высказываться откровенно, но Макиш настойчиво продолжала:

— Говорят, там никто из наших краев никогда не бывал… Вернется ли он?..

Она вслух выговорила то, о чем Абай думал, но не рискнул бы сказать сам.

Сделав несколько глотков, он отодвинул пиалу с чаем, не притронувшись к горячим пирожкам, приготовленным искусным поваром на нижней кухне, и, взяв сделанные за ночь выписки, стал отвечать на расспросы Улжан и Макиш.

— Нелегок будет путь отца, — закончил он, — но надежда…

И сразу замолчал, увидев, как поникла Макиш. Улжан пришла ему на помощь:

— Пусть, уезжая, отец не подумает, что дитя его малодушно, — сказала она Макиш.

В дверь заглянули Такежан и Габитхан, предупреждая о приходе самого Кунанбая. Все, кроме Улжан, вскочили и засуетились, застилая пол вокруг стола и раскидывая поудобнее подушки.

Кунанбая сопровождала целая толпа, но все остались в соседней комнате, такой же просторной и прибранной, где тоже накрывали на стол. С Кунанбаем вошли только Изгутты и хозяин дома — Тинибай, сват и старый друг Кунанбая, одетый изысканно и богато. Не проходя на почетное место, он опустился на корпе рядом с Макиш. Он не развалился на подушках, как мог бы сделать хозяин дома, но, подобно какому-нибудь ученику медресе перед наставником, присел на согнутых коленях, чтобы самому ухаживать за Кунанбаем и подавать ему чай из своих рук. Это всегда удивляло Улжан, но для городских такое поведение было привычным: так они встречали имамов и хазретов, подчеркивая свою учтивость и почтительность.

Кунанбай сел рядом с Улжан и бросил на Абая и Макиш острый взгляд — проницательный взгляд своего единственного глаза, сразу определявший все оттенки и настроения окружающих. Сейчас он, казалось, особенно пристально наблюдал за детьми, — покрасневшие глаза и бледное лицо Макиш показывали, что она только что плакала.

Холод старости уже коснулся Кунанбая, он начал седеть поздно — до семидесяти лет его голова и борода оставались чуть тронутыми серебром. Теперь седина взяла свое, морщины на лбу углубились, но, высокий и плотный, он держался по-прежнему прямо.

На суровом его лице не было сейчас ни тени колебания или волнения.

Ехать в Мекку на поклонение Кунанбай решил год тому назад. И решив, с прошлой же весны начал продавать скот, собирая средства на путешествие. Трудность была не в деньгах: его тревожила мысль о надвигающейся старости, об уходящих силах. Он долго раздумывал и наконец решил взять с собой человека, на которого мог бы опереться. Выбор его пал на Изгутты, постоянного и верного спутника. Вот почему всю дорожную одежду для Изгутты сшила Макиш своими руками, и поэтому же он сидел сейчас рядом с Кунанбаем.

Изгутты перевалило за сорок, но выглядел он двадцатипятилетним жигитом и был по-прежнему весел и предприимчив.

В комнату поодиночке стали входить ближайшие родные и друзья: Такежан и Оспан, Жакип и Майбасар, мулла Габитхан, давний друг семьи. Кунанбай молча пил чай, закусывая пирожками и холодным мясом. Те из родичей, кому не пришлось на прощальной трапезе сидеть вместе с ним за столом, теперь один за другим входили в комнату для последней беседы, и число их постепенно увеличивалось. Кунанбай, который хотел без лишних свидетелей обратиться к семье со словами прощания, понял, что, если он еще хоть немного задержится, люди повалят толпой. Он снова взглянул на Макиш, и лицо его

стало еще суровее.

— Дети мои, друзья, братья и родичи мои, — начал он, окинув холодным взором присутствующих. В комнате стало тихо, женщины перестали разливать чай. Кунанбай выпрямился и устремил прямо перед собой тяжелый взгляд одинокого глаза. — Вы, кажется, встревожены моим отъездом, — смотрите на меня с беспокойством: как, мол, он — старик — решается на это? Увидимся ли мы с ним? Вернется ли он?.. Не поймешь — меня ли вы от дороги бережете, или дорогу от меня… А что было бы хорошего, если бы я дожил до нудной старости, ворчал бы на внуков у очага, на невесток у котлов, на работников вокруг юрты? Путь мой — последняя цель моих последних дней. И я прошу вас всех: если справедливый смертный час настигнет меня в пути и вы узнаете об этом — пусть и тогда никто из вас не скажет с сокрушением: «Жаль его, он умер в скорби, не достигнув желанной цели». В таких словах нет истинного сочувствия. Молодость, которая для вас еще впереди, мною уже прожита, я вкусил уже и меда и яда, которые вам еще предстоит вкушать. Те дни, что мне было суждено прожить с вами, — много ли, мало ли, — мы прожили дружно, уважая друг друга. Я удовлетворен. Но хотя жизнь у нас одна — общая и слитная, смерть придет к каждому из нас по-разному. Каждого она вырвет из семьи поодиночке. А раз так — не все ли равно, где она настигнет меня? Остаток моей жизни стал нынче коротким, как тропинка старого архара, не угнавшегося за табуном, — от водопоя до последнего логова в тесном ущелье. Так не становитесь поперек этой тропинки. Проводите меня без слез, рыданий и стонов. Вот все, что я хотел сказать вам. Теперь займемся нашими сборами.

И Кунанбай посмотрел на Изгутты. Тот встал, вслед за ним поднялась молодежь — Такежан, Габитхан, Оспан и другие. Абай хотел присоединиться к ним, но Кунанбай задержал его, положив ему руку на колено.

— Ну, сын мой, расскажи, что ты узнал?

Абай вынул из кармана большую пачку исписанной бумаги и передал ее Изгутты.

— В этом свертке все, что я нашел, Изгутгы-ага, храните его при себе, — сказал он.

Кунанбай попросил его перечислить названия крупных городов, лежащих на их пути. Абай не раз уже рассказывал ему то, что прочел в книгах о странах, через которые должен был ехать отец, об их расположении, о занятиях, хозяйстве и обычаях жителей. Он не стал говорить о начале дороги: в Каркаралинске к путникам должен был присоединиться халфе[120] Ондирбай, которому, как знал Абай, места эти были хорошо известны. До Ташкента они будут среди казахов, а дальше их путь лежит через Самарканд, Мерв, Мешхед, Аспагань и Абадан. Потом им придется ехать либо через пустыни Аравии, либо кружным морским путем на корабле, чтобы высадиться совсем близко от Мекки. Этот второй путь, выбранный Абаем по книгам, представлялся самым

коротким и удобным.

Халфе Ондирбай обещал Кунанбаю сопровождать его от Каркаралинска до самой Мекки. Для встречи с ним путешественникам нужно было ехать от берегов Иртыша через самый центр казахских степей, и Тинибай настойчиво советовал им ехать от Семипалатинска до Каркаралинска в удобной повозке, чтобы сохранить силы для дальнейшего пути, когда придется пользоваться самыми различными способами передвижения.

Просторная повозка, запряженная тройкой темно-рыжих коней, уже стояла на большом дворе Тинибая. Широкогрудые, откормленные за зиму овсом и тщательно выстоянные кони грызли удила и пофыркивали. Когда коренник встряхивал гривой, медный колокольчик на дуге издавал чистый, звенящий звук.

Еда на дорогу, постель, одежда — летняя и зимняя — все уже было уложено в повозку. Мирзахан давно сидел на козлах.

Когда весеннее солнце указало полдень, из гостеприимного дома Тинибая повалила толпа. Большинство были приезжие из аулов, одетые по-степному, но тут же попадались и гости из городских: купцы, шакирды,[121] халфе и хазреты. Они выходили во двор, соблюдая чины и сан и удовлетворенно улыбаясь, довольные и угощением и наполненными карманами: Кунанбай и Тинибай щедро оделили их, прося молиться за путешественников.

Не успел Кунанбай подойти к повозке, как навстречу ему поднялись два человека. Один из них еще издали отдал салем Кунанбаю. Это был Даркембай; старость заметно тронула его бороду сединой. Второй был мальчик лет одиннадцати, бледный и истощенный. Ветхие лохмотья заменяли ему чапан, босые растрескавшиеся ноги были покрыты пылью и грязью.

Подойдя к Кунанбаю, Даркембай пожелал ему доброго пути и сразу же заговорил о своем деле.

— Вы отправляетесь в путь божий, Кунеке, — начал он. — Вы избрали путь смирения. Выслушайте мольбу другого смиренного: вот этого мальчика. Именем божьим он просил меня довести его нужды до вас.

Кунанбай насторожился. Он нахмурил брови и чуть замедлил шаг.

— Я отошел от дел мирских, — ответил он. — О нуждах теперь следует говорить не со мной, а с другими.

— Нет, Кунеке, наше слово обращено только к вам.

— Какое может быть дело ко мне у мальчика?

— Дело у него именно к вам. Потому мы и пришли.

Кунанбай искоса бросил взгляд на толпу: его заметно смущали городские купцы и муллы, заполнившие двор. Майбасар понял, что старика нужно немедленно увести.

— Эй, Даркембай, какие могут быть сейчас просьбы? — сказал он, подходя. — Нечего путаться в ногах у человека, который уезжает… Отойди!

Он сказал это вполголоса, но с многозначительной угрозой. Однако Даркембай не смутился. Заметив, что Кунанбаю неловко перед окружающими, он заговорил громче:

— Просьба этого мальчика такая, что ты должен прислушаться. Из тысяч жалоб нищих и сирых — эту ты должен выслушать. Непременно должен. Особенно теперь, отправляясь в путь божий…

— Кто этот мальчик? Что за просьба? Говори скорее… — Кунанбай, явно раздраженный, приостановился, насупив брови.

— Этот мальчик — племянник того Кодара из рода Борсак, — объяснил Даркембай. — Кодар погиб, а его единственный брат, Когедай, жил тогда в батраках далека на землях Сыбана… Немощный был, всю жизнь болел, умер шесть лет назад… Кияспай, сын Когедая, — единственный наследник Кодара. Вот этот мальчуган.

Тот легкий пушок, который придает нежность детским чертам, на изможденном лице Кияспая походил на болезненную плесень: под кожей была видна каждая косточка, на висках бились синеватые жилки, правый глаз был повязан грязным лоскутком. У мальчика грясся подбородок, — с трудом сдерживая слезы, он поднял боязливый взгляд на Кунанбая и встретил ответный, полный холодной ненависти.

— Так что ему от меня нужно? — спросил Кунанбай.

— А чего ему от тебя не нужно? — как эхо откликнулся Даркембай, смело глядя Кунанбаю прямо в лицо.

— Ну, рассказывай, в чем дело… Отойдем сюда… Позволить старику говорить при всех — значило принять на свою голову удар, и Кунанбай с самого начала разговора незаметно оттеснял его и мальчика от толпы и теперь присел с ними в углу двора.

Стоявшие во дворе иргизбаи — и старшие и молодежь — все как на подбор были нарядно одеты. Особенно щеголяли и покроем, и новизной, и стоимостью платья горожане — купцы, имамы, халфе. Их белоснежные чалмы, чапаны и отороченные бобром шапки свидетельствовали о богатстве и довольстве. Рядом с этой нарядной толпой Даркембай и мальчик, изможденные, страшные в своей нищете, казались еще более убогими. Лохмотья их были изодраны так, будто эти пленники тяжкой нужды перенесли побои и истязания.

Вслед за Кунанбаем из толпы провожающих вышли Майбасар и Такежан и присели возле него. Абай направился за ними. Когда он подошел, говорил Даркембай.

— Кодар ни в чем не был виноват… Но тогда никто не смелился и заикнуться о куне.[122] Кто поднял бы голос? Была твоя пора — суровая пора.

«Твоя пора»… Эти слова задели Кунанбая. Он прервал громко и гневно:

— Что ты мелешь, Даркембай? Говори прямо, кто из кенши или борсаков послал тебя взыскивать с маня кун Кодара? Назови мне их!

Набожное смирение, которое всем своим видом выка-вал Кунанбай с самого утра, сейчас как рукой сняло, от него пахнуло давней яростью и враждой. Бледный до синевы, нахмуренный и грозный, он, казалось, явился из мира когтистых хищников, готовых к прыжку, чтобы растерзать добычу. Но Даркембай не смутился и тут.

— Нет такого борсака, который осмелился бы требовать от тебя возмещения: не пришла их пора. Не о куне я говорю. Но что ты скажешь об урочище Карашокы? Ведь эта земля — наследство Кодара. Она принадлежит мальчику, а на ней аул твоей старшей жены Кунке множит свои табуны и живет в полном довольстве. Ты в святые места идешь — неужели понесешь туда на своей шее греховным ярмом долг горькому сироте?

— Молчи! — повелительно крикнул Кунанбай.

— Да я уже все сказал…

— За всю жизнь у меня не было более злобного врага, чем ты!.. По пятам за мной ходишь! Глаза у тебя, как у хищника, кровью налиты!

— Нет, Кунеке. Никогда я не был зачинщиком злого дела. Всю жизнь я только свою голову от зла защищаю.

— А кто в меня из ружья целился? Не ты ли?

— Целился, да не выстрелил… А того, кто на меня и петлю накинул и повесил, земля все еще носит!

Даркембай, бледный и взволнованный, смотрел на Кунанбая не отрываясь. И как ни страшен был гнев Кунанбая, слова эти поразили его так, что он даже задрожал.

— Не выстрелил тогда — сейчас выстрелил… В гроб мой выстрелил! — И он резко повернулся к Майбасару. — Ведь он меня за ворот хватает!

Кунанбай точно жаловался на свою беспомощность. «Как только ты допускаешь это?» — говорили его слова.

Майбасар, тяжело дыша, придвинулся к Даркембаю. Заслонив собой старика от толпы, он злобно выругался и ударил его кулаком в грудь.

— Захлопни пасть! — угрожающе зашипел он. — Только пикни еще — схвачу за бороду и прирежу, как козленка!

Кунанбай поднялся с места. Такежан и Майбасар наступили коленями на отрепья Даркембая, не давая ему встать. Маленький Кияспай заплакал в голос.

— Долг на твоей шее… долг мне… — повторял старик. Два сильных жигита держали Даркембая, но он бросил в спину уходившему Кунанбаю свое последнее слово:

— Вчера ты помыкал нами как агасултан, а сегодня хочешь сесть нам на шею как святой хаджи! Не божью тропу, — опять свою, Кунанбаеву, тропу прокладываешь!.. Что ж, вели своим волчатам терзать нас!

— Молчи!.. Старый пес!.. — шипели с двух сторон Майбасар и Такежан. Они готовы были тут же расправиться со стариком.

Абай быстро подсел к ним спиной к толпе. Резким рывком он оторвал руки, вцепившиеся в ворот старика.

— Бессовестные! Проклятые! Оставьте его! — крикнул он. На его лице, от которого отхлынула кровь, гневно горели глаза. — Что вы понимаете? О чем способны думать вы, люди со слепым сердцем и глухой совестью? Отец перед богом держит ответ в том, что говорил старик, для того и едет в Мекку!..

Гнев не утихал в Абае. Так же сурово глядя на Даркембая, он продолжал:

— Я вижу, ты не в силах был молчать, Даркембай. Я не осуждаю тебя: раз просьба справедлива — пусть она будет высказана даже и в такой час… Я твой должник за отца. Иди, дорогой мой, но не проклинай нас. Слова твои дошли до меня, до мозга костей прожгли… Но сейчас — уходи…

Он помог Даркембаю подняться, достал из кармана сторублевку и, отдав ее Кияспаю, сам проводил их со двора.

Кунанбай долго не мог сказать ни слова и стоял недвижно, читая про себя покаянную молитву. Изгутты н Улжан, подойдя, вывели его из оцепенения, напомнив, что пора трогаться в путь. Кунанбай коротко попрощался с горожанами и сел в повозку.

Улжан села между ним и Изгутты, — она решила проводить мужа вместе с остальными родичами.

Щегольская повозка, запряженная тройкой темнорыжих, выехала из широких ворот, грохоча и звеня колокольчиком. За нею вереницей потянулись провожающие — кто на телегах, кто верхом. Сразу за первым возком выехали еще две новенькие повозки: в одной из них были Макиш и Абай, в другой — Тинибай со своей байбише. Шумный поезд, поднимая тучу пыли, с грохотом растянулся по всей улице. Жители города, и стар и мал, с любопытством провожали путников, — кто стоя у ворот, кто высунувшись из окна.

Тройка Кунанбая скоро достигла окраины города и выехала на большую дорогу, ведущую на запад. Всадники то растягивались вдоль всего поезда, то скучивались впереди.

Кунанбай ни разу не оглянулся назад, он знал, что родичи проводят его по крайней мере до первой ямской станции. Молчаливое раздражение долго не покидало его. «Чистую воду взбаламутил… Грязь со дна поднял…» — повторял он про себя: ему казалось, что он видит перед собой водоем, спокойная глубь которого вдруг всколыхнулась и помутнела от брошенного камня. Все шло так хороню: он заранее продумал и взвесил каждое слово, каждый поступок до самого отъезда — и с утра следовал принятым решениям. И смиренными речами и благочестивыми делами он должен был вызвать в провожающих самые искренние пожелания счастья на его пути. А Даркембай, словно неожиданно налетевший ураган, разметал все это, вырвал Кунанбая из мирной тишины прощальных минут, оттеснил от людей. Возмущенный этим, Кунанбай долго молчал, пересиливая в себе ярость. Наконец он решил

попрощаться с Улжан и рассеять муть, поднявшуюся в его душе.

Приказав Мирзахану не задерживать хода коней, он повернулся к Улжан. Изгутты, давно привыкший угадывать его мысли, подвинулся к козлам, чтобы дать Кунанбаю возможность поговорить с женой. Следя за изгибами дороги, он повел с Мирзаханом беседу о том, как поздно зазеленели деревья и как долго держались холода в этом году.

Кунанбай взглянул на Улжан.

— Никогда не была ты только хозяйкой моего очага, — заговорил он, — ты была спутницей всей моей жизни, байбише… Немалый путь прошли мы вместе. И за какими бы перевалами ни приходилось мне бывать, всегда я чувствовал в тебе опору… И если я виноват в чем-нибудь перед тобой, то тебя мне упрекнуть не в чем. Пусть даст судьба счастье твоим детям за твое честное сердце, за твою искреннюю привязанность ко мне…

Улжан, растроганная и потрясенная, сильно побледнела. Она долго молчала, подавляя волнение.

— Я не пошлю с тобой в путь не только упрека, но и малой обиды, мирза, — начала она. Взгляд ее выражал глубокое раздумье.

Умно и проникновенно делилась она сейчас с мужем всем, что было у нее на душе, как с равным себе человеком. Она снова стала величественной и красивой, и лицо ее осветилось каким-то внутренним светом.

— В молодости человеку тесны и постель, и дом, и самый мир, — продолжала она. — Начнет стареть — и мир кажется ему все просторней, а сам он — все меньше. И, чувствуя вокруг себя огромную пустоту, он уступает место другим, сокращает дела свои, остывает, умиротворяется… Мной это чувство владеет давно…

Она снова задумалась. Кунанбай внимательно следил за ее мыслями, словно оценивая их глубину ответным понимающим взглядом.

— Муж для жены — всегда опора, словно матка для жеребенка, — снова заговорила Улжан, слегка прищурив глаза. — Жена перенимает от мужа и лучшее и худшее. Если во мне есть что-то хорошее — значит и тебе оно не чуждо. И недостатки мои и достоинства — от тебя же. Раз ты прощаешься со мной с благодарностью — я довольна.

Ни одного звука не проронила она об обидах, которые перенесла за долгую супружескую жизнь.

Кунанбай перевел разговор на повседневные дела. Изгутты принял участие в беседе. Речь зашла о халфе Ондирбае: он всегда пользовался уважением мирзы, а теперь, сопровождая его в Мекку, становился самым близким ему человеком, связанным с ним крепче всякого кровного родства.

Ондирбай высказал однажды желание породниться с Кунанбаем, поженив кого-либо из детей. Кунанбай склонен теперь дать свое согласие. Если Улжан ничего не имеет против — у Ондирбая есть дочь на выданье, девушка может

стать хорошей невесткой. Младший сын Кунанбая, последыш Оспан, еще не перебесившийся забияка, женат уже около трех лет. Бездетность его печалит и Кунанбая и Улжан, хотя самого его это мало тревожит. Теперь это повод сосватать за него еще одну девушку. Пусть Улжан будет готова: если Ондирбай возобновит в дороге разговор о сватовстве, она узнает об этом от Мирзахана…

Во второй повозке, запряженной тройкой саврасых, ехали Абай и Макиш. Каждый был погружен в свои думы, оторвавшись от домашних хлопот, Макиш перестала сдерживаться и то и дело принималась плакать. Абай пытался уговаривать ее, но все было напрасно. Тогда он замолчал и отдался своим мыслям.

Смелый поступок Даркембая не выходил у него из головы: казалось, будто старик одним пинком опрокинул очетную чашу, приготовленную для Кунанбая. Кодар, Кодар!.. Безвинная жертва Кунанбая снова ожила в нечастном сироте… Истощенный мальчик так и стоял перед лазами Абая — с грязной повязкой на лбу, стиснувшей его голову, словно обруч горькой доли… И этот ребенок в своей вопиющей нищете и укор Даркембая, горячий, и праведливый, — все вместе было приговором, вынесенным Кунанбаю самой жизнью. Никакие молитвы, намазы, пост, паломничество не сотрут его. Вот если бы отец уезжал, раскаиваясь в своих грехах и преступлениях!.. Нет, не раскаянье было в нем — в нем была прежняя суровость и гнев… Но если так — для чего тогда отцу это паломничество? Значит, Даркембай и тут прав? Не божьего, а своего, Кунанбаева, ищет он на новом пути?.. Абай усмехнулся с горьким раздражением.

Повозка быстро катилась по обочине тракта, покрытой молодой невысокой еще зеленью.

Абай давно не выезжал из города. Здесь, в степи, весна была более заметна. Слева, далеко на горизонте, окутанная синеватой мглой, виднелась Семейгора, уже сбросившая свой снеговой покров. Она стояла одиноко, подобная громадной пологой волне, которая некогда в буйном порыве накатилась на степь и вдруг с разбегу остановилась, застыв навеки. А может быть, это сама степь, такая недвижная теперь, когда-то, возмутившись, вытеснила из своих недр гору-волну и замерла потом в смиренной тишине?..

Абай сбросил с головы тымак.[123] От Семейгоры тянуло освежающей прохладой. Абай глубоко вздохнул от неизъяснимой радости и облегчения. Как-то особенно полно ощутил он и красоту земли и свободу своего сердца. И эта молодая, едва пробивающаяся зелень, и яркий весенний день, и прохладный ветерок наполняли его бодростью, извуки новых песен, переплетаясь с новыми стихами, возникали в его душе. Сам того не замечая, он запел. Макиш невольно прислушалась. И она поняла: не чужую песню пел сейчас ее брат, это была его собственная песня.

— Да ведь ты акын, Абай! — улыбаясь, сказала она. Абай совсем забыл о

Макиш. Услышав ее голос, он вздрогнул и смущенно замолчал.

— Почему ты так говоришь? — через минуту спросил он.

— Так я же слышу!.. А ты скрываешь, что ли? Да об этом все твои друзья говорят — и Ербол и другие. Хотя ты ни разу не пел на айтысах, они твердят, что ты настоящий акын… Выходит — правда?

— Правда, — улыбаясь, ответил Абай.

— А о чем ты поешь?

— Ах, Макиш, милая, песни мои уносит ветер…

— Как это?

— Я пою о любви и печали. Печаль моя близка и неотступна, а любовь — далекая и невозвратима. Петь об этом—не все ли равно что петь на ветер?

— Печаль? О чем у тебя может быть печаль, что ты говоришь?

И Макиш с укором посмотрела на брата. Абай нахмурился и побледнел.

Под пытливым взглядом Макиш лицо Абая, казалось, излучало какойто мягкий свет. Полное и круглое, оно не было тронуто ни одной морщинкой, чуть подстриженные тонкие усы и небольшая черная бородка в меру удлиняли его овал. Абай был в полном расцвете своих двадцати девяти лет. Глаза были ясны, горящий внутренним огнем чистый их взгляд был и красив и пронзителен и как магнит притягивал к себе взоры. Тонкие и длинные черные брови подчеркивали красоту его молодости.

Макиш смотрела на брата с молчаливым восхищением. Казалось невероятным, что он таит в себе какую-то печаль, и она решила вызвать его на разговор.

— А что ты пел о своей печали?

Далекая мечта юности, чудесным видением жившая в сердце Абая, с новой силой вспыхнула в нем. Когда-то весь жар своего чувства он вложил в слова песни — и песня эта с тех пор стала неотлучной его спутницей. Он вдруг живо вспомнил все: и ночь на жайляу Жанибек, и качели в ауле Суюндика, и юную тайну двоих, скрытую в песне, и Тогжан, летевшую к нему навстречу с каждым взмахом качелей… Не в этой ли песне слились их сердца на глазах у всех?..

Весенний день вызвал в нем острую тоску о Тогжан. Сердце его само шло навстречу просьбе сестры, и он запел снова «Топайкок». Он пел вполголоса, и Макиш внимательно вслушивалась в слова, полные грустной нежности.

Сияют в небе солнце и луна.

Моя душа печальная темна.

Мне в жизни не найти другой любимой.

Хоть лучшего, чем я, себе найдет она.

И пусть любимая, забыв любви слова,

К моей тоске и верности мертва,

Унизит, оскорбит меня без сожаленья,—

Я все стерплю — моя любовь жива…

Абай замолк. Лицо его больше побледнело. Это была песня о нем самом и о ней — о двоих влюбленных, обреченных суровой судьбой на разлуку, сгорающих в пламени неосуществленной любви. Песня была как тяжкий вздох печали, теснившей его сердце.

Слова песни были необычны для Макиш. Недоумевая, она спросила:

— Не поняла я, кого ты зовешь любимой? Абай не хотел открываться сестре.

— Любимая — та, о ком моя печаль… Разве ты не знаешь, что такое — любимая?

— Помоему, любимой зовут спутницу жизни. Абай нахмурился.

— Ты хочешь сказать — Дильда?

— Да. А кто же иначе? Абай с досадой отвернулся.

— Ой, боже мой, Макиш, милая… Зачем ты впутываешь сюда Дильду? — В голосе его звучала тоскливая горечь. — О чем ты?

Макиш совсем смутилась, увидев, как принял брат ее слова, и неловко улыбнулась.

— Ой, Абай, я тебя будто камнем оглушила… Но чем же бедная Дильда виновата?

— Конечно, она ни в чем не виновата… Но и я не виноват, что песня страстного желания поется не о ней… Зачем вспоминать о Дильде, окруженной четырьмя детьми?..

— Так разве в том есть вина, что она родила тебе детей?

— Нет, какая вина! И дети прекрасные… Она мать моих детей, жена, которую дали мне родители, — и только. А сердце? Влечение?.. Любовь?.. Этот огонь давно в ней погас… Да он никогда и не пылал ярко. Душа ее остыла рано…

И Абай резко оборвал разговор. Они продолжали путь молча.

Такежан ехал верхом, держась вместе с муллой Габитханом, Жумагулом, Ерболом и одним из своих товарищей — Дарханом.

В городе и при выезде из него Такежан был сдержан и молчалив. Правда, он не представлял себе всех трудностей путешествия отца, известных Абаю, но и его тревожили сомнения, которыми он и поделился с Габитханом, едва они выехали в степь. Добродушный Габитхан успокоил его: хотя начало пути будет пролегать пустынными местами, но все же кругом будут казахи, да и дальше, как говорят, не отказывают в помощи паломникам. После этого Такежан развеселился.

Крепкий, несколько полный для своих лет, Такежан слыл ядовитым насмешником. Он не мог жить спокойно, если ему не удавалось поддеть кого-нибудь и поднять на смех. Мулла Габитхан неизбежно становился жертвой его шуток всякий раз, когда они бывали вместе. Такежан сделал из него второго хаджи Насреддина, рассказывая о нем по аулам самые невероятные истории, — главным образом о том глупом положении, в какое попадал Габитхан, путая казахский язык с родным татарским. Нередко Такежан пользовался наивностью и доверчивостью муллы для своей личной выгоды.

Два дня назад в гостиной комнате Тинибая, где все время толпились люди, затерялась плетка Такежана. Позвав Дархана и Жумагула, он велел собрать все плетки гостей, разложил их и стал осматривать. Красивая плеть с рукояткой, обвитой медной проволокой, привлекла его внимание. Оказалось, она принадлежит Габитхану: у муллы была слабость к нарядным и редким вещам, и, где только можно, он добывал себе особенный нож, плетку, пояс.

— Быть этой камче моей! — воскликнул Такежан, схватив плеть.

— Ойбай, Такежан! Габитхан ни за что не отдаст ее, — возразил Жумагул. — Ведь он падок на все яркое и блестящее, как девушка!

Такежан и слушать не хотел.

— Молчите… Думаете, я просить его буду? Стяну — и все тут!

Дархан и Жумагул расхохотались.

По приказанию Такежана Жумагул срезал с плетки абитхана петлю из нарядного, блестящего ремешка и, приделав другую — из грубой сыромятной кожи, спрятал плеть в соседней комнате. Два дня Габитхан искал пропажу, надоедая гостям, и наконец отчаявшись, примирился с исчезновением камчи. Пока мулла беспомощно метался, огорченный пропажей одной из своих редкостей, Такежан ходил как ни в чем не бывало.

Выезжая провожать отца, он взял камчу с собой, но долго не показывал ее Габитхану, умышленно держась по правую руку муллы. Наконец Габитхан всетаки заметил обновку Такежана и осадил коня.

— Ой. Такежан! — закричал он удивленно. — Так это ты взял мою камчу! Какая низость!

Такежан и глазом не моргнул.

— Да что вы, мулла! — сказал он учтиво; в голосе его слышалось искреннее удивление. — Эта камча моя!

И он положил ее на гриву своей лошади. Габитхан с удивлением смотрел то на камчу, то на него. И плетение, и рукоятка… и желтая головка… и медная проволока, змейкой обвивающая рукоять… Это же его камча, конечно, его!

Выйдя из себя, он решил отчитать Такежана, — да это будет и не первая их стычка!

— Ох, беспутный! Вы посмотрите только: он посмел украсть мою камчу! — И мулла протянул за ней руку.

Такежан, однако, и не пытался сопротивляться: он сам подал плеть Габитхану.

— Прежде чем обвинять, присмотритесь внимательно! Если она во всем похожа на вашу и вы не сомневаетесь, что это именно она и есть, — поклянитесь в этом и берите ее. Но если она не ваша — не позорьте человека перед другими!..

Габитхан взял плеть и, ощупывая и чуть не обнюхивая ее, то приближал к ней лицо, то откидывался назад. Наконец он недоуменно покачал головой. Жумагул, Дархан и сам Такежан следили за каждым его движением.

— Эх, жаль, жаль… — безнадежно проговорил он. — По всему моя, не будь этой петли… Такой гадости на моей не было… А так — похожа, очень похожа… Нет… Не моя камча..! На, не обижайся, Такежан…

И он возвратил жигиту свою же плетку. Такежан спокойно принял ее и, подмигнув Жумагулу и раздувая ноздри от сдерживаемого смеха, с достоинством сказал Габитхану:

— Ну, то-то же, дорогой мулла…

И как только Габитхан выехал вперед, все трое неудержимо захохотали ему в спину. Путь до ямской станции прошел незаметно. Здесь предстояло проститься с Кунанбаем.

Повозки, ехавшие впереди, уже остановились, и путники вышли из них. Те из всадников, кто ехал возле, уже спешивались. К задку повозки Тинибая была привязана саба из черной кожи, наполненная кумысом. Как только провожающие собрались, сабу принесли сюда же. Все расселись вокруг Кунанбая и Изгутты, чтобы выпить прощальную пиалу. Изгутты поторапливал провожающих: Кунанбай не хотел задерживаться и вскоре встал с места. Все дружно поднялись за ним.

— Ну, друзья мои, вы провожали меня достаточно. Передайте привет и земле моей и народу. Прощайте, родичи! Если суждено мне снова вкусить пищу на родине, да будет встреча наша благословенна и радостна!..

— Иншалла, иншалла, аминь, аминь… — подхватили его слова старейшины с Тинибаем во главе.

Кунанбай простился со всеми, обняв каждого, начиная с Улжан. После всех он молча простился с Абаем.

Сытые, выносливые кони, ничуть не утомленные началом пути, ринулись

вперед, звонко гремя колокольчиком. Пыль поднялась за быстро удалявшейся повозкой, но долго еще слышался веселый говор колокольчика, затихая вдали. Наконец, чуть слышно прозвенев прощальным приветом, смолк и он. Повозка начала подыматься на косогор, покрытый ковылем. Еще несколько минут — и путники скрылись за возвышенностью. Точно пробудившись, все стали собираться в обратный путь.

Абай и Макиш под руки подвели Улжан к своей повозке. Троим в ней было тесно. Абай пересел на коня и не торопясь поехал шагом рядом с Ерболом, отстав от остальных всадников.

2

Гости, так долго переполнявшие дом Тинибая, после проводов Кунанбая быстро разъехались. Улжан задержалась— слишком редко приходилось ей бывать в городе, да и Макиш, скучавшая по родине, не хотела отпускать мать. Тинибай тоже не переставал упрашивать Улжан:

— Не торопитесь покидать нас! Дочка ваша тоскует, она одна, муж в отъезде по торговым делам… Отправитесь, когда она немного успокоится!

Теперь в доме оставалось всего лишь несколько гостей, но они пользовались особым вниманием хозяина. Это были Улжан, Абай, Такежан и сопровождавшие их три-четыре жигита. Все комнаты большого двухэтажного дома Тинибая были заново нарядно убраны, ковры, полосатые домотканые дорожки, шитый войлок, узорчатые кошмы — все было вытрясено и вычищено.

Улжан тщательно припоминала, что еще нужно купить перед отъездом, и ежедневно посылала на базар Абая, Такежана, Габитхана и Ербола. Улжан — мать многосемейного большого аула, все ожидают от нее гостинцев. Кроме того скоро аул двинется на жайляу и откочуег далеко от города — многое нужно закупить: летнюю одежду для детей и невесток, чай и сахар для всего аула и на случай приезда гостей…

Вместе с другими покупками Абай все чаще приносил домой большие связки книг. Почти всю эту зиму он провел в городе в хлопотах о поездке отца — и снова занялся русским языком. Он интересовался им уже давно и хотя никогда не изучал его понастоящему, но при всяком удобном случае стремился черпать знания из этого нового для него родника. И чем лучше усваивал Абай русский язык, тем чаще приходил к мысли, как трудно овладеть им в совершенстве. «Как я жалею, что упустил случай в детстве, — постоянно твердил он. — Это такая потеря для меня!»

Длинные ночи минувшей зимы не прошли даром: Абай уже читал, не запинаясь, целые страницы книг, написанных простым языком. Со стихами

было труднее. Но все же русские книги стали его неразлучными друзьями, и он принялся заботливо собирать их, чтобы по возвращении в аул не забрасывать занятий, как раньше, а все свободное время посвящать чтению. Он набил книгами длинный сундук, чтобы отправить его домой с матерью.

Улжан предлагала Абаю ехать вместе, но его удерживали в городе неоконченные дела, порученные ему Кунанбаем. Абай решил догнать с Ерболом аул во время откочевки на жайляу.

Хотя Улжан и не спешила, все же пришел наконец День отъезда. Ее сопровождали Такежан, Габитхан, Дархан и Жумагул. Повозкой, куда Улжан села с Калихой, правил жигит Масакпай, укротитель необъезженных коней. Когда Абай посадил мать в повозку, она задержала его.

— Целых полгода ты не видел своего аула, ушел, словно странник в далекий путь… А дома скучает твоя жена, сын мой… Дети ждут не дождутся тебя, ищут, как птенчики, потерявшие мать. Только и слышно было «Ата, ата приедет!..» А ты хоть раз спросил бы меня, какие они— Абиш и Магаш, моя пара ягняток!.. Как подумаю о них — сон улетает, словно туман от солнца, — как же у тебя-то хватает терпения?

— Я тоже скучаю по ним, апа… Особенно по младшим, только с ними я понял, что такое отцовское чувство. Но ты сама видишь, почему я задерживаюсь.

— Не знаю… Помоему, ты ищешь повод за поводом, чтобы жить здесь. Ты привык глотать пыль этого города… Если и дальше так будет, боюсь, тебе станет все равно, где дом, где чужбина… Ты будто молодой кулан, что отбился от своих. Ой, Абайжан, скорей возвращайся домой, сын мой!

В этих словах звучали все ее сомнения.

Чуткая и наблюдательная, Улжан с самого приезда в город незаметно следила за каждым движением сына, который в течение зимы ни разу не навестил родного аула. Тонкая трещина в чувствах Абая не ускользнула от Улжан: ни разу он ни о ком не спросил, ни разу лицо его не осветилось нежностью при упоминании о семье… Нет, не таким был он несколько лет назад!.. А может быть, в задушевных разговорах с матерью и Макиш намекнула, что брат разочаровался в Дильде…

Слова Улжан звучали просто и ласково, но за ними крылось много недосказанного. Говорить сейчас с сыном откровенно она не нашла уместным. Абай тоже промолчал, хотя и понял сомнения матери. Он отделался несколькими ласковыми словами прощанья.

— Бог даст, догоним вас, когда ваше кочевье начнет переваливать Чингиз. Передайте привет детям… Счастливого пути! Доезжайте благополучно, бодрыми и радостными!

Такежан и другие жигиты, попрощавшись с Макиш и Тинибаем, уже ожидали за широко раскрытыми воротами. Масакпай хлестнул лошадей, и

большая повозка, запряженная тройкой саврасых, с скрипом и грохотом тронулась с места.

Недели через три Абай и Ербол тоже двинулись в путь. Они выехали с восходом солнца и за длинный весенний день успели покрыть порядочное расстояние. Оба были выносливы и привыкли к быстрой езде. Как бы ни трудна была дорога, ни тот, ни другой ни зимой, ни летом не жаловались на утомление. Наоборот, даже после целого дня езды на тряских лошадях они скрывали друг от друга усталость, точно между ними шло состязание на выдержку.

Путь их лежал нынче по малопроезжим местам. Абай выбрал дорогу через гору Орда, рассчитывая выехать прямо к реке Баканас, по которой кочевал его аул. Здесь не решались проезжать даже посыльные Карабас и Жумагул, которым по должности было в привычку скакать любой дорогой.

К заходу солнца жигиты доехали до той части горы Орда, которая носит название Чиликтинского холма. Большинство аулов уже снялось на кочевку, и жилья, где можно было найти ночлег, не встречалось. Верней всего следовало рассчитывать на ночевку именно у Чиликтинского холма в зимовках небогатых аулов рода Байшора из племени Мамай, которые обычно снимались позже других.

До Чиликтинского холма от города около ста тридцати верст. Под Абаем был Курентобель, бурый конь с лысиной на лбу, славившийся своей выносливостью в больших перегонах. Изгутты, который постоянно держал его под седлом, так и звал его «тулпаром». Ербол ехал на упитанном, маловыстоянном чубаром коне, который не выдержал хода Курентобеля: к закату его пришлось подбадривать плеткой. Видя, что конь Ербола устал, Абай предложил другу пересесть на серого в яблоках жеребца, шедшего в поводу. Жеребца этого Абай перед отъездом купил производителем в косяк, залюбовавшись его мраморной мастью и красивыми статями.

Ербол уже давно пересел со своего чубарого, а Курентобель все не сбавлял шага. Солнце уже склонилось к западу, над горами встала грозовая туча. Послышались раскаты грома, ветер рванул в грудь путникам.

Абай прибавил ходу, чтобы засветло добраться до какого-нибудь аула. Курентобель пошел крупной рысью, встречный ветер как будто лишь подзадоривал его, и он все ускорял ход. Порой Абаю казалось, что резвость коня вот-вот истощится, но Курентобель, точно споря с ним, мчался еще быстрее. Закусив удила, он часто опускал голову и фыркал, и, если бы Абай не натягивал поводьев, горячий конь помчался бы по степи, как пламя пожара.

Ербол давно любовался конем своего друга. Когда Абай прибавил рыси, стал отставать и серый жеребец, и Ерболу пришлось нагонять товарища вскачь. Заехав чуть вперед, он оглядел Курентобеля.

— Фу, — восхищенно крикнул он, — за таким скакуном не угонишься!

Погляди только — у него на груди весь пот высох! Какой перегон выдерживает!

Абай восторгался не меньше Ербола. Да, такой конь — надежный друг!

— Ничего не понимаю! — подтвердил он. — Удивительно: ничуть не утомился, будто мы только сейчас выехали! Лишь бы седок выдержал — для такого коня и расстояний нет!

У самого подножия холма путников настиг ливень с порывами ветра. Но ветер скоро затих, ливень перешел в теплый дождь. Склоны Орды волновались бледнозеленой порослью низкого ковыля и полыни. Молодой весенний дождь шумел веселым потоком. В лицо путникам, ехавшим по каменистой дороге, непрерывной волной лился запах полыни. Дождь пошел сильнее, тучи заволокли небо, совсем скрыв солнце, лишь над самым горизонтом повисла желтоватая мгла. Был ли это отблеск вечерней зари, или отражались в тучах солнечные лучи — последние лучи, потухающие, как слабеющая надежда? Еще немного— и этот бледный отблеск света поблек. Туманное его зарево на миг сгустилось в темнобагровую завесу лишь для того, чтобы, утеряв последние краски, уступить на печальном бесцветном небе место ночной тьме.

Кони путников с громким топотом взлетели на небольшой холмик, и где-то впереди залаяли собаки. В сгущающихся сумерках замелькали то там, то здесь вечерние огоньки. Невдалеке, на берегу ручейка, возникли смутные очертания семи-восьми юрт небогатого аула. Крошечное стадо овец, несколько коров и верблюдов залегли в укрытых от дождя местах, неженки-козы молча прижались к подветренной стороне юрт. Около десятка лошадей паслось возле аула на длинных арканах или с путами на ногах.

Подъехав к аулу, всадники сдержали коней, присматривая юрту для ночлега. Свора собак, встретившая их лаем, теперь подняла такую тревогу, что гам ее эхом отдавался в горах. Чем ближе подъезжали жигиты к юртам, тем больше собак приставало к своре и тем визгливее а ожесточеннее становился неистовый лай.

После долгого пути по глухой, безмолвной степи далекий лай собак обрадовал Абая вестью о теплом, уютном жилье. Теперь же этот назойливый сброд вызывал совсем другие чувства. Абай с насмешливым любопытством смотрел на псов, которые бежали за конями, надрываясь от лая и злобного визга. Всклокоченные суки с загнутыми в кольцо хвостами, приземистые, узкозадые, лопоухие кобели, визгливые щенки, уродливые и тщедушные, — все это были разношерстные дворняжки, то не в меру злобные, то трусливые. Абай усмехался про себя. Что, кроме презрения, может вызвать лай такой своры, глупой и бестолковой? Собаки будто кричали ему и Ерболу: «Вон, вон! Проваливай! Нет тут ночлега! Дождь? Ничего… Лезь, лезь, лезь лошади под брюхо!.. Вон, вон! Ууу… уноси ноги!» — «Вон, вон, вон!» — вторили им щенята.

Ербол с коня вглядывался в юрты, выбирая, у которой остановиться. Из всех восьми самой прочной и большой показалась ему пятистворчатая юрта, стоявшая в центре. Обогнав Абая, он направился к ней. Когда подъехал и Абай, к путникам вышел бородатый хозяин в накинутом на плечи бешмете. Он, казалось, слегка прихрамывал. Ербол обменялся с ним приветствиями, назвал себя и попросился переночевать.

— Отлично, жигиты, оставайтесь! Что у самих есть — все ваше, добро пожаловать! — приветливо ответил хозяин, привязывая к юрте коней.

При входе в юрту Ербол шепнул Абаю:

— Ты, наверное, слышал, что у горы Орда живут два брата из рода Байшора — Бекей и Шекей? Это и есть Бекей…

В этом ауле жигиты были впервые.

В юрте ярко пылал огонь. Гости окинули взглядом небольшую семью и поздоровались с каждым. Справа, на постели, разостланной на полу, сидела старуха с внуком на руках. Худощавая женщина лет сорока хозяйничала у огня; высокая, русая, с большими карими глазами, она в молодости была, вероятно, красавицей.

Теперь Абай рассмотрел и хозяина: серые глаза, крупный прямой нос, волнистая рыжеватая борода, здоровое румяное лицо, уверенная, представительная осанка. Бекей принялся расспрашивать гостей, откуда и куда они едут, кто они родом. У него был низкий мужественный голос.

Пламя горящего кизяка играло веселыми жаркими языками, придавая юрте гостеприимную уютность. Над очагом на высоком треножнике висел большой закоптелый чайник.

Расспросив гостей, Бекей повернулся к старой матери и негромко сказал ей что-то, потом поднялся и бросил жене:

— Не жги зря кизяк, сухого мало. Хватит у тебя воды поставить котел? Я захвачу мальчугана, позаботимся о барашке…

Жена ничего не ответила, но молчание ее выражало одобрение. Через минуту за юртой раздался низкий голос Бекея:

— Наймантай, э, Наймантай! Иди-ка сюда, сынок! Едва чай успел вскипеть и был подан Абаю и Ерболу, войлочная дверь юрты распахнулась, и Бекей вместе с молодым жигитом втащил зарезанного ягненка. Русая хозяйка, подоткнув подол яркого ситцевого платья, поставила над огнем низкий треножник с круглым ободком, подняла на него котел и стала подогревать воду. Бекей, усевшись рядом с гостями, сам подавал им чай. Наймантай быстро разделал ягненка. На огне уже опаливали его голову.

Бекей несколько раз спрашивал жену:

— Где же Шукиман? Пришла бы помочь тебе!

— Зачем мне Шукиман? Она в той юрте с зятем. Управимся сами, пусть повеселятся, — отвечала жена.

При имени Шукиман Ербол подумал: «Взрослая дочка в доме…» — и огляделся. В левой половине юрты кроме деревянной кровати Бекея стояла еще одна постель, покрытая яркими одеялами и пестрыми подушками, — конечно, девичья…

Жена Бекея стала опускать мясо в котел. Хозяин подкладывал ей куски, приговаривая: «Клади, клади… И это положи!» Она взглянула на него, как бы спрашивая: «Куда столько, не хватит ли?» — но муж решительно подтвердил:

— Клади. Мы еще не угощали зятя с его друзьями… Шукиман уже намекала, что надо бы… Гостей немного, все ее сверстники, пусть поужинают у нас.

Хозяйка повернулась к Наймантаю.

— Пойди предупреди Шукиман. Пусть приведет гостей, когда все будет готово.

Теперь кизяк подбрасывали щедро, и юрта быстро обогрелась. Дождь затих. Спустилась безветренная, теплая ночь, пасмурная, в низко нависших тучах.

Ербол заснул. Абай сидел молча. От духоты кружилась голова, клонило ко сну. Он тоже решил вздремнуть до ужина.

Абай не знал, долог ли был его сон. Внезапно он вздрогнул и быстро поднял голову. Ну, конечно, он грезил и разговаривал во сне, слова еще трепетали на губах. Да, он только что произнес вслух: «Подойди… Подойди же, милая….» Не громко ли он это сказал? Не расслышал ли кто-нибудь в юрте? И что с ним было?..

Ербол тоже поднял голову, удивленно глядя, как Абай, приподнявшись, настороженно прислушивается к чему-то. Теперь и Ербол услышал женский голос, певший в соседней юрте.

Абай весь дрожал, охваченный глубоким волнением. Ерболу показалось, что его друг готов, как в бреду, ринуться куда-то. Лицо его было смертельно бледно, в глазах стояли слезы, дыхание прерывалось, плечи вздрагивали, воспаленные глаза были широко открыты. Абай смотрел куда-то вверх, точно озаренный ему одному доступным сиянием, отрешенный от окружающего. Вдруг он порывисто схватил руку Ербола:

— Встань, встань!.. Да поднимись же, Ербол!

— Что с тобой, Абай? — вырвалось у того.

Не помешался ли он? Как изменилось его лицо! Или он болен? Что случилось?.. Ербол терялся в догадках.

Абай не замечал его испуга; он схватил тымак, накинул на плечи чапан и бросился к двери.

— Пойдем, да пойдем же!..

Хозяева не обращали на них внимания. Старуха уже спала. Бекей тоже дремал у очага, спиной к гостям.

Хорошо, что они ничего не заметили: Абай все еще не мог справиться с волнением, не только слух — все существо его стремилось туда, к этому

единственному голосу. Когда он вскочил с места, у него так задрожали колени, что Ербол подхватил его и помог удержаться на ногах. Песня, одинокая и чудесная, все еще звучала. Кроме нее, для Абая ничего не существовало вокруг. Он не помнил, как нашел дверь, как вышел из юрты. Едва переступив порог, он сорвал с головы тымак и застыл на месте, весь подавшись вперед, будто ожидая чьего-то появления с той стороны, откуда слышались поразившие его звуки.

Это была «Топайкок». Нежный напев, разливавшийся волнами, замер. Песня кончилась. Абай бросился к Ерболу.

— Тогжан!.. Боже мой, ведь это Тогжан! Моя Тогжан!.. Это ее голос, ее напев, это она!.. Что же это, Ербол? Где я? Ведь это Тогжан зовет меня, она рядом, в той юрте!..

Новый порыв необычайного волнения охватил его. Трудно было разобраться в этом потоке слов.

Ербол и сам удивлялся: голос поющей и ему показался знакомым, и он все силился вспомнить, где мог раньше слышать его. Теперь он понял, почему так рванулся к двери Абай, таща его за собой, словно нетерпеливый ребенок.

Ербол хорошо знал, какой глубокой и незакрывающейся раной жила в душе Абая его несбывшаяся юношеская мечта — любовь к Тогжан. Но он никогда не видел своего друга в таком возбужденном состоянии. Абай мог сейчас пойти на все, наговорить лишнего, переступить черту дозволенного. И Ербол резко остановил его.

— Стой, Абай! Что с тобой? В огонь нам бросаться, что ли? Сперва приди в себя!

И он настойчиво повернул Абая назад.

— Оставь меня! В этой юрте — Тогжан! Она! Правда же — она?.. Я сам хочу убедиться! Или пойди хоть ты разузнай!..

Ербол задумался. Абай продолжал умолять его, горячо и страстно.

— Хорошо… Но обещай потерпеть. С тобой вместе я не пойду — только один.

— Так иди скорей! Взгляни и возвращайся. Но я уверен, что это — Тогжан…

— Да ты бредишь, Абай! Откуда здесь Тогжан? Ее тут не может быть…

— Не спорь, — снова перебил Абай, — она только что сама приходила ко мне… Сама подала весть…

Ербол остановился ошеломленный. Ему стало страшно за друга. Полный жалости, он крепко обнял Абая и повел его за юрту Бекея, ласково уговаривая, как маленького:

— Ну, хорошо, хорошо… Сейчас она придет к нам — та, что пела песню. Потерпи немного, дождемся ее в юрте… Но объясни, что это значит, — добавил он строже. — Ты сказал—подала весть… Как это?.. Ну что ты мечешься, как ребенок? Расскажи мне все.

Абай опомнился: каким диким, вероятно, казалось другу его поведение!

— Называй меня ребенком, считай все это бредом, безумием — как хочешь, — сказал он, стараясь успокоиться. — Я сам растерян… Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного… Я расскажу тебе, но прежде обещай мне… Ждать, когда кто-то там придет, я не в силах. Выслушай меня — и сейчас же пойди в ту юрту, посмотри, кто там, и возвращайся. Не дашь слова — ничего не скажу…

Абай клал руки на плечи Ербола, обнимал его, потом начинал трясти, требуя обещания. Ербол поторопился согласиться, и Абай прерывающимся голосом торопливо начал говорить. Он только что пережил что-то необъяснимое, таинственное…

— Это не сон… Это было наяву, я видел все отчетливо и ясно. Если это не явь — это непонятное видение… Ах, Ербол! Та же бобровая шапочка, то же серебряное шолпы в волосах, черный бархатный камзол, как в ту ночь, у реки Жанибек… Только тогда мы виделись тайком, урывками… никогда она не подходила ко мне так свободно, смело, стремительно… А сейчас подошла, как порыв пламени… сказала так страстно: «О, как я соскучилась! Как томилась, как ждала! Помнишь, ты научил меня песне? Я день и ночь пою ее. Вот — слушай!» Она спела начало и сказала: «Подойди ближе… Вот я рядом с тобой… никого нет, мы одни…» Я бросился с раскрытыми объятиями, крикнул: «Подойди! Подойди же, милая!»—и проснулся…

— Верно. С этими словами ты и проснулся! — воскликнул Ербол.

— Подожди… Как все это странно… Когда я открыл глаза, я понял, что видел сон. Но песня-то, песня-то продолжалась! И пел тот же голос, голос Тогжан, как и во сне! Если тогда был сон — что же было потом?.. Явь и сон перепутались… Но голос — ее, моей любимой, только ее! Я слышал его здесь, рядом… Это уже не сон!

Абай снова рванулся к соседней юрте. Ербол удержал его.

— Я обещал — и иду. Жди здесь, я скоро вернусь. Действительно, он вернулся почти тотчас. Теперь он и сам был изумлен не меньше Абая. Торопливо подойдя к другу, он заговорил прерывающимся голосом — Боже мой, Абай! Это не сон! Там она, она сама!

— Правда?.. Милый, правда — Тогжан? Да? Ну конечно, я так и знал!.. — И Абай бросился к юрте.

— Да постой ты! — схватил его Ербол. — Это вовсе не Тогжан!

Абай резко повернулся к нему и гневно крикнул:

— Так чего же ты болтаешь? О чем мелешь?

— Ну да, не она… Ее двойник!.. Боже мой — вылитая Тогжан, и такая же юная, какой была на Жанибеке, как будто вовсе не изменилась… Вошел — сидит девушка: вторая Тогжан!

— Да что ты говоришь? Ну не чудо ли это? А песню пела — она?

— Не знаю… Я не стал и расспрашивать, кто она, как зовут… Увидел — и

сразу остолбенел…

— Если так похожа, значит, и пела она! У другой и голос был бы другим!

— И я то же подумал. Только в лицо взглянул — и спрашивать не стал… Но вот ты-то, Абай, как ты мог узнать о ней? Ведь ты крепко спал! Или ты ясновидец, мой милый?.. Это же какое-то вещее предсказание, а не сон… или мы оба спим и оба бредим? — растерянно твердил Ербол.

Абай только и повторял вслух слова друга — «вылитая Тогжан!» Сердце его рвалось, как необъезженный конь, грудь не вмещала радости, и тут же ее теснило сомнение: а вдруг не похожа? вдруг это и есть сон или бред? и что, если волшебное видение растает, подобно зыбкому туману?.. Будь что будет — на этот раз его никто не удержит, пусть его жжет пламя — он готов сгореть. Он сам жаждет кинуться в его огненные объятия…

В распахнувшейся двери Молодой юрты мелькнул свет, и послышались голоса.

— Вот и они! Сейчас все придут ужинать к Бекею! — Ербол потащил Абая за руку, чтобы опередить их. Они шли в хозяйскую юрту и сели, как и раньше, на почетом месте. Ербол сразу же стал ворошить тлевший кизяк, шутливо сказав — Может, в моих руках загорится ярче!

Абай был полон нетерпения. Молодежь еще не входила — надо было подурачиться и посмеяться дорогой. Бекей с Наймантаем приготовили воду и таз для умыванья, русая хозяйка, разбудив мать, подошла к очагу, чтобы снять котел.

Дверь распахнулась, впуская гостей. Первыми вошли двое жигитов в скромных халатах и тымаках, в сапогах с высокими голенищами. Они держались почтительно и, не подымая глаз, отдали салем. За ними появились несколько подростков и две молодые невестки. Абай не отрывал глаз от двери. Он терял терпение. Спустя немного на пороге показалась еще одна молоденькая женщина в серебристом халате, накинутом на голову и скрывавшем наполовину ее смуглое лицо. Видимо, это была замужняя дочь Бекея.

Последней вошла девушка, поразительно похожая на Тогжан. В косах ее звенело серебряное шолпы, белизна лица подчеркивалась розоватым оттенком кожи. Она вошла, улыбаясь сдержанно, но чуть лукаво, приоткрывая белые ровные зубы. Когда она смущенно поздоровалась с гостями, легкий румянец на ее щеках вспыхнул для Абая долгожданной утренней зарей. Он не смог даже ответить на приветствие девушки, только едва заметно пошевелил губами и продолжал сидеть, как бы окаменев, устремив на нее неподвижный взгляд. Она покраснела еще больше.

Девушка была среднего роста, как Тогжан. Да и вся она — верно сказал Ербол — была вылитая Тогжан: те же черты лица, белизна и румянец щек, то же бело-розовое яблочко подбородка, легкое и нежное, те же волосы, черные,

шелковистые, — все то самое, о чем он так тосковал, что некогда столько раз приводило его в восхищение… Строгая линия носа, чуть вздернутого на кончике шаловливо и прелестно… Алые губы, тонко очерченные и по-детски наивные… Темные брови, острые и длинные, разлетающиеся к вискам, как крылья ласточки… Легкая улыбка ничем не омраченной души… Да, это была вторая Тогжан, единственная любовь Абая, такая, какой была в юную пору, какой он видел ее сейчас во сне — во всей своей красоте, так поразившей его в тот далекий счастливый вечер в доме Суюндика на Верблюжьих горбах… Ему казалось, что перед ним взошла молодая луна. Обновленная, но сохранившая прежний облик, она вернулась, чтобы единственной и несравненной взойти на небе его жизни.

Девушка подошла и села. Абай был в каком-то полузабытьи. Он не думал ни о себе, ни об окружающих, чувствуя лишь, как бьется его сердце: непонятный вихрь подхватил его — сон как будто продолжался или перешел в действительность. «Вот я рядом с тобой, я пришла», — шептала она ему во сне — и это оказалось правдой. Он не обманывался: она пришла — во всей чистоте первой юности…

Остановившимися глазами Абай смотрел на девушку. Лицо его приняло странное выражение, вся кровь отхлынула от него, глаза расширились, пронизывая взглядом красавицу. С такой силой надежды смотрят на падающую звезду, с таким доверием и смущением шепчут ей самые заветные мольбы.

Чтобы отвлечь внимание хозяев и гостей от неестественно напряженного вида Абая, Ербол завел общий разговор. Жених и его товарищи оказались из рода Елеман племени Мамай, — Ербол знал их аул и был знаком со старейшинами. Он закидал их обычными вопросами — где стоит теперь их аул, начали ли откочевку на жайляу и куда тронулись.

Из разговоров Абай понял только одно: Шукиман была дочерью хозяев. Когда гости расселись, Бекей сказал ей:

— Шукиман, милая, помоги матери! Подай гостям полотенце, расстели скатерть!

Девушка прошла по юрте, движения ее были мягки и гибки. Камзол и белое платье подчеркивали стройность стана. Но все портила порыжевшая и поношенная бобровая шапочка. «Сбросила бы она ее», — с досадой подумал Абай. Имя Шукиман ему тоже не понравилось.

Узкобородый смуглый жигит, товарищ жениха, и Ербол продолжали разговор и за ужином.

Шукиман кое-что слышала об Абае. Год назад прошел слух, что сын Кунанбая, молодой жигит Абай стал управителем Коныр-Кокчинской волости. Потом начали говорить, что минувшей зимой он по своей воле оставил должность. Ни хорошего, ни плохого об Абае в этих разговорах она не уловила, да это и не могло ее занимать. Где-то живет какой-то мирза Кунанбай, суровый

и грозный, как далекий холм, от которого веет холодом, у него есть сын, волостной управитель, — какое до них дело их маленькому мирному аулу? Не все ли равно, как он называется — мирзой или волостным! И уж, конечно, это решительно не касалось самой Шукиман, с ее песнями, с ее вольной юной жизнью.

Узнав о приезде Абая, она не торопилась увидеть его. Но то, что он даже не ответил на салем, ее укололо: она решила, что надменный мирза знатного аула счел ниже своего достоинства говорить с ней.

После ужина над треножником снова подвесили объемистый закоптелый чайник. Опять разгорелось яркое веселое пламя. Наймантай достал домбру и протянул ее товарищу жениха. Бекей радушно обратился к жигиту:

— Веселитесь, развлекайтесь, дорогие мои! Пели в той юрте— и здесь стесняться не место!

Бекей с самого начала понравился Абаю, а теперь его слова подтвердили первое впечатление. Абай присоединился к нему, прервав наконец свое молчание:

— Конечно, зачем же нам нарушать ваше веселье? Мы уже слышали чье-то прекрасное пение, очень прошу, не стесняйтесь нас!

— Да, да, песня чудесная! — подхватил Ербол и выразительно посмотрел на Шукиман, как бы говоря: «И мы знаем, кто ее пел…»

Шукиман смущенно улыбнулась, но не смолчала. Она тихо рассмеялась и сказала необыкновенно чистым и мягко звучавшим голосом:

— Разве мы одни поем песни? Вы и слышите и видите больше нас — вам и песен знать больше! — И, посмотрев на Абая, она лукаво добавила, снова рассмеявшись — Да и с гостей по обычаю берут отступного!

Смех ее звучал так же чисто и звонко, как ее голос. Он поражал и запоминался еще больше, чем смех Тогжан: он сам казался песней, забыть которую невозможно.

Абай не смутился.

— Ну что ж… Если за мной долг — расплачусь песней. Хоть и плохой, а все же песней…

Его шутливый ответ вызвал улыбки. Он взял домбру и легко пробежал по струнам.

Он запел вполголоса. Это была та же красивая грустная песня, которую недавно пела сама Шукиман, но слова ее, тоскующие и страстные, были другими:

Сияют в небе солнце и луна —

Моя душа печальная темна:

Мне в жизни не найти другой любимой,

Хоть лучшего, чем я, себе найдет она…

Чем дальше пел Абай, тем слабее звучала в песне тоска неудовлетворенной мечты. Теперь в ней пламенела надежда. Казалось, песня обращалась к кому-то, кого долго искала и наконец нашла. И звуки домбры и голос певца — все стремительно неслось к берегам надежды.

Три раза Абай пропел песню — с таким вниманием и восхищением слушали ее. Потом он взглянул на Шукиман.

— Есть поговорка: «Долг платежом красен…» Шукиман, мы с Ерболом слышали из той юрты «Топайкок», она все еще звучит у нас в ушах. Незачем спрашивать, кто ее пел. Мы просим вас повторить ее.

— Это пела старая наша тетка, она осталась там! Позвать ее сюда? — опять рассмеялась Шукиман, и остальные поддержали ее шутку, подтрунивая над гостями. Но Абай и Ербол твердо стояли на своем.

— Неправда, неправда, мы знаем, что пели вы! Шукиман пришлось начать.

Голос ее, удивительно приятный и в разговоре, в песне был совершенно пленительным. Звук тянулся как ровная тонкая шелковая нить. Никогда еще эта песня так не волновала и не раскрывалась с такой глубиной. Абай слушал ее, как молитву, и только раз осмелился поднять глаза на Шукиман. Смущение ее прошло; забыв окружающих, она всей душой ушла в песню, подчеркивая ее оттенки порывистыми движениями тонких черных бровей, которые то круто изгибались, то выпрямлялись. Вся ее душа, — богатая, своеобразная, озаренная сиянием юности, — раскрылась в песне. Абаю показалось, что голос этот гонит перед собой какую-то прозрачную и легкую серебряную волну, уносящую к счастью. Одно видение сменялось в нем другим. Вот на глади тихо журчащего ручья лунные лучи пересмеиваются со своим отражением… Вот заискрился и сам ручей, распространяя кругом мягкий блеск…

Все в юрте слушали с молчаливым восхищением. Шукиман смолкла, и Абай глубоко вздохнул. В этом порывистом вздохе было все, что стеснило его сердце: восторг, счастье и нежность. Взглянув на Шукиман, он молча опустил голову. Ербол не выдержал:

— Какая песня! Еще никто, наверное, ее так не пел! Да и возможно ли спеть лучше?

Абай думал так же, но словами не мог выразить своих ощущений. В душе его было столько света, что лучи его, вырвавшись, могли затопить все, как

разлившийся поток. О чем говорить? — слова лишь обкрадут возникшее в нем чувство. Он знал одно: в сердце его взошло новое солнце — солнце полной, бесконечной радости. Потерянное счастье вернулось, оно само нашло его, жалеет и ласкает…

Решение, твердое и непоколебимое, внезапно возникло в нем. Когда-то, еще молодой и не уверенный в своих силах, он был вынужден отказаться от счастья. Теперь он не станет упускать из рук звезду своей судьбы. Пусть рухнет весь мир, пусть отрекутся от него отец и мать, семья и родичи, пусть все осудят и отвергнут его, — он не в силах уйти от этой красоты, он никому не уступит ее. Иначе ему не нужна и самая жизнь…

Когда молодежь начала расходиться, Абай мог только без конца благодарить Шукиман, других слов он не находил. У него дрожал голос, побледнело лицо. Но Шукиман угадывала недосказанное. Глядя на Абая, она, слегка покраснев, ласково улыбалась ему. Перед ней был теперь не тот гордый, надменный и суровый мирза, которого она увидела, войдя в юрту: это был человек с богатой и глубокой душой, полный мягкого обаяния. Он может привлечь к себе того, кого полюбит, потому что сам целиком отдается своим чувствам. Неожиданно для себя Шукиман увидела то прекрасное, чего еще ни в ком и никогда не встречала. Абай вдруг стал для нее родным и близким. Не сводя с него взгляда, она попрощалась с ним с особенной теплотой.

Все начали располагаться ко сну. Шукиман собралась ночевать у снохи и, выйдя проводить зятя и других гостей, больше не вернулась в юрту.

Наутро, едва выехав за Чиликтинский холм, Абай и Ербол заговорили о Шукиман.

— Что и говорить, настоящая корим,[124] — твердил Абай.

— Ай, корим!.. Ай, корим!.. — восхищенно протянул Ербол.

— Как, как ты сказал? — быстро переспросил Абай и рассмеялся. — Слушай, Ербол… Шукиман — удивительно некрасивое имя и совсем к ней не подходит… Давай назовем ее по-своему! Ты сейчас нашел имя: будем звать ее — Айкорим… Нет — Айгерим!..

Они вспомнили сон Абая и то, как сон этот поразительно воплотился наяву. Они терялись в догадках и всетаки^ не понимали, как все это могло случиться. Наконец Абай высказал свое предположение:

— Знаешь, что пришло мне в голову? Странная мысль… Вещие сны бывают у знахаря, у чародея, или, как говорится в книгах, это дар мудреца или святого. А я ни тот, ни другой, как же это произошло со мной? Ведь я же не занимаюсь гаданьями или волшебством… Но на свете есть люди, которые отличаются от других особенной остротой чувств, тончайшей чуткостью, способностью глубоко проникать в жизнь… Это — акыны. Может быть, я — акын?

Ербол давно уже считал Абая настоящим акыном. Правда, рассуждений друга он не совсем понял и потому промолчал. Но в самом Абае это открытие

вызвало совсем новое чувство вдохновенной силы.

За перевалом через холм дорога начала спускаться прямо к северному склону Орды. В лицо путникам подул ветер с Чингиза. Вдали, непрерывно меняя очертания, возникло чудо степи — мираж. Странные бесчисленные образы сменяют друг друга, вырастая и исчезая, приникая к земле или подымаясь к небу зеленовато-серым облаком, — то горы, то землянки, то высокие мазары, [125] то густой бор… За ними вырисовывается в синеватой дымке гребень Чингиза…

Все вокруг покрыто светлой зеленью ковыля и розовыми метелками каких-то степных трав, по обочинам встают порой заросли чия. Покачиваясь от ветра, травы шепчутся нежными, тихими голосами. У каждой травинки свой голос, но все сливается в общий хор, поющий гимн великой силе жизни. Может быть, и чий, обнимаясь молодыми побегами, славит юность и новую весну?..

Вот он, чудесный близкого счастья взгляд!

Тайны души моей в страстных песнях звучат.

Ветер скользнул — и о той же тайне моей

Чия стебли шелестят, шелестят, шелестят…

Напев сам звучит в ушах Абая, и он силится его уловить. Легкая грусть, не отступавшая от него с ночи, исчезает сама собою: перед ним открылся путь к заветной давней мечте. Стихи теснятся в нем, переполняя душу. Сердце не вмещает радости, мысль рвется вперед, не в силах ни на чем остановиться, и стихи возникают беспорядочными отрывками. Они, как прерывистое дыхание, вырываются из груди, повторяясь, вытесняя друг друга, путаясь, изменяясь. В них и помину нет о той четкой форме, которую Абай всегда ищет для своих песен. Порой, подражая восточным поэтам, он подбирает изысканные строки:

Ты — наслажденье души,

Тело пьянящий шербет…—

но тут же обрывает напев… Нет, не то… Он хочет найти свои слова, свои звуки: если он станет повторять чужое, это будет уже не его чувством и стих прозвучит ложью… Перед его глазами изгибаются брови Тогжан… или Айгерим… Он любуется их безупречной и жаркой красотой…

Словно вычерчен двух бровей полукруг —

Образ юной луны красавице дан…

Ему кажется, что юная луна сошла со своей высоты и, избрав Абая — или узнав его? — стала рядом. И чем теснее эта близость, тем легче льются стихи. Он с радостью чувствует возвращение юности — и, как в юности, будущее играет перед ним степным миражем, маня и обещая.

Да, он снова нашел свою молодость, счастливую и полную, нашел с замиранием сердца, с восторгом, и вместе с ней почувствовал стремительные взмахи крыльев песенного дара, лениво спавшего в его сердце. Счастье разбудило его, стихи рождались без конца. Словно птицы, вырвавшиеся из неволи, они порхают, плывут, играют, наслаждаясь простором, взмывают вверх… Обрывки напевов нагоняют их, сливаются с ними, исчезают и возвращаются…

В этом долгом и таком чудесном пути по безлюдной степи он нашел в себе то, о чем сказал Ерболу: «Может быть, я — акын…»

До самого полудня — от Орды до Караула — Абай пел не переставая, находя все новые и новые слова. Он забыл, куда и зачем едет. И только когда начали спускаться в долину реки Караул, Абай очнулся.

За зиму он сильно стосковался по аулу и родным местам, а река Караул всегда вызывала в нем особенное чувство. Воспоминания потянулись вереницей. Там, на Верблюжьих горбах, синеющих в верховьях Караула, он впервые увидел Тогжан. Там же, когда эта река мчалась, пенясь в разлившемся потоке, он впервые обнял любимую… И вот сегодня Тогжан, недосягаемая, далекая Тогжан, переступив через годы, полные печали и уныния, пришла к нему, повторяя: «Да нет же, неправда, я все та же, юная и светлая, я люблю тебя по-прежнему и дам, наконец, тебе счастье…»

За это утро мечтаний и стихов решение его окончательно окрепло.

В горячих и страстных словах Абай доверчиво открыл Ерболу все, о чем

думал. Он сказал, что принял решение еще ночью. Оно внезапно, но оправдано всей сложностью его вчерашних переживаний. Абай рассказал о той буре чувств, надежд и желаний, которая бушевала в нем с утра, и воскликнул:

— Не осуждай меня, Ербол, пойми меня!

Знакомые слова! Он всегда говорил их, когда удивлял Ербола каким-нибудь внезапным намерением и хотел завоевать его сочувствие. Ербол прищурился и улыбнулся: он вполне понимал друга. Абай продолжал говорить, не замечая его усмешки:

— Будущее — неизвестное, неиспытанное, пусть даже запретное — манит меня. Я иду к нему, все мои помыслы в нем. Я полюбил Айгерим, я хочу, чтобы она стала моей женой!

Страстное увлечение друга красавицей Айгерим Ерболу было понятно, но такого вывода он никак не ожидал. Жениться?.. Удивленно взглянув на Абая, он задумался. Весь остаток пути они проговорили только об этом. На перевале через Чингиз они задержались, договорились окончательно и лишь тогда начали спускаться к Шалкару, где расположился аул Улжан.

Пригорное жайляу, широкое и ровное, с прозрачными водами реки и студеными струями родников, славилось сочной травой. Весь его огромный простор, прозванный Шалкаром — безбрежным, сейчас зеленел. Прохладный ветерок, всегдашний весенний гость с СарыАрка,[126] полный свежести и благоухания, пробегал по травам, и издали казалось, что по жайляу ходят мягкие зеленые волны.

По дороге к своему аулу друзьям пришлось миновать несколько других, расположившихся в долине. Кроме хозяев жайляу — родов Бокенши и Борсак, — сюда прикочевали и аулы рода Жигитек, примирившегося в этом году с сородичами; здесь же стояли аулы родов Иргизбай, Жуантаяк и Карабатыр, кочевавших по соседству с аулом Улжан, а также несколько аулов рода Кокше. В мирные годы, когда между родами не было ни ссор, ни взаимных обид, жайляу будто становились просторнее и на них хватало места всем. Аулы устраивали угощения в честь вновь прибывших, сородичи ходили друг к другу в гости, принося с собой сыбага — яства, подносимые в знак уважения.

И сейчас, подъезжая к аулу Улжан, друзья поняли, что ее только что посетили гости с сыбага: женщины всех возрастов, начиная с почтенных ее сверстниц, на нескольких телегах уезжали на восток, к кочевьям Суюндика. Другие направлялись на запад; эти были нарядно одеты и ехали на иноходцах и на резвых, упитанных конях с посеребренными седлами и сбруями; видимо, это были байбише аулов Жигитек, расположенных у Сарколя.

Улжан стояла у Большой юрты, только что проводив гостей. Абая и Ербола встретила шумная толпа женщин, молодых женге и жигитов, гурьба ребятишек.

Юрты стояли в чистых и сочных травах, еще не помятых вокруг необжитых

становищ. На этом нарядном жайляу, обновленном весной, принарядились и люди, стар и мал, начиная с самой Улжан. Белоснежные головные уборы, платья и камзолы женщин яркими пятнами пестрели среди белых юрт и молодой зелени.

Аул встретил Абая с радостью. Улжан первая с улыбкой обняла сына и, припав к его лицу, долго не могла оторваться. Потом она подвела к нему младшего своего внука, трехлетнего Магаша, худенького светлолицего малыша с чудесными бровками и глазами. Абай наклонился к нему. Ребенок охватил шею отца и прижался лицом к его щеке. Он не смутился и не стал дичиться, когда Абай нежно поднял его и поцеловал, назвав по имени, — видимо, он не забыл отца, хотя тот не был дома целую зиму. Ласково гладя ручонкой его лицо, он засмеялся, показав мелкий белый жемчуг зубов:

— Ага, ты нас забыл, я же Абиш, а не Магаш!

Кто научил его?.. Эта явная насмешка в устах любимого малыша больно задела Абая. Не Улжан подговорила ребенка — заметив, как нахмурился сын, она с ласковым укором потрепала мальчика по спинке.

— Ой, глупенький, ну что ты говоришь? Отец приехал издалека, соскучился по тебе… Разве так встречают?

Но слова матери не успокоили Абая. Приветливо поздоровавшись со всеми и идя с ней в юрту, он с горечью заметил:

Что сказал твой внук, апа? Глуп тот, кто научил его этому, кто бы он ни был…

И он вошел в юрту. Пестрая толпа со смехом, шутками и веселой болтовней хлынула вслед за ним.

Начались расспросы о Кунанбае. Что о нем слышно? Какие вести с дороги? Здоров ли он? Абай рассказал, что знал: Кунанбай сообщил лишь, что доехал до Каркаралинска благополучно и встретился с Ондирбаем.

Дильда тоже встречала мужа и вместе с ним вошла в юрту. Обидные слова, сказанные Магашем, были ее выдумкой. Она заметила, как это задело Абая, но не испытывала раскаяния. Она даже злорадно усмехнулась, будто добавив: «Так тебе и надо…». Сколько раз за эту длинную зиму она со злобой осыпала отсутствующего мужа проклятьями! Хоть бы раз заглянул за полгода! Спутался там, наверное, с кем-нибудь! Совсем обезумел! Ради кого он дом и детей бросил? Не будет тебе счастья, Абай, не приедешь — пропадай хоть совсем!.. Задыхаясь от злобы и оскорбленного самолюбия, она старалась изливать свою обиду так, чтобы слышала Улжан.

Старшему сыну Абая, Акылбаю, было уже двенадцать лет. Он вырос на руках Нурганым, младшей жены Кунанбая. Остальных — шестилетнюю Гульбадан, четырехлетнего Абдрахмана и маленького Магаша воспитывала сама Дильда. Обе ее свекрови — и Улжан и Айгыз, да и весь аул уважали Дильду, дети ее были общими любимцами и общей забавой как старших, так и

молодых родичей. Дочь знатного аула, родившая стольких сыновей, всегда становится избалованной, своевольной, надменной, несдержанной в речах и поступках. Такой же стала с годами Дильда. Обида на Абая еще больше закрепила в ней эти свойства: она стала теперь черствой, холодной и не в меру самолюбивой.

При первой же встрече охлаждение между Абаем и Дильдой почувствовалось с особой остротой. Оно назревало давно. Их связывала лишь тонкая нить, а сейчас и она порвалась, это стало совершенно ясно. Не только в начале вечера, но и после, когда встречавшие разошлись, Абай и Дильда не обменялись ни одним теплым словом.

Однако чем холодней обращался он с женой, тем ласковей был с детьми, по которым сильно соскучился. Улжан впервые увидела, как он обнимал, целовал и ласкал Гульбадан, Абиша и Магаша, усадив всех перед собой. Казалось, он дал себе слово стать заботливым и нежным отцом. Но и теперь он ни шаг не отступал от того, что обдумывал дорогой.

В этот вечер он поделился с Улжан и Айгыз одним из своих решений, удивив и испугав их. Он не просил советов и не допускал споров, дело было решено твердо им одним: Абиш и Гульбадан будут учиться в городе в русской школе.

Улжан все же заговорила: Абиш еще мал и слаб здоровьем, пусть он пока останется в ауле на ее руках. О сроках Абай спорить не стал.

— Из этих твоих внучат, апа, я сделаю людей. И хороших людей. С детства дам им образование. Возможно, Абишу это еще рано. Но так или иначе, оба получат городское воспитание, этого требует наше время. Я решил твердо.

Все трое детей после долгой разлуки ласково льнули к отцу. Новость привела их в восторг.

— Мы поедем учиться!.. Вези нас скорей в город!

О решении, принятом им на склонах Орды, Абай долго не сообщал семье. Осуществимо ли его желание? С чего начать, как сделать лучше?.. Говорили, что Айгерим просватана. Кто ее жених? Как взглянет на это она сама? Что скажут ее родители и аул? Прежде всего нужно обо всем разузнать. Нужна осторожность: опрометчивость и поспешность только повредят.

Никто, кроме Ербола, не знал тайны Абая. Посоветовавшись с ним, Абай решил посвятить в дело кого-нибудь из друзей. Выбор их остановился на Жиренше, который уже много лет был особенно близок к Абаю. Жиренше был толков, сообразителен и прославился уменьем говорить. Живой и предприимчивый, он из всего многочисленного рода Котибак был в свое время отмечен Байсалом, который во всем ему доверял.

Последние годы Абай не расставался с ним, брал его с собой во все поездки, а став коныр-кокчинским волостным, назначил его одним из биев. Когда Абай отказался от должности волостного, Жиренше остался судьей и до сих пор исполнял обязанности бия в той же Коныр-Кокчинской волости.

Абай послал Ербола за Жиренше. Когда тот приехал в аул Улжан, Абай посвятил его в подробности дела. Жиренше долго думал, взвешивал и наконец согласился быть посредником друга.

Убедившись в его готовности, Абай сказал:

— Жиренше, я передаю тебе все мои права и прошу тебя устроить мое дело. Прежде всего познакомься с ней, приглядись, проверь. Узнай, что она сама думает об этом.

Потом выведай мнение родителей и остальных родичей. Остерегайся только одного — и это особая моя просьба: пусть они не думают о том, что я сын Кунанбая, что мы, мол, знатный аул и пользуемся властью. Пусть не опасаются мести за отказ. Бог свидетель: если я девушке не по сердцу, я не обижусь. Если я добьюсь свадьбы именем отца и знатностью моего аула, счастья я не узнаю, а себя обреку на позор. Пойми и запомни это. Что бы ни было, ты подробно расскажешь мне правду, когда вернешься.

Вместе с Жиренше Абай отправил и Ербола, поручив ему следить за точным выполнением его просьбы. Друзья недолго заставили Абая ждать: они вернулись из племени Мамай через три дня.

Жиренше сам беседовал с Айгерим. Он тоже был поражен ее красотой, но особенно восхищался ее умом и обхождением. Он сообщил Абаю, что Айгерим и правда с детства была просватана за жигита из того же племени Мамай. Но ее жених умер, и права на нее перешли, по обычаю, к его старшему брату, пожилому человеку, смолоду женатому. За Айгерим была уже уплачена часть калыма. Когда девушка стала взрослой, брат умершего жениха согласился вернуть ей свободу и заявил, что сам женится на ней. Таким образом дочь Бекея была без веревки связана. Семья девушки не раз просила жениха вернуть слово, но тот не соглашался, утверждая, что, если невеста наречена ему богом, он должен жениться на ней. Лишив несчастную девушку свободы, он не мог, однако, внести остающуюся часть калыма и не приезжал к невесте. Да и жена его была против нового брака.

Жиренше разузнал все это, потолковав и с Бекеем и с Шекеем. Он спрашивал и Айгерим, чего хочет она сама. Айгерим думала только о свободе и совсем не хотела выходить замуж за своего деверя.

Но были другие трудности: Абай тоже был связан крепкими узами. О его решении не знали пока ни родители, ни родичи. А ведь оставалась еще Дильда — неизвестно, как она примет эту новость…

Учитывая все это, осторожный Жиренше посоветовал Бекею и Айгерим держать их беседы в строжайшей тайне и ни с кем не делиться новостью. Он искренне расположен к аулу Бекея и хочет, чтоб его хорошо поняли. Он заботится не столько об Абае, сколько о самой Айгерим.

А вдруг затея не удастся? Айгерим может остаться запятнанной, и, если об этом узнают родичи ее деверя, может вспыхнуть вражда между двумя родами.

Он не сказал Бекею о том, что беспокоило его самого: могут распространиться толки, что он, Жиренше, соблазнял невесту племени Мамай, пытаясь женить на ней Абая. Вспыхнет вражда, пойдут сплетни, которые бросят тень на имя самого Жиренше.

Итак, Жиренше сильно помог делу: он понял и одобрил решение Абая, а переговоры вел тонко и завершил их умно, условившись, чтобы все оставалось в тайне. Три друга быстро пришли к общему решению. Абай, восхищаясь умом Жиренше, обратился к нему еще с одной просьбой:

— Раз уж ты взялся за дело, доведи его до конца. По правде сказать, мне следовало бы взяться за это самому, но я прошу тебя помочь… Отец далеко, но мать не заслуживает, чтобы ее обходили: поговори с нею и добейся ее согласия.

Улжан не одобрила решения Абая. Выслушав пространные объяснения Жиренше, она недовольно нахмурилась.

— Дорогой мой, если Абай собирается поступить так, как хочет, он должен делать это открыто. Зачем он идет окольными путями и посылает ко мне посредника? Приведи его самого, посидим, поговорим все втроем.

Когда Абай пришел, она встретила его без обычной приветливости. В голосе ее звучала твердость.

— Абайжан, сын мой, твое намерение мне ясно. Жиренше рассказал мне о той, кого ты избрал. Он просил моего совета. Ты хочешь знать, хорошо ли ты делаешь? Помоему, нехорошо. Я скажу коротко. О многом ты знаешь сам и без меня: ты рос, видя все. Я была одной из жен твоего отца, и ты сам — разве не был одним из многих сыновей одной из многих жен? У нас с тобой была одна печальная доля, мы были связаны с тобой общими невзгодами. Сладко ли было мне? Легко ли было тебе?.. Всегда у меня было одно желание — чтобы наши дети не пошли тем же путем. Боюсь, не раскаялся бы ты. Шаг, от которого ты ждешь столько радости, сделать легко, но в последствиях его — горький яд. Пожалеешь, дитя мое!.. Впрочем, и радость и яд достанутся тебе, а мы — и я и твой друг Жиренше — останемся в стороне… Но сомнения свои я должна была высказать. Подумай об этом, сын мой. Обсуди и реши. Я сказала, что хотела.

Абай ушел, ничего не ответив. Это был первый случай, когда они не поняли друг друга и когда желания их не сошлись. Абаю хотелось многое сказать матери, но то, что он переживал сейчас, мало было понять, — это надо было почувствовать. А что он мог сейчас говорить о чувствах? Он и сам отлично знал, что рассудок осуждает его решение, а мать указывала ему только на это. А сердце? Щадя мать, Абай не стал ей открывать того, что думал: разве не великим злом было со стороны родителей соединить его с Дильдой помимо его воли, не считаясь с ним самим? Они не спрашивали его о чувствах и безжалостно разлучили с Тогжан… Но разве скажешь об этом Улжан? Что может он сказать своей доброй матери, которая никогда и не подозревала о своей вине перед ним, которая, наоборот, была уверена, что вся ее жизнь была

непрерывной заботой о нем, и не сознавала своей ошибки?.. Понимая все это, Абай ушел от нее молча.

Но задуманного дела он не оставил. Жиренше опять уехал в аулы Мамая. На этот раз он задержался там около двух недель, добился согласия и сговорился окончательно. Он побывал и в ауле прежнего жениха Айгерим, уладил дело и там.

Сложный узел был развязан. Абаю следовало отдать большое количество скота как Бекею, так и в возмещение жениху.

Имуществом отца распоряжался Оспан. Для Абая он не жалел ничего. Он все быстро рассчитал и сразу же погнал большую партию скота в счет калыма. Сватами в аул Бекея немедленно выехали Жиренше, Жакип, Оспан и Габитхан, выполнившие поручение и в свою очередь награжденные подарками. После этого отогнали остальной скот в уплату калыма и для свадебного подарка от родителей жениха.

Через несколько времени Абай в сопровождении Ербола, Оспана, Габитхана и Жиренше отправился к невесте. Жиренше опять, как и на свадьбе с Дильдой, оказался старшим сватом. Абай выехал с тем, чтобы навсегда привезти Айгерим в свой дом.

НА ЖАЙЛЯУ

1

Белые просторные юрты Большого аула занимают весь правый край широкого луга, в стороне от овечьего загона с его запахами и шумом. На левом, возле загона, раскинуты одни серые юрты, ветхие, рваные шатры, темные, закопченные палатки и маленькие шалаши. Здесь живут соседи-бедняки, обслуживающие огромную семью Кунанбая, старики чабаны, мальчишки-подпаски, доярки, табунщики, пастухи.

От белых юрт доносится песня. Сильный мужской голос еще с полудня взвился над притихшим аулом в безоблачное голубое небо и парит там, привлекая к себе слух. И все обитатели жалких юрт и шалашей

прислушиваются к нему — и молодежь, не занятая повседневной работой, и пожилые женщины с веретенами в руках, и дряхлые старухи. Всем хотелось бы подойти ближе к белым юртам, откуда несется песня, но туда тащится только одна сгорбленная старуха с внучонком на спине. Выпростав изпод головного платка ухо и подняв голову, она старается уловить песню, щурясь слезящимися, запавшими глазами и собирая в улыбке глубокие морщины бесцветного дряхлого лица.

— Э-э, да пошлет тебе бог великое потомство, славный акын, да развеселит он тебя, как ты нас… — бормочет она, выставляя вперед беззубую челюсть.

Посреди котана стоит Калиха, домоправительница Айгыз, с недоброй усмешкой глядя на старуху.

— Смотри не опоздай, только для тебя, для дохлой, он и поет! — язвительно бросает она вслед ей.

Старая Ийс слышит насмешку, но не останавливается, направляясь к четырем белым гостиным юртам, стоящим несколько поодаль от хозяйских.

Почетный гость аула, знаменитый певец, последние дни был в разъездах и вернулся только вчера. Аул уже знает, что завтра он уезжает совсем, и каждому хочется в последний раз послушать его пение. Но жители этого конца аула — слуги, пастухи и подпаски — лишены этой радости.

В черной рабочей юрте Айгыз две женщины — бледная горбоносая Есбике и сухощавая смуглая Баян. Есбике стоит у огромного закопченного котла над очагом, варя курт, Баян без отдыха с самого рассвета сбивает в большом чане квашеное молоко. Их утомленные лица покрыты ранними морщинами, платья одинаково оборваны и давно не видели стирки. Баян — жена чабана Кашке, она сверстница Есбике и часто делится с ней нерадостными думами.

— Веселиться и радоваться — не нам с тобой… — вздыхает она. — Айгыз так и передавала через Калиху: «Пусть с мест не сходят, бьют иркит и варят курт…»

Есбике хмурится так, что брови сбегаются на ее бледном лице:

— Разве Калиха позволит, чтоб мы слушали песню? А Айгыз? Только и кричит: «Дои коров, дои овец, сбивай иркит, вари курт, справишься—беги с мешком за спиной, собирай по степи кизяк…»

— Как мы только еще живы! — подхватывает Баян. — Домой доберешься, когда все в ауле уже спят, и прибрать-то у себя невмоготу… Я вот только через порог ступлю — и падаю, как подкошенная, вся, вся разбита…

Есбике, не слушая, твердит о своем.

— Кричит, приказывает — то аркан крути, то веревку вей… Да попрекает еще: «Развалясь сидеть хочешь, забыла, что ты моя раба? Не тебя ли привезли вместе с приданым нашему аулу, не твой ли муж Башибек — раб с поротым ухом?» Точно палкой по голове бьет такими словами, а что я отвечу, если бог создал меня рабой?

Помешивая кизяк в жарком очаге, Есбике не сдерживает слез:

— И сама в износ идешь, и наживы тебе никакой… Дочка моя умоляет: «Апа, милая, пойду и я песню послушать». — «Что ж, иди, солнышко мое», — говорю, а как взглянула на нее — за порог пустить не могу, на глаза никому показать не смею… Ведь уж девушка она, невеста, а лохмотья хуже, чем на мне, точно их собаки рвали, заплата на заплате…

Баян, не бросая своего иркита, наклоняется к Есбике и шепчет ей, словно боясь, что услышат Айгыз или Калиха:

— А мне легче? Встанешь на заре с птицами—так и не присядешь, пока байбише не лягут и ты над ними тундук не закроешь. Знаешь загадку: «Все спят, кто же не дремлет? Старуха мать…» Так и мы—и зиму и лето все то же… Правда Айгыз говорит — грязная раба… Вон там — песня… Разве она для нас?

В соседней лагуче на куче старых лохмотьев сидит дочка Есбике — Сакиш, молча глотая беззвучные слезы и стараясь наложить еще одну заплату на платье. Порой она опускает курчавую голову и замирает. Ведь ей так немного надо: только дойти туда, как старухе Ийс, и прижаться к юрте снаружи, заглянуть в щелочку… Но вчера приходила Калиха и строго приказала именем Айгыз: «Чтобы дочка Есбике и показываться не смела у белых юрт, пусть сидит у себя! Обойдется и без песен!»

А песня летит над аулом… Не только здесь прислушиваются к ней. Старый Буркитбай, который целый день доит кобылиц у привязи жеребят, тоже слушает песню, беспрерывно ворча себе под нос.

— Поет, день и ночь поет… Целое лето гостит, а хоть бы раз я в лицо его видел… Когда тут увидишь? Пятьдесят кобылиц, и каждую десять раз в день доить надо… Привязан я тут, как эти жеребята… Мечусь, как конь на аркане… «Смотри, чтоб юрта Улжан без кумыса не осталась, чтоб у Айгыз всегда саба была полная, чтоб в гостиных юртах две сабы наготове стояли, да у Калихи чтоб свой кумыс был!..» Жеребят дотемна не отвязывают, к ночи еле до дому доберешься…

Только несколько секунд, переходя от кобылицы к кобылице, Буркитбай может прислушаться к отдаленной песне. Ведя за ним очередного жеребенка, подпускаемого к матери, ловит едва слышные звуки и его помощник Баймагамбет — юноша с острым взглядом синих глаз под густыми бровями. Потом он снова слышит лишь однообразную воркотню Буркитбая, который, опустившись на одно колено, быстро доит кобылиц.

— Двадцать лет… Двадцать лет подряд Буркитбай кобылиц доит, а что толку? — бормочет старик. — Уж если Айгыз и Калиха и дадут когда-нибудь чашку кумыса, так тут же и попрекнут: «Обжора несчастный, чтоб ты подавился, не столько надоишь, сколько сам выпьешь». Каждый день одно и то же слышу… А у меня колени уже не сгибаются, пальцы, как дохлая овца, раздулись от этой дойки… Ночами кости так ноют, что глаз не сомкнешь…

Баймагамбет давно знает все это. Участливый, всегда готовый прийти на помощь каждому, он горячо говорит:

— Ну и оставь! Брось ты эту дойку проклятую! Делал бы ты у них что-нибудь другое, Буке!

Буркитбай хочет улыбнуться, но усталое лицо только искажается горькой усмешкой.

— Ой, мальчик мой, неужели я не бросил бы, если б знал, куда уйти? На какую я теперь работу гожусь — хромой да безрукий?

А песня все парит над аулом. Она то улетает кудато ввысь, готовая вот-вот исчезнуть, то спускается на жайляу новой звучной волной — и тогда отчетливо слышится и у самых крайних ветхих юрт, где доят кобылиц, и у родника.

Там ее слушает Байсугур, худенький большеносый мальчик, пастух аульных ягнят. Он сидит верхом на хромоногом стригуне, повернувшись в сторону аула. Байсугур отвел сюда ягнят спозаранку, натощак, но сейчас, склонившись к гриве стригуна, он слушает песню так внимательно, что забывает о голоде. Подъехать к аулу поближе он не может — овцы, связанные голова к голове, еще стоят у черных юрт, и он видит, как мать его то поднимается, то садится между ними, продолжая дойку. Если он поедет к аулу, ягнята потянутся к маткам, и тогда… Он уже два раза за это лето упускал ягнят и навсегда запомнил побои Майбасара. Но сейчас ягнята как будто мирно дремлют у речки — и мальчик все ближе подъезжает к аулу, точно привороженный песней. Он долго стоит, замирая, как в забытьи, убаюканный звуками, и потом снова приближается к белым юртам, не видя того, что происходит за его спиной. Приводит его в себя гневный окрик:

— Сдохли бы вы все с этой песней! И тебе, паршивцу, она понадобилась?.. Я тебя проучу!

На холеном коне к нему скачет с поднятой плеткой сам Майбасар. Перепуганный мальчик чуть не падает со стригунка. Он оглядывается: ягнята, недавно лежавшие спокойно, теперь несутся к аулу стремительным блеющим потоком, и жалобному призыву их многоголосо отвечают с привязи овцы… Вот почему Майбасар пришел в такую ярость!

Удары длинной плетки сыплются на мальчика, как лезвием ножа режут его полуголую спину. В вопле ребенка слышится и боль и испуг.

— Агатай, убьешь!.. Агатай!..

Он спрыгивает со стригуна, но Майбасар, осыпая мальчика руганью, продолжает жестоко пороть его, вертясь на коне.

Со времени отъезда Кунанбая хозяйство аула находилось в руках Айгыз, а «управление с коня» принадлежало его младшему брату Майбасару. Тот, боясь, как бы в отсутствие Кунанбая люди не распустились, жестоко расправлялся за малейшее упущение, избивая то одного, то другого табунщика, пастуха, подпаска, доильщика.

Стадо ягнят сливается с овцами. Мать Байсугура с криком бросается к сыну, не выпуская из рук ведра с молоком. В юрте тяжело ворочается на кошме старый Байторы.

— Проклятый… Крошку моего!.. Кровопийца Майбасар, опять ты его мучаешь… — стонет он.

Все слышит старый Байторы: овец доят не посреди аула, а с краю, у бедных юрт, чтобы блеянье и резкий запах не беспокоили хозяев белых юрт. Чуткий слух его сразу уловил приближение ягнят. «Упустил их малыш… Нынче опять недоспал, — может, заснул в поле… или с лошади упал?» — подумал он вначале. Потом до него донесся крик жены, спешившей на выручку к сыну. Но Байторы прикован к своей рваной, прокопченной кошме давней болезнью, он может только проклинать свою немощь.

— У твоих же табунов нажил я эту окаянную болезнь! Не на вашем ли котане просиживал я долгие осенние ночи, ночевал на снегу, оберегая стадо? Проклятый Майбасар… Меня довели до могилы, а теперь за малыша принялся? … Мне ад создал и сыну его передаешь? Не бог карает — ты сам богом карающим быть хочешь, в аду терзаешь!.. Чтоб тебе самому сгореть!..

У старика дрожит подбородок, он закрывает глаза, бьется головой о свои кулаки и замолкает в бессильном горе. А песня все летит над аулом…

Старая Ийс все-таки подошла к четырем белым юртам, поставленным поодаль, будто бы здесь был созван какойто сбор или шел той. Между ними была устроена привязь для коней, и у боковых юрт, окружавших среднюю, шестистворчатую, лежало множество седел и потников. По большей части здесь были кокандские женские седла с мягкими подстилками и украшениями и девичьи — особо нарядные, с лукой, покрытой серебряными пластинками и перламутровым узором. Коней у привязи не было, их, видимо, уже отогнали на выпас — значит, гости съехались давно.

Песня, собравшая столько приезжих, звучала из средней юрты, где собрались и хозяева и гости. В трех боковых никого не было видно, а возле них лишь несколько женщин и двое-трое мужчин в оборванной одежде молча копошились у пыхтевших медных самоваров и у котлов над очагами, вырытыми в земле.

Старая Ийс подошла к стряпухам и обратилась к смуглой молоденькой женщине, стоявшей у самовара с чурками для растопки:

— Что, молодая келин нынче не поет?

— Говорили, будет петь… А вы думаете — испугается? Споет!.. Все хотят, чтобы спела! — ответила та.

Старуха громко зашамкала, чмокая в удивлении губами:

— Как же так? Ведь говорят, свекровкам ее это не по нутру? Будто просто запретили ей — нечего, мол, распевать, пусть приличия соблюдает…

— В Большой юрте запрещают, а здесь одобряют… Сами заставляют петь!

— Значит, споет? Да благословит ее бог, хорошо поет, родная…

Женщины у очага подхватили:

— Очень хорошо!.. И сама-то какая милая!.. Гибкая, словно шелковинка, учтивая, ласковая, ну как не полюбить такую?..

— А с нами как обращается! Вежливая, приветливая, со всеми на «вы» говорит…

Смуглая молоденькая Злиха, прислужница «молодой келин», восхищалась хозяйкой шепотом, будто боясь, что слова ее дойдут куда не нужно.

— Простая такая, обходительная… Зря ее Большая юрта невзлюбила… А ведь что говорят-то: «Пусть не забывается, пусть взглянет наверх, чей шанрак у нее над головой, в какой дом попала!»

— Как, уже?.. Эх, соперницы!.. Жалко, хорошая сноха! — сочувствовали женщины.

Злиха продолжала:

— Но здесь-то и знать не хотят их пересудов… Наоборот— день и ночь упрашивают: пой, мол, а тот, кто завидует, пусть сам попробует с тобой сравняться, не бойся!..

И Злиха довольно рассмеялась.

Из юрты снова понеслись звуки песни, и женщины поспешили туда, столпившись у двери. За ними потащилась и старая Ийс с внуком за спиной.

«Молодой келин», «певицей-келин», которую хвалили соседки, была Айгерим, а нарядно убранная юрта, где собрались гости, была ее отау — Молодой юртой. Свадьба Абая и Айгерим состоялась месяца три назад.

Накинув яркий шелковый платок, Айгерим сидела рядом с Абаем. Сегодня у них были совсем необычные гости. Среди стройных девушек, веселых молоденьких женщин и щеголей-жигитов было несколько человек, пользовавшихся общим вниманием: они сидели на почетном месте юрты на разостланных коврах, положив под локти пышные белые подушки. Эти именитые гости, прославленные остроумием и талантами сал и сэри,[127] приехали издалека. Но и среди них был один, на котором, как на самом дорогом госте, сосредоточились все взгляды и все внимание. Это был цветущий, красивый жигит среднего роста с белым, открытым, точно озаренным сиянием лбом — прославленный Биржан-сал, о несравненном голосе и прекрасных песнях которого говорили по всей Сары-Арке.

Знаменитый певец, сэри Биржан, редкий и почетнейший гость, приехал на земли Тобыкты из далекого Кокчетау. Он сидел, накинув на плечи легкий чапан из черного бархата, перебирая искусной рукой струны домбры. Поверх белой сорочки с небрежно расстегнутым воротником был надет золотистый камзол китайского шелка. Голову покрывала вышитая позументом шапочка с шелковой кисточкой, трепетавшей при каждом движении певца. Звуки его песни воодушевили всех: лица слушателей разгорелись, глаза блестели в

молчаливом восхищении. Он пел о себе:

Я — Биржан-сал, Кожагула сын.

Не жди от меня, народ мой, зла:

Я, вольный певец, сэри и акын,

Ни перед кем не склоню чела…

Эта песня была названа им «Биржан-сал».

Абай, как и другие, слушал затаив дыхание. Его все еще по-юношески чистые глаза, в удлиненном разрезе которых горело черное пламя зрачков, смотрели не мигая. Теперь они видели не самого певца, а величественные образы, созданные звуками и словами его песни.

Слушая музыку или песню, способную тронуть его душу, Абай всегда начинал грезить. Картины природы, люди, события проносились перед ним — и он погружался в это море образов. И сейчас песня, исполненная вдохновения, оторвала его от всего окружающего. Певец, широкоплечий и статный, превратился в его воображении в могучего степного великана. Этот великан — великан искусства— поднимается на вершину Кокше, самую высокую в родной Сары-Арке, и окидывает взглядом необъятные просторы, холмистые степи, прохладные берега озер. Он видит жизнь населяющего их народа и шлет свой призыв туда, где торжествует сильный, где спесиво кичится родовитый, где глухо стонет народ… И льется из могучей груди свободная песня, звуча, как боевой клич: «Я иду! Иду с песней! Какое сокровище драгоценнее ее? Она проникает в тебя до костей, волнует твою кровь — попробуй не откликнуться, попытайся не слушать!»

Слова это или непрерывно сверкающие искры?.. Песня, как вихрь, очищает воздух, как светлый поток, смывает зловоние и грязь с холмов Сары-Арки… Громадные сосны на высотах Кокше склоняют вершины и безмолвно слушают ее, тихо покачиваясь плавными размахами — совсем как шелковая кисточка на шапочке Биржана. И сама темная ночь Сары-Арки мягка, как черный бархат его чапана. На губах певца скользнула улыбка — и лица слушателей озарились, как озера под луной… Не она ли сияет в юрте, наполняя сердца восторженной радостью?..

Шумные одобрения раздались вокруг. Песня оборвалась, но не оборвались

грезы Абая. Широко раскрытыми горящими глазами он молча смотрел в лицо Биржана.

Айгерим первая заметила его странное состояние и с улыбкой подтолкнула мужа, делая вид, что опирается на него. Он вздрогнул и, опомнившись, улыбнулся ей, но лицо его оставалось бледным и дыхание прерывалось. Поблагодарив взглядом чуткую Айгерим, он повернулся к Биржану.

— Что можно сказать, Биржан-ага? — начал он, глядя на гостя, как будто увидел его впервые. — Бывают акыны, получившие общее признание; но они унижают слово, прикрывая пустоту блеском песни или продавая душу за подачки богачей. Бывают акыны, готовые связать себя с первым встречным, служить на побегушках у любого знатного мирзы; для них песня — не дороже щепотки табака. Но ты — ты перенес песню с порога на почетное переднее место. И я горжусь тобой.

Биржан с видимым удовлетворением внимательно выслушал Абая.

— Эх, если бы всегда так было — я бы пел, а ты бы объяснял, дорогой мой! — с улыбкой воскликнул он.

Молодежь дружно рассмеялась.

С утра слуги перебалтывали кумыс, приготовленный для гостей, но никто и не притрагивался к нему. Только теперь Ербол, Мурзагул и Оспан, снова взболтав его, начали разливать в расписные пиалы и ставить перед гостями на разостланную скатерть. Завязалась оживленная беседа, все говорили разом, то и дело раздавались взрывы смеха.

Абай опять обратился к Биржану — он хотел закончить свою мысль:

— Достоинство жигита — не в знатности и богатстве. Бедность и безродность не порок, если человек одарен высокими качествами. Но и таланта одного мало: недаром говорят: «Имеешь дар — не унижай его». И если одаренный акын умеет высказывать горе народа и осушать его слезы — никого нет выше и почетнее его!

И Абай взглянул на Айгерим и на своего племянника Амира, как бы говоря это для них.

Самым старшим из тобыктинской молодежи, наполнявшей юрту, был Базаралы, сидевший с почетными гостями на переднем месте.

— Прекрасная мысль, Абай! — вмешался он полушутя-полусерьезно. — Достоинство жигита — в его дарованиях… Но разве не от меня ты услышал ее, разве не я пытался убедить в ней все Тобыкты? Кто, как не я, твердил вам — что вы попрекаете меня бедностью, поглядите лучше, что я за человек!.. Эх, Абай! Чтобы моя мысль наконец дошла до тебя, понадобилось приехать из далекого Кокчетау Биржану!

Он насмешливо взглянул на Абая и первый расхохотался. Его шутка вызвала новый взрыв веселья у всех, начиная с Биржана. Абай сквозь смех ответил другу:

— Ты прав, Базеке, всегда прав! Уж если забыть о бедности, кто же окажется первым во всем Тобыкты? Разумеется, ты! — И, снова став серьезным, он продолжал — Но сейчас мы говорим о другом. Вот здесь — цвет молодежи Тобыкты. Оглянемся на самих себя: есть ли у нас таланты? Что создали мы такого, что стало бы достоянием народа, наследием нашего поколения? В чем наша заслуга перед сверстниками?

Абай спрашивал нарочно громко, окидывая всех испытующим взглядом. Все молчали, никто не решился ответить. Абай снова повернулся к Базаралы.

— Нет, правда, Базеке… Род наш много ждет от нас: вот, говорят, наше молодое поколение, оно укажет песней новый путь… Давай же говорить о себе правдиво и прямо!

— Конечно, говори открыто! — подхватил Базаралы. — Выноси приговор!

Он улыбнулся и с любопытством ожидал ответа, приподнявшись с места. Абай допил кумыс и серьезно взглянул на Базаралы.

— Базеке, мы только обещали создать новое, но ничего еще не создали. Так что же мы — годный для работы конь или холеная яловая кобылица, пусть резвая, как поток, но праздная и бесплодная? Вот и суд и приговор нам.

Базаралы прищелкнул языком и покачал головой.

— Э, нет, Абай, в такой игре я не участник! Я-то ничего не обещал создать. Я не акын и не певец — не спрашивай с меня того, чего у меня и нет!

И с довольной усмешкой он откинулся на подушки. Все рассмеялись.

Но в Биржане этот разговор вызвал какое-то сильное чувство: он потянулся к домбре и заиграл вступление к песне. Восхваляя мастерство Биржана и говоря молодежи: «Смотрите, он выше нас», — Абай выражал свою мысль без ложного чувства родовой чести. И как бы в ответ ему Биржан запел свою известную песню «Жанбота».

Все знали ее историю: это была песня обиды, обличение одного из тех родовитых и знатных, о которых только что говорил Абай:

Жанботу волостного родил Карпык.

Жанбота к чинам и власти привык:

Друг его Азнабай средь бела дня

Посылал отнять домбру у меня.

Я — акын. Я не отдал домбры моей,

Хоть пытался ее вырвать злодей.

При народе избил он меня камчой…

Но не умер акын от обиды той,—

А не смерть ли такой позорный удел,

Не зарыл ли в землю Биржана он?

Жанбота!.. Где ты видел такой закон,

Чтоб свободного бить кто-то посмел?..

Биржан пел о своем горе, делился своей обидой. «Вот ты превозносил меня здесь, а погляди, как унижают мое достоинство, — как бы говорила песня. — Надо мной всегда висит плетка негодяя, имеющего власть… Ты видишь во мне совершенство, а взгляни — хороша ли участь Биржана?..» Это было горькое признание.

Абаю стало больно за певца, и он заговорил сразу же, как кончилась песня:

— И этот Жанбота и — как его, Азнабай, что ли? — знатные люди, тюре, грозные вершители судеб… И властью пользуются, и почетом, и бесчинствуют, как хотят… А Биржан-ага одной своей песней сбил их с ног, с землей сровнял и Жанбота и всех остальных бота! Им теперь не только сильным верблюдом — кустиком с нее не подняться! — усмехнулся он, играя словами «бота»—«молодой верблюд» и «бута» — «кустарник».

Он продолжал значительно и вдумчиво:

— Азнабаи сегодня на весь мир лают: «Мы — земные боги!..» А завтра от них ни следа, ни пылинки не останется, я уверен в том. И в степях Сары-Арки, среди племен Караул, Керей и Уак сказители и певцы сохранят одно твое имя, Биржан-ага… Останется лишь то, что создашь ты!

Молодежь, казалось, не очень поняла мысль Абая, но старшие хором поддержали его. Жиренше подхватил слова друга:

— Да вы же, молодежь, сами порука тому, что имя Биржана останется в веках! Вы все мечтаете стать певцами, вот уже два месяца не отстаете от Биржана и разучиваете его песни… Так разве вы забудете когда-нибудь то, что переняли от него? А раз не исчезнут песни, не исчезнет и имя творца их — Биржана!

И он указал на Амира:

— Взять хотя бы Амира: какой певец для него выше Биржана?

Все посмотрели на Амира, который негромко наигрывал на домбре «Жирмабес», выученную им у Биржана. Взглянув на восторженное лицо юноши, Биржан попросил:

— А ну-ка, спой ее!

Амир не смутился, только смуглые щеки его слегка побледнели. Он уверенно начал вступление. Голос у него был высокий, чистый и приятный. Он пел, тщательно следуя всем оттенкам, которым его учил Биржан. «Жирмабес», недавно сложенная певцом Зилькара, до приезда Биржана не была еще известна в Тобыкты. Волнующая и душевная, она, как мгновенная искра, зажгла сердце молодежи, и Амир, пленясь ею, выучил и слова и напев. Девушка обращалась к жигиту:

Подари мне, друг, колечко — пусть хоть медное оно!

Пусть мороз трещит и злится — в сердце радость все равно!

Босиком, ступая тихо, подойди и приголубь,

А поймают — значит, счастье мне с тобой не суждено!

При первых же словах песни Базаралы поднял голову, он даже покраснел от восхищения.

— Вот это девушка, радость моя черноглазая! — воскликнул он, когда песня кончилась. — Вот бы мне, несчастному, увидеть такую!

Взрыв смеха встретил его слова. Биржан, улыбаясь, укоризненно посмотрел на него.

— Как это — «вот бы увидеть», Базеке? Да ведь эта черноглазая сидит рядом с тобой! Ослеп ты, что ли? Посмотри на Балбалу, чем она хуже ее!

Базаралы быстро повернулся.

— Ой, дорогой мой, правда! — воскликнул он, метнув быстрый огненный взгляд. Так пернатый хищник, прикованный цепью, смотрит из-под охотничьего колпака на проходящего мимо котенка.

Балбала сидела вполоборота к нему. Услышав его восклицание, она вскользь глянула на него уголками глаз. Слова Биржана смутили ее, и она залилась нежным румянцем. Строго сдвинув брови, она в то же время чуть улыбнулась, белые зубы сверкнули в приоткрывшихся губах на мновение— и исчезли.

Базаралы поймал этот скользящий взгляд, которому блеск больших черных глаз всегда придает такую неотразимую силу, и тут же запричитал, изображая муки раскаяния:

— Каюсь, каюсь… Бог слепотой наказал, тьфу, тьфу, грешен… — Он склонил голову и обвел глазами девушек и молодых женщин, переводя взгляд с одной на другую. — здесь, оказывается, все красавицы собрались!

Биржан, смягчая свою шутку, смутившую Балбалу, подхватил его слова:

— Разгляди, разгляди всех! И песни знают и слово сказать умеют, а запоют — по душе мед разливается!.. Учтивые, воспитанные, как шелк мягкие, — вот они какие, мои милые ученики!

Он нарочно назвал их так, избегая слов «девушки или «сестры», чтобы подчеркнуть дружеское чувство. И хотя певец не назвал ни одного имени, слова его явно относились к Балбале, Умитей, Коримбале и Айгерим, и по лицам их волною пробежал легкий румянец. Так ворвавшееся в юрту через открытый поутру тундук солнце заливает розоватым светом шелк одеял, пестрые занавеси, затканные узорами ковры, заставляя играть яркие краски. Таким же сиянием вспыхнули молодые сердца от похвал признанного всеми певца, знаменитого Биржана. Все оживились, послышался негромкий смех, шутки, но и в веселье молодежь не теряла учтивой сдержанности.

Здесь была действительно лучшая молодежь, цвет Тобыкты. Два дня назад по особому приглашению Абая в аул приехали девушки, молодые женщины и жигиты родов Иргизбай, Торгай, Котибак, Жигитек и даже Бокенши, находившегося дальше всех.

Рядом с Абаем сидел сын его умершего брата — юный Амир. Перед смертью Кудайберды Абай обещал стать отцом его детям и воспитать их. Он ревностно выполнял свой долг и заботился о сиротах не меньше, чем о собственных детях. Амир больше других был склонен к песне и обещал стать настоящим певцом. Абай любил его, баловал и никому не давал в обиду.

Амир приехал с несколькими друзьями и с юной родственницей — красавицей Умитей, дочерью Есхожи. Балбала, невеста из племени Анет, приехала с подругами. Из Бокенши здесь был Акимхожа, сын Сугира, привезший с собой свою сестру Коримбалу. От жигитеков прибыл Оралбай, младший брат Базаралы.

Эти молодые люди, поклонники искусства, сами все без исключения были хорошими певцами. С Биржаном они встречались не впервые.

Около двух месяцев назад Абай, услышав о приезде Биржана на земли Тобыкты, послал к нему Амира с поручением:

— Поезжай, посмотри — если он и правда такой певец, как о нем говорят, пригласи его к себе в аул. Устрой встречу, угощенье, собери молодежь, пусть поучатся у него…

Амир нашел Биржана в одном из отдаленных аулов Тобыкты, пробыл с ним

два дня, пригласил к себе и немедленно вернулся в аул, чтобы поставить гостю юрту и подготовить достойную встречу. По дороге он заехал к Абаю и поделился своим восхищением. Абай устроил Биржану встречу сперва в ауле Амира, а потом у себя, в Большом ауле Кунанбая.

Биржан пленил не только Амира, но и самого Абая. Они быстро сблизились, как старые, задушевные друзья. Абай несколько раз собирал у себя в ауле молодежь Тобыкты — лучших певцов и домбристов, знакомил их с Биржаном и объяснял им достоинства знаменитого певца. Молодежь разучивала песни Биржана, и все наперебой приглашали его и Абая в свои аулы. Так Биржан и Абай погостили у Амира и Умитей, побывали у красавицы певицы Коримбалы, дочери Сугира. Везде их встречали с уважением и почестями. Возвращаясь, они надолго задержались у жигитеков гостями Базаралы и Оралбая.

Когда Биржан собрался в обратный путь на родину, Абай приказал поставить в своем ауле четыре белые юрты для прощального тоя. Биржан назначил свой отъезд на завтра, молодежь проводила с Биржаном последний день. Поэтому молодые певцы должны были в виде испытания спеть по одной вновь разученной песне. Начал Амир, спев «Жирма-бес».

Когда смех, вызванный шуткой Базаралы, стих, Оралбай взял домбру, чтобы сопровождать пение Коримбалы.

Абай хорошо помнил Коримбалу: совсем юной девушкой она стала свидетельницей жаркой тайны его и Тогжан. Теперь это была красивая и своевольная балованная дочь богатого аула. Она была уже просватана в род Каракесек, но отец ее Сугир и братья все задерживали ее отъезд к жениху: Коримбала воплощала в себе веселье их аула. Жизнерадостная красавица с большими, слегка навыкате, темными глазами, с пышными косами, отливавшими бронзой, с белым лицом, оживленным легким румянцем, она вела себя свободно и независимо, но к имени ее не приставала ни одна сплетня, которая могла бы уронить честь ее аула и семьи.

Девушка спела песню, тоже выученную у Биржана и до сих пор незнакомую в Тобыкты. Это была «Карга»— «Любимая», песня неизвестно кем сложенная, которую и Биржан и другие певцы пели особенно часто: «В сердце любимой есть ли место мне?..» Пение Коримбалы как бы выражало всю полноту взаимной бережной и веселой дружбы, связавшей сердца молодых певцов. Биржан и Абай прослушали ее с особым вниманием.

Вслед за ней взвилась страстная песня Оралбая. Она называлась «Гаухартас» — «Драгоценный камень»:

Твоя легкая поступь тешит мой взгляд,

В ушках — серьги, в косах — шолпы звенят…

Звучный голос русоволосого красавца жигита, казалось, наполнил эти строки новой прелестью. Оралбай пел так, будто красавица с серебряным шолпы в косах стояла прямо перед ним, обжигая его пламенем своего дыхания. Все слушали песню, не сводя с него глаз.

Не дожидаясь, что скажет Биржан, Коримбала улыбнулась Оралбаю и, протянув белые руки в тяжелых браслетах и кольцах, восхищенно сказала:

— Еще! Еще хоть немного!

— Еще, еще! — горячо присоединился Биржан.

Вновь взлетел высокий запев, и молодой певец продолжал взволнованно и страстно:

Я увидел тебя на другом берегу,

Сделай лодкой свою золотую серьгу

И меня переправь! А не сможешь — прости:

Мне тебя и в раю никогда не найти!

Это говорит страстная душа самого Оралбая. Как молодой барс, нежась и потягиваясь на солнце, наслаждается его лучами, так и юное сердце жигита впитывает в себя тепло любви. «Без любимой мне и радость не в радость… Пусть горящие сердца сольются в одно…» Пламя песни пробегает по юрте и охватывает всех. Лицо Коримбалы полыхает румянцем. Сдержанно усмехаясь, краснеет Айгерим. Чуть прикрывая алые губы, за которыми сверкает крупный жемчуг зубов, улыбается Балбала. Умитей не отрывает блестящего взгляда от юного Амира.

Домбра обходит собравшихся: теперь очередь Умитей. Девушка не заставляет упрашивать себя — она запевает «Баян-аул». Амир то перебирает струны на нижних ладах, то взлетает по ним вверх и сливает звуки с голосом Умитей на припеве, и тогда домбра и девушка поют как одно существо.

Темен над Баян-аулом низкий полог туч.

Не настиг лисицу сокол среди горных круч.

Но до смерти не забудет твой любимый, знай,

Как шепнула ты за юртой: «Милый мой, прощай!..»

Нежное и сильное чувство прорывается в пении Умитей — все ее сомнения, не сбывшиеся еще надежды, затаенная грусть. Девушка по-своему одухотворяет и напев и слова — и песня всходит над юртой, как тонкий серп молодого месяца, неяркий и легкий. В ней звучит голос сердца.

Умитей нарядно, даже изысканно одета. На ее голове бобровая шапочка, в ушах золотые серьги. Милое лицо, всегда оживленное румянцем, сейчас бледно, и черная родинка на правой щеке выступает особенно отчетливо.

В юрте тишина. Все внимательно слушают, кто сидя, кто стоя. В конце песни голос Умитей замирает так мягко, что девушка подымает лицо, как бы говоря: «Это конец». И, окинув всех взглядом, Умитей поворачивается к Айгерим, сидящей рядом с ней, и снова ясно и весело улыбается.

— Ну вот, песня всех обошла и добралась до настоящей певицы! — шутливо говорит она. — Теперь спой сама!

Женщины с окраин аула, столпившиеся у порога, оживляются.

— Келин, келин петь будет… — проносится шепот. Снова звенит домбра Амира, как бы вызывая певицу.

Айгерим, смущенно взглянув на Умитей, вся вспыхивает.

— Оставь, милая… Не надо… Неудобно…

— Нет, нельзя тебе пропускать своей очереди, — вмешивается Абай. — Спой хоть начало вашей аульной песни!

В его спокойном тоне звучит нескрываемое желание послушать ее пение. Биржан, Базаралы, Балбала и Умитей так и впиваются глазами в пылающее лицо Айгерим.

Это светлое лицо полно свежести. Мягкий вдумчивый взгляд проникает в душу. Продолговатые темные глаза, лучистые и глубокие, окружены легкой голубоватой тенью, которой природа изредка дарит светлые женские лица с матовым оттенком кожи. Дымка эта — недолговечный спутник юности и чистоты: время идет — и она исчезает безвозвратно. Часто встречаются красивые черные глаза, но редкие из них наделены такой трогательной особенностью. Абай все еще не может налюбоваться на эту дымку вокруг глаз

Айгерим и подолгу восхищенно на них смотрит. «Они—как птенцы, впервые выглянувшие в мир из теплого гнезда», — каждый раз думает он.

Айгерим останавливает свой взгляд на Балбале, сидящей против нее, и начинает вступление к песне, необычное по своей продолжительности и своеобразию напева. И как тогда, когда пел Биржан, Абай снова погружается в грезы, не сводя глаз с любимой. Его слух улавливает только начало песни:

Ай-бибай, моей песне внимай…

Дальше он не слышит слов, они, кажется, исчезают. Остаются только звуки. Порой они звенят чисто и негромко как тоненький колокольчик, порой превращаются почти в шелест… Чьи это белые крылья трепещут на солнце, блестят и манят за собой в неведомый путь по неведомым небесам?.. «Встань, сбрось путы, — слышится ему ласковый шепот, — у тебя сковано сердце, не высказана твоя тайна… Откройся! Я зову тебя, всей силой души зову к песне! Сбрось тяжесть, которая легла на твои плечи… И тогда песня обнимет тебя, подобная любимой, взглянет на тебя ее нежным взглядом… Встань смело, не таись, не молчи… Вдохновляй и вдохновляйся! Открой богатство твоего благородного дара — он исчезнет с молодостью, как исчезнут эти голубоватые тени, притаившиеся вокруг любимых глаз…»

Айгерим смотрит на всех, кто сидит в юрте, но Абай чувствует, что песню свою она шлет только ему…

Голос ее замер. Не отрывая глаз от ее лица, Абай застыл в каком-то отчаянье — почему не колеблется больше этот белый круглый подбородок, почему сомкнулись алые губы, только что изливавшие нежную душу, зачем спряталась сияющая вереница зубов, радующая сердце?..

Айгерим вновь вывела Абая из оцепенения, протянув ему пиалу с кумысом. Как во сне, Абай отвел ее руку и сдвинул брови.

— Как жалко… — медленно сказал он.

Айгерим, оставшись с пиалой в руке, вспыхнула от смущения и тихо засмеялась. Абай очнулся, быстро взял у нее чашку, нежно обнял жену и провел рукой по шелковому платку, покрывавшему ее плечи.

Женщины у порога хором благодарили Айгерим:

— Дерогая келин наша, пусть живут твои дети! Пошли тебе бог радости!

— Дай тебе бог, дорогая, всю жизнь прожить с такой песней и в таком почете! — прошамкала старуха Ийс.

Абай повернулся к ней.

— Вот это — хорошее пожелание! — улыбнулся он. — Скажи «аминь», Айгерим!

— Аминь, бабушка, — благоговейно ответила Айгерим, подозвала к себе старуху и угостила ее из своих рук кумысом.

Пение Айгерим, видимо, взволновало Биржана. Но он не стал благодарить ее, боясь, как бы слова его не прозвучали лестью.

Один Жиренше не мог усидеть спокойно.

— Душа моя, — недоуменно спросил он, — откуда был этот голос? Из человеческого горла — или прямо из рая?..

Дружный взрыв смеха был ответом на его вопрос. Биржан, повернувшись к Базаралы, негромко сказал ему:

— Уже если петь — так только так, как поет Айгерим…

Песня хозяйки была как бы знаком к началу угощения. Котлы вокруг юрт кипели. Женщины, сидевшие у входа, поднялись с мест и кинулись к ним. Гости оживленной толпой стали выходить из юрты, чтобы освежиться перед едой. Айгерим приказала убрать посуду из-под кумыса.

С трудом пробираясь среди выходивших из юрты, в нее вошла Калиха. Подойдя к Абаю, она тихо сказала ему:

— Телькара, мать зовет тебя…

Абай повернулся к Амиру, Оспану и Айгерим.

— Я, может быть, задержусь… Подавайте гостям, не ждите меня. — И он вышел из юрты.

2

В большой юрте Абай нашел ожидавших его Улжан, Айгыз и Дильду.

Абай давно заметил, что мать стала быстро стареть. Она еще сохраняла прежнюю величественную осанку, но волосы, выбивавшиеся из-под повязки, были уже седы, широкое лицо приобрело вялую желтизну, морщины на лбу углубились и удлинились. Особенно бросались в глаза две резкие борозды в углах рта — след тяжелых дум. Абаю показалось, что сейчас они особенно видны и что они придают задумчивому и грустному лицу матери суровое выражение. Да и всем своим видом, холодным и молчаливым, Улжан как бы предупреждала сына: «Ты виновен, я буду обвинять», — и он со смутной тревогой стал покорно ждать этого обвинения.

Но едва Улжан заговорила, он снова почувствовал за ее внешней суровостью обычную доброту.

— Абайжан, — медленно начала Улжан, глядя ему в лицо, — недаром говорят: думать станешь — от забот покою не найдешь, веселиться станешь — от мыслей и забот уйдешь… Не так ли и с тобой, сынок?

Абай понял, о чем речь, но хотел, чтобы мать высказалась до конца.

— Все может быть, апа… — сказал он и вопросительно взглянул на нее.

— Твой старый отец уехал уже давно, а вестей от него все нет и нет. Наше сердце полно тревоги. А твое?.. Как нам понимать тебя? — И Улжан замолчала.

Айгыз не понравилось такое начало, и она нетерпеливо вмешалась в разговор:

— Кто же скажет тебе об этом, как не мы, матери? Целое лето ты ни с кем не желаешь считаться… Разве такое нынче время? О чем ты думаешь?

Абай продолжал молчать, как бы показывая, что он хочет выслушать все до конца. Дильда не выдержала. Понимая, что обе свекрови на ее стороне, она сказала с сухой насмешкой, вся кипя от раздражения:

— А о чем ему думать? У него нынче ни времени, ни ума на это нет. Завел себе любовницу-колдунью… певицу!.. Душу готов продать, чтоб ей угодить…

В глазах ее сверкнули злые слезы. Улжан не останавливала ее обидных упреков.

— Разве нынче в ауле только и гостей, что эти сэри и девушки? — снова заговорила Улжан. — Сколько времени гостит у нас мать Дильды? Ведь она и тебе мать, а ты даже на нее не обращаешь внимания. Самая дорогая гостья… И не из-за меня приехала: кто знает, что будет завтра, — она хотела благословить тебя, может быть, в последний раз. А ты и на глаза не показываешься… Ты и об этом подумать не хочешь? До чего доходишь!

Дильда вдруг разразилась плачем и криком:

— Дочь оборванца!.. И на порог мой ступить недостойна, а глядите, — свадебного платка снять не успела, а уж зазналась!.. День и ночь песнями заливается, кичится передо мной!.. Так распустить нищую…

Она не договорила — Абай, побледнев, сурово оборвал жену:

— Довольно, Дильда!.. Бывает, и из богатого рода выходят уродки!..

Строгим взглядом он окинул Дильду. Там, в Молодой юрте, он оставил весну и яркий солнечный день, здесь, казалось, стояла хмурая осень со свинцовыми тучами и сухим холодным ветром, предвестником джута. Он продолжал, как бы отвечая сразу на все упреки:

— Биржан, мой гость, — акын, подобного которому никогда не слушали во всем Тобыкты. Я, что ли, принуждаю нашу молодежь восхищаться им? Сами к нему тянутся все. Была бы ты умнее — послала бы Акылбая, Абиша и Магаша послушать его…

— Не будет там моих детей! — закричала Дильда с еще большей злобой. — Не хватает только, чтобы они порог обивали у этой ведьмы!.. Несчастные мои!.. При живом отце сироты!..

И она с громкими рыданьями выбежала из юрты.

Но и отсутствие ее не помогло Абаю договориться с матерями. Они продолжали упреки и твердили, что все приемы гостей должны происходить в юрте Дильды. Айгыз высказала прямо и резко:

— Какое мне дело, что ты любишь Айгерим? Пусть она не зазнается! Пусть помнит, куда из рода Байшоры попала, под чьим шанраком сидит! Песни ее — унижение для нас, пусть прекратит их!

Большая юрта налагала запрет. Абай промолчал, хотя вся душа его восставала против такого насилия. Запрещать Айгерим петь было несправедливо и жестоко. Решение Большой юрты было подсказано Дильдой и выражало в себе всю ее упрямую черствость. Непримиримая обида на жену тяготила сердце Абая. Молча дослушав матерей, он вышел от них.

Не успел он направиться к Молодой юрте, как его окликнул Майбасар. Он выглядел по-прежнему цветущим и румяным, только в бороде появилась седина. Он потучнел и приобрел уверенную и представительную осанку, показывающую, что с отъездом Кунанбая он, его брат, остается хозяином Большого аула.

Майбасар отвел племянника в сторону и усадил поодаль от Большой юрты.

— Абай, — напыщенно начал он, — меня послала к тебе твоя теща и гостья. Она хотела, чтобы именно я поговорил с тобой. Понял?

Он значительно посмотрел на Абая, как бы подчеркивая сказанное. Абай усмехнулся и, передразнивая Майбасара, тоже напустил на себя важность. Тот, сделав вид, что ничего не замечает, продолжал тем же тоном, насупив брови:

— Теща твоя просила — а я просто приказываю: пока она у нас гостит, ты все время будешь в юрте Дильды. Приворожила тебя Айгерим, что ли, что ты все вокруг нее вертишься? Не ты первый женат на двоих— и у деда и у отца было по нескольку жен. Должен знать: взял вторую жену — не обходи и первую. Что тебя — на двоих не хватит?

Абай, сохраняя свою напускную важность, едва дождался конца этих поучений.

— Майеке, — начал он так же напыщенно, — проходит жизнь, красота блекнет, в бороде седина покажется, будто напоминая: эй, не пора ли остепениться? А сводник все остается сводником…

И Абай зло усмехнулся.

Эта усмешка сразу переменила мысли Майбасара. Он хлопнул себя по бокам и расхохотался.

— Ох, хитрец, сразил меня!.. Я думал, ты все позабыл, а ты, видно, только и ждал, чтобы меня поддеть!..

Но, обернув в шутку злой намек Абая, он все же не отступил от своего:

— Ну, ладно, хоть я и свел тебя с Дильдой, но все-таки она твоя законная жена. А может быть, ты начитался русских книг и сам стал русским? У них ведь с двумя женами жить нельзя.

— Что ж, перенять это у русских — не так уж плохо…

— Ого, что удумал!.. Что станет с Дильдой и детьми?

— Ну, я ей не нужен. Она все чувства забыла, кроме злобы и мести.

— Постой, постой… Уж не бросить ли ты ее собираешься?

— Она мать моих детей. Будет хорошей матерью — будет моим другом. Если этого ей мало — ее воля…

Он резко оборвал разговор и встал с места. Майбасар опешил — слова Абая показались ему дикими. Он снова пытался возражать, но Абай не хотел слушать.

— Довольно, оставьте, — сказал он сурово. — Это касается лишь меня, не суйтесь, куда не просят, родичи мои… — И неожиданно для Майбасара заговорил совсем о другом.

Только что, идя к Улжан, Абай встретился с Баймагамбетом и Байсугуром. Мальчик громко плакал, Баймагамбет его утешал. Увидев Абая, он с возмущением пожаловался ему на Майбасара. Об этом и вспомнил сейчас Абай.

— И у меня к вам есть дело, и говорить о нем я буду с обидой, — резко начал он. — Вы рассердили меня: зачем вы избили Байсугура? У мальчика отец при смерти, а вы…

Абай даже побледнел от гнева. Но Майбасара трудно было смутить. Он небрежно махнул рукой.

— Да брось ты об этом! Ничего с мальчишкой не будет… И так пастухи распустились, пусть не забываются!

Абая это задело еще больше.

— С чего им забываться? Их нужда гложет, как трупная муха, — гневно сказал он. — Пользуетесь тем, что за них никто не вступится? Так вот — я требую, чтобы вы не подымали камчи над нашим аулом! Не в первый раз вы избиваете наших людей!

Майбасар пытался возражать, но Абай, не слушая, закончил:

— Повашему, мы — аул малолетних сирот, а вы — опекун над нами? Отец в отъезде, но мы не дети! Не смейте больше расправляться ни с пастухами, ни с соседями! Не только бить — угрожать не смейте, а малых ребят и щелчком не троньте! Иначе мы поссоримся с вами, Майеке, крепко поссоримся — уж тогда не обижайтесь… Вы избили нынче Байсугура, а для меня это — будто вы мне самому удар нанесли. Поняли вы это?

И он ушел к гостиным юртам.

Там гости уже собирались к отъезду. Лошади их — выстоянные скакуны, резвые иноходцы, быстрые отгульные кони — стояли на привязи между юртами, приводя в восхищение весь аул разнообразием седел и пестротой нарядного убранства.

Абай не знал, что Майбасар, твердо решив положить конец веселью в юрте Айгерим, послал своих людей кое к кому из гостей Абая, как только того вызвали в Большую юрту. Так, он передал Акимхоже такой салем: «Мирзы нет в ауле, мы живем в тревоге, неуместно веселье там, где живет забота. Пусть он

намекнет об этом гостям, которых привез с собой». С другой стороны, и Айгыз, которая приходилась красавице Умитей дальней родней, прислала передать ей будто по-родственному: «Пусть едет домой, довольно повеселилась, отец ее, Есхожа, скучает». Все это происходило за спиной Абая, которому ни Майбасар, ни Айгыз не подали и виду, что выживают его гостей из аула. Гости же, начав собираться по домам, тоже не сообщали друг другу причины своего спешного отъезда.

Молодежь выпила прощальные пиалы кумыса, благодаря Биржана и Абая, и пошла к коням. Абай, Биржан, Ербол и Айгерим вышли проводить гостей.

Первыми уехали Акимхожа со своей сестрой Коримбалой и друзьями, к ним присоединился и Оралбай. Потом тронулись в путь Амир и Умитей в сопровождении шутника Мурзагула. Их аулы лежали на пути Биржана, и они пригласили певца заехать к ним погостить. Абай одобрил это — ему хотелось, чтобы племя Тобыкты еще раз оказало внимание дорогому гостю.

Вслед за ними готовилась уехать Балбала со своими спутниками. Базаралы давно уже оседлал своего коня, но все колебался, в какую сторону направиться. Когда Балбала с помощью Айгерим садилась в седло, он глядел на нее не отрываясь и вдруг шутливо воскликнул:

— На что жизнь Меджнуну, если он в разлуке с Лейлой? Где мой конь?

Он вскочил в седло и поехал рядом с Балбалой, внезапно решив провожать ее до аула.

Они не видели, каким злобным взглядом следил за ними Манас — один из пяти сыновей Кулиншака, прозванных «бес-каска» — «пять удальцов». Его настороженный слух уловил горячее восклицание жигита, и он тут же вызвал Майбасара из юрты Айгыз и заговорил, задыхаясь от обиды:

— Давно уж в Торгае поговаривают о шашнях между Базаралы и Балбалой!.. Поглядите сами—вот они едут вместе, уж и расстаться не могут!.. Сманивать невесту нашего рода? У девушки есть жених — Бесбеспай, наш племянник… Он и сам батыр, ни от кого обиды не стерпит… Но раз дело идет о чести рода, не мне оставаться в стороне! Отомстить этому выродку Каумена и я сумею — я хотел лишь, чтобы вы все это знали, Майеке!..

Весь побелев от злобы, он крепко сжимал рукоятку своей плети, длиные пальцы его дрожали.

У Майбасара были свои счеты с Базаралы: лишь недавно он услышал о прошлогодней связи его с Нурганым, но, щадя честь Кунанбая, молчал, стиснув зубы. При словах Манаса глаза его довольно сверкнули, ноздри раздулись, и он негромко сказал разъяренному жигиту:

— Сейчас не суйся, жди ночи… Устрой ловушку у порога Балбалы… Сам бог тебе помогает — схватишь на месте, как вора… Уж если и тогда вы, пять удальцов, побоитесь проучить его, пусть земля вас проглотит, пропадите вы все!.. Ну, понял? — И он подтолкнул Манаса. — Ступай!

В этот вечер молодежь, покинув аул Кунанбая, дружными кучками разъезжалась в разные стороны мимо соседних аулов, распевая новые звучные песни. То, сменяя одно колено на другое, звучала переливчатая «Жирма-бес». То раздавалась полная гневного укора протяжная «Жанбота». То доносились нетерпеливые и горячие признания стремительной «Жамбас-сыйпар».[128] По широким просторам растекается полноводной рекой драгоценный подарок Биржана. Привезенные им на это жайляу лучшие песни Сары-Арки оживают в звучном, уверенном пении Амира и Оралбая, раскрывают душевные тайны в медленном, замирающем, но далеко слышном пении цветущей Балбалы, милой Умитей, прелестной Коримбалы.

Песни вольной мечты как будто твердят: «Жизнь, жизнь, как я люблю тебя!.. Взмахни крылами, искусный певец! Пусть в этот вечер, полный звуков, изольют свою грусть молодые сердца, пусть искренние души поведают о самом дорогом…» Какая страсть слышна в призыве: «Где ты? Дай мне найти тебя, желанная моя, черноокая!..» На какую жертву способна та, кто говорит: «Пусть поймают нас, любимый, горькой доли не страшусь…» Какое пламя в словах жигита: «Ненаглядная, только вспомню тебя — как голодный волк рыщу по горам…» Какая верность в обещании: «Но до смерти не забудет твой любимый, знай, как шепнула ты за юртой: «Милый мой, прощай…» И припевы «луна моя», «черноглазая», «свет мой», «утешение мое», «нетерпение во мне» — выражают всю тоску жаждущей любви души. Как в предсмертной мольбе, она прощается с иными радостями жизни, обращая последний вздох к тому, кого любит. Жаркий огонь юности разгорается в этих словах и напевах, которые, как зарницы, вспыхивают в сгущающихся сумерках там и здесь над всеми жайляу Тобыкты.

В этот вечер Коримбала и Оралбай сливали свои голоса над притихшей степью: Акимхожа, страстно любивший песни, но не решавшийся петь сам, всю дорогу заставлял их вспоминать услышанное от Биржана.

В этот вечер Базаралы, провожая Балбалу в ее аул, слушал ее, не отрывая восхищенного взгляда от тонкого стана, покачивающегося на седле.

В этот вечер Амир и Умитей, окруженные целой толпой провожавших их всадников, говорили песней друг с другом так, как будто были наедине.

И в этот вечер прощанья с вдохновенными песнями Айгерим снова пела в Молодой юрте для Биржана и Абая.

Вначале она упорно отказывалась, повторяя, что пела сегодня достаточно и что лучше послушать Биржана. Это был лишь предлог: то, что было сказано сегодня Абаю в Большой юрте и что он, жалея Айгерим, скрыл от нее, — было высказано и ей.

Едва разъехалась молодежь, Айгыз и Дильда вызвали ее к себе и сказали холодно и резко:

— Абай с нами считаться не хочет, но ты-то принять наши советы должна…

Они стали попрекать ее бедностью рода Байшора, — кем она была и кем стала.

— Не зазнавайся! Умерь шаг! Оглянись — выше кого хочешь быть?

Со слезами на глазах выслушивая несправедливые упреки в надменности и высокомерии, Айгерим то краснела, то бледнела, но молчала, ее выдержка и скромность, ее прямое сердце, полное любви к Абаю, не позволяли ей оправдываться. Пела она только по просьбе Абая, и пела от всей души, выражая в песне всю свою любовь и счастье быть любимой. Когда она пела у себя, в своем небогатом ауле, никто ее ни в чем не обвинял. А здесь богачи, привыкшие властвовать, хотели властвовать даже над песней… И незабываемым унижением прозвучали последние слова Айгыз:

— Мы — богатый аул. А кто ты? Тебе только рабыней у нас быть: в знатный род ты втерлась из аула, где наши же пастухи и рабы родятся! Ну и ходи по узкой тропинке, знай свое место! Не задирай голову! Умерь свою гордость, выскочка! Ты нам не ровня, помни!.. И чтобы голоса твоего мы больше не слышали, поняла?

Айгерим вернулась от них, как обожженная пламенем. Несправедливое и тупое насилие завистниц, их презрение к ней угнетали ее. Страшный облик знатного аула, вероломного и жестокого, стремящегося унизить и запугать человека, стоял перед ней, и петь она не могла.

Но ни Биржан, ни Абай, ни Оспан, ни Ербол — никто и слушать не хотел ее отказов. Особенно приставал бойкий, неугомонный Оспан. Он развалился на подушках и заявил, что не привык слышать от женге отказов исполнять его прихоти.

— Ну где ты видела, Айгерим, чтобы молодая келин еще и свадебного платка не сняла, а родне уже начала перечить? Кто я тебе — деверь или нет? Я приказываю — пой, а то плохо будет!

Абай и Биржан, смеясь, поддержали шутку Оспана, и Айгерим была вынуждена наконец согласиться.

Но теперь она запела сдержанно, почти боязливо. Несправедливое унижение давило ее всей своей тяжестью, душа была ранена обидой. Биржан и Абай слушали ее сосредоточенно, потом начали требовать от нее других песен, называя все, которые она выучила за эти дни. Она продолжала петь. И чем больше давила ее тяжесть обиды, тем сильнее тянулась она к Абаю. Все радостней ощущала она его поддержку, его привязанность, его восхищение ее песнями, и в сердце ее разгоралась благодарная любовь к мужу. Она не могла не видеть, что Абай сам горел ответным пламенем, — и чем полнее чувствовала его любовь, тем свободнее звучала ее песня, как будто он снимал с ее сердца одну тяжесть за другой, а с песни — оковы за оковами.

Когда голос Айгерим, по-прежнему вольный и звучный, долетел до Большой юрты, оттуда в отау была послана Калиха. Хитрая и сметливая старуха,

знающая всю подноготную аула, молча, хмуро вошла в Молодую юрту. Она думала, что одного ее появления будет достаточно, чтобы Айгерим замолчала. Но Айгерим, допев песню, почтительно посадила Калиху на переднее место и по просьбе Оспана снова запела.

Не дослушав и первых строк, Калиха незаметно, но больно ущипнула Айгерим. Песня не оборвалась, и Айгерим не шелохнулась, но беспощадное напоминание, как ножом, полоснуло ее по горлу. Она вспыхнула и, с трудом сдерживая слезы, допела «Жамбас-сыйпар». Никто, кроме Калихи, не заметил ни слез, ни волнения Айгерим, и старуха добавила суровым шепотом:

— Довольно!.. Уймись наконец!..

Новой песни Айгерим уже не начала. Домбру взял теперь Биржан, и его сильный, уверенный голос полетел над жайляу в звездную ночь.

Эта ночь трожества и власти песни неожиданно завершилась дикой расправой. Событите это произошло в роде Анет, а жертвой его оказался Базаралы.

Всю дорогу он и Балбала провели в песнях и задушевной беседе. В сумерках они доехали до ее аула. Девушке не хотелось расставаться со спутниками.

— Будьте моим гостем, Базеке, — горячо и настойчиво просила она.

Хозяином аула после смерти отца Балбалы был ее старший брат. Нынче он был в отлучке. Светлолицая румяная байбише несколько смутилась, когда вслед за дочерью в юрту вошел незнакомый жигит. Приказав приготовить чай, байбише отозвала дочь в сторону и тихо спросила ее:

— Ты думаешь, что делаешь, дочка? Ведь торгаи, родичи твоего жениха, кочуют недалеко… Собаки залают — и то слышно… Что я им отвечу — принимаешь, мол, неизвестно кого?..

Балбала сверкнула широкой улыбкой.

— Ах, апа! Не сама ли ты зовешь меня недолгой гостьей? Скоро я навсегда уйду к торгаям… Ничего им не станется, не помрут! Сама посуди: как я могла отказать в гостеприимстве Базекену? Не тревожься, прими его как почетного гостя.

Байбише велела разделать ягненка. Огонь запылал под казаном, в юрте стало тепло и весело. Балбала, сияющая, распевала песни, беззаботно шутила, и Базаралы совсем потерял голову. Из Молодой юрты пришла невестка. Базаралы начал петь, завязался веселый разговор, посыпались шутки, неловкости никто уже не чувствовал.

К концу вечера в юрту неожиданно зашли двое подростков из аула Торгая, бедно одетые и похожие на подпасков, — они объяснили свое появление тем, что разыскивают пропавшего ягненка. Но байбише показалось, что их занимает не ягненок, а гость, сидящий в юрте, они следили за хозяйками и прислушивались к каждому слову. Заметив это, байбише постаралась поскорее угостить их и выпроводить.

Во избежание пересудов мать отослала Балбалу ночевать в юрту невестки, а Базаралы устроила у себя, в Большой юрте.

Мальчишки, шныряя по отаре и для отвода глаз расспрашивая чабанов, не пристал ли ягненок к стаду на дневном выгоне, вертелись возле аула до полуночи. Они ушли только тогда, когда Балбала, простившись с гостем, закрыла тундук в Большой юрте и прошла в отау к невестке, не подозревая, что за ней следят.

Базаралы не мог заснуть. После полуночи он вышел из юрты. Было светло, луна еще не зашла, кругом стояла полная тишина — ни лая собак, ни окриков ночного сторожа. Белая Молодая юрта виднелась неподалеку, тундук ее был закрыт, видимо, все спали. Базаралы пошел к ней. Вдруг из тени соседней юрты вынырнула темная фигура. Человек огромного роста схватил Базаралы за плечо, резко дернул и прошипел:

— Куда? Проваливай отсюда…

Базаралы с первого взгляда узнал жигита, но постарался скрыть свою тревогу.

— А, это ты, Манас? — спокойно спросил он.

— Манас или талас[129] — не все ли равно? А ну, ступай за мной! — оборвал его Манас. Он говорил тихо, но весь кипел от злобы.

— Да ну тебя к богу, иди своей дорогой, — попробовал вырваться Базаралы.

Но Манас не отставал:

— Коль ты жигит, береги честь девушки. Хочешь, чтоб Балбала опозорилась на все жайляу? Иди за мной, а не то тут же драку устрою!

Базаралы покачал головой и стал пятиться назад. Но едва они ступили в тень юрты, как из-за куста тальника выскочили еще трое жигитов. Среди них был младший брат жениха Балбалы, такой же огромный, сильный и ловкий, не уступающий ни Манасу, ни Беспесбаю в борьбе на соилах. Все четверо окружили Базаралы и, подталкивая его, потащили в сторону. Один из них подвел серого коня Базаралы, который был оставлен под седлом на выстойку. Жигиты усадили пленника на коня, вскочили в седла и направились с ним к аулам торгайцев. Как только они отъехали от юрт, Базаралы стал уговаривать отпустить его:

— Поберегите и вы честь вашей невесты! Не подымайте шума — завтра же разлетится сплетня о ней!

Его и слушать не хотели.

Едва они выехали в степь, Манас за спиной Базаралы подал знак, и жигиты набросились на него, осыпая ударами плетей. Коня его удерживал один из жигитов, схватив поводья и накрутив их себе на руку. Базаралы был сильно избит. В довершение мести жигиты сняли с него чапан и увели коня.

Рано утром Майбасар вызвал Абая в юрту Айгыз. Когда он пришел туда, там уже сидели Базаралы, Ербол, Айгыз и Нурганым. Еще у входа Абай узнал от

Оспана об избиении Базаралы. Эта новость поразила его.

На правой щеке Базаралы багровел кровоподтек от удара плетью. Абаю тяжело было видеть красивого и самолюбивого друга в таком жалком унижении, и он горячо посочувствовал ему.

Но Майбасар был настроен совсем иначе. Он был оживлен, и в голосе его прорывалось нескрываемое торжество. Он со злорадством расспрашивал Базаралы о подробностях избиения и даже не постеснялся допытываться: «А как били? Чем? Долго ли?» Бледное лицо Базаралы передергивалось от досады. Он коротко отвечал Майбасару, отлично понимая, что тот, изображая сочувствие, старается опозорить его перед всеми, особенно перед Нурганым.

Покосившись на жигита прищуренным глазом и пренебрежительно усмехнувшись, Майбасар продолжал с явным злорадством:

— И по лицу тебя плеткой съездили, Базым? Сбесился этот Торгай, что ли? Ну и наглый воробей — на такую голову сел![130]

Базаралы, подавленный и сдержанный, вдруг вспыхнул и сверкнул глазами.

— А для тебя новость, что Торгай из воробья соколом стал? Не ты ли сам помог ему обнаглеть? Ты же первый посадил его на свой зад! Ну, конечно, сокол: сперва тебе зад исклевал, а потом и мне на голову взлетел!

Отомстив обидчику, Базаралы зло расхохотался. Остальные подхватили его смех: все помнили, как несколько лет назад Майбасар был позорно выпорот теми же «бес-каска» — Манасом и его братьями. Майбасар только буркнул себе под нос, совсем смутившись:

— Ох, проклятый, чтоб твоему языку угли горячие лизать…

Абай, довольный находчивостью друга, поддержал Базаралы.

— Молодец, Базеке! — сквозь смех воскликнул он.

— Тебя с твоим острым языком не только плеткой, и пулей не сразить.

Весь аул старался скрыть это происшествие от гостей прежде всего — от Биржана. Поэтому Абай тут же дал Базаралы коня с седлом и отправил его домой. В тот же день после обеда Биржан покидал Большой аул. Когда он собрался, его позвала к себе Улжан. Она из своих рук угостила его, дала ему материнское благословение, пожелала счастливого пути и попросила принять в дар от аула «тогыз» — девять ценных подарков, которые тут же были принесены Айгыз и Нурганым. От себя она подарила Биржану «тайтуяк» — слиток серебра величиной с копыто жеребенка. Товарищи Биржана получили шелку и бархату на одежду.

— В моем ауле ты насытил плодами своего мастерства и старших и меньших родичей моих, — сказала она. — Куда бы ни лежал твой путь, будь счастлив в нем. Да вознесется искусство твое и сияет твоя слава, свет мой! Это скромная благодарность твоих старших сестер и женге, — прими ее на прощанье и не осуди нас.

— Да пошлет бог, добрая мать, видеть счастье сыновей и дочерей ваших! Где

бы я ни находился, я никогда не забуду внимания и уважения, оказанных мне в вашем ауле…

И Биржан почтительно пожал обеими руками руки Улжан и Айгыз.

Абай сам подвел Биржану рыжего иноходца. Товарищам его он подарил по простому коню.

Помня приглашение Амира, Биржан решил ехать к нему. Умитей и Амир настойчиво просили Абая непременно привезти с собой и молодую келин. Айгерим стеснялась и отказывалась, но Абай настоял на ее поездке, и они присоединились к Биржану, захватив с собой и Ербола.

В тот же вечер они прибыли в аул Кунке, старшей жены Кунанбая, где жил ее внук Амир. Он поставил уже для них отдельную юрту.

Снова всю ночь звенела домбра и раздавались песни. После вечернего угощения Биржан и Абай, как всегда, разговорились, и беседа их длилась до рассвета.

Абай всегда считал, что песня — самое высокое и прекрасное, что только может создать человек. Эта мысль волновала его, и как-то летом, слушая Биржана, он выразил ее в стихах, начинавшихся словами:

Песня — союз напева и слов,

Ею пленилась душа моя.

Думы рождает певучий зов…

Песню пойми и люби, как я!

Теперь он прочел эти стихи Биржану. Тот и раньше восхищался глубиной и остротой мысли Абая, но стихи раскрыли перед ним новое душевное богатство друга — поэтическое дарование.

— Абайжан, — вырвалось у него, — ты все говоришь, что мои песни породили в тебе много хорошего. Но ты сам открыл нам, певцам, сокровищницу, которую мы несли, не ценя ее. Теперь путь мой освещен тобою до конца моих дней.

— Наши стремления — одни и те же, — возразил Абай.

— В этом стремлении одни достигнут большего, другие меньшего, — ответил Биржан. — Но на прощанье я скажу тебе только одно: лишь через тебя я впервые понял всю великую силу песни и слова. Ты говоришь, что я много

дал тебе. А я бы хотел, чтобы ты знал, сколько ты сам дал мне, как одарил меня на прощанье!

Биржан летом часто рассказывал Абаю о знаменитых ораторах — бdevях, прославившихся певцах и мудрых акынах Средней орды — из Аргына, Наймана, Керея и Уака. Сейчас Абай вспомнил о них и об их великом наследии.

— Биржан-ага, — сказал он, — пока жизнь горит в нас, мы должны служить искусству, но лишь тому, которое правдиво, высоко и которое зовет вперед. Вероятно, мы обрекаем себя на одиночество — нас будет немного. Но мы не должны забывать, что между добром и злом всегда шла борьба.

Два вдохновенных сердца поняли друг друга. Разве в своей песне Биржан не боролся с самодурством и злобностью Жанботы и Азнабая?

Гости легли поздно. Когда они проснулись, был почти полдень. Они не хотели задерживаться и сразу после чая стали собираться в путь.

Лошади уже давно были оседланы. Все друзья Биржана во главе с Абаем вышли проводить уезжавших сэри. Сев на коня, Биржан ласково обратился к молодым певцам:

— Спойте мне «Жирма-бес»! Начни ты, Амир, а Умитей и Айгерим подхватят. Пусть эта песня и будет нашим прощаньем, милые мои младшие братья!

Просьба звучала необычно, но убедительно. Это была просьба истинного сэри, прощальный привет акына. Абай так и понял его слова. Молодежь не заставила себя упрашивать. Все трое запели тотчас же. Биржан, сидя в седле, слушал их с нескрываемым удовольствием, слегка прищурив глаза и чуть заметно улыбаясь. Вдруг быстрым движением руки он остановил их. Сдвинув на затылок свою бобровую шапку с зеленым бархатным верхом и склонившись с коня к молодежи, он запел сам. Это была никому не известная еще песня, но припев ее объяснял все:

Прощайте, юные друзья,

Здесь с вами юным стал и я.

Уйду в далекие края —

Уйдет и молодость моя…

На этих словах голос его дрогнул, он изменился в лице и тронул коня.

Абай и его друзья стояли, застыв от удивления. Певец удалялся, не прерывая песни, посвященной остающимся, Абай понял первый.

— Новая песня Биржана!.. Она родилась здесь, сейчас… Это его прощанье с нами… настоящее внезапное вдохновение певца! — И он продолжал прислушиваться.

Амир бросился к коню, крикнув:

— Догоню и выучу! Разве можно, чтоб она пропала? Он помчался вслед за путниками и поехал вместе с ними. Биржан все не прерывал своей песни. Его голос далеко разносился по степи. Абай с друзьями продолжали стоять и слушать. Песня не смолкала, снова донесся припев:

Уйду в далекие края —

Уйдет и молодость моя…

Путники удалялись. Вот они поднялись на бугор, а пение Биржана все еще ясно слышалось провожающим.

— Отсюда до них целый козы-кош,[131] а песню все еще слышно! — восхищенно сказал Ербол. — Вот это голос!

Еще минута — и всадники скрылись с песней за бугром. Амир попрощался с ними на его гребне и погнал коня обратно. Абай с друзьями дождались его, не уходя от юрты.

Амир знал уже песню наизусть. Подъезжая, он начал ее припев:

Прощайте, юные друзья,

Здесь с вами юным стал и я…

— А как он назвал эту песню? — спросила Умитей. Амир смутился.

— Экий я!.. Не догадался спросить!

— А Ербол только что придумал ей название, — сказал Абай, идя к юрте. — Он говорит, что песня слышна на расстоянии козы-кош. Вряд ли Биржан успел

как-нибудь назвать ее, так пусть она так и называется — «Козы-кош»!

У юрты к ним подошла байбише Кунке, опираясь на большую резную палку. Вся молодежь с почтительным приветствием повернулась к ней, Айгерим встретила ее обычным низким поклоном снохи перед свекровью. Но Кунке, не отвечая на салем молодежи, обратилась к Абаю:

— Абай, свет мой, что ты делаешь? Какой пример подаешь? Хоть раз ты видел, чтобы наш аул провожал гостя с таким почетом?.. Кого ты возносишь, кого ставишь выше нас? Добро бы так поступил ветреный мальчишка, вроде Амира, а ты… А я то полагалась на тебя, свет мой!

Абай вспыхнул от досады, но быстро овладел собой.

— Апа, вы хотите, чтобы в ауле была мертвая тишина? Вы уверены, что в этом и заключается высшее приличие. Но такого приличия добиться легко. Его найдешь везде, а такие песни — нигде! — И, усмехнувшись, он повернулся к молодежи.

Ербол и Амир, давясь от смеха, повторяли за ним:

— Приличие найдешь везде, а песню — нигде…

Кунке всю передернуло от возмущения. Бросив презрительный взгляд на Абая, она резко отвернулась от него и пошла к себе. Теперь Амир не сдерживал смеха:

— Вот это рывок, Абай-ага!.. Одной рукой ты перекинул ее через плечо!

Айгерим и Умитей, не выдержав, фыркнули и, смутившись, убежали за Молодую юрту. Но неугомонный озорник продолжал, глядя вслед бабушке:

— Жить не дает! Если Амир запел — значит, и от веры отступился?

И он снова залился неудержимым смехом.

3

Вскоре после отъезда Биржана все Тобыкты всколыхнула неожиданно вспыхнувшая распря.

Стоял конец лета, когда, спускаясь с летних стоянок в предгорья, аулы дружественных родов, кочевавшие с весны бок о бок, начинают расходиться в разные стороны. В такое время конокрады из соседних родов учащают ночные набеги. Дня не проходит, чтобы по аулам не пронеслась тревога: «Угнали!.. Напали!..» В эти неспокойные дни осмотрительные хозяева не отпускают табуны далеко от стоянок и жигиты не сходят с коней, оберегая косяки.

Абылгазы, сын Караши, ловкий и смелый жигит, тоже выехал в ночное в помощь табунщикам, перегонявшим табуны жигитеков к соседнему урочищу Каршигалы. Вместе с ним поехал и Оралбай — не за тем, чтобы охранять коней своего отца Каумена, которых у того было совсем немного, а просто для того, чтобы рассеяться и уйти от своих тяжелых мыслей.

Абылгазы ехал на выхоленном резвом коне, держа березовый соил поперек

седла. Он распахнул отвороты легкого серого чапана, и яркий лунный свет освещал белую рубаху на его широкой груди. Загнув ухо тымака и изредка сплевывая в сторону, он слушал Оралбая, поглядывая на табун, двигавшийся неподалеку.

Выезжая из аула, Оралбай не думал, куда и зачем едет. Он просто не мог оставаться на месте: его гнали думы, наполнявшие его бессонные ночи и безрадостные дни. Жигит похудел и осунулся, блуждая в тумане неразрешимых сомнений.

Мечта его сверкнула падающей звездой и теперь, как та звезда, гасла. Конечно, гасла… Сердце Коримбалы вспыхнуло для него неудержимым пламенем в тот счастливый вечер, опалив его, — но это был один только вечер. Завтра он должен был потерять ее навсегда: уже едет за нею жених из рода Каракесек… Значит, остается обнимать только свое безутешное горе и оплакивать разлуку с любимой. Есть ли в мире что-нибудь, что помешало бы этой разлуке? Есть ли надежда?.. Только бы быть с любимой, — пускай не исполнится ни одно из его желаний, лишь бы исполнилась эта мечта… Только она, Коримбала… Пусть смерть стоит на пути, он готов умереть. Обнять ее тонкий стан, обвить себя этими длинными шелковистыми волосами, отливающими темной бронзой, — и тогда пусть весь мир горит, пусть разверзнется земля, он и не шелохнется…

Вот о чем рассказывал он Абылгазы. Тот слушал молча и как будто безучастно.

Абылгазы славился нравом твердым, как кремень, и непоколебимым, как старый дуб. Пока говорил Оралбай, он не произнес ни слова, не осуждая и не сочувствуя. И только когда юноша замолчал, он коротко заметил:

— Это все — о тебе. А как сама девушка? Так же горит, как ты?

— Она сказала, что жизнь отдаст за меня…

— Если так — хоть камень глотай, а действуй! — отрезал Абылгазы.

Оралбай ни с кем еще не делился своим горем, он ничего не говорил даже старшему брату — Базаралы. Решительное одобрение Абылгазы и видимая его поддержка обрадовала жигита. Но Базаралы его беспокоил.

— А что скажет Базекен?.. Как он посмотрит на это? Абылгазы усмехнулся.

— Он-то? Поймет… Еще поможет тебе, ничего не побоится… Делай свое дело! Не один Базаралы — все жигиты заступятся!

Оралбай ожил, и его светлосерый конь заплясал под ударом камчи. Жигиты поднялись на возвышенность перед урочищем Каршигалы и остановились, всматриваясь в лунную долину. Ночь была тиха, и в этой тишине до Оралбая донеслась далекая песня. Едва слышная, порой исчезающая, она звучала со стороны Каршигалы.

Эта песня приковывала Оралбая к месту. Хотя до него еле доносились ее обрывки, он все же услышал в ней зов нетерпеливого сердца: казалось, песня

искала и звала. «Где же ты?..»

— Коримбала!.. Она меня зовет! — вне себя воскликнул он. — Это она: поют на Каршигалы, а там ее аул!..

Абылгазы прислушался.

— Верно… Поют в ауле Сугира… Ах ты, бедняга, вот твое желание и исполняется! — подзадорил он юношу.

Абылгазы не выносил тихой и спокойной жизни, предпочитая ей любую свалку, где можно было бы показать свое удальство. Для него было забавой раздувать в Оралбае и без того пылавший огонь, и если от него займется пожар — тем лучше: есть быстрый конь, есть верный соил, почему бы не пустить его в ход ради Оралбая?.. Нетерпеливому влюбленному нельзя было сыскать лучшего наперсника и советчика, и Оралбай не смог больше скрывать своего волнения.

— Абылгазы-ага, если вы не шутите, поедем вместе! Не знаю, на счастье или на горе, — но она зовет меня! Лучше мне сквозь землю провалиться, чем отступить!

— Что ж, едем!

— Едем!..

Они ударили коней. Те, распластавшись, поскакали по склону.

Оралбай не смог бы ответить, что он намерен делать. Надежда на свидание несла его стремительно, как вихрь. Его истосковавшемуся сердцу казалось, что поет Коримбала, — он был убежден, что это она, хотя ничего еще не знал. И он скакал к ней, уже видя, как песня волнами колеблет ее белое горлышко. Чтобы решиться на такое свидание, нужны были бы долгие дни, но прозвучала песня, обожгла молнией — и сердце его вспыхнуло.

Урочище Каршигалы, затянутое молочно-белым туманом, широко раскинулось перед ними и казалось с горы спящим волшебным царством. Долина, покрытая травами, и прозрачная река купались в беловатой дымке, пронизанной лунными лучами, из нее, блестя, проступали куполы юрт. Здесь остановилось не менее десяти аулов, большинство уже погрузилось в сон, огни были потушены, тундуки закрыты. Изредка слышался сонный окрик сторожа. Лениво лаяли собаки.

Жигиты подъезжали вскачь. Теперь все яснее становилось, что пела женщина. Большой аул Сугира, как обычно, должен был быть в середине, и они направились к нему, — им казалось, что песня звучит именно оттуда. Но, когда они доскакали, они поняли, что пение неслось из соседнего аула.

Оралбая это не смутило: продолжая чутко прислушиаться, он окончательно убедился, что пела Коримбала, и повернул коня. Он мог только благодарить бога за то, что песня не дала ему заблудиться на жайляу, где стояло множество аулов. Он благодарил и Коримбалу: ее песня помогала им найти друг друга.

Поздние гости всполошили собак аула. Дружный лай встретил жигитов. Псы

лаяли с таким остервенением, будто хотели заглушить песню, но Оралбай сквозь этот гам расслышал ее: Коримбала пела «Жирма-бес». Голос любимой все громче звучал над яростным лаем и воем — не так ли и их любовь торжествовала над злобой и ненавистью тех, кто хотел ее заглушить?

Коримбала и в самом деле была здесь: она и Капа, жена ее брата Акимхожи, были приглашены на бастанги к одной из невест соседнего аула. Молодежь соорудила качели и усадила на них Коримбалу, прося ее петь: все знали, что она проводит дома последние дни. Подруги и молодые женге особенно сочувствовали ей, каждая из них думала: «Вот и Коримбала выходит замуж, и ее увезет от нас чужой человек…» Молодая Капа сама раскачивала качели и, слушая печальные песни девушки, украдкой вытирала слезы.

Оралбай подскакал прямо к качелям, опередив своего спутника, и Коримбала оборвала песню. Жигит явился внезапно, словно призрак, сотканный из тумана и лунных лучей, — стройный, на светлом коне, с соилом, посеребренным луной. Казалось, он возник из неясного белого света, разлитого над долиной, словно вызванный оттуда песней.

Соскочив с коня, который беспокойно забил копытами, Оралбай торопливо подошел к Коримбале. Слова были не нужны: сердце, душа, каждое движение, каждый взгляд влюбленных повторял одно: «Я пришел!» — «Я дождалась!»

Коримбала, забыв, что на них смотрят, схватила жигита за руку, крепко стиснула его пальцы и потянула за собой к качелям. Молодежь окружила их, обрадовавшись новому певцу, и все наперебой уступали ему место на качелях. Оралбай запел, и Коримбала сразу же подхватила:

Я весь горю, увидев ясный лик…

С каждым взмахом качелей лунный свет пробегал по их лицам, и песня звучала все с большим ликованием. Не сам ли отец ее, знаменитый Биржан, невидимо предстал перед ними, зовя на борьбу за счастье и благословляя их: «Слава любви вашей…»? Коримбала и Оралбай пели не переставая. Все, что пережили их истомленные разлукой сердца, всю тоску, не передаваемую словами, они изливали друг другу в этих песнях. То один из них умолкал, слушая другого, то оба пели вместе, как будто не в силах расстаться. Опьяненные радостью встречи, они теряли рассудок, страсть овладела их волей и предопределяла будущее.

Абылгазы долго всматривался в их лица. Слушая их влюбленное пение, он подумал: «Только смерть может разлучить их…»— и выразительно взглянул на

Капу. Абылгазы дружил с братом Коримбалы — Акимхожой, который был его курдасом.[132] Как жена курдаса, Капа охотно принимала участие во всех затеях Абылгазы. Сейчас они отлично поняли друг друга, и оба стали занимать молодежь шутками и играми, чтобы отвлечь внимание от Коримбалы и Оралбая и дать им возможность поговорить наедине.

Обняв тонкий стан Коримбалы, Оралбай начал было рассказывать ей, как он ее услышал, но она не дала ему говорить.

— Сердце мое… Свет мой… — прошептала она, прижимаясь пылающим лицом к щеке жигита. Слезы застлали ее глаза. — Близится черный день… Сам бог хочет уничтожить нас… Не могу я расстаться с тобой, пусть душу на части рвут, пусть дробят все кости… Я поняла, зачем ты приехал… Раньше твои слова казались мне страшными, теперь — твоя воля… Делай как знаешь, муж мой… Пусть помогут нам духи предков.

Коримбала назвала его мужем. Оралбай потерял голову. Сжимая любимую в объятьях и осыпая ее заплаканное лицо поцелуями, он повторял: «Жена моя… Милая жена моя…»

Эти слова решили все. Безрассудная молодая страсть толкнула их на непоправимый поступок: следующей же ночью Оралбай с тремя жигитами примчался в аул Коримбалы и увез ее. Аулы Тобыкты зашумели, словно над ними раскололось небо и молнии низринулись на землю.

С самой смерти старейшин родов — Божея и Суюндика — между жигитеками и бокенши не было ни одной распри. Но это дерзкое своеволие влюбленных вызвало пламя возмущения во всем Бокенши: какой-то нищий жигитек оскорбил не кого-нибудь, а самого Сугира, стоявшего во главе рода после смерти Суюндика!..

Сугир, владелец многотысячных табунов пегих коней, в короткое время сделался одним из влиятельнейших крупных баев. Он сумел разбогатеть на своих косяках, выгодно отдавая их в пользование соседям, и про него говорили, что стоит ему увидеть всадника на холеной пегой лошади, как он озабоченно спрашивал: «Не мой ли конь под этим человеком?» Коримбала была просватана им за сына богача Комбара из рода Каракесек. Сугир получил уже большой калым — огромное количество крупного скота и косяки жеребцов, он уже отделал Молодую юрту для дочери и готовил богатое приданое.

Все бокенши и соседи-сородичи, зависевшие от Сугира, были одинаково возмущены. Сам Сугир и его сыновья, вне себя от ярости, сначала грозились разорить Каумена, потом объявили, что нападут на табуны жигитеков, и, наконец, послали угрожающий вызов всему роду Жигитек: «Пусть до ночи выдадут связанными и жигита и девушку или пусть укажут место, где захотят померяться силами с бокенши».

Прежние старейшины жигитеков — Божей, Байдалы и Тусип — давно уже умерли. Во главе рода стояло теперь новое поколение: сыновья Божея — Жабай

и Адиль, их друг Бейсемби, стойкий, упрямый, прозванный «молодым дьяволом», и хитроумный Абдильда, о котором говорили, что он с «любой кости мяса на целый куырдак наскребет».

С самого утра промчались тревожные слухи об угрозах Сугира, и жигитеки весь день следили за суетой в ауле бокенши. Абылгазы, подсылая своих людей, знал все толки и тайные переговоры на бурных совещаниях соседей и успевал сообщать все подробности их остальным. Весь Жигитек насторожился. Он превосходил численностью другие роды и никогда не боялся набегов, но бокенши угрожали: «Табуны угоним, в аулы нагрянем!»—и жигитеки вооружились соилами, оседлали всех выстоянных коней и поставили на выстойку всех остальных.

Отправив посланца к роду-обидчику, бокенши одновременно выслали верховых в аулы смежных родичей. Узнав об этом, и жигитеки тоже погнали к тем же сородичам своих людей с заводными конями.

В Тобыкты известны своей силой и положением иргизбаи, котибаки, топаи и торгаи. Оба спорщика — и Бокенши и Жигитек, обращаясь с просьбой о посредничестве и справедливом разборе дела, имели в виду главным образом иргизбаев и котибаков.

У котибаков умершего старейшину Байсала заменил Жиренше, который пользовался всеобщим уважением. К нему и примчались посланники обеих сторон. Но ни Жиренше, ни старейшины топаев и торгаев не захотели брать дело только на себя. Было решено встретиться с иргизбаями, и для этого все отправились в аул Кунанбая. Народ стекался к Улжан в Большой аул, все еще стоявший на том жайляу, где так недавно молодежь Тобыкты прощалась с Биржаном.

В отсутствие Кунанбая его замещали в родовых делах Майбасар, самый старший из братьев, и Такежан, действующие от его имени. При первых же слухах о распре они поехали в аул Улжан, приказав направлять туда всех, кто будет их спрашивать.

Виновники этой смуты, Оралбай и Коримбала, с самого утра разыскивали убежище, но не смогли найти его. В аулах Каумена и Караши им нельзя было укрываться. К этим аулам примыкали стоянки бокенши, и молодежь посоветовала беглецам искать другое место: первое же столкновение произойдет в этих аулах, и оставаться здесь им было небезопасно.

Беглецов спрятали в ауле Кенгирбая, предка многих племен, память которого чтили все в Тобыкты. Но, когда и сюда один за другим стали прибывать посланцы, жители аула встревожились: «Как бы кто не шепнул… Не осквернилась бы память предка смутой…»

Оралбая и Коримбалу отправили в аул «молодого дьявола» Бейсемби, влиятельного жигита, выдвинувшегося из молодежи, который знал цену каждому своему слову. Но, едва они успели там напиться чаю, Бейсемби сказал

им:

— Завтра меня ждет спор с бокенши, а если я дам вам убежище, у меня будет связан язык. Пока покиньте мой аул.

Не найдя приюта до самого вечера и слыша всюду опасливые отказы, Оралбай потерял всякую надежду и послал к брату человека, прося передать: «Если Базаралы еще не отрекся от меня, пусть глаза мои увидят его». Только полное отчаяние могло вызвать эти слова. Базаралы немедленно сел на коня.

Услышав утром о событии, он был изумлен, но не проронил ни слова. Никто не знал, сочувствует он брату или осуждает его, и нельзя было понять, что кроется под его молчанием: гнев или решимость помочь. Он только сказал сквозь стиснутые зубы: «Все стерплю, хоть бы умереть пришлось…» С тем же непроницаемым видом он пристально следил за соседями и прислушивался к разговорам. Все что говорилось у бокенши, ему было известно. Но он знал, что Оралбая осуждали и некоторые жигитеки, в особенности старики и пожилые.

— Зачем нам терять дружбу с бокенши? — рассуждали они. — Народ не должен ссориться из-за двух каких-то озорников. Жигитек должен взять на себя вину, уплатить за обиду и возвратить девушку родным…

И это Базаралы слушал так же молчаливо.

Но спокойные рассуждения прекратились, когда после полудня все громче стали раздаваться угрозы бокенши — угнать коней, разгромить аулы, напасть на жигитеков с оружием. Кроме того на всех подействовало поведение молодежи во главе с сыном Караши Абылгазы, который в знак сочувствия беглецам, первый из всех сородичей поздравил Коримбалу.

Абылгазы весь день не сходил с коня, следя за противниками, подсылал к ним чабанов, доильщиков, женщин. Но эти люди могли наблюдать лишь внешнюю сторону действий бокенши, и он пошел на более тонкую уловку: еще с утра он отправил в аул Сугира молодую женщину родом из Бокенши вместе с подростком, братом ее мужа. Та весь день провела в юрте Акимхожи и Капы, и мальчик несколько раз в течение дня привозил новости, передавая их за холмом чабанам Абылгазы и снова возвращаясь в аул Сугира. В этом принимала участие и Капа, которая старалась как могла содействовать влюбленным, хотя утром Акимхожа избил ее, пытаясь узнать, кто помогал бежать Коримбале. Зная, что та никогда ничего не скрывала от Капы, Акимхожа упрекал жену в том, что она совершила преступление перед аулом. Капа перенесла все, но тайны не выдала.

Таким образом, Абылгазы успешно и ловко доставлял жигитекам важные сведения о бокенши. Сам же он держался так, будто вовсе не защищал Оралбая.

На сборе старейшин он появился как раз тогда, когда те сидели, не зная, как решать: выдать ли Оралбая обиженному роду, или стать на защиту юноши? Абылгазы смело вошел в юрту, где сидели аксакалы и карасакалы, присел на коленях и скинул тымак. Его красивое, открытое лицо было угрюмо. Под

тымаком голова его оказалась повязанной белым платком, словно он уже приготовился к драке.

Он сказал, что угрозы бокенши перешли все границы: они собираются разорить их аулы, угнать коней и насмерть схватиться с ними. Возврат девушки их уже не удовлетворит, они хотят, чтобы весь Жигитек отвечал за Оралбая и стал перед ними на колени. Ну что же… Если аксакалы на это согласны, они и должны сказать прямо: «Делай со мной что хочешь. Утоляй свой гнев, бери мой скот, бей меня, распоряжайся мной, как бабой, потому что у меня нет жигитов. Мы бессильны. Честь рода нами потеряна…» Вот что жигитекам приходится отвечать!..

Абылгазы бил по гордости своего рода. Лицо его помрачнело еще больше, и он смело продолжал:

— Я не совершал никакого преступления, зачем же мне унижаться? Двое безумцев пошли на безрассудный поступок, и, если из-за этого бокенши хотят порвать с нами давнюю дружбу, оскорбить духов наших общих предков убийствами, — где же их собственная честь? Если они решили опозорить нас, чего же ждать нам?

После этих слов жигитеки перестали колебаться. Правда, к твердому решению старейшины не пришли, но начало было положено. Они должны воздержаться от признания вины за собой. Если бокенши согласятся на мирный разбор дела, то перед судом родичей жигитеки найдут способ договориться. В противном случае — падать на колени незачем. Пока же нужно следить за действиями бокенши и поступать в зависимости от их поведения.

Базаралы тоже присутствовал на этом совете, но уехал, попрежнему не вымолвив ни слова.

Разузнав все, он поехал искать брата и молодую невестку, которые все еще метались в поисках убежища. К вечеру их привезли в маленький аул, состоявший всего лишь из четырех бедных обветшалых юрт. Хозяин одной из них, молодой жигит, не побоялся укрыть их.

— Жизни не пожалею, — сказал он, — оставайтесь! — И заколол козленка из своего жалкого стада.

Базаралы нашел беглецов здесь. Он не стал говорить много, даже не выслушал Оралбая и только сказал на прощанье:

— Все считают вас беспутными озорниками, но без защиты вы не останетесь. Пусть родичи и осуждают вас, но что им сейчас говорить? Простят… Не раскаивайтесь и не сдавайтесь, не выдадим… Не выдам… буду за вас… Я еще наведаюсь.

Он вернулся в аул и тотчас послал верхового с письмом к Абаю. Он обращался к нему, как к другу: «Вмешайся, не отказывайся, будь их заступником. А если дело осложнится — будь судьей, скажи решающее слово».

Когда Абаю передали письмо, он сидел у себя с Ерболом и Амиром.

— Что ж нам ответить на это? — спросил он, как бы советуясь с Ерболом. — Бокенши твои родичи, но и жигитеки тебе не чужие, а Оралбай и Коримбала — твои сверстники и лучшие друзья… Вот дело нам досталось, правда, Ербол?

Ербол и сам не знал, на что решиться, и стал рассуждать вслух:

— Самое трудное будет с родичами-посредниками. Мало кто согласится с тобой, Абай. Много найдется таких, кто начнет вертеться по-лисьи и постарается раздуть пожар, вместо того чтобы потушить его. Этот случай — прекрасный предлог для междоусобицы. Если сумеешь — попытайся предотвратить ее. Это долг каждого из нас.

Абай был очень доволен другом: тот не поддался ложному чувству родового самолюбия. Он как бы говорил Абаю. «Будь человеком, будь справедлив» — и в этих словах Абай слышал голос зрелого разума. И он подумал: «Ты говорил как честный человек. Быть тебе со временем одним из самых уважаемых людей в Бокенши…»

Едва Ербол замолчал, как вмешался Амир, хотя никто не спрашивал его мнения. Задумавшись над ответом Ербола, Абай пропустил первые слова юноши.

— Что может сделать род Каракесек? — горячо говорил Амир. — В худшем случае потребует вернуть калым и добавить скота в возмещение за обиду. Стыдно будет, если мы пожалеем что-нибудь для Оралбая и Коримбалы! Надо помочь в выплате!.. А сейчас, по-моему, надо послать им верховых коней и убойный скот!

Абай чуть заметно усмехнулся и кивнул головой:

— Правильно… Сделать больше ты пока не в силах, пусть хоть в этом чувствуют твою поддержку! Только не устраивай шума, пошли тихонько от своего имени.

Договорившись с друзьями, Абай прошел в юрту Улжан, где происходил сбор. Там собрались уже люди от всех родов-посредников. Майбасар и Жакип, представлявшие иргизбаев, сидели на переднем месте, рядом с ними Такежан. Не в меру выпитый кумыс бросился ему в голову— он самодовольно посмеивался и говорил излишне возбужденно. Жиренше, выступавший от котибаков, вел себя сдержанно. От рода Топай говорил Базаралы, тоже неохотно. Зато представитель Торгая — Даданбай — был особенно оживленным и болтливым и говорил так же праздно и многословно, как Майбасар и Такежан.

Абай сел и молча стал прислушиваться к суждениям, стараясь уловить мнения собравшихся. Казалось, что четыре рода разбились на два лагеря. Абай послушал еще и наконец обратился к Майбасару и Жакипу.

— А с чем родичи-посредники послали своих людей к бокенши и жигитекам?

— Еще не посылали, — коротко ответил Жакип.

— А с чем их пошлем? — подхватил Майбасар. — Если бы сородичи просили помирить их — тогда другое дело. Но и те и другие просят нас лишь поддержать их в споре — кого же нам поддерживать?

— Значит, выходит, что посредники хотят отделаться молчанием и остаться в стороне?

— Нет, как же в стороне… Мы в стороне не останемся.

— Тогда о чем же мы думаем? Ждем, чтобы вражда разгорелась?

Абай, казалось, не спрашивал, а допрашивал. Все начали прислушиваться, разговоры прекратились. Майбасар возразил Абаю:

— Пожар и так и этак разгорится. Сейчас примирять бесполезно — пожара не предотвратишь, только раздуешь.

— По вашему, раз пожара еще нет, надо ждать, когда он вспыхнет?

— Есть пословица: «Гнев впереди, ум позади». Пусть бокенши погорячатся. Потом образумятся. Ты должен знать, что пожар тушат не навстречу огню, а по следам его.

— Да вот это забота о дружбе и мире народа! — раздраженно сказал Абай. — Значит, вы так говорите: «Я, конечно вмешаюсь, буду и заступником и посредником, но пусть сперва тебя поглубже затянет в беду, надо, чтоб ты пожарче горел в пламени несчастья…» Так, что ли?

Жиренше и Базар внимательно слушали его и, казалось, разделяли его мысли.

— Видно, так, — с горечью подтвердил Жиренше. — Я тоже не могу понять: чего мы отсиживаемся сложа руки? Какие ж мы тогда посредники?

Жиренше много содействовал дружбе жигитеков с котибаками. Как бий он считал своим долгом поддерживать и закреплять эту дружбу, сохранившуюся еще со времен Байсала и Божея. Топай тоже стояли за прямые и справедливые отношения и нелегко поддавались всяким хитроумным попыткам раздувать вражду между сородичами. И оба преставителя этих родов — Жиренше и Базар — никак не могли понять, чего добиваются Майбасар и торгай, но сами не могли найти выхода. Слова Абая вызвали их на открытый разговор.

Такежан все понимал и был недоволен Абаем. Он только ждал случая, чтобы накинуться на брата, и, когда Абай бросил обвинение — «вы не мира ищете, а пожар раздуваете между родичами»! — он сразу же привязался к его словам.

— Ты твердишь—пожар, пожар! Ну, ладно, ты прав, а дальше что? Не нас ли ты в поджоге обвиняешь? Нет уж, если покопаться, пожар этот не сегодня вспыхнул. Разве не Оралбай с Коримбалой разожгли его? Что ты — не знаешь виновников? Неправда, знаешь! Не ты ли все лето распевал песни и тратил попусту дни? Конечно, тебе только и остается, что защищать друзей, соучастников в праздности!

И Такежан насмешливо хихикнул. Абай не смутился.

— Так, так, нашел истинного виновника: оказывается, виновата песня, ну и я

с ней, раз я люблю пение! Значит, все зло в том, что Оралбай и Коримбала пели у меня песни? Но тогда виноваты и бараны и кумыс из твоего аула, которым угощалась молодежь в дни мира и дружбы! Ну, называй еще виновников!

Он бросил на Такежана уничтожающий взгляд, нахмурился и гневно продолжал:

— Скажи просто, что ты не можешь или не хочешь предотвратить зло — жмешься в сторонку, виляешь, ищешь повода, чтобы не вмешиваться!

Это было обвинением уже не только Такежана, а всех иргизбаев. Абай умел говорить так, что его слушали все. Он бросал правду в глаза, точно бил по голове прямыми словами; смелая, злая, его речь казалась приговором бесристрастного судьи. И сейчас, когда после споров он заговорил так решительно, Майбасар и Такежан невольно замолчали. Ясная мысль и справедливость Абая, пользовавшегося общим уважением, перетянули. Майбасар и его сторонники потерпели поражение.

Но все же Абай своего не добился. Его поддерживали только Жиренше и Базар. Это, конечно, было немало: Жиенше и Базар представляли собой два крупных рода — котибаков и топаев. Но против него было тоже два рода: Даданбай, представитель торгаев, из чувства мести присоедиился к Майбасару. Он понял, что подвертывается случай припомнить Базаралы недавнюю обиду из-за Балбалы, расправившись если не с ним самим, то с его братом. Итак, единого решения не было. Посылать человека к враждующим племенам было не с чем. Но Абай, опасаясь, как бы вражда не дошла до кровопролития, сам отправил посланца в аул Сугира. Его выбор пал на Ербола. Тот должен был передать самому Сугиру и Акимхоже просьбу и пожелание родичей: «Зачем размахивать руками и ссориться со старыми друзьями? Не надо бередить рану и осложнять дело».

Но Абай и его сторонники не знали того, что, посылая к иргизбаям просить посредничества, Сугир пообещал Майбасару и Такежану за решение в его пользу целый косяк кобылиц с жеребцом. У тех хватило совести предать посредников. Высказываясь на сборе неопределенно и смутно, они уже потихоньку дали знать Сугиру: «Пусть не стесняется с жигитеками, пусть не колеблется, наседает сильнее. В конце концов родичи-посредники не станут на сторону озорников, а поддержат потерпевших».

Их салем подхлестнул и без того обозленного Сугира, который уже совсем потерял голову от гнева и из всего их совета смог понять только последние слова. Он принял их как решительную подержку со стороны всего Тобыкты и тотчас послал к жигитекам Кунту, молодого жигита, недавно ставшего одним из вожаков рода бокенши, с требованием немедленно выдать жигита и девушку, а в случае отказа — указать место для решения спора силой.

Но под влиянием Абылгазы жигитеки не пошли ни на ни на другое. Они поручили Кунту передать такой салем: «Так могут говорить враги, а не родичи,

ищущие дружбы. Придите к нам с таким словом, которое не раскололо бы народ, а принесло мир. Пригласите нас на совет, чтобы вместе найти справедливый выход. А то, что вы говорите, — это обида, оскорбление и насилие. Что вы делаете, опомнитесь! Ведь если у собаки есть хозяин, то и у волка бывает покровитель. Что плохого сделал вам Жигитек до этого несчастного случая? Кто еще так дружил с вами, как мы? Ведь между нами и волос проскользнуть не мог, нам ли менять такую тесную дружбу на вражду и гнев? Вспомним Божея, Суюндика и Байдалы. Они завещали нам дружбу и мир, которым сами положили начало. Пусть бокенши обдумают свои слова и тогда дадут нам ответ».

Выслушав это поручение, Кунту отвел в сторону молодых руководителей Жигитека — Жабая, Бейсемби и Абдильду, выдвинувшихся так же недавно, как он сам, и негромко сказал им:

— Вряд ли такой ответ удовлетворит Сугира. Он себя не помнит от гнева. Беду накличете, родичи… Не упрекайте после, что я вас не предупредил.

— Стой, стой, что ты говоришь? — насторожился Жабай.

Высокий спокойный Кунту, не сводя с него острого взгляда блестящих черных глаз, коротко подтвердил:

— То и говорю.

Жабай заколебался. Но отчаянный Абдильда и знать не хотел сомнений и отступления. Он заговорил быстро и твердо:

— Э, Кунту! На весах не мы с тобой — честь рода и предков! Если Сугир так зарвался, что для него это — ничто, ему не уйти от божьей руки!

Кунту вернулся с ответом: ослушников жигитеки не выдали, вину на себя не приняли — все остальное было пустыми словами.

Сугир взвыл. Он бил плетью землю у очага, вызывая духа предков рода Бокенши, и кричал в ярости:

— Все мои косяки в жертву отдам! Все добро раздам в память твою, только отомсти за меня!

Сугир неистовствовал. С наступлением сумерек он посадил на коней сотню жигитов, которые, вооружившись соилами, только и ждали знака.

— Жигитеки увели у меня дочь, — сказал он им. — Откупа я не приму. Уведите и вы от них невесту — да такую, чтобы у них сердце заныло!

И только когда они ускакали, до Сугира дошло поручение Абая. Он молча выслушал Ербола и ничего не ответил. Казалось, слова Абая и не дошли до него.

Жигиты Бокенши, ускакавшие в набег, вдоволь натешились и скоро вернулись с добычей. Один из жигитеков недавно женился на молодой красавице. Бокенши нагрянули к нему, отобрали жену, которая ходила еще под свадебным платком, разорили аул и умчали молодую женщину, не дав никому опомниться.

Бейсемби и Абдильда, узнав о случившемся, приняли бесповоротное решение. Их ярости не было конца.

— Для чего мы возились с ними? Какие это родичи? Это чужие для нас! Разве родич решится на набег? Они сами подстрекают нас на борьбу!.. Вставай, садись на коня — приказал Абдильда, обращаясь к Абылгазы.

Сборы прошли спешно. Возмущение жигитеков вспыхнуло с такой силой, что призывы были не нужны. Говорили мало, но все поднялись сразу. Сто жигитов под предводительством Абылгазы тут же вскочили на коней и поскакали к аулам Бокенши. После полуночи всадники вернулись. Они не тронули табунов противника — они увели только одного человека. Это была молодая жена Солтабая, одного из влиятельных жигитов Бокенши: Солтабай тоже женился недавно, и его жена тоже еще не сняла свадебного платка.

В эту ночь ни бокенши, ни жигитеки не спали. Едва весть о новом уводе облетела аулы бокенши, они, не дожидаясь рассвета, пригнали из ночного всех коней. Все мужчины Бокенши вооружились соилами, пиками, секирами со всех сторон потянулись к аулу Сугира. Жигитеки тоже приготовились к схватке. И не успело взойти солнце, все пространство между Сарыголем, исконной землей жигитеков, и Шалкаром, принадлежавшим бокенши, наполнилось вооруженными толпами. С первыми лучами солнца широкие равнины и пологие холмы превратились в поле битвы.

Сам Сугир, почти семидесятилетний старик, тоже схватил пику и ринулся в бой. В одной из стычек он лицом к лицу столкнулся с Жабаем и Бейсемби. Старик взял пику наперевес и помчался прямо на них. Жабай успел крикнуть своим жигитам:

— Старик смерти ищет! Не трогать его!..

Сугир почти доскакал до Жабая, но наперерез ему кинулся один из молодых жигитеков. Сугир сбросил его пикой с коня и рванулся дальше. Но, видно, старика мучило, не убил ли он молодого жигита, потому что он все оглядывался на него, пока его не нагнал Бейсемби. Тот и не собирался расправляться со стариком — он хотел только вырвать у него пику, и Сугир, точно догадавшись об этом, сам сунул ему в руки конец ее и безоружный ускакал назад. Бейсемби, не выдержав, расхохотался.

— Видели, что он сделал? Сам пику подсунул! — закричал он, подняв пику над головой и показывая Жабаю. — Теперь, если тот жигит помрет, старик скажет: «Не я, мол, его убил, у меня Бейсемби пику выхватил! — Видали хитреца?..»

Но в других местах побоища люди захлебывались кровью, падали с коней.

Лучшие бойцы жигитеков и бокенши отличались в поединках. Из жигитеков всех превзошел Абылгазы, из бокенши — Маркабай. Этому жигиту с могучей грудью и с икрами чуть не в детскую люльку только что исполнилось тридцать лет. Большеглазый, плосколицый Маркабай действительно обладал

исполинской силой и прославился во всем Тобыкты как борец и как невероятный обжора. Сегодня он то и дело менял под собою коней и носился по полю, как ураган, сбивая на скаку всадников. Самому ему тоже приходилось жарко, он был уже изранен, но как будто и не замечал этого.

Бой, не ослабевал, продолжался до полудня. Противники отправляли по аулам раненых, чтобы они не достались в руки врагам. Сородичи захлебывались в крови. Но к полудню многочисленный отряд иргизбаев, котибаков и торгаев, узнавших о схватке, примчался на поле битвы и заставил прекратить побоище. Иргизбаи вклинились в ряды всадников, и Жакип остановил взаимное избиение.

— Кто не прекратит свалки, на того вина ляжет, тому и мы врагами будем! — кричал он, врываясь в кучки сражающихся.

Иргизбаи не двинулись с места, пока противники волей-неволей не прекратили битвы и не разъехались по своим аулам. Но после этого все родичи-посредники направились за бокенши и остановились у Сугира. Для жигитеков это было плохим признаком — не означало ли это: «Пострадали бокенши, мы должны быть с ними»? Или: «Бокенши не виновны, мы заступаемся за них?» Как бы то ни было, поступок посредников сильно встревожил многих жигитеков.

Как всегда после такой схватки, которая была для многих уже не первой, потери и кровопролитие не мешали обеим сторонам издеваться и подсмеиваться над врагом и хвастливо кичиться своими подвигами. На этот раз первым вызвал насмешки жигитеков Сугир с его пикой, вслед за ним жертвой общего остроумия стал Маркабай.

После боя он с друзьями остановился в ауле Далекен, где ему давно приглянулась одна девушка, Кундуз. Хотя она отвечала ему взаимностью, мать старательно оберегала ее и целое лето не подпускала к юрте Маркабая. Теперь жигит решил воспользоваться суматохой. Он попросил сверстников отвлекать старуху мать разговорами, а сам направился в юрту девушки. Кундуз сидела одна за вышиванием, над очагом в большом котле варился сыр. Великан Маркабай, бесстрашный на поле боя, потерял всю свою самоуверенность и даже не мог толком отвечать на расспросы Кундуз о побоище. Забыв о своих ранах, он с умоляющим видом смотрел на нее и вдруг, решившись, обнял ее и припал жарким поцелуем к ее шее. Но тут старуха, заметившая отсутствие жигита, кинулась к своей юрте и заглянула в дверь.

— Уа, будь тебе неладно, вон отсюда! — крикнула она вбегая.

Но Маркабай точно не слышал. Он оставался стоять прикованный, обнимая девушку. Старуха взвизгнула и, выхватив из кипящего сыра уполовник, стукнула им по голому, как котел, черепу великана.

— Мало тебя сегодня били, проклятый! — крикнула она.

Тут только Маркабай выпустил девушку из объятий и опрометью ринулся из

юрты. Он сам рассказал товарищам о своем поражении, и в тот же день — день кровавого побоища — весь народ стал потешаться над батыром, бежавшим от старухи.

Отряд родичей-посредников действительно остановился у бокенши неспроста. Старейшины всех четырех родов решили признать виновными жигитеков и принудить их выполнить требования бокенши. В аул Сугира явились все посредники — представители Иргизбая, Торгая, Котибака и Топая.

Накануне Жиренше и Базар до поздней ночи сидели с Абаем, обсуждая, как примирить противников. Когда же примчалась весть об уводе жены Солтабая, оба они заговорили иначе:

— Что же можно сделать, если жигитеки не хотят считаться с родством?.. Правда, бокенши слишком круто ответили на дерзость Оралбая, но неужели жигитеки не могли потерпеть? Обожди они немного, нам было бы что сказать посредникам. А теперь все сами напортили: и Оралбаю с Коримбалой лазейки не оставили и себе повредили. Сейчас уж ясно — пока не вернут девушку, покоя не будет…

И оба вслед за Майбасаром поехали к бокенши.

Абай понял, что остался один. Он глубоко переживал все происходящее. Ему было стыдно за свою беспомощность перед Оралбаем и Коримбалой, а народная смута удручала его.

Он сидел дома, обдумывая, что делать. Наконец он принял решение, послал известие к Базаралы, а сам начал собираться в путь, никому не говоря о своих намерениях.

Посредники, прибыв в Бокенши, выслали верхового к жигитекам с требованием немедленно прислать в аул Сугира доверенных людей, которые будут держать ответ от всего их рода. Жабай, Бейсемби и Абдильда в сопровождении двадцати жигитов тотчас же сели на коней. Такой поворот дела серьезно обеспокоил Бейсемби, и перед отъездом он поручил Абылгазы передать беглецам его совет: «Дело идет не к добру, пусть Базаралы подумает, не лучше ли увезти их в более надежное место».

Базаралы принял эти слова как оскорбление.

— Эх, родичи с каменными сердцами! — вспылил он. — Можно ли положиться на их кривой суд? Сугир — богач, а я беден. Ему его пегие одним своим ржаньем помогут, — вот погляди, сколько их будет плясать под этими посредниками!.. А я что? Бежать—некуда, убойного скота, чтобы угощать алчных взяточников и краснобаев-жигитеков, тоже нет… Что же, остается самому ехать на их совет!

Но Абылгазы резко возразил ему:

— Они и без того раздражены. Ты только раздуешь пламя—увидят тебя, еще больше обозлятся, хуже будет…

Тогда Базаралы пробрался к Оралбаю и Коримбале и решил укрыться вместе

с ними в безлюдных каменистых отрогах Чингиза. Глубокая обида переполняла его: он должен бежать в горы, как раненый волк от погони, таща на спине волчат.

Единственным утешением для трех беглецов была поддержка Абая, которую они получили через Амира накануне выезда: Абай прислал им четырех хороших коней под седло и одного стригуна для убоя. Посланный передал Базаралы слова Абая:

— Родичи предали их. Я готов от стыда сквозь землю провалиться. Если хотят знать мой совет, нечего Базекену ждать поддержки от сородичей: завтра и жигитеки начнут преследовать их, тогда он останется совсем один. Пусть лучше немедленно уезжает с беглецами в город к русскому начальству. Если решатся на это — пусть сообщат мне, я сам поеду в Семипалатинск и постараюсь помочь им. Здесь же, один среди всех этих людей, я бессилен.

Забота и поддержка Абая подняли дух Базаралы, но намерений его не изменили.

— Нашелся же в Тобыкты настоящий человек, — это ты, Абай! — передал он в ответ. — Ты не отрекся от меня, как отрекся мой род. Я верю, что ты готов помочь мне в городе. Но я не поеду. Как явлюсь я туда? Как беглец, как изгнанник? Никто никогда не шел у нас по такому пути, и ни в ком этот поступок не вызовет сочувствия. Не лучше ли мне сперва узнать решение родичей? Если нас предадут, я за свою честь постоять сумею. Без борьбы и боя не сдадимся, я поклялся помогать моим друзьям до конца.

Он увез беглецов в Чингиз, спрятал в недоступном ущелье и там зарезал для них стригуна, присланного Абаем. А сам, заткнув за пояс нож, сунув под колено шокпар и вооружившись пикой с дубовым древком, стал у входа в ущелье, словно тигрица, охраняющая детенышей. Он не слезал с коня несколько дней. Его тело закалилось и окрепло, настороженный, ловкий, выжидающий — он стал неузнаваем. С бледного, словно окаменевшего лица не сходило выражение гнева и решимости.

Тем временем переговоры в ауле Сугира закончились. Бейсемби и Жабай сдались. По решению старейшин род Жигитек признал вину и согласился возместить ущерб. Кроме скота старейшины постановили передать в пользу Сугира три зимовки жигитеков по реке Караул. Жигитеки обязались отказывать беглецам в приюте. Были отправлены люди для поимки несчастных влюбленных, чтобы увезти Коримбалу в Каракесек к жениху.

Первый отряд из десяти человек столкнулся с Базаралы у входа в ущелье. Тот один принял бой: он решил биться насмерть. В первой же стычке он сбросил пикой с коней пятерых, остальные отступили.

Но, найдя след беглецов, они собрали сюда всю погоню, рыскавшую по склонам Чингиза в поисках, и повторили нападение. Теперь на Базаралы напали тридцать человек. Осилить его они не смогли, но вынудили его отступить и

отрезали ему путь в ущелье, где были спрятаны беглецы. Он метался по горам, стараясь прорваться к ним, и все, кто встречал его, пугались его лица: это был воин, готовый к смерти. В ущелье отряд нашел Оралбая и Коримбалу. Сопротивлявшегося жигита связали и оставили на камнях, а девушку бросили поперек седла и увезли. Оралбай закричал ей вслед:

— Коримбала, свет души моей! Не буду я сыном моего отца Каумена, если не сыщу и не увезу тебя!

Коримбала успела ответить в бессильной тоске:

— Душу свою в жертву принесу, только отбей меня!

В тот же вечер Базаралы прискакал в Большой аул жигитеков, остановил коня посреди юрт и закричал, обращаясь к духам предков Кенгирбая и Божея:

— Где же вы, аруахи? Или не видите позора? Прокляните потомков, предавших честь рода!

Бейсемби, Жабай и Абдильда окружили его. Базаралы кричал, что нападет на бокенши, зальет кровью и перебьет их. Жигиты, боясь новой распри, схватили поводья его коня и пытались уговорить его. Но Базаралы хлестал их по головам плетью.

— Негодяи! — кричал он в тоске и в гневе. — Душу свою продали!.. Не раз еще свой род предадите… Прочь с дороги!

Но Бейсемби и Абдильда не отпускали поводьев. Жабай созвал всех жигитов аула. Они окружили Базаралы, стащили его с коня, втолкнули в юрту и навалились на него, не давая двинуться. Всю ночь его стерегли.

Не успели привезти Коримбалу к бокенши, как весть о взаимной клятве влюбленных облетела все аулы. Участь девушки была решена давно. Сугир прямо заявлял: «Тухлое яйцо в ауле держать не буду». Теперь, поняв, что Оралбай и Коримбала еще не сломлены и что Базаралы готов на все, бокенши поторопились отправить девушку в Каракесек под охраной жигитов. Отсылая дочь, Сугир велел передать: «За приданым пусть приезжают потом, а невесту передаю им в руки сейчас, пока она еще жива. Пусть распоряжаются ею сами: если не уймется — власть их. Хоть убьют — оплакивать не буду и пени не потребую». Смута в Тобыкты кончилась.

Через два дня Оралбай, освободившись от пут, поскакал вслед за любимой в Каракесек. Он сам не знал, на что надеялся и зачем ехал, но сердце его обливалось кровью и совладать с собой он не мог.

Родные жениха Коримбалы, особенно старшие снохи, не спускали с нее зорких глаз. Она исхудала, осунулась и, казалось, смирилась. В этот вечер у нее в Молодой юрте сидел у очага высокий, широкоплечий жигит, брат ее жениха, охраняя ее. Он молча точил нож и только раз за весь вечер буркнул:

— Если не смиришься, помни — я на все готов… Либо тебе подыхать, либо твоему любовнику…

Мясо в казане, кипевшем на очаге, сварилось, и угрюмый жигит пошел в

соседнюю юрту звать остальных к ужину. Тотчас на пороге появился Оралбай.

Коримбала в ужасе отшатнулась. Угроза деверя, недавние кровопролитные схватки родичей, скалы Чингиза — все снова пронеслось перед ее глазами. Оралбай понял: у его Коримбалы сломлены крылья. Оба молчали. Девушка медленно подошла к любимому:

— Судьба наша решена… Прощай, Оралбай… Пусть это будет моим последним приветствием… тяжелым и печальным, как последний поклон хромой старой келин в Большой юрте[133]… Возьми себя в руки, свет мой…

И она прижалась к его губам горячим прощальным поцелуем.

Оралбай, страстно обняв ее, выбежал из юрты, задыхаясь от рыданий. Все погибло: Коримбала сравнила себя со старухой, для которой кончились все радости жизни.

Он вскочил на коня и ускакал. Никто не знал, куда он исчез. Прошло несколько дней, от него по-прежнему не было вестей. Абай не мог успокоиться. Как-то, говоря об этом в своей Молодой юрте с Айгерим, Амиром и Ерболом, он вдруг вспомнил Биржана:

— Драгоценны такие светочи, как ты, Биржан! — вырвалось у него. — В тебе воплотилась вся благородная сила моего народа. Это твоя песня раскрыла юные сердца… Как брошенный камень, она возмущает даже стоячую воду. А жизнь этого требует: если бы в ней не было сил, способных, как вихрь, взметать ее, дни тянулись бы полные гнили и тления…

Ербол не согласился:

— Удар пришелся по всей молодежи. Она с надеждой смотрела в будущее, теперь на ней снова тяжкие путы.

Но Абай смотрел глубже.

— Пусть процветает такое искусство, которое может бороться с мрачной и косной степной жизнью, пусть даст оно силу каждому мужественному человеку, — задумчиво сказал он и после долгого молчания добавил — «Пусть лев разобьется, пытаясь прыгнуть на луну, — все равно его львенок не бросит своих львиных повадок. Пусть белый сокол запутается в тенетах — все равно его соколенок, вылетев из гнезда, соколом и останется…» Мудрец был казах, сказавший это. Злоба и темнота Тобыкты победили Оралбая. Но жизни они не победят и историю не повернут… Не повернут.

ВЗГОРЬЯМИ

1

Дверь распахнута, тундук открыт, и прохладная юрта полна дыханием ясного весеннего утра. Запахи полыни и ковыля, перебивая друг друга, врываются в нее вместе с разноголосым шумом весны. Абай сидит возле высокой кровати с костяной резьбой, облокотившись о круглый стол. Чтение не мешает ему воспринимать все разнообразие жизни, окружающей юрту.

С ближних склонов Акшокы доносится громкое и настойчивое кукование: маленькая, ничтожная птица кличет дружка, посвящая весь мир в свою ничтожную тайну. Над юртой повис в небе жаворонок и наполняет ее своей трелью. Порой слышится шелест крыльев—это утиные стаи пролетают над широко раскинувшимися холмами к лугам, покрытым весенним разливом. Вот совсем рядом пробежали ягнята и козлята, дробно стуча крохотными крепкими копытцами, — что-то испугало их, и они опрометью кинулись в сторону, спасая свои маленькие жизни. Из соседней юрты доносится порой звонкий гомон детей, и голоса малышей как бы перекликаются с блеяньем ягнят…

С особой остротой Абай ощущает возрожденную весной жизнь, врывающуюся в его уединение. Солнечные лучи, падающие через широкое кольцо шанрака на узорчатые кошмы, повесеннему ласковы и мягки, тишина в нарядно убранной юрте успокаивает душу. Ему дышится легко и радостно, и он склоняется над страницами, перечитывая их с новым, удивительным чувством, будто видя их совсем другими глазами: книга и ее читатель наконец поняли друг друга.

Сегодня произошло большое событие: эта книга была первой большой русской книгой, которую Абай прочел до конца почти свободно, как будто она была написана на родном языке.

Всю минувшую зиму Абай, окружив себя помощниками— словарями и учебниками, сидел только над русскими книгами. Весной, когда ему показалось, что свет нового мира уже открывается ему, он взялся за Пушкина. Начал он с прозы и, читая, с восторгом чувствовал, что понимает решительно все. Это был «Дубровский». Пушкин открыл перед Абаем все богатство русского языка — и теперь Абай смог оценить и все богатство мыслей этой книги.

Глубокое душевное удовлетворение и особенно острое ощущение окружающей жизни, владевшие сейчас Абаем, и были вызваны встречей с этой книгой: она оказалась тем спутником, которого случайно находишь в дороге и который вдруг становится неожиданно близким другом. Абай давно не

испытывал такой радости. Сегодняшний день был оправданием его долгого отшельничества, оправданием его ухода от всех домашних дел и разговоров: брод, который он долгие годы искал, стремясь достичь другого берега, был наконец найден и перейден.

Майбасар, Жиренше и Такежан давно уже посмеивались: «Женился на Айгерим и из юрты не выходит — насмотреться не может! Всегда в небесах витал, а тут попался к ней в руки, как воробей в кольца змеи!.. Привык летать — а брякнулся в пыль!»

Услышав это, Абай рассмеялся, но продолжал сидеть над книгами, словно усердный ученик медресе. Он не делился ни с кем своими мыслями и не просил советов. Ему самому было неоспоримо ясно, что в его время жизнь не позволяет замыкаться в степном маленьком мире. И в мыслях о городе, об «Акбасе Андреевиче», о библиотеке и о воспитании детей он пришел еще к одному решению: построить себе в Акшокы, откуда до Семипалатинска было на сорок верст ближе, отдельную зимовку, удобный дом, где он мог бы жить так, как ему хочется.

Едва сошел снег, он перекочевал в Акшокы, хотя ни один аул еще не покидал зимовок, — юрты матери, Оспана и Дильды оставались в Жидебае. Абай перевез сюда только Айгерим и своих детей от Дильды — Акылбая, Абиша, Гульбадан и маленького Магаша с их учителем, прозванным «Кишкене-муллой» — младшим муллой — в отличие от Габитхана. Вместе с Абаем прикочевали со своими юртами и имуществом несколько соседей из числа обслуживающих Большой аул, приехали мастера и рабочие, и постройка началась сразу же. За работой следили Ербол и Айгерим, — сам Абай не выходил из юрты, отдавая все время изучению русского языка.

Так и сейчас он сидел над книгой, когда в юрту вошли Айгерим, Ербол и Кишкене-мулла, казавшийся крайне удивленным. Продолжая разговор, он говорил Айгерим, переступая порог:

— Создатель милосердный! Мыслимо ли это, чтобы и сегодня, когда кладется первый камень нового жилища, Абай не захотел проститься со своим уединением! Уж не приковал ли его к постели недуг?

Айгерим негромко рассмеялась.

— Нет, он здоров… Просто нет времени: у него, мне кажется, здесь более трудная работа, чем постройка.

Абай спросил ее и Ербола о ходе работ, пожелал удачи и потом весело продолжил ее слова:

— Айгерим права. Вы, конечно, рассмеетесь, если я скажу, что мой труд и правда тяжелее труда каменщика Тюре… Работа Тюре видна всем, но и я своим трудом добился немалого…

Ербол насмешливо подмигнул Кишкене-мулле:

— Ну уж, конечно, просиживать мягкое корпе много трудней, чем таскать

кирпичи!

Кишкене-мулла продолжал недоумевать:

— Сегодня такой торжественный день — ваша супруга ваши друзья, воодушевляемые благими намерениями, положили начало доброму делу. Поистине достойно удивления, что вы отстранились от общей радости…

Айгерим не упрекала Абая, но, видимо, не оправдывала его. Она только объяснила ему, о чем идет речь:

— Мы пригласили сегодня муллу благословить работу. Закололи в жертву овцу, мулла призвал святых предков, прочитал коран и благословил новое жилище…

Абай еще раз пожелал Айгерим, детям и друзьям счастливой жизни в новом доме, как бы одобряя ее действия, но в глазах его мелькал насмешливый огонек. Он повернулся к Кишкене-мулле:

— Муллааке, я не знал, что есть особая молитва на постройку дома в Акшокы… Какой же текст вы читали?

Кишкене-мулла вспылил:

— Вы думаете, нет такой молитвы? Каждый мусульманин должен знать, что на всякое благое начинание есть своя святая молитва! Я прочел «Яразикул гибади»— «Хвалю насыщающего нас» — разве она не к месту?

Абай заметил все с той же сдержанной иронией:

— Мне помнится, муллааке, что эта молитва составлена для приготовления тока перед молотьбой, я как будто читал об этом в своде «Лаухуиама»…

Насмешливый тон Абая не понравился Кишкене-мулле. Он нахмурился, сверкнул на него большими синими глазами, но промолчал. Ербол пожалел вспыльчивого, но доброго муллу и примиряюще обратился к Абаю:

— Э, Абай, ну что ты придираешься? Твердит же темный народ: «Черной овцы башка, серой овцы башка, а мы рабы божии…»[134] — и думает в своей простоте, что молится! А мулла пел настоящую молитву, и так красиво пел, — нам с Айгерим показалось, что она молитва всех молитв, будь она хоть о токе, хоть о лугах!.. Доброе намерение оправдывает все!..

Общий смех рассеял набежавшую тучку. Айгерим кивком подозвала молоденькую Злиху, переменила на столе перед Абаем скатерть и приказала подавать кумыс. Абая вновь охватило радостное чувство, с которым он закончил книгу, и он решил поделиться с друзьями наслаждением, которое дал ему завершенный труд. Прихлебывая редкими глотками густой холодный кумыс, он стал перелистывать лежавшую перед ним книгу.

— Конечно, — начал он, — построить жилье, подготовить ток, замесить глину для кирпича — это труд. Но добиться понимания мудрых книг, которые долгие годы не могли говорить с тобой понятным языком, — это тоже немалый труд. Айгерим и Ербол хорошо знают — да и вы, мулла, догадываетесь, — что весь этот год я жил только одним стремлением. И вот сейчас я радуюсь так,

будто увидел законченное здание моих желаний…

Он замолчал, боясь, что слова его не совсем понятны Айгерим и Ерболу. Но тут пришло в голову неожиданное сравнение, и он продолжал, глядя на Ербола:

— Вот Кишкене-мулла тебе объяснит… Бывает, усердный шакирд много лет учится в медресе — и вдруг в какой-то день чувствует, что прозрел. Он видит то, чего не видел за все годы ученья, перед ним сами собой распахиваются двери в знание. Муллы тогда говорят, что он «обрел ключ разумения»… Вы знаете, сколько я занимался. В русском языке я был учеником без учителя, и сегодня я тоже «обрел ключ разумения»… И как раз в тот день, когда вы, Айгерим и Ербол, заложили основание новому жилищу!.. Мой труд оправдан, друзья мои…

Абай был полон волнения и радости, слова его звучали многозначительно и выражали глубокое чувство. Айгерим, привыкшая понимать состояние мужа с полуслова, ласково улыбнулась, взглянув на него, и глаза ее увлажнились.

— Ну, значит, самая большая радость сегодня не у нас, а у вас… Тогда и поздравления и пожелания надо приносить вам… — И она налила в пиалу кумыс и протянула ее Абаю.

Ербол ничего не сказал, но тоже улыбнулся Абаю. Кишкене-мулла никак не мог согласиться.

— Ключ разумения?.. Вот если бы вы без духовного учителя, без халфе и хазрета усвоили «Мантык», «Гакаид» или проникли в смысл «Кафия» или «Шарх Габдулла», тогда можно было бы сказать, что вы «обрели ключ разумения»… Но, когда речь идет о каком-то русском «шалтай-болтай», такое выражение неуместно. Вы заблуждаетесь, Абай, — поучительно сказал он.

Абай с досадой нахмурился и некоторое время молчал, стараясь сдержать себя. Потом, сделав глоток из пиалы, сказал спокойно и твердо:

— Наши духовные лица — халфе, хазреты, ишаны — всегда страдали ограниченностью. Я вижу, что и вы, к несчастью, тоже не свободны от нее.

Но Кишкене-мулла не сдавался:

— Если бы речь шла об исламе, я не имел бы возражений. Но о чем говорите вы, о каких книгах? И в древние времена неверные имели свою науку, но признавал ли ее хоть один из мусульманских ученых? Она недостаточна для истинного познания.

Абай понял, что спор затягивается. Ему не хотелось препираться с Кишкене-муллой, и, хотя у него было множество доводов, он привел только один, чтобы остановить словоохотливого муллу:

— Вы утверждаете, что ни один мусульманин не признавал науки неверных. Не будем говорить о других — вспомните только, что сказал сам пророк в «Хадисе». «Чернила ученого дороже крови шахида[135]…» Вы утверждаете, что наука неверных недостаточна для познания. Но можно ли называть наукой то, что рассказывает о происхождении мира история пророков «Киссасуль

анбия»? И какие знания о человечестве, о свойствах каждого народа сможете вы найти в «Крыкхадис», «Лаухунама», в «Фихкайдани»?[136]

Кишкене-мулла не смутился и тут.

— Если вам мало этого — читайте другие. Читайте ученых мусульман — на вашу жизнь там мудрости хватит с избытком.

Абай усмехнулся.

— Я понял бы вас, если бы вы вместе с настоящими учеными говорили: «Заимствуй знание там, где оно есть, бери его у того, у кого оно имеется». Но что советуете вы? Те пастбища, о которых вы говорите, я давно уже исходил. Не одну дорогу я истоптал, чтобы овладеть знанием, достигнутым человечеством за многие века… Удивляюсь вам, мулла… Будь вы неграмотны — другое дело, но ведь вы — учитель! Как же вы говорите, что знание нужно искать только на одной узкой тропе? Разве наука не безграничный широкий мир? Разве мудрейшие мусульманские ученые не пользовались тем, что дали Сократ, Платон, Аристотель? А кто из этих философов был мусульманином?.. Перед вами человек, жаждущий знания, посвятивший месяцы и годы его поискам, а вы говорите ему: «Не ищи, не стремись вдаль!..»—и, подумав, добавил — Так мы с вами друг друга не поймем. В каждой жизни, во всяком стремлении есть своя вершина, своя цель. Мое стремление неудержимо, и моя цель впереди. Кончим на этом.

Он снова нахмурился и, достав красиво отделанную шакшу, постучал по ней ногтем и взял щепотку насыбая.[137]

Ербол не принимал участия в споре и молчал, внутренне сочувствуя другу в его жажде знаний, хотя сам был неграмотен. Но, когда разговор кончился, он, как всегда, смягчил его резкость шуткой:

— Я простой человек, мне даже непонятна пословица: «Мулла-невежда и веру разрушит». Но Абай помог мне понять одно: чуть зайдет речь о немусульманских народах, наши муллы начинают вести себя точь-в-точь, как иргизбаи и жигитеки нашего Тобыкты. Разве Майбасар, Такежан или Бейсемби дадут раскрыть рот карабатырам, кокше, бокенши, хотя бы правда и была на стороне тех?

Абай невольно усмехнулся, а Ербол заключил:

— По-моему, мулла накинулся на русские книги и науку, как Майбасар на сыновей Кулиншака!

Такое сравнение дошло не только до Абая и Айгерим: миловидная Злиха, разливавшая кумыс, — и та улыбнулась. Абай долго искренне смеялся. Но Кишкене-мулле это показалось невоспитанностью и грубостью. Он, насупившись, вышел, — и тотчас гул детских голосов, доносившийся из соседней юрты, как шум, подымаемый ягнятами в вечернюю пору, мгновенно стих: видимо, Кишкене-мулла вошел к детям.

Айгерим, вышедшая за муллой из юрты, остановилась на пороге, заметив

двоих всадников, приближающихся к стоянке. Она повернулась к сидящим в юрте:

— К нам кто-то едет, не разберу… Не Большой ли аул прикочевал?.. Нет, кто-то из чужих, один такой громадный… — Она вгляделась и вдруг весело рассмеялась. — Ой-бой, да это же Кенжем!.. Ну, конечно, Кенжем, а я-то думаю, кто этот великан?..

Кенжемом[138] Айгерим звала Оспана. Ербол вскочил с места, за ним вышел и Абай. Все здесь соскучились о шумном, многолюдном ауле, от которого отделились больше месяца тому назад. Аулы Кунанбая оставались на местах зимовок в Чингизе и Жидебае до полного наступления весны. Теперь их можно было ожидать здесь поблизости — на богатых пастбищах и заливных лугах урочища Корык. Видимо, аулы приближались к Акшокы.

Всадники подъехали, и Абай не меньше Айгерим удивился, как вырос и растолстел Оспан за время разлуки. Он ехал на упитанном гнедом коне с длинным хвостом. И без того крупное, его тело сейчас казалось огромным: Оспан еще не сбросил толстой зимней шубы, на голове был большой тымак из длинношерстой мерлушки, длинные ноги, обутые в теплые сапоги, спускались до колен рослого коня. Каждый раз, когда Абаю приходилось видеть брата после долгого перерыва, он ахал от удивления.

Когда Оспан, подгоняя коня камчой, подъехал вместе со своим товарищем Дарханом, маленький аул встретил родичей общей радостью. Айгерим вышла навстречу, взяла за повод коня Оспана и, приветливо поздоровавшись, шутливо сказала:

— Всю ночь ты, что ли, ехал, Кенже, так закутался!.. Но тот и не ответил на шутку. Большие его глаза под тяжелыми веками покраснели, словно после бессонной ночи, он был мрачен и неразговорчив и совсем не походил на веселого забияку Оспана. Идя к юрте, Абай засыпал вопросами — где кочевье, здоровы ли отец и мать. Оспан коротко ответил, что сегодня аулы откочевали с одного из склонов Акшокы и направились к урочищу Корык, по соседству со стоянкой Абая, и потом замолчал, теребя свою редкую бороду и усы. Борода у этого великана выросла странная — каждый волосок в ней торчал отдельно, будто жесткий конский волос.

Айгерим захлопотала о чае и угощении, негромко дав распоряжения Злихе. Заметив это, Оспан предупредил, что обедать не будет. Он даже не снял пояса и, едва присев в юрте, сообщил, что старший и любимый внук Кунанбая, сын Такежана и Каражан, двенадцатилетний Макулбай болевший с зимы, вчера скончался.

Это известие объяснило Абаю причину необычного поведения брата. С Такежаном братья жили не очень дружно, и поэтому Абай особенно оценил искренность печали Оспана: он увидел в этом любовь и сочувствие к родным. Он прекратил расспросы и оставил Оспана в покое.

Гости напились кумысу. Абай сидел молча, но теперь Оспан и Дархан в свою очередь начали расспрашивать его о ходе постройки.

Оспан отлично знал, что Абай не сведущ в домашних делах. Сам он был гораздо хозяйственнее и оборотливее Абая, заботился о скоте и берег добро аула. Как только Абай собрался откочевать в Акшокы для постройки дома, Оспан сам подобрал ему и знающих мастеров и толковых рабочих, позаботился об инструментах и о запасах еды. Но после отъезда брата он шутил с матерями и домашними:

— Ну вот и Абай за ум взялся! Хоть и невелика затея, но сразу видно— дельцом станет! Говорил я ему: «Давай я буду пасти скот, а ты паси слово», — так нет, вздумал заняться постройкой! То-то нахозяйничает!..

И теперь, когда заговорили о делах, казалось, что старший брат — не Абай, а он, Оспан. Он деловито спрашивал — сколько намесили глины, сколько тысяч кирпича заготовили, сколько штук делает за день лучший мастер? Абай не мог ответить на большинство вопросов и только поглядывал на Айгерим и Ербола. Было понятно, что он ничего не знает о ходе работ. В другое время Оспан просто поднял бы его на смех, но сейчас он лишь едва улыбнулся и повернулся к Айгерим и Ерболу.

Айгерим все еще плакала, жалея Макулбая, но Оспан уже не обращал внимания на ее слезы. Он задавал ей вопросы и требовал толковых ответов. Узнав, что нужно, он собрался сам на место постройки и, пропустив вперед Айгерим и Ербола, остановился в дверях, повернувшись к Абаю.

— Прикажи оседлать коня, поедем в Корык. Побывай в Большой юрте, отдай салем отцу… И у Такежана прочти молитву… А по дороге поговорим об одном деле… Надо посоветоваться…

Абай внимательно посмотрел на него и понял, что главная причина подавленного вида Оспана крылась именно в последних словах.

Дело касается народа? — спросил он как бы вскользь.

— Народа или злых сородичей — сам увидишь, — уклончиво ответил Оспан. — Но поговорить надо, вели седлать коня.

Но вместе с Абаем поехал и Кишкене-мулла: его вызвала Улжан, чтобы он совершил поминальное чтение корана по умершем внуке. При посторонних Оспан не хотел начинать волновавшего его разговора, всю дорогу шла общая беседа о постройке, о покосе и заготовке кормов на зиму. Зима здесь бывает суровая, снегу выпадает гораздо больше, чем в Жидебае и Чингизе, и надо запастись кормами, чтобы справиться в случае джута. Оспан посоветовал накосить как можно больше сена на урочище, расположенном рядом с зимовкой Абая, и тут же заметил, что соседство аулов, прикочевавших на Корык, так близко к Акшокы, было невыгодно для Абая.

— Аулы пришли на свои старые места, а я и не подумал об этом, — сказал он с сожалением. — Не до того было с хлопотами о похоронах, а то бы я выбрал

место подальше от тебя…

Абай тоже не подумал об этом. Забота брата его тронула.

— Ты прав, — согласился он. — Но ведь я не анет и не котибак… Не буду же я кричать: «Не смейте пускать сюда ваш скот, тут мой покос!» Посоветуйся с матерями и братьями и позаботься о моей зимовке.

Но оказалось, Оспан уже все решил:

— Пусть аулы постоят здесь до седьмого дня и примут первое поминание сородичей. А потом я отведу наши аулы подальше, — нынче воды много и разлив широкий. А тут травы подымутся быстро, без сена не останешься!

Еще при выезде из Акшокы Абай увидел огромные стада, пестревшие кругом на лугах, но стоянок аулов еще нельзя было различить. Теперь в долине, на расстоянии бега стригуна,[139] он насчитал по меньшей мере пятнадцать аулов, остановившихся неподалеку друг от друга. Вокруг каждого виднелись табуны и стада, привольно расположившиеся на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами. Стада не разбредались и не двигались, животные уткнулись мордами в сочную зеленую траву и стояли неподвижно, как всегда, когда скот после перекочевки попадает на свежеее, тучное, еще не истоптанное пастбище. Оспан и Дархан наметанным взглядом сразу опеределили по поведению скота богатство пастбищ.

— Скот лучше людей понимает землю — смотрите, как прилипли к траве, не шелохнутся! — заметил Дархан.

Оспан поддержал его:

— Еще бы!.. Соскучились за зиму по лугам!..

Скоро среди пестроты стад стали видны отдельные юрты. Было понятно, что кочевья двигались ровными рядами и прибыли к месту одновременно: все аулы уже установили кереге и теперь наводили купола юрт из длинных уыков, окрашенных в яркий красный цвет и видных издалека. Потом на них стали накидывать кошмы, и все спокойное зеленое море стало покрываться белыми куполами. Вскоре в самом центре аулов поднялась восьмистворчатая Большая юрта Улжан. Едва закончилась ее установка, как во всех остальных аулах стали появляться свои Большие юрты.

Все эти стоянки расположились от Акшокы не дальше, чем на расстояние бега стригуна. Пока Оспан и его спутники, спускавшиеся к аулам с возвышенности, доехали до стоянки Улжан, установка юрт закончилась всюду. Пятнадцать аулов, выросшие в безлюдной долине, сразу оживили ее, наполнили шумом и движением.

Не останавливаясь у Большой юрты, братья поехали прямо к траурному аулу Такежана, расположившемуся рядом со стоянкой Улжан. Став волостным и быстро разбогатев, Такежан отделился от родных и кочевал самостоятельным аулом, но после смерти Макулбая Улжан на последних перегонах ставила свои юрты вблизи стоянки сына. И она сама и другие старшие родичи большую

часть времени проводили в юрте Такежана. Потеря первенца вызвала всеобщее сожаление и внимание к Такежану и Каражан, — не только Улжан оплакивала умершего, успокаивала родителей и устраивала поминовение, но и сам Кунанбай все эти дни держался ближе к сыну и снохе.

К траурной юрте Абай подъехал без громкого плача и не на всем скаку—если умер подросток, это считается нехорошей приметой. Он молча обнялся с Такежаном, стоявшим у входа, и только в самую юрту, где уже голосили Каражан и другие женщины, он вошел с обычным поминальным причитанием: «Дитя мое, жеребеночек мой…»

Юрта была полна сородичей — мужчин и женщин. Все плакали. Абай и Кишкене-мулла, совершая поминальный плач, обнялись по очереди со всеми старшими женщинами, начиная с Каражан, Айгыз и Улжан, потом, продолжая молча плакать, сели ниже Кунанбая и Карата сидевших на переднем месте юрты. Через некоторое время общий плач затих, одна Каражан изливала в причитаниях свое материнское горе.

Несмотря на печаль этой минуты, Абай не мог найти себе сердечного участия к Каражан. Голос у нее был низкий, неприятный, он дребезжал и надоедал, слова звучали холодно и не пробуждали глубокого чувства. Каражан плакала о сыне, а от голоса ее веяло холодом.

Кишкене-мулла начал чтение корана на бухарский лад— звучно и нараспев. При первых его словах Кунанбай склонил голову, закрыл свой единственный глаз и сделал рукой знак все еще голосившей снохе. Айгыз и Калиха, сидевшие рядом с Каражан, поняв Кунанбая, остановили ее.

— Хватит, келин, не мешай читать коран…

Абай и Оспан долго просидели в траурной юрте. Народу в ней осталось немного: только Кунанбай, Каратай и Улжан проводили здесь весь день. Тут же сидел мулла Габитхан в очках, с чалмой на голове, читая коран, положенный перед ним на большую белую подушку. Он читал истово, с чувством, глаза его, опущенные на коран, порой закрывались— он читал суры корана наизусть. Кунанбай чуть слышно сказал несколько слов Кишкене-мулле. Тот совершил омовение, достал привезенный с собой коран, положил подушку ниже Габитхана и тоже начал читать шепотом, растягивая слова. Оспан прислонился плечом к Абаю, а спиной — к кереге и задремал под этот монотонный шепот. Абай тоже молчал — с отцом они перебросились лишь несколькими обычными вопросами о здоровье.

Кунанбай вернулся из поездки в Мекку, которая затянулась на четыре года, в конце минувшей зимы. Он поседел и казался глубоким стариком. Крупное его тело еще сохранило былую величественность, но все лицо избороздили бесчисленные морщины. Когда-то крепкий и сильный, он выглядел теперь усталым и опустившимся. На голове его была привезенная из Мекки белая ермолка, на плечах — белый шелковый чапан со стеганым воротником, какой

тоже не носили тобыктинцы. Голос его не звучал, как раньше, сильным, низким басом: о чем бы он ни говорил, он говорил теперь негромко и мягко. Сородичам он стал казаться человеком другого мира, другого воспитания. Всем своим видом он показывал свою набожность и мягкость, производя впечатление кающегося грешника.

Вернувшись из Мекки, он поселился в юрте Нурганым за постоянно опущенной занавеской, превратив свое жилище в какую-то келью или михраб.[140] Он жил, будто прячась от всех, и лишь смерть внука привела его на время к людям. Из этого безмолвного одиночества его мог изредка выводить только его давний друг, старый Каратай.

Абай знал, что с отцом говорить не о чем, и весь день провел молча. Разговаривали только Кунанбай с Каратаем. Старик обладал способностью втягивать в беседу любого, и сейчас он сумел расшевелить даже Кунанбая: он повел речь о вещах, уместных в обстановке траурной юрты, и стал задавать вопросы, на которые всякий набожный мусульманин не может не ответить. Это были расспросы о могилах святых, которые хаджи Кунанбай посетил в Мекке и в Медине. Кунанбай, перебирая четки, негромко отвечал Каратаю:

— В Медине я посетил могилы Рассульаллаха, хазрета Абубакира, Гумара и Фатимы. Довелось побывать и на могилах хазретов Габбаса, Хамзы и Гусмана.

Каратай продолжал с тем же набожным видом:

— А кроме упомянутых тобой святых, есть ли там могилы кого-либо из сахабов?[141]

Кунанбай и на этот вопрос охотно ответил:

— Там покоятся Сагди-бин-Уакас, Габдрахман-бин-Гауф и хазрет Гайша. Эти места называются местами упокоения друзей пророка.

Габитхан, не отрывая глаз от корана, заметил:

— Эти места называются по-арабски — Гашура и Мубашшара. — И он продолжал свое чтение.

Кунанбай повернулся к мулле и склонил голову в знак почтения.

— Вы правы, мулла, я объяснял ему на нашем родном языке…

Теперь Кунанбай уже сам стал описывать свое путешествие из Мекки в Медину, — как тринадцать дней он блуждал на верблюде по пустыням Аравии, выйдя из города Шам с караваном. Он сообщил, на каком именно месте он облачился перед въездом в Мекку в одеяние паломников— «ихрам», как поднимался на гору Гарафа, сколько намазов совершил внутри священного храма у Каабы. Говорил и о том, что из Мекки он вышел пешком, и вспоминал подробности обратной дороги. Казалось, что Кунанбаю, проводившему жизнь в безмолвном отшельничестве, эта беседа с Каратаем была приятной и радостной. И за чаем и за обедом он оказывал Каратаю всевозможные знаки внимания, когда Каратай вышел из юрты, Кунанбай обратился к Улжан, как бы делая вывод из этой беседы:

— Мало среди наших неграмотных казахов таких сведущих, как Каратай. Все, что я видел, он знает так, как будто сам побывал в тех местах.

— Да сбудутся все его желания! — сказала Улжан. — Сегодня и я получила от него пользу: он заставил вас рассказать о многом, о чем вы до сих пор молчали. Вы столько увидели, столько узнали — а все берегли про себя, будто пряча от нас.

Улжан высказывалась не часто, но всегда метко. И Кунанбай и Абай поняли, что, похвалив Каратая, она упрекнула мужа. Кунанбаю слова жены показались легкомысленными, и он нахмурил брови, как бы говоря: «Женщина всегда остается женщиной, при ней все святое нужно хранить в тайниках души». Быстро перебирая четки, от отвернулся от Улжан и, шепча молитву, поднял руки и провел ладонями по лицу.

Абай посмотрел на мать и усмехнулся. Беседа отца с Каратаем, справедливый упрек матери, недовольство отца — во всем этом он чувствовал пустоту и бессодержательность жизни Кунанбая. Четыре года дальних скитаний кончились перечнем могил. Отец отвернулся от семьи, друзей, родных, Упрятал себя от всего мира за полог… Как мало приобретение, как велика утрата! Разве имеет, какой-нибудь смысл вся его теперешняя жизнь?..

Когда Абай с Оспаном выехали из аула Такежана, солнце уже шло к закату. Братья не решали заранее, где заночуют, — они просто сели на коней и поехали берегом реки в стороне от аулов и табунов, спускавшихся к водопою. Дорогу выбрал Оспан, и Абай, ожидая обещанного утром разговора, молча поехал за ним. Но беседе их опять помешала неожиданная встреча. На этот раз помехой оказался племянник, сын умершего Кудайберды — Шаке. Едва они спустились к реке, юноша вскачь нагнал их на отличной светло-серой кобылице. Легкий чапан его распахнулся, тымак из черной мерлушки с золотистым шелковым верхом сбился на одно ухо. Подлетев на своей резвой малолетке плавно и быстро, как парусный челн, он отдал салем и, показывая на серого сокола, который сидел на его руке, возбужденно заговорил, улыбаясь:

— Нарочно нагнал вас, чтобы похвастаться соколом!.. Абай-ага, поезжайте берегом, не я буду, если не привяжу к вашим седлам по утке!..

Сокол привлек внимание Абая. В багровом свете заходящего солнца стальные перья птицы отливали червонным золотом, а карие глаза сверкали кровожадным блеском, будто сами излучали огонь, боровшийся с отраженным в них пламенем заката. Сокол так понравился Абаю, что он взял его у Шаке, посадил на свой рукав и опытной рукой стал гладить его голову и перья, ощупывая его мышцы. По нетерпеливым взглядам и беспокойным движениям птицы он определил степень ее выучки.

— Такой на любую дичь бросится… Вот так сокол!.. Кто же его обучил? — обратился он к племяннику.

— Я сам. Я уже умею, — ответил тот. Абая обрадовали такие успехи Шаке.

— Молодец! Ведь это тоже искусство, и оно требует большой настойчивости… Ну, показывай свое уменье, посмотрим! Едем!

И Абай, отдав юноше сокола, пустил вскачь своего рыжего иноходца. Серая кобылица Шаке рванулась за ним. Оспан тоже погнал своего коня.

Впереди река образовала широкий залив, над которым то высоко в небе, то стелясь над самой водой, летало множество дичи — и шилохвостки, и нырки, и кряквы, и варнавки. Охотники двинулись туда крупной рысью, но сокол, уже заметивший добычу, беспокойно затрепетал, ударяя грудью по руке молодого хозяина, словно говоря: «Пусти!» Шаке внимательно осмотрелся, но вблизи ни на воде, ни в воздухе не было видно ни одной птицы. Абай нагнал его и, увидев беспокойство сокола, посоветовал:

— Спускай, он чует добычу!

Сокол скользнул с руки Шаке, будто падая на землю, нырнул под самой мордой кобылицы и низко, почти касаясь травы, устремился вперед. Как стрела, он перелетел через реку и, мелькнув на миг в травах, исчез с глаз всадников. Они молча переглянулись, оценивая его поведение. «Притаился», — была их общая мысль. Но сокол внезапно вновь появился над рекой и, блеснув грудью в зареве заката, резко взмыл вверх и тотчас камнем упал с высоты. Перепуганные птицы, крича и хлопая крыльями, рассыпались по всему небу, спасаясь от хищника. Охотники пустили коней вскачь к тому месту, где скрылся сокол.

В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготаньем била по воде крыльями, пытаясь сбросить с себя сокола, впившегося когтями в ее спину. Селезень вился над ним и нападал на него с неожиданной отвагой, будто бы и сам был ловчей птицей. Трепещущие крылья варнавок мелькали в лучах солнца бело-черными и красно-желтыми перьями, словно быстрые языки пламени, и серое плотное тело сокола, отливающее синевой, казалось куском стали, брошенным в пылающий горн. Абай подоспел в самый решительный момент этой ожесточенной схватки, когда борьба за жизнь дошла до крайнего напряжения, но невольно остановился, пораженный этой красочной картиной. Но Шаке, обогнавший Абая, уже спрыгнул с коня и побежал вброд по мелкой воде на помощь соколу.

Однако сокол сам расправился с обоими противниками. Удары, которые наносил ему крыльями и клювом селезень, привели хищника в ярость. Казалось, он не мог вытерпеть этого унижения. Вцепившись в спину утки когтями одной лапы, он внезапно впился другой в шею селезня и с силой бросил его с себя так, как бросают оземь шапку. Шаке не мог удержаться от восхищенного крика. Он подскочил, ударил камчой по голове утку, терявшую перья в отчаянной попытке вырваться, и отнял у сокола селезня.

Горячий сокол взял сразу двух варнавок. Это был невероятный случай,

преисполнивший Шаке городостью за сокола. Он отрезал голову утки, выдолбил из нее мозг и, посыпав его сахаром, припасенным в кармане, попотчевал этим лакомством сокола, который все еще не мог успокоиться. Он привязал к седлам Абая и Оспана по варнавке и снова сел на коня.

Вспугнутые птицы улетели не так далеко. Вскоре охотники заметили на воде целую стайку крупных уток. Чуть только сокол прижался к его рукаву, Шаке пустил свою кобылицу вскачь, держа сокола на вытянутой руке. И едва утки, почуяв приближение всадников, начали подыматься с воды, он со всего размаху кинул в их сторону сокола. Сжавшись в комок, вобрав шею и выставив плечи, тот сперва полетел в воздухе, как брошеный камень, а затем, блеснув, как молния, крыльями, стремительно рванулся вперед. Абай даже вскрикнул от удовольствия:

— Вот это бросок!

Вслед за ним мчался Шаке, колотя рукояткой камчи по дабылу,[142] привязанному к седлу. Напуганные дробным треском, утки еще больше всполошились и сразу поднялись ввысь. Сокол, летевший ниже их, внезапно, как брошенная вверх пика, метнулся снизу на желтоголового селезня с зеленой шеей, который поднялся выше остальных. Это произошло так быстро, что Абаю, который скакал с развевающимися полами чапана и что-то кричал, увлекшись охотой, показалось, будто селезень сам упал на сокола и повис в его когтях. Вцепившись в грудь птицы и держа ее спинкой вниз, сокол сделал несколько плавных кругов и опустился в траву перед Шаке. Абай не мог сдержать своего восхищения, — это было еще лучше, чем схватка с варнавками.

— Ну и сокол! Вот это выучка! Ты настоящий охотник, Шаке! — расхваливал он юношу. — Так и следует жигиту!

Оспан все время охоты оставался молчаливым и угрюмым, как будто его угнетала какая-то неотвязная мысль. Но тут и он улыбнулся, подсмеиваясь над восторгом Абая и его мальчишеским увлечением охотой. Шаке не изменил своей выдержке: выработал ли он в себе привычку владеть собой, или по природе был сдержанным, но он не отозвался на похвалы. Абай с почти отцовской гордостью оценил поведение племянника.

Братья уже собирались проститься с юным охотником, как из ближнего аула к ним подскакал Акылбай, старший сын Абая и Дильды. Он был очень похож на отца, но отличался от него белизной кожи, унаследованной от матери. Акылбай подлетел на всем скаку, отдал салем Оспану и, сияя улыбкой, кивнул на добычу Шаке.

— Меня послала ани-апа,[143] — начал он. — Она увидела, что вы охотитесь, и просила прислать добычу в наш аул… — Он повернул коня боком к Шаке. — Шаке-ага, приторочьте мне дичь к седлу!

Шаке поднял к седлу утку, но Оспан остановил его с неожиданной

резкостью:

— Стой! Не только дичи — ломаного крылышка для Нурганым не дам!

Злоба, прозвучавшая в этом грубом окрике, поразила Абая. Шаке смутился. Акылбай нахмурился и вспыхнул, в глазах его появились слезы.

— Какой вы, оказывается, скупой, Оспан-ага! — вырвалось у него.

И он тронул коня, но Абай задержал его:

— Постой, откуда ты здесь взялся?

— Мать прислала подводу в Акшокы, мы все приехали — Абиш, Магаш и я… — ответил мальчик все так же обиженно и сердито и с места вскачь помчался обратно к аулу.

Лошадь его была украшена султаном из перьев филина, сбруя и седло сверкали серебром. На голове его была соболья шапка, на плечах — бешмет из синего сукна с серебряными пуговицами, позолоченный кушак был украшен самоцветами. Вся одежда и убранство мальчика были нарядными и изящными, словно у девушки. К этому приучила его Нурганым, — Акылбай рос на ее руках, как младший сын Кунанбая: он родился, когда Абаю было всего семнадцать лет, и Нурганым, появившись в ауле Кунанбая, сразу же взяла мальчика к себе на воспитание. Акылбай не признавал Абая отцом, да и сам Абай относился к нему не как к сыну, а скорее как к любимому младшему брату. И сейчас, когда Акылбай, обиженный, поскакал прочь, казалось, что он поссорился со своими старшими братьями.

Неожиданная грубость Оспана, обидевшая мальчика, задела и Абая. Все его радостное возбуждение как рукой сняло. Попрощавшись с Шаке, который начал кормить сокола, Абай круто повернул коня и погнал его в Акшокы. Но Оспан вскоре нагнал брата. Абай хмуро посмотрел на него и раздраженно спросил:

— Чего ты взъелся? Зачем так распускать себя при детях? Неужели и в тебе зависть сидит? Кто ты — мужчина или кундес? Отвечай сейчас же!

Оспан весь день держал себя с Абаем как равный. Но гневный тон старшего брата изменил отношения. Он виновато взглянул на Абая и негромко ответил:

— Ты прав… Зря я вспылил, не надо было путать сюда детей… Но есть причина, почему я возмущаюсь, об этом-то я и собираюсь с самого утра поговорить с тобой… Все эти дни я кровью истекаю, умереть готов… До позора мы, дети Кунанбая, дожили…

— Какой позор, о чем ты говоришь? — перебил Абай, останавливая коня.

Он весь потемнел и впился глазами в Оспана. При мысли о новом несчастье он невольно задрожал.

Теперь и Оспан в упор посмотрел на Абая. Брови его сошлись, в больших и выразительных глазах, освещенных солнцем, мелькали красноватые злобные огоньки. Он заговорил негромко, но весь кипя:

— Нурганым — вот кто нас позорит. В доме отца третий день живет дорогой

гость этой токал — Базаралы. Он оскверняет ложе нашего отца. Вот оно, мое горе. Я знал об этом давно и молчал. Но больше скрывать от тебя не могу. Мне не с кем делиться, кроме тебя. Я все сказал. — Он помолчал и вдруг закончил с новой вспышкой ярости — Нынче же ночью, пока отец сидит в траурной юрте, я их обоих на ее же шанраке повешу!

— Замолчи! — задыхаясь, крикнул Абай.

Ему показалось, что его смертельно ранили в грудь. Дыхание останавливалось, ноги дрожали в стременах, не находя опоры, гнев комком стал в горле.

— Разве так думают о чести? Это глупость и невежество! И как у тебя язык повернулся? Я тебя самого на том же шанраке повешу! Отцу до могилы ближе, чем до очага в юрте, а ты хочешь его голым в гроб уложить? Осрамить на весь мир, псам на съедение бросить?.. Вот мое слово: замыкаю тебе рот, надеваю на руки путы!..

Он вытянул коня камчой и один помчался в Акшокы. Солнце садилось. Весь край неба залился багрянцем. Абай гнал и гнал коня. В сердце его бушевала буря.

Его возмущала и Нурганым, забывшая совесть, и Оспан, готовый выдать позор отца, и Базаралы… Базаралы! Единственный, кого Абай ценил так высоко, кого так выделял из всех!.. Сейчас он стал для Абая совсем чужим… Давно Абай не ощущал в сердце такого бешеного урагана чувств. Обида, гнев, жалость, стыд, горечь обмана и вероломства — беспощадные, надрывавшие душу чувства мчались вместе с ним, и каждое было острее лезвия бритвы… Он не знал, что думать, что делать, на что решиться…

И вдруг он вспомнил о прочитанной утром книге… Дубровский!.. Перед ним сразу же всплыли распри, переходящие от отцов к детям, вражда, терзающая его род из поколения в поколение: Кунанбай и Божей… Такежан и брат Базаралы — Балагаз… Другой его брат Оралбай… Несчастная Коримбала… Он вспомнил всех близких Базаралы, непрерывно терпевших обиды от родичей Кунанбая, и тут же перед ним возник умирающий старик Дубровский, сломленный насилием Троекурова… А Владимир? Ведь и он был в пламени вражды, но нашел исцеление в любви к Маше… Так ли виноват Базаралы?.. Впервые для Абая правда искусства слилась с жестокой правдой жизни.

События, казалось, требовали действий, отдавали сердцу приказ чести, настойчиво твердили: «Найди выход, укажи путь!» Ударами плети он гнал своего иноходца, который мчался все быстрее. Вместе с конем он как будто гнал и свои мысли, но как только он вспоминал Кунанбая, Нурганым и Базаралы, перед ним сразу же появлялись Троекуров, Владимир и Маша — и мысли не находили выхода…

Абай подъехал к своему аулу в глубокие сумерки. Кругом было тихо, никто не выбежал навстречу. Детей не было, рабочие с постройки и соседи тоже

уехали к Корыку навестить прикочевавших родичей. Абай шагом подъехал к своей юрте, сошел с коня, сам привязал его и уже хотел было войти в юрту, как вдруг услышал оттуда тихую песню. Звук голоса тянулся, словно ровная и тонкая шелковая нить. Точно боясь оборвать ее, Абай осторожно опустился на траву и сел возле самой двери. В юрте не заметили его, и пение продолжалось. Только Злиха, сидевшая у очага возле юрты, увидела его и поспешно подошла к нему, но Абай сказал ей шепотом:

— Не мешай… Айгерим поет хорошую песню, не вхо-ди вюрту… Послушаем отсюда…

— Там нет света, я зажгу огонь, — прошептала Злиха.

Но Абай снова остановил ее:

— Не надо. Песня оборвется.

Злиха понимающе улыбнувшись, молча вернулась к очагу.

Абай снял тымак, расстегнул под чапаном рубашку, подставив грудь легкому вечернему ветерку, и стал прислушиваться к тихой песне. Оставшись одна, Айгерим воспользовалась неожиданным уединением и пела у постели своего первенца Тураша. Ребенок что-то лепетал, потом затих — то ли слушая песню, то ли уснув.

Айгерим пела нежную грустную песню «Карагоз»,[144] одну из песен Биржана. Высокий, чистый голос трогательно звучал в вечерней тишине. Айгерим пела вполголоса, и от этого песня казалась еще нежнее и задушевнее.

Черноглазая красавица моя

Остается там, далеко…

Если ей без меня легко,

Что скажу, безутешный, я?

Этот припев звучал у Айгерим особенно нежно. Отдельные строчки она пела нынче по-своему, изменяя напев, и Абай понял, что в эти новые звуки она вкладывала все чувства, переполнявшие ее сердце. Казалось, в этот вечерний час молитв и пожеланий она, как верный друг, соединяла в песне и свою печаль и горесть Абая.

Он давно уже не слыхал ее пения. После отъезда Биржана весь Иргизбай заговорил о «певице-келин», появившейся в ауле Кунанбая. Но, когда сам

Кунанбай вернулся из Мекки, пришлось всячески скрывать, что среди его невесток есть певица, он не терпел никакого мирского веселья. Кроме того и Дильда продолжала науськивать на Айгерим родных, которые при всяком удобном случае попрекали Абая пением Айгерим. Даже когда, уступая его настойчивым просьбам, она пела для него, оставаясь с ним вдвоем, это становилось известным в ауле Кунанбая и вызывало новые упреки. Песня стала для нее не удовольствием, а мукой, и поэтому Айгерим со слезами просила Абая не заставлять ее петь. Абай понял ее и согласился, хотя и чувствовал, что помогает этим родне зарывать в землю такой редкий дар.

И каждый раз, когда Абай брал домбру и наигрывал на ней волнующие душу напевы, лицо Айгерим менялось: она бледнела, и ее прекрасные карие глаза наполнялись слезами. Абай замечал это, но никогда не показывал, что видит ее волнение. Он продолжал играть, стараясь без слов утешить Айгерим и убаюкать сердце вдохновенной певицы, вынужденной молчать.

Но однажды этой зимой, в такие же вечерние сумерки, когда Абай долго играл, Айгерим тяжело вздохнула, не в силах сдержать горького чувства, и он отложил домбру.

— Что с тобой, Айгерим?

Он обнял ее. На руку его капнула горячая слеза.

Абай и сам не смог сдержаться. Он сказал ей с глубокой грустью:

— Ты была моим соловьем. Твой вольный голос летел по вольному небу, ты могла околдовать каждого, тронуть любое сердце… А я оказался птицеловом: поймал соловья и посадил в золотую клетку… Не только наш аул заглушил твой голос, задушил чуткое сердце, закопал в землю твой светлый дар… Я тоже виновен в этом…

И вот сегодня пленный соловей тихо изливал свое горе, не смея даже повысить голос. Напеву «Карагоз» Айгерим придавала чудесное разнообразие тончайших оттенков, и в каждом из них был свой смысл, каждый открывал новую сторону человеческой души. В песне слышалась то светлая материнская нежность, то тревога за жизнь и счастье маленького существа, лежащего у нее на руках, то горячая любовь к Абаю — все прорвалось наконец сквозь тяжкие путы, сковывавшие ее волю. Это была горестная исповедь наболевшего сердца, печальная, как материнское причитание, и, слушая ее, Абай забыл обо всем.

Айгерим долго не прекращала пения, как будто, оставшись наконец наедине в своей тесной клетке, она не могла расстаться с песней. Абай не шевелился, не прерывал ее и слушал, все глубже задумываясь. Он вошел в юрту лишь тогда, когда наступила полная темнота и песня замолкла. Айгерим не ожидала его и сильно смутилась при его появлении.

— Когда вы приехали? — спросила она, вскочив с места.

— Когда Тураш еще не спал и «черноглазая» только ошла в юрту, — ласково рассмеялся Абай.

Вошла Злиха и зажгла свет, Абай сел рядом с женой.

— Вот что я надумал, пока ты пела, — сказал он. — Я сегодня слышал плач Каражан. Хоть она и мать Макулбая, но оплакать его потерю она не может. Я слушал твое пение, и в моей душе сложились слова. Я напишу их, ты выучи, а напев найдешь сама. Ты пела сегодня «Карагоз» по своему… Я думаю, это подойдет к печальным словам.

И он взялся за бумагу.

То и дело подымая глаза на нежное и печальное лицо Айгерим, Абай искал слова для плача по Макулбаю. Пение Айгерим его глубоко растрогало — он убедился, что она не только певица, способная исполнять чужие песни, но и сама может создавать новые напевы. А она, следя за бегущей по листу рукой Абая, чувствовала, что перед ней совершается таинство рождения новой песни. Она сидела, с нежностью глядя на бумагу и благодарно улыбаясь. Для обоих этот вечер был светлым вечером творчества и вдохновения. Абай быстро написал строки плача и громко прочел их Айгерим:

У сокола, что всех смелей,

Злой стрелок соколенка убил;

У дерева, что всех пышней,

Злой пожар вершину спалил;

Срезаны под корень без следа

Хвост и грива статного коня…

Любовалась на тебя родня —

Ты ее покинул навсегда.

Ты померк и вспыхнуть не успев!

Ранней смерти рана тяжела…

Солнце греет ниву, а посев

Сгубит вьюга, холодна и зла…

Жалости у жадной смерти нет,

Жди не жди, приход ее жесток:

Губит все, стирает жизни след,—

Как не лить горячих слез поток?

Всеми был дарами наделен,

Ласков и разумен мой родной.

Рано этот мир покинул он,

Нас рыдать оставив над собой…

Айгерим, полная материнской любви к своему Турашу, близко к сердцу приняла известие о смерти Макулбая. И теперь, выслушав стихи Абая, она не выдержала и расплакалась.

У нее была хорошая память, и она быстро умела схватывать. Абай раз пять прочел ей написанное, и она уже знала всю песню.

На следующий день, захватив поминальное приношение, Абай с Айгерим и Злихой отправились в аул Такежана. Как только они стали приближаться к юртам, Айгерим высоким голосом начала свой плач. Траурная юрта, как и вчера, была полна. Айгерим, войдя в нее, села ниже Каражан и, опершись руками о колени, продолжала свою звучную песню. Все старшие, начиная с Кунанбая, стали внимательно прислушиваться. Горькие слова о смерти еще не созревшего существа, покинувшего жизнь, печальный, полный тоски напев, найденный Айгерим, растрогали всех. Рыданья, утихшие было после общего причитания, усилились. Улжан не выдержала.

— Ягненок мой милый, светик мой!.. — запричитала она.

Даже мужчины не могли сдержать слез и, негромко бормоча печальные слова, плакали со всеми. Голос Айгерим всколыхнул в Абае не только свежее горе по Макулбаю, но и все пережитые им самим горести и невзгоды, понятные только ему и его молодой жене. Он тоже заплакал.

Общее искреннее горе семьи и близких охватило юрту, — казалось, что только пение Айгерим смогло дать ему выход. Никто не мог остановить слез, и, когда началось чтение корана, рыдания долго не стихали.

Когда плакавшие несколько успокоились, Кунанбай приказал Улжан:

— Пусть эта невестка причитает по мальчику до сорокового дня. Пусть остается здесь, пока приезжают поминающие, и оплакивает моего Макулбая…

Это приказание совпало с желанием самой Улжан, которое она не смела высказать. Айгерим не вернулась в Акшокы и, сидя рядом с Каражан, изливала в пении материнское горе.

2

До конца поминальной недели Кунанбай оставался в траурном ауле Такежана, не возвращаясь к Нурганым. То, что возмущало Оспана, продолжалось и эти дни: Базаралы по-прежнему гостил в ауле отца. И хотя сплетен и пересудов это не вызывало, Оспан не находил себе места. Ненависть его к Нурганым все усиливалась и наконец вспыхнула открытым огнем.

Базаралы заехал в аул накануне смерти Макулбая, чтобы отдать Кунанбаю салем по случаю возвращения его из Мекки. Старый хаджи всегда отличал его среди остальных жигитов Тобыкты еще с тех времен, когда Базаралы, заступаясь за своего брата Балагаза, смело и открыто вывысказал ему прямо в глаза все свои мысли. В разговорах с Нурганым он высказывал сожаление, что такой умный и твердый человек родился в бедной, незнатной семье: родись он от человека посильнее, он мог бы стать гордостью рода.

Теперь, увидев Базаралы, Кунанбай стал расспрашивать, как живут его родители, он сам и семья сосланного брата. Базаралы, самолюбивый и гордый, никому не жаловался на свою бедность, но Кунанбаю он решил сказать все: осиротевшая семья Балагаза рассыпалась, как стайка голодных воробьев, старшие дети работают батраками у зажиточных соседей, малыши сидят даже без молока, потому что у семьи не осталось и коровы.

Выслушав его, Кунанбай удивил всех: он приказал сейчас же отослать семье Балагаза двух дойных коров, а самому Базаралы, который приехал на тощем коне и в поношенной одежде, сшить новый чапан, тымак и кожаную обувь. Каратай, присутствовавший при разговоре, всюду стал говорить о смирении и раскаянии хаджи, который в своей святости старается загладить обиду, некогда причиненную им Балагазу.

Если муж оказывал такое внимание сородичу, то и Нурганым не считала нужным скрывать свое участие в деле жигита. Чувство ее к Базаралы не угасало. Нурганым держалась свободно, хотя не раз до нее доходили слухи о раздраженных нападках Оспана. Она принимала Базаралы в ауле как самого дорогого гостя, подчеркивая свою заботу о нем, и даже сама взялась шить для него одежду. Оспан возмущался: «Это же позор, что станут говорить?..» Нурганым только надула губки и даже не стала объяснять, что все это делается по приказанию Кунанбая. Ей как будто доставляло удовольствие дразнить

Оспана. Она и Акылбая отправила за дичью только для того, чтобы взбесить Оспана. Мальчик рассказал ей о грубой выходке дяди, но и это не встревожило самоуверенной красавицы, хотя Оспан впервые задел ее в присутствии Абая.

Гневные слова брата не удержали Оспана от открытых враждебных действий. На другой день после охоты с соколом Оспан, идя к колодцу, услышал в юрте шутки и громкий смех Нурганым и Базаралы. Это его взорвало, и он с бранью накинулся на прислужницу, бравшую из колодца воду:

— Проваливай! Здесь для Нурганым воды нет! Не позволю поганить мой колодец! Убирайся и скажи ей: если кто-нибудь придет сюда за водой для нее, я ему шею сломаю!

И он тут же приказал Мусакпаю и Дархану не отходить от колодца ни днем ни ночью и не давать в юрту Нурганым воды. Целый день он появлялся на коне у колодца, наблюдая за выполнением своего приказа, — и за целый день аул Нурганым не получил ни капли воды. К вечеру Оспан заметил двух женщин, которые везли на верблюде бочку воды из реки. Он подскакал к ним, опрокинул бочку и закричал:

— Передайте Нурганым — пока она не отправит Базаралы из аула, всех вас без воды заморю! Пусть уймется, пока цела, а то хуже будет.

Оспан никого не подпускал ни к реке, ни к колодцу и ночью. Он весь почернел от злости и совсем потерял разум, не думая о том, что своим поведением сам вызывает сплетни, которые очернят имя отца.

Аул Нурганым второй день страдал от нехватки воды. Вражда становилась открытой, обе стороны шли к неизбежному столкновению. Нурганым была раздражена не менее Оспана, но не только не отпустила Базаралы из аула, но даже не рассказала ему о выходках Оспана. По аулу она ходила сосредоточенная и злая, но, входя в юрту, принимала беззаботный вид, сияя улыбкой. Она удвоила внимание к гостю и находила для него ласковые и веселые слова. Базаралы отлично знал о том, что происходит вокруг юрты, но делал вид, что ничего не замечает, наблюдая за Нурганым и восхищаясь ее поведением. Его просто забавляло, что будет дальше.

К обеду Нурганым нашла выход, на который вряд ли решилась бы в ее положении всякая другая женщина. Аул стоял на влажном и сочном лугу, вырыть колодец можно было в любом месте. Догадавшись об этом, Нурганым позвала в кухонную юрту трех жигитов, велела служанке освободить место посреди юрты возле очага и коротко приказала жигитам:

— Копайте тут колодец, да живее!

Жигиты тотчас приступили к работе. Нурганым следила за ними, улыбаясь. Ее карие, слегка навыкате, глаза насмешливо поблескивали.

— Оспан уж очень верит в свою силу… Так пусть знает, что остался в дураках! Копайте быстрее и ставьте самовар!

И она медленньш шагом торжествующе пошла по аулу, гордо выпрямив

свою полную, статную фигуру. Тяжелое шолпы в ее волосах тихо позванивало, будто посмеиваясь над Оспаном. Все женщины обоих аулов поразились дерзости и смелости Нурганым, которая с такой уверенностью и сознанием своей правоты бросила вызов Оспану и всем тем, кто перешептывался о ней.

Но Оспан отомстил ей неожиданным и жестоким образом, отдав Базаралы в руки его врагов.

В эти дни на прохладном и просторном урочище Ералы, верстах в пятнадцати от аула Кунанбая, готовились к выборам волостных управителей. Нынешней весной сюда прикочевало больше сотни аулов — тут были и бокенши, и жигитеки, и иргизбаи, и котибаки, и многочисленное племя Мамай, зимующее на горе Орда, — и проводить выборы было всего удобнее здесь. В стороне от аулов ровным рядом было выставлено тридцать новых белых юрт для ожидавшего большого начальства и старейшин родов. На этот раз выборы должен был проводить не крестьянский начальник со своими чиновниками, как обычно, а сам семипалатинский уездный начальник Кошкин. Говорили, что он выехал сюда не только для выборов, но и для расследования какого-то важного дела.

Он прибыл в Ералы в сопровождении крестьянских начальников обеих волостей и с большой свитой урядников И стражников. Повозки со звонкими колокольчиками образовывали целый поезд, впереди которого и по сторонам скакали шабарманы[145] с сумками через плечо и стражники с саблями. Еще по дороге к месту выборов Кошкин подверг наказанию розгами двух волостных старшин — кзыл-адырского и чингизского, выехавших ему навстречу. Известие это опередило его, и все собравшиеся в Ералы на выборы называли Кошкина Тентек-оязом.[146]

Абай жил у себя в Акшокы, когда Жиренше и Асылбек прислали к нему нарочного, прося немедленно приехать к Ералы: ожидались тревожные дни. От Абылгазы пришла другая новость: начальство приехало расследовать дело Оралбая и уже арестовало Базаралы, отыскав его в ауле Нурганым.

Встревоженный, Абай тотчас же сел на коня, попросив Ербола сопровождать его.

Приехав в Ералы, они направились к юртам, поставленным для начальства, рассчитывая найти здесь Жиренше. Неподалеку виднелся Большой аул, не меньше чем в сорок юрт резко отличавшихся от обычных стоянок, всегда окруженных многочисленными стадами. Хотя он был, пожалуй самым многолюдным во всей долине, вокруг него не тянулись привязи с жеребятами, котан не чернел овечьим пометом, — лишь кое-где паслись редкие кучки скота. Маленькие юрты, покрытые прокопченным рваным войлоком тесно жались друг к другу на небольшом клочке жайляу. Тяжелая нужда чувствовалась во всем. Аул этот так и назывался — Коп-жатак.[147] Еще ранней весной, когда Абай только что прикочевал на Акшокы, двое стариков из этого аула —

Дандибай и Еренай — приходили к нему и рассказывали о нищете аула, прося помощи.

Увидев эту стоянку, Абай удивлено переглянулся с Ерболом.

— До чего же довела их нищета, погляди, что делактся там! — показал он на крайние лачуги.

Это были совсем маленькие шалаши и палатки, похожие больше на свалку рухляди, чем на жилье. Возле них прямо под открытым небом стояли старье сундуки, треножники для очага, валялись обшарпанные седла, поломанные кровати.

Вокруг всего этого хлама копошились оборванные дети, бродили старики и старухи, одетые в остатки шуб и чекменей.

— Наверное, ветер свалил их юрты, в этих местах часто бывают ураганы, — догадался Ербол. — Видишь, этот край аула остался совсем без крова…

— Свернем, узнаем, что случилось, — жредложил Абай и повернул коня к разоренной части аула.

Навстречу им, опираясь на длинную палку, вышел старик. На голое тело его был надет рваный чекмень, исхудавшее лицо покрывала густая сеть морщин. Абай с удивлением узнал в нем Даркембая и поздоровался с ним.

— Разве и ты переселился в Коп-жатак, Даркембай? Как же я ничего не знал об этом? — спросил он. Даркембай ответил не сразу. Когда жигиты спешились и пошли с ним к ближайшей лачуге, он печально, заговорил:

— Ты не знал, потому что я перебрался сюда недавно. Теперь уж мне до смерти жить здесь…Тут около сорока таких же нищих, как я. Напрасно я всю жизнь работал на Суюндика и Сугира. Никто из них не сказал мне: «Когда у тебя были силы, ты держал мой соил, был моим глазом, оберегал мое добро, зимой стерег мои стада. Теперь ты ослаб, но без помощи не останешься, своим трудом ты заработал себе спокойную старость…» Нет, разошелся мой путь с ними! Вот я и решил: чем бродить одному с седлом за спиной, лучше буду жить одной жизнью со всеми.

— А кто же здесь у тебя из близких или сородичей? — спросил Ербол. — Ведь говорят: «Даже если яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами…» Ты оторвался от своих. К кому ты пришел сюда?

В словах Ербола Даркембай почувствовал упрек — они оба были из одного рода Бокенши. Он ответил, по-прежнему глядя на Абая:

— Все эти сорок хозяйств — мои родичи. Не по крови, а по жизни. Нас сроднила общая доля и общее горе.

Ербол удивленно посмотрел на него: — То есть как это?

Но Даркембай снова обратился к Абаю:

— Да, это так, Абай, именно так…

Помолчав, он заговорил с горькой усмешкой, показывая своей толстой палкой на лачуги. Он не горячился, голос его звучал спокойно и ровно.

— Вот тут живут выходцы из Анета и Карабатыра, они круглый год пасли скот у богачей-иргизбаев Акберды и Мирзатая, да и у твоего отца, в ауле Кунке… Вот там — батраки Божея, Байдалы и Тусипа… Есть и из Котибака — от Байсала, и из Кокше, из Мырза и Мамая… Все хлебнули горя у сородичей, все брошены ими, все такие же нищие, как я. И сами с семьей всю жизнь мыкались у байского порога, и родители их, и деды, и прадеды. Вот что нас роднит… Посмотри на нас: вот я, старик Даркембай, вот Дандибай, тоже высох от старости, вот дряхлый Еренай — все мы хилые, бессильные, ни одного взрослого сына-работника в семье нет… Другие помоложе нас, да кто сам калека, у кого жена, у кого дети больны — не жалели себя в стужу и буран, оставили на работе у баев все силы. А из-за чего? Из-за лишней ложки шурпы… Зайдите в юрты, посмотрите. Одни захирели от старости, другие еще молодыми зачахли, у одних грудь ноет, у других поясницу ломит от простуды или ноги не ходят, кто ослеп, кого тяжкое увечье на постели держит… Каковы юрты, такова и жизнь в них: все дырявое, истрепанное, высохшее. Выкинули их баи, как негодные вещи… Раз не в силах идти за стадами Кунанбая, Божея, Байсала, Суюндика, Сугира, Каратая и по кочевьям — значит, и не нужны им, как старое седло или дырявое ведерко.

Старик печально усмехнулся.

— Вот ты, Ербол, сказал: «Даже если яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами». Все, кто живет здесь, это и есть мои сородичи. И жизнь у нас и мысли — общие…

Абай в глубокой задумчивости, с болью в душе слушал Даркембая. Он то хмурил брови, то глубоко вздыхал, снимая и вновь надевая тымак, не в силах сидеть спокойно.

— Зло и нужда охватили народ, — сказал он, когда Даркембай замолчал. — И это открыло тебе глаза, ты стал зорок, как сокол. Много среди нас, казахов, пустых краснобаев. У них с языка масло капает, речь, как иноходец, плывет, а какая от них польза? Сила слова в правде. Вот ты говорил сейчас жгучую правду, — что ответят на нее Кунанбай или Суюндик? Ты им и шагу не дал сделать, сразу к месту приковал… Ты не только себе — ты и мне глаза открыл…

Пока они говорили, к ним подошли еще несколько человек. Здесь были знакомые Абаю старики Дандибай и Еренай, несколько мужчин средних лет с истощенными землистыми лицами. Подошли и молодые жигиты, хмурые, желтые. Вместе с ними подошел Абылгазы, приехавший навестить тут своих друзей. Он поздоровался с Абаем и присел рядом с ним. К концу разговора из шалашей или просто из-под груд прокопченного старого войлока стали выползать еще люди. Абай, увидев это, показал на них Даркембаю.

— Ураган у вас, что ли, прошел? Сколько семей без всякого крова, малыши, старики… Почему они под открытым небом, что случилось?

Ему ответил Дандибай:

— Угадал, Абай, дорогой, — ураган. Только не от бога, а от начальства. От волостного… — Старик зло усмехнулся. — Вон посмотри, где белые юрты для начальства, видишь, что рядом?

Абай и Ербол только теперь заметили, что вблизи нарядных белых юрт стояло несколько прокопченных и маленьких. Они так тесно прижались друг к другу, словно делились какой-то общей тайной.

Дандибай крепко ругнул волостного и объяснил:

— Белые юрты — начальству для жилья, а наши лачуги — для издевательства над нами.

— Какое издевательство? — не понял Ербол. Жатаки заговорили все разом.

— Как же не издевательство? Наши юрты забрали под арестованных!..

— А другие — под кухни!

— Что кухни!.. Они себе из наших юрт отхожие места понаделали! Мало им для этого всего Ералы!

— А все волостной и пройдохи-старшины!

— Пес их знает, когды мы от этой своры избавимся… Старики, калеки, больные, дети — в одном тряпье без крова сидят!..

Абылгазы добавил:

— Можно подумать, что из жатаков и выберут бия и волостного — все с них спрашивают, всю тяжесть выборов на них свалили, даже и согласия не спрашивали… Майбасар приказал, а шабарманы весь скарб выкинули, разобрали юрты и перевезли их туда!..

Абай посмотрел на собравшихся с недоумением.

— Зачем же вы отдали свои юрты? Пусть сами и несут расходы!

Все хором зашумели:

— Ойбай, что вы говорите!

— Разве это можно?

— Ведь они пикнуть не дают!

— Это же не шабарманы, а настоящие сабарманы!..[148] Абай слушал это, повернувшись к разоренным юртам.

У выброшенных сундуков и тюков с домашним скарбом лежали два малыша, завернутые в старый чекмень. Оба были больные, волосы слиплись на бледных лобиках, мутные глаза и запекшиеся губы были облеплены мухами. Абай не мог сдержать своего возмущения:

— На съедение мухам оставили! Что они делают с людьми!.. Где твоя прежняя смелость, Даркембай? Стукнуть бы хорошенько да отогнать их, шабарманов!

Даркембай снова горько усмехнулся.

— Э, Абай, дорогой мой!.. И стукнули и отогнали, да хуже вышло…

И он рассказал то, что произошло здесь перед выборами.

Дней десять назад сюда, проездом в аул Кунанбая, приехал Базаралы и остановился у него. Несмотря на разницу в годах Базаралы и Даркембай походили друг на друга и смелостью и остротой своих суждений. Они всегда встречались, как старые друзья.

Он точно смелый вожак в стае, заблудившейся в степи, — не то что наши теперешние жигиты! — говорил Даркембай. — Я и не утерпел, чтобы не высказать ему всего, что на душе накопилось, все рассказал ему о нашей жизни…

За три дня Базаралы побывал в каждой юрте несчастных выходцев из родов Жигитек, Бокенши, Котибак, навещая больных, беседуя со здоровыми, помогая советами. Многими думами поделился он в те дни с жатаками, порой пел песни или выдумывал что-нибудь забавное, чтобы ободрить и развеселить их, и стал настоящим близким другом нищего аула.

Он рассказывал им, что такие аулы жатаков, как в Ералы, можно найти всюду: ведь он везде бывает и все видит. У подножия Догалана живут жатаки из родов Сак, Тогалак и Тасболат; в долине Бильде — из родов Анет, Бакен и Котибак; возле горы Орда — из племени Мамай, а на урочище Миалы — чуть ли не из сорока родов. Кроме того Базаралы слыхал о жатаках далекого Керея за Чингизским хребтом. В другой дальней волости — Кокенской — приютились жатаки, прозванные «сорокаюртными». Наконец, на расстоянии одного пикета от Семипалатинска осели жатаки Балторака и Жалпака.

Базаралы нарочно перечислял их так подробно: он рассказывал, что все эти люди, выброшенные своим родом, занимаются хлебопашеством и круглый год кормятся этим трудом, работая только на себя, а не на бая, и настойчиво советовал своим друзьям:

— Научитесь и вы сосать грудь земли. Объединитесь хотя бы по две-три семьи, вспашите весной хоть одну-две десятины, все силы на это положите и посейте хлеб! А летом займитесь сеном, мало разве здесь пустует урочищ, осенних выпасов? Хоть одной косой косить будете — все-таки сена запасете, город недалеко, на базар свезти можно, деньги выручть, прикупить что нужно. Лучшего места и отец родной не сыскал бы!

Базаралы горячо убеждал их подумать об этом, чтобы спасти свои семьи.

— На что вам еще надеяться? Вы и так всю жизнь обманывали себя пустыми надеждами, тратя последние силы. Мало ли среди вас таких, кто думал, что «сородичи сдохнуть не дадут, не сегодня, так завтра помогут», — и остался обобранным? Говорят: «В народе— что в золотой люльке», — да люлька эта лишь для богатых, сильных да родовитых… Разве я не знаю, как живут жатаки из моего же рода Жигитек? Все вы через обман прошли, все поняли, почему говорят: «Послушаешь — там клад золотой лежит, а придешь — и меди нет…» А поговорка: «Если даже яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами» — только для того и выдумана, чтобы заставить бедняка тащиться пешком за

бездельником на коне… Забудьте родовые кличи жигитеков, бокенши, — у вас клич один: «Жатак Ералы!» Поймите, что вы друг другу самые близкие сородичи, жизнь у вас — одна, и судьба одна, и вера одна… Только единства не теряйте!

Даркембаю так нравились эти мысли Базаралы, что он повторял их наизусть. Абай и Ербол напряженно слушали эту повесть о горькой правде. «Если бы Базаралы дать образование, вот была бы надежная опора обиженным и обездоленным не только в Тобыкты, а во всем казахском народе!»— думал Абай.

Даркембай продолжал рассказывать. В тот самый день, когда Базаралы собрался уезжать, шабарманы прискакали в Ералы. Они целыми караванами свозили сюда с разных сторон белые юрты и пригоняли овец для убоя. Посланы они были Такежаном и Майбасаром, которые передавали через них: «Идет беда, едет уездный ояз, надо ставить юрты».

Базаралы и Абылгазы сидели у Даркембая в юрте, когда, словно вражеским набегом, шабарманы нагрянули на аул. Трое подскакали к юрте Даркембая и закричали, не сходя с коней:

— Где Даркембай? Выходи сюда! Базаралы молча перемигнулся с Абылгазы.

— Не откликайся, — сказал он Даркембаю, — посмотрим…

Шабарманы, обозленные задержкой, орали в голос:

— Выходи, нечего важничать! И так на нас волостные жмут, а тут еще ты, рвань проклятая, копаешься!

Базаралы спокойно ответил из юрты:

— Эй, жигиты, откуда вы? Сойдите с коней, входите в юрту, побеседуем!

Но шабарманы, подхлестнув коней, навалились на маленькую юрту.

— Выходи, выходи! — кричали они с неистовой руганью.

На юрту обрушились удары их тяжелых плетей, затрещали уыки. Даркембай не выдержал, выскочил из юрты и тут же попал под плети. Базаралы и Абылгазы пришли в ярость и с громким криком рванулись из юрты — точно два тигра из зарослей камыша выскочили. Базаралы сильным рывком сдернул с коней одного за другим двух шабарманов, Абылгазы подмял под себя третьего.

Сели они на головы шабарманов, задрали чапаны да их же плетьми давай их лупить! — весело щурясь, рассказывал Даркембай. — Все жатаки собрались поглядеть, вот как довольны были! Нашелся же человек, что заступился за них!.. А наш отважный Базаралы порол проклятых сабарманов, пока рукоятка не сломалась — крепкая была, из табылги!

Почему же все-таки юрты у вас отняли? — спросил Ербол.

Даркембай рассказал коротко: шабарманы уехали, жатаки совсем было успокоились. Базаралы пробыл у них еще два дня, но на другой же день после его отъезда примчались человек тридцать — волостной со старшинами и шабарманами, — в один миг разобрали юрты и увезли.

— Конечно, разбойники! — закончил Даркембай. — Собаки! Они отцу родному могилу выроют, если начальство укажет… Эй, Абай! Нет у Даркембая прежней силы!.. Ой, свет наш замолви словечко, если можешь! Заставь их вернуть наши юрты. Разве этим негодяям больше негде свои кухни и отхожие места устраивать?

— Заставь их! — зашумели жатаки. — Не давай нас в обиду! Не позволяй издеваться!

Абай встал, отряхнул полы и, сложив вдвое камчу, решительно уперся ею в бедро.

— Идемте все! Абылгазы, иди и ты с нами!

И, сопровождаемый толпой жатаков, он двинулся вперед, ведя коня в поводу и продолжая беседу. До юрт, поставленных для начальства, было около версты. Пока они проходили по аулу, из груды хлама и из прокопченных шалашей выползали люди и присоединялись к шедшим с Абаем. Их торопливо нагоняли и высокие сильные мужчины, и молодые жигиты, и ветхие старики — все одинаково молчаливые, озлобленные, готовые на все.

По дороге Абылгазы вполголоса сказал Абаю, что жатаки еще ничего не знают об аресте Базаралы, — бии боятся, что это вызовет общее возмущение. Арестовать его помог Такежан: он приехал в Ералы несколько дней назад и, услышав о расправах Кошкина по дороге, струсил и решил сам выдать Базаралы. Встревожились и главные бии Чингиза — Жиренше, Уразбай, один из новых главарей рода, и Асылбек: Такежан по приезде начальства назвал их «покровителями и укрывателями Базаралы». Все они с нетерпением ожидали Абая.

В центре юрт, приготовленных для выборов, три самые нарядные шестистворчатые юрты были составлены вместе. Возле них в угрожающем молчании стояли стражники, посыльные с озабоченным видом метались вокруг и входили в двери на цыпочках; по всему было видно, что начальник, сидевший в юрте, был раздражен и сердит.

Как только Абай появился возле белых юрт, Жиренше, Уразбай и Асылбек вышли навстречу, отвели его в сторону и подробно рассказали ему все, перебивая и дополняя друг друга. Из их рассказов Абай понял следующее.

Вместе с Тентек-оязом Кошкиным приехали из племени Найман истцы, затеявшие крупное судебное дело: они жаловались ему, что прошлой зимой конокрады из Тобыкты, предводительствуемые Оралбаем, угнали коней из богатого аула, принадлежащего их роду.

О судьбе Оралбая, который, потеряв Коримбалу, исчез и так и не возвращался в Тобыкты, долгое время ничего не было известно. Теперь узнали, что озлобленный жигит собрал единомышленников, раздобыл ружья, и весь этот год они угоняли коней не только у найманов и у соседних племен Керей и Сыбан, но и у самих тобыктинцев. Сами они скрывались вдали от населенных

мест в многолюдных аулах бедняков кереев.

Все жалобы указывали на Оралбая как на главу шайки, разорявшей влиятельных, знатных и должностных лиц, — он уводил коней только из самых богатых аулов. Эти жалобы обошли канцелярии и Семипалатинского я Джетысуйского уездов — шайка работала на их смежной границе — и добрались до канцелярии «жандарала» — генерала, управляющего губернией. Мстительный и до отчаяния дерзкий жигит не испугался и царского войска: в конце зимы он заманил в безлюдную степь отряд, вышедший в погоню за ним из Семипалатинска, и на одном из привалов угнал всех до одного коней. Отряд в сорок человек долго скитался по степи без пищи и воды. Было и еще одно обвинение, о котором Жиренше и Уразбай говорили со смехом, но которому Асылбек придавал немалое значение, ожидая от него крупных осложнений: на большом тракте между Аягузом и Шубарагашем был ограблен и избит крестьянский начальник, ехавший из Семипалатинска с двумя стражниками. Найманы и в этом обвиняли Оралбая.

Дело, видимо, завязывалось крупное и запутанное. Для расследования приехал сам Кошкин. Пять найманов прибыли с ним как истцы и как свидетели ограбления крестьянского начальника. Они не выходили из юрты Тентек-ояза н не соглашались на переговоры с тобыктинцами, не желая улаживать дело по казахским обычаям. Вероятно, в жалобах упоминалось и имя Базаралы, потому что Тентек-ояз, едва приехав, сразу вызвал всех троих биев и дал строжайший приказ найти Оралбая и Базаралы. Он твердил одно: «Негодяй Оралбай из вашего рода, он идет против царя, а вы его покрываете? Все вы — и волостной, и его заместитель, и вы, бии, и старшины — все пойдете под суд!»

— Вот тут мы и разошлись с Такежаном, — продолжал Жиренше. — Мы хотели ответить так: «Об Оралбае мы ничего не знаем, он отщепенец и бродяга, ни народ, ни Базаралы тоже не знают, где он, куда бежал. Ловите его сами и делайте, что хотите, Тобыкты за него заступаться не станет». Вчера мы договорились с Такежаном и Майбасаром отвечать оязу именно так, а вечером к волостному прискакал Дархан от Оспана. Наверное, тот поссорился с Базаралы, потому что советовал Такежану: «Оправдывайся сам всеми способами, а Базаралы у меня в руках, выдай его начальству. И Такежан отправил в Корык шабармана Жумагула с четырьмя стражниками, они схватили Базаралы и сдали его сегодня начальству. Он сейчас либо на допросе, либо уже под арестом… А про нас Такежан говорит, что мы покрываем Базаралы. Вот мы и решили вызвать тебя. Дай совет, как нам поступать: защищать ли Базаралы, или отказаться от него.

Абай понимал лучше остальных, что узел завязался сложный и трудный. Беда, пришедшая извне, казалась более грозной, чем скрытая внутренняя вражда, разжигаемая Оспаном. Нахмурив брови, он тяжело вздохнул.

Заговорил Асылбек:

— Ояз все еще не начинает выборов, собрал народ и держит на привязи. Видно, крепко взялся за дело Оралбая, вызывает, расспрашивает… Того, кто ругает волостного, в тиски берет, а кто правду в глаза режет, — того просто избивает… Кое-кто показывает, будто мы защищаем Базаралы. Подтвердит это Такежан — тут и начнется для нас настоящая беда: если мы захотим помочь невинному и расскажем всю правду — что будет с нами? Смеем ли мы остановить доносы?.. Пока что нас не трогают, но что будет, если мы вступимся за Базаралы?.. Как нам быть?

Абай опять ничего не ответил. Тогда вмешался Уразбай:

— Мы все тебе рассказали как есть. Сделаем, как ты скажешь. Подумай о том, как «и честь народа не уронить и от беды его избавить…» А мы трое будем с тобой. Указывай, куда идти, что делать…

Из юрты начальства вылетели шабарманы. Они размахивали плетьми и громко называли имена:

Шокин Жиренше!.. Суюндиков Асылбек!.. Аккулов Уразбай!.. К оязу! Ояз требует!

— Слышишь, нас вызывают, — сказал Жиренше, торопя Абая с ответом.

Тот медленно повернулся, окинул взглядом всех троих и решительно сжал кулак.

— Перед начальством не робейте, — твердо сказал он. — Запугивать станет — не сдавайтесь. Жиренше говорил правильно, так и действуйте. Не соглашайтесь впутывать в дело Базаралы. Пусть Оралбая ловит сам ояз — У него аркан длиннее нашего! Если вы в показаниях разойдетесь с Такежаном, тогда посмотрим, как поступать. Я не знаю, с чего он бесится, но лучше живым в могилу лечь, чем на весь народ беду накликать. Помните: впутаете Базаралы — значит признаете вину всего народа!

Все три бия пошли за стражником в юрту начальника. Абай кивком подозвал к себе шабармана, который шел позади них.

— Присматривайся там, как ояз с ними будет обращаться, и передавай мне, — шепотом сказал он ему. — Я тебе одному это поручаю, понял?

Шабарман был из местных жигитов и хорошо знал Абая. При начальстве к нему и подступиться было нельзя, но тут он понимая, что Абай доверяет ему и надеется на на него молча кивнул головой.

Абай повернулся к Ерболу и Абылгазы.

— Отправьте людей по аулам — пусть все мужчины, конные и пешие, сейчас же идут сюда! И сами ведите всех, кто обслуживает юрты, — старых и малых, мужчин, и женщин, конюхов, водовозов, поваров, — всех, кого встретите! И скорее!

Сам Абай остался возле белых юрт на том месте, где его встретил Жиренше с товарищами.

Вокруг юрт, приготовленных для выборов, начал собираться народ. Толпа

росла. Стражники и шабарманы плетьми и криками отгоняли народ от юрт начальства. Люди отходили, но оставались неподалеку, на всех лицах было напряженное ожидание. Народ знал, что Базаралы ни в чем не виновен, все жалели его, а на Такежана, смотрели с озлоблением. Большинство из подходивших было бедно одето. Не расходились и жатаки, пришедшие с Абаем: весть о Базаралы наконец дошла до них, и они стояли, насупив брови, переговариваясь шепотом и поглядывая на Абая, который молча сидел в стороне.

Наконец шабарман, которому Абай поручил узнавать, что делается в юртах начальства, подбежал к нему и сказал несколько слов. Абай тотчас поднялся и подошел к тому краю толпы, где стояли Даркембай, Абылгазы и Ербол.

— Я иду в юрту ояза, — сказал он им. — Жиренше и других биев допрашивают. Базаралы тоже там. Я слышал, этот начальник порет людей, унижает и позорит. Если и сейчас он займется тем же, это будет явным оскорблением для нас. Нельзя допустить, чтобы он хоть концом плети коснулся Базаралы или Асылбека. Не расходитесь. Мы не можем позволить клеймить невинного, как преступника!.. Ербол, Абылгазы, вы пойдете со мной.

И он пошел с ними к юрте Тентек-ояза.

Его слова передаваемые шепотом, быстро разнеслись по всей толпе. Лица молодых жигитов, стариков и жатаков приняли оешительное выражение.

В первой из составленных вместе юрт Абай увидел вооруженных стражников, урядников и мелких чиновников; из местного населения тут никого не было. Допрос велся в средней юрте. Начальники сидели против двери за столом, покрытым зеленым шелком. Допрос вел сам Тентек-ояз Кошкин, худощавый невысокий человек с длинными бесцветными усами и холодным, угрюмым лицом. Топая ногами, он выкрикивал угрозы Уразбаю, который давал показания. Рядом, склонив голову набок, стоял косоглазый курносый толстяк — толмач, переводивший слова начальства.

Не выдержал ли Уразбай грубой ругани Кошкина, или его ободрило появление Абая, которого он увидел через дверь, — но он, приняв свой обычный гордый и надменный вид, громко обратился к толмачу:

— Передай оязу: я не Оралбай, я не обвиняемый и не ответчик. Жиренше и Асылбек говорили верно, и я скажу то же: никто здесь за Оралбая отвечать не может. Не только народ — отец с матерью не могут нести ответственность за человека, который больше года пропал без вести и не бывал в этих местах. Уж если кому отвечать — так самому начальству, которое не сумело поймать такую отчаянную голову. Базаралы тоже ни при чем. Если ваш волостной Такежан впутывает Базаралы, то мы, бии поддерживать этого не можем. Базаралы не виноват. Пусть ояз не орет зря, а делает свое дело, посоветовавшись со здешними. Все передай, что я сказал!

Абай был очень доволен ответом Уразбая и шепнул Ерболу и Абылгазы:

— Молодец!

И он пошел к двери средней юрты послушать, как будет переводить толмач. Стоявшие у двери стражники преградили ему путь.

— Стой! Куда?

Абай сдержанно ответил им по-русски:

— Не кричите, мне нужно пройти к господину начальнику.

Стражники не тронулись с места. Стоявший возле двери чиновник, видимо, удивившись, что степной казах говорит по-русски, окинул Абая внимательным взглядом и негромко спросил:

— Чего вы хотите? Кто вы?

Абай учтиво снял тымак и сдержанно, с достоинством поклонился.

— Я Ибрагим Кунанбаев, просто человек из народа, — ответил он и выжидательно поднял глаза на чиновника.

Тот неожиданно улыбнулся и, отстранив охрану, подошел к Абаю вплотную.

— А так это вы Ибрагим Кунанбаев! Я вас знаю, и хорошо знаю, — сказал он, протягивая руку. — Ваш друг, Акбас Андреевич, как вы его зовете, много говорил мне о вас… Ну, познакомимся: советник Лосовский…

Поздоровавшись с ним, Абай спросил, кивая на дверь:

— Что там такое делается? Нам, народу, обидно…

Лосовский поморщился и, наклонившись к Абаю, негромко сказал:

— Я вас понимаю… Не только обидно для людей, но и совсем не полезно для дела. Грубость и самодурство никогда до добра не доведут… Но что делать — каждый действует по-своему… Он даже покраснел от досады и, как бы назло другим чиновникам, насмешливо смотревшим на эту беседу с казахом, сделал знак стражникам, чтобы Абая пропустили в среднюю юрту.

Там толмач только что перевел слова Уразбая. Тентек-ояз заорал: «Вот я покажу тебе невиновных!»— и махнул рукой своим людям. Двое стражников схватили за плечи Базаралы, сидевшего поодаль, повалили его на землю и стали бить нагайками.

— Стой! Не сметь! — закричал Абай, врываясь в юрту.

Стражники невольно опустили плети. Кошкин, как ужаленный, вскочил с места.

— Ты кто такой? Кто тебя звал сюда?

У Тентек-ояза тряслись усы, глаза метали злые искры, и, подскочив к Абаю вплотную, он уставился на него немигающими глазами. Ростом Абай был выше ояза, и он гневно смотрел на него сверху вниз, точно обвиняя. Кровь отхлынула от его лица.

— Я человек. И вы не поступайте по-скотски! — громко по-русски ответил он. — Прекратите издевательства!

Тентек-ояз в бешенстве крикнул оторопевшим стражникам:

— Пори, чего смотришь! — И, ткнув длинным пальцем чуть не в глаза Абаю,

прошипел: — А тебя в тюрьму упрячу!

Абай продолжал кричать: «Не бей! Не тронь! Стой!» — но его никто не слушал, удары сыпались на Базаралы. Но взбешенному Тентек-оязу этого было мало: он повернулся к стражникам, стоявшим у стены, и закричал, указывая по очереди на Жиренше, Асылбека и Уразбая:

— Двадцать пять плетей! Тридцать! Пятьдесят! Абай побелел от гнева. Сейчас он был готов на любой отчаянный поступок, на любую жертву, кровь его кипела уже не возмущением, а жаждой немедленной борьбы.

— Ну, так отвечай за все, помни — ты сам виноват! — крикнул он Кошкину в лицо и кинулся к выходу.

Чуть не столкнувшись с ним в дверях, в среднюю юрту быстро вошел Лосовский. Выкрик Абая показал ему, что чаша переполнена и что народ может сейчас решиться на все. Он стукнул кулаком по столу, глядя на Кошкина с презрительным негодованием.

— Довольно безобразничать! — резко крикнул он. — Вы понимаете, что вы делаете непоправимую ошибку? Немедленно остановите порку!

Кошкин не нашелся что ответить, и нагайки, поднятые над Жиренше, Асылбеком и Уразбаем, застыли в воздухе. Базаралы вскочил на ноги и повернулся к Такежану, который в испуге жался к начальству.

— Ну, Такежан, теперь мы враги! — крикнул он. — Не меня били, а мою честь, запомни это! Останусь жив — отомщу!

Из первой юрты донесся голос Абая:

— Ербол, Абылгазы, зови народ! Ломай все юрты! Толпа, казалось, только этого и ждала. Народ стоял стеной, откуда-то появились в руках короткие дубинки и тяжелые плети, и стоило Даркембаю повторить: «Бей! Ломай!»— как на юрты посыпались удары, вздымавшие клубы пыли. Деревянные кереге затрещали. Будто буря налетела на тонкий остов юрты. Начальникам казалось, что их самих колотят по головам. Один из урядников выстрелил вверх, в шанрак средней юрты, несколько стражников последовали его примеру. Но теперь уже сам Тентек-ояз, опомнившись, приказал прекратить стрельбу. Кое-кто из стариков, испугавшись выстрелов, попятился от юрты, но Абай, поняв приказ ояза, громко крикнул в дверь:

— Не бойтесь, они стрелять не посмеют!

Его слова подхватили снаружи решительные голоса Ербола, Даркембая и Абылгазы:

— Не бойся, вали юрту! Наседай! Ломай кров над их головой!

Толпа с жатаками впереди навалилась на стену передней юрты, ломая кереге и уыки. Юрта осела и с треском повалилась.

Начальство в страхе кинулось из средней в заднюю юрту. Абай подбежал к Базаралы и потянул его за собой!

— Уходи!..

Базаралы одним прыжком выскочил в развалину первой юрты, за ним, пользуясь смятением, выбежали Асылбек Жиренше и Уразбай и скрылись в толпе. В среднюю юрту повалили люди. Даркембай, Абылгазы и Ербол были впереди. Никто из них никогда не был ни бием, ни старшиной, но теперь они говорили и действовали властно, мужественно и решительно, как будто волна народного гнева подняла их над другими. Их крики точно плетью хлестали Тентек-ояза, они засыпали его и Такежана требованиями. Абай уже не вмешивался, предоставив действовать им самим.

— Не допустим выборов! — кричали они. — Ты не на выборы приехал, а на разорение наше! Убирайся, да побыстрей! Никто тебе подчиняться не будет!

И они вновь кинулись в толпу. Там и здесь раздавались их громкие голоса:

— Снимайте и увозите свои юрты, разъезжайтесь все!

— Пусть Тентек-ояз торчит здесь один, как пень! — А с ним и его подхалимы!..

— Чтоб ни одной души в долине не осталось!

— Забирайте свои юрты, жатаки, увозите с собой!

— Разъезжайтесь, пусть начальники одни сидят!

— Правильно пусть посидят в пустыне!

Все дальнейшее произошло необыкновенно быстро. Все юрты, поставленные на время выборов, кроме тех двух, куда забилось начальство, исчезли мгновенно. Везде в долине аулы разбирали свои юрты. Первыми снялись жатаки. Народ не ограничился этим: неизвестно, по чьему совету все табуны были угнаны с жайляу. Скоро в долине остались только две юрты начальства, насевшие друг на друга, словно после сильного урагана.

Какой-нибудь час назад здесь было местопребывания власти. Отсюда она устрашающе покрикивала на все Ералы: «Вот я!» Теперь тут была пустыня. Тяжелая народная волна с Даркембаем, Ерболом и Абылгазы на гребне подошла, прокатилась — и пышный, грозный аул исчез, оставив рядом с грудой поломанных кереге и уыков лишь две покосившиеся юрты, похожие на пузыри, которые после дождя вскакивают у берега озера среди щепок и мусора.

Тентек-ояз со своей свитой оказался в нелепом положении. Опозоренный и лишенный силы, он был брошен в безлюдной степи.

Кругом все было пусто, куда ни глянешь — не видно ни души. Выйдя из юрты, Лосовский осмотрелся, развел руками и, покачав головой, расхохотался.

— Собаки бродячей—и то не осталось! — удивился он.

Кошкин молча ходил взад и вперед возле юрты. Он понимал, что сам был виноват во всем, но мог только беспомощно негодовать. Лосовский не разделял его бешенства.

— Я знаю киргизскую степь уже много лет, но никогда не видел, чтоб население действовало так дружно, — сказал он сухо — Ну что ж, поделом вам! Ваш способ действий непростителен: с выборными вы вели себя дико,

наказывали их незаконно — вот и добились взрыва… Как хотите, но молчать о том, что я видел, я не могу. Приедем в город, там поговорим…

Тентек-ояз ничего не ответил, только махнул рукой и отвернулся.

При начальстве остался лишь Такежан с двумя своими посыльными и двумя старшинами. Но грозный управитель волости теперь был тоже совершенно беспомощен. Он не мог раздобыть для начальства ни щепотки чая на заварку, ни горстки баурсаков, ни кусочка сыра, ни даже глотка воды.

Было ясно, что выборы сорваны и собрать народ больше не удастся. Необходимо было немедленно возвращаться в Семипалатинск. Кошкин приказал Такежану найти коней и отправить начальство в город. Тот смог только впрячь своих лошадей в четыре брошенные повозки и с большим трудом, уже под вечер, отправил чиновников. Стражники пошли пешком.

Перед отъездом Тентек-ояз, опросив Такежана и старшин, составил что-то вроде акта о происшествии для представления высшему начальству. Основной задачей этого документа было оправдать действия самого уездного начальника.

В нем говорилось о том, что Оралбай оказался крупным степным разбойником, а Базаралы — его опорой внутри населения, умным и хитрым вожаком. Местные выборные бии — Жиренше, Уразбай и другие— укрыватели и защитники преступников. С ними заодно действует и брат волостного управителя Чингизской волости Такежана Кунанбаева — Ибрагим по прозвищу Абай. Базаралы и Абай, натравив толпу батраков, работающих по найму, нищих и другое население, сорвали выборы. Волостной управитель Такежан Кунанбаев не годен для этой должности. Хотя он и не покрывает Оралбая и Базаралы, находясь с ними в личной вражде, но не может справляться с населением. Он не сумел подавить недовольство и предотвратить враждебные действия против начальства. Он оказался неспособным удержать на месте ни один аул, когда все откочевали, бросив начальство в степи, и даже не попытался оказать сопротивление, когда толпа освобождала арестованного Базаралы. Видимо, он не имеет никакого влияния на кочевников, и поэтому за неумение подготовить волость к выборам Такежан Кунанбаев снимается с должности, а на его место назначается временно его заместитель Божеев Жабай.

Таково было заключение Тентек-ояза. Он объявил его перед тем, как сесть в повозку, стараясь замять свой позор. Приказ о снятии Такежана с должности он отдал толмачу, оставшемуся в Ералы, и отправился в путь.

3

Вот уже десятый день Абай находился в Семипалатинске, запертый в каталажке.

Хоть каталажка и не настоящая тюрьма, а всего лишь арестное помещение

при полицейской части, но она держит своих пленников в строгости, приличествующей такого рода местам. Окна забраны решетками, камеры постоянно на замке, средством общения с внешним миром — то есть со сторожами — служит маленькое окошечко в двери. Но сторожа, пожилые люди с сонными глазами и серыми лицами, украшенные в знак своей должности шашкой через пчечо, далеко не всегда откликаются на стук арестантов.

Все здесь резко отличалось от вольной степной жизни, привычнои Абаю, однако он успел несколько свыкнуться со своим положением и почти все время читал. Чтение поглощало все его внимание, и дни проходили незаметно.

Книги доставлял Абаю его давний знакомый — адвокат Андреев (Акбас Андреевич, как называли его казахи), с которым Абай близко сошелся в те времена, когда пытался спасти от ссылки Балагаза. На другой же день после ареста Абая адвокат навестил его и с тех пор под предлогом ознакомления с делом приходил через день, каждый раз принося новые книги и приговаривая с улыбкой:

— Ну вот, привел вам еще друзей в вашу темницу…

Свидания их происходили в помещении дежурной охраны, ничем почти не отличавшемся от камеры, — в тесной полутемной комнате, кишевшей мухами. Акбас подолгу разговаривал с Абаем, стараясь поддержать в нем бодрое настроение. Однако он не скрыл от Абая, что положение кажется ему серьезным.

— Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей — дело нешуточное… Я понимаю — в вас говорил справедливый гнев, это делает вам честь. Но в глазах закона ваш поступок — прямое подстрекательство к бунту, что, к сожалению, грозит неприятными последствиями… Посмотрим, в чем вас будут обвинять…

Еще до свидания с Абаем Андреев узнал все подробности события от Лосовского, с которым давно был в приятельских отношениях. Он считал, что в деле Абая показания Лосовского будут решающими, и советник охотно согласился рассказать на суде все как было, тем более, что сам он резко расходился с Кошкиным во взглядах на управление степным населением: он всегда говорил о Кошкине не иначе, как с презрительной усмешкой и считал его тупым самодуром и держимордой. Лосовский объяснил возмущение народа лишь тем, что Кошкин допустил грубый произвол и сам вызвал вспышку, Абай же, по его мнению, проявил лишь чувство человеческого достоинства.

При этом разговоре присутствовал общий друг Лосовского и Андреева — Михайлов. Это был человек лет за тридцать, с широкой темной бородой, с большим открытым лбом, который еще увеличивался залысинами, с мужественным и вдумчивым лицом. Михайлов жил здесь под надзором полиции, однако друзьям удалось устроить его на службу в областное управление. Услышав о том, как один из самых видных местных начальников

очутился в дурацком положении, брошенный всеми в степи, Михайлов расхохотался. Он попросил Андреева свести его со смелым степняком, опозорившим зазнавшегося самодура.

Посещение адвоката доставило Абаю большую радость. Убедившись, что о нем заботится такой друг, как Акбас, Абай перестал тревожиться. Адвокат сразу же добился для него разрешения пользоваться книгами. Романы были один другого интереснее, и для чтения не хватало дня. По вечерам, а иногда и ночью Абай читал, стоя под тусклым фонарём подвешенным высоко на стене его камеры. Когда лампа начинала чадить и гаснуть, Абай подходил к двери и начинал стучать в нее кулаком. Ночные дежурные — большей части старики — обычно в это время крепко спали. Злые спросонья, они входили, ворча и покрикивая на Абая:

— Ишь ты, киргиз, ученым заделался!.. И за бабушку и за дедушку в каталажке начитаться хочешь? Дня тебе мало…

Абай нередко и сам смеялся их остротам. Звал он ж по именам — одного Сергеем, другого Николаем, удивлял их своим спокойствием и учтивостью и прерывал их воркотню убедительными доводами:

— Ну, подумай сам, Сергей: каталажка клопов полна, покою не дают, где ж тут спать! У меня ни друга, ни утешения здесь нет, одни только книги… Да от меня каталажке и никакого убытка нет, кроме керосина, — ведь я даже еды казенной не беру!

Старик спорил, упрямился, но кончалось это тем, что он приносил керосин и заправлял фонарь.

— Нашел место, где учиться… — ворчал он. — В школе учиться надо, а не в тюрьме… Настоящие люди с детства учатся, а ты до тюрьмы дождался.

Абай действительно не объедал каталажку: и кумыс, и шурпа, и чай — все доставлялось ему друзьями. Пищу приносили либо Ербол, либо Баймагамбет, которого Абай давно уже взял себе в жигиты для ухода за конями. И сейчас в камере стояла большая чашка с кумысом; вареное мясо и разное печенье к чаю лежали завернутые в скатерть. Абай ел мало — не от волнения за исход дела, а просто от жары и духоты каталажки. От сидения без воздуха и солнца лицо его из смуглого становилось землисто-серым.

Нынче Абай тоже спал мало. Утром он выпил немного вчерашнего кумыса и углубился в чтение заинтересовавшего его его романа. Книга называлась «Сохатый» и рассказывала о нескольких отчаянных русских людях. Героем романа был справедливый мститель — честный и смелый Сохатый. Он скрывался со своей шайкой в глухих лесах и выходил на дорогу, чтобы нападать на знатных чиновных людей и мстить им за свою судьбу, и Абаю вновь пришли в голову мысли, владевшие им весной после чтения «Дубровского».

Он вспомнил, как Владимир сжег вместе со своим домом чиновников-

взяточников, и эта гневная месть оскорбленной чести снова вызвала в нем сочувствие. Да, такой гнев может родить мужество… Он и сам переживал события, подобные описанным в книге. Перед его глазами снова вставал тот день: Тентек-ояз, стражники и урядники, в испуге забившиеся в заднюю юрту, треск рухнувшего остова, беспощадный гнев толпы, вспыхнувший мгновенной искрой… Как все это похоже!.. Видно, люди, говорящие на разных языках, далекие друг от друга, — защищаясь от насилия, мстя за горькие обиды, действуют одинаково, как родные братья. Разные люди, разные народы одинаково не терпят насилия и несправедливости. Значит, не родовые признаки, не принадлежность к какой-либо расе или племени руководят людьми: их гнев пробуждается сходным угнетенным положением… Абай глубоко задумался над этим. Книга лежала раскрытой на его коленях.

Скрип двери вывел его из раздумья: вошел сам надзиратель каталажки Хомутов. Он появлялся лишь в тех случаях, когда к Абаю приходил адвокат или следователь, но сегодня Абай не ждал ни того, ни другого. У него мелькнула мысль — не свобода ли это? Он быстро встал и шагнул к Хомутову. Тот остановился в дверях и сказал своим угрюмым тоном:

— Кунанбаев, в дежурку! К тебе отец из аула приехал. Абай, удивленный и разочарованный, с досадой пошел за надзирателем. «Для чего понадобилось ему тащить сюда свои старые кости?» — подумал он, входя в дежурку. Там он увидел несколько человек, впереди стояли Ербол и Баймагамбет. Поздоровавшись с ними, Абай стал искать глазами отца. В полутемной дежурке он с трудом узнал Даркембая, за ним виднелись еще двое, кого он не мог различить, но Кунанбая не было.

— Где же отец? — спросил Абай. — Мне сказали, приехал он…

Ербол предостерегающе толкнул его локтем и, повернувшись к Баймагамбету, будто обращаясь к нему, быстро сказал:

— Нынче твой отец Даркембай, иначе мы не получили бы свидания…

Абай понимающе улыбнулся и протянул руки Даркембаю. Тот степенно подошел к Абаю с распростертыми объятиями.

— Дорогой мой, единственный! Опора моя! — сказал он и, обняв Абая, поцеловал его.

Ербол не поскупился на взятку Хомутову. Увидев арестанта в объятиях старика, тот больше не сомневался, что к нему и вправду приехал отец, и ушел, дав им возможность разговаривать свободно.

Только теперь Абай узнал двух остальных посетителей. Он изумился и радостно обнял двух высоких жигитов, молча стоявших в стороне. Изумляться было чему: обоим им никак нельзя было показываться не только в Семипалатинске — да еще рядом с канцелярией Кошкина, — но даже и в аулах иргизбаев.

Иргизбаи причину всех бед видели в жигитеках: началось все из-за Оралбая,

а кончилось смутой, поднятой Абылгазы и Базаралы. На них двоих Такежан и другие вожаки иргизбаев и направили доносы в канцелярию Тентек-ояза. По общему мнению, они и были зачинщиками бунта в Ералы: они натравливали жатаков, подбивали народ против властей и повели толпу громить юрты начальства. Из допросов следователя Абай отлично понял, как оценивается их поведение, но не называл в показаниях их имен, хотя и видел, что затягивает этим и следствие и свое собственное пребывание в тюрьме.

После событий в Ералы Такежана сняли с должности, Абая вызвали в город на допрос и тут же взяли под стражу, но Базаралы и Абылгазы удалось скрыться. И вот эти двое жигитов, так возбудившие против себя всех представителей власти, приехали в город и сами явились в тюрьму, где находилось искавшее их начальство!..

Появление их поразило Абая. Поступить так могли только настоящие друзья и преданные родичи.

— Кто толкнул вас в львиную пасть, друзья мои? — спросил он с изумлением. — Неужели наши иргизбаи из-за меня превратили для вас воду — в яд, пищу — в клей, что вы кинулись сюда? Или они вас на поводу привели?

Базаралы усмехнулся.

— На этот раз ты не прав, Абай. Если б они могли, они бы весь Жигитек сюда привели… Никто на нас не напирал, никто не давил. Твой старик Даркембай и вот эта отчаянная голова, Абылгазы, объявили, что там, где сидишь ты, и они будут сидеть, как во дворце… Будь на твоем месте Такежан, мы и не подумали бы появиться здесь…

Даркембай и Абылгазы с убежденным спокойствием подтвердили его слова. Начал Даркембай:

— Не сидеть же тебе из-за нас… Хлопотать за тебя мы не можем — ни ума, ни уменья…

Абылгазы его перебил:

— Мы будем сидеть вместо тебя. Какой от нас прок? А тебя ждет народ, утри его слезы. Захочешь за нас заступиться — выручишь: ты мужественный человек и умеешь бороться. Вот мы и пришли: ты выходи, а мы сядем.

После тяжелого разговора с Оспаном на охоте Абай ни разу не виделся с Базаралы, если не считать встречи во время свалки в юрте Тентек-ояза. Хотя Базаралы говорил только об остальных, Абай понимал, что привел их сюда именно он. Это была как бы просьба о прощении, Базаралы без колебаний принес в жертву и свое самолюбие и свою судьбу.

Абай молчал, думая, как ответить. Наконец он поднял на троих друзей ясный и светлый взгляд.

— Верблюд испытывается на переходе, мужественный человек — в беде, — начал он. Друзья мои, вы доставили мне великую радость. Я вижу здесь Даркембая, седого старика, готового для меня на любую жертву, если мне

угрожает опасность. Я вижу и вас, двоих батыров, — вы тоже полны решимости, — какой же огонь устрашит вас? Почему же мне бежать от опасности?

Он засмеялся и добавил:

— Да ничего страшного и нет. Я не собираюсь погибать от пустого заряда Тентек-ояза. Пока что мне не пришлось испытать ни малейшей неприятности, а впереди есть надежда. Среди русских, которых я и раньше всегда хвалил, у меня есть друг. Он отыскал теперь еще несколько стойких людей, один из них — советник, умный и честный человек. Он своими глазами видел безобразия и самоуправство Тентек-ояза и обещал это подтвердить. Вот как обстоит дело… В ближайшие дни мне, вероятно, придется встретиться с Тентек-оязом на очной ставке, и уж конечно я не могу пустить Данекена тягаться с ним, — закончил он шутливо, взглянув на Даркембая.

Он повернулся к Базаралы и тем же веселым тоном продолжал:

— Правда, ты, Базеке, в красноречии не уступишь ни одному казаху, но позволь мне на этот раз показать и мои способности! Чем больше в тяжбе участников, тем труднее спор — посыплются жалобы и доносы, затянется следствие… Сейчас вы здесь лишние, друзья мои. Возвращайтесь в аул.

Он еще раз обнял их и простился с ними.

Даркембай и Базаралы, посоветовавшись с Ерболом, решили не уезжать из Семипалатинска. Они поселились в татарском квартале, где редко останавливались степняки казахи и по ночам виделись с Ерболом. У них было решено, что если дело Абая осложнится и ему будет угрожать серьезное наказание, то Базаралы примет на себя всю вину, включая и бунт в Ералы.

Базаралы был готов умереть сам, но спасти Абая. Не в силах ни победить в себе страсть к Нурганым, ни отвергнуть ее горячую преданность, он, не считаясь ни с кем, мучился только мыслью об Абае. Ему казалось, что в тот день, когда все это дойдет до Абая и нанесет тому глубокую рану, останется лишь провалиться сквозь землю от стыда. Базаралы не знал, что Абаю уже все известно, но что личное чувство друг его принес в жертву общему делу.

После разговора с Абаем в тюрьме на душе у Базаралы прояснилось.

— Верно говорят, — повторил он, — погибнет жигит, если не сыщет достойного товарища, погибнет народ, если не сыщет достойного вождя. У меня есть сейчас и товарищи и вождь — и все для меня решено: либо Абай благополучно освободится и мы вернемся радостно домой, либо Базаралы не увидит больше родного аула и отправится в ссылку в дальние края. И уйдет без сожаления; Абай научил меня, что истинная честь — в душе человека, а не в показной гордости…

Даркембай соглашался:

— Абай говорит: врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей… Ясный ум у него!

Одиночное заключение принесло Абаю известность и почет, круг его друзей увеличивался. Но, рассказывая ему об этом, Ербол умолчал о том, что в судьбе Абая приняла горячее участие девушка Салтанат, дочь свата и приятеля Тинибая — Альдеке, богатого торговца, который жил недалеко от города на берегу Иртыша. Жизнь побережных аулов сильно отличалась от степной. Жители их занималтсь хлеюопашеством и торговлей, привыкли к городу, где часто бывали на базаре и на ярмарке. Быт их тоже не походил на тобыктинский, жили они в бревенчатых домах, окруженных надворными постройками.

Салтанат, уже просватанная в богатый род невеста, любимица одного из таких аулов, приехала в город за покупками вместе со своей младшей матерью на тройке отборных гнедых коней. В доме Тинибая она была не впервые и давно дружила с Макиш. Прошлой зимой Макиш, рассказывая ей о брате, спела стихи Абая:

Сияют в небе солнце и луна —

Моя душа печальна и темна

Мне в жизни не сыскать другой любимой.

Хоть лучшего, чем я, себе найдет она…

то перед ней открываются такие драгоценные тайники человеческой души, о которых она раньше не подозревала. Она тотчас же спохватилась и, как бы стыдясь своих чувств, залилась ярким румянцем.

— Неужели девушка, которой посвящена такая песня, может желать еще чего-нибудь? — сказала она в тот вечер.

В этот приезд известие о заключении Абая сильно ее взволновало. Она расспрашивала Макиш, чего можно ждать, что можно сделать. Однажды, когда она сидела за утренним чаем с байбише Тинибая, своей матерью и Макиш, в комнату вошел Ербол. Макиш и байбише забросали его вопросами: «Как дело Абая? Что говорит адвокат? Освободят ли его?»

Ербол не был знаком с гостями. Он посмотрел на Салтанат и замялся. Девушка покраснела, окинула Ербола быстрым взглядом своих сияющих глаз и вся подалась вперед, как бы говоря: «Не скрывай от меня!»

Макиш рассеяла сомнения Ербола:

— Рассказывай, здесь все свои… Ербол коротко сообщил:

— И Акбас Андреевич и Абай — оба надеются, что скоро конец. Но точно пока еще ничего не известно. Акбас Андреевич говорит, что арестованного после окончания следствия можно брать на поруки. Надо это подготовить теперь же. Надо найти кого-нибудь из живущих в городе, кто, во-первых, известен начальству, а во-вторых, мог бы внести залог в тысячу рублей. Лучше всего бы домовладельца или купца. Вот с этим я пришел.

Было ясно, что Ербол говорит о самом Тинибае или об одном из его сыновей. Старой байбише Тинибая и раньше приходилось встречаться с такими людьми, но тут она развела руками.

— Милый ты мой, чем же я тебе помогу? — с сожалением заговорила она. — Ты же знаешь — самого хозяина в доме нет, и оба сына в отъезде, а со мной кто же станет говорить?.. Да и денег на руках у меня тоже нет…

Ербол и Макиш были сильно озадачены.

— Неужели не найти выхода? — грустно спросил Ербол. — Ехать за скотом нечего и думать — наши аулы уже откочевали на жайляу, а время не терпит… Может быть, вы, байбише, поговорите с кем-нибудь из здешних торговцев казахов? Я бы с вашим поручением прошел к нему…

Это была единственая возможность. Байбише и Макиш начали перебирать имена знакомых богачей. Но все как назло были в отъезде по торговым делам. Макиш даже рассердилась:

— Что им не сидится на месте? Чуть лето, так и заскрипят телегами кто в степь, кто в горы!

Положение казалось безвыходным. Вдруг Салтанат, внимательно слушавшая разговор, решительно повернулась к Ерболу:

— Почему вы ищете друзей мирзы Абая только в городе? Пословица говорит: «За дружбу дружбой платят». Мой отец часто вспоминал, что и сам Абай и его отец не раз оказывали ему дружеские услуги. Передайте Абаю салем от меня и от моей матери. Все заботы мы принимаем на себя, пусть назовет поручителем меня, Альдекенову!

Все повеселели. Ербол обрадовался больше всех.

— Сестра наша милая! — обратился он к ней. — Вы сделали то, на что не всякий мужчина решится! Чего больше можно сделать для друга, чем вернуть ему свободу? Тут и благодарить невозможно… Да и к чему вам моя благодарность — выйдет Абай живым и здоровым, сам вам выскажет все!

Светлый лоб, прямой точеный нос и белый округлый подбородок Салтанат, казалось, излучали розоватый отблеск. Свежее молодое лицо, оживленное легким румянцем волнения, сияло и улыбалось. Гладко причесанные волосы отливали темным золотом. Большие светлые глаза, прозрачные глаза лани, смотрели спокойно и серьезно, скрывая где-то в самой глубине нежную, чуть лукавую женственность. Белые тонкие пальцы и кисти рук были унизаны золотыми браслетами и кольцами, золотые серьги дрожали в ушах. Ербол

невольно подумал: «Да, это действительно Салтанат — и видом и душой!..»

Одна из главных забот друзей Абая свалилась у них с плеч, и как раз вовремя: дело Абая было назначено к рассмотрению в канцелярии областного управления, то есть не в судебном, а в административом порядке.

Двое стражников ввели Абая на второй этаж управления «жандарала» в большую комнату. Там стоял длинный стол под зеленым сукном; Абая посадили возле него на самый крайний стул. Через некоторое время в комнате появились несколько чиновников в мундирах с блестящими пуговицами. Вместе с ними в комнату вошел адвокат Андреев, которого Абай сперва не заметил среди незнакомых людей. Потом появился советник Лосовский и с ним еще один человек — плечистый, лысый, с длинной темной бородой, с серьезным и энергичным выражением лица. Лосовский что-то сказал ему, и тот улыбнулся и внимательно посмотрел на Абая. Оба они сели позади него.

Начальство разместилось за столом. Председателем был старик с проседью в бороде, с зачесанными назад седыми волосами и острыми синими глазами. Открыв заседание, он вызвал уездного начальника Кошкина. Тентек-ояз, затянутый в мундир и такой же окаменевший и серый, как в Ералы, вошел, громко чеканя в тишине шаг и надменно оглядываясь вокруг. Минуя стулья, стоящие в ряд возле Абая, он сел прямо у стола. Из казахов здесь был только карнаухий плосколицый толмач с жидкими светлыми усами и прямыми волосами. Часто мигая глазками, он стал неподалеку от начальства. Возобновился допрос, — повторение тех же показаний, которые Абай давал раньше.

Абай подробно описал события в Ералы. Он рассказал о противозаконных и оскорбительных для населения действиях Тентек-ояза, об избиении людей розгами и нагайками. Он особенно упирал на то, что избиты были бии, избранные населением и утвержденные самими властями. Возмущение народа было вызвано именно этим. Такого начальника никто не может уважать. Тем не менее самого его никто и пальцем не тронул — народ, оскорбленный унижением своего достоинства, просто отказался от участия в выборах и разошелся.

— Разве это преступление, что я был среди народа и по его поручению передал его слова начальству? — закончил Абай вопросом.

Абай говорил по-русски. Пока он повторял то, что советовал ему Акбас и что было написано в заявлении, он говорил почти свободно и бегло. Но, когда он начинал говорить от себя приводя новые, добавленные им самим объяснения запаса русских слов у него не хватало и он затруднялся в выражениях. Тогда он обращался к толмачу и говорил по-казахски, пристально глядя на него и как бы приказывая: «Переводи точно!» Дав толмачу перевести несколько фраз, он снова начинал говорить сам. Он был очень доволен, что этот первый продолжительный разговор с властями сумел вести на русском языке. Абай не

стеснялся неправильных оборотов и старался лишь не искажать смысла доводов и не упускать сути дела. Некоторые образные казахские выражения, приходившие ему в голову, он тут же сам и переводил.

Старик председатель казался человеком справедливым и неколебимо соблюдающим строгую законность. К всеобщему удивлению, дело царского чиновника он назначил к рассмотрению вместе с делом простого степного казаха. Однако и в этом и в том, что он позволял Абаю давать такие пространные объяснения, была своя любопытная подоплека.

Тентек-ояз Кошкин, вернувшись из Ералы, пустил в ход свои связи: он приходился зятем председателю окружного суда, который в свою очередь был в приятельских отношениях с губернатором. Оба они старались выгородить Кошкина и поэтому сперва собирались вовсе замять дело об избиении выборных. Однако вмешательство адвоката Андреева, настойчивость и авторитет которого были хорошо им известны не позволило сделать это: Андреев, легко мог перенести разбирательство в канцелярию степного генерал-губернатора и тогда дело Кошкина могло принять нежелательный оборот. К тому же молодой советник Лосовский уже представил губернатору свой отчет о выборах, где сообщал о незаконных действиях уездного начальника. Замять дело было теперь неудобно, и надо было найти способ выгородить Кошкина, вынести приговор Абаю и покончить со всем этим тут же, в Семипалатинске.

Поэтому губернатор решил разобрать дело не в суде, что придало бы ему широкую огласку, а административным путем, своей властью, и вести разбирательство тонко и умело. Он поручил это старому и опытному чиновнику Хорькову, на которого вполне мог положиться.

Едва начав знакомиться с делом, Хорьков понял, что если дать Абаю тяжелое наказание, скажем, длительное заключение в тюрьме, то адвокат добьется пересмотра дела в канцелярии генерал-губернатора и вся история с Кошкиным неминуемо всплывет наружу. Поэтому он решил ограничиться присуждением штрафа и, освободив Абая, покончить с делом, чтобы не раздувать его. Для этого же нужно было объединить дело Кошкина с делом Абая в одно и рассмотреть его возможно быстрее.

Хорьков, пользовавшийся в управлении большим влиянием, так как губернатор был женат на его племяннице и во всем его поддерживал, никогда не упускал случая сорвать крупную взятку. Так и здесь он решил использовать всю выгоду положения и, угодив губернатору и председателю окружного суда, одновременно не забывать и своих интересов. В разговоре с Андреевым он намекнул, что можно сильно облегчить судьбу его подзащитного и даже просто освободить его, если не поскупиться на то, чтобы кое-кого «уговорить». Акбас отлично понял намек и при свидании с Абаем сказал с ядовитым раздражением: «Председателя требуется малость подлечить… Я думаю, рублей, пятьсот будет сильно действующим лекарством…» Ербол переправил эту сумму по

назначению, пустив в ход привезенные из аула деньги.

Теперь Хорькову оставалось разъяснить Кошкину, как должен будет тот держаться на разборе дела. Однако неожиданно для себя он наткнулся на упорное сопротивление Кошкина: Тентек-ояз, отлично зная любовь Хорькова к взяткам, понял его сложный план так, что тот, подмазанный степняками, просто хочет выгородить Абая и пожертвовать достоинством его, Кошкина. Мысль о том, что совместное разбирательство обоих дел ставило его на одну доску с диким кочевником киргизом, глубоко его возмутила. Он принял это как оскорбление и наотрез отказался, требуя рассмотреть его дело отдельно. Хорьков перепробовал всякие доводы, и наконец, чтобы припугнуть Кошкина и заставить его призадуматься, объяснил ему, что незаконное избиение выборных людей грозит ему большими неприятностями.

Услышав это, Кошкин сам запустил когти в старого чиновника. В нем проснулся тот властный и вспыльчивый самодур, что действовал в Ералы. Он резко ответил, что не боится никакой огласки, так как, кроме этого рукоприкладства, за ним нет никаких грязных дел, вроде вымогательства и взяточничества, и что на любом суде он объяснит, против кого и при каких обстоятельствах он вынужден был прибегнуть к такой решительной мере. Он ядовито намекнул, что и судить его должны те, кто сами чисты, а не те, у кого рыльце в пушку…

Старый чиновник, поняв намек, закусил удила. За чаем у губернатора он так расписал повышенное самолюбие Кошкина, что городские дамы решили, что «зазнавшийся выскочка-чинуша» уж очень много о себе думает. Самому губернатору он рассказал обо всем разговоре, и тот, обозвав Кошкина дураком, который не понимает своей же пользы, подтвердил, чтобы Хорьков скорее закончил дело на одном заседании. Но на другой же день, когда дело было уже назначено к разбирательству, вмешался председатель окружного суда. Ссориться с ним губернатору было невыгодно, и было решено, что дело Кошкина будет все же рассматриваться отдельно, не в присутствии Абая, хотя на заседании Кошкин и появится. Поэтому-то Кошкин и вошел в зал так надменно и сел за стол вместе с чиновниками, производившими разбирательство.

Таким образом, дело в котором сплелось столько личных интересов, пошло не совсем обычным путем. И хотя старик председатель соблюдал видимость беспристрастия, но он торопился поскорее покончить с делом Абая, заткнуть рот адвокату мягким приговором и уже после этого перейти к разбору поведения уездного начальника.

Поэтому он дал Абаю возможность высказаться до конца и тогда задал ему вопрос:

— Уездный начальник имеет дело только с официальными лицами. Кауменов, Шокин, Суюндиков — выборные бии, твой брат — волостной

управитель, они имеют право говорить с начальством от имени населения. А ты почему вмешался? Ты же не волостной и даже не старшина.

Абай спокойно ответил:

— Меня заставил вмешаться народ. Когда господин Кошкин начал избивать нагайками Аккулова Уразбая, народ приказал мне вступиться за него.

Тентек-ояз с самого начала был возмущен тем, что Абаю была предоставлена возможность высказываться так свободно. При этих словах он не выдержал.

— А кто ты такой в народе? — злобно крикнул он. — Кто дал тебе право говорить от его имени? Откуда ты такой силы набрался?

Его выкрик не смутил Абая. Насмешливо взглянув на Кошкина, он повернулся к председателю.

— Он говорит о силе. Правда, у меня не было такой силы, как у него с его стражниками, и народ тоже был безоружен. Но бывает сила крепче оружия и сильнее приказа уездного начальника. Это сила справедливости и чести. Наш народ говорит… — Тут Абай повернулся к толмачу и, сказав: «Передай это в точности!», продолжал по-казахски: — Наш народ говорит: «Верь не силе, а правде. Несправедливости не подчиняйся, за справедливость стой, хотя бы голову сложить пришлось».

Этими словами он как бы подчеркнул основной смысл своих сегодняшних показаний. Андреев, Лосовский и Михайлов, сидевшие позади Абая, молча переглянулись.

Дальше следствие пошло быстро. Казалось, оно превратилось в поединок между Тентек-оязом и Абаем. Два-три раза они схватились в коротких стычках.

— Ты, Кунанбаев, защищаешь Кауменова Базаралы, а ведь его брат — разбойник! — обвинил его Кошкин.

— Я помогал только выборным биям, которых вы избивали, — возразил Абай.

— Неправда, ты не только о них думал! Тебе нужно было освободить Кауменова, из-за него ты и поднял свалку!

— Нет, я не лгу. Но Кауменова я тоже не считаю виновным.

— Вон как! Скоро ты будешь оправдывать и его брата! — И Тентек-ояз повернулся к председателю. — Прошу этот ответ Кунанбаева записать в протокол.

Но Абай тоже обратился к председателю с объяснением. Брат Кауменова, Оралбай, в бегах уже больше года. Раньше, когда он жил в ауле, он ни в чем не был замечен, был смирным жигитом. Теперь он пропал без вести и где-то совершил преступление. Но ведь он потерян и для семьи и для народа. Председатель сам должен понимать: если крестьянский парень из Семипалатинской области убежит в Оренбург и там совершит преступление, а господин Кошкин приедет в село, откуда этот парень родом, и захочет дать за него розог старосте, волостному и писарю этого села, — разрешат ли ему это?

Скажут ли ему, что он поступает правильно? Останется ли он на должности уездного начальника? Будет ли дальше получать чины?

Кошкин стал нагло отрицать порку выборных. Абай с отвращением посмотрел на него.

— Мне не о чем с вами говорить, вы не только произвол творите, но и лжете! — сказал он ему твердо. — Если врет простой человек — это бесстыдство. Но если лжет начальство, — это уже преступление. А раз вы преступник, то вам не место за столом рядом с моими следователями. Я только удивляюсь и больше показаний давать не буду. Но что господин Кошкин прибегал к порке — это правда. Об этом прошу допросить советника Лосовского.

И Абай замолчал. Старик председатель начал допрашивать Лосовского, который во всем подтвердил показания Абая.

— Господин уездный начальник действительно позволил себе противозаконные действия, и не только на месте выборов. Нескольких человек он при мне подвергал порке и розгами и нагайками, — закончил он.

Кошкин и тут не смутился.

— Что же, я не отрицаю. Все они покрывали преступников, такое упрямство кого угодно из себя выведет ну и я немного погорячился, — сказал он и ехидно добавил — не велика беда — дать волю рукам, коли совесть чиста. А я никогда свою совесть не продавал и взяток не брал, как некоторые…

Лосовский рассмеялся и, пожав плечами, посмотрел на председателя, как бы говоря: «Ну что с него возьмешь?»

На этом следствие по делу Абая закончилось. Обсуждать решение при нем, простом казахе, начальство не считало возможным. Абая увели в каталажку. Там от провел еще одну ночь. На следующее утро он был освобожден.

Но это не было оправданием. Приговор гласил: «За учинение беспорядка и препятствий, мешавших уездному начальнику Кошкину при исполнении им служебных обязанностей, Кунанбаев Ибрагим приговаривается к штрафу в сумме одной тысячи рублей». Такой приговор имел целью

сохранить авторитет Кошкина перед степняками. О его поведении не было сказано ни слова. Бесчинства чиновника, совершенные на глазах всего народа, не получили осуждения, зато человек, высказавшийся против этого произвола, был наказан.

Встретившись с Андреевым, Михайлов не мог скрыть своего возмущения.

— Какое насилие! Это разбирательство само по себе уже преступление, потому что поощряет каждого Кошкина и впредь бить дубиной по головам народа за то, что он терпелив и безответен!

Абай, не посвященный в изнанку этого дела, попросту радовался своему освобождению. Его дело было закончено, но власти выделили из него особый вопрос о других лицах. Новое дело именовалось «делом Кауменовых Оралбая и

Базаралы» и подлежало отдельному рассмотрению. Таким образом, Базаралы, который сам никогда не находился в бегах, был объявлен состоящим под надзором степных властей. Сделай кто-нибудь из волостных на него донос или попадись беглый Оралбай в руки властей — и Базаралы должен был понести наказание.

На улице Абая ждала повозка, запряженная тройкой отличных гнедых коней. В ней сидели Макиш, Ербол и незнакомая Абаю красивая молодая девушка, нарядно одетая. Все трое бросились к нему, Макиш и Ербол крепко обняли его.

До самого конца дела Абая Ербол ничего не рассказывал ему о Салтанат и предупредил о том же Макиш. Он опасался, что Абай сочтет неудобным принять помощь и поручительство от девушки. Но сейчас, увидев, что Абай в недоумении смотрит на Салтанат, Макиш сказала с улыбкой:

— Эту девушку зовут Салтанат, ты, наверное, слышал это имя от Альдеке…

Абай утвердительно наклонил голову, и Макиш продолжала:

— Она твой настоящий друг. Раньше ты знал ее только по имени, а теперь, когда она сама здесь, к тебе с этим именем пришла прекрасная и верная дружба. Салтанат — один из твоих ходатаев, она внесла залог и взяла тебя на поруки.

Абай от изумления не мог произнести ни одного слова, и было непонятно, радовался он или негодовал. Опасаясь впасть в одну из этих крайностей, он, не став расспрашивать, как это получилось, только молча крепко пожал руку Салтанат обеими руками и потом поклонился ей, приложив ладонь к груди. Салтанат вспыхнула от смущения и тоже молчала, опустив свои сияющие глаза, как будто ожидая слов Абая.

Макиш не понравилось молчание брата. Всегда быстрая и решительная, она уколола Абая:

— Видно, в тюрьме ты потерял свой острый ум, Абайжан! Как же ты не найдешь хоть несколько слов? И не стыдно тебе?

Абай пригласил женщин сесть в повозку и, садясь сам, ответил Макиш:

— Говорят, ум — краса человека, сдержанность — спутник ума. Что мне говорить сейчас, правда, Салтанат?

— Вы правы, — ответила та с улыбкой. — Радость не должна быть болтлива.

И тройка, звеня колокольчиками, помчала их к дому Тинибая, стоявшему на другом берегу Иртыша.

Следствие и дело были закончены, но Абай остался в Семипалатинске. Немедленно после решения дела он отправил друзей-жигитеков в аул вместе с Базаралы, а Ербола и Баймагамбета оставил в городе.

Из разговоров с Ерболом Абай в первый же вечер узнал, что Салтанат сделала для него очень много. Несмотря на то, что она была дочерью Альдеке, которого власти хорошо знали, ей самой выдать Абая на поруки отказались. Тогда она уговорила поручиться за Абая известного семипалатинского богача и

домовладельца, войлочника Дюйсеке. Она пустила в ход и дружбу Дюйсеке с ее отцом и свое близкое родство с войлочником, — он приходился ей дядей по женской линии. Дюйсеке был труслив и осмотрителен. К тому же он ничем не был связан с тобыктинцами, больше того — сторонился их. Только Салтанат, с ее силой воли, настойчивостью и мужеством, смогла добиться его согласия заявить начальству, что он берет Абая на поруки. Денежный же залог она внесла сама.

Чем больше узнавал Абай обо всех этих хлопотах Салтанат, тем большую неловкость чувствовал он по отношению кней. Подобное проявление дружбы не так-то уж просто. Ему хотелось откровенно поговорить с Салтанат. К чему бы такой разговор ни привел, Абай желал быть прямым и честным: ему было необходимо знать, что побудило девушку к этим заботам о нем.

На другой день после освобождения Абая мать Салтанат отправилась на базар и в лавки на ту сторону Иртыша, Макиш и Ербол уехали с ней, и Абай остался наедине с Салтанат.

Большой дом Тинибая был пуст. Плотные занавески темного шелка не пропускали горячих летних лучей, и в тихой комнате, тонувшей в голубоватом полумраке, было прохладно и уютно. Жигит и девушка сидели на мягких корпе у низкого круглого стола, опираясь на подлокотники, и сдержанно вели учтивую беседу. Потом Абай перешел к тому, что занимало его мысли.

Он начал с того, что горячо поблагодарил Салтанат за все, что она для него сделала. Девушку настолько стеснял этот разговор наедине, что она ничего не ответила. Только белые пальцы ее слегка шевельнулись, как бы отводя благодарность, и она на миг подняла на него выразительный взгляд, словно говоря: «Не нужно вспоминать об этом…»

Абай не мог понять, что означает ее молчание: стеснялась ли она признаться в той огромной услуге, которую ему оказала, боялась ли, что это признание окажется уздой, наброшенной на голову жигита, или молчание это говорило: «То, что следовало сделать, я уже сделала, теперь мне остается слушать…» Так или иначе, он хотел добиться от Салтанат полной откровенности: если между ними хоть что-нибудь останется неясным, душа его не будет спокойна.

Вошел Баймагамбет и поставил перед ним серебряную миску с холодным кумысом. Абай задумчиво помешал кумыс, налил его в расписную пиалу и подал девушке.

— Салтанат… — начал он.

Смущенный взгляд девушки остановился на его лице.

— Нередко жигит оказывает услугу жигиту. И сам я не раз был обязан моим сверстникам и друзьям. Но никогда мне и в голову не приходило, что в такую тяжелую минуту я получу помощь от женщины, будь это даже родная мать, и что эта женщина станет действовать так смело и открыто, не думая о своем добром имени. Прямота не порок. Скажите мне правду. Эта правда поможет

нам обоим быть откровенными. Что побудило вас помочь мне, какие мысли и желания?

Салтанат, казалось, ожидала этого вопроса. Ее светлое смугловатое лицо вспыхнуло горячим румянцем от корней волос до подбородка и тотчас же побледнело. Уголки полных губ слегка дрожали от волнения. Она медленно, стараясь казаться спокойной, взяла из рук Абая чашку, отпила кумыс и лишь потом подняла на него глаза.

— Скорей всего — просто сочувствие молодости. Никто меня об этом не просил, я сделала все сама. Вас это ни к чему не обязывает, ведь я и не спрашивала вашего согласия… Мне хотелось бы одного… — Она опустила глаза и негромко докончила — Я прошу вас не сердиться на меня и не говорить, что и без меня у вас нашлись бы друзья…

Теперь Абай убедился в том, что она действовала самостоятельно, не советуясь и не считаясь ни с кем. Ее смелость, решительность и сила воли привели его в восхищение.

— Хорошие слова, Салтанат! Я никогда не забуду их… — начал было он, но тут дверь открылась и в комнату вошел человек в больших сапогах, в шапке из черной мерлушки тобыктинского покроя, высокий и крепкий, с камчой в руках. По всему было видно, что он только что приехал из степного аула. Попав с яркого света в полумрак, он еще не различал сидевших в комнате, но Абай сразу узнал его и пригласил подойти поближе.

Гость осторожно двинулся к нему, нащупал руками место, сел — и только тогда увидел Салтанат. Он был так поражен, что, приняв от Абая пиалу с кумысом, не стал даже его пить и молчал, посматривая на обоих.

Это был один из «бес-каска» — сын Кулиншака, Манас. Он приехал как раз тогда, когда тройка гнедых выезжала из ворот. Остановив Макиш, он указал ей на свою взмыленную пару и сообщил, что мчался сюда день и ночь, чтобы узнать об Абае. Макиш успокоила его, сказав, что дело закончено и что Абай уже дома, а Баймагамбет тут же рассказал ему, что повозка и тройка гнедых принадлежат гостье, девушке Салтанат. Манас заторопился к Абаю, но Баймагамбет все задерживал его, расспрашивая об ауле. Наконец Манас, потеряв терпение, пошел отыскивать Абая сам и, найдя его в полутемной комнате наедине с девушкой, по-своему объяснил себе разговорчивость Баймагамбета.

Наконец, справившись с изумлением, он рассказал, что приехал в город по поручению байбише Улжан. Аулы уже откочевали на дальние жайляу, дороги кругом безлюдны, одинокому путнику ехать небезопасно. Поэтому за новостями могли послать только его, храброго и решительного жигита. Манас сообщил, что все—и родители, и дети, и сородичи — совсем измучились, не получив вестей от Абая.

— Ночи не спят, все думают, не зачах ли ты там в клетке. Но, слава богу,

свет мой, меня еще в воротах обрадовали, что ты здоров! Ну, думаю, счастлив оказался мой путь! Баймагамбет удерживал меня, говорил, что ты занят, но я так торопился тебя увидеть, что вошел не спросясь… Уж вы не обижайтесь… А ты, видно, здесь не скучаешь! Что же, давай бог!

И, оглушительно захохотав, он принялся за кумыс.

Эта грубо сколоченная острота для Манаса была еще изысканным выражением. Абай не дал ему продолжить ее и быстро сказал:

— Освободили меня только вчера, едва успел встретиться со своими близкими. Да не все еще кончено, — вот советуемся, что делать дальше, я ведь на поруках… Но об этом поговорим после…

Он кликнул Баймагамбета и, когда тот вошел, коротко распорядился:

— Отведи Манаса-ага в гостиную комнату, устрой отдохнуть, позаботься о ночлеге!

И как только они вышли, Абай возобновил прерванный разговор:

— Как я могу сердиться на то, что вы меня освободили! У меня и в мыслях нет этого! Я думаю только об одном: чем я могу помочь в ваших делах? Если мне удастся исполнить какое-нибудь ваше желание — большего мне и не надо. Но если это невозможно, то ваше огорчение будет и для меня большим горем.

Салтанат выслушала его, не подымая глаз.

— Вы хорошо сказали, Абай, — спокойно ответила она. — Но пусть мои пожелания останутся невысказанными. Вы сами вчера сказали, что сдержанность — друг ума… Я впервые говорю с вами, но от Макиш слышала много о вашей правдивости и о ясности вашего ума. Я всегда думала, что именно вы можете дать душе человека опору, — и оказалась права: то, что вы сказали сейчас, все мне разъяснило и вполне успокоило меня… Этим вы сказали многое… — Она усмехнулась и добавила: — Ведь ясно, что хоть комната эта просторна, но мой путь в ней короток… Давайте кончим на этом. Разрешите мне уйти. Абай, помогая ей встать, улыбнулся в ответ:

— Но как может возникнуть настоящая дружба, если двух людей разделяет неподнятое покрывало? Не следует ли душе быть более откровенной?

Золоченое шолпы Салтанат зазвенело в лад ее негромкому смеху.

— «Сорвав завесу души, завесу чести не рви!» — так, кажется, сказано у суфи Аллаяра? — ответила она, переступая порог. — Будем сдержанны и мы и не станем срывать этой завесы…

И она ушла, бросив последний взгляд на Абая.

Он остался у двери, недоумевая и восхищаясь. «Сорвав завесу души, завесу чести не рви…» — повторял он про себя. — Как хорошо она сказала!.. У нее редкий ум и самообладание… Быть может, на своем жизненном пути я набрел на сокровище?..» — Он вспоминал, что он говорил девушке сам, и был недоволен тем, как выражал свои мысли. Кто еще из девушек сделал бы то, что она? Конечно, ее толкнуло на заботы о нем не простое женское легкомыслие, в

этом была видна настоящая человечность… И как сдержанна, учтива и полна достоинства была она в этом разговоре наедине, не всякая так сумеет!..

Мысленно любуясь поведением Салтанат, он понял, что встреча с ней будет и для него самого испытанием. Ее чувства так честны и искренни, что требуют только честного и искреннего ответа. Он решил не оставаться больше в доме Тинибая, а поселиться на другом берегу, там, где он жил в свои прежние приезды в город, — у гостеприимного казаха Керима.

Прошло несколько дней. Абай жил в доме Керима, отдавая все время книгам. Каждое утро он в сопровождении Баймагамбета уезжал верхом в центр города и останавливался недалеко от берега Иртыша в узком переулке у каменного двухэтажного дома, отсылал Баймагамбета с конями до вечера и входил в этот белый дом — библиотеку.

Сегодня он хотел взять книги домой и оставил Баймагамбета дожидаться. В читальне — большой длинной комнате — на этот раз оказалось много народу, за каждым столом сидели по два-три человека, главным образом учащаяся молодежь. «Вот где самое ценное во всем городе», — подумал Абай входя.

Библиотекарь, скромно одетый старичок с острой седенькой бородкой и морщинистым лицом, приветливо встретил Абая, как старого знакомого. Недалеко от входа за столом сидел чиновник с пышными кудрявыми волосами и лихо закрученными усами. Он поглядывал маслеными глазками на свою соседку, нарядно одетую молодую женщину, видимо даже здесь, в библиотеке, продолжая свое ухаживание. Едва Абай вошел, как он указал ей на него и довольно громко, с явным расчетом на то, чтобы остроту его услышали остальные, процедил сквозь зубы:

— Удивительно… С каких это пор в Гоголевскую библиотеку стали пускать верблюдов?

Кое-кто из молодых читателей, подняв глаза и увидев казаха в широком степном чапане, фыркнул. Женщина нахмурила брови и залилась краской, укоризненно взглянув на остряка. Абай резко повернул голову, но, поборов мгновенную вспышку гнева, спокойно ответил:

— А почему бы не зайти сюда верблюду, господин чиновник, если здесь уже сидит осел?

На этот раз рассмеялись все. Чиновник весь побелел, потом вспыхнул, но промолчал, видя, что и его соседка расхохоталась, откинувшись на стуле. Абай снова повернулся к старику библиотекарю и попросил у него номер журнала «Русский вестник».

Смех утих, все снова склонились над книгами. Невысокий темнобородый человек с большим открытым лбом, стоявший у конторки библиотекаря, повернулся к Абаю.

— Этот номер у меня, я уже просмотрел его и могу отдать вам, — сказал он. — Только скажите мне сначала, почему вы его спрашиваете?

— Там печатается новый роман Толстого, — ответил Абай, — мне хотелось его прочесть.

— Так вы знакомы с произведениями Толстого? А чем он вас заинтересовал?

Его умное лицо и добродушные вопросы невольно располагали к нему. Абай ответил учтиво:

— Нет, Толстого я еще не читал, но слышал, что он настоящий русский мудрец. Вот я и хочу узнать, чему учит этот великий человек.

— Хорошее дело, — сказал собеседник и протянул Абаю журнал. — А я ведь вас и раньше видел, при других обстоятельствах, не очень-то приятных… В областном управлении. По правде говоря, сегодняшняя встреча произвела на меня еще большее впечатление, чем та… Познакомимся — Михайлов Евгений Петрович.

— Ибрагим Кунанбаев, — представился Абай. — Я тоже хорошо вас знаю по рассказам наших друзей… Очень рад познакомиться…

Они вместе вышли из библиотеки и медленно пошли берегом Иртыша, продолжая разговор. Абай шел, распахнув чапан, заложив руки за спину и держа в них плетку и тымак, Баймагамбет следовал за ними верхом, удивляясь в душе, как это Абай может идти пешком только для того, чтобы разговаривать с каким-то русским. Когда они дошли до белого каменного дома, стоявшего на самом берегу возле мельницы, Михайлов открыл дверь подъезда.

— Зайдемте ко мне, мне хотелось бы еще поговорить с вами, — сказал он Абаю.

Михайлов жил в большой и светлой, чисто прибранной комнате. Обрадованный встречей, Абай не торопился домой и просидел у Михайлова до самого вечера.

У Абая были причины интересоваться Михайловым. Андреев часто говорил ему, что Михайлов, пожалуй, самый умный и образованный человек во всем Семипалатинске. По словам Андреева, он посвятил свою жизнь общественной деятельности и еще юношей подвергся преследованиям царской власти. Но эти гонения не сломили его духа, — наоборот, в заключении и в ссылках, находясь среди лучших русских людей, он непрерывно пополнял свои знания и достиг высокой образованности. По мнению Акбаса, Михаилов был одним из передовых людей своего народа и в другую эпоху мог бы быть его гордостью. И вот наконец Абай увидел его самого и мог с ним говорить.

Михайлов начал с расспросов о том, что именно Абай успел прочесть по-русски, и с увлечением заговорил о самообразовании, о его пользе и трудности. Абаю порой казалось, что с ним говорит учитель, хорошо знающий своего ученика, — с такой ясностью Евгений Петрович выражал собственные мысли и сомнения. Он сказал об этом Михаилову и закончил шуткой: да, его слова, будто руки опытного костоправа, сразу нашли место перелома!..

Абай говорил по-русски, с трудом справляясь с фразами, останавливаясь и

подыскивая слова, но Михайлов, внимательно слушавший его, сразу улавливал смысл рассуждений Абая, несмотря на неправильность его русской речи. Услышав про костоправа, он засмеялся.

— У вас меткие сравнения… Если я правильно понимаю то, что вы говорите, — вы всегда очень удачно и интересно сравниваете. Я заметил это еще во время ваших споров с Кошкиным…

Вспомнив о нем, Абай с возмущением заговорил о чиновниках, которые, подобно Кошкину, не хотят задуматься над тем, что же такое тот народ, которым они управляют, а предпочитают действовать окриками и просто нагайками.

— Вы еще не представляете себе все то зло, которое приносит России эта орда чиновников, — усмехнулся Михайлов. — Мы называем их бюрократами… Везде, от самого Петербурга до вашего Семипалатинского уезда, эти люди из одного дубья тесаны… Понять весь их вред по тому, что вы видите своими глазами, — трудно… А изучать их, как вы, — в стычках с разными Кошкиными, после чего приходится месяца полтора высидеть в каталажке, — способ и длительный и неприятный… Раскусить природу этого племени можно другим, менее хлопотливым способом: у нас есть такие писатели — вот хотя бы Салтыков-Щедрин, — которые беспощадно и метко критикуют чиновников. Почитайте его, тогда вы поймете истинную сущность всех чиновников, с которыми вам приходилось встречаться…

Такое резко отрицательное обобщение всего чиновничества удивило Абая. Сам он думал совсем иначе: «Люди так же не одинаковы, как не одинаковы пять пальцев на руке… Наверное, и среди чиновников так же…» Он попытался высказать эту мысль, но Михайлов только рассмеялся:

— Как вы наивны, дорогой Кунанбаев!.. Чиновники одинаковы все — и крупные, и мелкие, и молодые, и старые…

И видя, что Абай все еще не согласен с ним, Михайлов тоже пояснил свои слова образно:

— Они одинаковы, как семена чертополоха… Да и посеяла-то их одна и та же рука — наш царский строй…

Он остановился, не желая углублять свою мысль.

Абай начал понимать Михайлова. Новый знакомый с такими новыми для него мыслями все больше привлекал к себе Абая, и он снова заговорил о том же, стараясь вызвать его на откровенный разговор:

— Ваши слова кажутся убедительными. Но ведь среди чиновников есть и такие, как Лосовский, — разве не показал он свою справедливость в деле с Кошкиным?

Но и тут Михайлов снова повернул разговор неожиданно для Абая:

— Так, так… Вы хотите сказать — пусть плох Кошкин, зато хорош Лосовский!.. Вы полагаете, будь у вас поменьше Кошкиных и стой у власти

одни Лосовские, — все шло бы отлично и торжествовала бы справедливость?

— Так я и думаю…

— Вы правы в том, что Лосовский оказался лучше других, — не дай он своих показаний, дело обернулось бы для вас плохо. Вот вы и решили, что он — идеальный чиновник, не так ли?

— Да, так. Он был справедлив…

— Конечно, тут он был справедлив, согласен. Допускаю, что и в дальнейшем он будет справедливым… по мелочам. Что ж, не нужно пренебрегать таким чиновником, — если, конечно, он будет действовать не в ущерб народу.

Я и не говорю, чтобы вы сторонились Лосовского. Раз у него такие либеральные склонности — пользуйтесь ими, пожалуйста! Только не забывайте о его истинной сущности…

— А что же лучше показывает человека, чем его дела? О какой же истинной сущности вы говорите?

— О какой? — усмехнулся Михайлов. — Попробуйте положиться на его справедливость не в таких пустяковых делах, а в более серьезных, касающихся больших вопросов жизни народа… Тут-то эта сущность себя и покажет… Лосовский среди чиновников — просто-напросто белая ворона…

Абай явно не понял этого выражения.

— У нас, у русских, есть такая поговорка, — объяснил Михайлов. — Так говорят про того, кто резко выделяется среди себе подобных и кого так же трудно найти, как белую ворону… Но если вы и наткнетесь на такую — не смотрите на ее белизну, не обольщайтесь, не примите ее за благородную птицу. Белая она или черная — ворона есть ворона… А раз она ворона — то и живет вороньим ремеслом…

Теперь Абай уловил мысль Михайлова.

— Наш народ тоже говорит: ворон ворону глаз не клюет, — улыбнулся он.

Михайлов рассмеялся и потом продолжал серьезно:

— Вот вы и помните — раз ты ворона, так и оставайся ею, не воронам решать народные дела… Пусть Досовский не кажется вам безобидным голубком и пусть другие не попадаются так, как вы! Уж лучше иметь дело с Кошкиными… У тех по крайней мере их сущность ничем не прикрыта, и народ видит ее во всей обнаженной мерзости. А такие, как Досовский, с их половинчатой справедливостью, с их сомнительными добродетелями порождают только ненужные надежды: вам кажется, что дело не в политическом строе, а в людях… Такие «хорошие чиновники» только мешают народу распознать природу и повадки стаи ворон, именуемой царским чиновничеством…

Теперь Абай до конца понял Михайлова: в этих мыслях сквозила великая забота о народе. И Абай одновременно удивлялся и любовался ею и внутренне благодарил Михайлова за откровенность.

— Вы мне будто двери открыли в неведомый мир, — признался он. — Эта беседа для меня — большой, — полезный урок…

Михайлов легонько дотронулся до плеча Абая и задушевно сказал:

— Не у меня вам учиться надо. Есть более мудрые русские мыслители, учитесь у них… Хотите, дам вам кое-что почитать? Да и вообще позвольте мне помогать вам в вашем хорошем замысле. Вы хотите учиться, это превосходно… У вас, казахов, слишком мало образованных людей, а случись что-нибудь вроде вашего дела — нужно очень много знать, нужно суметь разобраться, где правда, где обман, только тогда вы будете полезны своему народу… Русские книги вам в этом сильно помогут, они будут самыми верными вашими друзьями. — И он закончил, улыбаясь — А я с удовольствием буду вашим, так сказать, советником по самообразованию, благо у меня есть кой-какой собственный опыт в этом деле…

Абай был тронут таким вниманием и сочувствием.

— Я благодарю судьбу, что она столкнула меня с вами, — ответил он. — А ваше предложение принимаю, как драгоценный знак дружеского участия…

После этого Абай стал бывать в доме Михайлова каждые два-три дня. Часто они говорили о степной жизни. Михайлову хотелось узнать настоящую причину событий в Ералы от самого Абая, и он стал расспрашивать, кто такой Оралбай.

Абай подробно рассказал ему обо всем. С горечью он вспоминал историю любви Оралбая и Коримбалы и перенесенных ими страданий. Коримбала не выдержала тяжести унижений — она умерла. А Ораалбай превратился в бездомного бродягу. Абай сказал и о том, что оба они были талантливыми певцами.

Абая всегда возмущало, что Оралбая толкнули на путь мести его же друзья, но он ни с кем не делился этим. Сегодня он ярко выразил это Михайлову, с горячим сочувствием говоря об Оралбае.

— Его клеймят как грабителя и разбойника, только в глазах начальства. А для народа — он справедливый мститель. Ведь и у вас, русских, бывали такие люди. Разве они не боролись против произвола и насилия, разве не были они достойны уважения? Если бы я мог, я сам стал бы на защиту таких людей… А как вы на это смотрите?

Михайлов слушал Абая, не сводя с него глаз. Когда тот закончил свой рассказ, он задумчиво сказал:

— Вы рассказали замечательную историю… Она — как старинная легенда, для писателя в ней целая книга. Но в жизни, особенно в жизни общественной, это не для подражания. Ваша общественность еще молода и почти беспомощна, и я понимаю, что в ваших глазах этот жигит — выразитель протеста против насилия. Но любовная трагедия жигита или девушки — еще не повод для народной борьбы. Беглец, грабящий из чувства мести, никак не может служить

примером общественной борьбы…

Михайлов старался углубить мысль Абая. В понимании жизни Абай не мог считать себя ниже окружающих, включая и самого Кунанбая. Конечно, такие люди, как адвокат Акбас, были начитаннее и образованнее его, но в знании жизни и быта, в понимании причин событий они не так далеко ушли от него самого. В Михайлове же Абай встретил человека большого размаха, настоящий общественный ум, острый и опытный. И ему захотелось узнать мнение нового друга о своем собственном поведении в Ералы. Он признался в том, что взял на себя руководство возмущенным народом, и попросил Михайлова сказать свое мнение и об этом.

Михайлов ответил не задумываясь: — Кошкина вы проучили хорошо. А знаете, что помогло? То, что вы верно угадали, чего хочет народ… И какое единодушие в вашем народе! Просто поразительное!.. Ваше дело было посерьезней дела Оралбая. Не будь у вас за спиной столько оправдывающих доказательств, его легко можно было превратить в политическое. Но все доводы и обоснования были у вас правильными, вы удачно отбились…

Тут же Михайлов сообщил Абаю о новостях в уездном и областном управлениях: на днях Кошкин с должности семипалатинского уездного начальника переведен на ту же должность в Усть-Каменогорск, а на его место назначен советник Лосовский. Областное управление поручило ему выехать в степь и провести выборы волостных управителей, проваленные Кошкиным. Перевыборы состоятся в Чингизской волости, к которой принадлежали иргизбаи, и в соседних с ней Коныр-Кокчинской и Кзылмолинской волостях.

Михайлов считал, что Абаю следовало бы выехать в степь вместе с Лосовским, чтобы содействовать избранию действительно полезных народу людей. Вероятно, и Лосовский будет этому рад — он очень расположен к Абаю. Совет этот Михайлов дал Абаю уже совсем по-дружески.

Подумав, Абай принял этот совет. Через Андреева они сообщили об этом Лосовскому. Тот охотно согласился и сам попросил Абая выехать вместе с ним на выборы.

Узнав о причинах новой задержки Абая, Ербол и Баймагамбет перестали докучать Абаю своей тоской по аулу и проклятиями городской жаре и пыли. Они дожидались отъезда уже больше месяца и почти не видели Абая: он пропадал то в библиотеке, то у Михайлова, а дома сидел за книгами или в размышлениях о прочитанном. ИногдаΕρболу удавалось все же вытащить его на другой берег, в дом Тинибая.

Салтанат со своей матерью все еще жила там, и однажды, в той же комнате Макиш, Абай еще раз свободно поговорил с девушкой. Нарочно ли выбрал Ербол такое время, или же это произошло случайно, но, приехав вечером, они узнали, что Макиш и мать Салтанат ушли в гости к соседям и девушка была одна. Ербол вертелся в передних комнатах, отвлекая прислугу и охраняя покой

собеседников.

Они сидели у окна на высоком сундуке, покрытом ковром и толстым корпе. В комнате сгущались сумерки, легкий ветерок тихо шевелил занавесями. Обоим не хотелось зажигать свет. Уже стемнело так, что люди, проходившие мимо, не могли видеть их у открытого окна. Абай, подняв занавеску, забросил ее за спинку кровати, бледный лунный свет проник в комнату и осветил взволнованное лицо девушки. Абай сидел против нее. Лунный луч вырвал из полумрака удлиненные дуги узких ее бровей и большие глаза, мягким блеском заиграл на гладком открытом лбу, не тронутом загаром.

Салтанат встретила Абая, как старого друга, и сама начала откровенный разговор. Она расспрашивала Абая о его семье, оставленной в ауле, и мягко заметила, что, задерживаясь в городе, Абай заставляет своих близких скучать по себе и сам, вероятно, тоскует без них.

Абай признался, что ему сильно не хватает детей, и, заговорив о доме, дал понять, что женитьба на Айгерим была встречена его родными холодно. В свою очередь и сам он стал расспрашивать Салтанат о ее жизни, о надеждах на будущее.

Сегодня в девушке не было прежней замкнутости. Сплетая и распуская длинными гибкими пальцами шелковые кисти шолпы, она рассказывала Абаю о себе. Взгляд ее больших сияющих глаз, казалось, ушел куда-то вглубь и потух; лишь порой, когда девушка слегка прищуривал их, как бы от боли, к ним возвращался прежний блеск. Абай совсем не походил на тех жигитов, которых знала Салтанат, и к этому необычному новому другу она относилась с полным доверием, делясь с ним своими мыслями, горечь которых никогда не рассеивалась в ее душе.

— Моя свобода ничего не стоит. Я та же пленница, только без оков, но не всем это понятно. Многие удивляются, какая мне дана свобода. А ведь я похожа на сокола или кобчика, которого готовят для охоты и пускают летать на веревочке. Вот и моя свобода — такая же… Скоро я превращусь в чью-то собственность, — осенью ко мне приедет жених. Вы сами хорошо знаете, разве мало у нас, казахов, несчастных девушек? Я не раз через матерей передавала отцу, что не люблю своего жениха, пусть выдают меня за кого угодно, только не за него. Отец не соглашается… Я единственная и любимая дочь, меня даже и назвали Салтанат, мой дом — это мое гнездо, где родители с детства лелеяли меня, баловали, да и сейчас ни в чем не препятствуют мне, кроме этого. Но раз я обречена — мой дом стал для меня клеткой… Как подумаю о будущем — все надежды гаснут… Иногда мне кажется, что я ничего больше не хочу, ни во что не верю… Бывает, я ночи напролет плачу и молюсь, чтобы бог отнял у меня жизнь… Лучше смерть, чем эта унизительная узда… Что мне жалеть о такой жизни?..

И она прижала платок к разгоряченному лицу, по которому медленно

катились слезы. Абай тоже молчал, чувствуя на сердце тяжесть. Потом Салтанат приподняла голову, взглянула на Абая и продолжала срывающимся голосом, но по-прежнему сдержанно:

— Вы должны понимать молодое сердце. Другая на моем месте рассуждала бы так: «Что меня ждет — там видно будет, а сейчас, пока я свободна, надо пользоваться свободой, к чему сдерживать себя и неволить?» — и назло своей судьбе пошла бы на легкомысленные поступки. Вы же знаете — так у нас и бывает… А я, к несчастью, на это неспособна. Отчаяние и страх перед будущим так во мне сильны, что я не могу весело и легко пользоваться своей свободой… Порой и мне померещится счастье, вспыхнет любовь, но тут же все в сердце холодеет, вянет, и я отворачиваюсь от призрака счастья… К чему?.. Ведь все равно меня поглотит какая-то глубокая пропасть… какой-то мрачный и холодный мир, как в страшной сказке… Я — как воробей, которого притягивает взглядом змея: как ни рвись, ни бей он крыльями — он неизбежно упадет в ее пасть…

Девушка снова замолчала. В комнате стало совсем тихо. Абай не раз слышал печальные признания молодости, но впервые они были высказаны с такой силой горя, с такой остротой боли. Лишь в какой-то русской книге он прочел такие же правдивые признания о самых глубоких тайнах души. Да, таков и бывает язык книги сердца: слова ее звучат только раз, как исповедь, как предсмертная правда, и, высказав их, сердце умирает…

Абай склонился к девушке и взял в ладони обе ее руки. Он долго держал эти горячие, мягкие, чуть влажные руки, потом прижал их к лицу и поцеловал кончики пальцев. Девушка тихонько высвободила руки. Душа Абая была переполнена глубоким состраданием.

— Салтанат… Дорогая моя… Первый раз в жизни я слышу, чтобы так рассказывали о своей печали. На такое искреннее признание можно отвечать лишь искренностью. Я совершил бы великий грех, если бы обманул вас хоть одним словом… Выслушайте и вы горе, разрывающее мое сердце.

Салтанат сделала легкое движение, чуть придвинувшись ближе, как бы идя навстречу его ответной откровенности. Абай заговорил:

— Вас мучает страх перед будущим, угнетает мысль о нелюбимом. А меня — тоска о любимой, печаль о далеких минутах моей жизни, которых мне не забыть до могилы… Это было утро моей души. И никакая тень не омрачит в моей памяти того рассвета… Краткие минуты счастья, душевной радости ушли безвозвратно… Счастье исчезло, как закатившийся месяц… Мою страсть, мою неумирающую любовь зовут Тогжан. Сколько времени я не видел ее — а память хранит каждую едва заметную ее улыбку. Каждый разговор — короткий, длинный, радостный, печальный — живет во мне, как заветные строчки, написанные моей кровью… Вы слышали их: Макиш говорила, что эта песня понравилась вам…

Салтанат молча кивнула и потом стала размеренно покачивать головой, как бы напевая про себя песню, и золотые подвески ее резных сережек задрожали в такт, словно повторяя: «Мы знаем, мы слышим, мы свидетели…»

Абай продолжал:

— Потом и меня судьба соединила с нелюбимым человеком. Я стал отцом детей, которые меня радуют. Но тоска не покидала моей души. Однажды я увидел Тогжан во сне. И как раз тогда, когда я был между явью и сном, я слышал пение, напоминающее Тогжан, и увидел девушку, похожую на Тогжан. Она разбудила меня и утолила мою душу, она стала моей песней, моей радостью, опорой моей жизни… У нас необычайно красивый ребенок, свидетельство силы нашей любви… Людям кажется, что жить здесь, в городе, — для меня развлечение и удовольствие. Они не знают, как тоскую я о ней, моей Айгерим, моей второй Тогжан…

Абай замолчал. Салтанат, бледная и потухшая, молча склонила голову. Они будто обменялись душевной тайной. Дальнейшая беседа была излишней.

Салтанат, смелая и прямая, пошла навстречу Абаю прямым и смелым путем, недоступным для многих казахских девушек: она сама открыла двери его тюрьмы и освободила его. Но принять несвободную любовь и делить счастье с другой — она не могла. Не мог и Абай, тоскующий по Айгерим, солгать и ответить на чувство Салтанат.

Этой беседой они положили предел взаимной откровенности. Салтанат, овладев собой, подала жигиту домбру.

— Спойте сами эту песню… Негромко — только для меня… — попросила она.

Абай не заставил ее повторять просьбу. Он пропел вполголоса песню, посвященную Тогжан, и потом, не изменяя напева, перешел на другие слова: искренние, мягкие и сдержанные — они рождались тут же и говорили о сегодняшнем вечере. Он пел о лице Салтанат, освещенном лунным светом, о новом чувстве, вспыхнувшем сегодня. Оно незабываемо. Долго будет звенеть о нем домбра акына. Душа друга, навеки оставшегося в долгу, не будет знать измены и бережно сохранит это чувство. Разлука уводит обоих в неизвестность, но и там в памяти акына останется облик близкого друга, обменявшегося с ним душевной тайной. Свято будет сберегаться эта тайна. Она, как драгоценный камень, скрыта в тайниках и там, не видимая никому, никогда не потеряет своей ценности… Простые и звучные стихи вырывались из самой души Абая и летели к Салтанат в задушевном напеве.

Ербол, сидя в передней комнате, ожидал какого-либо знака от друга. Услышав пение, он велел Баймагамбету зажечь свет, вошел с лампой в руке в комнату Макиш и окинул обоих любопытным взглядом.

Абай и девушка сидели на том же сундуке у окна, где он их оставил, и Абай негромко и спокойно пел песню. На лице его не было того выражения, которое

хотелось бы видеть Ерболу… Нет, Ербол не одобрял их. Он просто был недоволен и даже обижен в своих лучших дружеских чувствах…

Как только комната осветилась, вошел Баймагамбет, за ним прислуга. Стали накрывать стол к чаю. Скоро вернулась и Макиш вместе с матерью Салтанат, вошла и байбише Тинибая.

Весь вечер Абай и Ербол пели то поодиночке, то вместе. По просьбе байбише они исполняли самые разнообразные песни. Салтанат была сдержанна и неразговорчива. Она внимательно прислушивалась к тобыктинским напевам, так отличающимся от побережных. Только под конец вечера, когда в комнате остались лишь Ербол и Баймагамбет, она обратилась к Абаю, собравшемуся уходить:

— Незабываемый вечер… Как быстро он пролетел!.. В моей душе нет других чувств, кроме благодарности вам, я всегда догадывалась, что вы совсем не похожи на других… Я нисколько не сожалею о том, что не сбылось. Будьте счастливы! Всю жизнь счастливы!..

Абая снова поразили ее сила воли и прямота. Он не сказал ни слова в ответ, только наклонил голову и приложил руку к груди, как бы показывая этим едва заметным движением, что ему все понятно. Салтанат почувствовала, что он не хочет унижать значительность этого вечера ни одним пустым словом. Она кивнула ему, молча отошла к окну и там долго стояла, глядя ему вслед полными слез глазами.

Наступил день отъезда в степь. Все последнее время Абай ежедневно бывал у Михайлова. Однажды Михайлов встретил его с раскрытой книгой в руке. Поздоровавшись, он взял Абая под руку и увел в свою комнату.

— Вот, Кунанбаев, я приготовил для вас книги, — сказал он, показывая на груду, лежавшую на столе. — Тут не только русские писатели, я подобрал книги по разным отраслям знания…

— А что именно, Евгений Петрович?

— И по всеобщей истории, и по истории Европы, и по географии… Вы непременно должны прочесть их и как следует усвоить в этом году… Половину нашел у себя, а остальное лежит у Кузьмича в Гоголевской библиотеке. Он подобрал их уже по моему списку, заберите с собой… Да историей вы как будто и раньше занимались? Ведь она— мать всех наук…

— Я читал историю ислама, и то, что требует медресе, и что находил сам… Но знаете, Евгений Петрович, все, что я считал наукой, после встречи с вами потеряло для меня всякое значение. Теперь я даже не знаю, можно ли назвать историей то, что я читал? Вы все это развеяли, как дым…

— Ну, уж и все! — рассмеялся Михайлов. — История ислама — конечно, наука, и большая наука… Только нужно разбираться, кем и как эта история написана…

И Михайлов начал развивать совершенно новую для Абая мысль. Культура

народов Востока в течение нескольких веков оказывала большое влияние на мировую науку и способствовала развитию человеческого сознания. Михайлов рассказывал, что между древним, так называемым античным миром и эпохой европейского Возрождения лежит несколько сот лет застоя, умственной темноты, которую освещала только культура народов Востока. Она стала связующим звеном в многовековом развитии человеческого ума, внеся в мировую культуру присущее ей своеобразие.

Эта беседа особенно обрадовала Абая, и он не мог скрыть этого от Михайлова. Он заговорил откровенно, делясь с ним заветными мыслями. Ведь раньше ему всегда казалось, что в сокровищнице человеческой мысли народы Востока со всем богатством их знаний и опыта стоят как-то особняком. А Евгений Петрович собрал в одно те сокровища, которые, как думал Абай, противоречат друг другу… Конечно, так оно и есть: разве мало в мире людей, которые думают об общем благе, о справедливости, истине и совести? В каждую эпоху у каждого народа были свои ученые и наставники, болевшие душой о судьбах людских. И не потому ли и они с Евгением Петровичем так быстро поняли друг друга, что оба, каждый по-своему, думали об одном — о человечности? Может быть, это общее для всех сокровище и помогло так быстро окрепнуть их недавней дружбе, несмотря на то, что один из них уже владеет им, а другой едва успел прикоснуться к этому богатству?..

Михайлов заговорил опять. Его открытый лоб, вдумчивые, спокойные глаза, густая, темная, тщательно расчесанная борода даже внешне делали его похожим на ученого исследователя, на мудреца-наставника. Абай так и слушал каждое его слово — как мудрое наставление. Михайлов говорил доступными, понятными для Абая выражениями, но делая смелые и широкие обобщения. Он подтвердил, что все прочитанное до сих пор Абаем об исламе относится к исторической науке. Он поразил Абая новой для него мыслью о том, что и казахский народ, несомненно, накопил огромные культурные богатства, еще не известные науке и недооцененные самим Абаем: Михайлов утверждал, что они должны существовать, но пока хранятся в самом народе, как золото в недрах земли.

После этого разговора Абай еще сильнее почувствовал, как дорог и близок ему Михайлов. Этот друг должен стать его старшим братом, быть ему ближе, чем кровный родич. И Абай обратился к нему с прощальными словами:

— Сегодня я узнал вас глубже, чем раньше. Только теперь я понял ваши неоценимые качества. Раньше я думал, что вы несете в себе лучшие мысли только русского народа, а я для вас — человек совсем из другого мира, далекого от вас, неизвестного вам, из чуждых вам пустынных степей с их непонятными вам мыслями… А вы точно взяли меня за руку, повели на какую-то вершину, показали оттуда стоянки всех народов всех времен и объяснили мне, что все люди — сородичи, пусть хоть дальние. Вы и мое Тобыкты не

отбросили в сторону от главного пути. И мне радостно слышать это. Я и радуюсь и горжусь…

Михайлов широко улыбнулся и, обняв Абая, притянул к себе.

— Будем надеяться, что наша дружба принесет пользу нам обоим, Кунанбаев… Только крепко держите ваше обещание — не забывайте в ауле о библиотеке и о Кузьмине! — сказал он и сердечно попрощался с Абаем.

Перед отъездом Лосовского в степь на выборы Михайлов встретился с ним у адвоката и заговорил об удивительном степном жигите:

— У Кунанбаева огромное стремление к знанию!.. Именно так и должен идти к науке молодой народ — искренне, с жаром, с энергией, даже с жадностью!..

Лосовский несколько охладил его:

— Ну, один он — еще не народ, Евгений Петрович… Народу Кунанбаева еще далеко до того, чтобы понять пользу русской культуры, он погружен в глубокую вековую спячку. А что касается самого Кунанбаева — это просто свойство молодости: каждый, становясь взрослым, стремится к знанию…

Михайлов не спорил. Он хотел только, чтобы Лосовский ближе познакомился с Абаем, и прямо высказал это советнику:

— У Кунанбаева есть любопытная черта: он часто говорит о справедливости, о народе и о честном служении ему. Эти мысли крепко засели в нем — а ведь они очень близки русской культуре… Среди степняков я, пожалуй, впервые вижу такого. Конечно, вы знаете киргизскую степь, характер и взаимоотношения ее населения много лучше меня, и интересно, что вы скажете об этом человеке… А меня поражают в нем его гуманистические взгляды… Хотелось бы знать, что выйдет из него с годами?..

Михайлов никогда не говорил этого самому Абаю, но здесь характеризовал его вполне убежденно. Андреев присоединился к нему и обратился к Лосовскому:

— Вот вы всегда говорите, что в большинстве своем выборные киргизские управители — тупые неучи, и непонятливые и нечестные. Пусть Кунанбаев укажет вам подходящих людей из своих степняков. Почему бы вам не попробовать? Проведите их на выборах и испытайте на деле!

Лосовский не возражал, но все же выразил серьезные сомнения:

— Старейшины киргизских родов — загадка не только для нас, чиновников управления, но и для самого Кунанбаева. Я совсем не уверен, что его друзья будут сильно отличаться от остальных… Вряд ли они повернут дело по-новому и дадут верное направление степной жизни. Если киргизская степь, бескрайная и загадочная, действительно такая, какой я ее знаю, — трудностей и тут будет немало. А опыт — что ж, опыт сделать можно… — Он иронически усмехнулся и заключил — Итак, будем надеяться, что мы с Кунанбаевым годика через два убедимся в успехе нашего опыта. Не скажу, однако, чтобы сам я верил в это…

Через несколько дней Лосовский выехал на выборы. Абай с Ерболом

двинулись вслед за ним в Кызылмола, отправив Баймагамбета на жайляу в аул с известиями о себе. С ним же пошла и подвода, добрая половина которой была завалена книгами, указанными Абаю Михайловым.

Лосовский выполнил свое обещание: все время выборов в Кзылмолинской, Коныр-Кокчинской и Чингизской волостях он держал Абая при себе и везде старался подымать его авторитет перед населением. Их везде принимали с почетом, ставили юрты, резали скот, готовили угощение — и все, кто собрался на выборы, видя Абая постоянно рядом с новым уездным начальником, убеждались, что на этот раз Абай вернулся из города, приобретя еще большее доверие и уважение начальства. Народ попросту считал его советником.

На выборах ни в одной из волостей не возникло споров о том, кому быть бием, кому волостным управителем, кому его заместителем: Абай везде предварительно советовался с честными и справедливыми людьми, после этого предлагал Лосовскому того или другого кандидата, и его предложения проходили повсюду.

Привыкнув по своему городскому опыту смотреть с недоверием на степных кочевников, Лосовский внимательно приглядывался к Абаю. Но тот вызывал в нем только чувство уважения, и за время этой почти месячной поездки Лосовский сблизился с ним. Порой он подшучивал над Абаем:

— Берегитесь, Ибрагим Кунанбаевич!.. Ведь выборы провожу не я, а вы, — я только слушаю ваши советы и утверждаю указанных вами людей. А что, если они, как и все прежние, тоже окажутся взяточниками, насильниками, будут составлять фальшивые приговоры, разжигать межродовую вражду?.. Как вы тогда посмотрите в глаза Михайлову и вашему другу Акбасу?..

Абай и так понимал свою огромную ответственность не только перед ними, но и перед народом, которому он стремился облегчить жизнь. Он добился избрания на должности волостных управителей троих молодых людей, о кандидатуре которых никто и не думал и которые сами не домогались назначения.

Для Чингизской волости Абай назвал своего друга, которого еще с самой ранней юности уважал за мягкий характер и человечность. Это был Асылбек, брат Тогжан. К великой досаде всех иргизбаев, а старшего их поколения в особенности, Асылбек был выбран на должность, на которой так властно хозяйничал Такежан.

В Коныр-Кокше Абай не допустил избрания богатого и честолюбивого Абена, стремившегося добиться должности взятками. Вместо него он назвал Лосовскому спокойного и понятливого жигита Шимырбая.

Волостным управителем Кзылмолинской волости он предложил избрать своего младшего брата Исхака. Абай видел в нем своего единомышленника. Исхак был сыном Кунанбая от Улжан, но Кунанбай с малолетства растил его у Кунке вместе с Кудайберды. Долгое время Исхак находился под влиянием

Такежана, но в последние годы сблизился с Абаем, признав в нем справедливого старшего брата и искреннего друга. И Абай остановил на нем свой выбор, надеясь найти в нем верную опору.

Так закончилась начавшаяся в Ералы борьба Абая с властями. Народ считал, что в борьбе этой победил Абай, и имя его получило в степи еще большую известность.

ПО РЫТВИНАМ

1

Оо-о, Абай, эй, Абай!.. Пусть не будет тебе счастья… Бросил нас тут, в пустой степи, ни родных, ни близких кругом… И дом без хозяина, и жена без мужа, и дети без отца. Нет и нет тебя!.. Что мы тебе плохого сделали?.. И жару какую бог насылает— небо на землю валится! Облепили тут мухи наши глаза, разве здесь место для стоянки? С каждым днем все жарче да жарче… А все ты, Абай! Не будет тебе счастья, нет, не будет… Ой, за какие грехи мне такое мученье!..

Так причитала своим резким голосом Дильда, проходя по аулу. Продолжая браниться, она вошла в юрту Айгерим. Та была у себя одна и встретила Дильду как старшую, почтительно встав с места.

Дильда выглядела теперь уже пожилой женщиной. Худощавая, сварливая, беспокойная, она после частых родов начала быстро стареть. На ее лице появились морщины, резко выступили скулы; костлявая и жилистая смолоду, она казалась теперь совсем высохшей.

Ее появление в юрте Айгерим и то, что и при ней она продолжала честить Абая, совсем не вязалось с ее презрительным отношением к сопернице. Но нынче у Дильды была на то особая причина.

Манас, который вчера к ночи приехал из города, привез от Абая привет и известие, что он, вероятно, задержится там до конца лета. Сидя за угощением, он принялся осуждать Абая перед сбежавшимися в юрту Дильды соседями и слугами.

— Его старая мать послала меня в такую даль, приказала скакать день и ночь: «Извелся, наверное, сынок мой в неволе, узнай хоть, здоров ли он…» Я и сам

думал, что он там мучается в тюрьме, мчался до города как угорелый. Какое там!.. Ничуть не бывало! Он, оказывается, уже свободен и живет себе в свое удовольствие!..

И Манас начал болтать о том, что видел. Сначала он сдерживал язык, боясь, что Дильда с ума начнет сходить от ревности, но вскоре заметил, что его рассказы о легкомыслии Абая доставляют ей даже некоторое удовольствие. Она слушала с явным любопытством и сама вынуждала жигита продолжать рассказ:

— Ничего не скрывай, дорогой, да сбудутся все твои желания… Рассказывай все, что видел и слышал, все, что было! Утаишь что-нибудь — перед богом ответишь!..

Тонкие чувства, возникающие во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, были недоступны Манасу, тупому и грубому. Увидев Абая и Салтанат в уединенной полутемной комнате с занавешенными окнами, он истолковал это по-своему. И теперь, попав на повод к Дильде, он наговорил много лишнего, кое-что присочинил от себя и под конец совсем заврался:

— Я Абая не обвиняю, хоть и ругнул его сгоряча тут же, при девушке… Не мог же я не думать о твоей обиде, келин! Да и почему бы мне было и не поругать его, кто ему там правду скажет? «В ауле, говорю, жена и дети ночей не спят, по тебе тоскуют, им и еда на ум нейдет, а ты тут наслаждаешься, дочку Альдеке обнимаешь?..» Так и сказал ему, уж очень обозлился…

Выпытав у Манаса все, что ей было нужно, и проводив его утром на жайляу, Дильда отправилась к Айгерим и там развязала язык.

Сначала Айгерим ничего не могла понять. Дильда была оживлена, порой даже смеялась и чуть не обнимала соперницу, что было совсем необычно. Айгерим недоумевала, что привело ее в такое радостное возбуждение. Наконец Дильда перешла к последней новости, не скрывая своего удовольствия и злорадства, смакуя подробности и еще больше раздувая сплетню, и без того преувеличенную Манасом.

Айгерим сидела, изнемогая от духоты и зноя. Услышав злые новости Дильды, она вдруг начала бледнеть, по телу ее пробежала холодная дрожь. Ей показалось, что ее по самому сердцу хлестнули тонкой плетью. Она схватила руку Дильды похолодевшими пальцами.

— Что вы говорите?.. Как вы сказали?.. — вся дрожа, прошептала она, бросившись к Дильде.

Она впилась глазами в ее лицо и вдруг замолкла. Гордость удержала слезы, готовые хлынуть потоком, и две крупные капли застыли, как льдинки, в уголках широко раскрытых глаз. Больше она не проронила ни звука, только милое ее лицо то вспыхивало, то бледнело до синевы, Как в обмороке.

Не отрывая от нее торжествующего взгляда, Дильда заговорила своим дребезжащим голосом. Тесно придвинувшись и прижав свои колени к коленям

Айгерим, она продолжала с жаром:

— Ты только послушай, Айгерим… Главного я еще не сказала… Эта потаскуха-то, Салтанат, оказывается, прикатила в город на тройке гнедых мужа себе искать! Вот она и говорит Абаю: «Женись на мне, не знаешь, что ли, пословицы: «С кем согрешишь, с тем и очистись…» Как мне теперь людям в глаза смотреть, когда все знают, что я тебя даже из тюрьмы вытащила? Теперь меня и жених мой не возьмет! Не из таких я, чтоб ты меня бросил всем на посмеяние!..» А когда Абай ей ответил: «У меня же в ауле жена и дети есть!» — она опять на дыбы встала: «Твоя жена, говорит, мне не помеха! Грязнополая степная девка мне не ровня, она в мой дом с дровами войдет, с золой выйдет. А твоя пара — это я. По земле пришла — под землей не уйду! Ты на мне женишься! А пока — оставайся в городе все лето, нечего в аул возвращаться, я одна хочу наслаждаться счастьем!..» Мне-то что, Айгерим, я давно уже на него рукой махнула, а вот ты-то как!.. Изменник! Оставил нас тут, как нищих жатаков, зимовку строить, а сам-то! То-то я чуяла, что неспроста он в городе на все лето остался! Вот оно чем кончилось, пусть ему счастья не будет!..

И, высказав все, что могла, Дильда с торжествующим видом вышла. Темное облако спустилось на светлую юрту Айгерим. Проходили дни и недели, а Абай действительно все не возвращался в аул.

Закончив поездку с Лосовским, он приехал к матери в Большой аул. На жайляу его задержали больше двух недель: братья, матери и родные — все встретили его как дорогого гостя и не отпускали от себя. Он спешил и беспокоился, сильно тоскуя по Айгерим, но старался не показывать этого. Дишь когда они стали готовиться к перекочевке на склон Чингиза, Абай смог уехать в свой аул, о котором так соскучился. На этот раз с ним поехал только Баймагамбет— Ербол остался на жайляу до откочевки аулов на осенние пастбища.

Они выехали под вечер и за ночь перевалили через безлюдный хребет. Несмотря на жару и духоту, они не сходили с коней до самого полудня, пока не добрались до зимовки на Акшокы. Когда Абай уезжал весной, здесь были выведены только стены нового жилья. Теперь на одном из холмов Акшокы стояла большая постройка.

Подъехав к ней, они спешились и вошли в зимовку. Баймагамбет тотчас принялся расхваливать высоту стен и прочность крыш. Абай молча, не торопясь стал осматривать зимовку, начав с двух кладовок для хранения продуктов зимой и коптильни с вытяжной трубой, расположенных по правую сторону здания.

Постройкой руководили Айгерим и Оспан, но план ее — и жилых и надворных помещений — был дан самим Абаем. Он сам сделал чертеж со всеми подробностями, указав длину и ширину каждой комнаты и расположение дверей. Теперь он проверял каждую стенку, прикидывая размеры и

восстанавливая в памяти свой чертеж. У Баймагамбета не хватало терпения сопровождать Абая в его неторопливом осмотре, он то и дело убегал вперед и возвращался к нему из других комнат, восхищаясь:

— Абай-ага, идите сюда, вот где замечательно! Настоящий городской дом! И потолок дощатый… А печь-то какая!

Абай пошел дальше. Осмотрев комнаты, которые расхваливал Баймагамбет, он и сам остался доволен. Лучшей комнатой в доме, светлой и просторной, оказалась большая угловая. Вход в нее вел через длинную переднюю. За угловой находилась маленькая комнатка, заканчивающая одно крыло дома. Абай и Айгерим предназначили их для Дильды с детьми и для муллы.

Осмотрев эту часть дома, Абай перешел в комнаты, ожидавшие его и Айгерим. По плану Абая дверь туда должна была вести из общей передней. Но оказалось, что Айгерим изменила план и прорубила дверь из своей комнаты в заново пристроенную с противоположной стороны вторую переднюю. Абай понял ее: ей не хотелось встречаться с Дильдой, и другой вход хоть и не очень, но все же обособлял их половину.

В доме, полном тени и прохлады, уставшее тело приятно отдыхало. В комнате Айгерим Абай задержался. Он мысленно выбрал место для супружеской кровати в углу возле печи и долго стоял в задумчивости, как бы видя перед собой отливающий то красным, то голубым шелковый занавес, который должен скрывать ее.

Баймагамбет продолжал суетливо бегать и скоро вернулся, успев осмотреть всю зимовку. Он оглядел помещения, назначенные для него и для других слуг, и остался ими очень доволен, Абай пошел за ним, обстоятельно осматривая все закоулки. У скотного двора были отдельные ворота, первым шло помещение для верблюдов, за ним коровник. С ним соединялись две большие овчарни с круглыми отдушинами в крыше и конюшня, длинная и высокая, с отдельным ходом. К жилым постройкам примыкал крытый сарай для хранения в летнее время саней и всякой хозяйственной утвари.

Закончив осмотр, Абай присел отдохнуть в тени высоких стен зимовки и шутливо сказал Баймагамбету:

— На наше счастье, нас с тобой и не коснулись все эти хлопоты… Молодец Айгерим, справилась с такой работой! — И он тут же поднялся на ноги. — Веди коней! Скорей домой!

Его вновь охватила тоска по Айгерим и детям. Баймагамбет долго не возвращался с конями, — напоив из колодца и стреножив, их пустили пастись возле зимовки, но они успели уйти довольно далеко, за холмы. Абай нетерпеливо ждал, досадуя на задержку и жадно вглядываясь в расстилавшуюся перед ним долину. Где-то там стоит его одинокий аул…

Его аул… Он не ушел со всеми на жайляу, он остался один в опустевшей долине. Вдали от шума общей жизни, он одиноко стоит среди пожелтевшей

пустыни. Кругом спокойная широкая степь — желтая, безмолвная, глухая. Жаркий солнечный воздух волнуется над ней и колеблется, рождая неясные очертания. Абай старается найти в голубоватой дали место своего аула, но мираж играет перед его глазами множеством видений. Точно наперекор человеку, который считает степь пустой и необитаемой, мираж заполняет даль странными существами и предметами. Они говорят, что степь полна загадочной жизни. Но они обманывают. Мираж — как мечта: он из ничего рождает призрачное утешение. Вот кажется, будто в долине Ералы встал огромный город со множеством голубых куполов, вот синеют дворцы… И вдруг край этого города отрывается от земли и продолжает в небе свою призрачную жизнь. А что там? — не то стадо, не то заросли карагача… Множество легких теней двигаются то в одну, то в другую сторону, притягивают к себе взгляд, настойчиво зовут к себе, повторяя: «Сюда, я здесь!..»

«И мечта и мираж — как надежда: она так же непрерывно меняет свой облик, так же манит, играя и переливаясь перед глазами», — думает Абай. Он всматривается в эти легкие тени, околдовывающие и обманывающие человека, который так и остается одиноким в безлюдье. Но среди этого призрачного мира Абай все-таки видит свой маленький одинокий аул и с тоской и нежностью думает о своих малышах, о своей Айгерим, одинокой, молодой, любимой.

Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблескивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаз — белое море лишь переливается из серебристого в желтое и темное, словно блестящая шелковая ткань. Ковыль уже принял свою осеннюю серебристую окраску, полынь слегка пожелтела, а степной курай, который весной выбрасывал зеленые кисти и синие цветы, стал красновато-бурым. Все говорит об утраченной силе, о минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни. Абай внезапно почувствовал себя осиротевшим, одиноким и усталым. Мысль об одиночестве с особенной силой охватила его. Что-то больно кольнуло Абая в сердце. Его потянуло в аул, к людям, душа его переполнилась тоской и нежностью к ним.

В молчаливом раздумье Абай подводил итоги многим своим прежним размышлениям. «Измучен и несчастен казахский народ, чья родина — эта широкая безлюдная степь. Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так — везде, везде, где живут казахи… Безлюдье вокруг. Нет постоянного, обжитого места. Нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть баурсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть…»

В свой аул Абай приехал поздно, перед самым закатом. Навстречу путникам выбежали дети, взрослые встречали их возле юрт. Здороваясь, Абай все время взглядывал на Айгерим, взявшую повод его коня. Она казалась больной, исхудалой, лицо ее было непривычно бледно, словно кто-то задул, как

светильник, нежный огонь румянца, особенно красивший ее. Абай поцеловал подбежавших к нему Абиша и Гульбадан, обнял Магаша и взял на руки маленького Тураша, сына Айгерим, необыкновенно похожего на мать. Расспросив Дильду о благополучии аула, Абай наконец поздоровался с Айгерим.

Он тщетно искал на ее лице обычную нежность, которая всегда радовала его стосковавшееся в разлуке сердце. Она не только похудела и осунулась, было видно, что ее угнетает какое-то большое горе. Войдя в юрту и переговариваясь с Кишкене-муллой, Дильдой и соседями, Абай тревожно посматривал на Айгерим. И без того бледная, она порой почти синела. Лишь иногда ее лицо вспыхивало мгновенным светом, который тут же потухал.

У Абая не хватало терпения ждать дольше и, увидев, что Айгерим вдруг вся сжалась, точно от холода, едва сдерживая готовые брызнуть слезы, он негромко и полувопросительно окликнул ее:

— Взгляни-ка на меня, Айгерим?..

Они еще не сказали ни слова друг другу, но в этом заботливом и ласковом обращении Айгерим снова почувствовала обычное нежное внимание мужа. Она печально улыбнулась, как бы желая сказать: «Я рада и тому, что ты это заметил», — но слезы, душившие ее, помимо воли выступили на глазах светлыми жемчужинами.

— Что скажете, Абай? — повернулась она к нему. Абай вздрогнул и с тревогой вгляделся в ее глаза.

— Ты больна, Айгерим, милая? Что с тобой? У тебя в лице ни кровинки. Что случилось?

В ответ послышался скрипучий голос Дильды.

— Зачем спрашивать о болезни? — язвительно усмехнулась она. — Нас не болезнь здесь мучает, а горе. А причина— в самом тебе, Абай, сам должен знать… — И она снова зло рассмеялась.

Дильда всегда высказывала Абаю в глаза свое недовольство и обиду, но сейчас она говорила особенно резко. Значит, домашние обвиняли его в чем-то серьезном. Вероятно, ему ставили в вину то, что он не выехал из города сразу по окончании дела. Он сдержал себя, промолчал и продолжал разговор с мужчинами, стараясь не глядеть больше на Айгерим и Дильду.

Между Абаем и Айгерим до сих пор не было ни одной размолвки, ни одной обиды друг на друга. Всегда ее сердце было неизменно, ее любовь непоколебима. Чем бы это сердце ни было ранено нынче, обсуждать это при всех он не мог. Через силу он продолжал разговаривать с детьми и соседями о новом доме на зимовке.

Всю ночь, до самого рассвета, ни Абай, ни Айгерим не спали. Это была мучительная, тяжкая и горькая ночь. Ревность и обида глубоко проникли в душу Айгерим, и, едва успев остаться наедине с Абаем, она открыла ему рану

своего сердца, коротко рассказав о том, что привез Манас, и разрыдалась.

— Как же это могло быть, как вы решились, Абай?! — повторяла она между судорогами рыданий, сотрясающими все ее тело. — Давно ли наш дом казался вам золотым дворцом счастья? А теперь вы сожгли мое сердце, не оживет оно больше! Слезы мои загасили свет этого дома… Нет излечения моей болезни… Не найдете вы слов, чтобы утешить меня, лучше молчите… Прошли мои дни!

Всю ночь она просидела у ног Абая в горьких рыданиях.

Взволнованно и горячо Абай пытался объяснить ей, что слова Манаса — глупая его догадка, ложь. Он успокаивал Айгерим, обнимая ее и ловя поцелуями ее слезы. Все было напрасно. Он с ужасом понял, что никакие его уверения не смогут успокоить ее. Ему стало страшно за будущее. Почва заколебалась под ним, он вдруг увидел тлеющие развалины своего счастья. Он сознавал это с тяжким замиранием сердца и долго лежал безмолвный и притихший.

Наступил бледный рассвет. Айгерим протяжно вздохнула, как умирающий, и глубокая обида непримиренного сердца вырвалась в горьких словах:

— Ох, пропади она пропадом, доля несчастной женщины! Прахом развейся! Что остается ей кроме горючих слез?.. Да что слезы? Пусть бы они лились у меня не только эту ночь, всю жизнь… Страшно другое: они смыли в моей душе все дорогое, все, чем была полна она для вас… Теперь ни мне, ни вам не о чем жалеть и не в чем раскаиваться… Молчать я не в силах — у меня никогда не было никакой тайны от вас, не смогу скрыть и сейчас: нет больше сердца в моем теле. Нет больше огня. Все погасло. Пусто внутри меня. Все смыли мои слезы.

Казалось, в эти слова Айгерим вложила все горе, накопившееся в ее душе: в них звучала безнадежность, покорность злой судьбе. Не такой знал Абай раньше свою красивую, смелую и гордую любимую. То, что она говорила сейчас, звучало как приговор. Она словно причитала по умершему счастью.

Абай испуганно приподнялся на локте и заглянул в глаза жены.

— Что ты сказала!.. Откажись от своих слов, оставь эти мысли! Мое прошлое чисто перед тобой, пожалей его! Я верю, что и будущее наше светло. Не жертвуй им, не губи словами нашего счастья! Возьми их назад, сейчас же возьми назад! — умолял он.

В слабом голубоватом свете лицо Айгерим казалось еще бледнее. Ничего не ответив на мольбы Абая, она поднялась с места, на котором просидела всю ночь напролет, и, закутавшись с головой в шелковый чапан, ушла в неясную мглу рассвета, вся в черном, с черным горем на сердце. В белой юрте Абай остался один.

Проходили дни, но Айгерим не менялась. Вспышка горя перешла в ней в безмолвное оцепенение. Абай ничем не мог рассеять его. Впервые возник между ними холод — и не исчезал.

Айгерим была для Абая и любимой женой и неоценимым верным другом. Этот непреодолимый холод, возникший между ними, мучил его, как незаживающая рана, как неизлечимая болезнь. Злая рука коварной сплетни убила их счастье. Причиной всему была одна Дильда. В первый раз в жизни Абай понял, что значит каяться в непоправимой ошибке. «Зачем я женился на Айгерим, не порвав с Дильдой, не отпустив ее?.. Как я мог это сделать?.. Чем я лучше других мужчин, невежественных, тупых, вероломных? Ну что ж, страдай теперь! Пей горький яд, ты сам, своей рукой влил его в свою жизнь, пей теперь!» — думал он в отчаянии.

Тяжкое сознание своих душевных ошибок все усиливалось в нем. Охваченный тоской одиночества, Абай круглые сутки проводил в юрте за книгами. Они стали необходимы ему, как дыхание, как воздух. Он прочел все, что привез из города, и отправил Баймагамбета в город к Кузьмичу. Тот прислал ему полный коржун новых книг.

Сама природа как бы отвечала безрадостному душевному состоянию Абая. Наступила суровая осень, над Ералы и Ойкодыком повисло беспросветное ненастье, дул холодный степной ветер, длинные ночи были пронизаны сыростью.

Аулы, чьи зимовки были расположены в ущельях Чингиза, прикочевали с летних жайляу на осенние пастбища в долину, где находилась стоянка Абая. Они густо расположились в ложбинах Ойкодыка и Акшокы, богатых травами и обильных ручейками и колодцами. Все старались подкормить скот на зиму.

Аул Абая все лето провел в полном одиночестве. Сейчас он был окружен множеством вернувшихся сородичей. Снова начались поездки в гости, взаимное угощение. Только Абай и Айгерим никуда не ездили. Они не выходили из юрты.

Абай, как отшельник-ученый, не подымал головы от книг. Казалось, осенний холод, охвативший природу, проник и в его душу. Было похоже, что и Абай примирился с судьбой, что и он тоже считает одиночество единственным оставшимся ему уделом, тяжелой, но уже привычной болезнью. Иногда под вечер он садился на коня и один, без всякой цели, объезжал пасущиеся стада, не возвращаясь до наступления полной темноты. Но порой, подъезжая к аулу, он ловил себя на мысли, что в юрте его кто-то ждет. Но кто?.. Он пытался ответить себе на это:

«Мне все кажется, что кто-то подойдет, рассеет этот мрак, затеплит в нем огонек надежды… Кто же это? Кого я жду?.. Айгерим? Может быть, ее сердце вернулось? Может быть, душа ее снова обратилась ко мне, радостная и улыбающаяся?.. — Но тут же он перебивал сам себя: — Нет… На это и не похоже… Она не стремится к тому, о чем я мечтаю… Кого же тогда я так жду?..»

И вдруг он догадался.

— Ербол! — вырвалось у него. — Приехал бы Ербол! Побыл бы хоть он со мной в мои печальные дни!..

В этот хмурый осенний вечер он почувствовал острую тоску о стойком, испытанном друге. Казалось, он впервые понял и оценил до конца, как дорога ему дружба Ербола. Ведь долгие годы они неразлучно шли по извилистому пути жизни, вместе терпели и жару и холод, вместе испытывали свое мужество; ни разу не омрачили дружбы размолвкой. Жизнь, пройденная ими, одинаково принадлежала им обоим, только в последнее время они стали разлучаться надолго то зимой, то летом.

Когда Абай женился на Айгерим, Ербол тоже справил свадьбу со своей Дамели, и его сынишка Смагул появился на свет в одно время с Турашем. Абай заботился о нуждах Ербола не меньше его самого. Долгое время аул Ербола во многом зависел от милости Суюндика и других сородичей. Теперь он имел хорошее стадо и в кочевке мог уже не тащиться за аулом Суюндика: Ербол объединил в самостоятельный аул семь хозяйств сородичей, окружавших светлую пятистворчатую юрту, где жила его семья. И молочного и тяглового скота у него теперь хватало, да кроме того, возвращаясь от Абая после длительной побывки, Ербол всякий раз пригонял подарок друга — то крупный, то мелкий скот.

Сейчас, когда Абай так тосковал о нем, Ербол жил на своей зимовке в Карашокы, оставшись в горах, чтобы заготовить корм для скота и оборудовать зимовку к холодам. Абай понимал удерживавшие его там нужды и заботы и терпеливо пережидал: он отлично знал, что, закончив хозяйственные хлопоты, Ербол приедет тотчас.

В своем далеком ущелье в Чингизе Ербол будто почувствовал, что друг его думает о нем и мечтает о его приезде. Однажды вечером, когда в тихой юрте только что зажгли свет и Абай по обыкновению склонился над книгой, дверь быстро открылась.

— Добрый вечер! — раздался звучный веселый голос Ербола.

Абай вскочил, бросился навстречу другу и, крепко обняв его, повел к переднему месту.

— Как хорошо, что ты приехал! — повторял он. — Мне без тебя просто воздуху не хватало!.. Раздевайся, садись!.. Постели корпе, Айгерим, дай подушки!..

Он суетился и радовался, как ребенок. Глядя на то, как он хлопочет вокруг друга, Айгерим рассмеялась, но вновь замкнулась в себе. Ей вспомнилось, как раньше, в счастливые дни, Абай так же радостно и ласково встречал и ее даже после одного дня разлуки. Ей вдруг стало жаль Абая, что-то теплое шевельнулось в сердце, но тут же исчезло.

Молодое сердце, охваченное ревностью, бывает и мстительным и несправедливым и способно принять драгоценность да дешевку. Так и Айгерим

радостное оживление Абая при встрече с Ерболом приняла совсем за другое: ей казалось, что Абай радуется ему не как старому другу, а как свидетелю и соучастнику своей тайны с Салтанат.

Раньше она всегда встречала Ербола с такой же искренней радостью, как Абай. Их дружбу она понимала как дополнение и украшение своего счастья. Но сейчас в ней возникло горькое чувство: оба они были связаны тем, что разделяло ее и Абая. «Мое несчастье — это Салтанат, — думала она, — а Ербол способствовал ее встрече с Абаем, кто знает, какие у них общие тайны…»

Но все-таки приезд Ербола рассеял молчаливую тоску, давно уже жившую в юрте. Едва успев выпить кумыса, Ербол принялся за свои шутки.

— Торопись, Айгерим, готовь и чай и обед! У меня весь день ничего во рту не было — как напоила меня Дамели чаем в Карашокы, так весь день и ехал!.. А я пока сбегаю на поклон к Дильде, а то Алшинбаева дочка завтра же заскрипит от обиды!.. Пойду и детей обниму… Да не таращи ты на меня глаза, принимайся за дело!

Он будто в своем ауле обошел все юрты подряд и, отдав салем всем старшим, вернулся обратно. Усаживаясь за еду, он сообщил новость: в ауле Есхожи готовился праздник по случаю свадьбы Умитей. Любимица рода, славившаяся и своей красотой, и приветливостью, и своим замечательным пением, уезжала в аул жениха—Дутбая из рода Кокше.

Действительно, в тот же вечер аул Абая получил приглашение на свадьбу. Женщины уехали с Айгерим утром, а к обеду в аул Есхожи приехал и Абай с Ерболом и Баймагамбетом.

Праздник был в разгаре, все юрты, выставленные для гостей, были переполнены приезжими. Друзья прежде всего зашли в Большую юрту и отдали салем Есхоже, пожелав молодым счастья. Тут же их оставили пообедать. Из юрты жениха и его свиты сюда доносились песни девушек, невесток и молодежи аула. Вдруг какой-то шум и взрывы смеха заглушили песни. Видимо, происходило что-то необычное: мимо двери Большой юрты бежала молодежь, дети шумели, даже и из пожилых кое-кто участвовах в этой суматохе. Возбужденные голоса слились в общий говор.

— Э, смотрите, сэри идут!

— Откуда они взялись?

— Душа моя, как они разодеты, не разберешь, мужчины или женщины!.. Глядите — и все в красном, в зеленом!..

— Смотрите, смотрите — вон старший сэри! И домбра у него вся разукрашена! Таких сэри мы еще не видели!

Детвора с криками и смехом сновала между взрослыми:

— Шапки-то! Будто саукеле![149] Это не сэри, а невесты!

— А штаны? Точно женские юбки! А вон у того, как бараньи кишки, тащатся! Вот бы собак на них науськать, потаскали бы за такие штаны!..

Все вокруг суетилось, кричало, смеялось.

— Сал и сэри приехали! — сообщали друг другу люди.

В юрте Есхожи вместе с другими сидел Изгутты. Вероятно, ему показалось слишком почетным называть сал и сэри каких-то неизвестных сорванцов, осмелившихся с таким шумом явиться на праздник, потому что он спросил с неудовольствием:

— Кто это такие? Откуда?

Есхожа, который, как оказалось, знал об этом заранее, объяснил:

— Это не чужие, это все наш Амир устроил!

Абай и Ербол слышали, что несколько молодых жигитов во главе с Амиром разъезжали летом по степи и гостили по аулам, как настоящие сал и сэри, но до сих пор никто еще не называл их так. Друзья вышли посмотреть на выдумки Амира.

Большая толпа молодежи в ярких и пестрых одеждах шла к трем юртам, поставленным для жениха. Средняя была восьмистворчатая, верхние ее кошмы были отделаны узорами из красного и зеленого сукна и оторочены по краям красной каймой. У дверей ее стояли нарядные девушки в собольих шапочках с перьями филина, из-под которых, сверкая, спускались тяжелые шолпы. Среди них была и Умитей, выделявшаяся особенно нарядной одеждой, в шапочке из темной выдры, надетой слегка набекрень. Девушка казалась яркой утренней звездой Шолпан, сверкающей среди других. Когда сэри приблизились, Умитей повела своих девушек навстречу им.

В рядах певцов тоже шли празднично одетые молодые невестки. Баймагамбет с удивлением воскликнул:

— Там и женщины-сэри? Откуда они явились?

Ербол уже узнал идущих.

— Не видишь, что ли, — вон наша Айгерим! Наверное, и невестки сговорились с ними! Вот выдумщики!..

Действительно, перед самым приездом этих необычных гостей в свадебный аул прискакали их посыльные — так же ярко разодетые юноши с кинжалами, заткнутыми за пояс. Они подняли всю эту суматоху и направили гостям навстречу нарядную толпу невесток, находившихся в юрте жениха. Сэри спешились и продолжали шествие об руку с красавицами.

С громкой песней, будто предупреждая аул: «Вот мы идем!» — они шли парами, под руку с невестками или обнимая их. Впереди шел старший сэри, две невестки сопровождали его с двух сторон, положив руки на его плечи. Это был самый взрослый из юношей, высокий и представительный Байтас. Даже домбра его была украшена более пышным пучком перьев филина и бубенчиками, будто и она говорила: «Я тоже не простая, я — сал-домбра![150]» Перед началом каждого припева Байтас подымал ее над головой и потряхивал ею. По этому знаку вожака все сэри дружно подымали свои разукрашенные домбры и

громким хором подхватывали напев «Жирма-бес».

Абая и Ербола удивило то, что все певцы пели хором. Обычно песню пели одновременно не более двух человек, даже если юрта полна была певцами. Это новшество понравилось друзьям.

Торопись веселиться, — тебе двадцать пять,

Эти годы к тебе не вернутся опять!..—

говорила песня, и было похоже, что этот припев так подходящий к новой выдумке, множество голосов подымало над толпой молодежи как знамя, как клич молодости.

Девушки, вышедшие с Умитей навстречу гостям, шли к ним с этой же песней. Обе толпы подошли одна к другой и вместе закончили припев. Теперь невестки в белых уборах на головах, шедшие с жигитами, отступили в задние ряды. Их сменила свита Умитей. Каждая из девушек взяла под руку одного из жигитов-сэри, к Байтасу снова подошли две. Умитей пошла рядом с Амиром.

Вся толпа двинулась к средней праздничной юрте. Посыльные певцов, спешившись, выбежали перед шествием. Взмахивая своими разукрашенными плетьми, они разгоняли и теснили детвору и толпу любопытных. Возле свадебных юрт было полно народу, тут стояли и Абай с его друзьями, и свита жениха, и сваты, но посыльные не считались ни с кем, кроме своих повелителей — сэри.

— Посторонись! Отойди! Прочь с дороги! — кричали они и, разделив толпу надвое, проложили широкий путь юрте жениха.

Когда кто-нибудь выскакивал из рядов, посыльные принимали свирепый вид и угрожающе сверкали глазами, подражая шабарманам. Высокие как на подбор богатыри порой угощали нарушителей установленного ими порядка ударом камчи по ногам или по спине, но это ни в ком не вызывало обиды, — потерпевший с хохотом отбегал в сторону.

Шествие привлекло к себе множество зрителей. За тесными рядами любопытных виднелись всадники, прискакавшие посмотреть на небывалое зрелище. Такое количество сэри — их было около сорока, — яркие их одежды, необычное поведение и пение изумляло и восхищало всех.

Байтас, высокий, румяный с остроконечной рыжей бородкой, продолжал идти впереди всех, будто и не замечая толпы зрителей. Две девушки по-прежнему обнимали его за шею с обеих сторон. Приближаясь к юрте жениха,

он повелительным движением поднял свою домбру над головой, и все сэри, певшие «Жирма-бес» негромко, словно передавая друг другу какую-то тайну, сразу запели во весь голос. Девушки и молодые невестки присоединились к ним.

За Байтасом, несколько отделившись от всех остальных, шли Амир и Умитей, крепко прижавшись друг к другу, как влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки. Их голоса выделялись в хоре. Они были запевалами и вели песню, — Байтас возглавлял торжественное шествие, но в пении все сэри подчинялись им. Красота и обаяние этой юной пары обращали на себя общее внимание, на изысканном языке сал и сэри о них можно было сказать, что их «живописал сам бог».

Весь богатый наряд Умитей, начиная с перьев филина на шапочке из меха выдры, дорогих украшений, бус, бахромы и кончая остроносыми лакированными кебисами, облегавшими маленькие ножки, подчеркивал ее нежную красоту. Лицо ее сияло самозабвенной радостью, будто сейчас, идя рядом с Амиром, она переступала порог счастья вместе с избранником сердца.

Амир тоже выделялся из толпы сэри. Голубой атласный наряд удивительно шел к его высокому росту и к юному лицу со светлой кожей и короткими черными усиками. Амир вел Умитей, повернувшись к ней и не сводя с нее больших, озаренных счастьем глаз. Кроме нее, он никого не видел вокруг и только на нее молился молчаливым взглядом, только для нее пел. Девушка радостно улыбалась в ответ, алые губы ее слегка дрожали, открывая ряд ровных белых зубов. Не отрывая взгляда от лица Амира, она не шла — плыла на теплой волне счастья. Их души уже принадлежали друг другу. Казалось, что юноша и девушка сольются сейчас в безмолвном долгом поцелуе, в первом объятии влюбленных.

Ербол, прекратив шутки, молча смотрел на них. Тяжелое и тревожное чувство овладело и Абаем. Шествие сэри вдруг потеряло для него всякую занимательность, и, оставив Ербола и Баймагамбета, он стал протискиваться сквозь напиравшую толпу.

Но убежать от своих мыслей он не мог. Пробираясь в задние ряды, он слышал кругом возгласы удивления. Они долетали до него со всех сторон и как будто хлестали по ушам.

— Погляди-ка на Амира и Умитей… Одни они, что ли… как идут!.. — говорила пожилая женщина своему мужу.

— У кого же нынче свадьба — у Дутбая или у Амира? — удивлялся человек с проседью в бороде.

— Точно влюбленные после разлуки… — услышал Абай позади себя. И эти возгласы, шепот, шутки и сочувственные сожаления преследовали его, пока он не вышел из толпы.

— Собой не владеют…

— Уж если влюбляться, то так, как эти!..
— Эх, молодежь, и скрыть своих чувств не умеет!..
— Вот это пламя, пропадает жизнь у бедняжек…
— Чуют разлуку… Когда страсть побеждает, разум отступает…

Пересуды и шепот бежали по толпе, готовые слиться в недобрую сплетню. Абаю стало не по себе. Поведение Амира и Умитей смутило и его: ему было стыдно за них и перед всей этой толпой и перед Дутбаем, женихом Умитей. Жигит этот, несмотря на свою молодость, пользовался уважением всех и самого Абая. «Дойдут до него эти злые слухи — тяжело будет и ему и им обоим», — с тревогой думал он. Его уже не радовало ни пение, ни веселье, продолжавшееся вокруг свадебной юрты. После угощения жигиты вскочили на коней, начались скачки, состязания, игры. Абай сам разыскал своего коня и незаметно уехал один.

Лица Амира и Умитей, горящие страстью, все еще стоили перед его глазами. Он то досадовал на влюбленных, жалел их; то осуждал их, то сам терялся перед всепобеждающей силой, более могущественной, чем воля человека, силой, о которой он не раз читал в книгах. Сердца их были полны огня, и, хотя они не сказали ни слова, взгляды их выразили все не только друг другу, но и всей этой толпе… Задумавшись, Абай ехал по степи, сам не видя куда. Неясные еще строки звучали в нем. Казалось, это был голос молодых сердец, прямых и откровенных, не считающихся ни с чем и не подчиняющихся рассудку. Сам собой зазвучал новый напев, медленный и задушевный, подхватывая сложившиеся стихи:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза —

Вопрос иль ответ готов…

Внезапно родившиеся строки не выходили у него из головы весь день, и, вернувшись к себе в аул, он все время возвращался к новой песне.

Праздник в ауле Есхожи лишь в течение первого дня шел беззаботно, шумно и весело, как и полагается идти свадьбе. В следующие дни торжественность его и веселье были омрачены предвестьем надвигающегося несчастья. С той самой

минуты, когда Амир вошел в юрту невесты под руку с Умитей, свадьба Дутбая как бы превратилась в торжество юного певца. И с этой же минуты толки, которые слышал Абай во время шествия, быстро разлетелись по степи, как пожар в ветреный день.

Гостями на свадьбе были не только иргизбаи, анеты, жигитеки, мамаи, стоявшие на осенних пастбищах поблизости — в Ойкодыке и Ералы, сюда явилось и множество гостей из рода Кокше, сосватавшего Умитей. Молва об Амире и Умитей быстро распространилась по всем этим племенам. «Амир так себя ведет, что весь Иргизбай позорит перед Кокше», — злорадно шептали те, кто таил обиду на иргизбаев. Другие, имевшие счеты с карабатырами, говорили о том, что юношу подбила сама Умитей: «Проводи меня сам, проводи меня своими песнями», — будто бы послала она ему сказать, приглашая на свадьбу.

Так или иначе, Амир и Умитей были неразлучны. Все три дня и три ночи в свадебных юртах непрерывно звучали их песни. Пела и Айгерим, много и охотно, как будто выпуская на волю все те песни, которые так долго подавлялись в ее ауле. Она пела, как соловей, вырвавшийся из клетки.

Дутбай, жених Умитей, был одним из самых умных, красноречивых и известных жигитов рода Кокше. Он успел уже приобрести положение и влияние среди сородичей. Честолюбивый и гордый, он мучительно переживал тяжесть двусмысленного положения, в которое поставило его на собственной свадьбе поведение Умитей. Первое время он обрывал своих товарищей, делавших обидные для него намеки. Потом он попробовал спокойно уговорить Умитей держаться подальше от сэри, не обвиняя ее прямо в глаза. Однако советов его Умитей не приняла.

— Ведь я прощаюсь с сородичами, прощаюсь навсегда, — ответила она. — Я знаю, что тебе тяжело, но прошу тебя, позволь мне повеселиться с ними, ведь мы росли вместе…

Она умела добиваться своего, в особенности когда говорила так нежно; кроме того она вообще не привыкла повиноваться.

Несмотря на свою молодость Дутбай хорошо разбирался в людях и имел достаточно выдержки, чтобы с достоинством перенести такого рода испытание. Эти качества и выдвинули его среди молодого поколения. В роде Кокше он пользовался большим влиянием, с ним считались не меньше, чем с Такежаном в Иргизбае. Спокойно все обдумав, он понял, что, действуя напролом, он только ухудшит положение и сам будет вынужден идти на открытый разрыв. Терять же Умитей, которая всегда ему очень нравилась, Дутбаю не хотелось. Он и раньше хвалился: «Беру белого марала, лучшую девушку Карабатыра!» После разговора с Умитей он решил терпеть и общество сэри и все усиливавшуюся сплетню.

Но терпения его хватило только на три дня. На рассвете четвертого дня несчастливой свадьбы он своими глазами увидел то, что Амир и Умитей

считали скрытой от всех тайной: закутавшись в черный чапан, они стояли обнявшись у белой юрты невесты. Дутбай сам сорвал с их голов чапан и увидел их заплаканные лица, соединившиеся в долгом прощальном поцелуе.

Дутбай тут же послал товарищей пригнать с пастбища коней и будить всех, кто с ним приехал, даже старшего свата и самых пожилых родичей. «Пусть сейчас же садятся на коней, и глотка воды не сделав!» — приказал он, и приказал так, что спорить с ним никто и не подумал. С восходом солнца жених и вся его свита покинули аул Есхожи, не простившись ни с кем.

Это было тяжким позором не только для невесты, но для всего ее аула: жених сам давал развод, брезгливо оставляя невесту ее родне. Есхожа собрал всех старших своего аула и погнался за главным сватом жениха Жанатаем. «Не раздувайте пожара, не накличьте беды! — умолял он. — Говорите, что вы просто отправились вперед… Все еще спят, никто не видел, в каком гневе вы уезжали… Все еще можно спасти — мы сейчас же разберем свадебную юрту и отправим Умитей вслед за вами… Не будем затевать вражды!..»

Жанатай поговорил с Дутбаем. Тот, уже овладев собой, взвесил неминуемые последствия своего отъезда и согласился. Есхожа поскакал в аул. Юрту невесты сейчас же разобрали, и скоро Умитей была отправлена в аул жениха вместе с провожающими и с караваном приданого.

Айгерим вернулась в свой аул к концу этого тревожного дня. Абай и приехавший накануне Ербол встретили ее у юрты. Лицо ее их поразило: счастливое и оживленное, оно сияло живой красотой, как в давние дни. Выйдя из повозки и сбросив на руки Злихи верхнюю одежду, Айгерим подошла к Абаю и Ерболу с учтивым вопросом о благополучии аула. Абай смотрел на нее с радостным изумлением.

— Взгляни-ка на нее, Ербол! Она просто расцвела! Вот что сделали ее любимые песни!

— Верно, — в тон ему ответил Ербол. — Она будто красная лисица, повалявшаяся в первом снегу!..

Айгерим невольно улыбнулась.

— А что же вы не захотели послушать их? Уехали с праздника без меня, оставили одну с моими песнями… А теперь смеетесь надо мной…

Но Абай и не думал поддразнивать ее.

— Да мы не смеемся, мы восхищаемся тобой, дорогая моя!.. Видно, ты рождена для песни, а мы надели на тебя колпачок, как на ловчую птицу, и держали в плену. Ты совсем ожила, на тебя и смотреть радостно! Знаешь, ты похожа сейчас на прирученного сокола, когда он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из далекого и долгого полета: тогда он снова немного дичится — и на зов не идет и на руки не садится… Слишком долго тосковал он о вольном небе, чтобы сразу забыть о прелести полета, о короткой своей свободе… Разве не такая сейчас наша Айгерим? Она вся еще там, в песнях…

Ведь правду я говорю, а, Айгерим?

Друзья улыбались, улыбалась и Айгерим, заливаясь смущенным румянцем. Потом она сказала с нарастающей горечью:

— Вы все шутите надо мной… То я лисица, то сокол… По правде, я и сама не знаю, кто же я — свободная ли птица, или меня держат на привязи, не доверяют, испытывают, скрывают правду… — Она нахмурилась и ушла в юрту.

Отъезд Умитей не смог положить предел безрассудству Амира.

Когда ее отправили вслед за родичами жениха, Амир, убитый отчаянием, уехал из аула Есхожи вместе со своими товарищами сэри по другой дороге. Образ любимой не покидал его. Едва аул скрылся с глаз, он упал головой на гриву коня и предался своему горю. Жигиты стали утешать его, и кому-то пришла в голову мысль нагнать свадебную кочевку, чтобы дать Амиру возможность в последний раз попрощаться с Умитей.

Амир и вообще никогда не обращал внимания на людские пересуды, в эти же дни он в своем горе был глух ко всему. Он совершенно не представлял себе, как раздулась сплетня о них с Умитей и к чему приведет это новое свидание. Наоборот, одна мысль о встрече оживила его, и он выпрямился в седле.

— С этим кокше ее связало только сватовство, а меня с ней соединила воля всевышнего, — обратился он к друзьям. — Не думайте, что я говорю так по молодости или легкомыслию. Я знаю: судьба обрекла меня на это пламя. Пусть это грех, но без Умитей для меня нет жизни… Поворачивайте коней! Догоним кочевку!

Среди друзей Амира был молодой певец и акын — румяный, светлоглазый жигит Мухамеджан. Он сильнее всех сочувствовал юным влюбленным и острей всех переживал горе Амира. Услышав смелые и решительные слова юноши, он весь встрепенулся, любуясь другом, и громко рассмеялся от восхищения.

— Вот это слова!.. Эй, жигиты, подхватим их! У этой минуты есть своя песня, слушайте!

И он тут же запел своим высоким и чистым голосом как бы от имени Амира. Слова песни, рожденной внезапно, звучали призывно и страстно:

Очнулась душа, рассеялся мрак,

Готов я неслыханный сделать шаг.

В погоню!.. Увозят свет жизни моей!..

Гоните, друзья, белогрудых коней!

Амир и все сэри подхватили новую песню и подняли вскачь своих коней, подобранных для праздника в масть — один к одному белых как снег. Только под Амиром был темногривый саврасый. С громкой песней, звучавшей, как боевой клич, жигиты скакали по широкой равнине, ни разу не натянув поводьев. Скоро с пологого холма они увидели свадебную кочевку Умитей — десять верблюдов, навьюченных приданым, и нарядных мужчин и женщин верхом на конях. Перегоняя друг друга, жигиты помчались к кочевке, которая уже приближалась к стоянкам Кокше.

Даже внезапный отъезд жениха не образумил Умитей. Ни в ауле, прощаясь с Амиром и рыдая в его объятиях, ни в пути она не скрывала своего отчаяния. Глаза ее покраснели от слез. Горько всхлипывая, она то и дело бросала печальные взгляды в ту сторону, где остался единственный друг ее души. И вдруг она заметила всадников в ярких цветных одеждах, нагонявших караван. Сердце ее забилось. Старшие, ехавшие впереди каравана, тоже увидели их. Есхожа удивленно переглянулся с Изгутты.

— Откуда их вынесло? Совсем ума лишились?

Впереди других, обогнав их на расстояние пущенной стрелы, мчался одинокий всадник на темногривом саврасом коне. Умитей рывком остановила своего иноходца и вся замерла в ожидании. Это — Амир, это может быть только он!..

Доскакав до Умитей, юноша, задыхаясь от сдерживаемых рыданий, обнял ее и стал осыпать поцелуями влажные от слез глаза. Спутники Амира, примчавшись вслед за ним, тотчас окружили влюбленную пару. Их белые кони, ставшие вокруг тесным кольцом, казались живой юртой, воздвигнутой для Амира и Умитей. Сэри запели «Козы-кош», прощальную песню Биржана, замедляя ее напев и придавая ей этим необыкновенную печальную торжественность:

Прощайте, юные друзья!..

Здесь с вами юным был и я.

Уйду в далекие края —

Уйдет и молодость моя…

Амир и Умитей продолжали плакать, прижавшись друг к другу. Изгутты и Есхожа, прискакав из головы каравана, врезались в кольцо коней, окружавшее влюбленных, и закричали вне себя:

— Хватит, довольно! И так наделали дел!..

— Уймись, Амир! Попрощался — ну и ступай!

В голосе Изгутты кипела злоба. Он схватил повод коня Умитей и с силой потянул к себе. Иноходец сделал скачок, вырвав девушку из объятий любимого. Она дико вскрикнула:

— Амир!.. — и, пытаясь остановить своего коня, взмолилась — Не покидай меня, Амир! Доведи сам до костра мучений! Мои же родичи бросают меня в пекло!.. Не покидайте меня, все идите за мной, все!

Слезы высохли на ее глазах. В отчаянии она обвела всех взглядом и, смертельно побледнев, выкрикнула с неожиданным озлоблением:

— Пусть взбесится! Посмотрю я, как он посмеет стать поперек!

И она вцепилась в повод коня Амира, увлекая его за собой. Амир, перегнувшись с седла, охватил стан и приник к ней поцелуем.

— Милая моя… Полная луна моя… Пусть прервется дыхание мое, лишь бы не закатилась моя луна… Если суждена мне, несчастному, смерть — умру на твоих глазах! Еду с тобой!

И он повернулся к своим спутникам-сэри:

— Едем все!..

Те оттеснили от них Изгутты и Есхожу, и караван двинулся. Толпа нарядных сэри, окружив Умитей, провожала ее, охраняя, как драгоценное сокровище. Старшие провожатые и сваты ехали впереди, не в силах помешать этому.

Нарядная восьмистворчатая юрта невесты была уже доставлена в аул жениха. Молодая келин вошла в нее, поддерживаемая под руки Амиром и Байтасом, перед нею, по обычаю, несли растянутый шелковый занавес, — сэри на этот раз не отступили от обычаев, но население аула встретило их неожиданное появление встревоженно и даже недружелюбно.

Однако недовольство и раздражение не перешагнули порога Молодой юрты. Молодежь, девушки, невестки и пожилые байбише аула встретили новую келин добрыми пожеланиями и осыпали ее голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками. Никто будто не замечал странного для такого торжества присутствия Амира.

И этот торжественный прием Умитей и забота о ее чести были делом самого Дутбая. Он не просил совета ни у старейшин рода Кокше, ни даже у своего отца Алатая. Вооружившись мужеством и терпением, он шаг за шагом исполнял принятое им самим решение — отвести сплетню от имени Умитей и принять ее в свою семью торжественно и радостно.

Но в тот же вечер, поручив гостей своей матери, умной и спокойной женщине, Дутбай сел на коня и помчался в соседний аул к главе рода Кокше, своему дяде Каратаю. Попросив всех выйти из юрты, он с глазу на глаз рассказал ему о тяжелой обиде, причиненной Амиром.

— Поезжайте к Кунанбаю и своими устами поведайте ему обо всем, — заключил он. — Пусть уймет мальчишку, иначе дружба между Кокше и Иргизбаем рухнет, все пойдет прахом!

С того дня как он стал во главе рода Кокше, старый Каратай не помнил случая, чтобы кто-нибудь из молодежи так твердо высказывал готовность к борьбе с одним из самых сильных и многочисленных родов Тобыкты. Он с гордостью окинул взглядом Дутбая, крупного, статного, молодого, с большим открытым лбом и смелыми решительными глазами, в которых, как у сокола, мелькали золотистые искорки. Видно было, что такой, не задумываясь, кинется в костер, если того потребует честь рода. Но вместе с тем Каратай оценил самообладание и мужество Дутбая: гнев не затуманивал его разума. «Да, видно, ты настоящий кокше, — подумал старик, — быть тебе после меня хозяином рода…»

Выслушав до конца рассказ Дутбая, Каратай поднял на него немигающие глаза, обдумывая решение, и коротко сказал:

— Вели подавать коня. Найди мне провожатых. Поеду сейчас же.

Дутбай послал в аул за своим отцом Алатаем и одним из старейшин рода — Бозамбаем, прося их сопровождать Каратая.

Аул Кунанбая одиноко стоял на Корыке, старый хаджи отделился от всего Иргизбая, раскинувшего свои стоянки на Ойкодыке. Нурганым никак не могла забыть обиды, которую ей пришлось вытерпеть весной от Оспана, и все лето просила Кунанбая о постройке отдельной зимовки: ей хотелось быть в стороне от соперниц, от их уже взрослых и дерзких сыновей. Эта просьба совпала с желанием самого Кунанбая, искавшего старческого уединения. Летом он раньше других прикочевал к Корыку и, согнав сюда целую толпу жигитовз, выстроил небольшую зимовку для себя и Нурганым. Сейчас старый хаджи стоял аулом возле новой зимовки, предаваясь своему безмолвному покою, подобному смерти.

Каратай со своими спутниками доехали сюда к наступлению ночи. Почти весь аул уже спал, но в юрте Кунанбая огонь еще не был погашен. Услышав топот коней и лай переполошившихся собак, Нурганым решила, что приехал кто-то чужой: кто из близких родичей приедет к ним поздней ночью, когда и днем-то все старались объезжать стоянку Кунанбая, словно аул заразного больного? Старик хаджи не выходил из-за занавески, не принимал участия в мирских разговорах, его аул наводил на гостей скуку и уныние.

Когда приезжие вошли в юрту, Нурганым, сидевшая у ног Кунанбая и наполовину скрытая занавесом, выглянула из-под него и негромко сообщила

мужу:

— Каратай приехал.

Кунанбай сидел на кровати, обложенный подушками, и перебирал, четки, низко опустив лицо. Услышав слова жены, он быстро поднял голову, выражение смирения и раскаяния исчезло с его лица. Не успели гости дойти до переднего места, как Кунанбай резко откинул — точно смахнул — занавес, висевший опущенным с самого утра. Он даже не поздоровался с прибывшими. Сверкнув своим единственным выцветшим глазом, он уставился им на Каратая, и того поразило жестокое, полное злобной настороженности лицо кающегося хаджи: уже лет десять никто не видел его таким. Каратаю стало даже не по себе, будто он, оступившись, провалился в берлогу спящего хищника и, внезапно разбудив, сразу разъярил его.

Но появление Каратая не было неожиданностью для Кунанбая. Вчера, возвращаясь из аула Есхожи, Айгыз заехала к мужу и выложила ему свои обиды и жалобы. Она уехала со свадьбы возмущенная. Есхожа приходился ей близким родственником, и на прощанье она упрекнула его, что он дал такую волю жигитам-сэри и превратил праздник в недостойное посмешище. Есхожа в ответ сам стал жаловаться на них и просил Айгыз сообщить об этом Кунанбаю, объяснив, что не выгнал Амира только потому, что тот — внук Кунанбая. «Чтоб им пропасть с их песнями и тряпками, это не сэри, а погибель на мой дом!» — твердил он.

Айгыз не только передала Кунанбаю его слова, но добавила и от себя много тяжелых обвинений.

— Осмелели! Думают, на них и управы нет! — побелев от злости, говорила она. — Они и наш аул позорили, пока ты был в Мекке, чуть не на головах у нас плясали! Не угас еще взор твой, а дом наш бесовским гнездом уже стал!

Всю свою давнюю завистливую ненависть к молодежи она выплеснула в этой юрте, рассказывая о том, что была на свадьбе, и уехала лишь после того, как убедилась, что слова ее распалили гнев мужа.

У постели Кунанбая горела свеча. В ее свете глаз старика искрился зловещим красноватым огнем. В этом взгляде кипела злоба — упорная, настороженная, готовая к защите и к яростному прыжку. Задержавшись на Каратае, этот взгляд перешел на отца жениха, Алатая, а затем вонзился в лицо богача из рода Кокше — Бозамбая. Остальные не привлекли внимания хаджи — это были простые жигиты, сопровождавшие старейшин.

Кунанбай понял, что старики приехали от имени всего Кокше. Глухая ночь, суровые лица, насупленные брови — все говорило, что Тобыкты вновь постигла беда, несущая смерть. Комкая в руках край отдернутого занавеса, Кунанбай сам обратился к Каратаю:

— Какой ураган пригнал тебя? С какой бедой приехал? Не тяни, рассказывай.

Оба старика понимали друг друга по едва заметному движению бровей. В эту

беспощадную ночь и мысли были беспощадны. Глядя на застывшее в холодном гневе лицо Каратая, Кунанбай понял сразу: «Его привела ко мне несмываемая обида. Не так приезжает тот, кто готов к примирению».

Каратай угадал мысль хаджи и дал волю тяжелой, как камень, злобе, давившей его с самого вечера.

Он рассказал об Амире, Дутбае и Умитей, ничего не скрывая. Говорил, что появились «какие-то развратники, дьяволы, джины, именующие себя сал и сэри», несущие в себе всю испорченность и греховность последних дней мира. Позор лег на весь род, заставив всех содрогнуться от возмущения. Бесстыдство пришло дерзко, неприкрыто, назвало себя песней, высоким мастерством, ставя себя в пример всем. Всю молодежь втянуло и развратило. Вырядилось в красное и зеленое тряпье, нацепило на шапку перья, затянуло песню, насмехаясь над всем святым.

— Если бы они сели на мою только голову… Но они позорят наших предков, оскверняют их прах! На могилах их пляшут! И нас с тобой перед смертью клеймят черной грязью, чтобы мы предстали с нею перед всевышним. Жалею тебя, но молчать не могу. Кому другому скажу все это? На кого могу я положиться в такое нечестивое время? Никогда не прибегал я с жалобой не только к тебе, но и к последней собаке твоей, — а теперь требую: наложи запрет на этот позор! Рассуди сам справедливо.

Дальше говорить было не о чем. Кунанбай приказал Нурганым отвести гостей в отдельную юрту и подать угощение, а к нему вызвать ее брата Кенжакана.

— Сейчас же бери двух коней и скачи в аул Алатая на Шолак-Терек, — приказал ему Кунанбай. — Отыщи Изгутты и передай: пусть до восхода солнца доставит ко мне Амира! Если тот будет сопротивляться, — связать ему руки и ноги! Избить, но доставить.

Кенжакан, сильный и решительный юноша, никому не дававший спуска, внимательно выслушал Кунанбая, точно впитывая в себя его злобу и возмущение, и тотчас ускакал выполнять поручение.

Кунанбай продолжал сидеть на месте, судорожно сжимая в руках край занавеса. Всю ночь он просидел так, не смыкая глаз и не шевелясь, как каменное изваяние. Старческий гнев, тяжелая злоба, холодная ярость, углубив бесчисленные морщины, застыли на его лице.

Забрезжил белесый рассвет. Потом над широкой пожелтевшей равниной и серыми холмами поднялась багровая осенняя заря. Потом первые лучи солнца залили юрту кровавыми струями. И тогда в юрту Кунанбая вошли Изгутты и Амир. Лицо юноши казалось мертвым — щеки поблекли, глаза потухли, губы побелели.

Кунанбай давно не видел внука. Он молча уставился на него тяжелым взглядом, как бы рассматривая его, и потом, протянув к нему руки, сделал знак:

«Подойти сюда!»

Амир бросил шапку и плеть, подошел к деду и стал опускаться перед ним на колени. И вдруг костлявые пальцы, всю ночь сжимавшие занавес, впились в обнаженную шею юноши и стиснули его горло. Эти старые руки не потеряли былой силы: железными оковами они сжали шею Амира. Старик притягивал внука к себе и тряс его, не давая дохнуть. Юноша посинел, теряя сознание, но железные клещи не ослабевали. Амир захрипел и безжизненно повалился у кровати. Став на колени, Кунанбай не выпускал горла внука из цепких рук. Еще миг — и все было бы кончено.

— Что делаешь? — бросился к нему Изгутты. — Будь он хоть собакой, но твой же он внук!..

Кунанбай с такой нечеловеческой злобой сверкнул на него глазом, что Изгутты отшатнулся. Нурганым, поняв, что когти старика вот-вот прикончат юношу, бросилась к мужу и в отчаянии схватила его руки.

— Хаджи, свет наш, опомнись. Прости его! — закричала она и, навалившись своим сильным телом, оторвала руки Кунанбая от горла Амира. Старик с силой ударил Нурганым коленом в грудь, и она грохнулась навзничь, потеряв сознание.

Внезапно войлочная дверь откинулась и на пороге появился Абай. Он увидел, как упала Нурганым и как Кунанбай вновь накинулся на Амира. В один прыжок Абай очутился у кровати.

— Стой! — крикнул он и сильным рывком отдернул руки отца от горла Амира.

— Он нечистый! — взвыл Кунанбай.

— Не дам убивать! — резко крикнул Абай в ответ.

Они впились друг в друга взглядом, полным ненависти. Оба были готовы к смертельной схватке. Глаза Абая смотрели не мигая, холодный гнев и отвращение переполняли их. Слова его, быстрые, громкие, разили, как взмахи кинжала:

— На устах аллах, а на руках кровь? Опять кровь? За что? Ведь и по шариату их любви нет запрета! По тому шариату, во имя которого ты пролил уже однажды безвинную кровь!..

Перед глазами Абая стояла страшная картина казни Кодара. Тогда Абай был мальчиком… Теперь он не позволит отцу повторить преступление…

— А сейчас против шариата убийство совершаешь? Значит, обет молчания и молитвы ты дал не в покаянии души? Хитрил и прятал свой хищный нрав?

Абай не только защищал Амира, он осуждал, осуждал неумолимо… К Кунанбаю вернулся дар речи:

— Вон! Убирайся с глаз моих!

— Не уйду!

— Потатчик! Развратитель! Все из-за тебя! Ты всех с пути собьешь!

— Пусть так! Из-за меня! А ты-то почему не умираешь спокойно? Не твое сейчас время, а мое, зачем ты вмешиваешься в нашу жизнь?

— Ах, вот ты как заговорил! До чего дошел!.. — прошипел Кунанбай и вдруг замолчал. Он решился на страшную месть.

Как бы отталкивая что-то, он вытянул обе руки ладонями вперед, обратив их к Абаю и к Амиру, который едва пришел в сознание. Потом старик провел тыльной стороной рук по лицу — так обращаются к богу с мольбой об исполнении злого намерения.

Увидев это, Нурганым и Изгутты вскрикнули в один голос:

— Боже, не прими мольбы его!

— Создатель, не внемли ему! Горе, горе! Он проклинает детей своих! — повторяли они в страхе.

Кунанбай не замечал их. Опустившись на колени, он внятно и громко произносил свое проклятье, указывая костлявой рукой то на Абая, то на лежащего внука.

— На заре алой утренней… на рассвете раннем… проклинаю отцовским моим проклятьем порченую кровь свою… двоих этих выродков племени моего… Создатель! Великий, всемогущий аллах! Ты сам не дал мне умертвить его— так услышь теперь раба твоего, прими единственную мольбу мою!.. Возьми двоих этих!.. Пошли к ним верную смерть твою!.. Пресеки жизнь злодеев, уничтожь их, пока не отравили они других ядом своим!..

И, еще раз проведя по лицу тыльной стороной рук, он хрипло закричал:

— Прочь! Прочь с глаз моих! Если и вправду моя кровь течет в ваших жилах — выродки вы! В жертву отдаю вас! Ступайте к погибели и погибайте скорее! Вон отсюда!

Абай стоял, с отвращением глядя на отца. Он не дрогнул от его страшных слов и только коротко ответил: — Уйду. Навсегда.

Кунанбай резко задернул занавес и, сев на постель, откинулся на подушки. Четки затрепетали в жилистых руках— хаджи предался молитве и покаянию.

Амир медленно поднялся, взял шапку и плеть и тут же бессильно опустился наземь. Собравшись с силами, он повернулся к занавесу.

— Ты зовешь ко мне смерть, а мне не страшно!.. Не страшно!.. Даже если в огне меня жечь будут — не страшно! Не боюсь я тебя!.. — с отчаянием сказал он.

Абай помог ему встать на ноги и вывел из юрты, благодаря судьбу, что не опоздал: тревожная весть о том, что Изгутты увез Амира к Кунанбаю, дошла до Абая перед самым рассветом. С ней прискакал друг Амира — Мурзагул, посланный из аула Кокше Байтасом. Зная бешеный и жестокий нрав отца, Абай, не дожидаясь, пока, ему приведут и оседлают коня, тут же сел на коня Мурзагула и в последнюю минуту домчался до аула старого хаджи.

2

Подошел октябрь. Аулы уже закончили стрижку овец. Близились дни откочевки с осенних пастбищ, но никто не торопился на зимовки. Хотя вокруг аулов, стоявших на Ойкодыке, густые, как войлок, заросли ковыля и других степных трав были уже догола вытоптаны стадами, более отдаленные места всё еще были богаты кормами. Избавившись от жары, скот поправлялся здесь быстро, на глазах, и заботливые хозяева, несмотря на неудобства, осенние дожди и холодный ветер, продолжали оставаться на местах.

Большие летние юрты были уже разобраны и отправлены на зимовку, вместо них поставили маленькие, более теплые. Стены новой тесной юрты Айгерим были увешаны коврами и узорчатыми кошмами. Вместо высокой кровати теперь была устроена на полу постель из множества толстых корпе. Место перед постелью, где обедали и пили чай, застлали длинношерстными овечьими шкурами, середину юрты заняли очаг и котел.

В этот дождливый день Абай, читая, сидел на постели, опираясь спиной о сложенные одеяла и подушки и держа книгу в руках. Одет он был уже по-зимнему — поверх бешмета на нем была крытая сукном теплая и легкая шуба, на ногах — просторные сапоги, подбитые внутри войлоком. Айгерим, сидевшая, как всегда, рядом с мужем, куталась в легкий бешмет из лисьих лапок, обшитый по воротнику и бортам мехом куницы, с застежками из красных самоцветов и серебряными пуговицами работы известного мастера-чеканщика.

Айгерим, по обыкновению, была занята вышиванием, Ербол и Баймагамбет, неторопливо попивая осенний кумыс, играли в тогыз-кумалак.[151] Обед уже был готов, котел сняли с огня, едкий дым догорающего очага ел глаза и наполнял гортань горечью. Когда хозяйка пригласила всех вымыть руки и садиться за угощение, Абай закрыл книгу, которую молча читал с самого утра, и взглянул на шанрак.

— Открыть бы тундук, — заметил он.

Но сквозь небольшую щель, оставленную для выхода дыма, моросил мелкий, бесшумный осенний дождь. Абай нахмурился.

— Ой, боже мой, что за погода!.. Откроешь тундук — дождь, закроешь — дым…

Снаружи послышались негромкие голоса подъехавших верховых. В юрту вошли двое: племянник Абая — Шаке, старший брат Амира, и охотник Бекпол. Шаке был озабочен и, видимо, ждал возможности поговорить по делу. Действительно, как только обед был окончен, он обратился к Абаю:

— Я приехал посоветоваться, Абай-ага, — начал он. — Хочу поговорить с вами об Амире…

Шаке нерешительно замолчал. Абай и Айгерим встревожились.

— Здоров ли он? — заволновалась Айгерим. — Эх, бедняжка, живет мальчик, как изгнанник какой-то.

Абай участливо спросил:

— А как он сейчас — тоскует по-прежнему?

— Он очень скрытен, — ответил Шаке неопределенно. — Незаметно, чтобы он был болен… По виду здоров но в душе у него ураган бушует. Я думаю, что он и худеет и чахнет только от этой тоски… Я вот о чем хотел сказать Абай-ага: то он ходил как живой призрак, а нынче — не знаю, из упрямства ли, или встряхнуться хочет — снова принялся за старое. Ни с кем не советовался, никому из родичей слова не сказал, а вчера вызвал к себе всех своих друзей, сал и сэри… Опять нарядились и что-то затевают. Утром я слышал, они говорили, будто поедут в Кокше. Неужели он решился на открытую вражду? Что скажет на это старый хаджи? Ведь он только что проклял его… А кокше! Они так и ждут, как бы отомстить Амиру, боюсь, что пойдут на любое зло… Но как предотвратить его? Дайте совет!

Абай молча слушал, не отрывая взгляда от Шаке, как бы впитывая в себя печальные вести об Амире. Его решение удивило всех.

— Нельзя нам отдать Амира во власть горю, уступить смерти, — сказал он. — Если бы он жил в другое время, среди других людей, может быть, он был бы выше всех нас, выше поколения, проклявшего его… Я сочувствую Амиру всей душой. Он уже достаточно наказан, пусть поступает теперь как хочет. Ведь его точно по глазам хлестнули — все он вертится на одном месте… Так пусть хоть не говорит, что его гоняют все, кому не лень, и конный и пеший. Не препятствуй ему, Шаке. Хочет ехать в Кокше — пусть едет. Отец все равно не снимет проклятья, как бы Амир ни старался, а кокше уже успокоились. Может быть, в песне изольется его горе, прояснится душа…

Ербол и Шаке, подумав, согласились с Абаем. Не поддержала его одна Айгерим.

— Какая польза человеку от сладких речей родичей, если они не подтвердят их делом? — заметила она и отвернулась.

С того дня как Абай вернулся из Семипалатинска, ему казалось, что он потерял свою прежнюю Айгерим. Она и раньше высказывалась редко и скупо, но тогда и слова и мысли у нее были общими с Абаем. Теперь Айгерим точно утеряла ту прежнюю чуткость, когда она понимала Абая с полуслова. И в ее замечании прозвучали сейчас та же отчужденность, тот же внутренний холод.

Судьба Амира и так угнетала Абая, а эта мысль об Айгерим еще усилила его тоскливое чувство безысходного одиночества. Светлая и теплая, как ясный день, жизнь сменилась серым, будничным супружеским существованием. В счастливом, полном радости доме угнездилась тоска. Казалось, настала нудная осень жизни с ее бесчисленными обидами, обвинениями, уколами… И всему причиной была Салтанат, ни в чем не повинная Салтанат.

Слова Айгерим больно укололи Абая, но он не возражал и надолго замолчал, глубоко задумавшись. Делом?.. Из-за Амира он впервые в жизни вступил в открытую схватку с отцом, поднял на него руку. Он вспомнил проклятье Кунанбая и горько усмехнулся над самим собой: с одной стороны — ненависть отца, который молит бога о гибели его, Абая, с другой — душевная отчужденность Айгерим, единственного человека, кто, как он думал, безмерно ему предан… Откуда это отчуждение? Разве Абай преступник? Какое непростительное зло он совершил? Или он изменил любви и променял Айгерим на Салтанат? Нет, это не так! Ничего этого не было, все не так, как думает Айгерим…

Правда, Абай все время возвращается мыслями к Салтанат, но думает он о ней всегда только с восторженным уважением. И, оценивая свое поведение, он иногда поражается своей благоразумной сдержанности и чувствует гордость за самого себя. Абай знает, что, если бы ему вновь встретилась такая женщина, как Салтанат, он снова будет вести себя так же. Это новое в нем — дорого ему самому, он видит в этом приобретенное им в жизни достоинство. Оно— следствие нового воспитания, рождающего нового человека, редкий еще для казахского общества его времени пример. И это дало ему чтение русских книг, пустившее в нем такие глубокие корни и принесшее плоды чистоты и человечности. Пусть он одинок, но он удовлетворен. «Значит, я черпаю не только знания, но и воспитание. И следствие его—мое отношение к Салтанат, невозможное и смешное в глазах других жигитов», — думалось ему.

Айгерим ничего этого не поняла. Она и не задумалась над тем, что между жигитом и девушкой возможна чистая, человеческая дружба. Она все принимает по-привычному, по-старому. Но ведь этого не внушить словами: человек постигает это сам вследствие больших внутренних изменений, вследствие нового отношения к жизни и людям. Вот в этом Айгерим и далека так от Абая, отсюда и ее отчужденность… «Если бы только расширился ее кругозор, мы поняли бы друг друга, а теперь ее сердце в тяжелом плену», — думал он и вспоминал, сколько раз пытался он залечить ее душевную рану. Сколько раз пытался он поновому направить ее мысли о Салтанат!.. И каждый раз он наталкивался на замкнутость, на молчаливый отказ от объяснений, видел лишь нахмуренные брови и бледное от гневной обиды лицо… И он чувствовал, что они стоят на разных берегах, не находя брода. В тесном домашнем быту между ними залегла глубокая пропасть… И с новой силой почувствовав свое одиночество, Абай глубоко и прерывисто вздохнул.

Айгерим обернулась, взглянула на мужа и поняла, что ее замечание взволновало его. «Кажется, обидела…» — подумала она. Абай с горькой печалью посмотрел ей в глаза, потом отвернулся и обратился к Ерболу:

— Ах, Ербол, Ербол… — тоскливо сказал он. — Душно стало на белом свете… Придумай хоть ты, куда бы нам деваться… Хоть в степь поехать

встряхнуться…

Ербол, как всегда, тут же нашел решение, оживившее Абая.

Шаке с товарищами-охотниками собирался ехать за Чингизский хребет на салбурын — осеннюю охоту. Абаю никогда не приходилось выезжать на салбурын, и теперь, по совету Ербола, он решил воспользоваться случаем.

Недели через две Шаке заехал за обоими друзьями. Взяв с собой Баймагамбета и жигитов для ухода за конями и приготовления пищи, они выехали на урочище Киргиз-Шаты. В этой глубокой, поросшей лесом лощине в безлюдных горах Чингиза их ожидали охотник Бекпол, молодые друзья Шаке и орлятник Турганбай, уже выбравшие стоянку. Они поставили шалаши у горы Кши-Аулиэ — «Младший святой», — названной так потому, что у самой вершины ее чернела большая пещера. Таких пещер в Чингизе две. Другая, более обширная, находится на расстоянии дневного пути от Киргиз-Шаты и называется Коныр-Аулиэ — «Смиренный святой».

Три охотничьих шалаша, тесных, но теплых, крытых двойным войлоком, стояли у реки, поросшей по берегам березой, черемухой и тополями. Сразу за стоянкой круто возвышалась скала, нависая над шалашами. Утра были очень хороши для охоты: большого снегопада еще не было, но перед рассветом выпадала пороша; «короткий сонар» — след по свежему снегу удобен для поисков дичи.

Ложились спать с сумерками, вставали с рассветом. Абай увлекся жизнью заправского охотника. За десять дней охоты — то с беркутами, то с собаками — они завалили шалаш дичью и лисьими шкурками. Особенно отличались Шаке и Бекпол, без промаха бившие из своих старинных фитильных ружей.

Едва занималась заря. Баймагамбет и повар Масакпай только собирались еще разводить у шалашей огонь и готовить чай. Абай крепко спал рядом с Ерболом, когда тот внезапно разбудил его, похлопав по плечу:

— Погляди-ка, Абай, что он собирается делать? Ты видел когда-нибудь такую охоту?

Абай поднял голову и увидел, что Бекпол просунул ствол ружья в отверстие тундука и тщательно целится. Оба вскочили с постели. Длинное черное ружье Бекпола грохнуло, и клубы, синего дыма наполнили шалаш.

— Свалился, свалился! Под лопатку попал! — закричал Бекпол и кинулся к двери.

Друзья ухватили его за полы:

— Кого ты подстрелил? В чем дело?

Бекпол, вырвавшись, одним прыжком выскочил из шалаша, крикнув на бегу:

— Архар! Самец — туша с юрту!.. Вниз валится, бегите за мной!

Снаружи донеслись крики Баймагамбета и Масакпая::

— Ойбай! Падает, падает! Шалаш раздавит!

Абай выглянул в низкую дверку шалаша. Темная туша, сорвавшись с крутого

склона, нависшего над стоянкой, летела вниз и тяжело грохнулась оземь у самого шалаша. Послышался предсмертный хрип. Абай и Ербол, наскоро натянув широкие сапоги и накинув шубы, выскочили из шалаша. Бекпол уже приканчивал кинжалом крупного архара. Кругом толпились разбуженные выстрелом охотники, возбужденно переговариваясь:

— Ну и самец, просто вол какой-то!.. Откуда он явился, не больной ли? Матерый, сухорогий, — ищи такого, не сыщешь, а он сам Бекпола разыскал!

Никто не мог понять, как такое осторожное животное, как архар, могло само набрести на свою смерть. Абай долго оглядывал тушу.

— В чем же тут дело? Может быть, он слепой или одряхлел? — сказал он в раздумье.

Бекпол, который успел уже и прирезать архара и внимательно осмотреть его рога и тушу, презрительно фыркнул. Свою охотничью честь он ставил очень высоко и никому не позволял над собой смеяться.

— Если бы он был слепой, так ввалился бы днем прямо к вам в шалаш, чтобы вы с Ерболом хоть кого-нибудь подстрелили… Это он-то дряхлый? Отрубите мне нос, если у него все ребра не будут на палец в сале!.. Сознайтесь лучше, что просто завидуете ружью Бекпола! Оно у меня валит архара, не разбирая ни дня ни ночи!

Во всех трех шалашах сочли это необыкновенно удачным знаком: зверь сам пришел за смертью к охотникам!

— Это к добру, быть сегодня хорошей охоте! Жди трех косяков по девяти голов! — повторяли все.

— Ведите скорей коней и готовьте чай! — распорядился старший охотник, орлятник Турганбай. Шаке уже возился со своим беркутом, ощупывая его мышцы, и тоже поторапливал:

— Готовьте коней, посмотрим сегодня выучку беркутов!

Только Абай и Ербол никак не могли отойти от туши архара. Они тоже считались охотниками и беспрекословно подчинялись распоряжениям более опытных Бекпола и Турганбая, но всюду опаздывали и постоянно сердили всех своей ленивой медлительностью. Ербол, посматривая на архара, сказал Турганбаю:

— Да подожди ты немного, не суетись! Дай хоть полакомиться свежим куырдаком.

Но охота имеет свои законы. Здесь старшинство принадлежит охотнику, знающему уход за ловчей птицей. Поэтому Турганбай распоряжался жизнью всех трех шалашей. Во время охоты он был вспыльчив и горяч, и слова Ербола не понравились ему, — он увидел в них отсутствие всякого уважения к такому важному делу, как охота.

— Вечно вы застрянете где-нибудь, — заворчал он на Абая и Ербола. — Охотиться вы приехали или объедаться? Вас на коней сажать — все равно что

тощую клячу на ноги ставить… Ну и лежите в шалашах, дожидайтесь, пока вам лучшие куски поднесут, а мы потрясем «Младшего святого» и погложем камни на холмах Шата!

Он посадил на руку беркута и пошел к своему коню, уже стоявшему под седлом. Абай и Ербол, шутливо вздохнув, пошли одеваться.

Когда охотники поднялись на пологую вершину Аулиэ, зимнее солнце, только что выплывшее из-за дальнего перевала, разлило свои огненные лучи по белоснежным складкам холмов. На одной из возвышенностей Турганбай снял колпачок со своего беркута. Шаке, въехав на соседний холм, сделал то же самое. На третьей вершине с беркутом на руке стал Смагул, младший брат Абая.

Абай и Ербол, как обычно, держались возле Турганбая. На этот раз гонщиком у него был верткий и ловкий Баймагамбет, веретеном крутившийся на своем коне. На руке Турганбая сидел знаменитый Карашолак,[152] зависть окрестных охотников, ловчий беркут выучки самого Тулака, известного сыбанского орлятника.

Решив заняться орлиной охотой, Абай стал наводить справки, где можно достать хорошего беркута. Турганбай посоветовал ему во что бы то ни стало добыть лучшего из всех известных ему беркутов — Карашегира.[153] Но владелец его — Жабай, сын Божея, сам страстный охотник, — ответил отказом. Тогда Турганбай и Шаке нашли другую птицу: у Тулака из племени Сыбан есть беркут Карашолак, вот это действительно всем беркутам царь! Уж если иметь хорошую птицу — хоть стоимость калыма отдать, а надо добыть Карашолака!.. Абай купил его за десять голов скота и поручил заботам Турганбая. Тот сам следил за его летней линькой, держал у себя в ауле, обучал всю осень и был уверен, что подготовил птицу к охоте как нельзя лучше.

Карашолак оправдал свою славу. За десять дней он один взял более двадцати лисиц. Ни одного дня не проходило у него без добычи. Были случаи, когда он брал по две лисицы за день, а два раза взял подряд одну за другой по три лисицы мертвой хваткой, не дав им даже времени сопротивляться.

Метнув кругом острый взгляд красных глаз, Карашолак вдруг сорвался с руки Турганбая. Однако охотники не видели никакой дичи; птица слетела с руки, услышав призывный звук: «Кеу», — это Баймагамбет снизу, из ущелья, давал знак, что видит лисицу. Судя по его крику, лиса бежала где-то совсем близко. Все три охотника напряженно следили за полетом Карашолака.

Турганбай, изучивший каждый взмах крыльев Карашолака, определял его состояние по первому же вылету как опытный лекарь по пульсу больного. Когда взмахи крыльев и движения хвоста были быстры и порывисты, Турганбай весело посмеивался и неизменно приговаривал: «Ну, сегодня мой Жанбаур[154] в порядке!» Такой полет радовал его душу, — охотник знал, что он и подскакать не успеет, как беркут схватит, собьет и умертвит лисицу. В

этом случае Турганбай доставал из-за голенища продолговатую шакшу из желтого рога, забивал в ноздрю понюшку табаку и только тогда, не торопясь, направлялся к птице, мурлыча под нос свою любимую песню:

От Жанбаура никто не уйдет!

Пот у коня с потника не сойдет,

С сумки охотничьей кровь не сойдет!

Если взлетает мой Жанбаур,

Знаю — спасения дичь не найдет!..

Турганбай был уверен, что Карашолак — потомок легендарного Жанбаура, и так его и называл.

Но сегодня с утра прославленный Жанбаур-Карашолак летал хуже, чем в другие дни. Турганбаю не пришлось повторять своих обычных слов, не вспоминал он и о табакерке. Хлестнув коня, он вскачь пустился в ту сторону, куда полетела птица.

— Что с ним стряслось? — повторял он.

Миновав подножие скалы Аулиэ, он подскакал к обрыву. Поднявшись на стременах, он стал следить, как будет спускаться на лисицу беркут, полет которого сегодня тревожил его. Мимо него шумно промчались вниз Абай и Ербол, разгоряченные охотой. Они ежедневно наблюдали, как беркут берет дичь, но радостное возбуждение их не остывало. Кони скользили и спотыкались на обмерзших камнях, но они продолжали свою скачку, торопясь поспеть к месту схватки. Однако им не хватало ни опыта, ни сноровки: они скакали не в том направлении. Турганбай злился и отчаянно кричал на них:

— Куда? Куда вас несет, неугомонные? Ай-ай-ай, вы только поглядите на них! Принесут они неудачу!.. Вот глупые!..

Действительно, Абай и Ербол испортили все дело. Если бы они не скакали навстречу, лисица, уже подымавшаяся по склону, должна была бы выбежать на открытое место. Но, услышав приближающийся топот, она круто вильнула в сторону и пустилась между Турганбаем и друзьями к скалистой вершине. Беркут продолжал кружить впереди: он ждал, когда лисица появится там. Теперь же из-за оплошности Абая и Ербола ему приходилось взлетать снизу

вверх на вершину и кидаться на лисицу, метавшуюся в камнях.

Карашолак так и сделал. Но лисица оказалась матерой, уже белобрюхой, видавшей виды: из двух зол — крылатого врага с восемью копьями когтей и человека на коне — она выбрала второго. Несмотря на все усилия Турганбая, скакавшего вокруг камней и старавшегося криками выгнать ее оттуда, она не выходила.

Дальше дело пошло еще хуже. Вместо того чтобы взмыть над лисицей и упасть на нее с высоты, беркут летел над самой землей, медленно и тяжело, чуть не касаясь камней крыльями. Теперь он совсем не напоминал Жанбаура, — он казался самым обыкновенным беркутом, вдобавок постаревшим и обессилевшим.

Лисица притаилась в камнях между тремя охотниками. Она дождалась приближения беркута, который, заметно устав, еле взмахивал крыльями, и тогда бросилась в сторону, оставляя врага позади. Карашолак и так с трудом взлетел над возвышенностью; гнаться за лисицей он не смог и грузно опустился возле камней, откуда только что спаслась его жертва.

Соскочив с коня, Турганбай взял горсть пушистого снега. Помяв его в руках, он сделал продолговатую льдинку и втиснул ее в клюв птицы, чтобы беркут почувствовал голод и охотнее кидался на добычу. Охватив его шею пальцами и медленно шевеля ими, он дождался, пока льдинка растаяла, и потом, так и не говоря ни слова Абаю и Ерболу, сел на коня и отъехал прочь. Впервые Карашолак так опозорил своего воспитателя. Оба друга поняли, что рассердили его, и, сознавая свою вину, в полном молчании ехали позади.

Приглядев подходящий холм, Турганбай снова снял колпачок с Карашолака и сделал знак ожидавшему внизу Баймагамбету, чтобы тот начинал травить дичь вдоль каменистого оврага. Абай и Ербол осторожно подъехали к нему сзади, но орлятник махнул им рукой и резко остановил их:

— Стойте, куда прете? Вечно суетесь вперед, вертуны несчастные! Кому брать лисицу: беркуту или вам? Чего ж вы лезете? Стойте там, где стоите!

Абай и Ербол переглянулись и, смутившись, как мальчишки, на которых прикрикнул учитель, покорно застыли на месте, указанном им Турганбаем.

Снизу снова послышался высокий короткий вскрик Баймагамбета: «Кеу!» Карашолак взмыл вверх. Он, видимо, злился, коротко и сильно взмахивал крыльями, все ускоряя и сужая круги и подымаясь все выше и выше. Потом, внезапно сложив крылья и выставив вперед плечи, стремительно пал вниз, к самому подножию утеса перед Турганбаем.

Охотник не вымолвил ни слова, но Абай и Ербол, хотя и не видевшие, что происходило перед Турганбаем, не выдержали и, позабыв недавнюю оплошность, ударили коней и вынеслись вперед, крича:

— Кинулся, кинулся! Все-таки взял!.. Удача!.. Удача!..

Они помчались по склону к тому месту, куда опустился беркут. Седло под

Абаем вдруг поползло на шею его саврасого, но Абай, не обращая на это внимания, продолжал скакать: не дальше чем на расстоянии полета стрелы он увидел Карашолака, который вел бой с белобрюхой лисицей, ушедшей от него в прошлый раз. Седло уже совсем болталось, и Абай вот-вот мог вместе с ним перелететь через голову коня. Изо всех сил он откинулся назад, сполз на круп коня и так домчался до места схватки.

Красная лиса и черный беркут, бешено вертевшиеся одним пестрым комом на ослепительно белом снегу, поразили его воображение. Он любовался этим, бессознательно повторяя: «Удача… вот так удача!..»—и вдруг увидел нечто другое: купанье красавицы, раскрасневшейся, сверкающей белым телом. Карашолак уже сбил лисицу с ног, придавил к снегу, терзая ее, плечи беркута мягко шевелились, подобно локтям купальщицы под черными волнами волос, покрывающих ее спину… Губы Абая сами собой прошептали:

… с купаньем красавицы схож этот миг…

Этот стих не имел ни начала, ни конца. Он родился внезапно — и сразу исчез…

Приторочив лисицу, Турганбай двинулся к темной от зарослей кустарника возвышенности Киргиз-Шаты. На охоте никто не осмеливался спрашивать Турганбая, что он собирается делать. Все молча тронулись за ним.

Подъехав к холму, орлятник снова послал Баймагамбета к подножию, а сам направился к вершине. Ему не хотелось возвращаться к шалашам, не выпустив еще раз Карашолака. Баймагамбет терпеливо ожидал внизу, когда можно будет начать гон. Наконец Турганбай добрался до вершины снял с головы беркута колпачок, подал знак — и лишь тогда молодой охотник тронулся с места. Турганбай поучительно повернулся к Абаю и Ерболу:

— Вот как надо охотиться! Уж если кого брать с собой, так только Баймагамбета, да сбудутся его желания!..

Ловкий, сметливый Баймагамбет медленно продвигался по краю оврага, то и дело останавливаясь и постукивая рукояткой камчи по луке седла. И на холме и в овраге было совсем тихо, даже ветерок не пробегал по склону.

Казалось, вся природа затаила дыхание, ожидая еще одной победы Карашолака. На другой вершине Турганбай заметил Шаке, который стоял, уже сняв колпачок со своего беркута. На следующем дальнем гребне виднелся Смагул.

Наконец Баймагамбет подал так хорошо знакомый Карашолаку короткий

сигнал: «Кеу!» Беркут опять поднялся. Теперь он снова летел, как и первый раз утром: он медленно взмахивал крыльями, весь его полет казался вялым. Лисица бежала внизу, у самой подошвы холма. Беркут поднялся над вершиной, ненадолго застыл в воздухе — и потом резко пошел вниз, плывя над склоном.

Вдруг справа, с соседней возвышенности, в воздух поднялся еще один беркут и тоже направился к лисице, петлявшей перед Баймагамбетом. По короткому ремешку, свисавшему с его лапки, Абай и Ербол догадались, что это не был вольный беркут. Видимо, кто-то — Шаке или Смагул — выпустил свою птицу наперерез Карашолаку. Они переглянулись с одной и той же мыслью: «Ой, сцепятся…»

Чужой беркут поднялся с точки, более близкой к лисице, и мог настигнуть ее раньше Карашолака. Однако он летел медленно и вяло, точно ленился. Зато Карашолак, увидев соперника, ускорил взмахи крыльев и устремился вниз, как будто скинув с себя недавнюю вялость.

Он с маху налетел на лисицу, прижавшуюся к камню, поднял ее на воздух и, перенеся в когтях через камни, опустился с нею перед Баймагамбетом, который мчался навстречу, боясь, что чужой беркут сцепится с Карашолаком. Кувырком слетев с коня, жигит стал размахивать плетью перед птицей, кружившей над ним, стараясь закрыть своим телом Карашолака с лисицей.

Едва увидев над грядами холмов, второго беркута, Турганбай сразу же воскликнул:

— Да это же Карашегир! — и помчался вниз по склону. Абай и Ербол, погоняя коней, ринулись за ним, скользя с горы и увлекая с собой мелкие камни и снег. И они и Баймагамбет не знали повадок ловчих беркутов и думали, что Карашегир сцепится с Карашолаком, отбивая у него лисицу. Турганбай же спешил совсем по другой причине. По всему поведению Карашегира он сразу определил, что этот беркут пойман уже взрослым, а потому никогда не бросится на счастливого соперника. Орлятнику просто хотелось подсмотреть, как станет вести себя Карашегир, и приглядеться к его полету и посадке.

Карашегир действительно не кинулся на соперника и даже не опустился на камни возле него. Он продолжал кружить над ущельем как будто высматривая, не найдется ли где второй лисицы. Он долго не опускался, словно предоставляя орлятнику наблюдать за собой.

Вначале Турганбай торжествовал: обученный им Карашолак как нарочно встретился с прославленным Карашегиром и остался победителем, из-под носа вырвав у того добычу. Но потом он начал мрачнеть. Следя за Карашегиром, он заметил одну особенность его полета: опускаясь над ущельем и снова подымаясь, он взмывал вверх стремительно и неудержимо, как настоящий вольный орел. Это было не только признаком превосходных качеств самой птицы, но и свидетельствовало о высоком мастерстве воспитателя: редкому орлятнику удается добиться от беркута одинаково стремительного полета и

вниз и вверх. Турганбай не мог не оценить и того, как Карашегир без единого взмаха крыльев, рассчитанным и быстрым парением поднялся с этого холма над более высоким. Все это доказывало справедливость общего мнения орлятников: «После Шора из рода Жалаир, жившего в незапамятные времена, лучший знаток—это Кул из племени Керей, и лучшая выучка беркутов—это его!» Карашегира изловили сыновья Кула, и беркут пробыл в его руках около десяти линек.

Баймагамбет, Абай и Ербол тем временем с торжеством высвободили лисицу из когтей Карашолака. Ербол посадил беркута к себе на рукав и начал гладить его.

— Молодец, Шолак! Знаменитого Карашегира к седлу приторочил, вырвал у него добычу! — радовался он.

Турганбай не обращал на них внимания, продолжая следить за Карашегиром, который в последний раз низко пролетел над охотниками и потом стремительно взвился к вершине, с которой был пущен. Легкими и сильными взмахами крыльев он достиг холма и сел среди редких камней. Только теперь орлятник отвел от него глаза.

— Ну и пускай не он взял лисицу, — заметил он. — А сел-то как легко! Будто сокол или ястреб!

Он не нашел в себе мужества сказать прямо: «Выучка у него лучше, чем у Карашолака».

Забрав лисицу, они тронулись по склону в ту сторону, откуда появился Карашегир. Навстречу им выехали пятеро охотников. Впереди был осанистый и горделивый широколицый Жабай, сын Божея, в белой мерлушковой шубе. Карашегир уже сидел на его руке. За ним ехали его младший брат Адиль, Абылгазы, Жиренше и жигит-гонщик. Абылгазы, даже не поздоровавшись, засыпал Турганбая вопросами:

— Эй, Турганбай, рассказывай, как перелетел Карашегир перевал? Как он шел на лисицу? Скажи правду — мог он ударить лисицу раньше твоего беркута?

Жабай перебил его, утратив всю свою важность, которую ему придавала длинная окладистая черная борода, делавшая его старше Абая и Абылгазы, его ровесников. Он нетерпеливо спросил:

— Как он летел над Карашолаком и лисицей? Расскажи все честно — мы спорим с Абылгазы. Он говорит — у него плохая выучка…

Жиренше, сам большой любитель охоты с беркутом, казалось, не принимал никакого участия в споре Жабая и Абылгазы. Но когда те пристали к орлятнику, он подмигнул Абаю и Ерболу, показывая в улыбке сверкающие белые зубы и как бы говоря: «Гляди, как его раздразнили!»

Турганбай начал рассказывать. Карашегир был выпущен на лисицу с более близкого расстояния, чем беркут Абая, и, значит, должен был настигнуть ее

раньше, но летел очень вяло. Однако по всем признакам и уход за ним и выучка были хороши. Просто ему трудно было состязаться с арашолаком, — тот и поднялся позже, и был дальше, а все-таки опередил Карашегира, схватил лисицу и даже перелетел с ней на другую сторону оврага, опустившись только тогда, когда увидел Баймагамбета.

Он начал рассказывать честно, но под конец стал привирать и хвастаться. Это не ускользнуло от Абылгазы, — он молча умехнулся и выразительно посмотрел на Абая. Тот громко расхохотался, довольный наблюдательностью друга. Теперь и Жабай начал хвастать, как вел себя нынче Карашегир.

— Вот сейчас, на Жанибеке, он замечательно схватил лисицу, ударил оземь! Ты бы посмотрел!..

— А где же она? — не удержался Абылгазы.

— Ты же видел — Адиль вовремя не подоспел! — огрызнулся Жабай и тут же накинулся на младшего брата — Стукнуть бы тебя по надутым губам! Нет того, чтобы соскочить с коня и броситься к ней! Лень тебе лишний раз шаг сделать, — ведь видел, что кругом все шенгелем заросло! Карашегир напоролся на колючки и отпустил лисицу— и все из-за тебя!

Жабай был готов обвинить кого угодно в неудаче беркута. С этого промаха Карашегира и начался их спор с Абылгазы. Услыхав, что Жабай снова оправдывает свою птицу, Абылгазы вновь принялся подтрунивать над ним:

— Ну конечно, — виноват не Карашегир, а кустарник и Адиль! Разве ты признаешься, что сам испортил птицу? Сколько раз я объяснял тебе, что беркут — не Абылгазы и не Адиль, чтобы с утра до вечера только ругать его! Он же не понимает, что ты знатного рода, что твой отец — Бо-жей! За ним уход нужен. Думаешь, он просто уступил Карашолаку лисицу? Как бы не так — просто опоздал, тяжело летел!.. Вот и Турганбай говорит — Карашегир был ближе к ней! Ай-ай-ай, до чего ты его довел! Все бы ничего, кабы не позор, да еще какой — в первой же встрече с Карашолаком!

И Абылгазы снова засмеялся, немилосердно издеваясь над Жабаем. Но тот счел такое поведение сородича-жигитека вероломством и вскипел: дух родового соперничества с иргизбаями всегда жил в его душе.

— Болтаешь, что в голову взбредет! — резко сказал он. — Уж если беркут испорчен, так это тобой: суешься во все, не даешь мне самому им заняться! Ну и забирай свой шалаш, уходи подальше!

Жабай явно позволял себе лишнее, но все отнеслись к его вспышке со смехом. Абай внимательно осматривал Карашегира, которого он видел впервые, и попросил Жабая снять с него колпачок. Оглядев беркута еще раз, он достал из кармана новый кожаный портсигар, прикурил папиросу от поданной Баймагамбетом спички и не торопясь затянулся.

— Выходит, что не надо было давать ему такое длинное имя, если у него такой короткий полет, — небрежно сказал он и тут же спросил, сколько он взял

за это время лисиц.

Жигит-гонщик ответил, что уже больше десятка. Абай усмехнулся.

— Ну, это не охота… У нас все три шалаша полны лисьих шкурок… Лисица на камнях — Карашолак не промахнется, лисица в кустах — гонщик на него выгонит!

И очень довольный тем, что окончательно обозлил Жабая, он повернул коня и тронулся в путь.

Жабай не на шутку обиделся. Взглянув вслед Абаю, он пощелкал языком, покачал головой и, нахмурившись, обратился к Жиренше:

— Чего он тут наговорил? Если он сын Кунанбая, так и мой отец не кто-нибудь, а Божей! Он — Абай, но и я — Жабай, чем я хуже его? Как он посмел так разговаривать?.. А все этот Карашегир, все из-за него!..

Он говорил, раздражаясь все больше. Жиренше не поддерживал его, но и не возражал ему. Он никогда не принимал всерьез охотничьих размолвок, — как ни переругаешься на охоте, все это в конце концов игра, шутка. Но обида Жабая его встревожила. Некоторое время он ехал раздумывая, потом вдруг усмехнулся, ткнул плетью в бок Абылгазы и сделал ему знак отстать.

Жиренше давно славился как мастер всяких каверз. Умный и красноречивый, искусно владеющий речью, он уже стал одним из самых влиятельных лиц в своем многолюдном Котибаке. Знали его не только там — и в Чингизской волости и в соседних племенах — в Мамае, Керее, Уаке, куда Абай брал его всегда с собой и где старался добиться для друга такого же признания и уважения, каким пользовался в этих местах сам. Но даже при разборе сложных и важных споров Жиренше то и дело подстраивал всякие шутки и любил ставить других в смешное положение. Неистощимый на насмешки и выдумки, он порой напоминал беркута, играющего с лисицей.

И сейчас он задумал новое развлечение. При умелой игре он мог оставить в дураках и Жабая и Абая, а они оба казались ему стоящей дичью. Откинувшись в седле, он усмехался и щурился, заранее предвкушая удовольствие, которое доставит ему его выдумка. Негромко, почти шепотом он посвятил в нее Абылгазы:

— Жабай злится сейчас справедливо. Абай его больно задел, вел себя, как будто он выше Жабая. Нам с тобой надо теперь отомстить за Жабая. Одному мне не справиться, — я такой же орлятник, как ты мулла. Мне Абай не поверит — он хитрее Жабая. А если ты поможешь, мы вдвоем так его высмеем, что отучим чваниться своим Карашолаком!

Абылгазы заколебался — он любил Абая, и давно искренне дружил с ним.

— Не стоит, — возразил он. — Абай обидится, да его и огорчит, что я тебе помогал…

Но Жиренше рассмеялся:

— Ведь не о девушке речь идет, а о какой-то птице! Это Жабай может дуться

на шутки по своей тупости, а Абай умнее. Да и на что ему обижаться? Мы только устроим ему подвох с его Карашолаком, чтоб не хвастался…

— Ойбай, разве обманешь Турганбая? — воскликнул Абылгазы. — Он все нутро у птицы насквозь видит, чтоб ему ослепнуть, его не проведешь!..

Но Жиренше все обдумал.

— Конечно, птиц он знает, но ума у него маловато и нрав упрямый, — попадется! Ты хорошенько присмотрись к беркуту, к его состоянию, к уходу за ним — и рассказывай мне, а я уж знаю, что делать. Я им обоим — и Турганбаю и Абаю — шею согну, как трехлеткам, попавшим на аркан! Покатятся они у меня, как перекати-поле!

И Жиренше подробно рассказал Абылгазы свой коварный замысел.

Тем временем Абай и его спутники вернулись опять к Киргиз-Шаты. Ербол заикнулся было о том, что пора возвращаться прямо к шалашам, чтобы попробовать наконец куырдак из мяса убитого утром архара, но Турганбай возразил:

— Нынче я недоволен Карашолаком, надо выпустить его еще раз. Поедем к шалашам, — выезжать снова будет поздно, зря потеряем конец дня… Едем к Киргиз-Шаты! — И он выслал Баймагамбета вперед в ущелье.

Но Карашолак до самых сумерек не взял новой добычи. Его дважды спускали на лисиц, которых выгонял Баймагамбет, но беркут летал лениво. Он кидался в разные стороны, терял их из виду, и, пользуясь его медлительностью, одна лисица спаслась в нору, а вторая спряталась в расщелине камней.

Никто из охотников не мог понять, что случилось с ним, — ведь раньше он легко брал по три лисицы, а два дня—и по четыре. «Наверное, уход за ним не тот!.. Обессилел он, что ли? Неужели на третью лисицу его не хватило?» — терялись они в догадках. Все четверо поочередно осматривали Карашолака. Беркут сидел нахохлившись и смотрел настороженным взглядом. Кличка его —«черный-куцый» очень подходила к нему; когда он сидел, вобрав голову в плечи, то в ширину казался больше, чем в длину, и напоминал черный чурбан, которым забивают в землю колья.

В шалаше Абая ждали гости—Жиренше и Абылгазы. Они объяснили, что повздорили с Жабаем и решили охотиться здесь.

Как только Карашолака внесли, Жиренше тихонько подтолкнул Абылгазы. Тот взял беркута на руку, долго гладил его, незаметно прощупывая мышцы, и расхваливая птицу, то и дело наводя разговор на то, какую она прошла выучку. Так как не следовало задевать самолюбия Турганбая, Абылгазы ни словом не обмолвился о сегодняшней неудаче беркута, о которой он уже знал со слов Абая.

В теплом, удобном шалаше разожгли костер, и Абай от всей души потчевал гостей фамильным чаем.[155] Раза два он сам обращался к Абылгазы с просьбой еще раз посмотреть беркута и передавал ему Карашолака на руки. Но

каждый раз Абылгазы говорил совсем не то, чего добивался Абай, он лишь расхваливал птицу и восхищался ею. Абай наконец не выдержал:

— Что ты все болтаешь о его породе? Скажи лучше, отчего он сегодня вел себя так? Какой, по-твоему, нужен ему уход, как бы ты кормил его?

Абылгазы не поддался.

— Э, неужели Тургакен не знает? Тургакен знает лучше меня… — ответил он уклончиво.

Что касается Турганбая, то ему совсем не нравилось, что Абай советуется с Абылгазы насчет кормежки птицы. Он оторвал ляжку у одной из убитых нынче лисиц и, сев в стороне, начал готовить корм для беркута. Абылгазы внимательно следил, чем именно собирается орлятник кормить своего питомца.

Турганбай готовил птице свежее кровавое мясо — так кормят истощенных, обессилевших беркутов. Значит, Турганбай считал, что Карашолак начал худеть. Казалось, так оно и было: Абылгазы, тщательно прощупав во время разговора мышцы Карашолака, тоже не обнаружил жира ни на ляжках, ни на груди, ни под хвостовыми перьями. Но под крыльями гибкие, необыкновенно чуткие пальцы Абылгазы прощупали тоненький слой жира, не замеченный Турганбаем, — тот легко мог принять жир за концы маховых перьев.

Из беседы о сегодняшнем дне Абылгазы знал, как летал нынче беркут. Ему давно уже было понятно, почему Карашолак так плохо подымался к вечеру в воздух и почему вышла такая неудача с третьей и четвертой лисицами: беркут был слишком упитан, и голод не гнал его за лишней добычей.

Давая беркуту свежее, не отжатое от крови мясо, Турганбай поступал совсем неправильно: это должно было только ухудшить поведение птицы, могло даже совсем испортить ее. Жалея Карашолака, Абылгазы готов был сказать правду. Но Жиренше, поняв, что Абылгазы выведал о птице все, что нужно, и опасаясь, что он не выдержит игры до конца, встал с места и, подойдя к товарищу, незаметно ущипнул его за ногу.

— Дай-ка я тоже посмотрю его, — сказал он и взял беркута. Небрежно погладив его, он тут же отдал его Абаю и решительно заключил — Птица хорошая, только вы за ней плохо ухаживаете!

Турганбай резко повернулся к нему, но смолчал и снова занялся приготовлением корма. Абай, заступаясь за обиженного орлятника, начал подсмеиваться над Жиренше:

— Тебе, видно, люди голову вскружили? «Жиренше разберет, Жиренше знает…» Ты решил, что и в птицах много смыслишь? То, что ты о них знаешь, не только Турганбаю — и мне известно! Не мудри, лучше пей чай и сиди спокойно!

Жиренше и тут нашелся:

— Где уж нам знать! — протянул он с усмешкой. — Мы русских книг не читаем… Конечно, там все написано: «Абай должен ухаживать за своим

беркутом вот так и так…» Не знаю только, кто об этом написал—Пошкин или Тулстой, о которых ты вечно твердишь, тебе лучше знать… Ну что ж, будем молчать… Пойдем, Абылгазы, скажем, чтоб наших коней пастись отвели!

И он вышел из шалаша вместе с другом. Оставшись с ним наедине, он подробно расспросил его, что с беркутом. Когда они вернулись, Жиренше увидал, что орлятник в раздумье смотрит на кровяную лисью ляжку, как бы сомневаясь, давать ли ее беркуту, а Абай пристает к нему с расспросами, что это за корм. Турганбай неохотно ответил:

— Ойтамак…[156]

Может быть, он хотел этим сказать, что над сегодняшним кормом надо подумать, либо просто хотел отделаться от надоедливых расспросов. О таком корме Абай никогда не слышал и продолжал расспрашивать его. Пользуясь этим, Жиренше быстрым шепотом спросил Абылгазы:

— Говори скорей, как он завтра полетит, если съест это?

— Схватит лисицу, но выпустит ее, — так же шепотом ответил тот.

Жиренше растянулся на переднем месте, подложил под голову подушку, поглаживая густую рыжую бороду и посматривая на Турганбая, который продолжал думать. Потом он сказал твердо и уверенно:

— Ну что ж… Пусть поест этого ойтамака… Только поглядите, если я ошибусь: завтра он схватит лисицу, но удержать не сможет!

И он закрыл глаза, делая вид, что отдыхает в ожидании ужина, и следя за Турганбаем из-под опущенных век.

Тот действительно сомневался, то ли дает он нынче беркуту, и собирался посоветоваться с Абылгазы, которому очень доверял. Но, услышав предсказание Жиренше, он обозлился на самоуверенность жигита и сгоряча отдал Карашолаку весь приготовленный корм. Когда беркут наелся досыта и зоб у него раздулся, Жиренше укрылся с головой шубой и, ущипнув лежавшего рядом с ним Ербола, беззвучно расхохотался. Именно на вспыльчивости Турганбая и был построен весь расчет Жиренше. Он нарочно вел себя против всяких охотничьих правил, стараясь раздразнить орлятника и сбить его с толку: ни один настоящий охотник не скажет орлятнику, изо дня в день воспитывающему беркута: «Не корми так, испортишь птицу!»

Наутро, когда хозяева собрались на охоту, Жиренше и Абылгазы поехали с ними. На этот раз дичь не попадалась, только под вечер одному из жигитов Жиренше удалось спугнуть лисицу с заросшего кустарником склона. Жиренше не разрешал спускать на нее своего беркута, сидевшего на руке Абылгазы, и уступил очередь Карашолаку. При виде лисицы тот рванулся с руки Турганбая, в одно мгновение настиг ее и ринулся на свою жертву.

Увидев его стремительный полет, Абай поддразнил Жиренше:

— Смотри, как пошел! Посмотрим — что твое предсказание!..

— Посмотрим, — насмешливо ответил тот, поглядывая на птицу. — Пока

что ты еще не приторочил лисицу к седлу, не хвались заранее…

Лисица была уже близко от кустов тальника, когда Карашолак упал на нее камнем. Тяжестью его тела лисицу прижало к земле.

— Взял! Придавил! — закричали Абай и Ербол и поскакали вперед. Жиренше и Турганбай помчались за ними.

Лисица, извиваясь в отчаянных усилиях, сбросила с себя Карашолака и поволокла к кустам, стараясь вырваться из его когтей. Когда всадники были уже совсем близко, Карашолак, не в силах удержать яростно боровшуюся лисицу, разжал когти и выпустил ее. Шатаясь от боли, она обежала кругом куст и только тогда, будто опомнившись, кинулась в тальник и исчезла.

Абай и Ербол с досады хлопнули себя по бедрам и осадили коней. Жиренше не сказал ни слова. Он просто раскачивался взад-вперед в седле и ухмылялся. Турганбай никак не мог обвинять ни птицу, ни себя: он, как и Жабай накануне, все сваливал на кустарник.

— В Карашолаке течет кровь Жанбаура, — упрямо твердил он. — Кто был лучшим знатоком этой породы, чем Уали-тюре? А ведь и он говорил: «От когтей Жанбаура лисице не уйти, но в кустарнике он и не начнет с ней боя…»

Успокаивали ли эти выводы его самого — сказать было трудно.

Охоту на этом кончили — лисиц больше не попадалось, и скоро все вернулись к шалашам. Жиренше всю дорогу злорадно издевался над Абаем, что тот сам не знает своей собственной птицы.

Абылгазы снова проверил обнаруженный им вчера слой жира под оперением крыльев: он прощупывался лучше. Оба заговорщика зорко следили за тем, как теперь будет кормить беркута орлятник.

Турганбай решил два-три дня не менять корма. Если беркут начнет жиреть, это выяснится в ближайшее же время и тогда добиться похудения будет нетрудно. Самое опасное в ожирении—это не определить его сразу: ошибка в семь — десять дней может совсем испортить птицу. Взвесив все это, Турганбай, желая проверить, не жиреет ли Карашолак, стал и нынче кормить его своим «ойтамаком».

Жиренше, снова расспросив Абылгазы, как отзовется это на поведении птицы, дождался, когда Турганбай кончил кормежку, и потом, как и вчера, высказала свое мнение. Сегодня он говорил еще уверенней.

— Завтра Карашолак даже не схватит лисицы. Мимо пролетит, — лениво растягивая слова, заявил он.

Абай даже рассердился:

— Болтай, болтай… Бесы тебе подсказывают, что ли? Вот и в Киргиз-Шаты свой баксы[157] объявился!.. Завтра Карашолак себя покажет, вот увидишь!

Жиренше, как и вчера, повернул спину, накрылся шубой и не стал спорить, добавив только:

— Ну, коли так, знайте: неделю теперь ваш беркут ни одной лисицы не

возьмет!

На следующее утро охотники в нетерпении выехали раньше обыкновенного. Но и сегодня дичи не попадалось, только к вечеру они спугнули лисицу. Предсказание Жиренше сбылось в точности: Карашолак стремительно пошел на добычу, настиг ее, но, не опускаясь, пролетел мимо и сел на ближайший камень.

Жиренше добился своего: Абай, Ербол и Турганбай были совершенно растерянны. Он кликнул жигита-гонщика и, даже не простившись с Абаем, крупной рысью направился к своей стоянке. Он позвал с собой и Абылгазы, но тот, не желая больше принимать участия в издевках над Абаем и его друзьями, остался с ними.

Когда Жиренше скрылся из виду, Абылгазы обратился к Турганбаю:

— Обидел ты Карашолака. Отдай мне его на три дня, я поправлю дело. Брось упрямиться…

Теперь и Абай понял ошибку Турганбая…

— Послушайся его, не стой на своем… Оба мы с тобой виноваты — нечего было на себя надеяться, — сказал он орлятнику.

Три-четыре дня, пока Карашолака приводили в прежнее состояние, Абай не выходил из шалаша. Он хорошо понял, что Жиренше все это подстроил нарочно, чтобы наказать его за самомнение, но не сердился на него и не собирался мстить. Ему было просто стыдно за свое упрямство.

На охоту он захватил с собой целый коржун книг. Приказав топить в шалаше потеплее и готовить из свежей дичи куырдак он принялся за чтение.

Вскоре Турганбай и Абылгазы объявили, что Карашолак выправился, и начали охоту. Однако дичи они привозили немного, — за четыре дня, пуская двух гонщиков, нашли только двух лисиц.

Посовещавшись, они пришли к Абаю с решением. Из этих мест пора откочевывать, лисиц здесь не осталось, надо перебираться в горы Машан. Добраться туда по бездорожью среди холмов было нелегко, но зима еще только начиналась, снег был не так глубок. Стрелок Бекпол присоединился к ним: его занимали архары и олени, которых он бил из ружья, но ни тех, ни других поблизости не осталось. Он утверждал, что и они ушли на зиму в Машан.

Машан не принадлежал к Чингизской волости. Там, на границе с землями рода Каракесек, проживала незначительная часть тобыктинцев, и Абай никогда не бывал в этих горах и не знал, кто там зимует. Дальний путь по незнакомым чужим кочевьям не очень-то привлекал Абая. Ему казалось, что, раз дичи больше нет, лучше всего вернуться прямо домой. Кроме того, начав снова читать, он совсем остыл к охоте. Но его друзья, неутомимые и страстные охотники, могли объяснить его отказ ленью и малодушием, и, пересилив себя, он решил пройти все трудности путешествия и закончить охоту в Машане. Оттуда он предполагал перевалить через Чингиз и выйти к своим зимовкам в

Жидебае.

За один день добраться до Машана было невозможно. Поэтому они решили доехать до стоянок племени Оразбай в местности, называемой Карасу Есболата, находившейся на ближних отрогах Бугылы. Туда же должна была подойти к ночи и кочевка Абылгазы и Жиренше. «А оттуда наутро щелями Бугылы все вместе двинемся на Машан и засветло поставим там шалаши. Торопиться не стоит», — предложил Абылгазы.

Так они и договорились. Абылгазы уехал к своим шалашам, чтобы переночевать там и подготовиться к перекочевке.

На рассвете все три шалаша стоянки Абая были разобраны. Отправив поклажу с Турганбаем, Смагулом и остальными охотниками к стоянке Абылгазы, Абай решил ехать в Карасу напрямик. С ним поехали Ербол, Шаке и Баймагамбет.

К полудню четверо друзей начали спускаться в долину Ботакана. Здесь снегу было не много. Места эти всем хорошо были знакомы: сюда каждое лето прикочевывали аулы родичей Абая. Упитанные, выносливые, хорошо подкованные кони шли ровным быстрым ходом «булан куйрук».[158] Снег, выпавший в тихие дни и еще не схваченный морозами и ветрами, не успел затвердеть; пушистый слой его не слишком затруднял ход коней, но все же доходил им до щеток, и чтобы не утомлять их, всадники ехали гуськом. Головным был Шаке: несмотря на свою молодость, он считался признанным наездником и к тому же два раза подряд бывал здесь на охоте и хорошо знал эти места.

С утра было туманно и мглисто. Потом начало проясняться; туман, скрывавший высокие горы, рассеялся, но солнца не было видно, — по серому небу бежали к северу облака, похожие на верблюжьи горбы. Стоял легкий морозец без ветра, даже не щипавший лица.

Абай, поручив племяннику вести их маленький караван, ехал, не обращая внимания на окружающее. Здесь, на Ботакане, проходило все детство. Его охватили воспоминания— радостные и горькие, счастливые и печальные.

В душе его ожило горячее благодарное чувство к умершей бабушке Зере и к матери Улжан. Абай сразу узнал ложбинку, где много лет назад стояла белая юрта. Здесь, на этом самом месте, скрытом сейчас снегом и безлюдном, родные впервые признали его взрослым. Это было в то утро, когда он и Ербол вернулись с поминального аса Божея и повалились в постель, изнуренные хлопотами и обессилевшие от бессонных ночей. Едва он проснулся, две его золотые матери впервые в жизни поднесли ему, еще мальчику, голову барана — знак уважения и почета. Они подали ему блюдо с пожеланиями «всякого блага юному сыну, ставшему уже взрослым…»

Абаю казалось, что он видит перед собой свою старую бабушку, — стоит лишь зажмурить глаза и протянуть руку, как он прикоснется к ее маленьким,

скрюченным старостью пальцам; он чувствовал, как эти пальцы гладят его голову… В горле у него перехватило, на глаза навернулись слезы, и он едва слышно прошептал поминальный текст из корана, проведя ладонями по лицу.

Религиозные люди совершают поминальные чтения либо на могилах, либо в установленные правилами дни. Абай читал молитву о бабушке там, где, как сейчас, его окружали воспоминания и где тоска о ней особенно сильно одолевала его. Он обернулся и долго смотрел на Карашокы и горы Казбала, оставшиеся позади. «Надо хорошенько запомнить, как выглядят они зимой», — подумал он.

За этим воспоминанием знакомые места пробудили еще одно — о незабываемом и далеком..

В низких облаках мелькнул, казалось, облик Тогжан— юной, улыбающейся, цветущей… Вон на той сопке Ербол принес ему радостную весть… Вспомнилось все — и ночная поездка и возвращение, встреча с Тогжан после долгой разлуки, объятия в зарослях Жанибека, лунный свет… Прошлое с его дыханием, шепотом, тонкими, едва уловимыми звуками проснулось в душе Абая. Поглощенный колеблющимися, печальными и томящими душу видениями, Абай не понимал, где он и куда едет. Он впал в какое-то долгое забытье. Закрыв глаза, он как будто читал книгу своей несбывшейся мечты, написанную кровью его сердца. Все для него исчезло. Он не замечал, как проходит время.

И вдруг жизнь прорвалась в мир его тоскливых мечтаний. Он вздрогнул — будто прервали его сон в объятиях любимой — и очнулся.

Конь стоял на месте, товарищи тоже остановились. Дул сильный ветер, шел снег, закрывая небо и землю сплошной белесоватой мглой, занося путников, ставших спинами к ветру. Для Абая было неожиданностью, что погода изменилась.

— Поземка, что ли? — спросил он Шаке.

— Не пойму, — ответил тот. — Прямо ураган какой-то! Снег и сверху идет и с земли взвивается…

— Только бы не заблудиться… Ты уверен, что едешь правильно? Не потерял направления? — настойчиво спрашивал Абай.

У Шаке не было уверенности. Он и остановился для того, чтобы посоветоваться с товарищами.

— Я не заметил, с какой стороны подул ветер, — смущенно признался он. — Пошли знакомые места, где мы кочуем летом, я задумался и забыл об этом… Кажется, дует прямо с Карасу Есболата…

И юноша выжидательно посмотрел на Абая, предполагая, что тот, как более взрослый, давно определил направление ветра. Но к общему удивлению Абай спросил:

— А когда поднялся ветер? Я заметил его только сейчас, когда мы

остановились…

Он будто только что проснулся.

Раскрасневшийся от мороза Баймагамбет расхохотался. Оказалось, что из всех четверых он один вовремя определил, как нужно ехать, чтобы ветер, единственный указатель пути в буран, помогал им держаться нужного направления.

— Надо ехать так, чтобы ветер был встречный, но дул немного справа, — убеждал он.

Шаке ему не поверил.

— Тебе кажется, что ветер должен дуть сбоку, а я вот думаю, что он должен дуть прямо в лоб коня, — возразил он.

Поднялся спор. Наконец Шаке обратился к старшим:

— Если мы еще постоим здесь, то вовсе с пути собьемся. Или ведите нас сами, или поручите мне! Я убежден, что чадо ехать против ветра!.. Решайте быстрее, надо двигаться!

Шаке показался Абаю более уверенным и знающим, чем все остальные, не исключая и его самого. Он больше не колебался.

— Ну, дорогой мой, ты проворнее и живее всех нас, будь что будет — поедем за тобой! Веди!..

— Тогда поехали! Держитесь за мной! И хорошенько укутайтесь, завяжите потуже тымаки, пожалуй, подымется настоящий буран.

Шаке повернул против ветра своего темно-серого и, хлестнув заупрямившегося коня, с места взял крупной рысью.

За ним двинулся Абай, нахлобучив тымак до бровей и запахнув полы. Круп темно-серого был широк, как опрокинутая миска для кумыса, и Абай, не сводя с него глаз, ехал вплотную за Шаке, шаг в шаг. Буран сомкнул за ними свои объятия, и четыре всадника, оторванные от всего мира, ринулись в клокочущую белую мглу, все дальше уходя в безлюдную степь.

Шаке долго ехал не останавливаясь. Встречный ветер со свистом заносил их снежной пылью. Мороз заметно усилился. Снег шел уже не маленькими мягкими хлопьями, как в начале поездки, а больно бил по лицу твердыми крупинками. Ехать против ветра стало трудно.

Темно-серый конь Шаке все оглядывался на бежавших по его следу коней, точно пытаясь спрятаться за них. Чуть ослабевал повод, он круто поворачивал голову. Порывы ветра, дувшего прямо в лоб, отбрасывали его челку, пронизывали и кололи, будто волосок за волоском выдергивая шерсть. Шаке видел, что его коню нелегко бороться с ветром, но, боясь, что, уклонившись от ветра, собьется с пути, часто опускал камчу на его бока, чего раньше никогда не случалось.

Скоро Абай заметил, что его саврасый сам идет за конем Шаке, будто прилипнув к его хвосту: умное животное поняло, что, если отстанет, ветер

сильнее будет бить ему в лоб. Но самого Абая передний всадник не спасал от бурана. Скоро усы, борода и даже ресницы Абая совсем побелели. Он низко склонился к луке седла, но и это не помогало. Ветер, поддувая под лисий тымак, нестерпимо колол виски, а когда Абай, пытаясь уклониться от него, отворачивал голову, буран кидал ему за шиворот целые охапки снега.

Холод начал одолевать его. Боясь обморозить лицо, Абай стал растирать его руками, но мороз тотчас защипал кончики пальцев, и Абай с трудом удерживал в руках поводья и плеть. Все время меняя посадку, то сгибаясь вправо и влево, то склоняясь к самой гриве коня, Абай окончательно выбился из сил. Ветер, задувавший под шапку, невыносимо холодил виски, руки закоченели, Абай не мог больше справиться даже с полами, — как он ни старался запахнуться покрепче, ветер снова раздувал их в стороны.

Несмотря на твердое решение не показывать другим своего изнеможения, он не выдержал и крикнул Шаке, чтобы тот дал отдохнуть.

Едва они остановились, кони сами повернулись хвостами к ветру и опустили головы. Всадники спешились и стали возле коней, стараясь защититься от ветра.

— Ну и ну, вот это буран! — сказал Ербол.

— Хорошо, если скоро утихнет, иначе дело плохо… Против ветра и смотреть невозможно, — поддержал Абай, глядя на кружащиеся снежные вихри.

Все вытащили из карманов платки и крепко повязали под шапкой лоб. Баймагамбет, как всегда, не унывал:

— Утихнет, не теряйте терпения!

Закаленный, выносливый Шаке, багровый от мороза, казался крепче других. Он решительно сказал:

— Если мы ошиблись в направлении ветра, значит мы заблудились вовсе, и тут уж ничего не поможет. А если мы едем правильно, то к вечеру доберемся до Карасу Есболата. Так и этак—стоять не приходится! Нужно ехать как можно быстрее, мороз не станет легче, если потащимся шагом. Надо твердо решиться, Абай-ага! — заключил он и, подтянув подпругу, вскочил в седло. Остальные молча сели на коней.

Время шло, а путники, все двигались вперед, стараясь не сбавлять крупной рыси. Разъяренный ветер со свистом бил порывистыми ударами. Им казалось, что они оглохли от этого непрерывного пронзительного воя, протяжного и угрожающего, будто стая степных волков перекликалась сквозь метель, ища укрытия или горячей крови.

И эта была родная степь Абая!.. Безлюдная, гудящая снежной пургой, она казалась ему теперь безжалостной и жестокой мачехой. Вот эти жайляу, покрытые молодой зеленью, были золотой колыбелью его детства. Теперь от них веяло холодом смерти. Они казались раскрытой заледеневшей могилой, ожидающей жертвы.

Нет ни земли, ни неба, ни гор, ни холмов, ни долин. Только плотная снежная мгла, вой ветра и четыре коня… Весь мир сжался в комочек, его можно захватить в горсть… Того, что происходит кругом, Абай не может выразить по-казахски — ему вспоминаются два слова, вычитанные в русских книгах: хаос и стихия… В какой-то книге было сказано, что весь мир образовался из такого вихря и бури… пляшет вода, когда кипит, так бушует море, вздымая огромные волны и кидая белую пену, вновь поглощаемую пучиной… И тому, кто ныряет в таких волнах, ежеминутно ожидая смерти, мир тоже должен казаться не больше горсти…

Вдруг ветер сразу затих, будто оборвался. В Абае проснулась надежда. «Наконец-то!.. Неужели кончилось?.. Видно, я чем-то заслужил спасение…»

Шаке натянул поводья и осадил коня. Остановились и все остальные.

— Кажется, стихло! — радовался Шаке. — Погода сама идет к нам на помощь!.. Но где мы?

Снег продолжал идти, но падал уже не крупинками, а мягкими хлопьями, сквозь него ничего кругом не было видно. Путники поехали шагом, давая передышку коням и совещаясь, как быть дальше. Короткий зимний день подходил к концу. Определить, где они сейчас находятся, было невозможно.

Все-таки все с надеждой оглядывались по сторонам. То и дело им мерещились то чернеющие зимовки, то пасущийся скот, но, вглядываясь пристальней, они перестали понимать, что это такое.

— Что там виднеется? А это что темнеет?.. Кажется, мы что-то оставили позади!.. — указывали они то в одну, то в другую сторону, но каждый раз обнаруживалось, что вечерняя мгла и снежная пелена вновь обманули их: темнеющая зимовка превращалась в вылезший из-под снега камень, черные точки, которые они принимали за пасущийся скот, — в верхушки тальника или тобылги.

Путники снова потеряли надежду. Они никак не могли определить, где они едут, хотя буран стих. Баймагамбет, с самого начала не соглашавшийся с доводами Шаке, теперь был совершенно уверен, что тот ошибся в направлении: при такой быстрой езде они давно должны были выехать к Карасу Есболата. Он повторял это всякий раз, когда они проезжали мимо какого-нибудь оврага, ложбинки или речного русла.

— Совсем не похоже на окрестности Карасу! Там ковыльные холмы, каменистые сопки или пологий хребет, а здесь вся местность низменная, луговая, изрыта речками и родниками… Мы далеко уклонились в сторону! — твердил он.

Маленькая кучка всадников продолжала двигаться, полная сомнений. Солнце село, стало совсем темно. Они ехали в неизвестность. Чтобы дать хоть небольшую передышку коням, остановились у какого-то водопоя и пустили коней искать под снегом корм. Абай с трудом слез с седла и повалился на

землю, не разбирая места. Он попробовал посоветоваться с Ерболом, но тот тоже не мог сказать ничего утешительного. Однако даже усталость и тревога не сломили его.

— Брось ты ломать голову, — сказал он шутливо. — Мы с тобой замечательно находим дорогу по тракту, но в непогоду, да еще темной ночью — нам ли с тобой разыскивать одинокий шалаш, крохотный, как клубочек шерсти! Найти его в голой степи не легче, чем иголку в густой траве… Уж лучше не мешай Шаке!

Когда они опять сели на коней, притихший было ветер снова угрожающе загудел. Буран, и днем ревевший замогильным воем, снова начал свирепеть. Мороз становился все крепче и крепче. Скоро ои совсем вывел путников из терпения. К холоду прибавился голод, — с утра они ничего не ели. Бесконечный путь тянулся и тянулся. Абай почувствовал, что весь продрог, и крикнул ехавшим сзади:

— У меня ноги закоченели! Никогда не знал, что при верховой езде мерзнут ноги… А как ты, Баймагамбет?

Тот тоже совсем застыл.

— Не лучше ли остановиться и вздремнуть немного? — предложил он.

Все снова остановились и стали совещаться. Мир опять замкнулся вокруг четырех конских голов. Лошади тоже были изнурены и, видимо, мучились вместе с людьми.

Шаке предложил поискать, где укрыться, хоть бы за камень какой-нибудь. Ербол махнул рукой:

— Где мы тут камень найдем? Предадим свою судьбу богу и ляжем тут же под защитой коней…

Все улеглись прямо на снег, тесно прижавшись друг к другу.

Холодный ветер тревожно завывал в ушах, будто злая метель решила не успокаиваться до тех пор, пока не отомстит за что-то измученным путникам. Абай лежал, припав головой к коленям Ербола. Ему казалось, что тело его непрерывно вертится. Этот снежный вихрь, закрутил их вместе с лошадьми, со всей землей, превратившейся в холодный комочек и несет куда-то, как перекати-поле… Кружится голова, тошнит, в ушах не смолкает назойливый гул. Действительность исчезает, как в бреду, мысли путаются… Абай впал в тяжелое забытье…

Они не знали, сколько времени продолжался их сон. Первым пришел в себя Ербол и стал тормошить остальных:

— Эй, жигиты, вставайте!.. Сон—враг наш! Очнитесь, не сдавайтесь!

Разгребая заваливший их снег, все вскочили на ноги. Стояла глубокая ночь. Абай застонал:

— Не помню, чтобы когда-нибудь я так закоченел, мороз до костей пронизывает…

Он стал ходить взад-вперед, сильно топая ногами. Младшие тоже продрогли. Разгоняя кровь, они принялись стряхивать плетьми и рукавами снег, густо покрывший коней, точно овечьей весенней шерстью.

— Спорить теперь нечего: мы заблудились, — решил Ербол. — Ну что ж, поедем куда-нибудь, только крупной рысью, хоть согреемся!

Все с трудом сели в седла и двинулись дальше. От быстрой езды всадники действительно начали согреваться. Они ехали долго. Наконец, едва просвечивая сквозь снежную мглу, медленно встало утро. Путники молчали. Но в душе каждый надеялся, что с наступлением дня буран уляжется. Шаке, жалея лошадей, перевел их на мелкую рысь.

Время подошло к полудню. Свет солнца едва пробивался сквозь пелену бурана, который так и не прекращался.

Потянулся второй мучительный день блужданий по взбесившейся буранной степи.

Путники ехали по незнакомым оврагам, холмам, буграм, каждый час останавливаясь, чтобы подкормить коней и дать им отдых. И на каждой остановке все думали об одном и том же. Наконец они решили изменить взятое направление и ехать так, как посоветовал Баймагамбет, — чтобы ветер дул сбоку.

Абай чувствовал, что он совсем болен. Тело, продрогшее за ночь, порой согревалось, но внутренний озноб не проходил. К вечеру, когда они остановились передохнуть, Абай уже с трудом слез с коня и повалился возле небольшого камня.

Он был совершенно разбит, весь одеревенел от мороза. Ему казалось, что подняться он не сможет, — земля притягивала к себе, как магнитом. Неужели близится час, когда исчезнет всякая надежда на жизнь?.. Но почему тогда душа его странно спокойна, почему мысли о конце, о смерти не страшат его?.. Наоборот, что-то в нем покорно твердит: «Ну и пусть конец, пусть скорей приходит…» Вчерашние воспоминания, оборванные бураном, вновь всплыли в его мозгу: образ ласковой, как солнце, милой его бабушки Зере—и его Тогжан…Тогжан, не забываемая до последнего дыхания, в последний миг его жизни стоит перед его взором, единственная, светлая, как полная луна, улыбающаяся, дорогая… Видя перед собой эти два милых лица — умершее и исчезнувшее, — Абай лежал без сна в тяжелом раздумье. Неужели это и есть последнее прощание с ними?..

Вдруг ему показалось, что он слышит громкий человеческий голос. Он вздрогнул, но, решив, что бредит, не отозвался на крик. Товарищи, скорчившись, спали возле него. Потом голос послышался снова. Теперь Абай ясно различил: это был и вправду человеческий голос.

Он вскочил, ему показалось, что он совсем здоров. Встав во весь рост, он трижды громко и протяжно крикнул в ответ. Измученные кони подняли от

земли головы и насторожили уши. Ербол и оба юноши, разбуженные внезапным криком, испуганно вскочили.

Ербол кинулся к Абаю.

— Что случилось, Абай, почему ты кричишь? — спросил он, с тревогой заглядывая в лицо друга и думая, что тот бредит. Но Абай возбужденно ответил:

— Кричите! Я только что ясно слышал человеческий голос, кричите громче!

Ветер выл с прежней силой. Все четверо закричали вместе и прислушались. Им показалось, что с подветренной стороны в буране движется какое-то темное неопределенное пятно. Они снова закричали. Донесся глабый отклик. И вдруг из крутящегося бурана, из белого хаоса на них вынесся верховой, не перестававший кричать. Крупный, высокий жигит сидел на белом коне и сам был весь выбелен снегом. В поводу он вел второго коня.

— Эй, живы ли вы? Где вы тут, милые мои? — весело крикнул он, спрыгивая с коня.

Абай первый узнал его голос.

— Абылгазы!.. Да сбудутся твои желания, откуда ты? — И он порывисто обнял друга. Это действительно был Абылгазы.

— Как откуда? Вас разыскивал… Милосердный боже, пошли нам всегда такую удачу!.. Разве мог я надеяться отыскать вас в такую погоду? Я просто на месте сидеть не мог — помчался, чтобы себя успокоить… Вы обессилели, наверное? Не поморозились? Как лошади? Еще держатся?.. Ну, садитесь, дотемна разыщем жилье!

Веселый его голос ободрил измученных путников и как будто придал им сил. Они торопливо сели на коней и тронулись за Абылгазы.

Оказалось, они находились у склона Машана. Теперь впереди поехал Абылгазы, ведя за собой остальных. Ербол, переговариваясь с ним, держался рядом. Абай, вконец измученный, пустил своего саврасого вплотную за ними. Он не мог понять, здоров он или болен. Тело его ныло, как избитое. Временами ему казалось, что он стоит на месте, а горы и скалистые камни бегут мимо. Он блуждал где-то между явью и забытьём, мысли его путались, мозг отказывался управлять ими. В минуты, когда мысли прояснялись, он старался разобраться в этом тумане ощущений. «Сон меня одолел, что ли? Или я и вправду заболел?» — думал он.

Порой до его сознания долетали разговоры друзей. Ербол спрашивал у Абылгазы:

— Но как ты сумел разыскать нас? Свыше тебя осенило, что ли? Разве обыкновенный человек отважится на поиски в такой буран?

— Уж и не говори… Нынче я не человек, а волк из этой долины!

— Так ведь и волк не выходит в буран на охоту, просто кидается на первую попавшуюся добычу…

— Я думаю, что меня душа вела… Я дал себе слово загладить свою глупость на охоте: Абай, пожалуй, единственный человек во всем Тобыкты, кого мне тяжело огорчать… Утром я видел, как вы подымались к Ботакану, и, когда начался буран, сразу понял, что вы непременно заблудитесь. А мы вовремя доехали до Карасу, всю ночь кричали, чтоб вы поняли, где мы. Утром я отправил наше кочевье к Машану, а сам весь день рыскаю за вами.

— Где же ты думал нас найти?..

— Поехал наугад… Я надеялся на то, что если вы будете держаться одного направления, то когда-нибудь поймете свою ошибку и, подумав хорошенько, свернете на правильный путь. Если так, думал я, то они выйдут к склонам Бугалы или Машана. Вот я и колесил тут целый день между горами… Перед сумерками напал на ваш след и погнался за вами, но там, где снегу мало, буран совсем замел следы.

Ну, я и взял на глаз направление и помчался вскачь, подавая голос… Недолго так скакал — чай вскипеть мог за это время, не дольше…

— А ты не думал, что сам заблудишься?.. Нет, Абылгазы, ты не простой человек, ты по крайней мере баксы!

Абылгазы не рассмеялся. Он верил в гаданье на бобах и уверял, что это уменье перешло к нему от деда. Но свою способность находить нужное направление в степи он не приписывал никакому шаманству. Он действительно мог в самую дождливую ночь вывести на какой-нибудь единственный куст тобылги или метелку карагача, а зимой в любой буран ехать по степи целую неделю прямо, как пущенная стрела, и добраться до того места, куда хотел. Ерболу он раскрыл свой секрет.

— Вовсе я не баксы, — сказал он. — А не заблудился потому, что обучен одним слепым, нашим соседом Токпаем. Он всегда ходил один — и между аулами, и через горные перевалы, в любую погоду. Я все приставал к нему: «Как вы ходите один, Токау?» Он и ответил мне: «Тебе путь указывает дорога, а мне — ветер…» А в темную дождливую ночь или в белый буран — мы те же слепые токпаи. Тут нужно, во-первых, забыть, что у тебя есть глаза, во-вторых, — внимательно следить за ветром. Ну и, в-третьих, — кое-что соображать! Вот и все мое шаманство! — засмеялся он, остановил коня и, дождавшись, когда остальные подъехали, обратился к ним:

— Вот что, жигиты. Вы, я вижу, продрогли до смерти. Нашего шалаша мы сейчас не отыщем. Но в ущельях Машана всегда стояли зимовки родов Жуантаяк и Мотыш. Я надеюсь, что скоро мы наткнемся на какой-нибудь аул и найдем пусть не богатое, но теплое жилье, и вы хорошо согреетесь. В чей аул мы попадем, прямо скажу — не знаю. Говорят, в этом ущелье за последние годы построили зимовки несколько богатых аулов Мотыш, может быть, нам посчастливится наткнуться как раз на один из них. Во всяком случае, к ночи я вас доставлю в тепло!

Путники, изнемогавшие от холода, едва смогли ответить:

— Веди, веди!.. Да сбудутся твои слова!.. Доведи до какого хочешь жилья! Теперь мы выдержим!

Все отдали свою судьбу в руки Абылгазы.

Они долго ехали молча вдоль поросшего мелким леском ущелья. И вдруг до них донесся лай собак.

— Слава богу! Спасены!.. Ак-сарбас, о боже, ак-сарбас!..[159] — в шумной радости повторяли все.

Путники свернули на опушку, поросшую березняком и побелевшую от снега. Их встретил многоголосый собачий лай, эхом отдаваясь в горах. Абылгазы, подогнав коня, опередил остальных, поскакал к повороту и там остановился, поставив коня поперек пути. Абай и Ербол крупной рысью нагнали его и совсем близко увидели внизу красные огоньки освещенных окошек.

— Люди, люди!.. Аул, дорогой, милый!.. Аул!.. Не спит еще! кричал Ербол подъезжавшим Шаке и Баймагамбету.

— Окошек много, большая зимовка! Видно, богатый аул, наше счастье, жигиты! — радовался Абылгазы. Он, опять опередив других, доскакал до зимовки, спрыгнул с коня и принялся громко стучать в дверь первого дома.

Абай не помнил, как слез с коня. Поводья у него перехватил Баймагамбет. Тело не слушалось Абая, он остановился, не в силах сделать ни шага. Шаке взял его под руку. Кони, зимовка, снежная степь, весь мир — все кружилось перед глазами Абая, в ушах его так звенело, что он не мог расслышать, о чем говорили его друзья с двумя жигитами, вышедшими навстречу, лишь отдельные названия несвязно доносились до него: «Мотыш… Догал… Найман… Аккозы…»

Друзья повели Абая вслед за жигитами в просторный темный коридор. Где-то в углу открылась дверь, красноватый свет прорезал темноту. Послышался женский голос:

— Проведите в отау, в Большом доме уже спят, велели отвести туда…

Шаке и Баймагамбет под руки ввели Абая в просторную комнату. Их сразу обдало благословенным теплом, крепким запахом вареного мяса и овечьего кизяка, еще тлевшего в очаге. Один из жигитов, провожавших гостей, открыл дверь во вторую комнату. Светлая и уютная, она от самого порога была застлана расшитыми кошмами и полосатыми половиками. Абылгазы и Ербол вошли первыми и поздоровались с хозяйкой, стоявшей у кровати с костяной резьбой. За ними Шаке ввел Абая.

Едва тот переступил порог, взгляд его скользнул по красной занавеске с бахромой, полузакрывавшей кровать с множеством подушек и одеял, и остановился на хозяйке.

— Ох, душа моя! — вскрикнул он и зашатался. — Неужели эта она?

Молодая женщина, стоявшая между кроватью и печкой, была в белом платье

и черном бешмете, в обычном головном уборе молодых невесток. Узнав Абая, она кинулась к нему, звеня тяжелым шолпы, вплетенным в волосы.

— Создатель… Это Абай? Боже мой, значит, суждено мне было увидеть вас!.. Родной мой! — говорила она, обняв Абая.

Ее шолпы зазвенело еще сильнее и затихло. Слушая его звон с закрытыми глазами, Абай стоял бледный, теряя сознание. Он прислонился к косяку двери, как будто боялся упасть перед молодой женщиной, всхлипывавшей у него на груди. Его колени дрожали, слабость разливалась по всему телу. Ему хотелось обнять ее, но руки не повиновались ему, и он только ласково гладил ее голову.

Говорить он не мог, что-то камнем застряло в горле и душило его. Ноги внезапно подкосились, и он упал у порога.

Ербол и Абылгазы бросились к нему и, доведя до переднего угла, усадили, прислонив к стене. Шаке и Баймагамбет, расстегнув ему пояс, начали снимать шубу.

— Я знал, что он болен, глядите, и сознание потерял, — тревожно сказал Шаке.

— О боже, что вы говорите? Он болен? — испуганно вскрикнула хозяйка.

Она быстро сняла с кровати подушки и горой заложила их за спину Абая. Расстегнув ему ворот бешмета, она присела рядом и приложила к его лбу руку, унизанную браслетами, растирая другой его грудь. Абай медленно открыл глаза, взял ее руку и приложил к глазам. Потом он прижал маленькую теплую ладонь к губам и молча поцеловал ее. Из глаз его капали крупные горячие слезы. Он чуть слышно заговорил — это были не слова, а шепот души:

— Моя Тогжан… Мне нечего больше желать… Пусть навсегда замрет мое дыхание возле тебя…

Он снова затих. Ербол, сидевший рядом с другом, только теперь узнал Тогжан.

— Милая моя, свет мой, что это он сказал?.. Неужели ты — Тогжан?.. — И он порывисто бросился к ней. — Я твой Ербол, золото мое.

Голос его прерывался, он всхлипывал. Тогжан, вся дрожа, подняла лицо, залитое слезами. Она крепко обняла Ербола и зарыдала, в отчаянии продолжая смотреть на Абая.

Двое жигитов, сопровождавших сюда гостей, давно уже недоуменно наблюдали все происходящее. Теперь, когда они увидели, что Тогжан так же радостно встретилась и с Ерболом, они успокоились, решив, что приезжие — близкие родственники невестки дома. Эти двое жигитов не принадлежали к семье мужа Тогжан: один из них был мулла, другой — дальний родственник из аула, которому всегда поручали уход за гостями. Разводя руками от удивления, они обратились к Шаке:

— Вон оно как! Значит, вы — родичи Тогжан!

— А мы-то думали, кто это решился ехать в такой буран!

— Ты только посмотри, как она соскучилась по родному аулу! Золотая колыбель не забывается!..

Абай и Тогжан, не сводя глаз, безмолвно смотрели друг на друга. Поговорить им не удавалось — к Тогжан поминутно подходили то старая стряпуха, то молоденькая келин, шепотом спрашивая распоряжений. Два молодых жигита внесли круглый складной стол и, поставив его посреди комнаты, перенесли на него лампу.

Абай продолжал полулежать на высоких подушках. Широкий его лоб, обычно скрытый шапкой, резко отличался своей белизной от обветренного лица, глаза покраснели и распухли. Он дышал прерывисто и хрипло, по телу пробегала дрожь лихорадки, лицо горело от жара. Но он, казалось, забыл о болезни и не сводил глаз с Тогжан, провожая взглядом каждое ее движение.

Тогжан была теперь еще красивее и обаятельнее, чем в те далекие дни. Каждая черта ее лица достигла своей совершенной красоты. Чуть приподнятый кончик маленького прямого носа придавал всему лицу покоряющую прелесть юной беспечности, хотя взгляд ярких глаз под крутыми длинными бровями стал строже, углубленнее и задумчивее. Вся она казалась воплощением одухотворенной красоты. Наложила ли на ее лицо свой отпечаток тоска несбывшихся надежд, или сковывала ее привычка скрывать свои затаенные чувства, — но в лице сегодняшней Тогжан не было уж той непрерывной смены выражений, которая когда-то так волновала и восхищала Абая.

Все кругом были заняты оживленными разговорами, но Абай и Тогжан, поглощенные друг другом, не слышали и не понимали их.

Ербол и Шаке наперебой с Баймагамбетом рассказывали мулле все подробности своей двухдневной пытки. Они объяснили, как попали в эти места и поразили хозяев рассказом о том, как Абылгазы разыскал их. Вскоре принесли чай. Тогжан подсела к столу и каждому, начиная с Абая, сама подала пиалу.

Абай с трудом приподнялся, но от сильной боли в висках у него закружилась голова, и он снова беспомощно упал на подушки. Сделав невероятное усилие, он все-таки сел, опустив голову и подперев ее руками. Лихорадка то бросала его в дрожь, то жгла огнем. В каком-то тумане до него донеслись слова Тогжан: «Выпейте чаю», — и он через силу заставил себя сделать несколько глотков. Все чувства притупились в нем, он не мог разобрать, холодный был чай или горячий, — он ощутил во рту только вкус ржавого железа. Не оставалось сомнений, что он тяжело заболел. Он отдал пиалу, и сидел молча, сжимая виски руками. Тогжан сильно встревожилась. Ербол внимательно посмотрел на друга.

— У тебя лицо горит, глаза слезятся, и вообще ты никуда не годишься, видно, здорово простудился, — решил он и посоветовал — Закутайся потеплее, надень шапку, выпей горячего чаю и ложись!

Тогжан быстро поднялась, помогла надеть на Абая шапку и шубу и подала

ему вторую пиалу чаю, положив в нее полную ложку масла и придвинув сахар. Абай с большим трудом выпил.

— Не понимаю, что со мной… Голова болит нестерпимо, все кости ноют, вкус пропал… У меня, кажется, сильный жар, — сказал он и снова сжал виски руками.

Его тошнило, он не мог сделать больше ни глотка. И, точно торопясь высказаться, пока совсем не потерял сознания, он прошептал прерывающимся голосом:

— Создатель, за что такая кара, такое мученье… Быть больным в этот час… перед мечтой всей жизни моей.

Горе давило его душу тяжелее всякой болезни. Тогжан поняла. Она украдкой смахивала слезы. Абай повалился на подушки. Видно было, с каким трудом он до сих пор сдерживал себя. Тогжан заботливо укутывала его стеганым одеялом поверх шубы.

— Милая… Драгоценная… Единственная моя… — прошептал он и закрыл глаза.

Все решили, что он заснул. Но мозг, его изнемогал от видений, колебавшихся где-то на грани сна и бреда. Порой мысль угасала, мир тонул в небытии и меркнул. Вот вошла Айгерим… Нет, он мчится по улицам Семипалатинска на тройке гнедых коней… Опять не то — кругом ночь, он спускается в глубокую темную пещеру Кши-Аулиэ верхом, с Карашолаком на руке, саврасый спотыкается — он летит в пропасть, цепляясь за беркута…

Абай вздрагивает и поднимает голову. С трудом узнав окружающих, он снова падает на подушку. Снова не то сон, не то бред…

Каким странным кажется мир: нет ни неба, ни земли, они смешались. Впереди—ровная долина, тревожная, огненно-красная. Абай летает в этом непонятном мире. Вокруг него странные существа — и похожие и не похожие на людей — злые духи, джины. От их безобразного вида ему страшно. Они клубятся вокруг, пристают к нему: «Нам по пути, идем с нами!» Что-то влечет его за ними, он двигается к ним, но вдруг к нему стремительно бросается Тогжан, цепляется за него. «Не покидай меня, дорогой мой, возьми меня с собой!» — слышится ее голос. Он ощущает прикосновение ее щеки к своему пылающему лицу.

— Не покину, родная… Не уйду от тебя… — говорит он вслух.

Ербол печально сказал вполголоса:

— Ой, беда… Совсем разболелся Абай… Какой у него жар! И бредит… Да и мудрено ли — такой буран! Ни днем ни ночью не стихал, насквозь проморозил…

Абай вдруг сбросил с себя шубу и одеяло и заметался из стороны в сторону.

— Жжет меня, жжет, — в полубреду повторял он, — я весь горю, снимите, снимите!

Тогжан осторожно прикрыла его и сказала Ерболу:

— У него тело как в огне горит, руку мне жжет… Сколько лет не видала его — и вот он, беспомощный, измученный…

И, наклонившись, она быстро зашептала на ухо Абаю:

— Видно, обоим нам суждено страдать вечно! Как я мечтала хоть раз увидеть тебя… Вот и увидела… Разве это радость? Новое страдание, новая горечь…

Когда принесли ужин, Абай ничего не смог проглотить. Он хрипел и задыхался, словно давясь тяжелыми горячими вздохами. Ербол, Шаке и Тогжан, раздев больного, повели его к постели, приготовленной для него в переднем углу. Но не успел Абай сделать и шага, как тут же упал. Болезнь впилась в него всеми когтями, охватила все тело. Его подняли на постель, уложили, и Ербол повернулся к Тогжан, покачивая головой:

— Он заболел еще вчера, а потом еще сутки плутал в буране верхом… Ясно, что его свалило… Боюсь я за него!..

Ербол устал не меньше других, но в тревоге о друге не мог заснуть. Тогжан ушла в помещение старших, но тоже не находила себе покоя.

После полуночи Абай снова стал бредить и тяжело вздыхать. Тогжан, казалось, угадывала его страдания: она снова вошла, стараясь не делать ни малейшего шума, даже сжимая в руке тяжелое шолпы, и стала в ногах любимого, не сводя взгляда с его лица. Больной стал дышать труднее. Она опустилась возле него и приложила руку к его пылающей голове.

Абая снова мучили видения. В затуманенном сознании его снова возникла клубящаяся бураном степь. Вся вселенная наполнилась белой, медленно ползущей массой. Что это — снег или белый холодный саван, уже готовый обернуть обессилевшее тело? Он движется и ползет — бесконечный, скользкий, зыбкий, как тина. Он затягивает в себя, поднимает в высоту, раскачивает, бросает в бездну — и несет, все несет куда-то с собой. Он липкий, он обволакивает тело отвратительным холодным клеем… Да что же это такое наконец — снег, буран, бездонная трясина на дне какой-то пропасти? Она всасывает в себя, вот-вот поглотит. Кругом — никого. Никто не поможет, не спасет. Руки и ноги склеены. Обессилев, Абай все глубже уходит в эту вязкую массу. Он кричит: «Помогите! Спасите!» И тогда снова возникает Тогжан. Вероятно, она прилетела. Но она не подает ему руки. Она останавливается возле. «Спой песню, ту песню, которую ты сложил для меня», — говорит она. Абай спешит начать, запутывается, молчит. Он не может вспомнить стихов, посвященных Тогжан. Она торопит, протягивает руки. Но он забыл свои же слова.

«Что же там?.. Что же там было?..» — вскрикивает он и снова приходит в себя.

Он видит Тогжан, низко наклонившуюся к его лицу, она что-то шепчет. «Опять мысли путаются», — думает он и снова проваливается в бред. Ему

кажется, что Тогжан сидит в ожидании ответа. Если он не исполнит ее просьбы — она навсегда уйдет от него, и тогда жизнь оборвется. Надо непременно вспомнить, найти. Но стихи ускользают. Он не может собрать ни одной строчки.

— Куда они девались? Я потерял их, теперь ты уйдешь от меня, — быстро говорит он вслух. — Что же это со мной? Где они? Они для тебя, для тебя были, и я не могу их найти…

Женское сердце угадывает все. Тогжан, полная жалости и тоски, гладит лицо Абая, обнимает его и прижимается щекой к его горящей щеке.

— Успокойся, успокойся, Абайжан… Не ищи ничего, не мучайся… — повторяет она.

Абай прикрывает глаза и некоторое время лежит недвижно. Потом, снова начав бредить, твердит, задыхаясь и волнуясь:

— Ты их не знаешь… Никто тебе не говорил их… Были, были слова!.. Сейчас, сейчас… Только скажи, чтобы меня не уводили… Я сейчас спою, сейчас…

Он хмурит брови, протягивает руки, шевелит пальцами и ловит воздух… Вот они, желанные слова!.. Но, не сказав ни одного, он замирает с полуоткрытым ртом. Кругом снова ледяные клубы бурана и топкая, отвратительная трясина. Абай весь вздрагивает.

— Спаси, не отдавай меня им, Тогжан!.. — в отчаянии кричит он — и опять приходит в себя.

Тогжан перед ним. Значит, это верно — он должен во что бы то ни стало вспомнить свои стихи. «Спою, сейчас спою…» — еле слышно повторяет он. Он закрывает глаза стараясь сосредоточиться. Слова не вспоминаются. Как это мучительно!

И вдруг — внезапный проблеск памяти.

— «Мне в жизни… в жизни…» Как же дальше?.. «Мне в жизни… не найти другой любимой… хоть лучшего… чем я… себе найдет она…»

Он рывком приподымается и садится; ворот у него раскрылся, грудь обнажена. Тяжелый вздох вырывается у него, из глаз текут крупные слезы. Он вглядывается в лицо Тогжан, наконец поняв, что она действительно здесь, с ним. Он берет пальцы любимой, прикладывает их ко лбу, к глазам, крепко прижимает к своему сердцу.

Ербол, в отчаянии следя за Абаем, сидел тут же. Заметив, что его друг очнулся, он быстро отвернулся и прилег, сделав вид, что спит, чтобы не мешать их разговору.

Казалось, что Абай спешит сказать все, пока бред не начался снова.

— Я блуждал по жизни, — с жаром шептал он ей в лицо, — я мерз в ее холоде, скитался и пришел к тебе… Пришел обобранный, бесчувственный… Ты — повелительница моя… Велишь ли мне жить?

Он снова отпустил ее руки и, закрыв глаза, упал на подушки.

— Буран… Все еще буран… — бессвязно забормотал он. — Веди меня! Я замерзаю, падаю! Меня уводят!.. — отчаянно выкрикнул он. — Что ты спотыкаешься, саврасый?.. Нет, это опять не она!..

Абай притих, будто отдыхая.

Сердце Тогжан дрогнуло при его вскрике: «Меня уводят!» Она не в силах была удержаться от слез. Что это? Мерещится ли что-то ему в бреду, или будущее внезапно открылось ему? «Уводят»… Неужели он чует конец?

Слезы душат Тогжан: сейчас, когда жизнь в нем борется со смертью, Абай вспомнил не отца, не мать, не детей и близких — он вспомнил только ее. Как будто душа его переполнена одной ею, как будто сердце его жило одним желанием, одной страстной мечтой, которую он должен был пронести через жизнь: не умереть, пока не скажет ей, Тогжан, своего предсмертного салема — своих стихов… Тогжан знала их — когда-то Карашаш, приехав навестить ее, пела их ей. Абай не мог в бреду вспомнить их начала — но разве эти строки не звучали в ее душе незабываемым горесгным напевом минувшего счастья!..

Конец он только что сказал сам — голосом, затухающим, как прощальный привет последнего солнечного луча, как последний багровый отблеск заката…

Сияют в небе солнце и луна,

Моя душа печальная темна…

Тогжан плакала, склонившись над Абаем, прижимая к губам его руку.

— Милый… Ведь это не твои слова, а мои… Ты просто сказал то, что было у меня на сердце!.. Злая судьба!. Лучше бы я умерла в те дни, чем жить сейчас здесь… — шептала она в неудержимых рыданиях.

В одну из минут, когда сознание к нему вернулось, Абай с трудом повернулся и попросил пить. Тогжан сразу сдержала слезы и подняла голову, но не разобрала его невнятных слов. Она выжидающе смотрела ему в лицо, продолжая чуть слышно всхлипывать.

Ербол лежал отвернувшись, но чутко прислушивался к каждому движению больного. Он тотчас вскочил и подал Абаю воду, стоявшую на печке. Абай сделал глоток и, едва промочив горло, упал на постель.

— Что со мной делается? Видно, сильно я заболел… Тело у меня огнем пылает, — раздельно произнес он и с глубоким вздохом закрыл глаза. Дыхание его вырывалось с каким-то стоном и свистом, что-то как будто дребезжало в

его груди. Всю ночь Абай метался в мучительном жару и в бреду. Ни Тогжан, ни Ербол ни на миг не закрывали глаз. До самого рассвета Тогжан плакала не переставая.

И только когда стало совсем светло и ей сказали, что в Большом ауле проснулись старшие, она тихо поднялась и медленно вышла из комнаты. Абай под утро успокоился и как будто задремал. Баймагамбет проснулся раньше других. Его поразило лицо Тогжан: в нем не было ни кровинки, глаза покраснели, веки распухли, и она шла слабая и изнуренная. В ее осунувшемся, сосредоточенном лице было столько горя, словно она пережила смерть любимого.

Абай пролежал дней десять, прикованный болезнью к постели. Первую неделю его состояние пугало и его друзей, и весь аул, и в особенности Тогжан.

Хозяин аула, зажиточный, старик Наймам, в первую же ночь подробно разузнал, кто его гости и откуда прибыли. Наутро все путники, кроме Абая, явились в Большой дом, отдали старику салем и обстоятельно рассказали о всех событиях своей поездки и о болезни Абая.

В ответ на это Найман со своей байбише навестил Абая и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Весь аул сочувствовал больному. Но уже к полудню слух о странном поведении молодой келин облетел всю зимовку. Мулла и жигит, встречавший гостей, настойчиво стали расспрашивать их, в каком родстве состоит Тогжан с Абаем. Узнав, что родство это очень отдаленное, все решили, что в том участии, которое они выказали ночью друг другу, не могло быть ничего доброго. Ничего не скрывая, они рассказали свекрови Тогжан, что молодая келин всю ночь напролет просидела возле больного, а утром ушла от него вся в слезах.

С этого же дня Тогжан не разрешили больше ухаживать за больным: ее сменила сама старая байбише Наймана.

— Я сама буду ходить за сыном Кунанбая, — заявила она. — Я тебе не чужая, сынок. Мы тебе родичи и жалеем тебя. Можем и подушку под головой поправить и напиться подать! Только выздоравливай скорей!

Следующие три дня больной лежал без сознания. Тогжан изредка заходила к нему, но оставаться возле него не смела. Свекровь каждый раз выпроваживала ее в Большой дом:

— Поди, милая, позаботься об отце, не задерживайся здесь!

Через несколько дней вернулся молодой хозяин аула, муж Тогжан — Аккозы. Из всего Тобыкты род Мотыш выделялся своим плотным телосложением: все они были крупные, толстые, светлые и большеглазые, с правильными чертами лица. Аккозы как раз и был таким — плотный, светловолосый, почти рыжий, с синими глазами и вздернутым коротким носом, с тяжелым круглым лицом, — природа не поскупилась на его щеки, лоб и

голову. Он казался неразговорчивым, замкнутым и серьезным. По возрасту он был сверстником Абая.

Его приезд как будто ничего не изменил: за больным ухаживали по-прежнему внимательно. Но Тогжан больше не появлялась.

Через неделю Абай, исхудавший и обессилевший, начал приходить в себя. К нему вернулись спокойный сон и аппетит. Ербола и Абылгазы поведение Аккозы удивляло: он ни разу не повидался ни с ними, ни с Шаке и, казалось, не обращал на гостей никакого внимания. Как только Абаю стало легче, старая байбише начала заговаривать с Баймагамбетом и Шаке об отъезде.

— Ну, вот Абай и поправился, не задерживайтесь теперь, дорогие мои. Ваши аулы совсем недалеко, переезжайте от родича к родичу, быстро доберетесь. Скорей везите Абая к матери, уж как она тревожится, наверное… — твердила она, всячески стараясь дать им понять, что пора покинь аул.

Через три дня таких разговоров Абай собрался уезжать. Накануне отъезда Тогжан пришла к нему в полночь, разбудила его и, опустившись возле него, коротко попрощалась с ним. Абай потянулся к ней и стремительно обнял ее. Но она уклонилась и выскользнула из его объятий.

— Абай, я пришла поговорить и проститься с тобой… Ее сдержанность поразила Абая. Он снова потянулся к ней.

— Что ты говоришь, милая, разве мы чужие друг другу?

Он опять пытался обнять ее, но Тогжан снова отстранила его руки.

— Судьба не захотела соединить нас, — печально сказала она. — Если бы ты приехал здоровым, я бы не задумалась вырвать у жизни то, что она отняла у нас. Через всю тоску и муку нашей разлуки я пришла бы к тебе радостно и спокойно, хоть потом мне и пришлось бы сгореть со стыда. Но судьба сама наложила запрет: привела тебя больным и поставила преграду… За эти дни я поняла, что сердце, которое любит, не может утешиться краткими минутами радости, непрочными мгновениями счастья. Пусть моя мечта так и останется несбывшейся, запретной на всю жизнь. Пусть уйдет она со мной в могилу, заветная и единственная, чистая, как вера. Я люблю тебя, милый, и уйду с моей любовью, глотая слезы!

Абай всем сердцем понял ее.

— Ты права. Права и за себя и за меня. Иначе ты перестала бы быть самой собой. Я не могу настаивать ни на чем. Это доказывало бы только, что я не умею держать себя в руках. Слова твои будут всегда со мной. Это слова души, которая любит.

Абай тихо поцеловал Тогжан в лоб и сел, молча опустив голову на руки. Тогжан поднялась и медленно вышла. Едва слышно скрипнула дверь, и в последний раз прозвенело шолпы.

Абай просидел до рассвета. Порой из глаз его текли горячие слезы, и плечи вздрагивали, как камыш от пробегающей волны. Его и сотрясала волна —

тяжелая волна безысходности, непреодолимой и мучительной.

Вернувшись к себе, Абай поселился в своей новой зимовке на Акшокы. Всю зиму он провел над книгами. Баймагамбет то и дело ездил в город, привозя Абаю полными коржунами книги — единственную пищу души.

Теперь и Айгерим не отвлекала Абая, как когда-то. После возвращения мужа с охоты она узнала, что целых десять дней он провел в ауле Тогжан. Она ни слова не сказала об этом Абаю, глубоко затаив в себе ревность и обиду, и делала вид, что ничего не знает. Первый удар ее счастью, нанесенный Салтанат, еще с весны охладил ее чувство к Абаю. Встреча его с Тогжан совсем отдалила Айгерим от мужа.

Абай не объяснялся с ней и не раскрывал своей души, хотя и понимал причину охлаждения. Он не мог откровенно говорить о Тогжан и бередить свою душевную рану. Но и он тоже никак не мог простить Айгерим ее замкнутости и отчужденности и тоже затаил в себе обиду.

Теперь его собеседницей, единственным другом и верной, неизменяющей спутницей снова стала книга—и только книга.

НА ПЕРЕВАЛЕ

1

Было начало апреля. Весна наступила ранняя, и все кругом сразу зазеленело. Скот уже ягнился, на холмах вокруг зимовки Акшокы рядом с пасущимися матками играли ягнята и козлята. Аул Абая еще не выходил из зимовки, только Айгерим поставила неподалеку от дома свою юрту.

Старый Байторы и скотник Байкадам вышли под вечер полюбоваться ягнятами, но, увидев, что Абай с Баймагамбетом забрались на свой любимый холмик возле юрты и уже окружены слушателями, поспешили туда же, зная, что сейчас обязательно начнется какой-нибудь интересный рассказ.

Байторы еще недавно нищенствовал в Большом ауле Кунанбая, прикованный к постели изнурительной болезнью. Абай перевез его семью в свой аул, помог лечиться и оставил жить у себя. Старика доильщика Буркитбая он тоже взял к

себе, а Байкадам, едва перебивавшийся в ауле Кунке, сам попросился к Абаю и тоже жил теперь здесь. Что касается Баймагамбета, то он раньше всех перебрался сюда вместе с малолетними братьями, вырвавшись наконец из тяжелой нужды. Аул Абая давно уже стал аулом — покровителем бедняков, люди жили в нем дружно, не терпя недостатка, как в родной семье, делясь и радостями и горем.

Приплетясь к холмику, Байторы услышал, что нынче рассказывает не Абай, а Баймагамбет.

— У народа по имени Нидерлан, — говорил он, — в городе Лейден был суд под названием инквизиция…

Поняв, что попал к самому началу, Байторы был очень доволен: он знал, что Баймагамбет ни за что не повторит для опоздавших ту часть повести, которую он уже успел передать.

Когда этой зимой Абай по вечерам говорил с Ерболом, Кишкене-муллой и старшими детьми о прочитанных книгах, Баймагамбет всегда внимательно слушал. С первого же раза он легко запоминал любой роман со множеством действующих лиц и сложно переплетенными событиями, и, нисколько не изменяя содержания, живо и занимательно пересказывал его потом другим. Имя замечательного рассказчика Баймагамбета облетело за эту зиму не только весь Корык и Акшокы, но и окрестности от Чингиза до Семипалатинска.

Близился закат. Вечер становился прохладным, свежий ветерок, овевавший холмик, пробирал уже чувствительно, но никто не уходил. Вместе со старшими сидели и дети — Абиш, усердный ученик в домашней школе Абая, Магаш, общий любимец, необыкновенно способный и одаренный мальчик, и Акылбай, ставший уже взрослым юношей. Он приехал в гости из аула Нурганым и нарочно остался ночевать здесь, чтобы послушать Баймагамбета. Все, не исключая Кишкене-муллы, были настолько захвачены рассказом, что даже не заметили, как к холмику подъезжает верховой. На него обратили внимание, лишь когда он спрыгнул с коня.

Это был Асылбай, один из табунщиков Большого аула. Его гнедая лошадь была вся в поту. Оказалось, он возвращается на зимовку Улжан из Семипалатинска, и Абай, ответив на его салем, спросил:

— Что нового в городе?

— А вы ничего не слышали? — удивился Асылбек. — По городу ходит страшная новость: нынешний белый царь, который правит и нами, помер!.. И не своей смертью помер— говорят, будто кто-то застрелил его из ружья!

Кишкене-мулла зашевелил губами и провел ладонями по лицу. Глядя на него, старый Байторы тоже поднял руки и хотя и понятия не имел, о чем молиться. Абай насторожился:

— Что ты говоришь!.. Где ты слышал? Кто убил? Когда?

— Наверное, больше месяца… Весь Семипалатинск об этом шумит. Русские

уже давно собирались в церкви, в мечети тоже намаз совершали, с народа присягу берут, словом, в городе переполох… На трон сел сын царя, убийцу, говорят, поймали… А кто и что — я еще не узнавал…

Абай глубоко задумался. Он не сомневался, что с царем расправились не простые убийцы. «Да, таких людей ничем не сдержишь и не испугаешь… У них ясный ум и твердая воля, они никогда не примирятся с изгнанием и ссылкой… Они должны были совершить что-нибудь такое, что потрясло бы всю Россию, — и они совершили это…»

Между тем Байторы и Байкадам оживленно обсуждали новость:

— Бывает так, что по приказу царя убивают людей, но чтоб царя убили — с тех пор, как земля стоит, такого не было!..

— У этого убийцы, видно, сердце, как рог, крепкое! Кто же это пошел на такую дерзость?

— Уж, конечно, не простой разбойник! Если он сам не царь, то, наверное, кто-нибудь из знатных людей!.. Подумал про царя: «А чем я хуже его?»—и убил. Простой человек с царем тягаться не станет…

— А я думаю, какой-нибудь вор царскую казну ограбить хотел, а тут царь проснулся — вот он его и застрелил, — догадался Байкадам.

— А что, правда! — согласился Байторы. — И в сказках о таких говорится, — хитрый вор любого хана и надует, и ограбит, и до смерти доведет!..

Кишкене-мулла, видя, что они не столько горюют о царе, сколько допытываются, кто и как мог убить, решил воспользоваться случаем для приличествующего наставления.

— Шариат учит чтить владыку, управляющего тобой твоим пародом, какую бы веру он ни исповедовал, — начал он. — В мечетях поминальный намаз совершили — значит и мы, мусульмане, в сильном горе. Поистине достойно печали такое событие! Ни в одной книге я не читал, чтобы простой народ убивал своего царя… Близится конец мира, наступают последние времена!..

Абай, погруженный в свои мысли, услыхал только конец наставления. Он усмехнулся и встал с места.

— Там, где великое насилие, там и великая ненависть, Кишкене-мулла, — сказал он. — Откуда, вы, сидя здесь, можете знать, какая обида или месть подняли эту руку?

И он направился к юрте, позвав с собой Баймагамбета.

— Баке, — приказал он ему по дороге, — завтра поедешь в город с письмом. Разузнай там все подробно.

Утром Баймагамбет уехал и вернулся через три дня. Вместе с полным коржуном книг он привез Абаю ответ Михайлова и газету «Областные ведомости», издаваемую канцелярией семипалатинского «жандарала».

Михайлов писал кратко, сообщая о случившемся по официальным данным.

Первого марта, когда царь возвращался с прогулки, в него была брошена бомба. Доставленный в зимний дворец, он вскоре умер от тяжелой раны. Покушение было подготовлено заранее, некоторые из его организаторов схвачены. Михайлов писал и о том, что в Семипалатинске губернатор собрал гарнизон и служащих всех городских канцелярий на панихиду по умершем царе, затем привел к присяге новому царю Александру Третьему всех, начиная с солдат и должностных лиц. В конце письма Евгений Петрович сообщал, что сам он уволен со службы секретным распоряжением: «Вот какие чудеса творятся на свете, Ибрагим Кунанбаевич, — заканчивал он. — Вряд ли вы удовольствуетесь рассказами вашего Баймагамбета. Как ни хороша жизнь в Акшокы, вам не мешало бы все-таки приехать в город и разузнать обо всем самому!» «Областные ведомости» сообщали не больше, чем написал Михайлов. Абая удивила сдержанность газеты — обычно по поводу менее значительных событий она не знала меры ругани и угрозам. Что же произошло?.. То ли власти нос об камень разбили, то ли просто растерялись, будто их по глазам камчой стегнули?..

На следующий же день Абай отправился с Баймагамбетом в Семипалатинск. Дул свежий встречный ветерок, земля уже подсохла, степная дорога установилась, выровняв грязные ухабы. Молодая весенняя зелень, еще не тронутая ни изнурительным зноем, ни пылью, была ярка и свежа. Низкорослая полынь, ранние тюльпаны, тобылга, только что раскрывшая почки, покрывали все холмы от Акшокы до Семипалатинска, каждое озерко, каждая лужица были опоясаны зеленым мягким шелком трав.

Баймагамбет любил быструю езду и на случай поездок берег тройку саврасых, откормив их и выездив к весне. От самого дома он гнал их крупной рысью, ровный бег их не утомлял, а подбадривал путников, колеса дробно стучали по каменистой дороге. Подгоняя коней длинным кнутом, Баймагамбет продолжал прерванный приездом Асылбая пересказ, чтобы Абай, как обычно, выслушав его, поправил в наиболее важных местах. Абай слушал, поражаясь его памяти.

Баймагамбет, передавал содержание романа «Черный век и Марта». Героями этого романа, полного запутанных событий, были замечательный жигит Дик, исповедующий религию, преследуемую властями, его единоверец батыр Красная Борода — храбрый великан с чистым сердцем, коварная доносчица инквизиции и, наконец, ее соперница и достойный противник—смелая и упорная девушка Марта, стремившаяся освободить Дика. В романе подробно рассказывалось о кровавом лейденском суде инквизиции, которым руководило озлобленное духовенство, преследовавшее Дика и Красную Бороду. Человечность и благородство героев противопоставлялись безжалостности и жестокости духовных отцов, которые во имя бога и веры проливали кровь и подвергали адским мукам множество людей. Была здесь и чистая молодая

любовь с ее высокими стремлениями, ясная и светлая, как лунный луч, отражаемый тихими водами, и коварное сердце соперницы-предательницы, подобное глубокой темнице, беспощадное и несправедливое.

Пересказывая роман, Баймагамбет ясно выражал свое отношение к его действующим лицам: каждому из них он давал справелдивую характеристику, оценивая их поступки, ум и воспитание. Всю сложную интригу романа он передавал без запинки, ничего не путая и не забывая, как будто сам прочитал книгу несколько раз.

Прежние его пересказы казахских сказок, «Тысячи и одной ночи», «Бахтижар», персидских «Сорока попугаев», казались ему теперь давно пройденным уроком, и к ним он возвращался редко. Передавая слышанное от Абая и никому еще не известное, он как бы внушал слушателям: «Если хочешь понять, кто такой Баймагамбет, — суди вот по этому…» Из восточных сказок он рассказывал теперь лишь о Рустеме, Жамшиде, о Шаркен, о трех слепых и Сеидбаттале, из казахских легенд — Едил и Жаик, Жупар-Коррыга и Ер-Тостик; любимые и незабываемые, они жили в душе Баймагамбета, каждую из них он рассказывал от сумерек до чая, подававшегося перед сном. К ним он прибавил несколько романов, услышанных от Абая. Больше всего он сам любил один, который называл «Петр Пелекей».[160] За ним шли «Дубровский» и «Сохатый», потом «Валентин Луи, или Чистое сердце», «Ягуар», «Хромой француз», и, наконец, «Черный век и Марта».

Баймагамбет никогда не учился по-русски, он и по-казахски-то был неграмотен. Но, глубоко усваивая содержание всех интересных книг, прочитанных Абаем, он заметно начал изменяться и сам — и характером и повадками. Абай замечал, что он и держит себя не так, как его сверстники-жигиты, что он бессознательно подражает в поведении и речи деcтвующим лицам своих любимых рассказов. Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружающих его казахов, — неграмотно-образованным человеком. Даже внешне Баймагамбет, уже обросший рыжей бородой, сильно отличался от других жигитов — и острым взглядом больших синих глаз с густыми прямыми ресницами и резкой линией крупного, слегка горбатого носа. И сейчас он казался Абаю не простым конюхом, а незнакомым попутчиком, заехавшим в степь из каких-то далеких стран.

Абай, удивленный и обрадованный, смотрел на Баймагамбета, будто увидел его впервые. Да, это был новый человек… Он с жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью Красная Борода освобождал Дика, и было видно, что их чувства были близки и ему самому. Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые могли обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну, он сохранил бы ее лучше, чем родной брат. Айгерим как-то зимой шутила, что от него нельзя выпытать даже того, о чем говорил

Абай с маленьким Турашем. Айгерим, вообще метко определявшая людей, сказала о нем недавно: «Вы так много рассказывали Бакену о русских, что он и сам становится похож на них: не умеет вилять, идет напрямик… Вероятно, хороший русский, честный и правдивый, так и поступает…»

Задумавшись о сложном пути, по которому шла эта молодая душа, Абай впервые поймал себя на поразившей его мысли: как много, оказывается, значили русские книги и для него самого и для Баймагамбета!.. «Мы просто не замечали, что книги воспитывают нас, — думал он. — Баймагамбет моложе, на нем это более заметно… Глядя на него, и я теперь словно в зеркале вижу, как изменился я сам… Как далеко ушла моя душа от вековых устоев окружающей жизни…»

После полудня путники остановились покормить лошадей, закусили сами и отправились дальше. Баймагамбет все продолжал пересказывать «Черный век» и закончил лишь к вечеру, когда они постучались в ворота Тинибая.

В этот приезд Абай встречался с Михайловым чаще, чем раньше, и беседы их затягивались все дольше. Евгений Петрович не был теперь связан службой, и они могли видеться в любое время. Встретил он Абая, как близкого друга, и при первой же встрече рассказал ему подробности события, которые он считал невозможным передать в письме. Он рассказал ему, что и раньше были попытки убить царя, говорил о Желябове и о русской девушке-героине Софье Перовской, которых недавно повесили в Петербурге, говорил о людях, не жалевших для дела народа ни своей молодой свободы, ни жизни. По его мнению, на этот раз власти были сильно напуганы. Он с усмешкой заметил, что в манифесте от четвертого марта говорится о том, о чем раньше никогда не упоминалось в такого рода документах, — например, сказано, что правительство обратит внимание на хозяйственные и общественные вопросы, касающиеся всего народа.

— Туда и такое словечко, как «социальный», попало, — насмешливо говорил он Абаю. — Такое страшное слово в царских устах показывает, что трон здорово зашатался… Похоже на то, что в Петербурге порядком струхнули перед революцией…

Абай жадно расспрашивал друга. В прежних беседах с Михайловым ему не приходилось касаться таких вопросов. Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, он пришел к твердому убеждению, что русское общество, вслед за своими лучшими людьми неудержимо стремится к революции. Михайлов еще больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения.

— Вот вы говорили, что власти напуганы. Почему же изгнанникам и ссыльным вроде вас, Евгений Петрович, они не дают облегчения? Вас даже

просто уволили со службы, как же так?

Михайлов только развел руками и рассмеялся:

— Ну, я-то фигура не крупная, со мной царская власть не очень считается… Меня еще на корню скосили, на третьем курсе университета… Да и на службе-то меня держали не по своей охоте, а поневоле. Года два назад губернатор получил из Петербурга предписание создать здесь статистический комитет, — а что такое статистика, с чем ее кушают, как поставить это дело по-научному, — здешние чиновники и слыхом не слыхали… А я еще в студенческие годы в погоне за знаниями увлекался и статистикой. Ну вот, не найдя никого, для начала взяли на эту должность с малой властью и большими хлопотами меня. Я и согласился, чтобы не бездельничать. Но, видно, жизнь привила мне одну болезнь, Ибрагим Кунанбаевич: не могу я никакого дела делать по-казенному. Так и тут: увлекся статистикой, начал уже понимать всю сложность народного хозяйства в ваших условиях… Но как только власти услышали, что произошло в Петербурге, статистика Михайлова, состоящего под надзором полиции, поспешили убрать из областного управления… Только я теперь не брошу начатого дела, может быть, мне удастся принести какую-нибудь пользу этому краю… Ведь что можно из него сделать, если взяться с умом и думать о народе, а не о купцах и промышленниках!

И он с увлечением заговорил на эту тему.

Чтобы легче было встречаться с другом, Абай вместе с Баймагамбетом поселился не у Тинибая, а у Карима. Островки Иртыша, густо покрытые зарослями, по-весеннему зеленели, и оба друга подолгу бродили по берегу реки, а порой отправлялись в лодке на Полковничий остров и целыми часами беседовали там. Разговоры день ото дня становились интереснее. Михайлов был старше Абая всего на четыре года, но жизнь его, полная событий, участником или свидетелем которых он был, казалось Абаю необыкновенно сложной. «Это какой-то ненаписанный дастан,[161] — думал Абай и тут же поправлял себя — Дастан — не то слово… Дастан говорит об одном каком-нибудь герое, а тут героев множество… И злодей тысячелетний: земной бог, одетый в золото, сверкающий на троне драгоценностями…»

Абай жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия, говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъеме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга. Абай узнал о неудачном выстреле Каракозова, о смерти его на виселице. «Не повезло несчастному! — думал Абай. — Совсем близко подошел к царю, когда тот сходил с повозки, — и промахнулся!..»

Судьба двоюродного брата Каракозова и руководителя его группы — Ишутина глубоко поразила Абая. Пасмурным осенним днем его привели на

Семеновский плац в Петербурге, прочли смертный приговор, надев на голову мешок и петлю, и, когда он был уже готов к смерти, прочли второй приказ — о помиловании и замене смертной казни каторгой. Впервые услышал Абай о том, что такое тюрьмы, которыми охраняло себя самодержавие. Михайлов рассказывал ему о земном аде, где из человека вынимают душу, не проливая крови, обрывают его дыхание без веревки и виселицы, — о Шлиссельбургской крепости, об Алексеевском равелине, об иркутском Александровском централе. Там-то сошел с ума Ишутин, не перенеся страданий, и долгие годы продолжал еще жить в безумии… Он был так жалок, что у людей, которым приходилось его видеть, слезы навертывались на глаза… Абаю казалось, что нельзя придумать более зверской и безжалостной расправы с человеком, чем такая игра с живым существом. Только хищник может мучить так свою жертву угрозой смерти и надеждой на избавление!..

— Евгений Петрович, неужели это возможно? На глазах народа, на глазах всей России так издеваться над человеком и без того готовым встретить казнь?.. Разве это допустимо? — взволнованно спрашивал он.

Михайлов рассказывал ему, что такое же бесчеловечное издевательство было совершено и над Чернышевским, которого Михайлов называл гордостью русского передового общества, глашатаем свободной мысли.

— У всех у нас, — говорил он, — был один учитель: Чернышевский. Идеи Чернышевского последние пятнадцать— двадцать лет вдохновляют все молодое поколение.

И он рассказал, как 19 мая 1864 года Чернышевского вывели на Мытную площадь в Петербурге к позорному столбу и прочли приговор — семь лет каторги. Но вот прошло уже семнадцать лет, а Чернышевский все еще томится в глуши Сибири, в проклятом Вилюйском остроге.

В этой беседе Михайлов вновь поразил Абая. Тот до сих пор думал, что мысль о цареубийстве была подсказана Чернышевским, но Михайлов, заговорив о своем учителе, сказал, что тот не имел никакого отношения к событиям первого марта. Абай даже переспросил:

— Но разве не он подтолкнул на это людей своими мыслями и учением?

Михайлов был вынужден разъяснить ему подробнее:

— Ни мысли, ни слова Чернышевского никак не ведут к этому. Убийство царя совершили люди, которые не сумели понять революционных идей Чернышевского, наоборот, эта группа решала все по-своему. Идеи и стремления Чернышевского далеки от этого…

Михайлов объяснил своему другу, что индивидуальный террор — пусть даже убийство самого царя — не тот путь, которым можно уничтожить царский строй: вместо убитого сядет другой царь, только и всего. По взглядам Чернышевского, в борьбу с самодержавием должно вступить крестьянство, многомиллионный трудовой народ. Он рассказал о прокламации

Чернышевского, обращенной к русскому крестьянству. Это воззвание называлось: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В нем Чернышевский призывал крестьян идти на борьбу с поработителями с топором в руках. Народ держат в рабстве дворяне-помещики, а царь в 1861 году просто обманул народ призраком освобождения, потому что он — не народный царь, а помещичий, его забота только о них — о помещиках. Еще со студенческих лет Михайлов помнил отдельные строки прокламации и теперь повторял их Абаю. «Оболгал он вас, обольстил он вас… Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик?.. Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик… Ну, царь и держит барскую сторону». И дальше про волю: «…чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало и бесчинствовать над мужиком никто не смел…» Михайлов с волнением заговорил о том, что спасение от царских порядков — лишь в остро отточенном топоре всего народа, а поступки четырех-пяти одиночек, оторванных от народа, отдельные убийства то министра, то царя — это все мало полезные пути…

Абай сразу почувствовал всю справедливость мысли Чернышевского, видевшего решающую силу только в народе. «Значит, истиный долг того, кто заботится о народе, — это пробудить в людях сознание, призвать весь народ на борьбу с ордой зла и насилия!» — подытожил Абай свои мысли.

Сколько нового, захватывающего душу и ум, дал ему Михайлов! С ненасытной любознательностью Абай расспрашивал его о борцах против самодержавия. Хотя Михайлов долгие годы находился в изгнании, вдали от друзей, однако он знал все события, как старый, умудренный жизненным опытом летописец. Он рассказывал Абаю подолгу о каждом крупном деятеле, о каждой группе, ведущей борьбу с царем. Из этой беседы Абай сделал вывод и о самом Михайлове: групп и организаций, борющихся с самодержавием, — множество, но его новый друг одобряет лишь немногие из них. Одинокий, изгнанный, связанный— он всеми помыслами был с Чернышевским.

Вскоре после этого разговора Абай увиделся с адвокатом Акбасом и восторженно заговорил с ним о Михайлове. Акбас разделял его мнение:

— Михайлов — настоящий человек! В нем гражданская совесть проснулась рано, еще двадцатилетним юношей он показал себя смелым революционером… Да и вся семья его тоже такая… Он говорил вам, что сделала его старшая сестра в день гражданской казни Чернышевского? Нет?… Ну я так и думал, — усмехнулся он.

И он рассказал, что, когда прочли приговор, сквозь толпу пробилась молодая девушка и бросила к ногам Чернышевского букет цветов, крикнув: «Прощай, друг!»

Возглас прозвучал как прощанье всего народа, цветы были как вызов палачам, войскам и царским слугам, окружавшим место казни. Эта девушка была Мария Михайлова, родная сестра Евгения Павловича.

Абай был поражен. Смелая и решительная девушка так и стояла перед его глазами. Она как бы говорила властям: «Вы приговорили его к смерти, а мы, молодежь, готовы целовать землю, по которой ступали его ноги!» И эта девушка оказалась сестрой его теперешнего друга! Но удивительней всего было то, что его друг, так много и часто рассказывая ему о других революционерах-героях, ни разу не упомянул о своей сестре!.. Припоминая их беседы, Абай пришел к выводу, что это было следствием большой скромности Михайлова: он никогда не рассказывал о себе, о своей деятельности. Ни разу он не сказал: «Я поступил так-то», — во всех его рассказах действовал всегда не он, а другие, а сам он растворялся в общей массе, как незначительная единица. Абай знал о нем лишь то, что он был сослан года за два до ареста Чернышевского.

Личность Михайлова все больше привлекала Абая и заставляла глубоко задумываться. «Каким смелым и сильным должно быть нынешнее поколение народа, в котором много таких людей, как Михайлов! Какая накопилась в нем сила! Она подобна силе слона — в ней и великая мощь и великое терпение…» — думалось ему. И он решил при первой же новой встрече расспросить Михайлова о нем самом.

На другое утро Абай постучался в двери домика на берегу Иртыша, ставшего для него подлинной школой. За дверью послышалась недовольная воркотня, и старуха Домна приоткрыла дверь, продолжая браниться, но, увидев Абая, широко ее распахнула.

— А, это ты, Ибрагим, заходи, заходи, ждет тебя твой приятель! — сказала она и тут же разразилась негодующей бранью — А я-то думала, опять этот старый пес явился! Вот ведь пристал, никак не отвяжется, до смерти надоел… «Твой, говорит, барин — сицилист… Ты мне скажи — кто к нему ходит, куда он сам ходит?..» Все ему надо знать— и что ест и что пьет… Проходу не дает, так и лезет в душу, так и вынюхивает…

Абай, снимая в передней верхнюю одежду, прислушивался посмеиваясь, но с большим вниманием. Он знал, о ком шла речь. Это был околоточной надзиратель Силантьев. Видимо, ему поручили слежку за Михайловым, и он уже больше месяца мучил Домну. Но и Михайлову был известен каждый шаг околоточного, и он всегда с интересом выслушивал жалобы старухи.

И сейчас он, выйдя в прихожую к Абаю и поздоровавшись с ним, с улыбкой взглянул на негодующую Домну. Абай сочувственно спросил ее:

— Видно, и нынче вас Силантьев рассердил, Домнушка? Опять встретились?

— А то как же! Он еще Сидориху подбил, соседку.

Пришла я на реку белье полоскать, а она и давай меня расспрашивать… Думаешь, они только про Евгения Петровича спрашивают? И про тебя пытают: «Чего это киргиз к вам повадился, может, твой сицилист и киргизов сбивает?..»

Домна ушла в кухню. Михайлов нахмурился и некоторое время молча ходил взад-вперед по комнате, видимо, обеспокоенный рассказом старушки. Потом он

присел рядом с Абаем на диван с обычным спокойным видом. Абай задал наконец занимавший его вопрос:

— Я все хотел спросить вас, Евгений Петрович… не знаю, могу ли я спрашивать об этом?.. За что вы пошли в ссылку?

Михайлов ответил очень коротко. В университете он увлекся идеями Чернышевского, вошел к кружок Шелгунова, мужа своей старшей сестры, и начал кое-что делать. Арестовали его во время студенческой демонстрации, которую он организовал вместе с друзьями, требуя смещения профессоров-мракобесов. Дело кончилось ссылкой в Петрозаводск. Через год группа ссыльных по совету петербургских товарищей написала прошение на высочайшее имя с просьбой о смягчении наказания. Но вместо этого их группу выслали из Петрозаводска в Сибирь. Причину этого Михайлов узнал уже здесь от Лосовского, которому губернатор рассказал, что произошло. Оказалось, царь, прочитав первую страницу, сказал: «Такие молодые! Вряд ли они испорчены вконец… Сидят больше года, пожалуй, можно вернуть, одумались…» Но, к несчастью, на последней странице очутилась клякса, правда тщательно вылизанная одним из просителей. Она и решила дело: в глазах царя клякса была символом протеста, издевательством, знаком пренебрежения, — и он отшвырнул бумагу, резко сказав: «Ни в коем случае не возвращать, пусть прокатятся подальше!» И на голову Михайлова и его друзей свалилась еще большая кара…

Рассказывая об этом, Михайлов говорил спокойно, с большим юмором, но тут же добавил то, что, видимо, тяготило его всю жизнь:

— Здесь меня полиция считает опасным злоумышленником — не то я новое цареубийство затеваю, не то подкоп под губернаторский дом веду… А что могу я делать? Вот кабы не скосили меня под корень молодым, может быть, я и сумел бы сделать что-нибудь стоящее. Эх, Ибрагим Кунанбаевич! Вот вы считаете меня каким-то вожаком общественной мысли, революционной борьбы… Преувеличиваете вы из дружбы ко мне, а на самом деле — я рядовой, да еще и отставной…

Абай, выслушав, задумчиво сказал:

— Я понимаю, что вы и страдаете и мучаетесь… Но какой счастливый ваш народ, ваше общество! Я вижу, как расступается перед ним ночная тьма… Рассвет близок…

— Почему вы так думаете?

— Как же может быть несчастен народ, у которого заступников больше, чем обидчиков? Если у тех, кто борется за народ, такие рядовые, как вы, Евгений Петрович, что же будет, когда они расправят крылья? Один из вас убил царя — а если встанут все вместе?.. Тогда наступит истинное счастье народа-страдальца!.. Вот я и говорю, что русский народ — счастливый народ…

И, помолчав, Абай добавил:

— Несчастный народ, горемычный народ — это не русские, а мы, казахи… Нас накрыли толстым войлоком, вот мы и лежим в темноте…

Абай и до этого часто делился с Михайловым мыслями о судьбах своего народа. Сегодня он убедился, что друг его много думал об этом: Михайлов стал как бы подводить итоги всем прошлым беседам.

Он заговорил о том, что русские принесли в степь и добро и зло. Зло видно всем, его трудно не заметить, а добро видит не всякий, его трудно распознать. Зло — это здешние власти и чиновники: они глухи, тупы, не знают и не понимают ничего, думают только о чинах и взятках. Добро — это русская культура. Но она для нынешнего казаха — еще тайна, загадка, в каждом русском он видит только грубую силу, вроде Силантьева или Тентек-ояза. Но Абай уже может разбираться в этом, он должен понимать то, что для других скрыто. Русская культура — богатейшая сокровищница. Русские обладают наукой, с которой считается весь мир, у русских есть мыслители, заставившие весь мир признать величие русской культуры. Что знают об этом казахи? Все это так далеко от них, так чуждо… И все же казахский народ начинает понемногу просыпаться, пусть с трудом, пусть поодиночке, — и такие люди, как Абай, уже могут черпать из русской сокровищницы ее огромные богатства… Казахскому народу открыт путь, которым идет всякая пробуждающаяся человеческая мысль — просвещение.

— Конечно, нельзя заранее скроить будущее не только для всего народа, но и для самого себя, — говорил Михайлов. — Вот вы как-то сказали мне прекрасную казахскую пословицу: «След—мать дороги» — так, кажется? Всегда начинает кто-то один, а продолжают многие. От одного зернышка колос родится. «От искры возгорится пламя», — запомните эти слова, мудрые слова!.. Вы — одно из таких зернышек. Что, по-моему, нужно вам делать? Во-первых, молодому казахскому поколению нужно учиться… Начните с собственных детей, пусть научатся читать по-русски. Второе — передавайте вашему народу все, что прочли сами, чему научились, что узнали… Пусть это будет крохотный светлячок в огромной темной степи, пусть будет это слабый светильник в одинокой руке — но надо нести его в темноту!.. И еще: сколько болячек на теле вашего народа, — надо уметь их распознавать, оценивать, безбоязненно вскрывать, — словом, нужна смелая критическая мысль… У вас есть мощное оружие: насколько я могу судить, ваш народ — народ-поэт. Я заставил бы его домбру, его песни, его сказания говорить о нуждах народных… Рассказывал бы в них, как и откуда свалилось на плечи народа бремя, воспевал бы просвещение, знание… Это было бы великим делом! Ведь ваш народ любит острую, образную речь, он усвоил бы мысли этих песен быстрее и лучше, чем проповеди имамов в семипалатинских мечетях… Вы же знаете, что и у нас, в России, развитию общественного самосознания очень помогли наши поэты. Правда, у них был могучий союзник — печатное слово, книги, которых у вас

сейчас еще нет. Но меня и это не остановило бы, ведь важно, чтобы до народа дошло яркое слово о его нуждах, а каким способом оно дойдет — вовсе не важно… Вон видите, что я вам насоветовал! — шутливо похлопал Михайлов по плечу Абая.

Еще раньше, когда Михайлов рассказывал ему о Чернышевском, Абай спрашивал его: «А если бы Чернышевский был в ссылке здесь, что он посоветовал бы тем казахам, которые начали разбираться в окружающем, какой путь он указал бы им, как думаете? Нынче Михайлов, как будто вспомнив это, закончил:

— Конечно, будь у вас здесь не я, а Чернышевский, он казался бы лучшим советчиком… Возможно, что с его точки зрения я говорю о недопустимо медленном пути. Но меня заставляет говорить так исторически отсталое состояние вашего народа…

Абай подхватил его мысль:

— Я вас понял, Евгений Петрович. Трудно прорасти семенам, брошенным в землю, скованную глубокой зимней стужей. Вы полагаете, что не все семена, брошенные рукой Чернышевского, могут взойти у нас?

Михайлов оценил острую восприимчивость Абая.

— Я как-то говорил вам, что Чернышевский основную надежду возлагал на остро отточенный топор народа. Развитие народного сознания, просвещение — это путь к той же великой цели, иначе народное восстание превратится в мятеж, а не в революцию… Вероятно, Чернышевский сумел бы яснее ответить вам, — я же не знаю еще толком вашего народа, а потому не вижу и верных путей для его борьбы…

Абай так глубоко воспринял слова Михайлова, что скоро не смог отделять их от своих собственных мыслей. Они стали его верой.

Этот разговор, затронувший великие жизненные задачи, закончился тем, что Михайлов сумел применить его и к личной жизни Абая. Он стал расспрашивать, как и чему обучаются в ауле его дети. Абай рассказал, что его сыновья Абиш и Магаш и дочка Гульбадан давно уже учатся в домашней мусульманской школе, но что он решил дать им русское образование, и тут же просил совета Михайлова, как и где это начать.

— Везите их сюда, — сказал Михайлов, — подумаем, как их устроить. Лучше всего, если они будут жить в русской семье — тогда за два-три года они вполне овладеют языком… Только договоримся: пусть учатся не ради того, чтобы стать чиновниками. Пусть каждый твердо помнит одно: «Я первая ласточка—учусь для себя, расту для народа…»

Абай вдруг подумал: если из его Абиша и Магаша получатся такие люди, как Михайлов?.. Он уже видел их не в казахской одежде тобыктинского покроя — они одеты, как русские горожане, они склонились над толстыми книгами, ученые, смелые… Защитники народа, руководители молодого поколения…

Великая будущность! «Только бы дожить до этого, — почти молился он, — только бы сказать им: я состарился, износился, но мне не о чем жалеть, уходя из жизни, — я передаю дело вам… Если бы я мог так сказать, я был бы счастливейшим из отцов…»

Приход нового гостя прервал мечты Абая. Это был адвокат Андреев, с которым они встречались ежедневно.

Нынче он пришел с новостями из канцелярии уездного начальника. Новости касались всего Тобыкты, и он считал нужным сообщить их Абаю: не только канцелярии уездного начальника и мирового судьи, но и канцелярия самого «жандарала» была завалена жалобами, приговорами старейшин, доносами, прошениями тобыктинцев. Все эти бумаги были «с тамгой», то есть с приложением оттисков пальцев сотен людей, — обвинения и в поджогах, и в набегах на аул, и даже «в доведении беременных до выкидыша».

— Вы и понятия не имеете, Ибрагим, что творят сейчас ваши волостные! — закончил Акбас. — Опять разгорелась какая-то межродовая неразбериха!.. А может быть, просто началась борьба за должности, — ведь в этом году перевыборы…

Михайлов, долгое время работавший в канцелярии «жандарала», хорошо знал, что приговоры, составленные волостями, часто оказываются просто клеветой. Он как-то говорил Абаю: «Царское управление страшно развратило киргизскую степь. В ней воцарились взятка и донос. Русские законы совсем не отвечают ни вашей жизни, ни вашему быту. Между народом и властями — непримиримая молчаливая вражда и взаимное недоверие. И в результате киргизу ничего не стоит солгать перед законом: оклеветать, составить ложное обвинение — он и за стыд не считает! Вот вам пример, как портит народ тупое начальство и бессмысленное управление!»

Услышав новости Акбаса, он спросил:

— Кто же на кого жалуется — сами волостные на кого-нибудь или наоборот?

— Все жалобы — на волостных, — ответил Андреев и повернулся к Абаю с иронической улыбкой, — и как раз на тех, кого вы рекомендовали Лосовскому на прошлых выборах… Если мне не изменяет память, вы говорили, что они будут друзьями народа?

Он рассмеялся и потом добавил:

— В этой куче есть одна серьезная жалоба, несомненно обоснованная, — от бедняков жатаков. Кое-кто из них приходил ко мне, просил заступиться: «Возьми на себя наше дело, доведи наши слова до начальства, управители творят насилия над нами…»

Абай заинтересовался, против кого направлены приговоры, составленные волостными. Но Акбас не мог вспомнить ни одной фамилии, однако сообщил, что видел несколько приговоров, обвиняющих жатаков в воровстве и требующих ареста как раз тех, кто подал жалобу на волостных.

Михайлов по-своему истолковал это:

— Видимо, люди, на которых положился Ибрагим Кунанбаевич, как на способных служить народу, вошли в силу. Только думают они не о пользе народа, а о том, как собрать голоса к новым выборам и удержаться на месте. А против них, очевидно, создалась другая партия. Жата-ки же не присоединяются ни к тем, ни к другим. Волостной тянет их на свою сторону, а они, наверное, говорят: «Оставь нас в покое», — вот и попали в приговоры как разбойники, воры и жулики… Эх, Ибрагим Кунанбаевич, а вы-то надеялись, что эти люди будут ходатаями за народ перед начальством!.. И вот они же чернят свой народ, пишут доносы, — он, мол, не подчиняется начальству!.. Конечно, ваши волостные не дураки: вас они провели, должности получили и с вами у них счеты покончены. Они отлично понимают, что ладить с губернатором и уездным начальником куда выгоднее, чем с вами. Да, если у народа такие «заступники», ему, видно, не сладко живется!.. Раз уж они вас, кто все их повадки знает, обвели вокруг пальца, — окрутить народ им ничего не стоит! А перед начальством они всегда сумеют прикинуться честными. Начальству нашему именно такие и нужны: они ему на руку играют, а что там с народом — начальство не интересуется: оно от того убытку не терпит!

Акбас добавил с усмешкой:

— Какой там убыток! Убыток начальству, если народ живет дружно, — тогда им и копейки не перепадет! А поссорятся люди — начальство взятки огребает, да за «успокоение населения» и в чине повышается!

Абаю было нестерпимо горько и стыдно узнать это о людях, за которых он сам ручался, как за людей с умом и совестью, которых объявил «заступниками народа». И один из них — был его брат Исхак! Абаю казалось, что тот все свои беззакония делает руками его, Абая…

Он не в силах был принимать участие в дальнейшем разговоре. Молчаливый, потемневший от стыда, он посидел еще немного, попрощался и вышел.

2

Абай задержался в Семипалатинске гораздо дольше, чем предполагал: ему жаль было расставаться с Михайловым и Андреевым, беседы с которыми ему казались и важнее и полезнее всякой школы.

Была уже середина лета, когда он двинулся домой. По пути из города Абай заехал в Ералы и остался ночевать у жатаков.

В юрте Даркембая только что закончился утренний чай. Хозяин, накинув поношенный бешмет поверх рубашки с открытым воротом, сидел против Абая. Подсыпая на ладонь табаку из желтой роговой шакши и нюхая его, он с довольным видом посматривал на гостя: и приезд его и беседа с ним очень обрадовали Даркембая.

Довольна была и хозяйка, пожилая худая женщина, — ведь Абай ночевал у них в юрте! Убирая посуду со стола, она напрягала слух, прислушиваясь к шуткам, которыми обменивались Абай и ее муж, и ее морщинистое лицо светлело от смеха. Бумажки от конфет, разбросанные по всей юрте, доказывали, что и десятилетнему Мукашу не на что было жаловаться: он получал гостинцы, будто из города приехали родные.

Даркембай вернулся к тому, о чем Абай рассказывал ему в ночной беседе:

— О чем с нами говорят, кроме того, что надо подчиняться аткаминерам и волостным? Заговорит знатный человек — твердит о своей силе и власти, хвастает своей хитростью и ловкостью. Наш брат бедняк жалуется на свои нужды, плачется о горе… А вот ты, Абай, рассказал нам про смелых людей, которые убили царя и пострадали за народ. Теперь мы знаем, что у обездоленной бедноты есть заступники. Они думают о нуждах народных, хотят облегчить жизнь всего народа и жертвуют за него даже жизнью. В тот день, когда народ станет счастливым, их цель будет достигнута. Эти люди — заступники и за нас, жатаков, кто забился в нору, будто волчонок с перебитой ногой…

Старик понюхал табаку, задумался и, словно обобщая все, что услышал от Абая, закончил:

— Так оно и есть… О чем говорят сильные? О том, как угнетают слабых. О чем говорят слабые? О том, как терпят от сильных.

Ясность рассуждения Даркембая поразила Абая.

— Хорошо! — одобрил он. — Наша беседа привела к верному выводу, твои слова прямо годятся в пословицу!.. Видно, ясный ум надо искать не у богача с множеством табунов, а у бедняка, кого нужда научила думать…

В ответ на похвалу Даркембай усмехнулся:

— Э, Абай, за один ум старшим над людьми не станешь!.. У нас, если бедняк не умен, про него скажут: «У бедного ум короток». А если он умен и красноречив, так над ним смеются: «Болтун, языком трепать любит…» Нет, Абай, я еще не видел, чтобы умная речь помогла добиться правды!

В юрту поодиночке начали сходиться соседи. Появились знакомые Абаю старики Дандибай, Еренай и Кареке из рода Котибак, — они пришли поговорить с Абаем от имени всего аула, насчитывавшего теперь больше пятидесяти юрт. Да и сам Даркембай собирался пожаловаться своему гостю на обиды, причиненные и ему и его соседям жатакам, но ночью не хотел беспокоить Абая, уставшего с дороги, и пока что не сказал об этом ни слова.

Абай, как всегда, начал расспрашивать стариков о жизни аула и заговорил о посеве и урожае.

— У вас там пахотная земля хорошая, — обратился он к Дандибаю. — Кто из вас нынче много посеял?

— Много? — покачал тот головой и усмехнулся. — Дорогой мой Абай, кто

из нас может посеять много? — Он приправил свою речь крепким словом и продолжал — В нашей несчастной жизни, когда соху тянет собака, а подгоняет колючка, нет ни у кого силы собрать и то, что сам бог дает! Хвалиться нечем: двадцать юрт, которые стоят у Миалы-Байгабыла, засеяли едва двадцать земель…[162]

— Ну, а всходы какие? — снова спросил Абай. — Бывает, что и с небольшого посева соберешь много…

Дандибай, Еренай и Даркембай заговорили разом:

— Много соберешь, говоришь?

— Разве удастся много собрать?

— Как бы вместо много не вышел шиш!..

— Ничего не понимаю! — повернулся Абай к хозяину.

Теперь Даркембай решился наконец заговорить об одной из тех обид, которыми он все хотел поделиться с Абаем:

— Ты в прошлом году сказал нам: «Не жди добра с неба, ищи добра в труде». Мы поняли эти слова, трудились честно. Наш труд оправдал себя: и на Шолпане, и на Киндике, и на Миалы-Байгабыле урожай сердце радовал. А что вышло? Разве ты не помнишь, как мы пострадали после того шума в Ералы?..

— Разве не погубили наших посевов Такежан и Майбасар? — перебил Еренай. — Да еще приговаривали: «Не затевайте спора с властями из-за рваных юрт!» А какой урожай был!.. Мы жать уже собирались, а они с пяти аулов табуны пустили на наши хлеба, до последнего колоска все вытоптали!..

Абай хорошо помнил этот случай. Такежан, отстраненный от должности волостного, подбил на это иргизбаев и котибаков, прикочевавших осенью в те места, где находились посевы жатаков. Абай через нового волостного Асылбека тогда же сумел добиться, чтобы пострадавшим от потравы возместили убыток скотом. Но он не знал о том, что ни один из аулов-потравщиков так ничего и не заплатил.

Даркембай рассказал ему об этом и спросил, можно ли надеяться на удачу, если они отправят от себя человека на межплеменной сбор Сыбана, Тобыкты и Уака, который должен был скоро состояться, и предъявят там иск.

Прежде чем ответить, Абай хотел узнать, нет ли у них еще каких обид.

— Не потравили ли они нынешнего посева? И помогал ли вам кто-нибудь из родичей хотя тяглом, когда вы сеяли или во время уборки? — допытывался он.

Старики опять рассмеялись.

— Ой, свет мой Абай, ну о чем ты говоришь? — сказал Кареке. — Ведь помогают тому, от кого ждут отплаты, а такой голи, как мы, — с какой стати?

— Где там помощь!.. Да и какие это родичи! — добавил Дандибай. — Они вот у Кареке снова потравили весной поле, как раз тогда, когда посев дал урожайные всходы!

— И наших несчастных кляч увели! — гневно перебил Даркембай. —

Почему вы молчите о главном?

И он стал рассказывать о новом злодеянии родичей, совершенном недавно, когда Абай был в городе. Абай слушал со стыдом и негодованием.

Когда аулы Такежана, Майбасара, Кунту, Каратая прикочевали в эти места, жатаки подняли разговор о возмещении за прошлогоднюю потраву, не выплаченном до сих пор. Те обозлились и, когда пашни зазеленели, снова выпустили свои табуны на поля жатаков. Пострадавшие в отчаянии ездили к разным влиятельным лицам, жаловались на обидчиков, но ничего добиться не могли. С ними соглашались, даже жалели, говорили, что это разбой, но открыто поддерживать бедняков никто не решался, боясь ссориться с сильными аулами. Им сочувствовали шепотом, сидя у себя дома.

Выведенные из терпения ежедневными потравами, жатаки во главе с Даркембаем и Дандибаем затеяли драку с табунщиками Такежана и увели из его табуна двух коней. На следующий же день около сотни жигитов, вооруженных соилами, окружили аул бедняков. Они угнали обратно своих коней и едва не избили Даркембая. А когда жатаки пошли со слезами к Такежану и Майбасару, те с бранью прогнали их. «Вы только кочевья портите, всю землю перепахали, все пастбища испоганили!»—кричал Майбасар. А Такежан добавил: «Гнать вас, оборванцев, надо, из-за вас, паршивых, меня с должности сняли! Пусть у нас одни предки, — я вас за родичей не считаю, вы для меня не тобыктинцы, отступаюсь от вас! Коли вам нравится рыть носом землю, проваливайте к мужикам в Белагаш, делайтесь там русскими!

— Да этим не кончилось, — вмешался Дандибай. — С месяц назад у наших бедняков в одну ночь увели семь коней…

Еренай горько вздохнул.

— Вот ты и посуди сам, Абай, — медленно заговорил он. — Неизвестно, уродится что на потоптанных полях или все вконец погибло… А чем ответят те, кто и за прошлогоднюю потраву не уплатили? Что им наш загубленный хлеб?.. Боже мой, ведь мы здесь одиноки среди злодеев, как кустик чия среди горящей степи. Хоть бы подумали, кого обижают? Ведь у их же порогов мы все исчахли, будь они прокляты! Им же, их отцам служили, нет того, чтобы пожалеть, — старались, мол, бедняки, пусть хоть поедят досыта!.. Это волки, а не люди!..

Даркембай продолжал свой рассказ:

— Вот нам, четверым, наша беднота и поручила искать пропавших коней. Воры не за горами оказались — из Ахимбета, Кзыл-Молинской волости. Все, что с нами было, мы отдали, чтобы нам воров указали, нашли и тех, кто туда коней перегнал, и самих коней отыскали, ну думаем, теперь обратно получим. В Кзыл-Молы волостным твой брат Исхак, вот мы и стали ворам на горло наступать — здесь, мол, наш Исхак, он за нас заступится, отдавайте коней добром! Те было задумались, а потом вилять стали: «Мы ваших коней не

уводили, их привел сюда ваш родич Серикбай: он у нас был в долгу и отдал этих коней в возмещение. Договоритесь сперва с ним, приведите его к нам». Вернулись мы—и узнаем, что этот негодяй Серикбай с прошлого года поселился у Такежана. Ну и получилось, что Такежан нас и близко к Серикбаю не подпустил. «Пусть, говорит, жатаки зря не болтают, Серикбай такой же бедняк, как они, и я его в обиду не дам!» Видишь, как — бедных защищать стал!.. Значит, Серикбай ворует под охраной Такежана!.. Словом, из наших рук он ушел. Тогда мы все вчетвером, поплелись опять в Ахимбет, а там новое горе. Такежан успел отправить нарочного к Исхаку: «Жатаки мне враги, не отдавай им коней, гони их…» Ну, Исхак и обидел нас хуже всех, просто выгнал. Не только семи коней— семи шкур не получили… Как же тут не завыть от горя? Вот мы и думаем: не отправиться ли нам в Аркат на сбор, не предъявить ли иск и за прошлую и за нынешнюю потраву, да и за семь коней тоже — ведь у нас другого тягла нет!.. Бывает же, что бии и волостные русского начальства боятся? Может быть, нам повезет, смилостивятся, вдруг и добьемся правды… Что посоветуешь? Мы не только от себя говорим, — от всех жатаков из пятидесяти юрт, от обиженных злодеями, ограбленных и нищих!..

Слушая стариков, Абай сидел, весь побелев от гнева, хмуря брови и кусая губы. Он не сводил глаз с Даркембая, говорившего твердо и убедительно. Абай тяжело вздохнул: его возмущало поведение обоих братьев, и было стыдно за них перед бедняками. Мутные волны досады, стыда и отвращения ходили в его душе. Они вздымались и обволакивали его мысль тяжелым осенним туманом, и сквозь него звучали, все время повторяясь, какие-то неотвязные слова… Новые стихи? «То, что совесть осудит, — отвергнет и ясный ум…» Стыд, совесть… что в этих словах тем, у кого сознание глухо, душа бесчувственна, утроба ненасытна?.. Что для них справедливость, жалость?

Все молчали. Наконец Абай заговорил:

— И это зло совершили мои братья… У меня с ними один отец и одна мать… Выходит — и я перед вами преступник! Что вам от того, если я скажу: «Бесстыдная рука творила, стыдливая душа корила»? Какой вам от этого толк?

И тут Абай поразил своих старых друзей, высказав мысль, рожденную в долгих беседах с Михайловым. Он облек ее в свои слова, вложив в них все, о чем передумал за это время:

— Вот, Даркембай, когда-то ты хорошо сказал, я до сих пор это помню: «У кого нужда общая, у тех и жизнь одна, настоящие сородичи—те, кого роднит общая доля». Правоту твоих слов я понял до конца, когда беседовал с одним умным русским. Оказывается, такие сородичи по горькой трудовой доле есть не только среди казахов: и среди русских множество таких же обиженных и обездоленных, как вы. И хотя царь и его чиновники те же русские, но эти бедняки никогда не посчитают их своими родичами. Оказывается, не только у жатаков Кокше и Мамая одинаковы думы: те же думы и у русских жатаков — и

в Сибири и в России…

Абай сам удовлетворенно улыбнулся ходу своих мыслей. Даркембай закивал головой, хотя и не смог еще разобраться в них, многое казалось ему странным. Абай продолжал:

— А вдумаешься глубже, оказывается, что все управители родов — и в Тобыкты, и в Керее, и в Каракесеке, и в Наймане — сородичи с властями Семипалатинска, Омска, Оренбурга, Петербурга. У них один род и один клич. Ударишь по этим — отдастся на тех. Тех заденешь — коснется и этих. Вот где загадка, друзья мои!.. Есть один русский мудрец, который душой болеет за голодный люд, как родной сын. И он сказал, что народ не должен жалобно стонать от насилий, властей, не должен молить кого-то о чем-то… Он должен довериться только своему верному острому топору… Вот слушаю я о ваших бедах и думаю: занести бы скорей топор над вороньей стаей властей, над мерзостями нашей степи… Ударить бы под корень!..

У Абая вырвалось то, что тайно волновало его. Но этим людям прежде всего нужно было помочь делом. Он обвел взглядом лица четверых стариков, слушавших его с напряженным вниманием, и неожиданно для них решительно закончил:

— Съезд будет не в Аркате, а в Балкыбеке. Возможно что он уже начался, так мне говорили в городе. Я не хотел принимать участия в тяжбах, но теперь поеду. Нарочно поеду, чтоб говорить о злодеянии, о котором узнал от вас. И вы тоже отправляйтесь туда же через три дня. Будем требовать с Такежана, Исхака и Майбасара возмещения — и за прошлогоднюю потраву, и за нынешнюю, и за коней. Я сам буду вашим истцом и ходатаем. А от вас пусть приезжают двое. Ты, Даркембай, поезжай непременно! С собой возьми Дандибая — он тоже твердый и мужественный старик, не хуже тебя…

Абай торопливо поднялся.

— Значит, решено! Об остальном поговорим там, на съезде… Только не запаздывайте — через три дня! А мы тронемся сейчас же. Запрягай, Баймагамбет!

Баймагамбет, вполне разделявший чувства Абая, бросился к двери, ловкий и быстрый, как всегда. Абай надел жилет, набросил сверху длинный летний бешмет и взглянул на свои часы. Повернувшись к старикам, он заметил, что те чем-то сильно озадачены: Дандибай наклонился к Еренаю и что-то в недоумении шепчет ему, разводя руками. Абай спросил его:

— Что случилось, Данеке? В чем у тебя сомнение? Ты не согласен?

И он вопросительно обернулся к Даркембаю. Тот взглянул ему прямо в лицо.

— И совет твой хороший и решение правильное. Конечно, не поехав на сбор, мы правды не добьемся… Но бедность окаянная опять нам мешает. Если б хоть не двоим ехать! А ты прав: ехать надо и мне и Дандибаю. А шепчутся они о том, как мы поедем: где найдем мы в ауле одежду, где взять вторую лошадь,

когда у нас последних кляч забрали?

— Не на чем ехать, Абайжан, — печально подтвердил Еренай.

Дандибай крепко ругнулся и зло добавил:

— Вцепилась вонючая бедность! Не пускает и туда, где правды добиться можно! Как безногого, к месту приковала!.. До Ералы ягнячий перегон, и то не на чем ехать, а как в такую даль доберешься — до Балкыбека?

Абай быстро нашел выход:

— Даркембаю есть на чем ехать, а другой пусть берег мою пристяжную! Возьми ее на все лето, Дандибай, вернешь, когда будем перегонять табуны на осеннее пастбище… А насчет одежды…

Абай раскрыл свой белый сундук и достал оттуда два куска материи…

— Вот верх, вот подкладка, на один чапан хватит, — сказал он, — отдай скорей шить, Даркембай!

Старики, улыбаясь, заговорили в один голос:

— Пошли тебе бог долгую жизнь!

— Вот это подарок!

— Выручил, Абай, дай тебе бог здоровья!

— Как же так, Абайжан? — удивленно сказал Даркембай, беря отрезы. — Насильничает Такежан, а убытки возмещаешь ты?

Все расхохотались, но старик продолжал:

— Этак на наш иск теперь и не посмотрят, — никуда не ездили, бия не видали, а коня и чапан за убытки уже получили!..

И он весело рассмеялся. Абаю стало легче на душе при виде радости старого друга.

— Полно, Даркембай! Считай, что это — пеня за проступки моего отца против твоего. А с Такежаном и с Исхаком разговор впереди. Тут уж я буду не ответчиком, а обвинителем!.. Но уговор такой: придется кидаться в стычку, не промахнись, бей в упор! Я слышал, что в Токпамбетской битве Байдалы крикнул Суюндику: Бери пример с Даркембая, вот где мужество!» Поэтому-то я и хочу, чтоб ехали ты и Дандибай… Но смотрите — если только вы маху дадите, я потом всем жатакам расскажу, что вы никуда не годитесь! — шутливо закончил он.

Вошел Баймагамбет — кони были готовы. Все направились к выходу. По дороге Еренай смеясь вступился за друзей.

— Если бог не лишит их языка, увидишь, что эти двое не испугаются и самого жандарала! Правильно угадал, кого выбрать, свет мой! Уже если эти батыры в воду не полезут, значит жатакам вовсе не везет!..

Повозка, запряженная вместо тройки парой, ждала у юрты. Провожать Абая вышли и мужчины и дети. Кони взяли с места крупной рысью. Ребятишки бросились врассыпную, поднялся лай заморенных собак, кинувшихся за повозкой.

Еренай, глядя вслед ей, задумчиво сказал:

— Боже всесильный, этот жигит еще в детстве был надеждой родичей… Видно, оправдывается надежда! Да будет счастлив он в жизни! От таких, как он, только добро идет…

И старик повернулся к бедноте, стоявшей вокруг.

— Все семь голов вернуть обещал! Сказал, с самых сильных взыщет… И пеню возьмет за убытки — и за прошлую и за нынешнюю потраву! Обещал добиться — вот увидите, добьется! Вот про что я говорю!

Никто не знал, верить ли такой новости.

— Все семь голов?.. Все вернут?..

— За потраву уплатят?.. И за вторую потраву?.. Да сбудутся его слова!

— Да будет счастлив его путь, если это правда! — перебивая друг друга, заговорили все.

В этих словах звучали и трогательная вера и привитое горькой жизнью недоверие. Все глаза обратились к клубам пыли, вздымаемым удалявшейся повозкой. Всем казалось, что это мчится на сбор их надежда… Весь аул, не отрываясь, долго смотрел вслед Абаю.

3

Выехав из Ералы, Абай и Баймагамбет еще раз переночевали в пути и только в вечеру следующего дня добрались до Байкошкара, где стоял аул Улжан, а рядом с ним и аул самого Абая. Проезжая по урочищу Ботакан, они увидели большой аул. Оказалось, это был аул Такежана. Он сильно разросся, кругом пестрели табуны и стада овец, вокруг Большой юрты хозяина стояло свыше десятка юрт соседей-прислужников.

— Останавливаться тут не будем, — сказал Абай Баймагамбету.

До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона, и Абай торопился доехать, пока дети не легли спать. Они поехали мимо крайних закоптелых юрт аула Такежана, и Абай невольно вспомнил о скупости его жены.

— Погляди-ка, Баке, — сказал он, — вон в той лачуге живет, наверное, скотник или сторож. До чего же она убогая! Ну что стоит Каражан дать ему войлоку? Вот ведь богом проклятая!..

Баймагамбет сверкнул на него большими синими глазами и улыбнулся.

— От Каражан добра не дождешься, Абай-ага… Все тут работают только на них… Но одно дело — пользоваться чужим трудом, другое дело — помогать беднякам.

Миновав аул, путники увидели большие конские табуны, спускавшиеся на водопой. Абай удивился:

— Неужели это все косяки Такежана? Когда же они успели так расплодиться?

Со стороны аула вдогонку им скакал верховой. Когда он подъехал, Абай узнал сына Такежана и Каражан, подростка Азимбая. Под ним был вороной конь-трехлетка со звездочкой на лбу — настоящий аргамак, нарядное седло блестело серебряными украшениями.

— Ассалау-магалейкум, Абай-ага, — приветствовал он дядю, поравнявшись с повозкой, и, едва успев поздороваться, передал ему поручение Каражан. — Меня послала к вам мать, велела сказать: «Почему не остановился в нашем ауле, гостинцев, что ли, жалеет? Все равно утром пришлю за конфетами, и за чаем, и за урюком, пускай другие невестки не разбирают…»

И довольный, что ловко поддел Абая, подросток нехорошо рассмеялся. Он был широколиц, смугл, у него были узкие глаза, припухшие выпуклые веки и холодный взгляд.

— Милый мой, — ласково ответил Абай, — если тебе так хочется конфет, поедем к нам в аул, переночуй, а утром возьми все сладкое, что есть в повозке. Я не заехал к твоим родителям потому, что время уже позднее. Впереди ждут отец и старшая мать, я тороплюсь отдать им салем, пока аул не заснул. Это одно…

Абай велел Баймагамбету ехать медленней, и, когда грохот повозки стих, он снова обратился к племяннику:

— Ты вырос, совсем жигитом стал. Можешь понимать, что не все сказанное матерью умно. Сам подумай — разве годится, едва поздоровавшись с дядей, который едет издалека, сразу требовать от него: «Отдай, мол, нам, не обмани…» Если она тебе мать, я тоже не чужой, надо и об этом подумать, понял? — И Абай заглянул в лицо подростка.

Но слова его, казалось, Азимбай принял по-свсему. Его румяное лицо сразу побледнело, брови дрогнули и насупились. Он так ничего и не ответил. Абай сам обратился к нему с новым вопросом:

— Неужели все эти косяки — вашего аула?

— А то чьи же?

— Сколько их тут?

Азимбай промолчал. Он отлично знал число коней, но говорить об этом не хотел — считал плохой приметой. Когда, проверив косяки, он начинал дома подсчитывать их, отец всегда останавливал его: «Тише, не болтай людям о числе скота!»

Баймагамбет понял, что подросток не хочет говорить, но не мог допустить, чтобы вопрос Абая остался без ответа.

— Я слышал, у них нынче с молодняком дошло до пятисот голов, — вмешался он. — Да тут их и не меньше, если не больше…

Азимбай смолчал и тут. Абай тяжело вздохнул: ничего хорошего он в племяннике не видел. Не обращаясь ни к кому, он сказал задумчиво:

— Пятнадцать лет назад мы с Такежаном выделились из Большого дома,

каждому досталось по восьмидесяти голов!.. Видно, Такежан насосался на должности волостного!.. Если его не провалят на нынешних выборах, у него косяков еще больше будет…

Азимбай, явно злившийся на дядю, оживился и злорадно засмеялся:

— Как это — если не провалят? Значит, вы ничего еще не слышали? Отец снова стал волостным, вот уже неделя, как все наши аулы празднуют, бега устраивают, веселятся… С вас суюнши за это!

Абай всем телом повернулся к Азимбаю и стал расспрашивать об этой новости. Выборы волостного — крупное событие в степи, но в городе никто не знал, начались ли выборы и кто избран. Абай слышал только, что крестьянский начальник Казанцев выехал для этого в степь.

— Кто избрал твоего отца, в какую волость?

— Избрал начандык Казансып,[163] отец теперь волостной Кзыл-Адырской волости, — гордо ответил подросток.

— Кзыл-Адырской! А кто выбран в Чингизской?

— У нас в Чингизской выбран Шубар-ага, а в Кзыл-Молинской переизбрали дядю Исхака… Три сына хаджи теперь волостные! Ну, тогда, Абай-ага, мне с вас следует суюнши за добрые вести не меньше коня!

Азимбай весь сиял от удовольствия, не в силах скрыть свою чванливую радость по случаю избрания отца и двух близких родственников. Неужели этот мальчик уже отравлен честолюбием? Неужели он умеет уже пользоваться преимуществом власти? «Хорошо ты усвоил уроки старших, рано примешься за дела… Как бы не вышел из тебя властолюбивый и жестокий жигит, не шагнул бы ты дальше отца в своем чванстве!..»—думал Абай, ни словом не ответив на такую радостную весть.

Молчание дяди снова обозлило Азимбая. Он вспомнил, как мать часто повторяла: «Завидует Абай нашему положению, ох и завидует!..» Азимбай давно недолюбливал Абая и сейчас решил про себя: «Завидуешь? Молчишь от злости? Ну ладно, я тебе еще кое-что скажу!..»

Но Абай приказал Баймагамбету: «Погоняй!» — и кони с фырканьем побежали крупной рысью, повозка быстро покатилась по ровной, поросшей мягкой травой долине Ботакана. Азимбаю пора было возвращаться домой — надо было успеть отпустить трехлетку в табун, если будет темно, она не найдет табуна и заблудится. Кроме того, он помнил и о том, что кочевья их граничат с чужими — с племенем Керей. «Как бы не отняли коня», — думал он, но все же не отставал. Ему хотелось побольней уколоть дядю.

Злой и мстительный мальчишка приберег еще одну новость. Все окрестные жайляу твердили о ней, а отец еще сегодня сказал другим иргизбаям: «Абай лопнет, когда услышит об этом! Он всегда помогал Базаралы — пусть теперь осмелится вступиться! Это сделал я, это моя победа над Абаем, — хочет не хочет, а подчиниться придется!»

И Азимбай, погнав коня вскачь, чтобы не отстать от повозки, наклонился к Абаю.

— Да, я еще забыл вам рассказать: Казансып все требовал поймать и сдать ему на руки Базаралы… Ну вот, четыре новых волостных собрались вместе, составили приговор и вчера отправили Базаралы в город!.. Посадили на верблюда, а чтоб не сбежал, на руки и ноги кандалы надели!

Азимбай рассмеялся, оскалив белые зубы, которые зло сверкнули в сгущающихся сумерках. Абай рывком повернулся к племяннику.

— Вот проклятые! — вырвалось у него. — Не успели до власти добраться, старые повадки вспомнили! Хищники вы, звери с волчьей мордой!

Эти слова сами слетели с языка Абая. Не смех ли Азимбая вызвал их? Мальчик раньше казался Абаю злобной собачонкой, теперь же его широкий хищный рот напоминал ему оскаленную волчью пасть.

Азимбай осадил коня и ехидно закричал вслед удаляющейся повозке: ~ Это тебе на дорогу!..

Он еще раз злорадно засмеялся, оскалив зубы, и повернул домой. Красные огоньки далеких аульных очагов звали к ужину жадного на еду Азимбая. Он подобрал поводья и крепко хлестнув коня камчой, поскакал в аул. Ему было весело: он считал себя победителем и мчался в темноте с торжествующим воплем: «Иргизбай!.. Иргизбай!..»

Когда Абай и Баймагамбет приехали в Байкошкар, аул еще не ложился. Абая особенно обрадовало, что дети не спали. Услышав грохот колес, они выбежали навстречу и со всех сторон окружили Абая. Одни карабкались на козлы, другие на задок повозки. Магаш и Тураш залезли отцу на колени, обнимали его, шумели, кричали, всячески проявляя свою радость. Баймагамбет, зная, что Абай, возвращаясь из поездок, прежде всего навещал мать, повернул коней прямо к юрте Улжан.

Улжан встретила его, стоя около своей большой кровати. Абай вошел в юрту, окруженный детьми, и обнял мать. Она нежно поцеловала сына. Айгерим, Айгыз и другие женщины собрались тут же. Явился и Оспан, широкоплечий, огромный, в легком чапане с бархатным воротником, наброшенном поверх белой рубахи, вместе с ним вошла его молодая жена — миловидная, стройная Еркежан.

Оспан был обрадован возвращением Абая и, стараясь перекричать ребятишек, с громким хохотом делился с братом общей радостью аулов Кунанбая — новостью об избрании трех волостных из их семьи — и шумно требовал суюнши. Абай негромко ответил, взглянув на мать:

— Да будет это к счастью. Видно, вы все в большой радости…

Улжан поняла, что новость не радует сына, и прибавила так же тихо:

— Да будет это к общему счастью, сын мой!.. Оспан продолжал бурно высказывать свои чувства:

— Да продлится эта радость, умноженная на радость! — повторял он, намекая на другую новость — о Базаралы. Абай знал, что упрямый и резкий Оспан ненавидел его не меньше, чем Такежан. На явное злодеяние он не пошел, но ссылка Базаралы вполне утоляла его болезненное самолюбие. Его редкие черные усы торчали, как конский волос, жиденькая, черная, как уголь, бородка топорщилась во все стороны. Всякую приятную новость этот великан встречал необыкновенно бурно. По своей наивности он полагал, что братья всем обязаны Абаю.

— Наши волостные воображают, что начальство избрало их за известность и влияние! А я им говорю: «Побойтесь бога, не зазнавайтесь, откуда вас начальство знает? Вы думаете, Абай зря глотал городскую пыль и пекся там с ранней весны до самой жары? Откуда свалились на вас такой почет и доверие? Это Абаевых рук дело! Он в городе с большим начальством знается, он с ними и договорился!» Сразу им рты заткнул!

Абай усмехнулся.

— Хоть ты и ближе всех ко мне, Оспан, — покачал он головой, — а заблуждаешься так, будто идешь в темную, безлунную ночь… Ну, Шубар еще туда-сюда — он хоть и молод и себя еще не показал, но жигит достойный… Но неужели я стал бы поддерживать Такежана, который, побыв волостным, увеличил свои табуны с восьмидесяти до пятисот голов?.. Или Исхака, который в Кзыл-Молинской волости покрывает тобыктинских воров?.. Я верю, что ты так уважаешь меня, что готов и чин на меня навесить, но к этим выборам я и пальцем не прикоснулся… Не путай людей, брось это говорить!

Слова брата не убедили Оспана.

— Ладно, толкуй, все равно не найдешь ни одного тобыктинца, кто бы поверил этому! — возразил он. — Трое сыновей Кунанбая на одних выборах стали волостными — ни одна собака не поверит, что Абай не вмешался в это дело, если все время жил в городе!.. Лучше не отрицай и принимай благодарность братьев! Я везде буду, говорить, что все это сделал ты… Им почет — как волостным, а тебе еще больший почет — ты их сделал волостными! Враг ты себе, что ли? Сам бог тебе почет посылает, а ты отказываешься!..

Было ясно, что Оспан от своего не отступится, и Абай не стал спорить с ним при матери и детях. Он подозвал Абиша и начал расспрашивать его об ученье.

— Я теперь и по-русски учусь, — похвалился мальчик. — А ты и не знал? Как только с зимовки уехали, начал учиться!

Это была новость, которую семья берегла для Абая.

— Ого! У кого же ты учишься? Кто здесь учит по-русски?

Абай притянул к себе светлолицего миловидного мальчика и поцеловал его в лоб. Улжан объяснила:

— Весной, как ты уехал в город, к нам в Жидебай приехал молодой русский

жигит… Он год служил в городе толмачом, его так и зовут — бала-толмач.[164] Пришел ко мне, говорит, что болен, приехал в аул лечиться кумысом, попросился жить у нас и учить детей по-русски… Я вспомнила, что ты этого хотел, и отправила его в Акшокы… Не только Абиш — и Магаш и Гульбадан учатся у этого бала-толмача Баева…

Абай искренне обрадовался новости. Он спросил Айгерим:

— Ну и как учатся? Так же усердно, как с Кишкене-муллой? Хорошо ли устроили учителя?

Айгерим заговорила — и Абай понял, как соскучился он об этом голосе.

— Дети учатся с большой охотой, даже по дороге на жайляу ни одного дня не пропустили… И сам толмач, видно, к ним привык — то учит, то разговаривает по-русски, а то сядет на стригуна и гоняется с Абишем!. — Айгерим улыбнулась своей нежной улыбкой и добавила — Забавные эти русские муллы!.. Ничуть не важничает, не гордится и детей учит шутя, все с играми… Ребятишек от него не оторвешь…

Абай выслушал ее с большим вниманием и одобрительно кивнул головой. Оспан принялся подтрунивать над невесткой:

— Ладно, ладно, не муллу хвалит, который шариат и божьи заповеди толкует, а какого-то толмача!.. Смотри, Абай, она сама русским грамотеем станет, подладит голос, — и он забавно передразнил Айгерим, сказав несколько ломаных русских слов.

Все расхохотались, а громче всех сам Оспан.

Абай спрашивал детей, как называется по-русски та или другая вещь, и с удовольствием слушал, как они отвечали, перебивая друг друга. Готовность их показывать свои успехи радовала его.

После ужина он пошел с ними к юрте Айгерим. Абиш, Магаш и Гульбадан шли, забравшись под его широкий чапан и прижимаясь к отцу. В душе его было гордое удовлетворение. Он вспомнил своего племянника Азимбая. Как не походили его дети на сына Такежана, уже научившегося причинять людям зло!.. Эти были настоящими детьми, чистыми, белыми, как молоко. Он чувствовал отцовскую гордость, видя, как увлекает детей ученье, как они сами все настойчивее требуют знаний. Обняв Абиша, он сказал ему:

— Светик мой дорогой… Как хорошо, что ты начал учиться по-русски! По-нашему ты учился достаточно, нынче я надолго отдам тебя в русскую школу… Бог даст — ты вырастешь большим ученым человеком… Это—самое мое большое отцовское желание, сынок! Меня так радует, что ты сам, без меня, начал ученье, светик мой!..

Абай остановился, глядя на полный диск луны, высоко поднявшийся в небе. В душе он повторял свою самую заветную мечту: «Не погуби его жизни!.. Все, чего не удалось получить мне, — знание, лучшие человеческие качества — пусть дастся сыну моему… Сделай его счастливым, освети его путь,

создатель!..» Это была горячая безмолвная молитва.

Он прижал к себе любимого сына. Абиш молчал, но видно было, что внимание отца глубоко взволновало мальчика, он даже побледнел.

— Хорошо, ага, хорошо, — тихо сказал он.

Магаш, чуткий и по-детски наблюдательный сразу уловил, что отец и старший брат заключили договор. Он ухватился за пояс отца и вмешался:

— Вот еще, отец, почему только Абиш? И я поеду в город учиться по-русски!

В его голосе слышалась обида. К нему тотчас присоединилась Гульбадан:

— Отец, и я поеду! Учи и меня по-русски! Спроси у Баева, он всегда говорит, что я раньше всех научусь говорить по-русски! Я сама поеду, вот и все, — заявила она.

Абай счастливо улыбался, все еще не входя в юрту. Он погладил по головке Гульбадан, поцеловал надутые от обиды щеки Магаша и пообещал:

— Ладно, осенью и вас обоих повезу с Абишем учиться… Всех повезу, обещаю вам!

У входа его ждала Айгерим, наблюдая за ними с молчаливой улыбкой. Она откинула войлочную дверь и пропустила Абая в юрту.

НА РАСПУТЬЕ

1

На Балкыбекский съезд с Абаем поехали его неизменные товарищи Ербол, Баймагамбет и Шаке. По дороге они остановились в ауле у Ербола, где к ним присоединился Асылбек, отстраненный на недавних выборах от должности волостного, на которую его выдвинул в свое время Абай.

Вместе с Абаем поехал на съезд и его старший сын от Дильды — Акылбай. Нурганым постаралась принарядить своего воспитанника: на голове его была соболья шапка, на плечах—черный бархатный чапан, седло покрыто зеленым сафьяном и украшено серебром. Он выглядел настоящим щеголем-мирзой. Его сопровождали двое слуг. Один из них — Казакпай, черкес с большим горбатым носом и глубоко посаженными серыми глазами, — был гораздо старше

Акылбая, почти ровесник самому Абаю. Нурганым нарочно послала его с юношей, чтоб за тем был надзор взрослого спутника. Второй был одних лет с Акылбаем — молодой жигит Мамырказ, большеглазый и светлолицый великан, острослов и весельчак. Акылбай с ним очень дружил и никогда не расставался.

И сейчас они ехали вместе поодаль от старших. Они все время о чем-то негромко разговаривали или шутливо болтали, порой отставая от всех, и потом мчались мимо старших, обгоняя друг друга и далеко уезжая вперед. Абай, усмехнувшись, сказал Ерболу:

— Кажется, у них крепкая дружба! В жизни человека бывает время, когда друзья никак не могут обойтись один без другого, словно щенята из одной конуры…

И он выразительно взглянул на друга. Тот засмеялся: Абай ясно намекал на светлые дни молодости, проведенные ими вместе. Однако, посмотрев на Акылбая и Мамырказа, Ербол покачал головой:

— Дружба?.. Вряд ли… Я думаю, у них в голове только девушки. Вот по этой дорожке они далеко ушли!

Его слова всех рассмешили. Но Абай, посмотрев вслед юношам, задумчиво сказал:

— Может быть, и так… Мы не знаем, что в душе у Акылбая… Он очень избалован. Как бы не вышел из него себялюбивый мирза!.. Такие сторонятся тех, кого люди считают умными, и любят тех, кто им льстит, кто твердит: «Ты лучше всех!..»— приближают к себе того, кто баюкает их гордость… Может быть, и здесь то же, бог ведает… Ербол не удержался от шутки:

— Чего ты от него хочешь? Признайся лучше, что ты просто придираешься к нему за то, что из-за него мальчишкой в отцы попал!..

Это была смелая шутка, которую мог позволить себе только Ербол по давней своей дружбе с Абаем. Асылбек и Шаке рассмеялись:

— Ну, Ербол взял Акылбая под защиту!

— Значит, прыгай, баловник, и дальше без удил!.. В Балкыбек они приехали к полудню.

На сборе должны были сойтись четыре племени — Тобыкты, Сыбан, Керей и Уак — разбирать тяжбы, споры, взаимные счеты. Для такого съезда нужно искать землю, не принадлежащую кому-либо из спорщиков: воротилы тяжущихся племен всегда стараются воспользоваться близостью своего населения и его численным перевесом. Балкыбек же находился на меже Тобыкты, Сыбана и Керея. Это урочище, изобиловавшее и водой и сочными кормами, пустовало из года в год: если одно племя занимало его, два остальных подымали шум: «Убирайся, это земля общая!» Для съезда нельзя было найти места удобнее.

Балкыбекский съезд должен был собрать население девяти волостей двух уездов — Семипалатинского и Каркаралинского. Четыре из них были заселены

Тобыкты, две — Сыбаном, две — Уаком и одна — Кереем.

Сейчас как никогда иргизбаи могли влиять на дела сбора. Кругом только и говорили о том, что два сына и внук Кунанбая получили три волости в управление. Те из тобыктинцев, кто принадлежал к сильным и богатым аулам и мог сам рассчитывать на должность, были и обижены и встревожены.

— Везет иргизбаям! — говорили они с досадой и завистью. — Когда Кунанбай был ага-султаном, они выше всех стояли. Теперь Кунанбай отошел от мирских дел, отдыхает, словно старый верблюд на золе очага, а власть и счастье всё за ним тянутся… Трое его волчат правят тремя волостями! Даже в четвертой тобыктинской волости, в Мукыре, и то волостным стал его зять Дутбай! Значит, всё Тобыкты теперь в кулаке у иргизбаев! И не только Тобыкты — Исхак крыльями и Сыбан и Уак задевает… И Чингиз и Иртыш у них под властью, вот уж и верно повезло!..

Обо всем этом Ербол рассказал Абаю в пути: он уже побывал на сборе несколько дней тому назад, присматриваясь к настроению народа. Под именем народа на сборе подразумеваются далеко не все: «народ» — это аткаминеры, бии и волостные, люди, облеченные властью и произносящие на сборе речи, а также те, кто их окружает. О них и говорил Ербол.

— Ну и взяточники! — возмущался он. — Вот обжоры! Раньше про таких говорили: «Верблюда живьем проглотит», а теперь не знаешь, что и сказать… Овец— отарами, коней — целыми косяками берут… Да и городские начальники, чтоб их бог покарал, без стеснения хапают: один Исхак двадцать отборных коней Казанцеву отдал за должность для Такежана! Понятно, почему у того Такежан с языка не сходит!.. А теперь новые волостные принялись возмещать свои убытки, кровь у народа сосут…

— Ну, а бии что — неужели и они все тоже взяточники? — спросил Абай.

— Обо всех не скажу, но, конечно, и они себя не обидят. Посуди сам: идет, скажем, тяжба между Кереем и Тобыкты, спорщики сперва обращаются к волостным, а те, передавая дело бию, обиняками дают понять: «Присудишь в пользу того-то — получишь…» А бии—святые, что, ли, чтобы выносить решение по справедливости?.. Ну и делятся…

— Говори прямо — неужели и Жиренше с Уразбаем берут?

— А как же? Тут и спрашивать нечего! Абай покачал головой:

— А я обоих их считал друзьями!.. Сам же их в бии вывел… Может быть, ты преувеличиваешь? Я хотел бы по-прежнему верить в их честность… Если и они взяточники — где же взять честных людей?

Абай замолчал, горько задумавшись. Замолк и Ербол, воздержавшись от дальнейших рассказов об их грязных проделках: говорить плохое про людей, которых другой называет друзьями, он не мог. Абай сам когда-то повторял ему: «Ссора с близкими и друзьями рождается сплетнями и нашептываниями».

Абай и его спутники долго не могли разыскать места, где остановились

родичи. Юрты бесконечными вереницами тянулись по обоим берегам реки, порой в два ряда, образуя правильные улицы. Семи-восьмистворчатые юрты попадались редко, — большинство съехавшихся привезли пяти-шестистворчатые новенькие белые юрты, разукрашенные цветным сукном и вышивками.

В стороне от них лепились кучками маленькие, закопченные: это были кухни и помещения для прислужников. Вдоль рядов юрт стояли на привязи жеребята — на съезд вместе с верховыми и упряжными конями пригнали и дойных кобылиц.

Вскоре Абай и его друзья увидели юрты, поставленные для начальства. Посредине возвышались три восьмистворчатые, соединенные друг с другом, а по обеим сторонам их были установлены в несколько рядов юрты поменьше, тоже соединенные по две, по три. Вокруг суетились волостные, бии, старшины, шабарманы. Здесь же сновали пастухи и просто съехавшийся люд. Пестрота чапанов и камзолов, разнообразие седел и конского убора привлекали внимание Абая. По различному покрою шапок можно было видеть, что тут были представители всех съехавшихся племен и родов: мелькали четырехклинные низенькие шапки тобыктинцев, высокие и узкие тымаки кереев, стеганые шестиклинки сыбанцев и восьмиклинки уаков. Выстроившись в ряд, перед юртами начальства стояли со своими толмачами волостные, их кандидаты и все бии-долынжи[165] Сыбана, Тобыкты, Керея и Уака. Из главной юрты вышли чиновники в белых картузах и в кителях с золотыми пуговицами в сопровождении урядников и стражников.

Глядя на эти приготовления, Ербол рассмеялся:

— Что это они выстроились? Поминанье, что ли, читать собираются?

Шаке тоже удивился:

— И встали отдельно от всех… Отделились от народа, как козы от овец! Зачем это?

Асылбек, сам бывший волостной, объяснил причину такой суматохи:

— Начальства ждут… Ояз приехать должен… Да вон, смотрите, уже и повозки видны!

По ровной зеленой долине к юртам неслись вскачь шесть-семь повозок, звеня колокольчиками. Впереди сломя голову скакала целая толпа шабарманов и стражников, поднимая на весь Балкыбек шум и топот, как на большой байге.

— Какой ояз! Тут целая куча начальства едет! — заметил Абай.

Шаке, который тоже побывал здесь несколько дней назад и знал все новости от своего брата Шубара, нового волостного, подтвердил.

— Говорили, что приедут два ояза нашей области — и наш семипалатинский уездный и каркаралинский… Наверное, это они…

Действительно, две большие повозки отделились от остальных и остановились у юрт. Уездные начальники направились к входу, волостные и

толмачи потянулись за ними, разбившись на две кучки, а старшины и шабарманы поскакали в разных направлениях, не разбирая дороги, ругая каждого встречного и размахивая нагайками.

— От сумасшедшего лучше подальше держаться, — сказал Ербол, тронув коня. — Поедем-ка в сторону, они от одного вида начальства одурели!

Им пришлось долго разыскивать свои юрты. Баймагамбет, Мамырказ и Казакпай метались по сторонам, расспрашивая всех, где стоят юрты сыновей Кунанбая. Баймагамбет первым вернулся к спутникам с сообщением:

— Юрту Такежана нашли!

— У него останавливаться не будем, — коротко ответил Абай.

Потом прискакал Казакпай:

— Ха! Здесь аул Исхака! Остановиться туда будем, Абай? — сказал он, забавно ломая казахские слова: за многие годы он так и не научился хорошо говорить по-казахски.

Абай так же коротко отказался. Ербол пояснил остальным:

— Нынче он — волостной Кзыл-Молинской волости, зачем быть обузой чужому роду?..

Братья-волостные расположили свои юрты в одной линии: следующая стоянка принадлежала внуку Кунанбая Шубару, новому волостному Чингизской волости. Он сам выехал к родным на рыжем иноходце. Это был высокий и широкоплечий жигит с правильными чертами лица, чуть заметно тронутого оспой. Для избрания в волостные ему не хватало двух лет, но иргизбаи записали его двадцатишестилетним и выдвинули на эту должность: несмотря на молодость, он был грамотнее и образованнее других и, проучившись у Габитхана около десяти лет, мог даже получить звание муллы. Не довольствуясь этим, он по примеру Абая выучился по-русски у своего толмача. Решительный, деятельный, смелый, он выделялся среди сверстников и на сборах нередко давал направление спорам и решениям. Старшие родичи поручали ему на выборах и переговоры с русским начальством.

Шубар громко отдал дяде салем и тут же пригласил его:

— Абай-ага, вот наши юрты, зачем вы едете мимо? Останавливайтесь все у нас!

Абай приветливо поздоровался с ним, поздравил с избранием на должность в таком молодом возрасте, но отказался:

— Ты теперь человек должностной, у тебя много хлопот. Вокруг твоей юрты суматохи достаточно — тут и приезжее начальство, и жалобщики, и ходатаи, и, наконец, близкие друзья. А мы привыкли не стеснять себя, рано ложимся, поздно встаем… Нам удобнее будет у Оспана, разреши нам поехать к нему…

Шубару было немного досадно, что Абай отказался от его гостеприимства, но упрашивать он не стал.

— Тогда я хотел бы сказать вам несколько слов, Абай-ага, — задержал он

дядю, пропуская вперед всех остальных. — Сейчас, когда приехал ояз, мы, волостные, вошли вместе с ним в Гостиную юрту. Он сразу спросил: «Приехал ли на съезд Ибрагим Кунанбаевич?» Это нас сильно обрадовало, я первый ответил: «Да, он здесь, придет к вам поздороваться…»

Шубар не мог скрыть своего удовольствия, что благодаря Абаю ему удалось показаться начальству.

— Хорошо, если бы вы зашли к нему, — продолжал он. — Вы знаете, сколько народу сюда понаехало, все втихомолку друг друга подсиживают… Если бы вы пошли к оязу просто поздороваться и показаться ему раньше других, для нас это было бы очень важно…

Абай понял, что приехал Лосовский, и решил зайти к нему, но, конечно, не с той целью, о которой говорил Шубар: он просто был рад встретиться с человеком, с которым был связан добрыми отношениями и взаимным уважением.

— Можешь не упрашивать, я непременно буду у него, — ответил он и направился к юртам Оспана, где его уже ждали спутники.

Здесь собралось множество гостей. Хотя Оспан и не был волостным, он, как хозяин Большого дома Кунанбая, тоже выставил на съезд пять больших юрт. Нынче он приказал зарезать серую кобылицу со звездочкой на лбу, что делали всегда перед каким-нибудь важным событием — перед походом или разбором крупного тяжебного дела — в знак верности и правдивости. На угощение он созвал всех волостных управителей обоих уездов, собравшихся в Балкыбеке.

В большой восьмистворчатой юрте сидел волостной Жумакан, сын одного из влиятельных старейшин Сыбана. От Керея пришел ловкий волостной Тойсары. Здесь же был представитель одного из родов Тобыкты — задорный, самоуверенный волостной Молдабай, здоровенный, разжиревший жигит. Пришли и Такежан, и Исхак, и другие волостные.

Никто не тратил слов попусту. Молчаливо наблюдая друг за другом, каждый старался угадать заранее, кто сумеет нынче добиться у начальства уважения и почета. Внешняя взаимная вежливость прикрывала глубоко скрытые зависть и ненависть. Они говорили обиняками, немногословно, осторожно. Не сегодня-завтра предстоял разбор тяжбы между Сыбаном и Кзыл-Адыром: точнее сказать, это будет спор между волостными Такежаном и Жумаканом. Следующим пойдет дело племен Мотыш и Керей: это также будет схватка волостных—Молдабая и Тойсары. Межплеменного съезда не было уже несколько лет, и поэтому между Тобыкты и Кереем, Кереем и Сыбаном, Сыбаном и Тобыкты дел накопилось множество: и по барымте, и по набегам, и по увозу невест, и по другим жалобам. Скоро бии начнут состязаться в красноречии, стараясь выиграть дело, и каждый из сидящих здесь волостных хорошо помнит об этом и соблюдает осторожность.

Одному Абаю чужды были их опасения и тревоги. Он оживленно начал

расспрашивать Жумакана и Тойсары о тяжбе между Кереем и Сыбаном. Это было крупное дело, давно волновавшее весь округ и до сих пор не решенное. В связи с этой тяжбой обе стороны делали набеги и угоняли друг у друга коней. Тяжба эта была известна под названием «тяжба девушки Салихи». Абая занимало это дело.

Тойсары воздержался от ответа, но Жумакан, злобно взглянув на противника, поддержал разговор:

— Если захотеть, мир восстановить не трудно, дорогой мой Абай. Но как судить народ, когда девчонка — и та не хочет смириться и подчиниться?

Видно было, что Жумакан упрекает всех кереев и что эта тяжба крепко поссорила оба племени. Такой разговор мог вконец испортить настроение гостей, и Абай прекратил расспросы.

Появился кумыс, и все оживились. Кое-кто из гостей заговорил о том, что сейчас самое время послушать песни. Шаке сидел, тихо перебирая струны домбры; Абай взял ее у юноши и протянул акыну Байкокше, приехавшему из Кзыл-Адыра вместе с Такежаном. Здесь акын поселился в юрте Оспана, но бывал всюду, знал все слухи и время от времени делился с Оспаном своими наблюдениями.

— Все они тут взятками объелись, — говорил он, — и волостные, и старшины, и уважаемые наши бии. Слушай, Оспан, если тебе мало того, чем владеешь, — становись волостным! Тогда и с правого и с виноватого будешь драть, и никто тебя судить не посмеет!

Оспан с любопытством слушал новости Байкокше.

— Как ты узнаешь все их дела? — спросил он акына. — Ведь они берут из-под полы, договариваются тайком и получают темной ночью… Знахарь ты, что ли?

Байкокше открыл ему свою уловку.

— Только не говори никому: я просто стараюсь дружить с шабарманами всех волостных, — разве не через их руки проходит все, что дают и берут? Они от меня ничего не скрывают. А от посыльных других управителей они знают все проделки их хозяев и тоже мне рассказывают…

Приняв домбру из рук Абая, Байкокше запел тут же сложенное приветствие собравшимся. Развеселившись от выпитого кумыса, волостные сопровождали его пение шумными одобрительными возгласами:

— Молодец!.. Из всех нынешних акынов — он первый!

— Пой, соловей!.. У него старая школа, сразу видно! Байкокше, хмурый и тощий, пел, даже не подымая век, — видно было, что все эти похвалы не производили на него никакого впечатления и не льстили ему. После первой песни-приветствия он изменил напев, и слова изменились вместе с ним. Теперь он пел о другом: «Ты достиг цели, стал знатным, добился власти. Если ты честный человек — не обижай бедного, не покровительствуй злодею, не

отдавай робкого ему на растерзание. Не обирай в жадности народ, не губи его счастья, не виси у него на шее». Он не назвал ни одного имени, но каждому было ясно, что весь яд этих слов предназначался большинству из сидевших в юрте волостных.

Этой песне ни один из них не выразил одобрения. А самоуверенный и наглый Молдабай просто обиделся.

— Вы не думайте, что этот Байкокше — и вправду кокше,[166] — сердито сказал он. — Он себе на уме — тишком-тишком, а доберется до тебя и мигом очернит твой труд!

— Не лучше ли слушателям придержать язык? — рассмеялся Асылбек. — Акын скажет — на многое свет бросит!

Волостные, недовольные песней, пытаясь перевести разговор на другое, стали громко шутить друг с другом, но Абай снова привлек общее внимание к акыну:

— Тем и ценна песня Байкокше, что это не лесть просителя, не славословие бродяги-нищего, — сказал он. — Это острый глаз всего народа, голос народный, говорящий раньше самого народа.

— При чем тут народ? — вспылил Такежан. — Никакой народ не поручал ему говорить такими словами, горькими, как яд! Это уж его самого бог наградил злобным нравом!

Исхак и Тойсары поддержали его:

— Не путайте его с народом! Его злоба для народа — зараза!

— Чесоточный конь обо все трется!

Абай только усмехнулся.

— А кто без ропота слушает правду? — весело ответил он. — Ваши слова прямо говорят: не лезь с правдой, рассердишь! Где уж нам народ слушать, если один Байкокше нас из себя выводит!

— Байкокше — не народ! — не унимался Такежан.

Но акын, до сих пор молча слушавший спор, тихо перебирая струны домбры, теперь вмешался сам:

— Э-э, нет, волостной мой! Байкокше как раз и есть народ! Другое дело, что вам-то слушать его не по нутру, а Байкокше только повторяет то, что говорит народ…

— Ну, коли так, спой мне в четырех строках, все что говорит народ! — с издевкой сказал Такежан. Остальные подхватили его слова, осыпая акына и Абая колкими насмешками.

Абай, подзадоренный, с улыбкой взглянул на Байкокше.

— Ну, что ж, тянуть нечего, Байеке, я начну, а ты заканчивай! Давай ответим им, что говорит про них народ! И он громко начал:

Густою травой жайляу в низинах покрыт,

На легкое счастье родится иной жигит…

Акын сидел на корточках. Он привстал, насмешливо поднял брови и быстро закончил в лад Абаю:

Поставят за ловкость его волостным —

Он только взятки берет, пока не слетит!

— Вот что говорит народ! — добавил он и, взглянув на Такежана, громко расхохотался. Острое слово вызвало вокруг невольное шумное одобрение. Такежан вспыхнул и отвернулся.

— Болтун! — буркнул он. — Чтоб тебе язык припалило… Абай покатывался со смеху. Потом, поднявшись с места, он сказал на прощанье:

— Молдабай, видно, ошибся: для волостных это не Байкокше, а Жайкокше!.. [167] —и он вышел из юрты с тем же громким смехом.

Волостные насупились. Так жирные гуси и дрофы, заметив реющего над ними сокола, затихают и прижимаются к земле. Оспан, увидев, что шутка акына обидела большинство его гостей, недовольно сказал Байкокше:

— Ну, хватит! Помолчи! — И начал сам разливать по чашкам кумыс.

Шубару тоже стало неловко и за дядю и за приглашенных им аткаминеров.

— Чтоб у тебя язык высох, Байкокше! Разве прямодушие в том, чтобы издеваться над другими? Где ты научился забывать приличия и, поев угощение, плевать в посуду? — сказал он.

Слова племянника разбередили обиду Оспана. Выпуклые глаза его сверкнули злыми огоньками, и он уставился на акына.

— Я собрал сюда родичей на жертвенную трапезу, чтоб они отдохнули и повеселились. Коли ты такой умный, должен помнить пословицу: «Доброе слово — половина счастья». Я думал, ты скажешь нам всем добрые слова, а ты вон как! Не заводи у меня в юрте ссор и пререканий!

После такой отповеди хозяина Байкокше, Шаке и Баймагамбет не стали задерживаться и поодиночке вышли из юрты.

Вечером Абай пришел повидаться с Лосовским. Увидев старого знакомого, Лосовский, загоревший на степном солнце, встал с места и пошел ему навстречу. Они крепко пожали друг другу руки. После приветствий и расспросов о здоровье Лосовский усадил гостя рядом с собой и стал рассказывать ему о деле, по которому производил дознание сам. На столе лежала пухлая пачка бумаг — прошение, которое составляют несколько родов и которое на канцелярском языке называется «приговором». Лосовский рассказал Абаю, что все многочисленные подписи и печати на этих бумагах оказались поддельными.

— Вы кстати пришли, Ибрагим Кунанбаевич, помогите-ка мне, — сказал он. — Это прошение одного молодого киргиза Мукурской волости, Жанатаева Кокпая, на имя господина губернатора. Дело идет о том самом урочище Балкыбек, где мы с вами находимся. Приговор составлен управителями шести волостей, заинтересованных в этом урочище. Вот смотрите, что тут написано: «Мы все, волостные управители, согласились в том, что означенное урочище Балкыбек издавна принадлежит Жанатаеву Кокпаю, приписанному к Мукурской волости, что оно должно быть возвращено подателю прошения, и в дальнейшем просим считать урочище Балкыбек принадлежащим Жанатаеву Кокпаю…» И везде — целая куча печатей. Кажется, все правильно? Я стал проверять. Не говоря уж о других волостных — даже сам мукурский волостной заявил, что к такому приговору печати не прикладывал. Все это оказалось грубой подделкой. Вот посмотрите…

Лосовский начал перелистывать бумаги и указывать на печати, приложенные в нескольких местах.

— Проситель утверждает, что все это подлинные печати шести волостных. А на самом деле — это одна и та же печать аульного старшины, она и приложена-то нарочно так, чтобы размазалась… Ведь это крупный подлог! И сделал его совсем молодой жигит!.. Вот говорят, наши канцелярии не знакомы со степной жизнью, совершают массу ошибок, доходящих до глупости… А кто в этом виноват? Причиной таких ошибок и бывают подобные дела, — то дадут ложную присягу, то пришлют ложный донос, то скрывают грабеж вот такими приговорами… Возмутительно!.. Я вызвал этого просителя-мошенника, он сейчас придет, а пока — будьте моим гостем…

Лосовский повернулся к седоусому стражнику, стоявшему у дверей, и приказал:

— Вели подать сюда чаю!

Волостные управители, недавно сидевшие за угощением в юрте Оспана, теперь толпились у дверей тройной юрты начальства. В те редкие минуты, когда двери открывались, некоторые пытались заглянуть в юрту и тогда видели, что Абай сидит рядом с оязом и рассматривает бумаги. Одни радовались, другие завидовали, третьи ревновали, — словом, у дверей не смолкали,

шушуканье и шепот. А когда стражник, выйдя из юрты, крикнул: «Подавай чай!» — удивлению волостных не было конца.

— Это Абаю чай?..

— Ояз его как гостя потчует!..

— Значит, он его друг! — зашептались они. Их мысли тотчас устремились к тому, какое влияние окажет это событие на предстоящий разбор тяжеб.

— Ну, теперь уж ясно, что на этом съезде все будет так, как пожелает Тобыкты! Разве Кунанбаевы дети дадут кому-нибудь пикнуть, когда Абай уже обработал ояза! — злобно рассуждали они.

Жумакан, Тойсары и Молдабай никак не могли забыть слов Байкокше. Еще час назад, возвращаясь с жертвенной трапезы у Оспана, они говорили о дерзком акыне.

— Акын не от себя так дерзил, — заметил Жумакан, — это Абай говорил его устами. Что это с ним?

— Да, это Абаевы выдумки, — подтвердил Тойсары. — Заставил своего акына облаять нас, добился своего и ушел. Чего ему нужно?

— Нынче сыновья Кунанбая в силе… Замышляет он что или угрожает? — рассуждал Молдабай. — Добился же он того, что в волостные сразу три волчонка Кунанбая выскочили, зиму и лето в городе сидел, якшался с властями… Видно, спесь и чванство его обуяли!

Теперь, узнав, что Абай один пьет чай у ояза, эти же волостные прикусили языки. С одной стороны, они завидовали Абаю, а с другой — каждый, стараясь не показать этого остальным, подумывал: «Уж если жить с кем в ладу, так это с Абаем… Надо во что бы то ни стало склонить его на свою сторону…»

Беседа Абая с Лосовским за чаем не касалась ни степных дел, ни волостных, ни самого съезда. Абай сразу же сказал Лосовскому:

— Я приехал сюда просто посмотреть на съезд. У меня только одно дело тут — хочу заступиться за бедняков жатаков, которых ограбили богатые аулы. Если мне не удастся самому помочь им, пожалуй, придется действовать в качестве ходатая, но пока говорить об этом не будем… К вам я пришел лишь приветствовать вас и узнать о городских новостях, хотел спросить и про общих друзей — Евгения Петровича и Акбаса Андреевича…

— Ну и великолепно, Ибрагим Кунанбаевич, — обрадовался Лосовский. — Я вам очень рад, ведь вы — единственный мой собеседник здесь, в степи!

Он охотно стал рассказывать Абаю о друзьях, о городе, о петербургских газетах и журналах, о последних полученных книгах. Беседу их прервал жирный, краснолицый урядник. Он вытянулся в дверях и доложил:

— Ваше высокоблагородие, Кокпай Жанатаев прибыл. Прикажите ввести?

— Приведи, — приказал Лосовский.

Урядник ввел из передней юрты широкоплечего, высокого жигита, почти юношу. Абаю понравился и его открытый лоб и сосредоточенный взгляд

больших серых глаз, прямой нос с небольшой горбинкой. Но особенно его поразил звучный гортанный голос жигита, когда тот первый поздоровался по-русски:

— Здравствуйте, господин начандык!

Потом он взглянул на Абая, и глаза его заблестели.

— Ассалаумагалайкум, Абай-ага! — приветствовал он его, почтительно приложив правую руку к сердцу.

За Кокпаем вошел толмач и стал рядом с жигитом. Лосовский начал допрос. Абай услышал, что Кокпаю двадцать лет, что он — шакирд, много лет обучающийся в медресе хазрета Камали, что он происходит из рода Кокше и стоит в родстве с волостным Мукурской волости Дутбаем.

— Жанатаев, — обратился к нему Лосовский, — сегодня все шесть волостных, даже твой родственник Дутбай, засвидетельствовали, что эти документы подложные… Не будем говорить о русских законах. Ты учишься в мусульманском медресе, скажи — какое наказание должен получить по шариату лжец? Ведь ты еще очень молод. Если с этих лет вступил на путь обмана и преступлений, что тебя ждет дальше? Я крепко на тебя сержусь. Ведь ты — грамотный и отлично понимаешь, что сделал. За преступление, совершенное по незнанию, можно снять половину вины, но за сознательное следует карать вдвойне. Что ты на это скажешь?

Толмач быстро переводил слова Лосовского. Когда он замолчал, Кокпай откашлялся, будто собираясь петь, прочищая горло протяжным гортанным звуком, и Абай вспомнил, что несколько лет назад ему говорили о Кокпае, который славился как отличный певец.

Кокпай, покашливая, переводил взгляд с Абая на Досовского, потом опять на Абая. Вспыхнув сперва от смущения, он вдруг побледнел и начал говорить:

— Таксыр, моя вина тяжка, я согласен… Но почему я сделал это? Выслушайте меня. Тогда ваше решение я приму не как муку, а как справедливую кару…

— Почему же ты поступил так?

— От нужды. От нищеты. Я родом из слабого Кокше. С одной стороны у нас сосед — Мамай, сильное племя, большими землями владеет, с другой — Тобыкты, тоже богатое. Все лучшие жайляу принадлежат им. А мы тут как иголки понатыканы. Нас около сотни хозяйств, а теснимся мы все по одной речке Баканас, она не длиннее языка. Балкыбек у нас под боком, он ближе к нам, чем к Сыбану, Керею или Тобыкты. Долина не принадлежит никому, из года в год пустуют такие широкие луга, такая большая река… И так близко от нас — не дальше ягнячьего перегона… Вот я и решился помочь своим родичам. Приговор подложный, ни один волостной к нему печати не прикладывал. Они прикладывают ее за взятку, или для сильной родни, или для своей выгоды. Согласия их я бы не получил, а на взятку у нас нет имущества. Я сам составил

этот приговор. Но не для себя, а для нищих хозяйств. Теперь я рассказал всю правду. Готов выслушать любое ваше решение, принять любую кару. Накажете — вот вам моя голова, простите — буду ваш всем сердцем.

Юноша говорил высоким приятным голосом, Абай внимательно следил за тем, чтобы толмач не исказил слов жигита. Его привлекали и открытое лицо, и смелость Кокпая, и то достоинство, с которым он говорил. Он готов был ходатайствовать за него, если Лосовский решит его наказать.

Лосовскому часто приходилось иметь дело с просителями. Опытным взглядом он сразу определял их характер и повадки. Этот жигит-преступник ему понравился. Лосовский понял также и чувства Абая и мягко заговорил, обращаясь к нему.

— Я вижу, Ибрагим Кунанбаевич, Жанатаев может не только подлогами заниматься, но и быть собственным адвокатом… Как вы думаете — его действительно толкнули на преступление те причины, о которых он говорил?

Абай был очень доволен, что Лосовский сам обратился к нему: вмешиваться во время официального разбора дела ему было бы неудобно. Теперь он с улыбкой посмотрел на Лосовского.

— Приговор у Жанатаева подложный, но объяснения его правдивы, в этом я уверен и даже берусь подтвердить, господин начальник…

— Но разве следовало ему идти на преступление, вместо того чтобы добиться правды прямым путем?

— Конечно, не следовало.

— Ну, а если он с таких молодых лет приучился нарушать закон, чем это кончится?

— Тогда его ждет печальное будущее. Если полученными им знаниями он будет пользоваться для преступлений, он будет еще опаснее, чем преступник-невежда…

— Совершенно верно, Ибрагим Кунанбаевич. Значит, нужно оградить народ от вреда, приносимого таким жигитом, то есть наказать его…

— Да, наказать нужно… И я думаю, он уже несет это наказание здесь, перед вами… Ведь наказывают не одной тюрьмой, наказание совести тяжелей всего. Я уверен, что он вполне сознает свою вину… Мне кажется, если заглянуть к нему в нутро, оно все горит от стыда…

Лосовский засмеялся и взглянул на Кокпая, который действительно стоял весь красный.

— Вы так уверенно говорите о его стыде и совести, будто сами готовы дать за него поручительство, — сказал он. — Так ли я понял вас, Ибрагим Кунанбаевич?

Кокпай вдруг обратился по-казахски к Абаю:

— Настоящие мужи редко клянутся, Абай-ага… Я всегда стремился быть настоящим мужем и слов на ветер не бросаю… Хоть я и плохо знаю русский

язык, но все же понял ваш разговор. Да, я сгораю со стыда, заступитесь за меня! Клянусь, что до самой смерти моей я буду с вами всей моей правдой и привязанностью.

Абай пристально глядел в лицо Кокпаю. Горячая речь жигита его тронула. Когда тот замолчал, Абай быстро повернулся к Лосовскому.

— Господин начальник, — сказал он, — жигит дал мне клятвенное обещание. Вы сказали, что я готов дать поручительство. Я иду на это. Ручаюсь за его совесть. Простите Жанатаева. Я отвечу за него, если он обманет.

Лосовский заговорил твердо и значительно, серьезно глядя на Кокпая:

— Слушай, Жанатаев. Если ты не свернешь с правильного пути, из тебя может выйти хороший, полезный человек. Ты был на краю пропасти. Помни об этом. Старайся быть настоящим жигитом, поступай по советам и указаниям Ибрагима Кунанбаевича. Я отдаю тебя ему на поруки. За тебя поручился человек большой совести и чести. Если у тебя самого есть совесть, пусть этот твой проступок будет последним!

И Лосовский разорвал подложный приговор и дело по расследованию подлога Кокпая.

Выйдя из юрты, Кокпай поразил всех волостных, которые все еще не расходились.

— Абай меня из пламени вытащил — из когтей смерти вырвал! Бесценный мой Абай-ага, я до самой могилы не забуду этого!..

Абай до поздней ночи засиделся с Лосовским, беседуя с ним. Выйдя от него, он увидел дожидавшегося его Кокпая и вместе с ним направился в юрту Оспана. Волостные тоже разошлись, продолжая удивляться тому влиянию, которое Абай имел на ояза, и почету, каким он пользовался.

— Вырвать из тюрьмы человека, на которого власти зубы точили! Значит, для Абая нет ничего невозможного! — судачили они.

Всю ночь завистники «кроили шубу по тени», рассуждая о причинах такой дружбы Абая с оязом. Множество предположений и догадок кружилось над юртами Балкыбека.

На следующий день сбора страсть межродового соперничества охватила всех собравшихся на съезд аткаминеров, старейшин, биев, волостных управителей, старшин и даже посыльных и слуг.

— Кто будет главным бием сбора?

— Два уезда сошлись, оба ояза приехали… Кого-то выберут?

— Говорят, оязы поручили старейшинам наметить, самим.

— Жирный кусок получит племя, из которого будет главный бий! Для кого взойдет счастливая звезда—для Тобыкты, Сыбана, Керея или для Уака?

— Тобыкты — старший брат, не минет их эта честь! — рассуждали люди.

Абай и его товарищи, разместившиеся в юртах Оспана, встали поздно: они были не жалобщиками, не ходатаями, а просто любопытными зрителями,

ожидающими, чем кончится сбор. Они выбрались только к полудню. К друзьям Абая присоединились теперь Байкокше и Кокпай.

Глядя на волостных, в волнении толпившихся у юрт начальства, Абай вспомнил, как они заглядывали вчера вечером в дверь юрты Лосовского. Острые слова насмешки, со вчерашнего дня вертевшиеся у него на языке, мгновенно ожили в его памяти, слагаясь в стихи. Он показал кнутом на толпу и громко начал:

Скачет посыльный — загнал коня,

Злится, орет, помрет как раз…

«Съезд будет, съезд! Приедет ояз!

Юрты готовьте — слушать меня!

Скот пригоните — таков приказ!»

Байкокше, Ербол и Кокпай первые залились смехом, и их поддержали остальные. Байкокше, хлестнув коня, поравнялся с Абаем:

— Дальше, дальше! Хорошо получается, скажи, что волостной говорит!..

Абай продолжал:

Я за народ стараться привык:

Мой без запинки мелет язык!

Если бог даст — тебя, мой народ.

Он и сегодня не подведет!

Прост мой народ, пойдет на посул,

Всех обнадежив, я всех обманул!

Дело состряпать долго ли мне

Вместе с оязом наедине?

После скажу: Я спину не гнул!»

И он засмеялся.

Кокпай не знал, что Абай сочиняет стихи. Он очень любил песни и легко складывал сам колкие шутки в стихах. С воодушевлением подхватив насмешку Абая, он продолжил ее своим звучным высоким голосом:

Тайны мои я прячу, как клад!

То, что я взял, не верну назад!

Тот, кто мне враг, трепещи меня —

Злоба моя страшнее огня!

Абай с удивлением повернулся к Кокпаю и воскликнул с улыбкой:

— Ого, Кокпай, я и не знал, что ты не только певец, но и акын! Это хорошо!

Кокпай, весело рассмеявшись, ответил:

— Я тоже только что узнал, что и вы акын, Абай-ага!

Спутники окружили Абая, с нетерпением требуя продолжения стихов, но тут они поравнялись с юртами начальства, и кто-то громко окликнул их. Всадники обернулись: неподалеку от них сидели на траве кружком несколько человек, посредине стоял Такежан, размахивая шапкой. Они повернули коней, подъехали и отдали салем. Такежан не садился.

— Абай, Асылбек, отдайте коней жигитам и останьтесь с нами, — сказал он. — У нас тут совет старейшин Тобыкты, и мы хотим знать ваше мнение по одному делу.

Абай молча спешился, друзья подхватили поводья его коня и отъехали в сторону. Абай сел в круг рядом с Асылбеком и поздоровался отдельно с каждым из сидящих. Здесь были одни тобыктинцы: волостные Молдабай, Дутбай, оба сына Кунанбая и его внук Шубар, аткаминеры — старейшины во

главе с Байгулаком, самым старшим по возрасту, сметливый и ловкий Абралы, сверстник Абая, Жиренше от Котибака, Кунту от Бокенши, косой Уразбай от Есболата. Возле Молдабая сидели также несколько плотных рыжих жигитов из Мотыша, были здесь родичи и из Мамая и из Мирзы-Бедея.

Абай с удивлением заметил и двух аткаминеров Жигитека — Абдильду и Бейсемби. Приткнувшись к краю, хмурые и равнодушные, они будто и не прислушивались к разговорам остальных. Казалось, что предательский поступок иргизбаев, выдавших властям Базаралы, отшатнул жигитеков от всего Тобыкты.

Еще вчера Абай хотел расспросить Лосовского о судьбе Базаралы и просить его помочь, но отложил разговор, решив, что лучше прийти с ходатаями от рода Жигитек. Он предполагал взять с собой Бейсемби, которого считал сильным и настойчивым вожаком Жигитека, и Абдильду, изворотливого и ловкого. Но теперь они поразили его. «Что это они сидят с таким сонным видом среди своих заядлых врагов, которые отправили в ссылку их главную опору?» — с досадой подумал он и, с упреком взглянув на них, отвернулся.

— Добрый конь показывает себя не в начале скачки, а в конце ее, сородичи, — начал Байгулак. — Сейчас для нас неплохие времена, звезда Тобыкты взошла высоко, нынче мы и к луне руку протянуть можем… Но впереди еще большая честь: выбрать из Тобыкты главного бия Балкыбекского съезда. Остальные три племени уступили эту честь нам, как потомкам старшего брата из всех четырех наших предков: «По отцу и сын родится», — говорит пословица. Спасибо Такежану, Исхаку и Шубару, нашим волостным: это они вырвали высокую честь на совещании управителей. Теперь они собрали нас, тобыктинцев, чтобы посоветоваться. Завтра же новый главный бий начнет решать дела. Поэтому сейчас мы должны согласиться между собой и дружно назвать человека, имеющего почет в народе и достойного. Нужно добиться у обоих оязов его утверждения. Не будем же ронять имя нашего племени! Назовем одного из наших добрых людей, благословим его и скажем: «Аминь!..» Тебя, Абай, мы позвали к нам потому, что начальство тебя слушает. Ты пойдешь к оязу сообщить ему имя нашего избранника… Ну, сородичи, говорите, кого мы назовем?

Наступило долгое молчание. Абай знал, что каждый сидящий соблюдает свои выгоды и зорко следит за другими, осторожно выжидая. Ему стало смешно смотреть на них. Молчание затянулось. Тогда он заговорил сам — решительно и насмешливо:

— Ну что же, сородичи? Если вам досталась такая честь и вы и вправду рады ей, — чего ж вы мешкаете и молчите? Почему не называете ваших избранников? Или и звезда Тобыкты и наше нерушимое единство — только пустые слова? Неужели эти слова были у вас только на губах, а в горле застряли другие? Почему же вы не называете никого?

Он стоял, упершись рукой в бок. Голова его была откинута назад, брови сошлись, он медленно обводил взглядом собравшихся и говорил уверенно, спокойно и значительно. Все по-прежнему молчали. Они и сами признавали, что Абай на полет стрелы опередил их в красноречии, и в образовании, и в знании законов. Они завидовали ему, но тягаться с ним не решались: как только речь Абая приобретала насмешливый оттенок, все эти аткаминеры предпочитали притаиться и молчать, не решаясь открывать Абаю свои мысли. И сейчас они замкнулись, как бы обдумывая: «Где тут уловка? В чем тут хитрость? Куда он гнет, чего хочет?»

Абай решил воспользоваться их молчанием и попробовал сделать то, что внезапно пришло ему в голову.

— Ну ладно, сородичи, что было раньше — прошло, — начал он. — Жизнь требует, чтобы мы говорили правду. Должность главного бия — не только почет, но и испытание. Вы говорили о чести Тобыкты. Об этом думают все, кто собрался здесь. Но народ, стоящий за вами, думает не только об этом. Главный бий будет решать не ваши личные споры. К нему поступят крупные дела — о потерпевших от произвола, об оскорблениях, о пересмотре исков, разбиравшихся обычным путем. К нему потекут слезы слабых, угнетаемых сильными, жалобы вдов и сирот, просьбы вернуть то, что нажито трудом. Я не говорю уже о распрях между целыми племенами — между Сыбаном и Тобыкты, между Тобыкты и Кереем, Уаком и Тобыкты — мало разве их? И я хотел бы, чтобы вы поняли, какая великая ответственность лежит на главном бие съезда. Им может быть лишь тот, кто болеет за народ, кто говорит: «Мой закон—честность и справедливость.» Вы никого не назвали. Тогда назову я. Откровенность не преступление, скажу то, что думаю. Может быть, вы считаете достойным этой чести кого-нибудь из иргизбаев, а точнее — из детей Кунанбая, уже достигших вершин почета. Хотя я и сам принадлежу к Иргизбаю, я не назову ни одного из них. Я назову вам человека, который не заставит людей проклинать наш Тобыкты, а, наоборот, возвеличит его славу своей справедливостью и честностью. И перед начальством буду поддерживать только этого человека.

Все подняли головы и насторожились. Абай продолжал:

— Я называю Асылбека. И всем вам советую предложить его как главного бия. Он не волостной и не бий. Он и не добивался этих должностей. Но народ будет доволен и его справедливостью и его заботами о нем. Если хотите послушать меня — держитесь за Асылбека!

Абай замолчал. Все бокенши, сородичи Асылбека, — Жиренше, Уразбай, Абралы и сообразительный Кунту шумно поддержали Абая:

— Хорошо сказано! Пусть так и будет! Сказано правильно, говорить больше не о чем! Спасибо за справедливость, Абай, — одобряли они.

После этого решить вопрос было уже не трудно. Все, кто начал говорить,

поддерживали Абая. Молчали одни иргизбаи: соглашаться с Абаем они не могли, а спорить— не решались.

Тут же Абаю было поручено сообщить Лосовскому, что главным бием Балкыбекского съезда намечен Асылбек.

Лосовский, как обычно, охотно согласился, услышав, что Абай положительно отзывается об избраннике, и Асылбек был утвержден.

Закончив это дело, Абай заговорил с Лосовским о Базаралы. Он начал так, как будто это была его собственная жалоба, его личное душевное горе. Но Лосовский с первых же слов Абая прервал его.

— Я ждал, что вы заговорите со мной о деле Кауменова… Еще в городе ко мне от вашего имени приходил Андреев и спрашивал о нем… К сожалению, я ничего уже не могу сделать: это дело ушло из нашего управления. Оно приобщено к делу беглого разбойника Оралбая. И так как тот совершал нападения и в Семипалатинской и в Семиреченской областях, то оно разбиралось в канцелярии степного генерал-губернатора в Омске. Решение состоялось давно, исполнение приговора задерживалось только из-за поимки преступника, считавшегося в бегах. Когда вы выезжали сюда, Кауменова уже отправили по этапу в Омск. Его судьба решена: пятнадцать лет каторги… Вот все, что я могу вам сообщить.

Абая глубоко поразила такая развязка дела Базаралы. Он даже не попрощался с Лосовским и вышел из юрты, потрясенный тяжелой вестью.

При мысли о Такежане, Исхаке и других родичах, выдавших Базаралы властям и состряпавших ложный приговор, душа его леденела. Выйдя из юрты, он не знал, куда идти. Перед его глазами так и стоял Базаралы, кипучий, пламенный, прямой… Кандалы сковывали его руки и ноги, он был в руках палачей, не понимающих его языка, не могущих оценить его прекрасной души… Слезы потекли из глаз Абая. Опустив голову, он спешил уйти от гудевшей кругом толпы. Ему казалось, что у него все тело избито…

Конский топот вывел его из тяжелого оцепенения: это догоняли его Жиренше и Кунту, посланные остальными узнать, чем кончились переговоры с начальством. Абай с усилием овладел собой.

— Асыл-ага утвержден, да будет это к счастью… Передай ему и всем остальным… — сказал он.

— Благодарны твоей справедливости, да будет светел твой путь! — ответил Жиренше и, прищурившись, весело рассмеялся. — Ты оказался «не сыном отца, а сыном народа», по твоим же словам!.. Большая слава о тебе по степи пойдет! Хоть ты не сам стал главным бием, но по своему выбору поставил бия на сборе четырех племен!.. А твои иргизбаи пускай обижаются… И как они не поймут, кем бы они были, если бы не ты? Кунту радуется за Асылбека, а я за тебя!

И он пожал Абаю руку. Но тот, хотя и улыбнулся в ответ, не мог все же

избавиться от гнетущей тоски.

— Эх, Жиренше, что мне в этом… Иду от ояза, как стрелой пронзенный… Базаралы! Где сейчас мой Базаралы? Я-то надеялся помочь ему через Лосовского!.. А услышал страшную весть: Базаралы отправлен по этапу в Омск, оттуда пойдет на каторгу. На пятнадцать лет… Все мои надежды рухнули…

Жиренше побледнел и затих, новость потрясла и его.

Абай пошел дальше, в отчаянии думая о том, что помощи искать негде, если Лосовский сделать ничего не может… Не может — или не хочет? Абай только сейчас понял, как сухо и холодно заговорил Лосовский, едва прозвучало имя Базаралы, как поторопился сразу отказать в заступничестве… Он вдруг вспомнил слова Михайлова: «Попробуйте испытать его в более серьезных делах, тут-то его истинная сущность и покажет себя!» Как прав оказался его мудрый друг!.. А ведь Лосовский мог бы сделать многое — хотя бы опровергнуть ложный приговор волостных, подтвердить, что Базаралы не имеет никакого отношения к Оралбаю… Но, видно, то, что можно сделать для безобидного Кокпая, нельзя сделать для Базаралы: в нем Лосовский чует непримиримого врага властей и чиновников… И в этом прав Евгений Петрович!.. Как знает он жизнь и людей…

Радостные голоса вырвали Абая из его горького раздумья:

— Да это же Абай!.. Ну да, он сам, так и есть!..

— Свет мой Абай, дорогой, наконец-то нашли тебя! Абай оглянулся: к нему, задыхаясь, спешили его друзья — жатаки Даркембай и Дандибай. Отыскав Абая среди такой огромной толпы, старики не знали, как выразить свою радость.

Абай решил немедленно же взяться за их дело. Расспрашивая о делах в Ералы, он повел их с собой.

Даркембай был в новом чапане, хорошо сидевшем на его широких плечах, в новой шапке. Дандибай приехал в домотканом бешмете из верблюжьей шерсти и в старой мерлушковой шапке. Морщинистый, худой, с резко выступавшими над редкой бородкой скулами, он был старше Даркембая, спина его начала уже горбиться, он с трудом поспевал за спутниками, стараясь не отставать. У него болела поясница, и он шел, заложив за спину плеть. Рядом с Даркембаем он казался его старым конюхом.

Абай привел его к кучке иргизбаев, сидевших в стороне от толпы. В середине восседал румяный Майбасар, поглаживая бороду, вокруг него разместились Такежан, Исхак, Шубар, Акберды и другие аткаминеры. Они только что говорили об Абае, резко осуждая и его обращение к родичам при избрании главного бия, и выбор не кого-либо из иргизбаев, а какого-то бокенши Асылбека. Больше всех злился Майбасар.

Уверенный в том, что начальство стоит за родных Кунанбая, он лелеял в

душе большие надежды. Никому не признаваясь, он страстно мечтал, что главным бием сбора выберут именно его. «Наша молодежь стала волостными, главного бия намечают из Тобыкты — кому же им быть, как не мне, старшему среди всех иргизбаев, брату Кунанбая?..» Он уже подсчитывал будущие доходы: «На этом съезде много запутанных крупных дел… к тому, кто будет решать их, все кинутся… Тут большим доходом пахнет! Если бог поможет, косяки и отары домой пригоню…» — мечтал он. И вдруг Такежан и Исхак собрали их тут и объявили: «Великое счастье само к нам привалило, а Абай отдал его в чужой род! Все он, все из-за него!»

Майбасар весь почернел от злости, у него даже нос заострился.

— Как он смеет гнать счастье, когда оно само приходит! — возмутился он. — Уж если он так уважает Асылбека, пусть сам одаряет его своими стадами! Сумасшедший! Отдать чужим должность, которую четыре племени уступили нам из уважения к нашему хаджи! Уж если отдавать, так не даром, надо и себе что-нибудь выговорить, а он, как дервиш какой-то, счастье оттолкнул, честь наших предков на ветер пустил!..

Остальные иргизбаи вполне разделяли негодование Майбасара.

— И чего это он так горячо твердил нам о помощи бедным, немощным, сиротам, несчастным? — со злой усмешкой обратился Такежан к Шубару. — Так говорят только на похоронах, собирая пожертвования неимущим! Кого же это мы хороним на Балкыбекском съезде? Верно Майекен сказал — дервиш какой-то!

Шубар ценил и уважал Абая, понимая, что тот занимает особое место среди всей его родни. Но за глаза, особенно в присутствии Такежана и Майбасара, Шубар и сам подсмеивался над дядей. Так и сейчас, подергивая по привычке кончиком своего длинного прямого носа, он насмешливо фыркнул и язвительно сказал:

— Какой же он дервиш, Такежан-ага? Он настоящий мулла-проповедник. Разве не прочел он нам длинного нравоучения совсем так, как каждый день читают нам имамы-наставники? Почему же нам не познать лишний раз пути божии и на Былкыбекском съезде?

И он презрительно рассмеялся, за ним и другие: все оценили едкость насмешки, зная, как недолюбливает сам Абай пустые и бесцельные проповеди духовенства. Но как раз в эту минуту они заметили Абая, подходившего к ним с двумя стариками, и при виде его, как всегда, притихли. Только Такежан не замолчал. Он узнал старика Дандибая и понял, в чем дело.

— Ну, получите еще, если вам мало! — зло сказал он. — Абай бросил начальство и опять тащит сюда своих бедняков!.. Боже милостивый!.. Совсем добродетельным стал наш Абай. Может быть, после убийства царя он за покаяние принялся? Как бы в Мекку не отправился! Вернется с чалмой на голове и с молитвой на устах настоящим наставником-эффенди, вот уж будет

тогда поучать нас!..

Шубар и Майбасар, отвернувшись, засмеялись.

Абай и старики подошли к сидевшим. Оба жатака отдали салем и спросили о благополучии аулов. Иргизбаи поздоровались с ними недружелюбно, — все знали, что это жатаки, неустанно добивающиеся уплаты за потраву посева, и поняли, что Абай привел их сюда не зря.

Абай ни с кем не поздоровался, хотя некоторых из сидевших в кругу сегодня еще не видел. Заложив руки назад и держа в зубах папиросу, он молча стоял, обводя родичей холодным испытующим взглядом. Наконец он вынул изо рта папиросу и заговорил, будто вычитывая имена по списку:

— Такежан, Исхак и Шубар, вы, трое волостных, пойдемте со мной. Надо поговорить. — И, сделав рукой с дымившейся в ней папиросой знак старикам двигаться вперед, пошел за ними, не оборачиваясь.

Шубар вскочил первым, Такежан и Исхак, грузно покачнувшись, поднялись с мест.

Отойдя поодаль и усадив братьев и племянника на траве, Абай сразу приступил к делу:

— Эти старики, Даркембай и Дандибай, приехали сюда от сорока хозяйств жатаков. Я сам был у них в Коп-Жатаке, сказал, чтобы отправили на съезд этих двоих стариков, и обещал поддерживать их иск. Вот я привел их, а вы, трое волостных управителей, договоритесь с ними. Помните, что, если они вынесут дело на съезд, ответчиками будете вы.

И Абай твердо посмотрел на волостных. Такежан, который слушал, бросая на него злые взгляды, сразу перешел на брань:

— Э-э, как это мы ответчики? Разве набег на их аул делали Такежан или Исхак? Чего ты привел их и на меня сваливаешь? Пугать ими хочешь? Да и верно, они настоящие пугала!

У Абая вся кровь охлынула от лица. Он нахмурился и резко прикрикнул на брата:

— Не кичись, Такежан, ходи, да оглядывайся! Правда, у стариков вид неприглядный, зато им зло не сродни! А тебе, видно, не сродни должность волостного!..

— Так что ж, по-твоему, я их бедняками сделал?

— Да, ты!

— Нашел в чем обвинять!

— Да, ты! Если не сам, то твой дед Оскенбай, его сыновья Кунанбай и Майбасар! Эти старики в их дом дровами вошли, а золой вышли, вы всю силу у них отняли, а потом выкинули! В чем они виноваты? Это же родичи, которые горе мыкают!

Абай сдвинул брови, весь кипя негодованием. Слова об отточенном топоре невольно вспомнились ему, — видно, только с ним в руках и можно беднякам

добиться правды… Он вспылил и почти закричал на Такежана:

— Не виляй, говори прямо! Здесь же на съезде отдайте им все, что полагается! Если не хотите позора перед всеми четырьмя племенами, кончайте дело здесь! А нет — я сам, встав с этого места, начну!.. Ну, быстрее! Отвечайте!

Такежан невольно призадумался. Угроза Абая означала: «Отсюда пойду прямо к оязу», и это его испугало. Он притих. Молчал и Исхак, не смея поднять на Абая глаза. Увидев Даркембая, он сразу вспомнил о семи конях, которых не дал вернуть старикам, и неприятная мысль, что Абай сейчас заговорит об этом, не выходила из его головы. К Абаю он относился, как к высокому начальству — то ли из уважения, то ли из страха перед ним. Он взглянул на Шубара — тому было легче других разговаривать с Абаем, он умел заставлять дядю выслушивать свои доводы.

Шубар миролюбиво обратился к Даркембаю:

— Ну, сородичи, в чем ваш иск, чего вы требуете? Начало разговору положено, продолжайте теперь сами!

Слова у Даркембая цепочкой вязались, он начал уверенно и смело:

— Мы, светики мои, тяжеб и споров не любим, да и сил у нас на то не хватит. Лишнего не собираемся клянчить через Абая. Мы приехали просить от всего народа о нашем же добре, нажитом трудом. У нас два дела. Во-первых, прошлой осенью табуны Такежана, Майбасара, да и твои, дорогой мой Шубар, потравили у нас пять земель посева, уже совсем созревшего… Четыре дня топтали, ни зернышка мы не собрали. А нынче снова пять полей вытоптали по раннему всходу так, что одна черная земля осталась, снова зерно прахом пошло. Завыть нас заставили, родичи мои!.. Это первое дело. Во-вторых, в твоей Кзыл-Молинской волости, Исхак, есть аул прожженных воров Ахимбет. Они у нас свели семь коней, мы уличили воров, но тут пошли письма, какие-то тайные дела, уж не буду вспоминать… Так или иначе, не только наших семи коней — семи козлят мы не получили, вернулись со слезами. Вот все, волостные мои. Кому нам жаловаться, как не Абаю, и где жаловаться, как не на таком сборе?

Слушая старика, Такежан так и кипел, но, помня крепкий отпор Абая, не посмел накинуться на жатака и только злобно косился на него. Все молчали. Шубар быстро сообразил, что, если дело дойдет до начальства или биев, им, троим волостным, чести не прибавится и остановить Абая будет невозможно. Он заговорил со стариками, как давнишний друг, добродушно посмеиваясь:

— Ну, видно, вас, стариков, нынче ничем не возьмешь! Не совру, если скажу, что на всем съезде нет никого, кто решился бы так напирать на сыновей Кунанбая! Хотел бы я за вас заступиться, — вы же из моей волости! — да вы и без меня сильны… У вас крепкий защитник — Абай-ага: с одного бока у него главный бий, с другого — сам ояз. До любого из них ваши слова доберутся

скорей наших, и такой гром грянет, что не скоро очнешься! Повезло вам, старики!.. Ну что ж, спорить нам не о чем, давайте договариваться, на чем помиримся. О вашем требовании я слышал еще в прошлом году. В конце концов не нужно и бога забывать…

И Шубар взглянул на Исхака и Такежана.

— Что же, братья, не будем присваивать себе их трудов… Пусть Абай-ага выскажет решение по этому делу — и конец разговору! — заключил он.

Абай оценил и сообразительность Шубара, сумевшего так повернуть дело, и ловкость его языка. «Этот куда толковее Такежана и Исхака, — подумал он. — Моложе, а умнее их. Далеко пойдет… Только— куда?..»

Дандибай не вмешивался в беседу, но отлично понял, что Шубар хотел и уговорить Такежана, и удовлетворить жалобщиков, и успокоить Абая, и сохранить честь сыновей Кунанбая. Он одобрительно кивал головой и наконец сказал откашлявшись:

— Ну, коли разговор к концу идет, и скот к хозяину придет! Мы довольны твоим решением. Хоть ты и молод, пусть будет так, как ты сказал!

— Пусть Абай-ага выносит решение, мы согласны, — присоединился Исхак.

Такежан не мог уже спорить и отвиливать, когда двое остальных сдались: это было и невыгодно и опасно. «Абай слишком близок к начальству, каждую минуту может замахнуться, не надо восстанавливать его против себя», — думал он и молча ждал решения брата.

Абай вынес решение тут же. За две потравы жатаки должны были получить по два коня-пятилетка с земли— всего двадцать голов. За семь украденных коней, учитывал приплод, им следовало получить десять, «полноценных»[168] голов.

Старики не ожидали этого. От радости они онемели и только молились в душе, чтобы Абаю удалось довести дело до конца. Волостных такое решение, конечно, обрадовать не могло, но, возмущаясь внутренне, они хранили молчание: оспаривать приговор, который они сами поручили вынести, было бы нарушением обычая, и Абай не допустил бы этого.

Сам Абай отлично видел, что решение его кажется братьям тяжелым, но и виду не подал, что заметил это. Он снова заговорил с прежней твердостью:

— Решение я вынес, это одно. Теперь нужно, чтобы скот действительно попал в руки этих несчастных. Я ведь вижу, что сейчас вы только прикидываетесь, будто согласны с моим решением, а кончится съезд, вы хвост на спину загнете и начнете увиливать. Так вот, чтоб этого не случилось — сдайте старикам присужденные мной тридцать голов тут же, в течение трех дней. Все вы волостные, у вас полно шабарманов, отправьте их сейчас же, при мне, куда следует, за конями. На сдачу я приду сам — через три дня — и только тогда скажу, что дело кончено. Все вам понятно?

— Поняли, поняли… — через силу сказали волостные, будто Абай вытянул

эти слова у них изо рта. Абай встал закурил папиросу и ушел вместе со стариками…

Через три дня кони-пятилетки были пригнаны. Даркембай и Дандибай приняли все тридцать голов в присутствии Абая. Старики были вне себя от радости.

— Это больше всякого возмещения за потраву и угон! Даже больше калыма! Целый кун, что за убийство платят!

— Разве жатаки получали когда-нибудь столько? И мечтать о таком возмещении не смели!.. Родной наш Абай, будь он счастлив!

Но тут же у них родилось сомнение. Первым заговорил осторожный и осмотрительный Дандибай. Часто моргая своими маленькими глазками и посмеиваясь, он обратился к Абаю:

— Коней-то ты отдать заставил, Абаижан, а вот как бы они обратно к волостным не убежали?.. У меня на душе новая тревога… Моя напуганная голова думает — не догнать нам коней до места… Путь длинный, степь безлюдная, два старика такое богатство гонят — долго ли его отнять, а потом свалить все на воров?

Даркембай был сильнее и смелее друга и готов был рисковать.

— Э, брось, Дандибай! Чего робеть? Кругом люди живут, найдем попутчиков и погоним скот!

Но Абай и сам думал, как бы вернее доставить табун к жатакам и обрадовать бедный люд. Он подозвал Баймагамбета:

— Поедешь с этими стариками. Отгоните коней до нашего аула в Байкошкаре, отдохните там денька два. Передай мой салем Айгерим: пусть получше примет и угостит этих аксакалов. И пусть даст тебе револьвер — он в сундуке. Потом подбери себе хорошего коня и помоги им доставить табун в целости в Ералы… Ну, старики, передайте поклон вашему народу! Отправляйтесь с богом! — напутствовал он своих седых друзей.

Дандибай как будто чуял, что замышляет Такежан: как раз в это время тот вызвал к себе двоих известных всему Ералы конокрадов — Серикбая и Турсуна. Высокие, мускулистые, крепкие, как бревна, оба они были под стать друг другу—неукротимые и дерзкие, отчаянные воры. Такежан не только покрывал их дела, но порой и сам подсказывал им, кого ограбить. Он же выделил им землю для зимовки неподалеку от Ералы. Оба были у него в руках, как на длинном аркане.

Когда Даркембай и Дандибай двинулись со своим большим табуном, он указал на них Турсуну и, поощрительно ругнувшись, приказал:

— Нужно отомстить проклятым жатакам. Смотрите, собаки, обделаете дело не чисто — отступлюсь от вас. На первой краже попадетесь!

Турсун был готов действовать хоть сейчас же.

— Только развяжи мне руки — в гроб вгоню отца этих жатаков!..

Серикбай, наоборот, предложил не торопиться: один раз эти же старики чуть его не поймали. Расчетливый и хитрый, он успокоил Такежана: зимой, в буран, все будет сделано — скот исчезнет, будто его вьюгой в небо унесло. Такежан одобрил его предложение.

Теперь, когда жалоба жатаков была удовлетворена, Абай мог уехать, других дел у него на съезде не было. Но он решил остаться на несколько дней, чтобы послушать тяжебные споры. В эти дни начался разбор одной из самых больших и запутанных тяжеб. Это дело называлось «тяжбой девицы Салихи» и тянулось между племенами Керей и Сыбан с прошлого года, все обрастая взаимными обидами, Салиха, девушка из племени Керей, была засватана в племя Сыбан. В прошлом году жених ее умер. Калым за нее был уже полностью выплачен, приданое и новая юрта невесты тоже были готовы, и племя Сыбан решило взять ее за старшего брата умершего жениха — шестидесятилетнего старика, имевшего двух жен. Но Салиха оказалась упорной и мужественной: она написала письмо и устно, через своих близких, обратилась к старейшинам Керея: «Не роняйте своей чести, сородичи. Я до сих пор покорно выполняла вашу волю. Не губите мою юность, ведь я же твоя дочь, племя мое, благословенный Керей! Не отдавайте меня третьей женой человеку, который старше моего отца!»

Мольба девушки быстро облетела народ. Вся молодежь Керея вмешалась в дело. «Нельзя допустить такого унижения нашей девушки», — говорили они. Старый акын сложил печальную песню «Жалоба девушки Салихи сородичам», эту песню стали распевать все: чабан у овечьей отары, табунщик на коне, молодежь на свадьбах и вечеринках. Юноша одного из родов Керея полюбил несчастную девушку, стал ее избранником и другом сердца. Общее сочувствие к ней повлияло и на старейшин: решили девушку в обиду не давать, калым племени Сыбан вернуть, сватовство и сговор расторгнуть.

Когда весть об этом пришла в Сыбан, начались толки. «Керей силу свою показывают, унижают наше достоинство, смеются над предками! Это оскорбление всего Сыбана! В землю нашу честь втоптать хотят!»—раздували обиду злые языки. Переговоры не привели ни к чему, началась межродовая вражда.

Едва успел сойти снег и показалась зеленая трава, между Сыбаном и Кереем началась барымта: то те, то другие угоняли друг у друга скот, дело не раз доходило до настоящих схваток, до пятидесяти жигитов обеих сторон лежали тяжело раненными и избитыми. И сейчас, в дни съезда, ни Сыбан, ни Керей не знали покоя: табуны ежедневно подвергались нападениям, барымтачи не давали дохнуть, налетая с пиками и уводя косяки отборных коней. Дело шло к новому большому побоищу.

Из всех тяжеб, представленных на разбор каркаралинскому и семипалатинскому уездным начальникам, эта была самой крупной и срочной,

потому что дело разрасталось и осложнялось с каждым днем. Число причастных к нему людей было огромным. Каждая из сторон подала своему начальнику жалобу, посыпались доносы, давалась ложная присяга.

Тобыктинцы и из этой вражды извлекли выгоды, именно поэтому они так легко получили право на выдвижение главного бия съезда, при иных обстоятельствах Сыбан и Керей крепко потягались бы за эту должность. Как бы ни хвастались Такежан, Майбасар и их приспешники: «Мы получили ее, как старшие, это знак уважения к хаджи Кунанбаю!»—все это было пустым бахвальством. Иргизбаи кичились, как всегда, на самом же деле невозможно было поручать решение такого дела ставленнику одного из враждующих племен.

Однако и Асылбек тоже оказался неподходящим. Керей не доверяли решения этой тяжбы главному бию: «Он близок племени Сыбан, больше того — жена у него из того самого аула, который угоняет наших коней», — заявили они. Асылбек и сам отказался решать это дело, не желая навлекать на себя недовольство. Это вызвало негодование его ближайших родичей. «Ты должен был взять это дело, — упрекали его Кунту, Дутбай и другие, — крупный доход сам тебе в руки шел, а ты заупрямился!»

На имя обоих уездных начальников поступали прошения, чтобы они сами вынесли решение по этому делу, но те, конечно, отказались. И как раз в эти самые дни по Балкыбеку пошли слухи о необыкновенной справедливости и честности Абая. Два его поступка особенно поражали всех.

— Уж как цеплялись сыновья Кунанбая за должность главного бия, а Абая так и не склонили! — толковали повсюду. — У своих должность отнял, отдал Асылбеку, а ведь тот ему совсем дальний родич! Сказал, что Асылбек справедлив, народу, мол, пользу принесет!..

О втором необыкновенном поступке Абая заговорили в последние дни.

— Сам в ходатаи за жатаков пошел! Заставил своих же братьев, всесильных волостных, тридцать голов скота беднякам отдать! Кто бы ни шел к нему с жалобой и спором — он справедлив ко всем. И родство ему руки не путает, наоборот— на родных главную тяжесть накладывает!.. Он о нуждах всего народа думает, заботится о нем…

Так говорил простой люд. Бии же и волостные Сыбана и Керея хорошо понимали другое.

— Абая все семипалатинское начальство знает. В степь приедут, сразу его зовут, советов его слушаются, — рассуждали они. — Кто теперь сильнее его? Кунанбай уже не Кунанбай, — если раньше его имя гремело, теперь он просто живой дух предка. А его сыновья, хоть и выскочили в волостные, ничем не выделяются. Что такое Такежан или Исхак? Обыкновенные жигиты в красивых шубах, живут только славой отца… Если есть сейчас в Тобыкты сильный человек — так это Абай. Хоть должности никакой не имеет, а умнее и

мужественнее всех этих волостных!

Последние дни в юртах Керея и Сыбана только и толковали об этом. Жумакан пошел к Лосовскому, Тойсары — к своему оязу, каркаралинскому уездному начальнику.

Абай проводил эти дни на разборах, присматриваясь к биям. Слушая их споры и словесные состязания, он со скрытой насмешкой приходил к заключению, что Жиренше и Уразбай оказались, пожалуй, самыми красноречивыми. В один из таких дней Абая вызвали в юрту ояза.

У Лосовского сидели каркаралинский уездный начальник и главный бий Асылбек. Разговор был непродолжительным. Асылбек передал Абаю просьбу и пожелание Керея и Сыбана: они предлагали ему быть бием-посредником между ними в тяжбе Салихи и прекратить их тяжелую ссору. Убедившись сперва, что это не внушено начальством, а действительно исходит от самих спорщиков, Абай дал согласие.

Начальники, довольные выбором бия, тут же утвердили Абая. Каркаралинский уездный начальник Синицын передал ему два прошения, поступившие от самой девушки. Абай прочел их — они были написаны арабскими буквами — и ни словом не обмолвился о своем впечатлении, не сказав также никому об их содержании.

В тот же день он вызвал к себе по три представителя каждой из тяжущихся сторон. От Сыбана пришел волостной Жумакан, один из старейшин — Барак-Тюре и Танирберды. От Керея — тоже волостной Тойсары и двое аткаминеров. Абай вышел к ним вместе с Жиренше и Уразбаем.

— Итак, сородичи, — обратился он к ним, — насколько я понял, спор перешел в тяжелую вражду. Вы скот угоняете друг у друга, дошли до набегов и схваток. Сначала речь шла только о калыме за невесту, теперь сумма тяжбы превышает калым за нескольких невест, она стала больше куна за убийство. Поэтому человек, которому надо вынести решение по вашему делу, должен многое проверить и знать все подробности. Одному на это не хватит ни времени, ни сил. Где-то я прочел слова: «Один ум — хорошо, а два — еще лучше». Если вы согласитесь, я возьму себе биев-помощников. Они перед вами: Жиренше и Уразбай, оба из Тобыкты, которому вы доверили разбирательство…

И Жумакан и Тойсары, даже не совещаясь со своими товарищами, тотчас ответили за всех:

— Пусть будет так, как ты сказал!

— Твоя воля — кого брать в помощники… Барак-Тюре, высокий и цветущий, добавил, поглаживая свою черную с проседью бороду:

— Мы, сыбанцы, выбрали именно тебя, полагаясь на твою справедливость. Бери хоть двоих, хоть пятерых, нам они не нужны, — последнего решающего слова мы ждем только от тебя самого. Как говорит поговорка: «Биев много, а

приговор один: всем спорам Майкы-бий[169] господин…»

Жумакан в знак согласия молча кивнул головой. Тойсары сказал почти то же, но несколько иначе:

— Не нам учить тебя, самому ли тебе лететь, или на чужих крыльях. Дело мы передали тебе, от тебя и ждем решения.

Абай молча поклонился представителям обеих сторон и на этом закончил первый разговор. Третейский судья прежде всего должен быть немногословен и сдержан. Слово— предатель мысли. У обеих сторон немало кляузников, старающихся угадать ход разбирательства и вовремя использовать это. Чтобы слова его не были истолкованы как приязнь к одной из сторон в ущерб другой, Абай ничего не ответил.

Когда он остался наедине со своими помощниками, Жиренше со свойственной ему наблюдательностью отметил:

— Утверждать, конечно, пока еще рано, но похоже, что кереи поручают тебе дело с открытой душой, а у Барака что-то на уме!..

Но и на это Абай ничего не ответил, хотя сам думал так же. Он поручил им провести расследование на месте: Жиренше должен был ехать в Керей, Уразбай — в Сыбан.

— Много и добра расхищенно и жигитов побито при каждой барымте и набеге. И расспрашивать и узнавать вам придется много. Но видимость и истина — вещи разные. Враждующие смешивают правду с ложью, преувеличивают, недоговаривают. Будьте сдержанны, не открывайте своего мнения, не говорите: «Это хорошо, это плохо, тут правда, а там ложь». Храните свои мысли при себе. А в особенности не высказывайте благосклонности и не давайте никаких обещаний, это свяжет вас. А если вы будете связаны, и на меня ляжет обязательство. И еще прошу вас: не входите ни в какие сделки, не продавайтесь! Это — мое основное требование к вам обоим. Сородичи избрали меня, надеясь на мою честность, так будьте же мне друзьями, будьте крыльями моими—такими крыльями, которые знают только пути справедливости и правды!

Так началось следствие по делу девушки Салихи. Оно затянулось на целую неделю. Расследование шло в трех местах одновременно — и в Сыбане, и в Керее, и здесь, на съезде, где собралось много и жалобщиков и свидетелей обеих сторон.

Сам Абай допрашивал только «хозяев слова» — главного истца и главного ответчика: старика жениха Сабатара из Сыбана и отца невесты — Калдыбая из Керея. Он точно выяснил убытки, понесенные сторонами от расторжении свадебного сговора: калым, подарки, приданое.

Умерший жених Салихи был любимым сыном богача Байгебека, и калым за невесту был уплачен большой, один из самых крупных в округе. Когда жених умер и Салихе предстояло выйти замуж за старика, Калдыбай, заявил, что его

дочери приходится теперь идти за неровню и терпеть унижение, взял с самого Сабатара еще половину калыма. Абай подробно расспросил об этом и с точностью выяснил размер дополнительного калыма.

Но, со своей стороны, и Калдыбай понес значительные расходы. Желая отпустить дочь к мужу соответственно ее достоинству, он увеличил заготовленное приданое. Кроме новой восьмистворчатой юрты с убранством, все, что давалось девушке, имело счет двадцать пять. Приданое начиналось с купленного у кокандского каравана за сто овец шелкового ковра. Далее шли — двадцать пять меховых шуб, двадцать пять вышитых кошм, двадцать пять сундуков. Платье, белье, скатерти, посуда, подушки, одеяла — всего было по двадцать пять штук. Даже убранство высокой кровати с костяной резьбой, сделанное из шелковых тканей, соответствовало той же цифре.

Но все это добро находилось еще в Керее, калым же был получен полностью, — а невеста отказалась.

Сыбанцам больше всего было жаль огромного количества скота, отданного в счет калыма, и поэтому-то сразу же после разрыва сватовства они начали угонять у кереев коней. В свою очередь и те прибегли к барымте, чтобы пополнить косяки, которые они считали уже своими. Каждая сторона старалась захватить не меньше угнанного. Набег сменялся набегом. Силачи-жигиты, ловкие в набегах, воры, барымтачи не знали покоя. Всякий, кто был способен поднять соил, ввязывался в борьбу. Вокруг неудачного сватовства затянулся крепкий узел вражды.

Абай поочередно вызвал всех причастных с свадебному сговору людей как из Керея, так и из Сыбана, беседовал с ними, входя во все подробности. Наконец он захотел знать, что говорит сама девушка, из-за которой вспыхнула вся тяжба.

Салиха, приехавшая в Балкыбек, чтобы собственноручно вручить жалобу начальнику Каркаралинского уезда, осталась на съезде. Абай послал за ней Ербола и Кокпая и вызвал ее вместе с ближайшими родственниками в юрту Оспана, где жил сам.

К нему вошла высокая смуглая девушка в собольей шапочке, в шелковом чапане. Большие серебряные серьги дрожали в ее ушах. Шла она медленно, но смело. Девушку сопровождали ее отец Калдыбай и несколько кереев. Юрта ломилась от толпы, — всем хотелось взглянуть на знаменитую девушку Салиху. Но после того как Оспан угостил всех кумысом, Абай дал знак тобыктинцам, и те стали расходиться. Поняв, что и они здесь лишние, Калдыбай тотчас поднялся и увел всех кереев.

Абай остался с Салихой наедине и только теперь внимательно вгляделся в ее лицо, смуглое, безупречно чистое. Широко поставленные вдумчивые глаза девушки горели каким-то особенным черным пламенем. Длинные густые ресницы подчеркивали их бездонную тлубину. Прямая линия носа нарушалась

едва заметной горбинкой. Уголки ее тонких губ были слегка опущены, в едва наметившихся складках таилось большое, глубокое горе.

Абай уже выработал в себе привычку говорить мало и слушать других. Сейчас он остался верен себе. Некоторое время он молча смотрел в лицо девушке и лишь потом начал задавать вопросы.

— Салиха, милая, видимся мы впервые, а я уже знаю о вас так же много, как любой ваш родственник, — начал он.

Щеки Салихи слегка порозовели, потом вспыхнули. Она улыбнулась — и сразу же ее лицо, казавшееся таким печальным, когда она молчала, стало другим: белые зубы засверкали, вся она точно сияла, ясная и прямодушная. В ней чувствовалась страстная душа, веселая и жизнелюбивая.

— Ваше прошение я прочитал, — продолжал Абай. — Подтверждаете ли вы все, что там написано? Ответьте сперва на это.

Салиха нахмурилась и насторожилась, в темных глазах мелькнула досада.

— Абай-мирза, — с каким-то недоумением сказала она, — я писала не для того, чтобы отказываться от своих слов. Я ничего не передумала.

Она снова улыбнулась, и кровь опять прилила к ее лицу.

— Я хочу спросить вот о чем: когда вы пишете «не пойду замуж», вы говорите только о старом Сабатаре? Иль все сыбанцы вам не по душе? А если бы в Сыбане нашелся достойный вас жигит, что ответили бы вы тогда?

— Если бы они сразу заговорили не о старике, а о моей ровне — молодом жигите, разве я посмела бы сопротивляться? Разве мой аул и мой род допустил бы это?

— А вы передали сородичам вашего жениха, чтобы они назвали вам кого-либо из достойных вас жигитов?

— Да, передавала. Но они ответили: «Калым за нее уже уплачен, Сабатар имеет на нее права, установленные богом, пусть не выдумывает глупостей!»

Абай помолчал и, понизив голос, заговорил более мягко и душевно:

— Скажи мне еще об одном, милая девушка. Это уже не тайна, об этом все знают… Родня твоего жениха говорит: «Она сама и не отказалась бы, если бы ее не подговорил один из жигитов-кереев. Девушка стала упрямиться, только сойдясь с ним. Керей вдвойне повинны перед нашими предками: и калым забрали и девичью честь нарушили». Так говорят они. А что скажешь ты? Когда ты сошлась с этим жигитом — до того, как отказала Сабатару, или после?

Девушка и на этот вопрос ответила тотчас же, хотя стыд волной прошел по ее лицу — оно сперва сильно побледнело, а потом мгновенно вспыхнуло. Подвески серег сильно задрожали.

— Пусть это будет моей правдой, как вера моя, Абай-мирза… Когда сыбанцы ответили, что никого, кроме старика, мне не назовут в женихи, я решила уйти с кем угодно, лишь бы спасти свою голову… Тогда-то и появился

этот жигит… А раньше — никто из кереев, никто из живущих на белом свете ко мне и подойти не смел! Когда был жив нареченный жених, я считала Сыбан желанным домом! — горячо сказала она и, приложив к глазам вышитый платок, заплакала. Потом, подняв на Абая покрасневшие от слез горькой обиды глаза, она стала ждать новых вопросов.

— Я все спросил, — сказал Абай, не спуская с нее взгляда.

Лицо ее опять изменилось. Казалось, она была удивлена, что разговор закончился так быстро, — не так бывало с ее сородичами. В вопросах Абая она почувствовала жалость к себе, и это придало ей решимости. Печально и почти гневно сдвинув брови, она заговорила:

— Никто меня не подговаривал. Горькая, ядовитая мысль явилась сама. Я стала думать: «Неужели мне стать третьей женой костлявого старика Сабатара?..» Думы были так мучительны, что я перестала чувствовать себя живой, повисла где-то между жизнью и смертью… Хотите знать правду души моей? Каждый день я гляжу в темные воды Балкыбека, как у себя в ауле глядела в воды Баканаса… Гляжу и думаю, что на дне их найдется место для моего тела… Пусть лучше речные волны ласкают его, чем старый Сабатар… Вот моя правда…

Вдруг побледнев, Абай в сильном волнении поднял голову. Салиха встала и направилась к двери, а он сидел как застывший, погруженный в свои мысли, лишь молча кивнув ей головой. Глазам его ясно представилось, как эта статная и высокая девушка тонет в реке. Тихие темные воды расступились с жалобным всплеском, и юное тело опускается на дно… Тонкие брови, сведенные в последний миг, так и застыли… Маленькие руки сами протягиваются к смерти… Мысли и видения теснились в душе Абая, и размеренные слова сами сложились в строки:

… — Пусть тело мое целует не старый муж, а волна!—

Сказала — и в темные воды со скал метнулась она…

Ербол, Кокпай и Шаке удивились, что девушка вышла так скоро. Войдя в юрту, Ербол с упреком обратился к Абаю:

— Что же ты так быстро ее отпустил? Точно она в канцелярию начальника заходила…

— Хоть бы пообедать оставили! — присоединился Шаке.

— Не нужно. Пусть идет, — ответил Абай и, придвинув бумагу, начал

записывать строки, звучавшие в нем. Он не хотел объяснять друзьям, почему он не задержал девушку. Если бы он долго разговаривал с ней, сыбанцы, цепляющиеся за любой повод, сочли бы это склонностью к кереям. Могли бы и утверждать, что Абай учил ее, как отвечать на вопросы начальства.

Следствие продолжалось еще три дня. Жиренше и Уразбай, взяв с собой каждый по пяти человек, поехали в кочевья Сыбана и Керея, расположенные недалеко от Балкыбека. Они вернулись с подробными сведениями.

Настал день вынесения бийского приговора. Убытки, потери и взаимные претензии сторон были выяснены, запутанный узел этой сложной тяжбы находился в руках Абая, но и до сих пор никто не знал, к какому решению он пришел.

Абай велел собраться к юртам начальства всем кереям и сыбанам, имеющим отношение к тяжбе. Старшины и шабарманы поскакали по всему Балкыбеку с громкими криками:

— Тяжба девушки Салихи! Спор Керея с Сыбаном! Сегодня разбор дела! Сегодня будет решение!

К невысокому холмику начал собираться народ. Пришли и начальники в кителях с блестящими пуговицами, сопровождаемые своими толмачами, стражниками и урядниками, и стали отдельной кучкой. Сборище имело торжественный вид.

Когда Абай пошел к холмику, Жиренше и Уразбай задержали его и отвели в сторону. Заговорил Жиренше.

— Абай, в твоих руках оба конца вожжей. Наступил час испытания и для наших родов и для тебя. А ты даже нам с Уразбаем не сказал, какое вынесешь решение, таишь в себе. Мы просим — поделись с нами. Кто у тебя виновный, кто победитель?

Абай, слегка прищурившись, посмотрел на друзей и засмеялся.

— А кто по-вашему? — сказал он, будто испытывая их. — Скажите сами, которую же из сторон поддержать?

Оба молчали. Он добавил, посмеиваясь:

— Что у тебя в горле застряло, Жиренше? Говори, о чем хотел!

Жиренше, не сводя глаз с Абая и стараясь говорить как можно спокойнее и тверже, начал многозначительной поговоркой:

— При виде золота и ангел с пути собьется… Обычай предков — закон для потомков. Сыбан понял это. Барак-Тюре и другие старейшины передают тебе через нас с Уразбаем салем: «Пусть присудит дочь Керея Сабатару, обещаем сорок лучших коней, отберем из всех табунов Сыбана…» Вот это мы и хотели сказать тебе…

Абай почувствовал к Жиренше такое отвращение, будто у того вместо слов изо рта текли нечистоты. Он резко махнул рукой, точно говоря: «Довольно, хватит!»—но тут же овладел собой и рассмеялся. Эта быстрая перемена не

ускользнула от Жиренше, привыкшего улавливать малейшие оттенки настроения людей. Надежда, покинувшая было его, вспыхнула в нем опять.

Абай, глядя на своих помощников, продолжал смеяться.

— Ну, Уразбай, а ты? Тоже так советуешь? Тоже говоришь: «Нужно взять, принесем Керей в жертву Сыбану?»

Уразбай отлично знал, как смотрит на такие дела Абай, о все же решился настаивать.

— Да, я тоже советую так, я согласен с Жиренше, — добавил он. — О чем тут говорить? Нет начальника, который не берет, нет бия, который не кормился бы делом. Не с нас началось, не нами и кончится. Я не в Мекку на поломничество приехал, а на Балкыбекском съезде!

— Ну что ж, значит так? — спросил Абай, все еще не выдавая себя ни лицом, ни голосом.

Жиренше и Уразбай уже совсем осмелели:

— Да, вот так мы и решили!

— Сделай, как просит Сыбан!

Абай не мог дальше сохранять хладнокровие, что-то сдавило ему горло, и он резко крикнул:

— Хватит! Набрехались, псы!.. — и добавил крепкое слово.

Оба они были старше его по возрасту, и раньше он никогда не позволял себе выбранить их, разве только в шутку. Сорвав первый гнев, он продолжал, весь кипя возмущением:

— И вас я взял в помощь себе, вас просил быть моими крыльями!.. Неужели вся ваша работа только и приучила вас обжираться дерьмом? Если б я и мечтал об этом, не проще ли было мне выбрать Такежана? Пусть вам совесть позволяет подменить справедливость подлостью, пусть для вас и Керей и Сыбан безразличны, — для меня они оба — мой народ! А вы захотели меня жертвой своего брюха сделать? Перед этим съездом, перед всем казахским народом опозорить? Лучше бы вы просто убили меня! До чего додумались!.. Люди доверились чести вашего рода, духу ваших предков, — а вы двое из-под савана этих предков руку за взяткой тянете? Прочь от меня! Он быстро пошел от них.

Навстречу ему уже бежали задыхаясь Такежан и Исхак.

— Начальники, начальники пришли, тебя ждут, Абай, где ты? — наперебой кричали они.

Абай неторопливо прошел через толпу и поднялся на зеленый холмик. Он приветствовал обоих оязов и отдал салем биям-спорщикам сторон — Барак-Тюре и Тойсары.

Барак сидел с уверенным и спокойным видом. Свой ловкий ход он обдумал давно, еще тогда, когда Абай заявил, что хочет взять к себе в помощники и Жиренше и Уразбая. Поэтому он и сказал тогда Абаю: «Бери кого хочешь, но решение выноси только сам». При этом у него был свой расчет: «Пусть теперь

керей сунутся со взяткой Абаю, он их сразу возненавидит. А я с ним и говорит не буду, подкуплю этих двоих, а уж они сумеют повести следствие так, чтобы подсказать Абаю решение…» Так думал хитрый аткаминер, отлично зная повадки Жиренше: при разборе одного дела тот охотно принял от него взятку. И теперь, убежденный, что Жиренше и Уразбай сумели все сделать, он насмешливо поглядывал на Тойсары.

Абай открыл суд, дав высказаться биям-спорщикам. И Барак-Тюре и Тойсары повторили уже известные всем противоречивые жалобы. Обе стороны закончили свои речи словами: «Поручаем наше дело богу, а после него — тебе. Решай справедливо. Духу ваших предков даем последнее слово».

И только тогда заговорил Абай.

Он был очень возбужден и взволнован. Бледный, нахмуренный, он сидел, поджав под себя ноги и упираясь в бедро рукой с зажатой в ней шапкой. На его широком открытом лбу и на крупном прямом носу блестели мелкие капельки пота. Но голос его звучал громко, уверенно и свободно, речь текла плавно и спокойно.

— Народ мой, собравшийся здесь, сородичи мои, Керей и Сыбан! Вы поставили меня между собою, чтобы я нашел исток вашего раздора и вернул вам мир… Вы доверили мне ваше дело, сказав: «Будь швом разорванному, заплатой лопнувшему». Я хочу предупредить вас, что, решая ваше дело, я думал о нуждах и чаяниях всего народа, а не отдельных людей. А думая о народе, я прежде думаю о его молодом поколении. Тяжбы из-за невесты, проклятые тяжбы, ведутся у казахов испокон веков. Но времена меняются и законы стареют, открылись новые пути борьбы с такими тяжбами, пожирающими наш мир, дробящими наше единство, позорящими нашу честь… Вот, родные, с этими мыслями я и подходил к вашему делу, и решение мое вызвано только ими. Итак, первое решение — о девушке Салихе. Я не знаю, с какой меркой подходили к такому делу наши предки, на чем они основывали свои приговоры. Но я знаю, что новое поколение подходит к ним с иными мыслями. Оно не хочет жить в горе и печали с самых юных своих дней. Новые времена устанавливают и новые обычаи. Те отцы народа, которые не желают считаться с волей нового поколения, будут не излечивать раны, а бередить их.

Девушка Салиха уже показала однажды свою покорность воле родителей: без сопротивления она стала невестой того, кого они избрали для нее. Но судьба лишила ее нареченного, равного ей и по возрасту и по достоинствам. Нет двух смертей для одной жизни, таков закон всевышнего. А требование Сабатара— кровавая узда второй смерти, накинутая на голову девушки. Я знаю, что говорю: да, не простая узда, а кровавая, — девушка готова умереть, только бы избавиться от того, что ее ждет! Народ мой, у всех вас есть сестры и дочери!.. Несправедливо дважды продавать девушку. Один раз она уже отдала свободу своему роду — пусть теперь ее свобода вернется к ней. Девушка Салиха

свободна от сватовства и сговора. Это мое первое решение.

Абай подчеркнуто громко и раздельно сказал эти слова и сразу же продолжал:

— Но и род Сыбан не виноват в том, что ее нареченный жених умер. Сыбан сватал его с добрыми намерениями, честно выплатил весь калым, и вы, кереи, получили его сполна и даже не один раз, а дважды. И первый-то калым был достаточно велик, он стоил по меньшей мере пятидесяти верблюдов. Но вы, воспользовавшись тем, что Салиха идет теперь за старика, да еще третьей женой, потребовали дополнительный калым — и опять много получили. Родную дочь свою вы без колебаний решили продать во второй раз. И тут сыбанцы не виновны. Виновны вы, кереи, в жадности вашей виновны… Итак, за нарушение сговора кереи вернут Сыбану полученный ими калым и добавят пеню. Они получили богатства на пятьдесят верблюдов в первом калыме, на двадцать пять — во втором. За вину кереев перед Сыбаном и перед собственной дочерью я определяю пеню в двадцать пять верблюдов. Значит, кереи вернут Сыбану сто верблюдов. Расход этот должны нести поровну род невесты и род жигита, избранного ею в мужья. Это мое второе решение…

За эти три дня я собрал все сведения об убытках, понесенных обеими сторонами от этой вражды. Сыбанцы угнали у кереев двести коней, кереи у сыбанцев — сто семьдесят. Пусть вернут друг другу коней и заменят пропавших другими, пятилетними. Вот, сородичи, мое решение по этому делу. Оно исходит из одного желания — восстановить мир и единство между племенами. Я сказал все.

Толпа замерла в гробовом молчании. Только оба ояза, которым толмачи переводили слова Абая, одобрительно переговаривались. Все видели, как они, улыбаясь, кивали головой Абаю, как бы одобряя его решение, и, подойдя, заговорили с ним. Это был знак всем собравшимся, что тяжба закончена.

Но ни среди кереев, ни среди сыбанцев, окружавших холмик с двух сторон, не было слышно ни того оживленного шума, который всегда сопровождает приговор, ни обычных возгласов: «Согласен!» — «Не согласен!» — «Не может быть!» — «Правильно решил!» Даже тобыктинцы, наблюдавшие за разбором со стороны, не проронили ни звука.

Жиренше, который сидел среди сыбанцев, шепнул что-то своему соседу, высокому представительному аксакалу, и старик вдруг вскочил на ноги и громко закричал в сторону Абая:

— О Кенгирбай, Кенгирбай, где же дух твой? Разве такой приговор выносил ты сам своевольной дочери рода? К духу твоему взываю, святой предок!..

Старик вышел из толпы, продолжая призывать имя Кенгирбая. Намек его был ясен только немногим: некогда предок Абая Кенгирбай, разбирая такую же тяжбу о невесте, приговорил к смерти и невесту и нарушителя свадебного сговора — Енлик и Кебека. Выкрик старика почти не привлек внимания, толпа

стала расходиться.

Но Абай и услышал и понял слова старика. Он долго стоял в глубокой задумчивости и неожиданно громко расхохотался. Жиренше и Уразбай подошли, к нему, в недоумении глядя на его улыбающееся лицо. Жиренше, казалось, был озабочен.

— Все бы прошло хорошо, если б не этот аксакал… — сказал он с преувеличенной тревогой. — Вспомнить сейчас Кенгирбая! Меня прямо потрясло его заклинание… Наверное, и ты раскаиваешься сейчас в своем решении?.. Неужели ты не понял, что и сам сбился с пути предков и людей с него совращаешь? Признайся честно!

Он так и впился в лицо Абая. Тот, перестав смеяться, сурово повернулся к нему.

— Кенгирбая народ называл кабаном, потому что он за взятку кровь своих братьев пил, понял? Я не сын Кенгирбая, я сын человека, — холодно ответил он и быстро пошел от них.

Жиренше и Уразбай, с недоумением и злобой глядя ему вслед, застыли на месте, словно их палкой по голове ударили. Наконец Жиренше покачал головой:

— Зазнался он!.. Ну, посмотрим…

— Кунанбай тоже зазнавался, да чаша через край переполнилась, — зло сказал Уразбай. — С этим то же будет, дай срок…

Балкыбекский съезд быстро шел к концу. Начальники вскоре уехали, народ тоже стал разъезжаться. Абай со своими друзьями направился в Байкошкар. В тот же день и в ту же сторону тронулись и Жиренше с Уразбаем. Догнав Абая, они подхлестнули коней и, обогнав его на расстояние полета стрелы, поехали впереди отдельно.

После того резкого разговора, когда он обругал их, Абаю не представлялось случая поговорить с ними и объясниться. Он ударил своего саврасого и крупной рысью нагнал их. Но едва он поравнялся с ними, оба, молча переглянувшись, пустили коней вскачь и быстро вынеслись вперед.

— Вот как?.. Понимаю! — крикнул им вслед Абай. Задержав коней, они обернулись. Жиренше злобно выкрикнул:

— Вот так и будет! Хватит!

— Понимаешь — тем лучше! — добавил Уразбай.

И они снова поскакали вперед, кипя от злобы. Абай задержал коня, с горечью глядя вслед тому, кого называл другом. Он понимал, что между ними началась вражда.

Такежан и Майбасар возвращались со съезда, окруженные целой толпой. Здесь тоже, не смолкая, ругали Абая. От Жиренше они уже знали о сорока отборных конях, обещанных Бараком.

— Мог вернуться и с почетом и с табуном, а возвращается и без почета и без

коней, — негодовал Такежан. — Все обычаи нарушил, судил, как русский начальник… Да и тот не сумел бы так унизить честь наших предков…

Но такого мнения держались только аткаминеры Тобыкты. Ни керей, ни сыбанцы Абая не осуждали. Они приняли его решение и заявили обоим оязам: «С решением согласны, мы помирились». Жумакан и Барак от всего Сыбана, а Тойсары и Богеш — от Керея составили «мировую» и, приложив к ней свои печати, вручили начальникам. Они оценили Абая как человека новых мыслей, смело ломавшего старые казахские обычаи.

— Слова его — добрые. В них исцеление для народа. С этим человеком весь округ считаться будет, — говорили примирившиеся.

По дороге, ведущей из Акшокы в Семипалатинск, ехала повозка с откинутым верхом, запряженная тройкой. На козлах сидел Баймагамбет и, пользуясь прохладой осеннего утра, то и дело погонял саврасых, бежавших крупной рысью. В повозке, обитой изнутри красным сафьяном, сидели Абай и его трое детей: Абиш, Магаш и Гульбадан. На бледном обычно, худеньком лице Абиша играл яркий румянец оживления. Он беспрерывно расспрашивал отца о предстоящей ему новой жизни:

— Где мы будем жить в городе, отец? У казахов или у русских?.. Вместе все трое будем жить?.. Лучше я буду жить отдельно у русских и учиться один!..

— Вот еще! Это я буду жить одна в русской семье! Там будет такая же девочка, как я, и я скорее вас выучусь! — со смехом перебивала Гульбадан, вообще говорившая гораздо смелее братьев. Оттеснив в сторону Магаша, она лежала, положив голову на колени отца. Абаю нравилась решительность девочки и ее жизнерадостность, не изменившая ей даже при первой разлуке с матерью. Пощекотав ее подбородок, он ласково ответил:

— Беззаботная моя, золотая!.. Ты, пожалуй, храбрее всех братьев, ты будешь жить отдельно… Отдам тебя в руки образованной русской женщине, которая тебе матерью будет. Всех вас хорошо устрою! Теперь и сам часто буду жить в городе, с вами буду. Для меня нет ничего важнее вашего ученья.

Он обеими руками обнял детей и крепко прижал их к себе. Магаш давно уже сидел молча, задумавшись: разлука с домом огорчала его больше, чем остальных. Абай, желая рассеять грусть мальчика, притянул его к себе и весело попросил:

— А ну-ка спой, Магаш, начинай, запевай песню!

Магаш был очень доволен, что отец обратился именно к нему. Тонкие губки его заиграли улыбкой, открывая белый ряд мелких зубов.

— А какую, отец? — оживился он, обнимая Абая. — только я начинать не буду, боюсь, напутаю, начинай ты сам!

Гульбадан отлично поняла намерение отца и сама начала шутить с братом:

— Ну вот! Только скажут: «Стой!» — Магаш и упрется: «Пусть кто-нибудь начинает!»—весело вмешалась она. — Он совсем как жеребенок, что все назад

пятится!

Все рассмеялись, даже Баймагамбет. Магаш смущенно спрятал лицо в подушку, но засмеялся и сам. Абиш вступился за него:

— Ты думаешь, раз жеребенок пятится, так он и вперед не бежит? Откуда тебе это знать, ты же верхом не ездишь!

Тут и Магаш быстро поднял голову:

— Куда ей жеребенок, она и на овце ездить не сумеет! А вот мой тай,[170] который все пятится, летом на байге пять раз первым приходил, вот как!

И совсем развеселившись, он повернулся к Абаю:

— Начинай песню, отец!

Абай запел «Козы-Кош», и дети стали подпевать ему.

Поездка длилась два дня. Абай то пел, то рассказывал детям сказки или заставлял Абиша и Гульбадан самих рассказывать то, что они знали. Когда путников начинал одолевать сон, они все, не исключая и Баймагамбета, снова затягивали песню. Так они добрались наконец до города.

По совету Михайлова, Абай отдал Магаша и Гульбадан в училище. Учиться они должны были в разных школах — мужской и женской, но жить Абай устроил их вместе в одной русской семье, которую рекомендовал Андреев. С Абишем Михайлов посоветовал поступить иначе. Абиш уже знал арабскую грамоту, отличался понятливостью и большой любознательностью. Занимаясь в ауле с толмачом и постоянно разговаривая с ним по-русски, он уже хорошо понимал русский язык, но для начальных классов был по годам велик. Поэтому его поселили отдельно у образованных людей, которые могли и совершенствовать его в русской речи, и следить за его общим воспитанием. В школу его не отдавали, Абай нашел для него опытного домашнего учителя.

С первых же дней Михайлов принял близкое участие и в самом Абише и в вопросах его воспитания и дал Абаю еще один совет:

— Ваш старший сынок, Ибрагим Кунанбаевич, по-моему, способен учиться серьезно. Вы не огорчайтесь, что он немного перерос… Пожалуй, оно даже и лучше, что он приехал сюда, уже получив кой-какие знания на родном языке. Может быть, именно теперь ему и будет легче перейти к ученью на другом языке. Послушайтесь меня: пусть за эту зиму ваш Абдрахман хорошенько подготовится с учителем, а на будущую—определите его в школу, только не у нас в Семипалатинске: в Тюмени учебные заведения гораздо лучше наших. У меня там есть хорошие знакомые, может жить у них. Лето он пусть проводит в степи, а зимой живет в городе и получает русское воспитание. Если его не подведет здоровье, будем надеяться, что в будущем и в Питер его снарядим, в университет!

Абай горячо поблагодарил Михайлова, который, как настоящий друг, заботился о его детях гораздо больше, чем все друзья и родственники в ауле. Советы его Абай принимал не задумываясь.

Они беседовали в просторном кабинете Михайлова. Уже начинало темнеть. Из внутренних комнат к ним вышла молодая женщина, держа в руках настольную лампу. У нее было нежное круглое лицо, пышные русые волосы и большие синие глаза. Абай впервые видел ее в этом доме, — обычно, когда друзья встречались, в квартире была одна только Домна, выполнявшая домашнюю работу.

Женщина скромно поздоровалась с гостем. Михайлов поднялся ей навстречу, взял из рук ее лампу и, поблагодарив, подвел к Абаю и ласково обратился к ней:

— Познакомьтесь, Лизанька, это мой друг Ибрагим Кунанбаевич. — И, заметив на лице Абая недоумение, слегка покраснел и засмеялся. — Знакомьтесь, Ибрагим Кунанбаевич, моя жена — Елизавета Алексеевна.

Абай растерялся. Он не знал, как принято у русских поздравлять в таких случаях.

— Что же вы скрывали, Евгений Петрович? Ведь я ничего не знал… Желаю вам счастья… — неуверенно заговорил он.

Эта женщина ничуть не была похожа на петербурженок и москвичек, которых Абай изредка встречал в домах начальства или у Акбаса. Она казалась самой обыкновенной местной жительницей, каких Абай ежедневно видел на улицах Семипалатинска. Во всех ее движениях и в обращении с мужем и с гостем сквозила застенчивость. Она побыла в комнате лишь несколько минут и вышла, тихая и неторопливая. Михайлов тут же рассказал Абаю короткую историю своей женитьбы.

— Я ведь совсем надавно женился, неожиданно для себя, без всяких сложных рассуждений. Она — девушка из скромной местной семьи, не получила ни нужного образования, ни воспитания… Вот вы обучаете Абиша, а я ей стараюсь дать домашнее образование… Воспитать ее и сделать своим равным другом — мой долг…

О крупном событии своей жизни он рассказывал с какой-то неловкостью, будто стесняясь. Абай не стал расспрашивать подробнее, и Михайлов тотчас заговорил о своем возвращении на службу в областную канцелярию.

На этот раз Абай жил в городе очень долго. Однажды он приехал в дом Тинибая, где не был с самого приезда, и остался ночевать у Макиш. Та упрекнула брата за долгое отсутствие и шутливо напомнила ему, что раньше, когда здесь была Салтанат, он появлялся чаще. Имя Салтанат вызвало в Абае светлые воспоминания об их удивительной дружбе, и он сказал, медленно роняя слова:

— Салтанат… Чудная Салтанат… Как она была хороша!.. Такой драгоценности я не встречал среди наших девушек.. — И, быстро повернувшись к сестре, он спросил: — Расскажи, что с ней стало? Как она живет? Встречалась ты с ней за эти годы?

Макиш начала рассказывать. Абай жадно слушал дорогие для него вести.

Салтанат давно уже замужем за тем, кому она была тогда просватана. Она уже простилась со своей волей, с тех пор ей удалось побывать в городе только этим летом. Она привезла с собой маленького сына. Подруги проводили вместе целые дни. Как-то Макиш повезла свою гостью на Полковничий остров, они взяли в лодку кумыс и еду и провели весь день в задушевной беседе.

Тут Макиш удивила Абая: оказалось, она знала все стихи брата, сочиненные им за эти годы. И тогда, на острове, она все их перечитала и перепела подруге. Салтанат слушала молча, с глубоким волнением, потом, подозвав к себе сынишку, обняла и обратилась к Макиш:

— Жизнь далеко увела меня от моих мечтаний… Дни встреч с Абаем кажутся мне вот таким же островком — тенистым, цветущим, счастливым островком в радостном весеннем убранстве… Блаженные были те недолгие дни… Я покорилась своей участи. Я принадлежу другому, мне не о чем молиться для себя… Но сегодняшний разговор с тобой, милая Макиш, воспоминания, песни Абая — все воскресили во мне. Опять я чувствую прежнюю тоску… Но она не бесплодна: я приношу обет, рожденный ею. Не только сама буду всегда чтить имя Абая, обещаю сделать его дорогим и для своих детей. Да будет моим материнским долгом вырастить их юными верными друзьями Абая, готовыми всегда идти за ним… Это будет последним даром моей дружбы…

Волнение охватило Абая. Слова Салтанат растрогали и умилили его. Он мысленно благодарил сестру за то, что она говорила с Салтанат о нем. Чувствуя в Макиш настоящего, близкого друга, которому легко открыть свою душу, он вслух высказал свои взволнованные мысли:

— Только Салтанат могла сказать так… Она говорила о своем долге — и этим напомнила мне о моем. Я понял ее слова: она хочет, чтоб я создавал такие стихи и песни, которые были бы любимы новым поколением, потомством нашим, ее детьми, были бы дороги им… Она будто сказала мне: «Пусть тропа моя идет за далекими перевалами — лишь бы доходил до меня твой голос…» Я понял, понял тебя, друг несбывшейся мечты моей.

Это были его сокровенные мысли, ответ Салтанат. Он замолчал. Душа его погружалась в мир образов и мыслей, в мерные волны стихов.

Всю осень и первую половину зимы Абай провел в городе: устроив детей учиться, он не мог легко расстаться с ними. Будние дни он проводил в Гоголевской библиотеке; занятия там, которые все больше походили на работу ученого исследователя, очень увлекали его. По вечерам, оставаясь наедине с Баймагамбетом, он пересказывал ему содержание прочитанных книг, главным образом романов. Благодаря этому запас рассказов у Баймагамбета все возрастал.

По субботам Баймагамбет закладывал санки и ехал за детьми Абая. Из

одного места он привозил Магаша и Гульбадан, из другого — Абиша. Две ночи и один день дети проводили с отцом. Абай старался ничем не занимать эти вечера, не принимал даже и людей, приехавших из аула. Все время он отдавал детям, беседуя с ними, занимаясь или просто играя, заставляя и Баймагамбета рассказывать им сказки. Порой все вместе они пели какую-нибудь песню, и вечера проходили у них весело и радостно.

Раз в неделю Абай заходил на квартиру к Абишу и подолгу беседовал с хозяйкой ее — Анной Николаевной, образованной и умной пожилой женщиной. Также навещал он и дом Екатерины Петровны, матери четверых детей — двоих мальчиков и двух девочек, подходящих по возрасту и Магашу и Гульбадан. Она была вдовой офицера, жила уроками, воспитывая детей, и Абай не раз отправлял ей с Баймагамбетом помимо условленной платы колотых баранов и мешки с мукой.

Кроме своих детей Абай устроил учиться нескольких казахских сирот-ребятишек. Он решил сделать это после одного разговора с Михайловым. Тот рассказал ему, что два года назад пришел приказ «корпуса» из Омска — выделить для ученья в городских школах по одному мальчику из каждой волости. Но никто из родителей послать в ученье детей не пожелал, а нашлись и такие, которые соглашались отдать ребят в школу за выкуп. Словом, когда в аул смог наконец проникнуть слабый луч знания, вековая косность и тут наложила свой запрет. С горькой улыбкой Михайлов заметил, что во всем Семипалатинском уезде не нашлось ни одного человека, который согласился бы послать своего сына в ученье.

Узнав об этом, Абай написал кое-кому из тобыктинцев, на кого имел влияние. Так ему удалось добиться, что один из юных жатаков, Анияр из Чингизской волости, был устроен в интернат. От Молдабая прибыл в школу из Шаганской волости сиротка-киргиз Омарбек. Такежан по его письму прислала из Кзыл-Адырской волости еще одного сироту Курманбая. Кроме того, Абай пристроил и двух ребят из Ералы, сирот-жатаков племени Мамай, определив их в мусульманское медресе. Судьба жатаков продолжала волновать Абая и тут, в городе. «Пусть хоть молодое их поколение озарится лучом света, — думал он. — Может быть, через них и отцы свет увидят… Выучатся, народу пользу принесут…»

Недавно Абай узнал, что скот, отданный беднякам по его решению на Балкыбекском съезде, все же не достался им целиком. Правда, до Ералы весь табун добрался благополучно, но осенью десять коней из тридцати, полученных жатаками, были по одному, по два раскрадены неизвестными ворами. И, хлопоча о детях жатаков, Абай думал: «Пусть хоть кто-нибудь из жатаков получит богатство, которое нельзя расхитить, — знание». Поэтому-то он и старался устроить в ученье именно детей бедняков.

Наступила вторая половина зимы, Абаю пора было возвращаться в аул. В

субботу он заставил Баймагамбета целых полдня разъезжать по городу: он вызвал к себе всех маленьких казахов, пристроенных им в школу и живших в разных концах города. Он собрал их у себя, и весь вечер дети распевали песни, затевали игры. Сам он загадывал им загадки, Баймагамбет угощал сказками и прибаутками. Перед ужином, когда ребятишки устали и угомонились, он подозвал к себе и своих детей и гостей.

Он достал листок бумаги, исписанный им еще утром. Дети с недоумением ждали, что будет. Абай громко и внятно прочел им никому еще не известное новое стихотворение:

Мальчиком жил я среди темноты.

Не зная, как ценны ученья плоды.

В вас, дети, — вся радость взрослых людей!

Что нам не далось — берите смелей!

Учись, мой сынок, — завет мой таков —

Для блага народа, не для чинов!

Он несколько раз повторял им эти строки, а потом сказал короткое прощальное слово:

— Дети мои, младшие братья мои! Мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на траву, которая пожелтела, не успев вырасти. В свое время мы не получили знаний и теперь горюем об этом. Наука — несбывшаяся наша мечта. Вам я желаю того, о чем сейчас прочитал. Это пожелание вашего старшего брата, пожелание ваших степей, вашего народа, который ждет от вас помощи. Учитесь с одной только целью — стать человеком! Учитесь, чтобы быть полезными своему краю, чтобы быть честными людьми, заступниками за свой народ…

И, помолчав, он закончил:

— Вот что хотел я сказать вам на прощанье. А стихи эти нарочно написал для вас один акын по имени Кокпай.

Всю зиму Абай часто записывал звучавшие в нем слова затаенной мечты — стихи. Но сам он не верил еще в себя как в акына, как в поэта. И требовательная

его душа, не уверенная еще в своем даре, скрылась под другим, никому не известным и скромным именем — Кокпай.

НА ВЕРШИНЕ

1

Прошло несколько лет. Для Абая это были годы упорного труда и исканий. Время, проведенное с книгой или с пером в руке, будь то зимой или летом, Абай считал счастливейшими часами, своей настоящей жизнью. Думать, искать и доверять бумаге все пережитое стало смыслом его существования. Искры истины и высокие мысли, найденные им в книгах или познанные в жизни, находили себе место в его стихах, в песнях, каких до него никто еще не пел на его родном языке.

Имя Абая-поэта было в то время уже известно повсюду. Он и сам понимал теперь свою поэтическую деятельность как долг перед народом. Множество его стихов, объединенных названием «О народе», клеймило невежественных смутьянов, впившихся в тело народа, как клещи, справедливым гневом карало неугомонных степных воротил, взяточников-управителей. Эти стихи были совестью народа. Их наполняла забота о тяжелой доле людей, изнемогающих в труде, любовь к ним. Молодому поколению Абай пел о красоте, вызвышая души, заставляя глубоко задумываться над жизнью и искренне чувствовать.

Рождаясь в Акшокы, эти песни разлетались далеко по бескрайным степям. Теперь Абай записывал свои произведения, и столпившаяся вокруг него молодежь, полная высоких стремлений, влюбленная в его стихи, заучивала их наизусть, подбирала к ним напевы и разносила в песнях по степи.

Однако жизнь не давала Абаю заниматься лишь тем, чего просила душа. Несмотря на многократные отказы, ему все же не удавалось освободиться от хлопотливой обязанности: население аулов постоянно привлекало его к решению всевозможных тяжеб и споров как справедливого судью.

В солнечное зимнее утро Абай сидел в своей большой комнате на обычном месте у высокой кровати с костяной резьбой, подложив под бок большую

белую подушку, всегдашнюю свою соседку. То облокотясь о край низкого круглого стола, то опираясь широкой ладонью о колено, он сидел безмолвно, погруженный в раздумье. Его темные глаза, в глубине которых дальними огоньками светилась настойчивая мысль, пристально смотрели на виднеющиеся в окне снежные холмы Акшокы, ярко освещенные утренним солнцем. Неведомой, незыблемой мощью были полны эти закутавшиеся в снег горы…

Нынче Абаю как-то удавалось освобождаться от тяжебных дел степи, и, избавленный от частых разъездов, он подолгу оставался на своей любимой зимовке. Этот год и был одним из самых плодотворных для поэта. Читая книги или сочиняя стихи, проводя счастливые часы внутренних затаенных волнений и горения, он часто вглядывался в эти холмы и как-то сжился с ними. В утренние и предвечерние часы размышлений грустное сердце находило себе отклик в молчании холмов. Всегда суровые, всегда хмурые, они как будто вечно полны неисполнимого желания, — в пасмурные дни они тоскуют о солнце, в солнечные — мечтают о весне… Сейчас, казалось, их седые брови разошлись: по склону карабкалось пестрое шумное стадо, — хоть песни пастухов услышат одинокие безмолвные горы…

Баймагамбет, давно заметив сосредоточенное состояние Абая, сидел поодаль, не нарушая тишины. Чтобы хоть что-нибудь делать, он достал плетку Абая и принялся мастерить из сыромятного ремня новую петлю. Занявшись этим делом со всем усердием, он лишь изредка поглядывал на Абая. Тот вдруг шевельнул рукой и стал размеренно водить ею в воздухе, шепча невнятные слова. Раньше такой привычки у Абая не было, она появилась лишь в эту зиму, и Баймагамбет знал, что сейчас Абай спросит карандаш и бумагу. Но на этот раз Абай, взглянув на него отсутствующим рассеянным взглядом, молча протянул левую руку, как бы прося что-то подать. Баймагамбет понял и, проворно вскочив, положил на стол две толстые потрепанные книги.

Абай раскрыл одну из них, нашел нужную страницу и, пробежав ее глазами, снова откинулся, отвлеченный своими мыслями.

Эти две книги не были понятны никому в этом ауле и всей окрестности: язык их берег от всех заключенные в них тайны. Одному Абаю понятны и дороги книги двух поэтов из далекого мира и далеких времен. Пушкин и Лермонтов… Оба они прошли свой жизненный путь вдали от степей, где жили его деды, и кончили жизнь в неведомых далях, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали так близки Абаю… Явились из другого мира, изъяснялись на другом языке, — а отнеслись к нему приветливо, как родные. Двойники его в огорчениях и в грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам!»

С тех пор как Абай подружился с ними, отошли в тень и Машраб, и суфи Аллаяр, и даже Физули. Приезжавшие до делам набожные старики или муллы,

видя Абая, сидящего над этими толстыми книгами, довольно качали бородами. «За ум взялся, шариат читает, — переговаривались они между собой и пускались в догадки — Это, верно, поминальные молитвы из корана… Не мулле поручает, а читает сам, благочестивым стал!..»

Но, когда они замечали, что книга раскрывается влево, что страницы ее — с рисунками, и когда, вглядевшись, они видели вместо затейливых арабских букв ровное и спокойное течение русских строк, — они, пораженные, шарахались от книги и тут же умолкали. Некоторые из родовых воротил, уходя от Абая, спрашивали друг друга: «Для чего же он, как прикованный, сидит за этим левым письмом?» Другие отвечали: «Гордится этим. Разве ты не чувствуешь, что он хочет сказать, — вот, мол, я ближе вас к властям…»

Абай знает, что его тайные немые друзья беспокоят многих, как недобрая загадка. Но он нимало не тревожится этим.

Друзья его — мертвы. Но разве можно назвать смертью такую смерть? Навеки бессмертные, они заповедали миру помнить их имена. От человека остается только могильная насыпь, с годами она сравнивается с землей. Так же меркнет в памяти живущих и воспоминание о недавнем призрачном существовании: когда насыпь исчезнет — человек проглочен вечностью. А эти два человека утвердили на земле память о себе, как мощные незыблемые горы. Они подобны двум вершинам Акшокы, вознесшимся надолго, на века…

Абай со вздохом подумал: «Благословен народ, просветленный знанием!.. Если б и нам, казахам, предки оставили золотой клад знаний и просвещения!..» Оба поэта представляются ему такими близкими друг другу, родными: «Это — братья, вся жизнь которых—ярко пылающий, неугасимый факел для последующих поколений, для всех носителей мысли среди всех народов и всех времен…»

С глубоким вздохом Абай вновь склонился над письмом Татьяны. «Какие искусные слова! Не слова — дыхание, трепетное биение сердца… Нежная глубина!» — подумал он с восхищением и неожиданно вспомнил сложенные им когда-то стихи:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза —

Вопрос иль ответ готов.

Помню, так и я говорил,

И мне понятен он был —

Тот язык, но память сдала.

Теперь я его забыл..

Покоренный волнением Татьяны, он снова вчитывался в пушкинские строки. «Такие дни прошли для меня, — думал он, — да и в те дни — слышал ли я подобный голос?..»

И тотчас, прорезав мрак его памяти, как падающие звезды прорезают темный небосвод, перед его глазами промчались два светлых облика. Один — лик сияющей юности, Тогжан; второй, полный душевной тоски, — Салтанат. Еще вчера, переводя письмо Татьяны, он вспоминал их. Обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца, обе не смогли поднять голов, опутанных уздою неволи. И все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали и их прощальные слова. Сами собой они находили себе место в слагаемых им строках.

«Пусть их чуткие сердца вникнут в эту песню, они поймут ее как свою», — думалось ему.

Поэтому-то он и решил перевести письмо Татьяны. Последние два дня он помогал ей заговорить на чужом ей казахском языке. Чем дальше, тем больше слов находит его Татьяна в мягком, побеждающе-нежном напеве. Все благороднее в своей грусти, все красноречивее становилась эта девушка, покорившая его. Он сравнивает казахское письмо Татьяны с письмом, написанным по-русски. Порой не так, как у Пушкина: Татьяна говорит иногда слишком обычными словами. Но это — невольная дань ее новым слушателям… Да и то — поймут ли они ее? Он подумал о Кокпае и Муха: что, если и они не поймут этих слов?

В страницы «Евгения Онегина» было вложено полученное вчера письмо. Баймагамбет, вернувшись из Семипалатинска, привез его Абаю вместе с десятком новых книг, отвечая на восторженное восхищение Абая «Евгением Онегиным», Михайлов писал: «Недавно роман этот переложен на музыку. Говорят, она достойна пушкинской Татьяны и Ленского, петербургская и московская публика живет и дышит ею. Но что делать — нам не судьба услышать ее…»

Перечитывая это, Абай вспомнил о Кокпае и Муха.

«А они, бедняги, красивым пением украшают вздорные стихи, — усмехнулся

он и взял стоявшую возле домбру. — Я дам этим мелочным торговцам вместо бязи дорогие шелка…»

И снова шепчут его губы какие-то слова, а смягченный взор все чаще устремляется к двум вершинам Акшокы. Но сейчас этот взор не видит окружающего. Это взор мысли. Взор глубоко взволнованной души поэта. Пальцы торопливо перебирают струны. В прошлую ночь, ложась спать, он смутно улавливал отдаленно звучавшие и гаснувшие звуки, а сейчас так быстро пришли они в его память и так легко начали ложиться в струны его домбры. Он попробовал тихо, но внятно вторить им голосом. Размер близок пушкинскому.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне…

Стыдливая тайна Татьяны еще робко, еще неуверенно начинает звучать в напеве домбры. Еще строка… Еще…

То облокотясь на подушку, то откидываясь от нее, он торопливо понукает домбру. Парные струны тихо рокочут, порой лишь резкий звук выходит за нужный, уже отысканный предел. Дорого достались две последние строки, но и они стали в лад с музыкой.

Абай без перерыва спел на найденный напев три строфы письма Татьяны. Довольно улыбнувшись, он выбросил из-за губы насыбай и заложил тут же новую щепотку. То громко, то тихо перебирает он струны. Как будто запомнил…

Вдруг он круто повернулся всем своим массивным телом в сторону Баймагамбета. Глаза его на этот раз сверкнули весело и задорно и тут же мягко потухли.

— Ну, что ты тут сидишь? Понял ты что-нибудь? Растерявшийся от неожиданного вопроса Абая, жигит показал плетку:

— Починяю вот, Абай-ага!..

— А что я делаю — не догадался?

— Думаю, вспомнаете какую-то русскую песню…

— Вон как… Ну что ж, и то хорошо! — рассмеялся Абай. — Ступай позови Кишкене-муллу.

И, чтобы не забыть только что созданного им напева, он заиграл его снова. Но едва Баймагамбет открыл дверь, Абай увидел входящую Айгерим, а за ней — приезжих. В руках у них плетки, лица покраснели с холода; люди — в

овчинных тулупах, в чекменях, в стеганых халатах, у двоих покрой шапки шестиклинный, узковерхий — племени Уак. Абай, все еще продолжая перебирать струны домбры, поморщился:

— Фу, какой мороз ворвался… Айгерим удивилась:

— Какой мороз, Абай! На улице и сало не застынет!..

— Показалось — мороз, оказывается — люди, — ответил Абай и поздоровался с приезжими. Айгерим приняла его ответ как один из непонятных для нее за последнее время поступков и, не ответив, прошла в соседнюю комнату. Оттуда вышел Кишкене-мулла. Абай быстро взглянул на него:

— Мулла-аке, вы переписали письмо Татьяны? Она наконец, решилась запеть…

— Хорошо придумала… Письмо переписано.

— Напишите Кокпаю и Муха! Скажите, им шлет привет Татьяна и хочет, чтобы они были знакомы с ней… Мухамеджан едет в город, он отвезет им голос ее привета…

Приезжие не поняли, о чем идет речь, но по виду их было ясно, что это их никак не занимает. Слова Абая настороженно слушал только Мухамеджан — молодой, румяный, сероглазый жигит, вошедший вместе с Кишкене-муллой.

Мухамеджан и в самом деле ехал в город. Так же как Муха и Кокпай, он был одним из лучших в округе певцов, кроме того, он и сам изредка слагал стихи. Он нетерпеливо спросил:

— Кто же это решился петь, Абай-ага?

Вместо ответа Абай взял домбру и спел ему три строфы «Письма Татьяны» и потом, не вступая с ним в разговор, отложил домбру и обратился к приезжим с расспросами.

Не уловив с одного раза напева, Мухамеджан обратил внимание на слова новой песни. Среди всей молодежи окрестности Мухамеджан одним из первых узнавал и заучивал новые стихи и песни Абая. Но этой песни он еще не знал и нигде раньше не слышал. По-видимому, не знают ее ни Кокпай, ни Муха. Тут он сообразил, что Абай поручил ему заучить и довести до них только что написанную песню.

Хотя Мухамеджан и приходился близким родственником Абаю, но, будучи гораздо моложе его, не смел попросить Абая спеть еще раз. Кроме того, он отлично знал, что Абай не любит приставаний. Поэтому, решив остаться в Акшокы пообедать, он тут же пошел к Кишкене-мулле переписывать новые стихи Абая.

Абай уже занялся приезжими.

Задавая им обычные вопросы о здоровье и благосостоянии аулов, Абай был странно поражен только теперь замеченным обстоятельством. Он вспомнил, что не так давно видел уже у себя этих двоих уаков и этого же кокше в таких же одеяниях, буквально с таким же выражением лиц. И этот конокрад из рода

Кокше, Турсун, сидел так же скромно, молчаливо, с опущенной головой, как бы задремав. А этот истец Сарсеке из Уака, низкий и тучный, тогда так же пыхтел, широко рассевшись, и так же, как теперь, требовал у Турсуна возвращения украденного скота. Но тогда ведь он получил возмещение за своих коней?

Жизнь так быстра, так изменчива, — почему же этим выходцам из различных родов суждено так нудно и серо оставаться неизменными? Которая из этих двух картин — сон?.. Тогда или теперь?.. Глядя на этих людей, можно подумать, что время не шло, а застыло…

Так двоились мысли Абая, пока он слушал Сарсеке. Голос того звучал монотонно, как пест и ступа, сделанные из дерева. Наконец Абай услышал что-то новое:

— Вот что думал этот вор, Абай-ага: «Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно. Так я ж тебе еще насолю!» — вот что он думал. И решил, что, если он снова украдет у уака, ничего не случится. Назло украл!.. В тот раз угнал трех коней, а теперь угнал целых пять голов… Ну разве это не дело рук мстительного вора, Абай-ага?

Абай понял эту новую тяжбу. Он хотел разгадать правду по лицу конокрада, но тот сидел, наклонив голову в длинношерстой рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой черной бороды. Исподлобья следя за каждым движением Абая, он сидел молчаливый и недвижный, словно каменное изваяние.

В спор, затеянный Сарсеке, он еще не вмешался ни единым звуком, слушая, как посторонний разговор, и показывая всем своим видом, что заставить его заговорить может только Абай, а Сарсеке никогда не сдвинет его с места. Хочет ли он выразить этим свое уважение к Абаю, как к большому бию, или же он хочет оставаться неуязвимым для истца?

Абай решил посмотреть на его лицо и сурово окликнул:

— Ну, а ты что скажешь?

Рыжая шапка медленно повернулась, и упрямое лицо только теперь глянуло на Абая. Турсун взметнул свои маленькие серые глаза и опять опустил голову. Веки толстые, щеки отвислые — да и лицом и всем телом он подобен цельному сучковатому обрубку. Наконец, покачнувшись на месте, он заговорил:

— Абай-ага, недавно этот Сарсеке по твоему приказу отобрал у меня все. Тогда ты велел расплатиться, и я исполнил, покорился. А как опять пропал у уаков скот, так прав, не прав — отвечать все равно мне, что ли? — спросил он.

«Снова бесконечные препирательства, — с досадой подумал Абай. — Где истина, где ложь?.. Есть ли конец таким тяжбам и таким тяжущимся? Опять нужно копаться в грязи. Пока добьешься истины у упрямых сторон, измотаешься… Отвлекли опять… Где Пушкин и где тончайшая нежность чувств Татьяны? Где ее прозрачная истина, идущая из правдивого сердца?.. Истец в погоне за своим скотом. Упрямый вор, живущий чужим добром.

Бесконечная муть запутанной жизни… Где же твой голос, Татьяна?..»

Он взял домбру, пытаясь вспомнить напев.

Двухструнная домбра недавно еще была говорливой и послушной. Теперь она — как конь в путах. Звуки вразброд. Нет недавно найденной песни. Забыта… Слушая ответ Сарсеке, Абай долго ищет этот напев. Но ему как будто нет возврата, он ускользает… Абай отложил домбру.

Сарсеке огорченно говорил:

— Снова ты украл мой скот, Турсун. Снова ты. Со зла, в отместку за то, что я гнался за собственным скотом и разыскал его у тебя!

— Слепой цепляется за нащупанное однажды, — отвечал Турсун. — Что же, в степи нет людей, кроме меня, и скота, кроме твоего? Не только в тот четверг — за весь месяц хоть раз садился я на коня?

Они спорили теперь громко, быстро отвечая друг другу. Абай слушал их молча, болезненно морщась, и потом, нахмурив брови, сказал:

— Шли бы вы для разбора к кому другому… Попросили бы Акылбая, он ваш сосед, легче узнал бы истину…

Но на это ни Турсун, ни Сарсеке не были согласны. «Да или нет? Чист или грязен? Нам достаточно вашего решения», — настаивали они.

Тогда Абай резко обратился к Турсуну.

— Скажи правду! Умри, но скажи: взял ты его скот или нет?

Он гневно уставился на Турсуна. Тот не смутился.

— Абай-ага, я дал клятву умереть перед тобой с правдой на устах! Пусть я вор, но и у вора есть честь. Вот моя истина: на этот раз я не виновен! — сказал он отчетливо и при этом, заломив верх свой шапки назад, открыл лицо и в упор взглянул на Абая.

Абай долго, пристально смотрел на него, думая про себя: «Пусть он вор, но это лицо — лицо истины». Слова Турсуна его поколебали.

Абай решил:

— Да, он говорит правду. У него нет твоего скота, Сарсеке. Ищи у другого!

Турсун поправил шапку. Ни он, ни Сарсеке не сказали больше ни слова. Сарсеке опустил голову. Абай сказал обоим:

— Ну, ваша тяжба кончена. Пить и есть будете в комнате для гостей, вас сейчас туда проводят…

Он снова взялся за домбру и наклонился над письмом Татьяны.

Сарсеке и Турсун поднялись одновременно. Турсун, который при входе в комнату дал Сарсеке дорогу как человеку из дальнего рода, и сейчас также пропустил его в двери первым. Прежде чем войти в комнату для гостей, они должны были пройти темный коридор. Идя по нему, Турсун беззвучно засмеялся, — он умел так смеяться назаметно для других. Он был очень доволен собой.

В самом деле, ему удалось сделать очень ловкий ход. Осенью, когда он угнал

трех коней этих уаков и, поленившись отвести их подальше, заколол у себя, — истцы притащили его к Абаю. Еще в самом начале разбора дела у него возник свой план, и, когда Абай спросил его: «Взял или нет? Скажи только правду!»— он немедля ответил: «Взял, вынеси приговор, я виновен». Никогда Абай не видел раньше вора, сознающегося так откровенно, и объявил истцам:

— Считайте, что он дал мне крупную взятку. Эта взятка — его правда… Пусть вернет вам стоимость угнанных коней — и кончим на этом…

Турсун все это обмозговал и, переждав два месяца, снова угнал у того же Сарсеке пять лошадей и ловко сплавил их в ту же ночь. Никто не заметил налета, была суровая буранная ночь, она замела все следы. На этот раз Сарсеке мог только подозревать — ни улик, ни свидетелей не было. Турсун приехал к Абаю с твердым рашением: на этот раз отрицать все.

Его расчеты оправдались. Он выиграл не только у Сарсеке, но и у Абая. И теперь в темном коридоре он смеялся над этим.

Оставшись один, Абай, перебирая струны, опять принялся искать напев песни Татьяны, но он ускользал. В комнату вошли Кишкене-мулла, Мухамеджан и впереди них, неся в одной руке доску, а в другой — кожаную сумку с шариками тогыз-кумалака, любимой игры Абая, шел Корпебай, знаменитый игрок.

Засиживаясь в зимнее время подолгу дома, Абай зазывал к себе таких игроков в кумалаки, как Макишев Исмагул, Маркабай или Корпебай, и заставлял их гостить неделями. Сам Абай тоже слыл одним из сильнейших игроков в округе.

За четыре дня пребывания в ауле Корпебай ни разу не дал Абаю выиграть. Играли они с увлечением, с утреннего чая до обеда. Вчера Абай весь вечер просидел за книгой и работой, и игра прервалась.

Увидев Корпебая с тогыз-кумалаком, Абай понял, что заниматься уже не дадут, и закрыл Пушкина.

— Ну, раскладывай кумалаки, постараюсь тебе отомстить!..

Блестящие шарики из желтой кости один за другим с мерным треском падали в ямки доски. Правая рука Корпебая плыла над доской, его пальцы работали удивительно быстро. Трудно было понять, как из целой горсти они безошибочно отсчитывают по девяти шариков.

Противники приступили к игре. Первые привычные три-четыре хода они сделали быстро и взяли друг у друга по большой горсточке шариков. Теперь они дошли до отыгрывания туздуков.[171] Мухамеджан, Кишкене-мулла и Баймагамет следили за игрой.

Мухамеджан уже переписал все письмо Татьяны и проверил его с Кишкене-муллой. Рукопись Абая Мухамеджан сложил вчетверо и спрятал в карман, — Абай обычно не спрашивал своих черновиков, если они были переписаны и заучены, и поэтому Кокпай, Муха, а иногда Мухамеджан брали их себе.

Мухамеджан ждал случая, чтобы еще раз послушать напев. Но Абай, увлеченный игрой, и не думал возвращаться к нему. Видя это, певец достал из кармана свою запись, разложил ее на коленях и стал заучивать первые строки. Необыкновенный язык излияний Татьяны поразил его. Никогда еще не читал он у Абая таких стихов. «Вот это новость!» — думал Мухамеджан, наклонившись над рукописью.

Абай сидел молча, словно забыв Татьяну, целиком отдавшись борьбе с Корпебаем. Мухамеджан успел уже заучить первые строфы. Он взял домбру и, тихо перебирая струны, попробовал спеть про себя: «Я вам пишу, чего же боле». Он перебрал все известные ему напевы казахских песен, но ни одна не подошла к этим словам — ни знаменитая «Ак-Каин», ни «Топай-кок». Письмо так и не пелось. Раздосадованный, он посмотрел на Баймагамбета. Жигит, понимая, чего ждет Мухамеджан, решил осторожно отвлечь внимание Абая от игры.

— Не хочет, видно, Татьяна знаться с «Ак-Каин»? — спросил он молодого певца.

— Не только с «Ак-Каин»… Она не хочет запеть ни на один знакомый напев.

— Пожалуй, баит или жир[172] подошли бы лучше, — сказал Баймагамбет, искоса посмотрев на Абая.

Тот лишь теперь обратил на них внимание.

— Вы так думаете? Татьяна, видно, останется Татьяной! Она не Ак-Бала.[173] Она не пойдет за песней ни в Багдад, ни в Каир!..

Абай оживленно придвинулся к доске, быстро перекладывая шарики, и последним попал в среднюю ямку противника. Он радостно засмеялся, трясясь всем телом. Ошеломленный Корпебай нахмурил брови. Кишкене-мулла, следивший за игрой, воскликнул:

— Здорово! Туздук отменно хорош!

Действительно, Абаю после долгих расчетов удалось взять у мастера очень чувствительный туздук, и настроение его изменилось. Видя, чего хотят от него жигиты, он сказал:

— Ну, что ж, Баймагамбет, Татьяна отказывается спеть свою песню? Она, верно, думает: «Пусть споет за меня Мухамеджан, не буду же я сама петь всем казахам, — их так много!»

И Абай протянул руку к домбре. Мухамеджан, сгорая от нетерпения, уставился в свои листки.

Абай заиграл. Утренний, забытый было напев сразу зазвучал у него отчетливо и точно.

— Нет, оказывается, уже поет снова, — сказал Абай под переборы струн. — Так слушайте, что она говорит…

Он запел. Дверь комнаты открылась, вошла Айгерим и села около Абая, слушая пение.

На второй строфе Мухамеджан стал про себя подпевать Абаю. Но тут Корпебай, обходивший своими шариками задние ряды абаевских ямок, с треском бросил последний шарик во вторую из передних ямок Абая. Он взял самый значительный туздук — «туздук закабаленной шеи». Абай оборвал пение.

— Ой, что он натворил!..

Он передал домбру Мухамеджану и наклонился над кумалаками. Мухамеджан раздраженно шепнул Айгерим:

— Все испортил этот дохлый замухрышка!

— А что, дорогой, что он сделал? — спросила Айгерим и тоже посмотрела на игру.

— Я задержался в пути, чтобы заучить новую песню Абая-ага. А теперь, когда он потерял такой туздук, разве он обратит на нас внимание?

Баймагамбет сочувственно покачал головой. Айгерим повернулась к Мухамеджану:

— Попробуй все-таки спеть. Давно мы не слышали его голоса. — Да я с одного раза не запомнил ее, — сказал он и попытался подобрать напев на домбре. Абай, сделав свой очередной ход, протянул к ней руку. — Нет, неверно начинаешь, — заметил он и повторил напев несколько раз. И когда он отдал Мухамеджану домбру, тот теперь заиграл уверенно.

— Эге, видно, Татьяна познакомилась, с Мухамеджаном! — сказал Абай. — Тогда пой дальше!

Ободренный этим, Мухамеджан запел во весь свой высокий и чистый голос. Искоса поглядывая на свою запись, он пел теперь письмо Татьяны с самого начала.

Игра была забыта.

Абай, бледный, застыл с остановившимся взором, устремленным на вершину Акшокы. Он вспоминал Пушкина, которого сам недавно сравнивал с этими горами, и слушал как бы преклоненно, чувствуя озноб восторга. Его же слова и сложенный им самим напев теперь, в исполнении молодого, искусного и красивого певца, глубоко его взволновали.

Грустные слова Татьяны снова напомнили ему печальную судьбу Тогжан и Салтанат, мысль о которых не покидала его все эти дни. Сейчас с ней переплелась и мысль об Айгерим, самом близком друге, так отшатнувшемся от него… В этой чудной песне печали и упрека и она, казалось, нашла свой язык… Сейчас, когда он слушал эти стихи, их могучая правда раскрылась перед ним во всей своей силе. Русская девушка Татьяна грустила одной грустью с дочерьми казахов! Такие далекие и по языку и по обычаям, они оказались близки друг другу и мыслями, и судьбой, и пламенными чувствами… Какие истины может поведать казахской молодежи певец!..

Эта мысль озарила душу Абая радостным чувством, забыв об окружающих,

внимая только песне, он был поглощен думами, увлекшими его так далеко. Все присутствующие также замерли в восхищенном внимании, не спуская глаз с певца. Песня была не казахская, но грусть ее была понятна всем. Она плыла, как мягкие, тихие волны.

Чтобы лучше запомнить заученный с таким трудом напев, Мухамеджан пел все письмо до конца. Его самого покорила побеждающая и захватывающая сила этих стихов. Впервые узнав о Татьяне, он в пении постиг ее душу.

Закончив пение, он не сдержался:

— Какая покоряющая сила любви!.. Кто же дал ей такие слова?

Вопрос этот занимал и остальных, все ждали ответа Абая, но тут вмешался говорливый Кишкене-мулла:

— Это же написал ей Фошкин! Мухамеджан раздраженно оборвал его:

— Помолчите, мулла… Фошкин! Даже имя называет не так!

— А как же? Я говорю правильно.

— По-моему, Абай-ага называл его Пошкин… Верно, Абай-ага?

Абай рассказал друзьям про жизнь и смерть Пушкина, потом снова вернулся к письму Татьяны. Просматривая запись Мухамеджана и в раздумье исправляя отдельные места, он заметил:

— Да, Пушкин сумел дать высказаться этому сердцу… По правде говоря, такого акына не видели и вы, дети казаха, не видел еще и весь мусульманский мир!.:

— Бедная девушка в самом деле трогательно излила свое горе, — сказал Баймагамбет.

Корпебай наклонился было над доской, но Мухамеджан как бы нечаянно сдвинул ее коленом в сторону и обратился к Абаю.

— Но справедливо ли, Абай-ага, такое признание Татьяны оставить без ответа? Не лучше ли будет, если жигит ответит ей?

Баймагамбет поддержал его. Абай отвечал задумчиво:

— Вы, пожалуй, правы… Придется послушать и Онегина, — и, помолчав, добавил усмехнувшись: — Но как же быть?.. Он ведь недостойный, а?

И он придвинул к себе Пушкина.

Пообедав у Абая, Мухамеджан в тот же день уехал в Семипалатинск.

Весь вечер Абай сидел над Пушкиным. Этот день был первым днем, по-настоящему сроднившим Абая с Пушкиным: он читал теперь пушкинские стихи не глазами читателя, а седцем поэта. Перед ужином, закрывая книгу, Абай сказал вслух:

— Ты раскрыл мне глаза на мир, дорогой Евгений Петрович… Теперь перекочевывает моя Кааба, и запад становится востоком, а восток стал западом для меня… И пусть же будет так!

После ужина домашние не расходились и, как всегда, ждали рассказов Абая. Проведший весь этот вечер в думах, далеко от родной семьи, Абай, видя теперь

рядом Айгерим и друзей и особенно своего любимца — сказочника Баймагамбета, решил рассказать им что-нибудь.

И до глубокой ночи он рассказывал друзьям прочитанный им роман.

2

На западной окраине Семипалатинска в доме Танжарыка, мелкого торговца, сошлась вечером молодежь.

У Танжарыка снимал комнату молодой жигит Кисатай, один из родственников Абая. Кисатай не забывал привычек аула, любил гостей и, хотя сам был молчалив и застенчив, всегда собирал вокруг себя людей.

Сегодняшними гостями были близкие родственники и ученики Абая. Как бы возглавляя общество, на почетном месте сидел горбоносый Кокпай, ставший известным акыном и певцом, славившимся могучим голосом. Там, где отсутствовал Абай, он любил поговорить, перехваливая то, что ему нравится, и беспощадно высмеивая то, что ему не по вкусу, Он был прекрасным рассказчиком и умел веселить компанию.

Другим почетным гостем был Шубар, племянник Абая. Потеряв на последних выборах должность волостного, он решил приобрести известность как акын и певец. Честолюбивый и тщеславный, он завидовал все растущей славе Абая-поэта и в кругу молодых акынов держал себя так, будто ему принадлежало первое место. Одевался он тщательно, холил себя, золотая цепь недавно купленных золотых же часов блестела у него на жилете. Поглаживая густую черную бороду, он говорил сдержанно и значительно, в особенности в отсутствие Абая, считая себя много выше остальных казахов.

Здесь был и любимый сын Абая — Магаш, которого звали теперь уже полным именем: Магавья. Ему не исполнилось еще шестнадцати лет, он был юношески худощав, с нежным, несколько бледным лицом, открытым лбом, тонким прямым носом. Среди других он выделялся не только приятной наружностью и изяществом, в нем чувствовался образованный человек. Несмотря на молодость, он держал себя непринужденно и говорил смело. С ним вместе пришел известный певец Муха. Он был высок, прекрасно сложен, голос его был звучен, — оценив этот голос и умение играть на домбре и на скрипке, Абай года два назад взял его в жигиты к Магашу и сделал из него всеми признанного певца. Рядом сидел Исхак, сын Ирсая. Он силен в другом; если Кокпай и Муха были отличными знатоками казахских народных сказаний и исторических поэм, то Исхак, отчасти с помощью Абая, отчасти самостоятельно, изучил арабский и персидский эпос — «Жамшид». «Бахтажар», «Рустем», «Тысячу и одну ночь».

Молодежь собралась ночевать у Кисатая, отправив возниц по домам. В разгар беседы открылась настежь дверь и появился, клокоча в руках жигита,

пузатый самовар, а за ним — полная и румяно-белая жена Танжарыка со скатертью. Гости, удобно расположившиеся на мягких корпе и подушках, разбросанных по полу просторной комнаты, подобрали ноги калачиком, освобождая место самовару. Пока накрывали низкий круглый стол, Кисатай достал из шкафа коньяк и зубровку. На столе вместе со сластями появились тарелки казы и куски вкусной конины. Исхак развеселился:

— Это умно, Кисатай! Что же ждать, пока там сварится мясо?

Гости, рассевшись вокруг стола, продолжали рассказывать всякую веселую быль и небыль; немало было острот и шуток друг над другом. Шумный вечер напомнил Шубару, как любит Абай такие сборища молодежи.

— Напрасно не приехал нынче Абай-ага, — пожалел он, но Кокпай тут же возразил:

— Пусть лучше сидит дома, похоже, что он взялся за книги и за стихи.

Шубар насмешливо взглянул на него.

— Ну, дорогой мой, если этот чинар будет все цвести, боюсь, наши стихи совсем засохнут, — сказал он, намекая на то, что у многих молодых акынов не хватает смелости соревноваться с Абаем. В глубине души он просто завидовал Абаю.

— Если так, нам остается ждать, когда расцветут наши собственные стихи, — сказал Магавья смеясь.

Шубар покачал головой с шутливым огорчением.

— А как ты угадаешь их расцвет? Вот я написал сегиз-аяк,[174] по-моему очень хороший. Показал Абаю, он посмотрел и говорит, что сегиз-аяк совсем не так пишется…

Кокпай тоже пожаловался:

— Он было дал мне для моей поэмы стихи про коня — «Шокпардай кекили бар»,[175] — пусть, говорит, у твоего Наурызбая будет золотой конь!.. А потом подумал, подумал — да и взял обратно: не жирен ли, мол, будет конь?..

Про этот случай друзья слышали впервые. Рассказ вызвал общий смех. Магавья повернулся к Кокпаю:

— Тебе пора уж привыкнуть, Коке: вспомни, как он взял назад все свои стихи!..

Акыны опять расхохотались. Все знали, что Абай долго выдавал свои стихи за стихи Кокпая, и только год назад, написав «Знойное лето», решился наконец поставить под ним свое имя. Чтобы вознаградить Кокпая, Абай сказал ему: «Возьми себе рыжую кобылу, а стихи свои я возьму сам».

— Кобылу я зарезал для вас же, вспомните — сала было на два пальца!.. В тот день я сказал себе: пусть он берет себе свои стихи, зато я всласть наелся! — сказал Кокпай, вызывая хохот окружающих.

— И знаете, — продолжал он, — когда я недавно рассказал это Абаю, он ответил мне, подмигнув: «Когда генерал, покоривший Ташкент, вступал в

город с войсками под громкий барабанный бой, один курильщик опиума сказал: «Пусть он берет себе Ташкент, зато какая у нас теперь чудесная музыка!» Ты подобен этому курильщику опиума, Коке…»

Общий хохот прервал его, даже жена Танжарыка, до этого молчавшая, покатилась со смеху. В самый разгар веселья открылась дверь и вошел еще один гость. В руках его была камча, усы заиндевели, одежда промерзла — было видно, что он прямо с дороги.

— Ассалаумалейкум! — громко приветствовал он с порога.

Собравшиеся приняли нового гостя не очень приветливо; перестав смеяться, они молча разглядывали его.

— Э, ты — Мухамеджан, что ли? — воскликнул, просияв, Исхак. Обрадовались и остальные.

Мухамеджан приехал в этот дом прямо из аула. Отвечая на расспросы, он снял зимние сапоги, оставшись в ичигах, скинул верхнюю одежду и очистил усы от примерзшего льда. Все наперебой приглашали его занять почетное место.

— Да, уж сегодня позвольте мне занять место между Муха и Кокпаем, — значительно и загадочно сказал он.

Муха уступил ему место, передвинувшись ниже. Кокпай оглядывал молодого певца с каким-то мутным подозрением. Не было никакого сомнения в том, что Мухамеджан считает себя выше всех сидящих здесь акынов. Кокпай сам порой признавал, что если бы Мухамеджан не был так беден и не кичился при этом своим происхождением из рода Иргизбай, — при хорошем воспитании он дал бы мастерские вещи. Но сегодня он был что-то слишком самоуверен. Поэтому, не дав ему спокойно усесться, Кокпай съязвил:

— А мы-то думали — кто это идет, скрипя сапогами? Оказывается, всего-навсего — аул!

— А если аул так плох, зачем же ты убежал в него, оставив божий дом? — тотчас отбился Мухамеджан, намекая на то, что Кокпай учился в медресе, чтобы стать муллой. Молодежь оценила ответ дружным смехом. Мухамеджан продолжал: —Ты аул не обижай! И в ауле есть бесценный клад…

— О каком кладе ты говоришь? — встревожился Кокпай.

— Узнаешь… Дай хоть спокойно напиться чаю, — ответил Мухамеджан, свысока глядя на остальных, и умолк, принявшись за еду.

Остальные, уже насытившиеся, продолжали прерванные приходом Мухамеджана шутки и рассказы. Шубар предложил перейти к песням:

— Пусть старшие начнут, тогда другие не будут так стесняться! Ну, Коке, вспомни состязание твоего Наурызбая с девушкой из рода Тлеукабах!..

Кокпай не спеша откашлялся и в полный голос спел сочиненную им этой зимой песню. Потом Магавья подбил Шубара исполнить его сегиз-аяк. Шубар не счел уместным петь сам: за него спел его жигит, плешивый Орумбек.

Мухамеджан, проголодавшийся и замерзший, спокойно уплетал казы, отогревался чаем и как будто совершенно не слушал песен. На вопрос Исхака, был ли он в ауле Абая, он ответил односложно:

— Был… Абай здоров… Шлет привет…

Напившись чаю, он отодвинулся от стола. Теперь в комнате раздавался звучный голос Муха, певшего «Топай-кок». Когда Муха закончил песню, Мухамеджан, не дожидаясь, пока его будут просить, сам потянулся к нему за домброй. Настроив ее по-своему, он сказал с усмешкой:

— Сколько знаменитых акынов собралось, а голосят: «Жеребенок худ, а стригун жирен…» Нет, уж если слушать песню, так достойную! Слова должны быть вот какие!..

И он запел, сразу приковав к себе внимание всех.

Это были чудесно-грустные слова Татьяны. Гости притихли и, не шевелясь, следили за каждым словом песни. Мухамеджан умел как-то особенно выразительно и ясно передавать смысл того, о чем он пел. Вначале слушатели все же не могли понять — какую песню они слушают, казахскую или русскую? Одно было ясно: новая песня, прекрасная и грустная, говорит о глубоких чувствах. Особенно очаровывал ее язык. Молодые акыны как будто впервые поняли, как нужно петь о любви. Такую искреннюю грусть, такую нежность они постигали впервые. Стихи захватили всех. Какое в них волнующее чувство, какая сдержанная гордость! Как будто теплое нежное сердце заговорило этой песней и льет перед людьми слезы из самой своей чистой глубины!..

Глядя на разрумянившегося Мухамеджана, Исхак, взволнованный песней, воскликнул:

— Да будет благословенно горло твое!..

Такой возглас мог бы вызвать общий смех, но сейчас никто и не улыбнулся.

Певец пропел письмо Татьяны до конца, потом, вздохнув, стал вытирать со лба пот. Все в комнате молчали.

Кокпай и Шубар были бледны и нахмурены. Они даже не смотрели на Мухамеджана, будто боясь прочесть на его лице подтверждение своей догадки. Недаром Кокпай предчувствовал, что Мухамеджан нынче всех чем-то поразит. «Не зря, оказывается, держался он так высокомерно», — думал он и не находил в себе мужества спросить, что за песню спел Мухамеджан. То же чувствовали и остальные акыны.

Тишину нарушил Магавья. С любовью глядя на молодого певца, он спросил.

— Ну, скажи нам теперь — откуда эта песня?

Шубар и Кокпай с тревогой подняли глаза на Мухамеджана. Тот не заставил ждать. Он вытащил из кармана письмо, написанное Кишкене-муллой, и развернул рукопись Абая.

— Стихи эти — большого русского акына Пушкина. Это письмо девушки по имени Татьяна жигиту, в которого она влюблена. Абай-ага только что перевел

стихи на казахский язык и сам сочинил к ним музыку.

Шубар весь просветлел и шумно вздохнул:

— Уф!.. Легче стало на душе… Я трепетал: вдруг он скажет, что сочинил сам!

Облегченно вздохнул и Кокпай:

— Ой, спасибо!.. Ну что, если бы такие красивые слова, такую прекрасную музыку сочинил ты? Как бы я стал состязаться с тобой?.. Чуть было не лишил меня счастья!.. Спасибо тебе, Мухамеджан, большое спасибо!..

Остальные дружно засмеялись. Мухамеджан передал Кокпаю письмо и рукопись Абая и вышел на улицу, вспомнив про своего гнедого.

Поставив в конюшню продрогшего коня, Мухамеджан вернулся в комнату и с улыбкой остановился на пороге.

Лампа, стоявшая раньше на печке, была теперь на столе. Все акыны, вооружившись карандашом и бумагой, наклонились над столом, переписывая стихи Абая.

Мухамеджан молча постоял у дверей, потом засмеялся:

— Э, все они превратились в писарей, переписывающих мой приказ!.. Ну, Пушкин, да будет счастлив твой дух!

Акыны тоже рассмеялись, но, для остроумного ответа у них не было времени. Переписав стихи, они занялись заучиванием новой песни. Те, кому трудно давался напев, учились у Мухамеджана, повторяя за ним. Когда далеко за полночь акыны собрались наконец спать, они все уже знали письмо Татьяны.

Через два дня Муха был приглашен на свадебную вечеринку в племя Уак. На этой свадьбе впервые перед большим собранием — перед женихом и сватами, перед девушками, перед стариками и молодежью — прозвучало в устах известного певца письмо Татьяны, волнуя слушателей печальным напевом и искренностью чувства. Когда Муха закончил пение, старик, слушавший не мигая, сказал певцу:

— Живи долго, лебедь мой… Ты расплавил всю мою душу… Скажи теперь, кто создал эту песню?

— Был давным-давно русский акын Пушкин, такой же, как я. Слова песни — его. А по-казахски их пересказал Абай…

И Кокпай, и Исхак, и Мухамеджан, и другие мастера на сборах, на вечерах пели только письмо Татьяны.

Перед отъездом из города Кокпай зашел к Михайлову. Взяв у него письмо для Абая, он сообщил о новостях, волновавших акынов — друзей Абая. Он рассказал о новой песне. Когда Михайлов услышал о том, что Абай переводит Пушкина и закончил уже перевод письма Татьяны, он оживился, придвинулся к Кокпаю и засыпал его вопросами:

— Как? Ибрагим Кунанбаевич заставил Татьяну заговорить на казахском языке? Ну и как получилось? Прочитайте мне! Только не торопитесь!

Он взял у Кокпая его тымак и камчу и положил на стол.

— Ну, Кокпай, читайте!

Но тот снова удивил Михайлова:

— Читать я не могу, это песня. Мы уже назвали ее «Песней Татьяны» и часто распеваем на вечеринках в Семипалатинске.

— Песня? — переспросил Михайлов. — А музыка чья?

— Тоже Абая-ага.

— Ну, спойте тогда!

И Кокпай запел письмо Татьяны, не спуская глаз с лица Михайлова и следя за впечатлением.

Михайлов уже порядочно разбирался в казахском языке. Кроме того, он по природе был музыкален и в детстве учился музыке. К концу пения Кокпая Михайлов уже запомнил мелодию и подпевал сам. И когда Кокпай замолчал, он вскочил, оживленно охватил его плечи и поблагодарил за пение.

— Передайте мой привет и поздравление Ибрагиму Кунанбаевичу! — быстро заговорил он. — Это хорошо, очень хорошо!.. Ваш народ должен знать Пушкина! Не только знать, но и любить!

И так же возбужденно он начал говорить о переводе:

— Мне кажется, Ибрагим Кунанбаевич кое-где неточно перевел пушкинский текст… По-моему, у него и строки по размеру не всегда совпадают с пушкинскими, насколько я уловил из вашего пения… Но я не считаю это недостатком… Кроме того, я ведь не все понял, а не поняв достоинств, говорить о недостатках было бы несправедливо… Я спрошу у вас: хороша ли эта песня? Как она звучит по-казахски? Хороший ли, по-вашему, поэт Пушкин, если судить по письму Татьяны?

Он особенно подчеркнул последний вопрос. Кокпай ответил восторженно:

— О, Евгений Петрович, если Пушкин во всех своих стихах таков, как в этом письме, скажу прямо: мы, казахские акыны, дарования такой силы еще не встречали! Я читал арабских и персидских поэтов — ни одного из них я не смогу поставить рядом с Пушкиным! А перевод Абая-ага внушает только истинную любовь к Пушкину и его стихам!..

Этот отзыв подтвердил Михайлову, что перевод Абая был настоящим поэтическим переводом. И он снова повторил свой горячий сердечный привет Абаю.

3

На зимовке в Акшокы собралось много народу. Просторная комната, где Абай сидел после вечернего чая, уже не вмещала собравшихся: помимо гостей, сюда сошлись почти все жители зимовки. Айгерим, Ербол и Баймагамбет, а также молодой племянник Абая, Какитай. с сердечным гостеприимством

принимали и рассаживали людей по комнатам. Старый Байторы, Буркитбай и Байкадам пришли сюда со своими старухами и разместились подле Абая. Какитай, звонкоголосый жигит, сам распоряжался во всех комнатах. Приветливый, улыбающийся, он всюду вносил молодое оживление и своим громким высоким голосом, и добродушной шуткой, и теплым словом. Сегодня он старался быть особенно внимательным к гостям Абая.

Какитай был сыном Исхака, брата Абая, ровесником Магавьи. Сверстники и близкие родные, оба юноши были связаны искренней дружбой. Они старались не разлучаться друг с другом, и последние два года Какитай жил у Абая как приемный сын.

Широкое открытое лицо, большие, чуть навыкате, глаза, блестящие и острые, слегка вздернутый короткий нос — все придавало Какитаю то жизнерадостное выражение, которое свойственно самой ранней молодости. Пухлые румяные губы дышали юношеской свежестью — любая красавица позавидовала бы им. Абаю особенно нравились в нем прозрачная чистота взгляда и громкий молодой голос, в котором, казалось, звучала вся его душа, искренняя и прямая. Абай любил племянника не меньше, чем своих родных сыновей, Абиша и Магаша, и не отпускал его к родителям.

— Чему доброму ты там научишься? — сказал он однажды Какитаю. — А здесь я для тебя и отец и мать. Живи и расти, родной мой, подле меня!

Абая радовало, что и Какитаю хорошо около него.

Была и еще одна причина, по которой Абай с особенной любовью относился к своему племяннику. Какитай не имел возможности поехать учиться в город, но, живя у Абая, все последние годы с необыкновенным усердием изучал русский язык и часами, не отрываясь, сидел за русскими книгами. Он учился у Абиша, когда тот приезжал на летние каникулы. Магавья тоже делился с ним своими знаниями. Наконец, не расставаясь ни дома, ни в поездках с самим Абаем, юноша пользовался каждым случаем, чтобы поговорить с дядей, расспросить его о прочитанных им русских книгах. Какитай всеми своими повадками и поведением напоминал теперь воспитанника городского училища, и любые школьные наставники могли бы гордиться таким питомцем.

Сегодня Какитай своей непосредственностью и юношеским пылом заражал всех гостей Абая. Молодежь, видя свободные, искренние отношения между племянником и дядей, доверчиво и сердечно обращалась к Абаю.

Молодые акыны и певцы всегда были самыми дорогими друзьями Абая. Они только что вернулись в степь после нескольких месяцев жизни в Семипалатинске. На санях и на верховых лошадях шумной толпой приехали Кокпай, Муха, Магавья, сын Ирсая — Исхак, Шубар и Мухамеджан. В эту зиму они долго не видались с Абаем. Обычно все последние годы они приезжали сюда, как в свой родной дом, жили подолгу, проводя дни и ночи в тесном веселом кружке.

Едва успев приехать, даже не выпив чаю, они обратились к Абаю и к Айгерим с просьбой. От имени приехавших заговорил Кокпай:

— Абай-ага, нынче все мы прослыли в Семипалатинске как акыны и певцы. Не было семейного праздника ни по эту, ни по ту сторону Иртыша, будь то проводы невесты, или приезд жениха, или еще какое веселье, куда горожане не старались бы заполучить хоть одного из нас! Не совру, если скажу, что нас прямо на руках носили, на вес золота ценили! А всему причина — ваши песни. Их везде любят!.. Особенно «Песню Татьяны», которую Мухамеджан к нам привез… Мы вернулись к вам в аул любимыми и повсюду признанными мастерами песни, так разрешите нам всем сейчас пройти перед вашим судом! Оцените наше искусство!

Абай, одобрительно улыбаясь, выслушал Кокпая.

— Ну, если каждый из вас мог один радовать целое сборище, то что же будет в Акшокы, когда вы съехались все? Пойте, пойте! Веселитесь! — ответил он ласково и тут же шутливо распорядился — Айгерим, Какитай, Ербол, Баймагамбет! Поручаю вам четверым собрать сюда весь аул! Зовите и стариков и молодых — будем слушать всем аулом! Видите, как они загордились! Им недостаточно, если мы вчетвером или впятером будем слушать их! Когда хозяин подаст мало угощения, говорят: «Гость язык себе перекусил». Так смотрите, чтобы наши гости языка не перекусили: соберите народу побольше, — наши певцы иначе не могут! Устройте соседей во всех комнатах, угостите их как следует!..

И вот чуть начало смеркаться, Какитай и Баймагамбет вдвоем обегали всех соседей, собирая слушателей.

Пока народ собирался, Кокпай рассказывал Абаю о городских новостях. Абай стал расспрашивать о Михайлове. Кокпай сообщил, что неоднократно бывал у его друга, подробно рассказал о том, как тот принял «Песню Татьяны», и передал его поздравление Абаю. Он не скрыл и сомнений Михайлова.

Абай поразился остроте наблюдений своего русского друга.

— А ведь Михайлов прав, жигиты! — признался он. — Мой перевод Пушкина не всегда совпадает с подлинником. И Михайлов почувствовал верно… Да, в сердечные излияния Татьяны иногда вливались и мои личные чувства…

Он думал о внесенных им в перевод строчках, рожденных воспоминаниями, согретых жаром его собственного сердца. Но ему не хотелось распространяться об этом, и он снова заговорил о своем друге.

— Удивительно, до чего чуток Михайлов! Ведь он недостаточно знает казахский язык — и все же так точно подметил сомнительные стороны моего перевода… Каким зорким делает человека просвещение! Михайлов издали разглядел меня гораздо лучше, чем любой казах, сидящий рядом со мной!..

Этот вечер превратился в вечер песен и стихов, в вечер жарких состязаний

акынов и певцов. Соседи-старики разошлись по домам лишь после полуночи. В просторной комнате остались только гости и самые близкие Абая. Сегодня не было, кажется, ни одного человека — ни из гостей, ни из жителей аула, — который-не принимал бы участия в песнях. Молчали только Абай и Айгерим. То Муха, Мухамеджан и Кокпай пели поодиночке, то Магавья и Какитай затягивали песню вдвоем, то Исхак, Ербол и Баймагамбет хором присоединялись к звонким голосам Шубара и Кокпая. По просьбе Абая и Айгерим лучшие из певцов исполняли их любимые песни — старинные и новые напевы. Наконец Кокпай и Мухамеджан попросили, чтобы спела сама Айгерим.

— Мы так давно не слышали ее пения! Почему она не поет?.. Неужели и сегодня мы хоть разок не послушаем ее, Абай-ага? — упрашивали они.

Абай взглянул на Айгерим: ее красота ослепляла, как расплавленное золото; казалось, что белизна и нежный румянец ее кожи излучали какой-то необыкновенный свет. Абай, как зачарованный, не мог оторвать от нее взгляда.

— Айгерим давно перестала петь… Разве ее упросишь?..

В его голосе звучали нескрываемая грусть и сожаление.

Все последние годы их жизнь держалась только на взаимном уважении: искренняя радость, наполнявшая когда-то их дни, не возвращалась больше. Холодный ком залег у них в груди. А любовь — любовь жила только в обычных внешних проявлениях, которые не переходили определившихся за эти годы границ: их души уже не раскрывались, как в счастливые первые годы.

В голосе Абая сейчас слышался ласковый упрек — отзвук далеких, почти позабытых дней… Сердце Айгерим дрогнуло. Она быстро повернулась к Абаю. Ее глаза глубоко темнели — они и спрашивали и ожидали.

Айгерим улыбнулась, и ее тихий ответ прозвучал, как слова песни:

— Разве дело во мне, Абай? Не вы ли сами перестали слушать меня?

— Так спой нам, Айгерим! — со страстной мольбой в голосе сказал Абай. — Обо всем спой! Обо всем, что узнала, что запомнила! Новое спой, прошу тебя! Ведь оно есть у тебя!

Абай не хотел больше слушать никого, кроме Айгерим.

Чуть заметным движением бровей она сделала знак Ерболу. Этот чуткий друг понимал все. Взяв домбру из рук Муха, он подсел к Айгерим и заиграл «Песню Татьяны». Тонкой серебряной нитью заструилась песня, наполнив весь дом своими чистыми переливами. При первых же звуках голоса молодой женщины все замерли.

Абай был поражен: Айгерим никогда не пела при нем «Письма Татьяны», да и он сам ни разу не просил ее об этом. А между тем она, оказывается, знала каждое слово и каждый едва уловимый оттенок напева. Она и к Ерболу обратилась потому, что он один слышал, как она пела эти слова: не раз, оставаясь с ним вдвоем, Айгерим просила его наигрывать ей мелодию и тихо,

вполголоса повторяла песню.

И теперь, когда она впервые при всех запела эти строки, у жигитов-певцов невольно мелькнула одна мысль: «Это же и есть сама Татьяна, Татьяна, сияющая красотой, охваченная страстью песни… Она, она…»

И они слушали затаив дыхание.

Абай внимал этой песне, и ему казалось, что она обладает необыкновенным свойством. Первый раз ее пел Мухамеджан в самый день ее создания, и тогда Абай с волнением прислушивался к своим же словам и напеву, вызывавшим в нем восторг. Сейчас он слушал ее второй раз — и с изумлением чувствовал, что снова поддается ее чарам. Зимой все певцы разъехались из Акшокы, так что Абай изредка слышал только мелодию песни, исполняемую кем-нибудь на домбре. Сейчас Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяны — и песня, обновленная и чудесная, возродилась перед своим же творцом.

Абаю казалось, что он обрел самого себя, — того Абая, который когда-то вот так же слушал свою любимую, не сводя с нее глаз, не смея перевести дыхания. Айгерим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела — она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна: страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному, единственному из всех — к Абаю.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне,

Но меня не избрал ты другом,

Оставил одну во тьме…

Не грустный ли упрек покинутого друга доносят эти слова? Лицо Айгерим бледно, последние следы румянца сбежали с него, — певица точно охвачена волнами песни. Чистая, правдивая душа Айгерим наполняет своим трепетом каждое слово — и заповедная тайна раскрывается все яснее и прозрачнее. Забыв обо всех, она говорит только с Абаем: «В чем вина моя? И если есть она — ты ли не простишь ее? Ведь я — единственная твоя… Что же ты сам не приходишь ко мне, раскрыв душу свою? Найди прежние светлые дни, горячие дни… Найди меня…»

Казалось, Айгерим изнемогала от песни: и чувства, наполнявшие эти близкие ей слова, и грустные переливы мелодии отнимали последние силы ее души, сдавливали дыхание.

Никто не смел нарушить молчания. Абай сидел бледный, с широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холодок дрожи пробегал по его телу. Вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями ее влажные глаза.

— Айгерим, бесценная моя, песней и слезами своими ты снова нашла меня! Чистая, искренняя — ты сама вернулась ко мне!.. Ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяны!..

Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованы.

— О Татьяна, — дрогнувшим голосом сказал Кокпай, — в дочери казаха ты нашла себя! Еще не одной душе, затаившей в себе свою чистую тайну, ты дашь язык!

Ни Абай, ни Айгерим не могли больше разговаривать: слова излишни для сердца, отыскавшего друга. Пробужденная любовь не нуждается в словах и не терпит чужого взгляда.

Муха, Кокпай и другие жигиты поднялись и тихо разошлись. И едва закрылась дверь за последним из них, как Абай и Айгерим сомкнули жаркие объятия и слились в бесконечном поцелуе…

Песня развязала тяжелый узел, долгие годы стягивавший их души. Она снова соединила их, равных и равно вдохновенных; она не позволила ни изменить, ни потерять друг друга. Угасшее вспыхнуло, утерянное вернулось к ним с любовью и песней Татьяны…

Так в зиму тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года великий русский акын Пушкин впервые вступил в простор казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем — и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи.

ЭПИЛОГ

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть,

распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер Сары-Арка, медлительно и плавно веющий над ее просторами. Новые песни, никогда раньше не звучавшие в этих краях, летели на крыльях ветров, неся долгожданный ответ степям, вопрошавшим сквозь многовековую молчаливую дрему. Голос нового племени — они летели как вестники вешних дней. Не ушедшая зима породила их: они явились для наступающего лета с его новым цветением, с его возрождением. Эти песни звучали для тех, кто ищет новой жизни, новых просторов: для прозорливого ума, для чуткого сердца, для сильных и смелых, полных тревожных дум и готовых к борьбе…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, долетели в песнях до Ералы. Хасен и Садвокас, сироты, когда-то взятые Абаем в городскую школу, каждый вечер читают здесь вслух переписанные ими строки: и у колодца, и за аулом, и у костра. Даркембай и другие жатаки, старые и молодые, без конца заставляют их читать стихи Абая. Давний старый друг его Даркембай, понюхивая свой табак, придвигается поближе к юному грамотею и долго слушает его.

О казахи мои, мой бедный народ!

Жестким усом небритым прикрыл ты рот.

Зло — на левой щеке, на правой добро.

Где же правда — твой разум не разберет!..—

так начинает свои стихи печальник народа Абай, — и Даркембай видит перед собой его самого и верит ему. Грусть усталой старческой души сливается с печалью поэта.

Дандибай и Еренай просят прочесть их любимые стихи:

Хоть мы уже старцы, хоть мысли печальны,—

в нас жадность сильна.

Беда, коль пойдут наши дети за нами,—

судьба их страшна.

Не радость работы, а зависть и алчность

вселились в сердца.

Не подвиг нам важен, не труд нам приятен,

а мзда нам нужна.

а всякие такежаны, майбасары, уразбаи?.. Старики, прослушав, просят повторить еще раз. Им уже мало чтения, они требуют: «Пой!.. Пой, как песню!..»— и заставляют юношей хором петь слова Абая. Правдивые слова, внятно звучащие в молодом стройном хоре, восхищают стариков.

— Какие слова, как сказано!.. По всем шестидесяти двум жилам огнем пробегают! — восклицают они.

— Ни один сын казаха не скажет то, что говоришь ты, Абай!.. Так можешь сказать только ты, драгоценный мой, единственный золотой тополь в пустыне моей!.. В глухой равнине чутким рожденный!.. — говорит Даркембай. Он говорит эти горячие слова за всех слушателей, в молчании внимающих стихам Абая…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, поет как песню Мухамеджан.

Вчера весь вечер он провел в юрте Оспана, пел и читал. Чтобы послушать его, молодежь аула и все соседи-прислужники тесным кольцом облепили юрту снаружи и долго не расходились.

Улжан давно не видела Абая, материнское сердце ее тосковало. Она слушала стихи Абая, не замечая ни входящих в юрту, ни приезжающих гостей. Может быть, к ней, к матери, он и обращался с этими словами:

Вот я рядом с тобой, говорю с тобой снова,

Обновленной душою пойми обновленное слово…

Ее сын осуждал старых невежественных акынов, торговцев словом. Он, как плетью, хлестал тех, кто гонится за чинами:

Беспокойней Тобыкты нет на свете рода:

Хитрецы, дельцы, сутяги — вот отцы народа..

Улжан, удивленная и обрадованная, в глубоком молчании слушала стихи сына. Громкий, неудержимый смех Оспана, вдруг раздавшийся в юрте, словно разбудил ее.

Оспан по своей привычке слушал молча, не шевелясь. До сих пор он не вымолвил ни слова, не сказал, хорошо ли это или плохо. А сейчас он вдруг шумно расхохотался, указывая на Такежана и его друзей, сидевших с надутым видом за чашками кумыса.

— Вон, вон они сидят! — сквозь хохот повторял он. — Это о них сказано!.. В точности!.. «Беспокойней Тобыкты нет на свете рода: хитрецы, дельцы, сутяги — вот отцы народа!..»

Рядом с Такежаном сидели Жиренше и Уразбай. Только теперь взглянув на этих троих, Оспан понял смысл многих стихов Абая. Увидев, что и эти стихи и слова его обозлили их, Оспан рассмеялся еще громче. Теперь видно было, что он просто издевался над ними, вдруг превратившись в того неукротимого шалуна, каким был в детстве.

— Что с тобой, Оспан? Скалишь зубы, как мальчишка!.. — недовольно буркнул Жиренше. Но Оспан заговорил еще задорнее:

— Во всем Тобыкты больших сутяг, чем вы трое, — поищи — не сыщешь!.. Ведь вас-то Абай и бьет палкой по голове! Эй, Жиренше, сознайся честно, разве не правда?

Улжан сочувственно усмехнулась, а потом погрузилась в свои думы. Когда Мухамеджан, прочитав уже много стихов, замолчал, она сказала громко, с глубоким чувством:

— Абай с самого рожденья, еще крошкой, всегда был для меня одним миром, а вся остальная родня — другим. Золотой мой слиток, утешение моей

материнской души… С ним родилась моя материнская надежда… Вижу теперь: моя надежда выросла в прекрасный тополь! Я могу умереть спокойно: у такой матери, как я, больше не может быть желаний. Великий господь, молюсь тебе, молюсь благодарной молитвой!..

В юрте стояла тишина, все слушали эти горячие материнские слова. Но после молчания заговорил Такежан. Недавнее раздражение против Оспана вспыхнуло в нем с новой силой. Не понравились ему и слова матери.

— Ой, апа! — повернулся он к Улжан. — Ты всю свою душу только одному сыну отдала, потому так и говоришь… А разве нет и без него благородных и красноречивых казахов? И не они ли сказали когда-то: «Слава богу, из нашего рода не вышло ни одного баксы и ни одного акына?» Чему же ты радуешься? Что твой сын стал настоящим баксы — заклинателем?

Жиренше с хитрым злорадством ущипнул ногу Уразбая, лукаво поглядывая на Улжан и беззвучно смеясь. Улжан всю передернуло от слов Такежана. Она быстро повернулась к нему:

— Э, ты, наверное, думаешь: оба, мол мы щенки одной и той же матери! Но я-то вижу, что один из этих щенков растет сказочным Кумаем,[176] а другой — ублюдком-дворняжкой!.. Говори, что хочешь, но помни, что ты для меня и ногтя Абая не стоишь!

Гнев охватил старую мать. Ее широкое, круглое лицо, покрытое глубокой сетью морщин было очень бледно. В глазах, полных слез, краснели кровавые прожилки, и взгляд ее, устремленный на Такежана, был полон презрения.

Такежан схватил камчу и тымак.

— Пошли!.. Уйдем отсюда! — коротко сказал он Жиренше и Уразбаю и буркнул на ходу — Довольно… Наслушались мать, выжившую из ума… И он быстро зашагал к двери.

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, однажды вечером дошли до слуха Кунанбая в час его бессонницы. Они долетели до него, настойчиво звуча из тьмы ночи. Старик ворочался на постели и все не мог избавиться от этой песни, такой упорной, назойливой. Одни и те же слова повторялись снова и снова.

Это пел Карипжан, ночной сторож аула. Он недавно услыхал песню и, не сумев с одного раза запомнить ее до конца, пел только начало, бесконечно повторяя понравившиеся ему строки:

Ты — мой супруг любимый.

Богом указанный мне…

Слова, звучащие вдали, доходили до слуха Кунанбая совсем по-другому: «гонимый, богом наказанный…» — слышалось ему. Бессильный уйти от песни, от ее неразборчивых, но таких грозных слов, Кунанбай разбудил Нурганым:

— Калмак, ой, калмак! — звал он жену. — Что там сторож твердит: «Богом гонимый, богом наказанный?» Кого он там клянет? Узнай! Но Нурганым знала песню.

— Он поет: «Ты — мой супруг любимый, богом указанный мне», — ответила она. — Говорят, это Абай написал… Эту песню все поют…

Кунанбай громко вздохнул и отвернулся к стене.

— Пусть замолчит, не воет. Уйми! Он покой мой отнял! — приказал он и затих.

Ты — мой супруг любимый,

Богом указанный мне…

Но меня не избрал ты другом.

Оставил одну во тьме…

Когда Нурганым впервые услышала эти слова Татьяны, ею овладела неодолимая грусть. Эти слова выражали и ее собственную тоску. С первых же звуков песни ей вспомнился Базаралы, друг, покинувший ее в печали, — и она замкнулась в своем невысказанном горе…

Подозвав к юрте сторожа, Нурганым сказала ему совсем не то, что приказал Кунанбай:

— Пой свою песню на том краю, подальше отсюда… А будешь приближаться сюда, пой тихо… Твоя горячая песня старику душу жжет! Понимаешь ли ты, что песня твоя жарче пламени? Не нравится она здесь… — сказала она с тихим вздохом и ушла к себе.

Не сторожу — самой себе она высказала то, что крылось в тайниках ее души…

Стихи и напевы, рожденные в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, плыли в песнях по бескрайним просторам, как тихий ветер Сары-Арки, медлительно и плавно веющий над степью. Они облетели все жайляу Тобыкты, дошли до кереев верховий, до уаков низовий, до племен Каракесек и Куандык, долетели и до найманов, населяющих долины Аягуз, горы Тарбагатая и Алтая…

Однажды вечером к крайней бедной юрте далекого большого аула подъехал жених с товарищем. Жигиты нищих аулов — оба они были одеты бедно, и невесту жених просватал себе в такой же обездоленной семье, как его собственная. Молдабек, жених, был певцом. Семья невесты позвала на скромную вечеринку молодую хозяйку аула, которую все любили и уважали. Тогжан пришла. В бедной юрте зазвучали песни. И вдруг, совсем неожиданно, Молдабек одну за другой начал петь: «Письмо Татьяны», «Ответ Онегина», «Второе слово Татьяны».

С первых звуков сердце Тогжан сказало: «Это Абай! Это мог сказать только Абай!..» Тогжан и не стала спрашивать ни о песне, ни о том, кто сложил эту исповедь сердца, взволнованного глубокими чувствами, изливавшего юную пачаль, раньше никогда так не звучавшую.

Когда Молдабек запел второе признание Татьяны, Тогжан потеряла самообладание. Давно не испытанное смятение охватило ее, волнение отразилось на прекрасном лице. Не ее ли это собственные слова?.. «Ведь я покорилась судьбе, хоть не хотела такой жизни… Я не отреклась ни от любви моей, ни от тоски по тебе, но нам нет возврата к прежнему счастью…» — говорит песня. Не эти ли слова говорила больному другу и она сама, Тогжан, глотая слезы?.. И вот они не забыты… Не угасло, не исчезло их искреннее пламя… Оно вспыхнуло вновь в такой сердечной, чистой песне! Неожиданный привет его души… Вся трепеща, она чувствовала, в какой огонь бросала ее эта песня. Весь долгий вечер она просидела, то пламенея, то изнемогая от холодного озноба. Беззвучно и часто капали нескончаемые слезы. А душа повторяла бесконечно и неустанно слова Татьяны…

В один из тихих летних вечеров на каменистом холме урочища Каска-Булак сидел Абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула. В это лето его маленький аул не откочевал на многолюдное жайляу: оставшись рядом с жатаками, Абай провел все лето в соседстве с ними.

Сегодня утром к Абаю приехало множество гостей — молодых акынов. Они привезли ему радостные вести: они рассказали ему, как любит народ его стихи, как широко разлетелись по степи его песни. На многолюдную Кояндинскую ярмарку съехались несколько племен. И всем запомнилось имя Абая. Везде

говорили:

— Хороший человек в степи появился, имя его — Абай. У него особенные слова и наставления. Это мудрец, заступник народа, друг несчастных, враг насильников. Родился он в Тобыкты, но не для одних тобыктинцеп, он — сын всего народа. Будем же слушать речи его, запомним его наставления…

Кокпай, Муха, Мухамеджан, Магаш, Какитай привезли с жайляу эти вести Абаю. Радостные и восторженные, они столпились вокруг своего «ага-акына», друга и наставника, они гордятся его именем.

Абай с молчаливым удовлетворением слушал их рассказы. Теперь, оставив друвей в юрте, он вышел на холм побыть наедине со своими мыслями. Тайнами, скрытыми в его душе, он делился с вечерней красотой природы, сливаясь с нею.

Беспредельными просторами раскинулись перед ним степи Ералы, Ойкодыка, Корыка. Как огромен лик спокойного мира, пребывающего в вечерней тишине! Косые лучи солнца розовым светом озаряют эту ширь. Ровный мягкий свет разливается по этому блаженному в своем покое миру. Вдохновенный взор поэта видит перед собой уже не степь, а море — спокойную, тихую гладь водного простора.

По этому морю жизни плывет одинокий корабль. Подняв паруса, он уходит в неведомый, но чудесный, озаренный светом путь к неведомым, далеким берегам. На парусах его начертано: «Борьба и надежда». Корабль, поднявший на себе надежды народа, плывет к гавани, имя которой — Грядущее. Это корабль Абая прокладывает в мир широкий, прямой, уверенный путь.

Абай пристально смотрит с холма иа далекий темнеющий горизонт, взором мысли провожая корабль в желаное плаванье. Высоко над степью сидит на холме Абай, один со своим вдохновением. Впервые за всю жизнь он чувствует сейчас гордость. И на эту гордость он имеет право.

Но эта мысль сверкнула мгновенно промелькнувшим ликом радости. Сменив ее, о берег его души ударяет новая волна мыслей. Точно черные тучи набегают на него: надвигается другой лик — хмурый лик жестокой жизни. Он закрывает сияющую радость, надвигается властно и мрачно.

Впереди жизнь и борьба. И в этой борьбе — он один. Правда, у него есть сила и надежда. Его сила — это поэзия, его надежда — народ. Но эта надежда еще в беспробудном сне. А сила его — не останется ли она непонятной, неузнанной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли— воли, стойкой в одиночестве?

Он на вершине, на середине жизненного пути. А там позади, в пройденном, в прожитом, — чего больше: потерь или приобретений?.. Да, многого из того, что отошло от него, ему не жаль… Чужим ушел отец Кунанбай, чужим стал брат Такежан… И много еще таких такежанов стало врагами — один за другим отошли Жиренше и Уразбай… Ну что ж… Пусть оторвались, пусть ушли те,

кому следовало уйти! Их еще будет немало. Лишь бы остался с ним народ, лишь бы остался в его руке светильник, освещающий его тропу к родному народу…

И он шепчет эти слова, как тайную клятву свою.

— Где же море? — словно пробудился он и окинул степь взглядом.

Теперь она не казалась ему морем: это была обычная безлюдная равнина, безмолвная равнина Ералы. На ней вдруг взвился клуб пыли… Еще… Еще… Пухлые облачка вспыхивают одно за другим… Что это может быть?

К Абаю подскакал всадник. Он подскакал сзади, и Абай только теперь заметил его. Загнанный конь его был весь в мыле сам всадник тяжело дышал. Это был гонец от жатаков Ералы, посланный Даркембаем, — юный Садвокас, тот самый, которого Абай когда-то отвез в школу. Садвокас заговорил дрожащим от гнева и обиды голосом:

— Глядите, Абай-ага, видите там клубы пыли? Это же разбой!.. Насильники напали на жалкие стада жатаков! Последних коней отбили и угоняют! Опять нас ограбили!..

Ни моря, ни мечты… Угасла даже малая радость, даже слабое утешение… Жизнь, с ее горькой правдой, с ее жестоклй борьбой снова властно звала Абая в схватку.

Примечания

1

В казахском языке ударение ставится на последнем слоге: Корык, Байтас и т. д.

2

Медресе — мусульманское училище.

3

Шокпар — дубина с утолщением на конце, оружие рукопашного боя.

4

Соил — длинная, утолщенная к концу палка, употребляемая в конном бою.

5

Т о б ы к т ы — многочисленное племя казахов Среднего Жуэа (Средней Орды), населявшее юг нынешней Семипалатинской области — всю территорию Чнngизского хребта и степи к северу от него. Соседями тобыктинцев были племена: на юге — Керей, на западе—Каракесек, на севере — Уак, на востоке —Сыбан. Племя Тобыкты разделялось на несколько родов, из которых в романе действуют: иргизбаи. жигитеки. бокенши, торгаи, топан, карабатыры. кокше и др. Абай происходит из рода Иргизбай.

6

Бохрау — так казахи называли русский праздник покров.

7

В кочевом быту казахов аул представлял группу юрт, объединенную по хозяйственному и семейному признаку. Аул имел свои постоянные урочища для кочевки: к о к т е у — весеннее, ж а й л я у — летнее, к у з е у — осеннее и к с т а у — зимнее, где были выстроены деревянные и глиняные постройки. Урочища эти закреплялись за данным аулом по соглашению между старейшинами родов и были постоянной причиной раздора между отдельными аулами и целыми родами.

Хозяином аула являлся зажиточный человек, глава семьи, бай или старейшина, и аул назывался по его имени. Его «Большая юрта» ставилась на краю аула, за ней по дуге располагались о та у («Молодые юрты») женатых сыновей, затем ближайших родственников, специальные «Гостиные юрты» для приезжающих и дальше — юрты «соседей», обслуживающих аул. На этом краю аула устраивался к о т а и — открытый загон для овец, ж е л и — привязь для жеребят, ставились юрты для варки сыра и т. д.

Сыновья и ближайшая родня хозяина аула кочевали вместе с ним до тех пор, пока поголовье аульного стада не превосходило установленного количества, когда общий водопой, пастьба и уход за скотом становились уже неудобными (так, например, нельзя держать в отаре более тысячи овец). Тогда члены семьи выделялись из «Большого аула» отца со своим скотом, юртами и «соседями», образуя новый самостоятельный аул, кочующий и зимующий отдельно, но обычно по соседству.

Все хозяйственные работы в ауле несли «соседи» — бедная родня или батраки, получавшие натуральную оплату в виде доли удоя, шерсти, обусловленного количества голов скота на убой: табунщики, пастухи, чабаны, доильщики, повара, водовозы и т. п. Беднейшая часть «соседей» — ж а т а к и — не уходила с аулом в сезонную кочевку, оставаясь на зимовке охранять постройки. (Прим. автора).

8

Прозвище, данное Абаю, выращенному и матерь» и бабушкой. Т е л ь — сосунок, выкормленный двумя матками, к а р а — черный, смуглый.

9

С а л е м — приветствие, а также устное поручение, передаваемое через третье лицо.

10

Д ж у т — стихийное бедствие, когда в суровые зимы скот не может добыть подножный корм из-под снега или ледяной корки и падает от истощения.

11

Х а з р е т— святой, блаженный; почтительное наименование духовного лица.

12

Ага-султан (старший султан) — начальник окружного приказа. Он выбирался из числа старейшин казахских родов на общем сборе округа и утверждался генерал-губернатором Западной Сибири. Вместе с ним делами казахов, населяющих данный округ, управляли его помощники — младший султан и русский чиновник или офицер. Кунанбай был ага-султаном Каркаралинского округа а 1857–1858 гг.

13

Название рода.

14

Апа — мама.

15

У мусульман обрезание совершается в пяти-семилетнем возрасте.

16

К у ж — легендарный великан.

17

Аксакал — старец, старейшина аула (буквально: белобородый).

18

В этой эпической поэме Кодар, добиваясь красавицы Баян-Слу, совершает ряд жестоких и коварных поступков.

19

Акын — поэт-певец.

20

Албасты — злой дух.

21

Шариат — свод религиозных и житейских обязанностей мусульманина.

22

Барымта — насильственный угон скота.

23

Мусульманское имя Абае было Ибрагим. Абай — ласкательное имя, данное ему матерью.

24

К у н е к е н — почтительная форма от имени Кунанбай.

25

Н а с ы б а й — жевательный табак.

26

Курт — соленый сыр.

27

Аткаминер — старейшина, родовой воротила.

28

Текебай — осленок, упрямец.

29

Клички собак.

30

Желкуйин — несущийся вихрь.

31

Т у н д у к — четырехугольный войлок, закрывающий надкупольное верхнее

отверстие юрты. Дверь иногда заменялась войлочным занавесом, который заворачивался до притолоки.

32

Название болезней, случающихся от простуды.

33

В кочевке юрты перевозились в разобранном аиле на верблюдах или вьючных конях. Постройка юрты требовала нескольких часов времени. Сборка начиналась с установки по кругу нижних решетчатых стенок кереге. Затем к ним крепились длинные гнутые жерди — уыки, сходящиеся куполом и соединяемые наверху кольцом — ш а н р а к о м. На этот остов накидывался закрепляемый веревками простой войлок или богатые белые кошмы, украшенные порой аппликациями из цветного сукна. Размер юрты зависел от размера боковых стенок — кереге (2–31/2 метра каждая) — и от количества их. Самая маленькая юрта составлялась из трех кереге, богатые юрты — из шести или восьми («шестистворчатая», «восьмистворчатая» юрта). Иногда в торжественных случаях (свадьба, приезд начальства, выборы) юрты составлялись по две и по три вместе; тогда для внутреннего прохода вынимали часть кереге, образуя арки.

34

Названия детских игр.

35

Казахская поговорка, имеющая смысл: «Покупай за две оглядки».

36

Жыр — рассказ в стихах, обычно исторического содержания.

37

А й т ы с — поэтическое состязание; стихи, сочиненные на состязаниях.

38

Ш и р а г и м — ласкательное слово: светик, солнце мое.

39

Х о ш — прощайте!

40

Легендарный охотничий беркут Тнея растерзал своего хозяина.

41

Жены одного мужа назывались к у н д е с — соперницы.

42

Мирза — господин.

43

Кунанбай нарочито передергивает слова Жексена: тот назвал Кодара «ер-азамат», то есть «мужчина родственник». Кунанбай, искажая смысл, говорит просто «ер», то есть батыр, храбрец, герой.

44

Казахская поговорка, соответствующая русской: «Спустя лето по малину не ходят».

45

По мусульманскому верованию, в час заката солнца злые духи носятся по земле, подстерегая свои жертвы.

46

Олжай — имя одного из предков иргизбаев, боевой клич рода.

47

Араша — «Я — заступник». Произносящий это слово как бы принимает на себя вину другого.

48

А л а ш а — шерстяной ковер для убранства постелей, тканный пестрыми узорами.

49

Кши-апа — младшая мама, обращение и младшим женам отца.

50

Т о к а л — младшая жена.

51

П и с ь м и л ь д а — искаженное «бисмилля»— буквально: «во имя бога»— напутственное благословение.

52

Божекен — почтительная форма от имени Божей.

53

Нокеры — свита, охрана, слуги.

54

Алшекен — почтительная форма от имени Алшинбай.

55

Каракок — победитель на скачках, почетное прозвище.

56

То есть выступать на его стороне.

57

Так как большинство царских чиновников в Западной Сибири были военные, казахи всех обычно называли «майор», искаженно — «майыр».

58

Скорлупа яиц дергача (коростеля) покрыта мелкими черными крапинками.

59

Непереводимая игра слов: «баур» означает одновременно «печень» и «родичи».

60

Казахи называли корпусом управление генерал-губернатора.

61

Кумыс хранится в саба — кожаных мешках.

62

Баурсаки — шарики из теста, жаренные в масле.

63

Куырдак — жареное крошеное мясо.

64

Жау-буйрек — кушанье из почек.

65

Ответное приветствие.

66

Женге — невестка, почтительное обращение к жене старшего.

67

Кайнага — здесь родственник жениха.

68

Казы — конская колбаса.

69

Туздык — мясной навар, подливка.

70

К е л и н — сноха, вообще — жена младшего родственника.

71

Н а р — одногорбый верблюд, символ силы и могущества.

72

Ж а р ы к т ы к — почтительное обращение к старшим, подчеркивающее их превосходство, исключительные моральные качества.

73

Аже — бабушка.

74

Хатын — жена.

75

Имя Акберды значит «подаренный богом».

76

Непереводимая игра слов «пять лысых» или «пять удальцов».

77

Бульдерги — ременная петля на рукоятке плети.

78

Шолпы — золотое или серебряное украшение в косах молодых женщин и девушек.

79

К а р а у л — сторожевая вышка.

80

Шынкыс — настоящая зима (шын — правда, кыс — зима).

81

Жент — творог, растертый со сливочным маслом и медом.

82

То есть пестрый, неодинаковый — «и нашим и вашим».

83

Байбише — старшая жена.

84

Непереводимая игра слов. Это одновременно означает: «Каратай — тертый калач, он хорошо знает жизнь».

85

То есть погиб бесславно, не справился с простым делом.

86

Ж а н у а р — непереводимое ласкательное обращение ко всякому животному.

87

С т р и г у н — жеребенок по второму году (в этом возрасте жеребятам стригут гривы).

88

Агатай — ласкательное обращение к старшему брату.

89

Кулан — дикий осел.

90

К ю й — пьеса без слов, исполняемая на домбре.

91

Каф — символ «края света», но так же называли казахи и Кавказские горы.

92

То есть срочную почту. Пучок перьев филина, знак срочности, прикреплялся к шапке нарочного или к дуге упряжки.

93

Су ю н ш и — подарок за сообщение радостного известия.

94

Женешетай—ласкательное обращение к женге — невестке.

95

Карасакал (буквально: чернобородый) — мужчина зрелого возраста.

96

Т а й — т у я к — копыто жеребенка — название слитка серебра, определяющее его величину.

97

Б е с и к — ж а м б а — слиток-колыбель.

98

Эне — теща.

99

Шашу — конфеты и другие сласти.

100

Той — пир, торжество.

101

Козлодранье — конное состязание: скачки в погоне за перехватываемой всадниками тушей козла.

102

Б а й г а — скачки, а также приз на скачках.

103

Д е в я т к а — т о г ы з — приз, назначавшийся владельцу скакуна, состоящий из верблюда, орла, коня, коровы, жеребенка, овцы, козы, ковра, шубы или иных девяти ценностей в различных сочетаниях.

104

Голова барана предназначается, по обычаю, старшему в семье, который делит ее и раздает другим.

105

Б а с т а н г ы — вечеринка, игры и развлечения молодежи, устраиваемые по случаю отъезда кого-либо из членов семья.

106

К у ш и р — десятая доля урожая, идущая в пользу духовенства.

107

Под общим именем «белое» у казахов разумеется молоко всех видов домашнего скота.

108

А к ы н — к ы з — девушка-акын.

109

Терме — речитатив, в котором главную роль играют слова, а не мотив.

110

То есть неписаный закон, сложившийся в юртах старейшин.

111

Т е л ь ш и к — ребро с салом.

112

К а л м а к — калмычка.

113

Мункир и Нанкир — по верованию мусульман, ангелы, допрашивающие умершего о совершенных им проступках.

114

Молитва без омовения считается греховной.

115

В казахском родовом быту понятие племянник совпадало с понятием младший брат.

116

А к б а с — седоголовый.

117

До советской власти оба больших народа — киргизский и казахский — неразличимо смешивались в представлении даже многих прогрессивных русских людей.

118

Гяур — неверный, не мусульманин.

119

Корпе — ватное одеяло.

120

Халфе — духовное лицо, наставник в медресе.

121

Шакирд — ученик медресе.

122

Кун — возмещение за убийство.

123

Тымак — меховая шапка.

124

Корим — красавица.

125

Мазар — надгробный памятник, род высокого склепа, сложенного из саманных кирпичей.

126

СарыАрка — степи Центрального Казахстана.

127

Сал и сэри — профессиональные певцы и акыны, разъезжавшие по аулам в яркой разноцветной одежде.

128

«Ж а м б а с — с ы й п а р» — «Обнимая, ласкает».

129

Т а л а с — обвинитель, истец.

130

Торгай — имя рода, означает: воробей.

131

К о з ы — к о ш (буквально: перегон ягнят) — мера расстояния в степи, 5–6 километров.

132

К у р д а с — сверстник. Дружба курдасов обуславливает более свободные и вольные отношения между ними и их семьями.

133

По обычаю, сноха (келин) всегда первой кланяется всем родственникам. Почувствовав наступление старости, она в последний раз преклоняет колена у входа в родовую юрту мужа в обрядовом поклоне. С этого дня ей, как старухе, другие начинают кланяться первыми.

134

Набор слов, звучащих как молитва из корана.

135

Ш а х и д — погибший в религиозной войне.

136

Сборники обрядовых правил.

137

Шакша — табакерка, в которой носят жевательный табак — насыбай.

138

Кенжем — малыш, меньшой в семье. По обычаю, сноха, вступившая в новую семью, дает свои имена новым родственникам.

139

Расстояния в степи измеряются длиной пробега коней на байге (скачке) — «Бег жеребенка»— 5 км, «бег стригуна»— 8—10 км, «бег коня»— 20–35 км.

140

М а х р а б — место в мечети, соотвествующее алтарю.

141

С а х а б ы — сподвижники Магомета.

142

Д а б ы л — маленький охотничий барабан.

143

Ани — мать по-татарски, апа — по-казахски. Смысл этого выражения — старшая мать.

144

Карагоз — черноглазая.

145

Ш а б а р м а н — посыльный.

146

Ояз — начальник; тентек-ояз — бешенный начальник.

147

К о п — ж а т а к — множество жатаков.

148

С а б а р м а н — мучитель, разбойник.

149

С а у к е л е — головной убор невесты.

150

Сал-домбра — щегольская домбра профессиональных певцов.

151

Тогыз-кумалак (буквально девять шариков) — казахская игра, сходная с шашками.

152

Кара — черный; шолак — куцый.

153

Ш е г и р — сероглазый.

154

Жанбаур — легендарный охотничий беркут.

155

То есть с фамилией главы фирмы на обертке. Так назывался чай, упакованный в Кяхте, в отличие от «торгового»— местной развески, сделанной перекупщиком.

156

Буквально: «пища-дума».

157

Баксы — шаман, знахарь.

158

Буквально: «качанье конского хвоста»—название одного из степных аллюров.

159

Ак-сарбас — белый баран. При удачном исходе дела в жертву закалывали белого барана.

160

«Петр Великий».

161

Д а с т а н — поэма, сказание.

162

Мера площади.

163

Начальник Казанцев.

164

Б а л а-т о л м а ч — мальчик переводчик.

165

К а н д и д а т ы избирались вместе с волостными, как их заместители. Бии-долынжи — первые бии каждой волости. В случаях, когда в период между

выборами волостной снимался с должности, его замещал кандидат, а если был снят и он — в управление волостью вступал до новых выборов бий-долынжи.

166

Кокше — название рода; буквально означает: темный, скромный.

167

Ж а й — гром.

168

«Полноценными» назывались при тяжбах либо здоровый, крепкий конь, либо кобылица с жеребенком, либо корова с теленком.

169

Майкы-бий— легендарный судья древности.

170

Т а й — годовалый жеребенок.

171

Т у з д у к — отвоеванная у противника ямка. Все шарики, находящиеся в ней, достаются занявшему ямку.

172

Б а и т — книжные стихи с речитативным напевом; жир — тоже речитативная форма стиха-рассказа.

173

А к-Б а л а — имя героини одного песенного состязания.

174

С е г и з — а я к — восьмистишие, новая форма, введенная в ка «захское стихосложение Абаем.

175

«Шокпардай кекили бар» — знаменитое стихотворение Абая о коне-бегунце. Наурызбай — герой поэмы Кокпая.

176

К у м а й — легендарная охотничья собака.